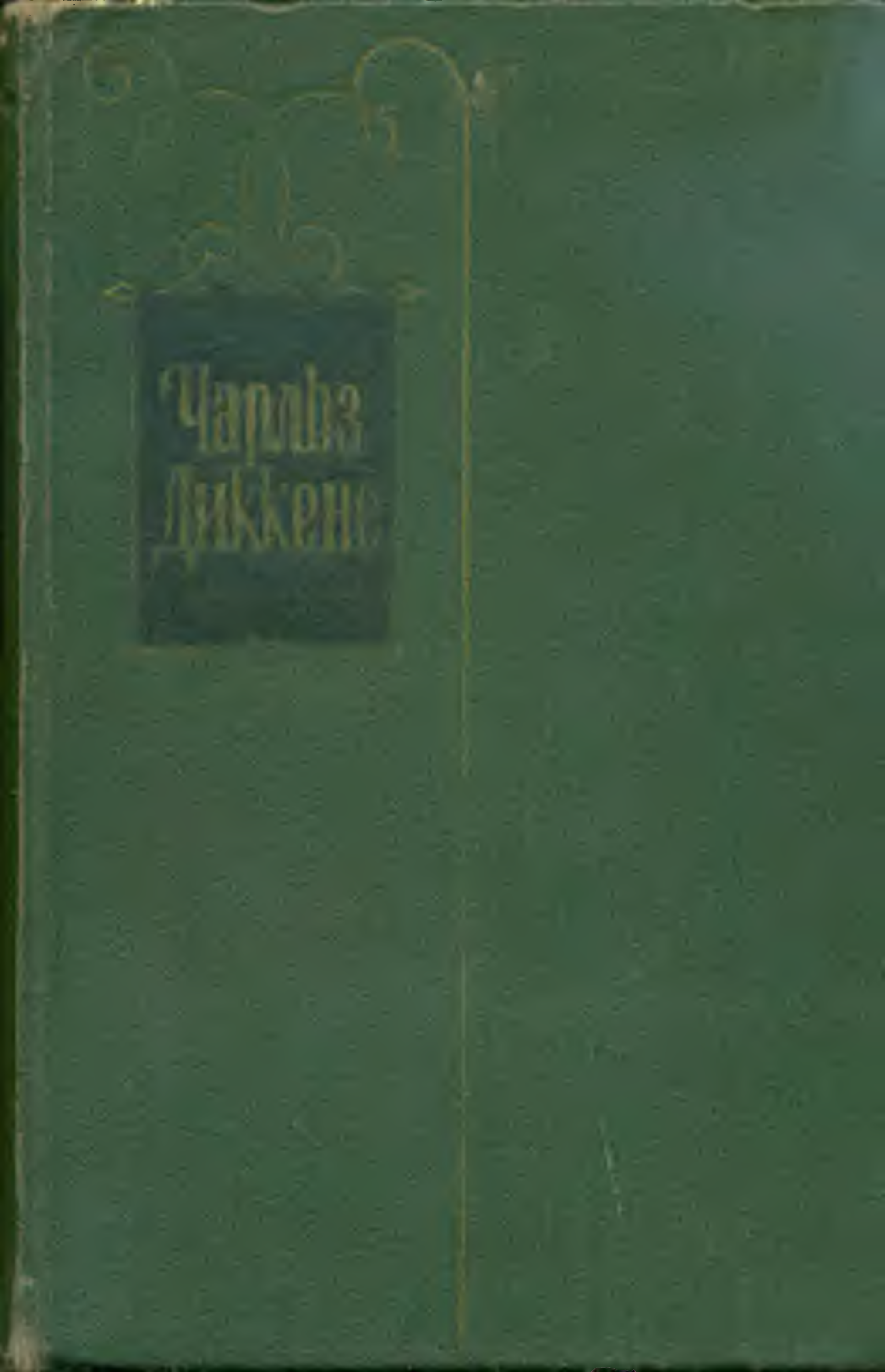

Чарльз
Диккенс

# ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

### В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией*

*А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*Москва 1960*

# ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
## ТОМ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

**ХОЛОДНЫЙ ДОМ**

***Роман***

***(Главы XXXI—LXVII)***

***Перевод с английского***
***М. КЛЯГИНОЙ-КОНДРАТЬЕВОЙ***



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*Москва 1960*

CHARLES DICKENS

# BLEAK HOUSE

*Ch. XXXI—LXVII*

*1853*

*Иллюстрации*

*«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)*

*Второе, пересмотренное издание перевода*

## ГЛАВА XXXI
### *Сиделка и больная*

Я долго была в отъезде, а вернувшись, как-то раз вечером поднялась наверх в свою комнату, чтобы посмотреть, как Чарли упражняется в чистописании, и, наклонившись, заглянула в ее тетрадку. Чистописание трудно давалось Чарли,— она совсем не владела пером; зато каждое перо в ее руке как бы оживало для озорства, портилось, кривилось, останавливалось, брызгало и, словно осел под седлом, шарахалось в углы страницы. Очень смешно было видеть, какие дряхлые буквы выводила детская ручонка Чарли — они были такие сморщенные, сгорбленные, кривые, а ручонка — такая пухленькая и кругленькая. А ведь на всякую другую работу Чарли была на редкость ловкая, и пальчики у нее были такие проворные, каких я в жизни не видела.

— Ну, Чарли,— сказала я, взглянув на страничку, исписанную буквой «О», которая изображалась то в виде квадрата, то в виде треугольника, то в виде груши и наклонялась во все стороны,— я вижу, мы делаем успехи. Только бы нам удалось написать ее круглой, Чарли, и мы дойдем до совершенства.

Я написала букву «О», и Чарли написала эту букву, но перо Чарли не пожелало аккуратно соединить концы и завязало их узлом.

— Ничего, Чарли. Со временем мы научимся.

Кончив заданный урок, Чарли положила на стол перо, разжала и сжала затекшую ручонку, внимательно просмотрела исписанную страницу — не то гордясь своими успехами, не то сомневаясь в них,— встала и сделала мне реверанс.

— Благодарю вас, мисс. Позвольте вам доложить, мисс, вы знаете одну бедную женщину, которую зовут Дженни?

— Жену кирпичника, Чарли? Да, знаю.

— Она давеча пришла сюда, заговорила со мной, когда я вышла из дому, и сказала, что вы ее знаете, мисс. Спросила меня, не я ли прислуживаю молодой леди,— молодая леди это вы, мисс,— и я сказала «да», мисс.

— Я думала, она совсем уехала отсюда, Чарли.

— Она и правда уезжала, мисс, только вернулась на прежнее место... она и Лиз. А вы знаете другую бедную женщину, мисс, которую зовут Лиз?

— Знаю; то есть я ее видела, Чарли, но не знала, что ее зовут Лиз.

— Так она и сказала! — подтвердила Чарли.— Они обе вернулись, мисс, а то все бродяжничали — туда-сюда ходили.

— Бродяжничали, Чарли?

— Да, мисс.— Вот если бы Чарли научилась писать буквы такими же круглыми, какими были ее глаза, когда она смотрела мне в лицо,— чудесные получились бы буквы! — И эта бедная женщина приходила сюда раза три-четыре — все надеялась хоть одним глазком поглядеть на вас, мисс. «Только поглядеть, а больше мне ничего не нужно», говорит; но вы были в отъезде. Вот она и увидела меня. Заметила, как я тут расхаживаю, мисс,— сказала Чарли и вдруг тихонько засмеялась от величайшей радости и гордости,— ну и подумала,— не иначе, как я ваша горничная!

— Неужели она в самом деле это подумала, Чарли?

— Да, мисс,— ответила Чарли,— что правда, то правда.

И Чарли снова рассмеялась в полном восторге, опять сделала круглые глаза и приняла серьезный вид, подобающий моей горничной. Мне никогда не надоедало смот-

реть на Чарли, на ее детское личико и фигурку, когда она, от всей души наслаждаясь своим высоким постом, стояла передо мной, совсем еще маленькая девочка, но уже такая серьезная, хотя сквозь ее серьезность и прорывалось порой милое ребяческое ликование.

— Где же ты с нею встретилась, Чарли? — спросила я.

Личико моей маленькой горничной потемнело, когда она ответила: «У аптеки, мисс». Ведь Чарли сама еще носила траур.

Я спросила, не больна ли жена кирпичника, но Чарли ответила, что нет. Захворал кто-то другой. Какой-то прохожий, который зашел к ней, а в Сент-Олбенс он приплелся пешком и собирается брести дальше,— сам не знает куда. Чарли сказала, что это какой-то бедный мальчик. И у него нет ни отца, ни матери, никого на свете.

— Вот и у нашего Тома, мисс, никого на свете бы не осталось, умри мы с Эммой после смерти отца,— сказала Чарли, и ее круглые глазенки наполнились слезами.

— Значит, женщина пошла купить ему лекарство, Чарли?

— Она сказала, мисс,— ответила Чарли,— что он както раз принес лекарство ей.

Лицо моей маленькой горничной горело от столь сильного нетерпения, а ее всегда спокойные руки так крепко сжимали одна другую, когда она стояла посреди комнаты, пристально глядя на меня, что мне было совсем не трудно угадать ее мысли.

— Ну что ж, Чарли,— сказала я,— давай-ка мы с тобой пойдем к Дженни и разузнаем, как там и что.

Чарли мигом принесла мою шляпку и вуаль, подала мне одеться и — такая смешная — сама по-старушечьи закуталась в теплую шаль и заколола ее булавкой — ни дать ни взять маленькая бабушка; а быстрота, с какой она все это проделала, не оставляла сомнений в ее готовности идти к Дженни. И вот мы с Чарли вышли из дому, не сказав никому ни слова.

Вечер был холодный, непогожий, и деревья раскачивались под напором ветра. Весь этот день, да и много дней подряд, почти беспрерывно шел проливной дождь. Но к вечеру дождь перестал. Небо местами прояснилось,

только было затянуто густой дымкой даже в зените, где в просветах меж тучами мерцало несколько звезд. На севере и северо-западе, там, где три часа назад зашло солнце, по небу тянулась полоса бледного, мертвенного света, и прекрасного и какого-то зловещего, а на ней лежали волнистые угрюмые гряды туч, словно бурное море, внезапно оцепеневшее во время шторма. В той стороне, где находился Лондон, грозное зарево висело над темной равниной, и необычайно торжественным казался контраст между его яркостью и гаснущим светом зари, невольно внушая странную мысль, что это алое зарево — отблеск какого-то неземного огня, освещающего невидимые отсюда здания города и лица его бесчисленных обитателей.

В тот вечер у меня не было предчувствия. Знаю наверное,— ни малейшего предчувствия того, что должно было вскоре случиться со мною. Но я на всю жизнь запомнила, что в ту минуту, когда мы остановились у садовой калитки, чтобы взглянуть на небо, а потом пошли дальше своей дорогой, мне на мгновение почудилось, будто я не совсем такая, какой была. Я знаю, что это смутное ощущение возникло у меня именно там и тогда. С тех пор воспоминание об этом ощущении неизменно связывалось у меня с этим местом и часом и со всем тем, что я видела и слышала на этом месте и в этот час — вплоть до далеких шумов города, лая собаки, скрипа колес, катящихся с пригорка по грязной дороге.

Был субботний вечер, и многие жители того поселка, в который мы направлялись, разошлись по харчевням. Поэтому сегодня здесь было менее шумно, чем в тот день, когда я пришла сюда впервые, но все выглядело таким же нищенским, как и раньше. В печах для обжига кирпича пылал огонь, и удушливый дым тянулся к нам, озаренный бледно-голубым светом.

Мы приблизились к домишку кирпичников, из которого тусклый свет свечи проникал наружу через разбитое и кое-как починенное окно. Постучав в дверь, мы вошли. Мать ребенка, умершего в тот день, когда мы были здесь впервые, сидела в кресле между койкой и убогим камином, а против нее, съежившись и прижавшись к каминной раме, на полу прикорнул какой-то подросток,

с виду — нищий. Свою рваную меховую шапку он держал под мышкой, как узелок, и, стараясь согреться, так дрожал, что дрожали ветхие оконные рамы и дверь. Воздух в комнате был еще более затхлый, чем раньше, и в ней стоял неприятный и очень странный запах.

Как только мы вошли, я заговорила с женщиной, не поднимая вуали. Мальчик мгновенно вскочил и, пошатываясь, уставился на меня с каким-то непонятным удивлением и ужасом.

Он вскочил так быстро и его испуг так явно был вызван моим появлением, что я остановилась, вместо того чтобы подойти ближе.

— Не пойду я больше на кладбище,— забормотал мальчик,— не хочу я туда ходить, сказано вам!

Я подняла вуаль и заговорила с женщиной. Она отозвалась вполголоса:

— Уж вы не посетуйте на него, сударыня. Он скоро одумается.— А мальчику она сказала: — Джо, Джо, что это с тобой?

— Я знаю, зачем она пришла! — выкрикнул мальчик.

— Кто?

— Да вот эта леди. Она хочет меня на кладбище увести. Не пойду я на кладбище. Слышать о нем не хочу. Она, чего доброго, и *меня* зароет.

Он снова задрожал всем телом и прислонился к стене, а вместе с ним задрожала вся лачужка.

— Целый день только о том и твердил, сударыня,— мягко проговорила Дженни.— Ну, чего ты глаза выпучил? Ведь это *моя* леди, Джо.

— Так ли? — с сомнением отозвался мальчик и принялся разглядывать меня, прикрыв рукой воспаленные глаза.— А мне сдается, она та, другая... Не та шляпа и не то платье, а все-таки, сдается мне, она та, другая.

Моя маленькая Чарли, преждевременно познавшая болезни и несчастья, сняла свою шляпу и шаль, молча притащила кресло и усадила в него мальчика, точь-в-точь как многоопытная старуха сиделка; только у опытной сиделки не могло быть такого детского личика, как у Чарли, которая сразу же завоевала доверие больного.

— Слушай! — повернулся к ней мальчик.— Скажи-ка мне *ты*. Эта леди — не та леди?

Чарли покачала головой и аккуратно оправила его лохмотья, стараясь, чтобы ему было как можно теплее.

— Так! — буркнул мальчик.— Значит, это, должно быть, не она.

— Я пришла узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь тебе,— сказала я.— Что с тобой?

— Меня то в жар кидает, то в холод,— хрипло ответил мальчик, бросив на меня блуждающий, растерянный взгляд,— то в жар, то в холод, раз за разом, без передышки. И все ко сну клонит, и вроде как в голове путается... а во рту сухо... и каждая косточка болит — не кости, а сплошная боль.

— Когда он пришел сюда? — спросила я женщину.

— Я нынче утром встретила его на краю нашего города. А познакомилась я с ним раньше, в Лондоне. Правда, Джо?

— В Одиноком Томе,— ответил мальчик.

Иногда ему удавалось сосредоточить внимание или остановить на чем-нибудь блуждающий взгляд, но — лишь очень ненадолго. Вскоре он снова опустил голову и, тяжело качая ею из стороны в сторону, забормотал что-то, словно в полусне.

— Когда он вышел из Лондона? — спросила я женщину.

— Из Лондона я вышел вчера,— ответил за нее мальчик, теперь уже весь красный и пышущий жаром.— Иду куда глаза глядят.

— Куда? — переспросила я.

— Куда глаза глядят,— повторил мальчик немного громче.— Меня все гонят и гонят — не велят задерживаться на месте; прямо дыхнуть не дают с той поры, как та, другая, мне соверен дала. Миссис Снегсби, та вечно за мной следит, прогоняет,— а что я ей сделал? — да и все они следят, все гонят. Все до одного — с того часу, как встану и пока спать не лягу. Ну, я и пошел куда глаза глядят. Вот куда. Она мне сказала там, в Одиноком Томе, что пришла из Столбенса *, вот я и побрел по дороге в Столбенс. Туда ли, сюда ли — все одно.

Что бы он ни говорил, он всякий раз под конец повертывался к Чарли.

— Что с ним делать? — сказала я, отводя женщину

в сторону.— Не может же он уйти в таком состоянии, тем более что идти ему некуда и он даже сам не отдает себе отчета, куда идет.

— Не знаю, сударыня, или, как говорится, «знаю не лучше покойника»,— отозвалась она, бросая на Джо сострадательный взгляд.— Может, покойники-то и лучше нашего знают, да только сказать нам не могут. Я его целый день у себя продержала из жалости, похлебкой его покормила, лекарство дала, а Лиз пошла хлопотать, чтоб его куда-нибудь поместили (вот тут, на койке, мой крошечка — это ее ребенок, но он все равно что мой); только долго держать у себя мальчишку я не могу: вернется мой хозяин домой да увидит его здесь,— вон вытолкает, а то и побьет, чего доброго. Смотри-ка! Вот и Лиз вернулась!

И правда, в комнату вбежала Лиз, а мальчик поднялся, должно быть смутно сознавая, что ему тут больше нельзя оставаться. Когда именно проснулся ребенок, когда Чарли подошла к нему, подняла его с койки и принялась нянчить, шагая взад и вперед по комнате, я не помню. Но она делала все это спокойно, по-матерински, как и в мансарде миссис Блайндер, когда жила там вместе с Томом и Эммой и нянчила их.

Подруга Дженни побывала в разных местах, но всюду ее посылали от одного к другому, и она вернулась ни с чем. Сначала ей говорили, что сейчас поместить мальчика в больницу нельзя — слишком рано, потом — что уже поздно. Одно должностное лицо посылало ее к другому, а другое отсылало назад к первому, и так она и ходила взад и вперед, а я, слушая ее, подумала, что оба эти должностных лица, очевидно, были приняты на службу за уменье отвиливать от своих обязанностей, но вовсе не для того, чтобы их выполнять.

— А сейчас,— продолжала Лиз, еле переводя дух, потому что все время бежала и вдобавок была чем-то испугана,— сейчас, Дженни, твой хозяин идет домой, да и мой за ним следом,— а что будет с мальчиком, не знаю; помоги ему бог, но мы ничего для него сделать не можем!

Женщины сложились и, набрав несколько полупенсов, поспешно сунули их мальчику, а тот взял деньги, как в тумане, с какой-то полубессознательной благодарностью и, волоча ноги, вышел из дома.

— Дай-ка мне ребенка, доченька,— сказала Лиз, обращаясь к Чарли,— и спасибо тебе от всей души! Дженни, подруженька ты моя, спокойной ночи! Если хозяин мой на меня не накинется, сударыня, я немного погодя пойду поищу мальчика около печей,— скорей всего он где-нибудь там приютится,— а утром опять схожу туда.

Она быстро ушла, и вскоре, проходя мимо ее дома, мы увидели, как она баюкает ребенка у двери, напевая ему песенку, а сама тревожно смотрит на дорогу, поджидая пьяного мужа.

Я боялась, что, если мы останемся здесь поговорить с этими женщинами, им за это попадет от мужей. Но я сказала Чарли, что нельзя нам покинуть мальчика и тем самым обречь его на верную смерть. Чарли гораздо лучше меня знала, что́ надо делать, а быстрота соображения была у нее под стать присутствию духа, и вот она выскользнула из дома раньше меня, и вскоре мы нагнали Джо, когда он уже подходил к печи для обжига кирпича.

Должно быть, он отправился в путешествие с узелком под мышкой, но узелок украли, а может быть, мальчик потерял его; и сейчас он нес жалкие клоки своей меховой шапки, как узелок, хотя шел с непокрытой головой под дождем, который вдруг снова полил как из ведра. Когда мы окликнули его, он остановился, но едва я к нему подошла, как он снова с ужасом впился в меня блестящими глазами и даже перестал дрожать.

Я предложила мальчику пойти к нам, обещав устроить его на ночлег.

— Не надо мне никакого ночлега,— отозвался он,— лягу промеж теплых кирпичей и все.

— А ты не знаешь, что так и помереть можно? — проговорила Чарли.

— Все равно, люди везде помирают,— сказал мальчик,— дома помирают,— она знает где; я ей показывал... в Одиноком Томе помирают,— целыми толпами. Больше помирают, чем выживают, как я вижу.— И вдруг он хрипло зашептал, повернувшись к Чарли: — Ежели она не та, другая, так и не иностранка. Неужто их целых *три*?

Чарли покосилась в мою сторону немного испуганными глазами. Да и я чуть не испугалась, когда мальчик уставился на меня.

Но когда я подозвала его знáком, он повернулся и пошел за нами, а я, убедившись, что он слушается меня, направилась прямо домой. Идти было недалеко — только подняться на пригорок. Дорога была безлюдна — мимо нас прошел лишь один человек. А я сомневалась, удастся ли нам дойти до дому без посторонней помощи,— мальчик едва плелся неверными шагами и все время пошатывался. Однако он ни на что не жаловался и, как ни странно, ничуть о себе не беспокоился.

Придя домой, я оставила его ненадолго в передней,— где он съежился в углу оконной ниши, глядя перед собой остановившимися глазами, такими безучастными, что его оцепенелое состояние никак нельзя было объяснить сильным и непривычным впечатлением от яркого света и уютной обстановки, в которую он попал,— а сама пошла в гостиную, чтобы поговорить с опекуном. Там я увидела мистера Скимпола, который приехал к нам в почтовой карете, как он частенько приезжал — без предупреждения и без вещей; впрочем, он постоянно брал у нас все, что ему было нужно.

Опекун, мистер Скимпол и я, мы сейчас же вышли в переднюю, чтобы посмотреть на больного. В передней собралась прислуга, а Чарли стояла рядом с мальчиком, который дрожал в оконной нише, как раненый зверек, вытащенный из канавы.

— Дело дрянь,— сказал опекун, после того как задал мальчику два-три вопроса, пощупал ему лоб и заглянул в глаза.— Как ваше мнение, Гарольд?

— Лучше всего выгнать его вон,— сказал мистер Скимпол.

— То есть как это — вон? — переспросил опекун почти суровым тоном.

— Дорогой Джарндис,— ответствовал мистер Скимпол,— вы же знаете, что я такое — я дитя. Будьте со мной строги, если я этого заслуживаю. Но я от природы не выношу таких больных. И никогда не выносил, даже в бытность мою лекарем. Он ведь других заразить может. Лихорадка у него очень опасная.

Все это мистер Скимпол изложил свойственным ему легким тоном, вернувшись вместе с нами из передней в гостиную и усевшись на табурет перед роялем.

— Вы скажете, что это ребячество,— продолжал мистер Скимпол, весело посматривая на нас.— Что ж, признаю, возможно, что и ребячество. Но ведь я и вправду ребенок и никогда не претендовал на то, чтобы меня считали взрослым. Если вы его прогоните, он опять пойдет своей дорогой; значит, вы прогоните его туда, где он был раньше,— только и всего. Поймите, ему будет не хуже, чем было. Ну, пусть ему будет даже лучше, если уж вам так хочется. Дайте ему шесть пенсов или пять шиллингов, или пять фунтов с половиной,— вы умеете считать, а я нет,— и с рук долой!

— А что же он будет делать? — спросил опекун.

— Клянусь жизнью, не имею ни малейшего представления о том, что именно он будет делать,— ответил мистер Скимпол, пожимая плечами и чарующе улыбаясь.— Но что-нибудь он да будет делать, в этом я ничуть не сомневаюсь.

— Какое безобразие,— проговорил опекун, которому я наскоро рассказала о бесплодных хлопотах женщин,— какое безобразие,— повторял он, шагая взад и вперед и ероша себе волосы,— подумайте только — будь этот бедняга осужденным преступником и сиди он в тюрьме, для него широко распахнулись бы двери тюремной больницы и уход за ним был бы не хуже, чем за любым другим больным мальчиком в нашем королевстве!

— Дорогой Джарндис,— сказал мистер Скимпол,— простите за наивный вопрос, но ведь я ничего не смыслю в житейских делах,— если так, почему бы этому мальчику не *сесть* в тюрьму?

Опекун остановился и взглянул на него каким-то странным взглядом, в котором смех боролся с негодованием.

— Нашего юного друга, как мне кажется, вряд ли можно заподозрить в щепетильности,— продолжал мистер Скимпол, ничуть не смущаясь и совершенно искренне.— Мне думается, он поступил бы разумнее и в своем роде даже достойнее, если бы проявил энергию не в том направлении, в каком следует, и по этой причине попал в тюрьму. В этом больше сказалась бы любовь к приключениям, а стало быть и некоторая поэтичность.

— Другого такого младенца, как вы, пожалуй, во всем мире нет,— отозвался опекун, снова принявшись шагать по комнате и, видимо, чувствуя себя неловко.

— Вы так думаете? — подхватил мистер Скимпол.— Что ж, пожалуй! Но, признаюсь, я не понимаю, почему бы нашему юному другу и не овеять себя той поэзией, которая доступна юнцам в его положении. Бесспорно, у него от природы есть аппетит, а когда он здоров, аппетит у него превосходный, надо думать. Прекрасно! И вот в тот час, когда наш юный друг привык обедать,— скорее всего около полудня,— наш юный друг объявляет обществу: «Я голоден; будьте добры дать мне ложку и накормить меня». Общество, взявшее на себя организацию всей системы ложек и неизменно утверждающее, что у него есть ложка и для нашего юного друга, тем не менее *не* дает ему ложки; и тогда наш юный друг говорит: «Значит, придется вам меня извинить, если я ее сам стяну». Вот это и есть, как мне кажется, случай, когда энергия направлена не туда, куда следует, но зато не лишена некоторой доли разумности и некоторой доли романтики; и, право, не знаю, но я тогда, пожалуй, больше интересовался бы нашим юным другом, как иллюстрацией подобного случая, чем теперь, когда он простой бродяга... каким может сделаться кто угодно.

— Между тем,— решилась я заметить,— ему становится все хуже.

— Между тем,— весело повторил мистер Скимпол,— ему становится все хуже, как изволила сказать мисс Саммерсон со свойственным ей практическим здравым смыслом. Поэтому я рекомендовал бы вам выгнать его вон, прежде чем ему станет еще хуже.

Я, наверное, никогда не забуду того благожелательного выражения лица, с каким он все это говорил.

— Конечно, Хозяюшка,— заметил опекун, повернувшись ко мне,— я могу настоять на его помещении в больницу, если сам отправлюсь туда и потребую принять его, хотя, надо сказать, дело у нас обстоит очень плохо, если приходится этого добиваться, даже когда больной в таком состоянии. Но время позднее, погода отвратительная, а мальчик уже с ног валится. Чердак у нас над конюшней благоустроенный и там стоит койка;

давайте-ка поместим мальчика туда до завтрашнего утра, а утром его можно будет закутать хорошенько и увезти. Так и сделаем.

— Вот как! — произнес мистер Скимпол, положив руки на клавиши, когда мы уже выходили.— Значит, вы идете к нашему юному другу?

— Да,— ответил опекун.

— Как я завидую вашему характеру, Джарндис! — проговорил мистер Скимпол с шутливым восхищением.— Для вас такие вещи — совершенные пустяки, и для мисс Саммерсон тоже. Вы готовы во всякое время пойти куда угодно и сделать все что угодно. Вот что значит слово «сделаю». А я никогда не говорю «сделаю» или «не сделаю», я просто говорю «не могу».

— Вы, должно быть, не можете даже посоветовать нам, чем помочь больному? — почти сердито спросил опекун, оглядываясь на него через плечо; подчеркиваю — только «почти», ибо он, по-видимому, никогда не считал мистера Скимпола существом, ответственным за свои поступки.

— Дорогой Джарндис, я заметил у него в кармане склянку с жаропонижающим лекарством, и самое лучшее, что он может сделать,— это принять его. Прикажите слегка побрызгать уксусом в помещении, где он будет спать, и держать это помещение в умеренной прохладе, а больного в умеренном тепле. Но давать советы — это с моей стороны просто дерзость. Ведь мисс Саммерсон обладает таким знанием всяких мелочей и такой способностью распоряжаться по мелочам, что и без меня сумеет сделать все необходимое.

Мы вернулись в переднюю и объяснили Джо, куда хотим его поместить, а Чарли еще раз объяснила ему все сначала, но он слушал ее с тем же вялым безразличием, которое я уже заметила в нем, и только устало озирался, словно все приготовления делались не для него, а для кого-то другого. Прислуга, жалея его, очень охотно принялась нам помогать, так что мы быстро привели в порядок чердак, а несколько мужчин, из тех, что работали в усадьбе, тепло укутали мальчика и перенесли его через сырой двор. Отрадно было наблюдать, как ласково все они обращались с ним и как часто называли его

«приятелем», надеясь этим подбодрить его. Всеми операциями руководила Чарли, которая беспрестанно сновала между конюшней и домом, перенося разные укрепляющие средства и питательные кушанья, которые, по нашему мнению, не могли повредить мальчику. Опекун лично пошел навестить больного, перед тем как его оставили на ночь, и, вернувшись в Брюзжальню, чтобы написать в больницу письмо, которое наш человек должен был передать ранним утром, сообщил мне, что мальчику лучше и его клонит ко сну. Дверь на чердак заперли, сказал опекун,— на случай, если у больного начнется бред и он будет порываться бежать, а внизу ляжет человек, который услышит малейший шум над собой.

Ада была простужена и не выходила из нашей комнаты, поэтому мистер Скимпол, оставшись в одиночестве, все это время развлекался, наигрывая отрывки из жалобных песенок, а иногда и напевая их (как мы слышали издали) с большим чувством и очень выразительно. Когда мы пришли к нему в гостиную, он сказал, что хочет исполнить маленькую балладу,— она вспомнилась ему «по ассоциации с нашим юным другом»,— и совершенно очаровательно спел песню о том крестьянском мальчике, который —

Бездомный, без матери и без отца *
По свету блуждать обречен без конца.

Эта песня всегда вызывает у него слезы,— сказал он нам.

Весь остаток вечера он был очень весел, ибо ему «хочется чирикать, как птичка,— заявил он в восторге,— стоит только вспомнить, какими на редкость талантливыми в деловом отношении людьми» он окружен. Поднимая стакан вина, разбавленного кипятком и сдобренного лимоном и сахаром, он предложил нам тост «за выздоровление нашего юного друга» и высказал предположение, которое в дальнейшем развил веселым тоном, что мальчику, как и Виттингтону, в будущем суждено стать лондонским лорд-мэром. А тогда мальчик, без сомнения, учредит Приют имени Джарндиса и Странноприимные дома имени Саммерсон, а также положит начало ежегодному паломничеству корпораций в Сент-Олбенс. Не под-

лежит сомнению, говорил он, что наш юный друг в своем роде чудесный мальчик и он идет своим чудесным путем, но путь его не совпадает с путем Гарольда Скимпола. Что за человек Гарольд Скимпол, Гарольд Скимпол узнал, к своему великому изумлению, когда впервые познакомился с самим собой и, тогда же приняв себя со всеми своими недостатками, решил, что самая здоровая философия — это примириться с ними; и он надеется, что мы поступим так же.

Наконец Чарли доложила, что мальчик успокоился. Из своего окна я видела ровно горящий фонарь, который поставили на чердаке конюшни, и легла в постель, радуясь, что бедняга нашел приют.

Незадолго до рассвета со двора послышались шум и говор более громкие, чем обычно, и они меня разбудили. Одеваясь, я выглянула в окно и спросила слугу,— одного из тех, кто вчера всячески старался помочь мальчику,— все ли благополучно в доме. А фонарь по-прежнему горел в чердачном окне.

— Это из-за мальчика, мисс,— ответил слуга.

— Ему хуже? — спросила я.

— Был да сплыл, мисс.

— Неужели умер?

— Умер, мисс? Да нет! Пропал бесследно, удрал.

В котором часу ночи он сбежал, как, почему — гадать не стоило. Дверь была заперта, как и вечером, фонарь стоял на подоконнике; оставалось только предположить, что мальчик выбрался через люк в полу чердака, под которым был пустой каретный сарай. Но если это было так, значит мальчик закрыл за собой люк; между тем, судя по всему, люка не открывали. Ни одной вещи не пропало. Когда все это выяснилось, мы с грустью поняли, что ночью у мальчика начался бред и, безотчетно влекомый куда-то или преследуемый безотчетным страхом, он убежал прочь в состоянии более чем беспомощном; по крайней мере так думали все мы, если не считать мистера Скимпола, а он, как всегда, в легкомысленном и непринужденном стиле несколько раз высказал предположение, что наш юный друг сообразил, какой он небезопасный гость, если у него такая нехорошая лихорадка, и, побуждаемый природной деликатностью, убрался прочь.

Опросили всех, кого могли, и обыскали все. Осмотрели печи для обжига кирпича, ходили в поселок кирпичников, подробно расспрашивали обеих женщин, но они ничего о мальчике не знали и только искренне удивлялись. Несколько дней стояла дождливая погода, и этой ночью тоже шел такой проливной дождь, что отыскать беглеца по следам оказалось невозможным. Наши люди осмотрели все живые изгороди, канавы, каменные ограды, стога сена во всей округе — ведь мальчик мог лежать где-нибудь без сознания или мертвый,— но не нашли никаких признаков того, что он хотя бы проходил где-то поблизости. С той минуты, как его оставили одного на чердаке, о нем не было ни слуху ни духу.

Мальчика искали пять дней. Это не значит, что потом поиски прекратили, но внимание мое тогда было отвлечено в сторону очень памятным для меня событием.

Как-то вечером Чарли снова занималась чистописанием у меня в комнате, а я сидела против нее за работой, и вдруг почувствовала, что наш столик закачался. Я подняла глаза и увидела, что моя маленькая горничная дрожит всем телом.

— Что с тобой, Чарли, ты озябла? — спросила я.

— Кажется, да, мисс,— ответила она.— Не знаю, что со мной такое. Вся трясусь — никак не могу усидеть смирно. И вчера меня тоже знобило... примерно в это же время, мисс. Не извольте беспокоиться, только я, должно быть, заболела.

Тут я услышала голос Ады и со всех ног кинулась запирать дверь из своей комнаты в нашу уютную гостиную. Едва успела — только повернула ключ, как Ада уже постучалась.

Ада попросила меня впустить ее, но я сказала:

— Попозже, душенька моя милая. А сейчас уйди. Ничего особенного не случилось; я к тебе скоро приду.

Ах, как много, много утекло времени до того, как мы с моей дорогой девочкой зажили по-прежнему.

Чарли заболела. Наутро она совсем расхворалась. Я перевела ее в свою комнату, уложила в свою постель и осталась ухаживать за нею. Я обо всем рассказала опекуну, объяснила, почему считаю нужным остаться одна и почему ни в коем случае не хочу встречаться со

своей любимой подругой. Вначале она то и дело подходила к моей двери, звала меня и даже упрекала со слезами и рыданиями; но я написала ей длинное письмо, в котором объясняла, что она меня только волнует и расстраивает, и умоляла ее, если она меня любит и дорожит моим спокойствием, разговаривать со мной не иначе, как из сада. После этого она стала приходить ко мне под окно еще чаще, чем раньше подходила к двери; и если я и прежде, когда мы почти не расставались, любила ее милый, нежный голос, то как же я полюбила его теперь, когда, стоя за оконной занавеской, слушала ее слова и отвечала ей, но не решалась даже выглянуть наружу! Как полюбила я его потом, когда наступили еще более тяжелые дни!

Ада переселилась в другую часть дома, мне поставили кровать в нашей гостиной, а я перестала закрывать дверь из гостиной в свою спальню и, превратив, таким образом, две комнаты в одну, все время следила за тем, чтобы воздух в них был чистый и свежий. Вся прислуга в доме и усадьбе была так добра, что с радостью явилась бы по моему зову во всякое время дня и ночи, без малейшего страха или неудовольствия; но я решила выбрать для услуг одну хорошую женщину, на которую могла положиться, и взяла с нее обещание соблюдать все предосторожности и не видеться с Адой. Она служила посредницей между мною и опекуном, с которым я выходила из дому подышать свежим воздухом, когда можно было не бояться, что натолкнешься на Аду, и, заручившись такой помощницей, я не терпела недостатка ни в чем.

А бедной Чарли становилось все хуже и хуже, и жизни ее грозила большая опасность,— тяжело больная, она пролежала много долгих дней и ночей. И так терпелива она была, так безропотна, с такой кроткой стойкостью переносила страдания, что, когда я сидела у ее постели, обхватив руками ее голову,— иначе она не могла заснуть,— я часто молилась про себя нашему отцу небесному, чтобы он не дал мне забыть тот урок, который преподала мне эта младшая сестра моя.

Мне было очень больно думать о том, что, если Чарли и выздоровеет, ее хорошенькое личико, вероятно, утратит свою прелесть,— будет обезображено оспой,— а у нее



было такое милое детское личико с ямочками на щеках; но эта мысль исчезала перед угрозой еще большей опасности. Бывали особенно тяжелые минуты, когда Чарли в полубреду вспоминала о том, как ухаживала за больным отцом и детьми, но и тогда она узнавала меня и успокаивалась в моих объятиях,— ни в каком другом положении она не могла лежать спокойно,— а если и бормотала что-то бессвязное, то уже не так тревожно. В подобные минуты я всегда думала: как же я скажу двум осиротевшим малюткам, что малютка, которая всем своим любящим сердцем старалась заменить им мать, теперь умерла?

Были и другие минуты, когда Чарли хорошо узнавала меня, говорила со мной, просила передать сердечный привет Тому и Эмме и надеялась, что Том вырастет хорошим человеком. Тогда Чарли рассказывала мне, что она во время болезни отца читала ему, как умела, чтобы его подбодрить,— читала о том юноше, которого несли хоронить, а он был единственный сын у матери-вдовы; читала о дочери правителя *, которую милосердная десница подняла с ложа смерти. И еще Чарли говорила мне, что, когда отец ее умер, она упала на колени у его постели и в первом порыве горя молилась, чтобы он тоже был воскрешен и вернулся к своим бедным детям; а если сама она теперь не поправится, добавляла Чарли, если она умрет, как умер отец, Том, наверное, тоже помолится, чтобы она воскресла. И она просила меня объяснить Тому, что в старину людей возвращали к жизни на земле лишь для того, чтобы мы могли надеяться на воскресение в небесах.

Но в каком бы состоянии ни была больная, она не утратила тех своих добрых качеств, о которых я говорила. И много, много раз я думала по ночам о возвышенной вере в ангела-хранителя и еще более возвышенной надежде на бога, которые до самого смертного часа жили в душе ее бедного, всеми презираемого отца.

Но Чарли не умерла. Она долго была в опасности, медленно и неуверенно боролась с нею, перенесла кризис, а потом стала выздоравливать. Вскоре появилась надежда, вначале казавшаяся несбыточной, на то, что Чарли снова станет прежней Чарли, и я уже видела, как ее

личико мало-помалу приобретает прежнюю детскую миловидность.

Какое это было радостное утро, когда я рассказывала обо всем Аде, стоявшей в саду, и какой это был радостный вечер, когда мы с Чарли наконец-то вместе пили чай в нашей гостиной. Но в этот самый вечер я внезапно почувствовала, что меня знобит.

К счастью для нас обеих, я только тогда начала догадываться, что заразилась от Чарли, когда она снова улеглась в постель и успела заснуть спокойным сном. За чаем мне без труда удалось скрыть свое состояние, но сейчас это было бы уже невозможно, и я поняла, что быстро иду по ее следам.

Однако наутро мне стало гораздо лучше, и я поднялась рано, ответила на веселое приветствие моей милой Ады, стоявшей в саду, и мы разговаривали с нею так же долго, как всегда. Но мне смутно вспоминалось, что ночью я бродила по обеим нашим комнатам и мысли мои немного путались, хоть я и сознавала, где нахожусь; кроме того, мне временами становилось не по себе от какого-то странного ощущения полноты — казалось, я вся распухла.

К вечеру я почувствовала себя настолько плохо, что решила подготовить Чарли, и сказала ей:

— Ты теперь совсем окрепла, Чарли, ведь правда?

— Совсем! — ответила Чарли.

— Достаточно окрепла, Чарли, чтобы узнать одну тайну?

— Ну, уж для тайны-то я безусловно достаточно окрепла! — воскликнула Чарли.

Но не успела Чарли прийти в восторг, как личико у нее вытянулось — она узнала тайну по *моему* лицу и, вскочив с кресла, упала мне на грудь, твердя от всего своего благодарного сердца: «Ох, мисс, это все из-за меня! Из-за меня это, я виновата!» — и еще многое другое.

— Так вот, Чарли,— начала я немного погодя, после того как дала ей выговориться,— если я расхвораюсь, вся моя надежда на тебя. И если ты не будешь такой же спокойной и терпеливой во время моей болезни, какой была, когда хворала сама, ты не оправдаешь моих надежд, Чарли.

— Позвольте мне еще немножко поплакать, мисс,— проговорила Чарли.— Ох, милая моя, милая! позвольте мне только немножко поплакать, милая вы моя! — Не могу вспомнить без слез, с какой любовью и преданностью она лепетала, обнимая меня: — Я буду умницей.

Ну, я уж позволила Чарли поплакать еще немножко, и нам обеим стало как-то легче.

— А теперь, мисс, с вашего позволения, можете на меня положиться,— спокойно проговорила Чарли.— Все буду делать, как вы прикажете.

— Сейчас я почти ничего не могу приказать тебе, Чарли. Но сегодня вечером скажу твоему доктору, что чувствую себя нехорошо и что ты будешь ухаживать за мной.

За это бедняжка поблагодарила меня от всего сердца.

— Когда же ты утром услышишь из сада голос мисс Ады, то, если я сама не смогу, как всегда, подойти к окну, подойди ты, Чарли, и скажи, что я сплю... что я очень устала и сплю. Все время поддерживай в комнате порядок, как это делала я, Чарли, и никого не впускай.

Чарли обещала выполнить все мои просьбы, а я улеглась в постель, потому что чувствовала себя очень скверно. В тот же вечер я показалась доктору и попросила его пока ничего не говорить домашним о моей болезни. Я лишь очень смутно помню, как эта ночь перешла в день, а день в свою очередь перешел в ночь, но все же в то первое утро я через силу добралась до окна и поговорила со своей любимой подругой.

На следующее утро я услышала за окном ее милый голос — до чего милым он казался мне теперь! — и не без труда (мне было больно говорить) попросила Чарли подойти и сказать, что я сплю.

Я услышала, как Ада ответила:

— Ради бога, не тревожь ее, Чарли!

— Какой у нее вид, Чарли, у моей дорогой? — спросила я.

— Огорченный, мисс,— ответила Чарли, выглянув наружу из-за занавески.

— Но я знаю, что сегодня утром она очень красивая.

— В самом деле красивая, мисс,— отозвалась Чарли,

снова выглянув наружу.— И она все еще смотрит вверх, на ваше окно.

Смотрит... ясными голубыми глазами, благослови их бог! И они всего красивее, когда она их так поднимает ввысь.

Я подозвала Чарли и дала ей последнее поручение.

— Слушай, Чарли, когда она узнает, что я заболела, она попытается пробраться ко мне в комнату. Не впускай ее, Чарли, пока опасность не минует, если только ты любишь меня по-настоящему! Чарли, если ты хоть раз впустишь ее сюда, хоть секунду позволишь ей посмотреть, как я лежу здесь, я умру.

— Ни за что не впущу ее! Ни за что! — обещала она.

— Я верю тебе, милая моя Чарли. А теперь подойди сюда, посиди немножко здесь рядом и дотронься до меня. Ведь я тебя не вижу, Чарли; я ослепла!

## ГЛАВА XXXII

### *Назначенный срок*

Вечер настает в Линкольнс-Инне, этой непроходимой и беспокойной долине теней закона *, в которой просители почти никогда не видят дневного света,— вечер настает в Линкольнс-Инне, и в конторах гасят толстые свечи, а клерки уже протопали вниз по расшатанным деревянным ступеням лестниц и рассеялись кто куда. Колокол, который в девять часов звонит здесь, уныло жалуясь на какие-то мнимые обиды, уже умолк; ворота заперты, и ночной привратник, внушительный страж, одаренный редкостной способностью ко сну, стоит на часах в своей каморке. Тускло светятся окна на лестницах — это закопченные фонари, как глаза Суда справедливости, близорукого Аргуса * с бездонным карманом для каждого глаза и глазом на каждом кармане, подслеповато мигают звездам. Кое-где за грязными стеклами верхних окон мерцает слабое пламя свечи, позволяя догадываться, что какой-то хитроумный крючкотвор все еще трудится над уловлением недвижимой собственности в сети пергамента

из бараньей кожи, что в среднем обходится примерно в дюжину баранов на акр земли. Вот над какой пчелиной работой — хотя служебные часы уже миновали,— все еще корпят эти благодетели своих ближних, чтобы, наконец, подвести итог прибыльному дню.

В ближнем переулке, где проживает «Лорд-канцлер лавки Тряпья и Бутылок», помыслы всех обывателей направлены к пиву и ужину. Миссис Пайпер и миссис Перкинс, чьи сыновья, занятые вместе с приятелями игрой в прятки, вот уже несколько часов то лежат в засаде на «проселках», ведущих к Канцлерской улице, то рыщут по этой «большой дороге», приводя в замешательство прохожих,— миссис Пайпер и миссис Перкинс только что поздравили друг дружку с тем, что ребята их уложены в кровать, а сами замешкались у чьей-то двери, чтобы обменяться несколькими словами на прощанье. Мистер Крук и его жилец, и то обстоятельство, что мистер Крук «вечно под мухой», и надежды молодого человека на его завещание, как всегда, служат главной темой их беседы. Но им есть что сказать и о «Гармоническом собрании» в «Солнечном гербе», откуда через полуоткрытые окна до переулка доносятся звуки рояля и где Маленький Суиллс не хуже самого Йорика * уже вызвал восторженный рев у любителей гармонии, а теперь ведет басовую партию в дуэте, сентиментально приглашая своих друзей и покровителей «слушать, слушать, слушать рокот водопада!» Миссис Перкинс и миссис Пайпер обмениваются мнениями и об одной молодой особе, музыкальной знаменитости, которая участвует в «Гармонических собраниях» и которой отведено особое место в рукописной афише на окне; причем миссис Перкинс имеет сведения, что эта музыкальная особа уже полтора года замужем,— хотя на афише значится как «мисс М. Мелвилсон, прославленная сирена»,— а младенца ее каждый вечер тайком приносят в «Солнечный герб», дабы он в антрактах получал необходимую для него пищу.

— Чем так жить,— говорит миссис Перкинс,— я скорей занялась бы для пропитания продажей серных спичек.

Миссис Пайпер, как и полагается, держится того же взгляда, отмечая, что домашняя жизнь лучше рукоплеска-

ний публики, и благодарит бога за то, что сама она (разумеется, и миссис Перкинс тоже) занимает приличное положение в обществе. В это время является слуга из «Солнечного герба» и приносит ей увенчанную пышной пеной пинтовую кружку пива на ужин, а миссис Пайпер, приняв этот сосуд, направляется домой, предварительно пожелав спокойной ночи миссис Перкинс, которая все время держала в руках свою кружку с тех пор, как юный Перкинс принес ее из того же трактира, перед тем как его отослали спать. Вот уже в переулке раздается стук ставен, закрываемых в лавках, распространяется запах трубочного табака и дыма, в верхних окнах мелькает что-то вроде падающих звезд, и все это означает, что обыватели готовятся отправиться на покой. Вот уж и полисмен начинает дергать двери, проверять запоры, подозрительно приглядываться к узлам в руках у прохожих и совершать свой обход в уверенности, что все и каждый или сами грабят, или подвергаются ограблению.

Вечер душный, хотя все пронизано холодной сыростью, и медленный туман стелется невысоко над землей. Вечер насыщен влагой — это как раз такой вечер, когда всюду проникают миазмы, исходящие от боен, вредных цехов, сточных канав, гнилой воды, кладбищ, а Регистратору смертей прибавляется работы. То ли в воздухе что-то есть,— и даже очень много чего-то,— то ли что-то неладно с самим мистером Уивлом, иначе говоря Джоблингом, но так ли, этак ли, а ему очень не по себе. Он мечется между своей комнатой и открытой настежь входной дверью,— то туда, то обратно,— и так раз двадцать в час. Это когда уже стемнело. А когда «Канцлер» закрыл свою лавку,— сегодня он закрыл ее очень рано,— мистер Уивл (в дешевой бархатной ермолке, так плотно прилегающей к голове, что его бакенбарды кажутся непомерно пышными) то спускается, то поднимается чаще прежнего.

Не мудрено, что мистеру Снегсби тоже не по себе; ведь ему всегда более или менее не по себе, так как он всегда чувствует гнетущее влияние тайны, которая тяготеет над ним. Подавленный мыслями о загадочной истории, в которой он участвовал, но которой не разгадал, мистер Снегсби все время бродит близ тех мест, где, по его мнению, скрыт ее источник, а именно — вокруг лавки

старьевщика. Эта лавка влечет его неодолимо. И даже сейчас, пройдя мимо «Солнечного герба» с тем, чтобы выйти из переулка на Канцлерскую улицу и закончить свою бесцельную вечернюю десятиминутную прогулку от собственной двери и обратно, мистер Снегсби подходит к лавке Крука.

— А! Мистер Уивл? — говорит торговец канцелярскими принадлежностями, останавливаясь, чтобы поболтать с молодым человеком.— *Вы* здесь?

— Да! — отвечает Уивл.— Я здесь, мистер Снегсби.

— Дышите свежим воздухом перед тем, как улечься в постель? — осведомляется торговец.

— Ну, воздуху здесь не так-то много, и сколько бы его ни было, не очень-то он освежает,— отвечает Уивл, окинув взглядом весь переулок.

— Совершенно верно, сэр. А вы не замечаете,— говорит мистер Снегсби, умолкнув, чтобы втянуть носом воздух и принюхаться,— вы не замечаете, мистер Уивл, говоря напрямик, что здесь у вас пахнет жареным, сэр?

— Пожалуй; я сам заметил, что тут сегодня как-то странно пахнет,— соглашается мистер Уивл.— Должно быть, это из «Солнечного герба» — отбивные жарят.

— Отбивные котлеты жарят, говорите? Да... значит, отбивные котлеты? — Мистер Снегсби снова втягивает носом воздух и принюхивается.— Пожалуй, так оно и есть, сэр. Но, смею сказать, не худо бы подтянуть кухарку «Солнечного герба». Они у нее подгорели, сэр! И я думаю,— мистер Снегсби снова втягивает носом воздух и принюхивается, потом сплевывает и вытирает рот,— я думаю, говоря напрямик, что они были не первой свежести, когда их положили на рашпер.

— Весьма возможно. Погода сегодня какая-то гнилая.

— Погода действительно гнилая,— соглашается мистер Снегсби,— и я нахожу, что она действует угнетающе.

— Черт ее подери! На *меня* она прямо ужас наводит,— говорит мистер Уивл.

— Что ж, вы ведь, знаете ли, живете уединенно, в уединенной комнате, где произошло мрачное событие,— отзывается мистер Снегсби, глядя через плечо собеседника в темный коридор и отступая на шаг, чтобы

посмотреть на дом.— Я лично не мог бы жить в этой комнате один, как живете вы, сэр. Я бы так нервничал, так волновался по вечерам, что все время стоял бы тут на пороге — лишь бы не сидеть в этой комнате. Но, правда, вы в ней не видели того, что видел я. Это большая разница.

— Я тоже прекрасно знаю, что̀ там произошло,— говорит Тони.

— Неприятно, правда? — продолжает мистер Снегсби, покашливая в руку кротким и убеждающим кашлем.— Мистеру Круку не худо бы принять это во внимание и сделать скидку с квартирной платы. Надеюсь, он так и поступит.

— Надеюсь,— отвечает Тони.— Но сомневаюсь.

— Вы считаете квартирную плату слишком высокой, сэр? — спрашивает владелец писчебумажной лавки.— В этом околотке квартиры и правда дороговаты. Не знаю почему; должно быть, юристы набивают цены. Впрочем,— оговаривается мистер Снегсби, покашливая извиняющимся кашлем,— я отнюдь не хочу опорочить хоть словом профессию, которая меня кормит.

Мистер Уивл снова окидывает взглядом переулок, потом смотрит на торговца. Мистер Снегсби, нечаянно поймав его взгляд, смотрит вверх, на редкие звезды, и, не зная, как прекратить разговор, покашливает.

— Как странно, сэр,— снова начинает он, медленно потирая руки,— что он тоже был...

— Кто он? — перебивает его мистер Уивл.

— Покойный, знаете ли,— объясняет мистер Снегсби, указав головой и правой бровью в сторону лестницы и похлопывая собеседника по пуговице.

— А, вы о нем! — отвечает тот, видимо не слишком увлеченный этой темой.— Я думал, мы уже перестали о нем говорить.

— Я только хотел сказать, сэр, как странно, что он поселился здесь и сделался одним из моих переписчиков, а потом вы поселились здесь и тоже сделались одним из моих переписчиков. В этом занятии нет ничего унизительного, напротив,— подчеркивает мистер Снегсби, терзаемый внезапным опасением, что этими словами он, сам того не желая, неделикатно предъявил какие-то права на

мистера Уивла,— я знавал переписчиков, которые потом работали в конторах пивоваренных заводов и сделались весьма уважаемыми людьми. Чрезвычайно уважаемыми, сэр,— добавляет мистер Снегсби, подозревая, что не исправил своей оплошности.

— В самом деле, странное совпадение, как вы говорите,— отзывается Уивл, еще раз обводя взглядом весь переулок.

— Перст Судьбы, не правда ли? — говорит торговец.

— Совершенно верно.

— Вот именно! — соглашается мистер Снегсби, покашливая в подтверждение своих слов.— Перст Судьбы. Судьбы! А теперь, мистер Уивл, я, к сожалению, должен пожелать вам спокойной ночи.— Мистер Снегсби прощается таким тоном, словно необходимость уйти приводит его в отчаяние, хотя он все время, с тех пор как умолк, только и думал, как бы спастись бегством.— А не то моя крошечка будет искать меня. Спокойной ночи, сэр!

Если мистер Снегсби спешит домой, чтобы избавить свою «крошечку» от необходимости ринуться на его поиски, то об этом ему беспокоиться нечего. Его «крошечка» не спускала с него глаз все то время, пока он бродил вокруг да около «Солнечного герба», и теперь крадется за ним следом, повязав голову платком, а проходя мимо мистера Уивла, удостаивает сверлящим взглядом и его самого и даже его дверь.

«Кого-кого, а меня вы, дамочка, теперь и в толпе узнаете,— думает мистер Уивл,— и кем бы вы ни были, но наружности вашей я похвалить не могу — голова у вас не голова, а узел какой-то... Этот малый, должно быть, так *никогда* и не явится!»

Но «этот малый» как раз приходит. Мистер Уивл предостерегающе поднимает палец, тащит «малого» в коридор и запирает наружную дверь. Затем они поднимаются наверх — мистер Уивл тяжелыми шагами, а мистер Гаппи (ибо это он) весьма легкими. Запершись в задней комнате, они начинают беседу вполголоса.

— Я думал, ты уж к черту на кулички сбежал, вместо того чтобы поспешить сюда,— говорит Тони.

— Я же сказал, что — часов в десять.

— Ты сказал — часов в десять,— повторяет Тони.— Да, ты действительно сказал — часов в десять. Но по моему счету прошло десятью десять... прошло сто часов. В жизни у меня не было такого вечерка!

— А что случилось?

— Да ну тебя! — отвечает Тони.— Ничего не случилось. Но я тут парился и коптился в этой веселенькой старой лачуге, и на меня градом сыпались всякие страхи.— Вот *погляди,* какой чудесный вид у этой свечки! — говорит Тони, показывая пальцем на свой стол, на котором тускло горит тонкая свечка с огромным нагаром и вся оплывшая.

— Это легко наладить,— отзывается мистер Гаппи, хватая щипцы для сниманья нагара.

— *Ты думаешь?* — возражает его друг.— Не так легко, как кажется. С тех пор как я ее зажег, она все время чадит.

— Да что с тобой такое, Тони? — спрашивает мистер Гаппи и со щипцами в руках смотрит на приятеля, который сидит, облокотившись на стол.

— Уильям Гаппи,— отвечает ему приятель,— я словно в ад попал. А все из-за этой невыносимо мрачной, самоубийственной комнаты... да еще старый черт внизу.

Мистер Уивл хмуро отодвигает от себя локтем подносик для щипцов, опускает голову на руку, ставит ноги на каминную решетку и смотрит на пламя. Мистер Гаппи, наблюдая за ним, слегка покачивает головой и непринужденно усаживается за стол прямо против него.

— Кто это с тобой разговаривал, Тони, Снегсби, что ли?

— Да, чтоб его... да, это был Снегсби,— отвечает мистер Уивл, меняя конец начатой фразы.

— О делах?

— Нет. Не о делах. Просто он тут прохаживался и остановился почесать язык.

— Так я и подумал, что это Снегсби,— говорит мистер Гаппи,— но я не хотел, чтобы он меня видел, и потому ждал, пока он не уйдет.

— Ну, вот опять, Уильям Гаппи! — восклицает Тони, на мгновение подняв глаза.— Все какие-то тайны,

секреты! Черт возьми, да задумай мы кого-нибудь укокошить, мы и то не вели бы себя так таинственно!

Мистер Гаппи пытается улыбнуться и, желая переменить разговор, с искренним или притворным восхищением оглядывает комнату и «Галерею Звезд Британской Красоты», заканчивая свой обзор прибитым над каминной полкой портретом леди Дедлок, которая изображена на террасе, возле тумбы на этой террасе, причем на тумбе — ваза, на вазе шаль, на шали огромный меховой палантин, на огромном меховом палантине рука, на руке браслет.

— Леди Дедлок тут очень похожа,— замечает мистер Гаппи.— Только что не говорит!

— Лучше бы говорила,— ворчит Тони, не меняя позы.— Тогда я мог бы вести здесь светские разговоры.

Поняв, наконец, что его никакими хитростями не приведешь в более общительное настроение, мистер Гаппи меняет неудачно взятый курс и принимается урезонивать приятеля.

— Тони,— начинает он,— я способен извинить угнетенное состояние духа, ибо, когда оно находит на человека, ни один человек не знает лучше, чем я, что это за состояние, и, может быть, ни один человек не имеет права знать об этом больше человека, в сердце которого запечатлен образ, не оправдавший надежд. Но, когда речь идет о стороне, непричастной к делу, следует держаться в известных границах, и должен тебе заметить, Тони, что в данном случае я не считаю твое поведение ни гостеприимным, ни вполне джентльменским.

— Очень уж сильно ты выражаешься, Уильям Гаппи,— одергивает его мистер Уивл.

— Может быть, сэр,— парирует мистер Уильям Гаппи,— но когда я так выражаюсь, значит я сильно чувствую.

Мистер Уивл признает свою неправоту и просит мистера Уильяма Гаппи предать забвению этот инцидент. Но мистер Гаппи, получив преимущество, не в силах расстаться с ним без того, чтобы не сделать другу добавочного внушения обидчивым тоном.

— Нет! Черт возьми, Тони,— говорит этот джентльмен,— тебе все-таки надо бы поостеречься и не задевать

самолюбия человека, в сердце которого запечатлен некий образ, не оправдавший надежд, и которому струны, дрожащие от нежнейших чувств, *не* приносят полного счастья. Ты, Тони, обладаешь всем, что способно очаровать глаз и привлечь к тебе внимание. Не в твоем характере,— к счастью для тебя, быть может, и я хотел бы то же самое сказать о себе,— не в твоем характере витать вокруг одного-единственного цветка. Для тебя открыт весь сад, и ты порхаешь в нем на своих воздушных крылышках. Тем не менее, Тони, я никогда не позволю себе задевать без нужды даже твое самолюбие!

Тони снова просит его не возвращаться к этой теме, восклицая с пафосом:

— Уильям Гаппи, бросим этот разговор!

Мистер Гаппи соглашается, добавив:

— Сам я никогда бы его не начал, Тони.

— А теперь,— говорит Тони, мешая угли в камине,— насчет этой пачки писем. Ну, разве не странно, что Крук решил передать мне письма именно в полночь?

— Очень. А почему так?

— А почему он вообще поступает так, а не иначе? Он и сам не знает. Сказал, что сегодня день его рождения и что передаст мне письма в полночь. К тому времени он будет мертвецки пьян. Целый день пил.

— Надеюсь, он не позабыл о том, что условился с тобой?

— Позабыл? Ну, нет. В этом на него можно положиться. Он никогда ничего не забывает. Я видел его нынче вечером, часов в восемь,— помогал ему лавку запирать,— и тогда письма лежали в его лохматой шапке. Он ее снял и показал их мне. Когда лавку заперли, он вынул их из шапки, повесил ее на спинку кресла и принялся перебирать письма при свете огня. Немного погодя я услышал отсюда, как он поет внизу — лучше сказать, воет, как ветер,— одну песню,— только ее он и знает... что-то насчет Бибо и старика Харона *, и как этот Бибо умер в пьяном виде или что-то в этом роде. Но с тех пор его не слышно — притих, как старая крыса, что заснула в норе.

— Значит, ты должен спуститься к нему в двенадцать часов?

— Да, в двенадцать, но, как я уже говорил, когда ты, наконец, явился, мне показалось, будто прошло сто часов.

— Тони,— начинает мистер Гаппи, скрестив ноги и немного подумав,— ведь он еще не умеет читать, правда?

— Куда там! Читать он никогда не научится. Он может писать все буквы одну за другой и многие узнает — каждую в отдельности,— настолько-то он выучился под моим руководством, но складывать их не может. Одряхлел, смекалки не хватает... да к тому же горький пьяница.

— Тони,— говорит мистер Гаппи, положив ногу на ногу,— каким образом он сумел разобрать в этих письмах фамилию Хоудона, как ты думаешь?

— Ничего он разобрать не может. Но ты же знаешь, у него необыкновенно острые глаза, и он постоянно срисовывает всякие надписи и тому подобное, ничего не понимая в них, только на глаз. Ну, он и срисовал эту фамилию,— очевидно с адреса на письме,— а потом спросил у меня, что это означает.

— Тони,— говорит мистер Гаппи, перекладывая правую ногу на левую, потом левую на правую,— как ты считаешь, оригинал был написан женским почерком или мужским?

— Женским. Держу пари на пятьдесят против одного, что писала дама... косой почерк и хвостик у буквы «н» длинный, нацарапан как попало.

Во время этого разговора мистер Гаппи кусал себе ноготь большого пальца то на правой, то на левой руке и одновременно перекладывал ноги — то правую на левую, то наоборот. Собираясь сделать это снова, он случайно бросает взгляд на свой рукав. Рукав привлекает его внимание. Мистер Гаппи в замешательстве смотрит на него, выпучив глаза.

— Слушай, Тони, что творится в этом доме нынче ночью? Или это сажа в трубе загорелась?

— Сажа загорелась?

— Ну да! — отвечает мистер Гаппи.— Смотри, сколько набралось копоти. Гляди, вот она у меня на рукаве! И на столе тоже! Черт ее возьми, эту гадость,— смахнуть невозможно... мажется, как черный жир какой-то!

Они смотрят друг на друга, потом Тони подходит к двери и прислушивается; поднимается на несколько ступенек, спускается на несколько ступенек. Вернувшись, сообщает, что всюду тишина и спокойствие, и повторяет свои слова, сказанные давеча мистеру Снегсби насчет отбивных котлет, подгоревших в «Солнечном гербе».

— Значит...— начинает мистер Гаппи, все еще глядя с заметным отвращением на свой рукав, когда приятели возобновляют разговор, усевшись друг против друга за стол у камина и вытянув шеи так, что чуть не сталкиваются лбами,— значит, он тогда-то и рассказал тебе, что нашел пачку писем в чемодане своего жильца?

— Именно тогда и рассказал, сэр,— отвечает Тони, с томным видом поправляя свои бакенбарды.— Ну, а я тогда же черкнул словечко своему закадычному другу, достопочтенному Уильяму Гаппи,— сообщил ему, что свидание состоится сегодня ночью, и посоветовал не приходить раньше, потому что старый черт хитрец, каких мало.

Усвоенный мистером Уивлом легкий оживленный тон светского льва, болтающего в гостиной, сегодня режет ухо ему самому, так что мистер Уивл меняет тон и оставляет бакенбарды в покое, а оглянувшись через плечо, видимо, снова отдается на растерзание охватившим его страхам.

— Вы условились, что ты унесешь письма к себе в комнату, прочитаешь их, разберешь, что к чему, а потом перескажешь Круку их содержание. Такой был уговор, Тони, верно? — спрашивает мистер Гаппи, беспокойно покусывая ноготь большого пальца.

— Говори потише. Да. На том мы и порешили.

— Вот что я тебе скажу, Тони...

— Говори тише,— повторяет Тони.

Мистер Гаппи, кивнув своей хитроумной головой, наклоняет ее еще ближе к приятелю и переходит на шепот.

— Вот что я тебе скажу. Первым долгом, надо заготовить другую пачку писем, в точности схожую с настоящей, на тот случай, если старик потребует свою, пока та будет у меня в руках,— тогда ты ему и покажешь поддельную.

— Ну, а если он заметит, что пачка поддельная? А на это пятьсот шансов против одного,— догадается, как

только бросит на нее свой пронзительный взгляд,— прямо сверло какое-то,— говорит Тони.

— Тогда пойдем напролом. Ведь это не его письма, и никогда они его письмами не были. Ты это разнюхал, и ты передал их мне... своему другу-юристу... для большей сохранности. Если же он будет настаивать, ведь их можно будет вернуть, не правда ли?

— Да-а,— неохотно соглашается мистер Уивл.

— Ну, Тони, какое у тебя выражение лица! — укоризненно говорит его приятель.— Неужели ты сомневаешься в Уильяме Гаппи? Неужели боишься, как бы чего не вышло?

— Я боюсь только того, что знаю, Уильям, не больше,— хмуро отвечает Тони.

— А что ты знаешь? — пристает к нему мистер Гаппи, слегка повышая голос, но приятель снова предупреждает его: «Сказано тебе — говори потише», и он повторяет вопрос совершенно беззвучно, выговаривая слова одними лишь движениями губ: «Что же ты знаешь?»

— Я знаю три вещи. Во-первых, я знаю, что мы тут с тобой шепчемся по секрету, уединившись... словно два заговорщика.

— Ну что ж! — говорит мистер Гаппи.— Лучше нам быть заговорщиками, чем олухами, а поступай мы иначе, мы были бы олухами; ведь иначе нашего дела не обделать. Во-вторых?

— Во-вторых, мне неясно, какая нам в конце концов от этого дела выгода будет?

Мистер Гаппи, устремив взор на портрет леди Дедлок, прибитый над каминной полкой, отвечает ему:

— Тони, прошу тебя, положись на честность своего друга; кроме того, мы все это затеяли с целью помочь твоему другу в отношении тех струн человеческой души, которые... которых сейчас не следует трогать, чтобы не вызвать мучительного трепетанья. Твой друг не дурак!.. Что это?

— Колокол на соборе святого Павла бьет одиннадцать. Слышишь — все колокола в городе зазвонили.

Приятели сидят молча, слушая металлические голоса, близкие и далекие,— голоса, что раздаются с колоколен

различной высоты и по звуку различаются между собой еще больше, чем колокола — по высоте своего положения над землей. Когда они, наконец, умолкают, воцаряется тишина еще более таинственная, чем раньше. Ведь шепот имеет одно неприятное свойство,— кажется, будто он создает вокруг шепчущихся атмосферу безмолвия, в которой витают духи звуков: странные потрескиванья и постукиванья, шорох невещественных одежд и шум зловещих шагов, не оставляющих следов на морском песке и зимнем снегу. А приятели, оказывается, так впечатлительны, что им чудится, будто воздух кишит призраками, и оба одновременно оглядываются назад, чтобы удостовериться, закрыта ли дверь.

— Ну, Тони,— продолжает мистер Гаппи, придвигаясь поближе к камину и покусывая ноготь дрожащего большого пальца,— а что же ты хотел сказать в-третьих?

— Не очень-то приятно устраивать заговор против покойника, да еще в той комнате, где он умер, особенно если сам в ней живешь.

— Но мы же не устраиваем никаких заговоров против него, Тони.

— Может, и нет, а все-таки мне это не нравится. Поживи-ка здесь сам,— увидишь, как все это понравится *тебе*.

— Что касается покойников, Тони,— продолжает мистер Гаппи, уклоняясь от этого предложения,— то ведь почти во всех комнатах когда-нибудь да были покойники.

— Знаю, что были, но почти во всех комнатах покойников оставляют в покое, и... они тоже оставляют тебя в покое,— возражает Тони.

Приятели снова смотрят друг на друга. Мистер Гаппи замечает вскользь, что, затеяв все это дело, они, быть может, даже окажут услугу покойнику... надо надеяться. Наступает тягостное молчание, но вдруг мистер Уивл неожиданно начинает мешать угли в камине, а мистер Гаппи вскакивает, словно это в его собственном сердце помешали кочергой.

— Тьфу! Этой отвратительной копоти налетело еще больше,— говорит он.— Давай-ка откроем на минутку

окно и глотнем свежего воздуха. Здесь невыносимо душно.

Он поднимает оконную раму, и оба ложатся животом на подоконник, наполовину высунувшись наружу. Переулок так узок, что приятели могут увидеть небо не иначе, как выгнув шею и задрав голову вверх; но огни, которые светятся кое-где в запыленных окнах, далекое тарахтенье экипажей и сознание того, что вокруг движутся люди,— все это действует успокоительно. Мистер Гаппи, бесшумно хлопая рукой по подоконнику, снова начинает шептать легким комедийным тоном:

— Кстати, Тони, не забудь, что старику Смоллуиду про это молчок,— он имеет в виду Смоллуида-младшего.— Я, знаешь, решил не впутывать его в это дело. Дедушка у него до черта въедливый. Это у них в роду.

— Не забуду,— говорит Тони.— Я знаю, как себя держать.

— Теперь насчет Крука,— продолжает мистер Гаппи.— Как ты думаешь, правда ли, что он добыл какие-то другие важные документы, как сам похвастался тебе, когда вы так подружились?

Тони качает головой.

— Не знаю. Понятия не имею. Если мы обделаем это дельце, не возбудив его подозрений, я, конечно, разберусь во всем. А как мне знать сейчас, если я не видел этих документов, а сам он ничего не понимает? Он постоянно читает — букву за буквой — отдельные слова из своих бумаг, потом чертит эти слова мелом на столе или на стене в лавке и спрашивает, что значит это да что значит то; но я не удивлюсь, если все его документы окажутся бросовой бумагой — он и купил-то их как макулатуру. Просто он забрал себе в голову, что у него есть важные документы. Судя по его словам, он целую четверть века все пытался их прочитать.

— Но почему это взбрело ему на ум? Вот в чем вопрос,— говорит мистер Гаппи, прищурив глаз и немного подумав с видом опытного юриста.— Возможно, он случайно нашел бумаги в какой-нибудь вещи, которую купил и где бумаг не должно было быть; а спрятаны они были так и в таком месте, что Крук, вероятно, вбил себе

в свою хитрую голову, что они имеют какую-то ценность.

— А может быть, его облапошили, вовлекли в жульническую сделку. А может, он свихнулся оттого, что постоянно рассматривал свои бумаги, пьянствовал, торчал в суде лорд-канцлера и вечно слушал чтение документов,— предполагает мистер Уивл.

Мистер Гаппи кивает и, взвешивая в уме все эти возможности, по-прежнему задумчиво похлопывает по подоконнику, на котором теперь уже сидит, упирается в него, измеряет его длину, растопырив пальцы, но вдруг быстро отдергивает руку.

— Что такое, черт побери? — восклицает он.— Посмотри на мои пальцы!

Они запачканы какой-то густой желтой жидкостью, омерзительной на ощупь и на вид и еще более омерзительно пахнущей каким-то тухлым тошнотворным жиром, который возбуждает такое отвращение, что приятелей передергивает.

— Что ты тут делал? Что ты выливал из окна?

— Что выливал? Да ничего я не выливал, клянусь тебе! Ни разу ничего не выливал с тех пор, как живу здесь,— восклицает жилец мистера Крука.

И все же смотрите сюда... и сюда! Мистер Уивл приносит свечу, и теперь видно, как жидкость, медленно капая с угла подоконника, стекает вниз, по кирпичам, а в другом месте застаивается густой зловонной лужицей.

— Ужасный дом,— говорит мистер Гаппи, рывком опуская оконную раму.— Дай воды, не то я руку себе отрежу.

Мистер Гаппи так долго мыл, тер, скреб, нюхал и опять мыл запачканную руку, что не успел он подкрепиться стаканчиком бренди и молча постоять перед камином, как колокол на соборе св. Павла принялся бить двенадцать часов; и вот уже все другие колокола тоже начинают бить двенадцать на своих колокольнях, низких и высоких, и многоголосый звон разносится в ночном воздухе. Но вскоре снова наступает тишина, и мистер Уивл объявляет:

— Ну, наконец-то срок наступил. Идти мне?

Мистер Гаппи кивает и «на счастье» хлопает его по спине, но не правой рукой, несмотря на то что запачканную правую он вымыл.

Мистер Уивл спускается по лестнице, а мистер Гаппи садится перед камином, стараясь приготовиться к долгому ожиданию. Но не проходит и двух минут, как слышится скрип ступенек, и Тони вбегает в комнату.

— Письма достал?

— Как бы не так! Ничего я не достал. Старика там нет.

За этот короткий промежуток времени Тони успел так перепугаться, что приятель, заразившись его страхом, бросается к нему и спрашивает громким голосом:

— Что случилось?

— Я не мог его дозваться, тихонько отворил дверь и заглянул в лавку. А там пахнет гарью... всюду копоть и этот жир... а старика нет!

И Тони издает стон.

Мистер Гаппи берет свечу. Ни живы ни мертвы приятели спускаются по лестнице, цепляясь друг за друга, и открывают дверь комнаты при лавке. Кошка отошла к самой двери и шипит,— не на пришельцев, а на какой-то предмет, лежащий на полу перед камином. Огонь за решеткой почти погас, но в комнате что-то тлеет, она полна удушливого дыма, а стены и потолок покрыты жирным слоем копоти. Кресла, стол и бутылка, которая почти не сходит с этого стола, стоят на обычных местах. На спинке одного кресла висят лохматая шапка и куртка старика.

— Смотри! — шепчет Уивл, показывая на все это приятелю дрожащим пальцем.— Так я тебе и говорил. Когда я видел его в последний раз, он снял шапку, вынул из нее маленькую пачку старых писем и повесил шапку на спинку кресла,— куртка его уже висела там, он снял ее перед тем, как пошел закрывать ставни; а когда я уходил, он стоял, перебирая письма, на том самом месте, где на полу сейчас лежит что-то черное.

Уж не повесился ли он? Приятели смотрят вверх. Нет.

— Гляди! — шепчет Тони.— Вон там, у ножки кре-



сла, валяется обрывок грязной тонкой красной тесьмы, какой гусиные перья в пучки связывают. Этой тесьмой и были перевязаны письма. Он развязывал ее не спеша, а сам все подмигивал мне и ухмылялся, потом начал перебирать письма, а тесемку бросил сюда. Я видел, как она упала.

— Что это с кошкой? — говорит мистер Гаппи.— Видишь?

— Должно быть, взбесилась. Да и немудрено — в таком жутком месте.

Оглядываясь по сторонам, приятели медленно продвигаются. Кошка стоит там, где они ее застали, по-прежнему шипя на то, что лежит перед камином между двумя креслами.

Что это? Выше свечу!

Вот прожженное место на полу; вот небольшая пачка бумаги, которая уже обгорела, но еще не обратилась в пепел; однако она не так легка, как обычно бывает сгоревшая бумага, и словно пропитана чем-то, а вот... вот головешка — обугленное и разломившееся полено, осыпанное золой; а может быть, это кучка угля? О, ужас, это он! и это все, что от него осталось; и они сломя голову бегут прочь на улицу с потухшей свечой, натыкаясь один на другого.

На помощь, на помощь, на помощь! Бегите сюда, в этот дом, ради всего святого!

Прибегут многие, но помочь не сможет никто. «Лорд-канцлер» этого «Суда», верный своему званию вплоть до последнего своего поступка, умер смертью, какой умирают все лорд-канцлеры во всех судах и все власть имущие во всех тех местах — как бы они ни назывались,— где царит лицемерие и творится несправедливость. Называйте, ваша светлость, эту смерть любым именем, какое вы пожелаете ей дать, объясняйте ее чем хотите, говорите сколько угодно, что ее можно было предотвратить,— все равно это вечно та же смерть — предопределенная, присущая всему живому, вызванная самими гнилостными соками порочного тела, и только ими, и это — Самовозгорание, а не какая-нибудь другая смерть из всех тех смертей, какими можно умереть.

## ГЛАВА XXXIII
### *Непрошеные гости*

И вот оба джентльмена, чьи манжеты и запонки не совсем в порядке,— те самые джентльмены, которые присутствовали на последнем дознании коронера в «Солнечном гербе»,— снова появляются в околотке с непостижимой быстротой (за ними сломя голову сбегал расторопный и сметливый приходский надзиратель) и, учинив допрос всему переулку, ныряют в зал «Солнечного герба» и что-то строчат маленькими хищными перьями на листках тонкой бумаги. И вот поздней ночью они пишут о том, как вчера, около полуночи, весь квартал, расположенный по соседству с Канцлерской улицей, пришел в сильнейшее волнение и возбуждение, вызванные нижеследующим потрясающим и ужасным открытием. И вот они выражают уверенность, что читатели не забыли, как некоторое время тому назад общество было встревожено случаем загадочной смерти от опиума, имевшем место на втором этаже дома, где помещается лавка тряпья, бутылок и подержанных корабельных принадлежностей, которую держал некий Крук,— в высшей степени странная личность, человек весьма невоздержанный и уже очень немолодой,— и что, может быть, читатели вспомнят, как по удивительному стечению обстоятельств этого самого Крука допрашивали на дознании, которое производилось по данному загадочному случаю в «Солнечном гербе», перворазрядном ресторане, непосредственно примыкающем с западной стороны к упомянутому дому и принадлежащем весьма уважаемому ресторатору мистеру Джеймсу Джорджу Богсби. И вот они описывают (елико возможно многословнее), как вчера вечером обитатели переулка в течение нескольких часов ощущали чрезвычайно странный запах, который и помог обнаружить трагическое происшествие, служащее темой настоящей заметки, каковой запах одно время был настолько силен, что мистер Суиллс, исполнитель комических песен, ангажированный мистером Дж. Дж. Богсби, самолично рассказал нашему репортеру о том, как он говорил мисс М. Мелвилсон, особе с некоторыми претензиями на музы-

кальный талант (также ангажированной мистером Дж. Дж. Богсби для участия в ряде концертов под названием «Гармонические ассамблеи или собрания», которые устраиваются в «Солнечном гербе» под руководством мистера Богсби в соответствии с указом короля Георга Второго),— говорил мисс М. Мелвилсон о том, что он (мистер Суиллс) чувствует, как загрязненное состояние атмосферы серьезно повредило его голосу, причем даже заметил в шутку, что он сейчас точь-в-точь отставной дипломат — не может издать ни единой ноты. Описывают, наконец, как это сообщение мистера Суиллса полностью подтвердилось показаниями двух весьма неглупых замужних женщин — миссис Пайпер и миссис Перкинс, которые проживают в том же переулке и, заметив зловонные испарения, решили, что они исходят из помещения, занимаемого Круком — злополучным покойником.

Все это и многое другое указанные два джентльмена строчат на месте происшествия, заключив между собою дружеский союз на почве прискорбной катастрофы, а мальчишки, населяющие переулок (мигом улизнувшие из своих кроватей) осаждают ставни зала в «Солнечном гербе», пытаясь увидеть хоть макушки обоих джентльменов, пока те еще пишут.

Все обитатели переулка — от мала до велика — не спят всю ночь и, нахлобучив что-нибудь на голову, выбегают на улицу, где только и делают, что говорят о злосчастном доме и глазеют на него. Мисс Флайт самоотверженно вытащили наружу, словно это в ее комнате вспыхнул пожар, и устроили ей ложе в «Солнечном гербе». А «Солнечный герб» всю ночь не гасит газа и не закрывает дверей, так как всякий переполох, от чего бы он ни случился, приносит доход трактиру, вызывая в обитателях переулка жажду успокоения. Со дня дознания «Солнечный герб» ни разу так бойко не торговал столь полезными для желудка головками чесноку и разбавленным горячей водой бренди. Как только трактирный слуга услышал о происшествии, он засучил рукава рубашки до самых плеч и сказал: «Ну, теперь у нас отбоя не будет от посетителей!» При первых же признаках тревоги юный Пайпер ринулся за пожарными машинами и с тор-

жеством примчался обратно тряским галопом, верхом на «Фениксе» *, изо всех сил цепляясь за это мифическое существо и окруженный шлемами и факелами. Один из «шлемов» остается на месте происшествия, после тщательного осмотра всех щелей и трещин, и теперь неторопливо прохаживается взад и вперед перед домом вместе с одним из двух полисменов, которых также оставили для присмотра. Обитатели переулка, из числа тех, у кого водятся лишние деньжонки, охвачены неутолимой жаждой оказать этой троице гостеприимство в виде всевозможных жидкостей.

Мистер Уивл и его друг мистер Гаппи сидят за буфетной стойкой «Солнечного герба», и «Солнечный герб» так дорожит ими, что предоставил в их распоряжение все запасы своего буфета,— только бы посидели подольше.

— Не такое теперь время,— говорит мистер Богсби,— чтобы скупиться на деньги,— хотя сам довольно рьяно гонится за ними, стоя за прилавком.— Заказывайте, джентльмены, и — милости просим — получайте все что назовете!

По этому приглашению оба джентльмена (особенно мистер Уивл) называют столько разных яств и напитков, что с течением времени им уже становится трудно назвать что-нибудь достаточно внятно; однако друзья, уже в который раз и всякий раз по-другому, рассказывают каждому новому посетителю о том, какая ночка выпала им на долю, да что они сказали, да что подумали, да что увидели. Тем временем то один, то другой полисмен подходит к дверям и, протянув руку, приоткрывает их и заглядывает внутрь из мрака ночи. Не то чтобы у него зародились какие-то подозрения, но ведь ему не худо знать, что тут делается.

Так ночь движется своей тяжелой поступью и видит, что переулок все еще бодрствует в неурочные часы, все еще угощает и угощается, все еще ведет себя так, как будто неожиданно получил в наследство малую толику денег. Так ночь, медленно отступая, наконец, уходит, а фонарщик начинает свой обход и, как палач короля-деспота, отсекает маленькие огненные головы, стремившиеся хоть немного рассеять тьму. Так — худо ли, хорошо ли — наступает день.

А наступивший день, как ни мутно его лондонское око, может удостовериться, что переулок бодрствовал всю ночь. Не говоря уже о головах, что в дремоте опустились на столы, и пятках, что лежат на каменных полах, вместо того чтобы покоиться на кроватях, каменный лик самого переулка выглядит истомленным и осунувшимся. Но вот просыпается весь околоток и, услышав о том, что произошло, полуодетый, устремляется на расспросы, а у «шлема» и полисменов (которые, судя по их виду, волнуются гораздо меньше, чем переулок) хватает хлопот по охране дверей злополучного дома.

— Боже ты мой, джентльмены! — восклицает мистер Снегсби, подходя к ним.— Что я слышу?

— Что ж, все правда,— отвечает один из полисменов.— То-то вот и оно. Ну, не задерживайтесь, проходите!

— Но, боже ты мой, джентльмены,— снова начинает мистер Снегсби, довольно грубо оттиснутый назад,— я же только вчера вечером стоял у этой самой двери между десятью и одиннадцатью часами и разговаривал с молодым человеком, который здесь проживает.

— В самом деле? — отзывается полисмен.— Этого молодого человека вы найдете в соседнем доме. Эй, вы, там, проходите, не задерживайтесь!

— Надеюсь, он не получил повреждений? — осведомляется мистер Снегсби.

— Каких повреждений? Нет. С чего бы ему получать повреждения?

Мистер Снегсби так расстроен, что неспособен ответить ни на этот, ни на любой другой вопрос, и, отступив к «Солнечному гербу», видит там мистера Уивла, изнывающего над чаем с гренками в позе выдохшегося возбуждения и в клубах выдохнутого табачного дыма.

— И мистер Гаппи тоже! — восклицает мистер Снегсби.— Ох-ох-ох! Во всем этом поистине виден перст судьбы! А моя кро...

Голос отказывается служить мистеру Снегсби раньше, чем он успевает вымолвить слова «моя крошечка». Лицезрение сей оскорбленной супруги, которая в столь ранний час вошла в «Солнечный герб», стала у пивного бачка

и подобно грозному обвиняющему призраку впилась глазами в торговца канцелярскими принадлежностями, лишает его дара речи.

— Дорогая,— говорит мистер Снегсби, когда язык у него, наконец, развязывается,— не хочешь ли чего-нибудь выпить? Немножко... говоря напрямик, капельку фруктового сока с ромом?

— Нет,— отвечает миссис Снегсби.

— Душенька, ты знакома с этими двумя джентльменами?

— Да! — отвечает миссис Снегсби и холодно кланяется им, не спуская глаз с мистера Снегсби.

Любящий мистер Снегсби не в силах всего этого вынести. Он берет миссис Снегсби под руку и отводит ее в сторону, к ближнему бочонку.

— Крошечка, почему ты так смотришь на меня? Прошу тебя, не надо!

— Я не могу смотреть иначе,— говорит миссис Снегсби,— а хоть и могла бы, так не стала бы.

Кротко покашливая, мистер Снегсби спрашивает: «Неужели не стала бы, дорогая?» — и задумывается. Потом кашляет тревожным кашлем и говорит: «Это ужасная тайна, душенька!», но грозный взгляд миссис Снегсби приводит его в полное замешательство.

— Правильно,— соглашается миссис Снегсби, качая головой,— это действительно ужасная тайна.

— Крошечка,— жалобно умоляет мистер Снегсби,— ради бога, не говори со мной так сурово и не смотри на меня как сыщик! Прошу тебя и умоляю,— не надо. Господи, уж не думаешь ли ты, что я способен подвергнуть кого-нибудь... самовозгоранию, дорогая?

— Почем я знаю? — отвечает миссис Снегсби.

Наскоро обдумав свое несчастное положение, мистер Снегсби приходит к выводу, что на этот вопрос он и сам бы ответил «почем я знаю». Ведь он не может категорически отрицать своей причастности к происшествию. Он принял столь близкое участие,— какое именно, он не имеет понятия,— в одной таинственной истории, связанной с этим домом, и, быть может, сам того не подозревая, замешан и во вчерашнем событии. В истоме он отирает лоб носовым платком и вздыхает.

— Жизнь моя,— говорит несчастный торговец канцелярскими принадлежностями,— ты, надеюсь, не откажешься объяснить мне, почему, отличаясь вообще столь щепетильно примерным поведением, ты зашла в винный погребок до первого завтрака?

— А зачем пришел сюда *ты?* — спрашивает миссис Снегсби.

— Дорогая моя, только затем, чтоб узнать подробности рокового несчастья, случившегося с почтенным человеком, который... который самовозгорелся.— Мистер Снегсби делает паузу, чтобы подавить стон.— А еще затем, чтобы потом рассказать тебе обо всем, душенька, в то время как ты будешь пить чай с французской булочкой.

— Рассказать? Как бы не так! Словно вы рассказываете мне *все,* мистер Снегсби!

— Все... моя кро...

— Я буду рада,— говорит миссис Снегсби, наблюдая с суровой и зловещей усмешкой за его возрастающим смущением,— если вы вместе со мною пойдете домой. Я считаю, мистер Снегсби, что дома сидеть вам не так опасно, как в иных прочих местах.

— Право, не понимаю, душенька, почему ты так думаешь, но я готов уйти.

Мистер Снегсби беспомощно окидывает взором трактир, желает доброго утра мистерам Уивлу и Гаппи, заверяет их в своей радости по случаю того, что они не получили повреждений, и следует за миссис Снегсби, уходящей из «Солнечного герба». К вечеру возникшие у него подозрения насчет непостижимой доли его участия в катастрофе, которая служит предметом людских толков во всем околотке, почти превратились в уверенность, так он подавлен упорством, с каким миссис Снегсби сверлит его пристальным взглядом. Душевные муки его столь велики, что в нем возникает смутное желание отдать себя в руки правосудия и потребовать оправдания, если он не виновен, или кары по всей строгости закона, если виновен.

После завтрака мистер Уивл и мистер Гаппи направляются в Линкольнс-Инн, чтобы погулять по площади и очиститься от затянувшей их мозги темной паутины,— насколько возможно их очистить в течение небольшой прогулки.

— Сейчас самое время, Тони,— начинает мистер Гаппи, после того как они в задумчивости прошлись по всем четырем сторонам площади,— сейчас самое время нам с тобой перекинуться словечком-другим насчет одного пункта, о котором нам нужно договориться безотлагательно.

— Вот что я тебе скажу, Уильям Гаппи! — отзывается мистер Уивл, глядя на своего спутника глазами, налитыми кровью.— Если этот пункт имеет отношение к заговору, лучше тебе и не говорить о нем. Этого с меня хватит, и больше я об этом слышать не хочу. А не то смотри, как бы *ты сам* не загорелся или не взорвался с треском!

Возможность эта столь не по вкусу мистеру Гаппи, что голос у него дрожит, когда он назидательным тоном внушает приятелю: «Тони, я полагаю, что все пережитое нами прошлой ночью послужит тебе уроком, и теперь ты до самой смерти не будешь переходить на личности». На это мистер Уивл отзывается следующими словами: «Я полагаю, Уильям, что это послужит уроком *тебе,* и теперь ты до самой смерти не будешь устраивать заговоров». Мистер Гаппи спрашивает: «Кто это устраивает заговоры?» Мистер Джоблинг отвечает: «Кто? Да *ты,* конечно!» Мистер Гаппи ему на это: «Нет, не устраиваю». А мистер Джоблинг ему на это: «Нет, устраиваешь!» Мистер Гаппи ему: «Кто это сказал?» Мистер Джоблинг ему: «Я сказал!» Мистер Гаппи: «Ах, вот как?» Мистер Джоблинг: «Именно так!» И, разгорячившись, оба некоторое время шагают молча, чтобы остыть.

— Тони! — говорит, наконец, мистер Гаппи.— Если бы ты выслушал своего друга, вместо того чтобы набрасываться на него, ты бы не попал впросак. Но ты вспыльчив и неделикатен. Ты, Тони, обладая всем, что способно очаровать взор...

— К черту взор! — восклицает мистер Уивл, перебивая его.— Выкладывай все, что тебе не терпится сказать.

Мистер Гаппи снова принимается за свое, но, видя приятеля в угрюмом и прозаическом расположении духа, выражает тончайшие чувства своей души лишь тем, что говорит обиженным тоном:

— Тони, когда я утверждаю, что нам с тобой надо безотлагательно договориться насчет одного пункта, то это не имеет ничего общего с заговором, даже невинным. Как тебе известно, в тех случаях, когда предстоит судебное разбирательство, необходимо заранее определить, какие именно факты должны быть установлены свидетельскими показаниями. Как по-твоему, желательно или не желательно, чтобы мы дали себе отчет, о каких именно фактах нас будут допрашивать на дознании о смерти этого несчастного старого мо... джентльмена? (Мистер Гаппи хотел было сказать «мошенника», но решил, что в данном случае слово «джентльмен» приличнее.)

— О каких фактах? Да о тех фактах, какие были.

— Я говорю о тех фактах, которые потребуется установить на дознании. А именно,— мистер Гаппи пересчитывает их по пальцам: — нас спросят, что̀ мы знали о его привычках; когда мы видели его в последний раз; в каком состоянии он был тогда; что̀ именно мы нашли и как мы это нашли.

— Да,— говорит мистер Уивл,— об этих фактах спросят.

— Так вот, мы первые нашли его мертвым, потому что он, будучи человеком со странностями, условился встретиться с тобой в полночь, чтобы ты помог ему разобрать какую-то бумагу, а это ты часто делал и раньше, так как сам он был неграмотный. Я весь вечер сидел у тебя, ты позвал меня вниз... ну, и так далее. Дознание будут вести только об обстоятельствах смерти покойного, значит, не следует говорить о том, что не относится к перечисленным мною фактам; надеюсь, ты с этим согласен?

— Да! — отвечает мистер Уивл.— Пожалуй, да.

— И ты не скажешь теперь, что это заговор? — говорит мистер Гаппи обиженным тоном.

— Нет,— отвечает его приятель,— и если дело только в этом, а не в чем-то похуже, я отказываюсь от своих возражений.

— А теперь, Тони,— говорит мистер Гаппи, снова взяв его под руку и медленно увлекая вперед,— мне хотелось бы знать, как другу, подумал ли ты о многочисленных преимуществах, которые получишь, если останешься жить в этом доме?

— Что ты хочешь этим сказать? — спрашивает Тони, остановившись.

— Подумал ли ты о многочисленных преимуществах, которые получишь, если останешься жить в этом доме? — повторяет мистер Гаппи, снова увлекая его вперед.

— В каком доме? В *том* доме?

Тони указывает в сторону лавки Крука.

Мистер Гаппи кивает.

— Ну, знаешь, я там ни одной ночи больше не проведу ни за какие блага, что бы ты мне ни предложил,— говорит мистер Уивл, испуганно озираясь.

— Ты так полагаешь, Тони?

— Полагаю! Неужели по моему виду можно подумать, что я только полагаю? Я в этом уверен! Я это знаю,— заявляет мистер Уивл, вздрогнув отнюдь не притворно.

— Значит, возможность или вероятность,— ибо дело надо рассматривать с этой точки зрения,— возможность или вероятность спокойно пользоваться имуществом, принадлежавшим одинокому старику, у которого, по-видимому, не было родственников, и вдобавок уверенность в том, что тебе удастся разузнать, что именно у него хранилось,— все это, по-твоему, не имеет никакого значения — до того тебя расстроила прошлая ночь,— так я тебя понимаю, Тони? — говорит мистер Гаппи, кусая себе большой палец с тем бóльшим ожесточением, чем больше он досадует.

— Никакого значения! И как только у тебя хватает нахальства предлагать мне жить в этом доме! — негодующе восклицает мистер Уивл.— Ступай-ка сам там поживи!

— Зачем говорить обо мне, Тони? — увещевает его мистер Гаппи.— Я никогда в этом доме не жил и не могу в нем поселиться теперь, а ты там снял комнату.

— Добро пожаловать в эту комнату,— подхватывает его приятель и — тьфу! — будь как дома!

— Значит, ты твердо решил бросить эту затею,— говорит мистер Гаппи,— так я тебя понимаю, Тони?

— Да,— подтверждает Тони с самой убедительной искренностью.— За всю свою жизнь ты не сказал ничего более правильного. Именно так!

Пока они разговаривают, на площадь въезжает наемная карета, на козлах которой, бросаясь в глаза прохожим, торчит высоченный цилиндр. В карете, а значит бросаясь в глаза если не прохожим, то уж, во всяком случае, обоим приятелям,— ведь карета останавливается рядом с ними, чуть на них не наехав,— в карете восседают почтенный мистер Смоллуид и миссис Смоллуид вместе со своей внучкой Джуди.

Вся эта компания явно куда-то торопится, и вид у нее возбужденный, а когда высоченный цилиндр (украшающий мистера Смоллуида-внука) спускается с козел, мистер Смоллуид-дед, высунув голову из окна кареты, кричит мистеру Гаппи:

— Как поживаете, сэр? Как поживаете?

— Удивляюсь, зачем это Смолл и его семейство явились сюда в такую рань? — говорит мистер Гаппи, кивая приятелю.

— Дорогой сэр,— кричит дедушка Смоллуид,— окажите мне милость! Может, вы будете так любезны оба, вы и ваш друг, перенести меня в ресторан, тут в переулке, пока Барт с сестрой перенесут бабушку? Окажите услугу старику, сэр!

Мистер Гаппи бросает взгляд на приятеля, повторяя вопросительным тоном: «Ресторан в переулке?» Потом догадывается, что речь идет о «Солнечном гербе», и вместе с мистером Уивлом готовится переправить туда почтенную кладь.

— Вот тебе плата за проезд! — обращается старец к своему вознице, свирепо усмехаясь и грозя ему бессильным кулаком.— Попробуй попросить еще хоть пенни,— я тебе не уплачу, но отплачу по закону. Милые молодые люди, пожалуйста, несите меня поосторожней! Позвольте вас обнять. Постараюсь вас особенно не душить. Ох, боже мой! Ох ты, господи! Ох, кости вы мои!

Хорошо, что «Солнечный герб» недалеко,— а то ведь не успели они пройти и полдороги, как мистер Уивл принимает вид человека, пораженного апоплексическим ударом. Состояние его, впрочем, не ухудшается — он только покряхтывает, дыша с трудом, но выполняет свою долю участия в переноске,— так что благодушный пожилой

джентльмен, наконец, прибывает в зал «Солнечного герба», как он того и желал.

— Ох, боже мой,— охает мистер Смоллуид, озираясь и еле переводя дух в своем кресле.— Ох ты, господи! Ох, кости как ноют! Ох, спина болит! Ох, старость не радость! Да сядь же ты, наконец, плясунья, прыгунья, болтунья, крикунья, попугаиха! Сядь!

Его маленькая речь обращена к миссис Смоллуид и вызвана своеобразным поведением несчастной старухи, которая имеет привычку, как только ее поставят на ноги, семенить мелкими шажками по комнате в каком-то ведьмовском танце и, что-то бурча, «делать стойку» перед неодушевленными предметами. Это объясняется не только слабоумием — бедная старуха, по-видимому, страдает еще и каким-то нервным расстройством; и сейчас она так бойко тараторила и плясала перед креслом с решетчатой спинкой, парным с тем, в котором сидит мистер Смоллуид, что угомонилась только тогда, когда внуки усадили ее в это кресло; а повелитель ее тем временем с красноречивым пылом обзывал супругу «упрямой галкой» и столько раз повторял эти ласковые слова, что остается только удивляться.

— Дорогой сэр,— продолжает дедушка Смоллуид, обращаясь к мистеру Гаппи,— тут случилась беда. Кто-нибудь из вас слышал о ней?

— Как не слыхать, сэр! Да ведь это мы первые его нашли!

— Вы его нашли? Вы оба нашли его? Барт, его нашли *они!*

Друзья, нашедшие «его», оторопело взирают на Смоллуидов, которые отвечают им тем же.

— Дорогие друзья,— визжит дедушка Смоллуид, протягивая руки,— премного вам благодарен за то, что вы приняли на себя скорбный труд найти прах родного брата миссис Смоллуид.

— Как? — переспрашивает мистер Гаппи.

— Брата миссис Смоллуид, любезный мой друг,— ее единственного родственника. Мы не были с ним в родственных отношениях, о чем теперь следует пожалеть, но ведь он *сам* не хотел поддерживать с нами родственные отношения. Он не любил нас. Он был чудак... большой

чудак. Если он не оставил завещания (а он, конечно, не оставил), я выхлопочу приказ о назначении меня душеприказчиком. Я приехал сюда присмотреть за имуществом — его надо опечатать, его надо стеречь. Я приехал сюда,— повторяет дедушка Смоллуид, загребая воздух всеми своими десятью пальцами сразу,— присмотреть за имуществом.

— Мне кажется, Смолл,— говорит безутешный мистер Гаппи,— ты должен был нам сказать, что Крук приходится тебе дядей.

— А вы оба сами ни слова не говорили о нем, вот я и подумал, что вам будет приятней, если я тоже буду помалкивать,— отвечает этот хитрец, таинственно поблескивая глазами.— Да я и не очень-то им гордился.

— Вас это вовсе и не касалось, дядя он нам или нет,— говорит Джуди. И тоже таинственно поблескивает глазами.

— Он меня ни разу в жизни не видел,— добавляет Смолл,— так с какой стати мне было знакомить *его* с вами!

— Да, с нами он никогда не встречался, о чем теперь следует пожалеть,— перебивает его дедушка Смоллуид,— но я приехал присмотреть за имуществом,— просмотреть бумаги и присмотреть за имуществом. Наследство по праву принадлежит нам, и мы его получим. Это дело я поручил своему поверенному. Мистер Талкингхорн, что живет на Линкольновых полях, здесь по соседству, был так любезен, что согласился взяться за это в качестве моего поверенного, а уж он такой человек, что «сквозь землю видит», будьте покойны. Крук был единственным братом миссис Смоллуид; у нее не было родственников, кроме Крука, а у Крука не было родственников, кроме нее. Я говорю о твоем брате, зловредная ты тараканиха... семьдесят шесть лет от роду было старику.

Миссис Смоллуид тотчас же принимается трясти головой и пищать:

— Семьдесят шесть фунтов семь шиллингов и семь пенсов! Семьдесят шесть тысяч мешков с деньгами! Семьдесят шесть сотен тысяч миллионов пачек банкнотов!

— Подайте мне кто-нибудь кувшин! — орет ее разъяренный супруг, беспомощно оглядываясь кругом и не

находя под рукой метательного снаряда.— Одолжите кто-нибудь плевательницу! Дайте мне что-нибудь твердое и острое, чем в нее запустить! Ведьма, кошка, собака, трещотка зловредная!

И, дойдя до белого каления от собственного красноречия, мистер Смоллуид, за неимением лучшего, хватает Джуди и что есть силы толкает эту юную деву на бабушку, а сам как мешок в изнеможении валится назад в кресло.

— Встряхните меня кто-нибудь, будьте так добры,— слышится голос из чуть шевелящейся кучи тряпья, в которую он превратился.— Я приехал присмотреть за имуществом. Встряхните меня и позовите полисменов, тех, что стоят на посту у соседнего дома,— я им объясню все, что нужно, насчет имущества. Мой поверенный сейчас явится сюда, чтобы подтвердить мои права на имущество. Каторга или виселица всякому, кто покусится на имущество! — И пока верные долгу внуки усаживают его и, как всегда, возвращают к жизни встряхиванием и пинками, он, задыхаясь, повторяет, как эхо: «И... имущество! Имущество!.. Имущество!»

Мистер Уивл и мистер Гаппи переглядываются: первый — с таким видом, словно он умыл руки и больше не желает вмешиваться в это дело, второй с растерянным лицом, словно у него еще остались какие-то надежды. Но права Смоллуидов оспаривать бесполезно. Приходит клерк мистера Талкингхорна, на время покинувший свое служебное место — деревянный диван в передней хозяина,— и заявляет полиции, что мистер Талкингхорн под свою ответственность удостоверяет родственные отношения Смоллуидов к покойному, обещая представить бумаги и свидетельства к надлежащему сроку и в надлежащем порядке. Мистеру Смоллуиду тотчас же разрешают утвердить его права путем родственного визита в соседний дом и втаскивают его наверх в опустевшую комнату мисс Флайт, где он сидит в кресле, смахивая на отвратительную хищную птицу,— новый экземпляр в птичьей коллекции хозяйки.

Слух о приезде нежданного наследника быстро распространяется по переулку и тоже приносит прибыль «Солнечному гербу», а обывателей держит в возбуждении.

Миссис Пайпер и миссис Перкинс полагают, что если завещания действительно не существует, то это несправедливо по отношению к «молодому человеку», и находят, что ему следует подарить что-нибудь ценное из наследства. Юный Пайпер и юный Перкинс, как члены неукротимого детского кружка — грозы прохожих на Канцлерской улице,— целый день превращаются в прах и пепел, играя в «самовозгорание» за водопроводной колонкой или под воротами, и над их останками раздаются дикие вопли и гиканье. Маленький Суиллс и мисс М. Мелвилсон ведут дружескую беседу со своими покровителями, чувствуя, что столь необычайные события должны уничтожить преграду между профессионалами и непрофессионалами. Мистер Богсби объявляет, что «Популярная песня «Король Смерть» — соло и хор,— исполняемая всей труппой», будет всю эту неделю гвоздем Гармонической программы; причем в афише сказано, что «Джеймс Джордж Богсби, невзирая на огромные дополнительные расходы, ставит этот номер, побуждаемый общими пожеланиями многочисленных уважаемых лиц, высказанными в баре, а также стремлением выразить скорбь по поводу недавно случившегося печального события, вызвавшего столь большую сенсацию». Одно обстоятельство, связанное с покойным, особенно сильно волнует переулок, а именно: общество считает, что следует заказать гроб нормального размера, несмотря на то, что положить в него нужно так мало. В середине дня, после того как гробовщик сообщил в баре «Солнечного герба» о полученном им заказе на «шестифутовик», общество чувствует себя вполне удовлетворенным и провозглашает, что поступок мистера Смоллуида делает ему великую честь.

За пределами переулка и даже на значительном от него расстоянии также наблюдается большое возбуждение: ученые и философы приезжают взглянуть на место происшествия; на углу улицы из карет высаживаются доктора, приехавшие с той же целью, и слышатся такие ученые рассуждения о воспламеняющихся газах и фосфористом водороде, какие переулку и во сне не снились. Некоторые из этих авторитетов (конечно, мудрейшие) с возмущением заявляют, что покойник не смел умирать той смертью, какую ему приписывают, а другие автори-

теты напоминают им об одном исследовании этого рода смерти, перепечатанном в шестом томе «Философских трудов», и об одном небезызвестном учебнике английской судебной медицины, а также о случае с графиней Корнелией Бауди, имевшем место в Италии (и подробно описанном некиим Бьянкини, веронским пребендарием, автором ряда ученых трудов, в свое время слывшим человеком неглупым), а также — о свидетельствах господ Фодерè и Мера, двух зловредных французов, упорно стремившихся изучить этот предмет, и, наконец,— о подтверждающем возможность подобных фактов свидетельстве господина Лё Ка, некогда довольно известного французского врача, который был столь невежлив, что жил в доме, где случилось происшествие подобного рода, и даже написал о нем статью; тем не менее первые из упомянутых авторитетов стоят на своем, и упрямство, с каким мистер Крук ушел из этого мира столь окольным путем, кажется им чем-то совершенно непозволительным и оскорбительным для них лично.

Чем меньше переулок разбирается во всех этих спорах, тем больше все это нравится переулку, и с тем большим удовольствием он угощается яствами, которые можно получить в «Солнечном гербе». Вскоре появляется художник, сотрудник иллюстрированной газеты, с листами бумаги,— на которых передний план и фигуры уже нарисованы и годятся для чего угодно, начиная с кораблекрушения на корнуэльском берегу и вплоть до парада в Гайд-парке * или митинга в Манчестере *,— и, расположившись в спальне миссис Перкинс,— комнате, которая навеки останется достопримечательностью,— мгновенно делает набросок с дома мистера Крука чуть ли не в натуральную величину, точнее, превращает этот дом в громадное здание — ни дать ни взять Тэмпл. А получив приглашение заглянуть в роковую комнату при лавке, он создает из нее помещение длиной в три четверти мили, а высотой в пятьдесят ярдов, чем переулок особенно восторгается. Все это время оба джентльмена, о которых говорилось выше, рыщут из дома в дом и присутствуют на философских диспутах,— словом, ходят всюду и слушают всех и каждого, однако успевают то и дело нырять

в зал «Солнечного герба» и писать там маленькими хищными перьями на листках тонкой бумаги.

И вот, наконец, появляется коронер и производит дознание, совершенно так же, как и в прошлый раз, если не считать того, что, особенно интересуясь этим случаем, как из ряда вон выходящим, он частным образом сообщает джентльменам присяжным, что «соседний дом, джентльмены, по-видимому, приносит несчастье; это — обреченный дом, но подобные вещи иной раз случаются, и это одна из тех загадок, которые мы разгадать не можем». Затем на сцену появляется «шестифутовик» и вызывает всеобщее восхищение.

Мистер Гаппи принимает лишь очень незначительное участие в происходящих событиях, если не считать того, что дает показания, ибо, как и всем посторонним, ему велят «проходить, не задерживаясь», и он может только слоняться около таинственного дома, с острой горечью наблюдать, как мистер Смоллуид запирает дверь на замок, и обижаться на то, что в дом его не пускают. Но, прежде чем все заканчивается — то есть на следующий вечер после катастрофы,— мистер Гаппи находит нужным сообщить кое-что леди Дедлок.

С замирающим сердцем и каким-то унизительным ощущением виновности, порожденным страхом и бодрствованием в «Солнечном гербе», молодой человек, некий Гаппи, подходит в семь часов вечера к подъезду особняка Дедлоков и просит доложить о себе ее милости. Меркурий отвечает, что миледи собирается ехать на званый обед; неужели он не видит кареты у подъезда? Да, он видит карету у подъезда; но тем не менее он желает видеть и миледи.

Меркурий, как он вскоре скажет одному своему коллеге, тоже ливрейному лакею, охотно бы «вытолкал вон молодого человека», если бы не получил приказания принять его, когда бы он ни пришел. Поэтому он скрепя сердце решается провести молодого человека в библиотеку. Здесь он оставляет молодого человека в просторной, неярко освещенной комнате, а сам идет доложить о нем.

Мистер Гаппи озирается по сторонам в полумраке, и всюду ему мерещится не то кучка угля, не то головешка, покрытая белой золой. Вскоре он слышит шорох.

Уж не... Нет, это не призрак, а прекрасная плоть в блистательном одеянии.

— Прошу прощения у вашей милости,— говорит, запинаясь, мистер Гаппи в величайшем унынии,— я пришел не вовремя...

— Я уже говорила вам, что вы можете прийти в любое время.

Миледи садится в кресло и смотрит ему прямо в лицо, как и в прошлый раз.

— Благодарю покорно, ваша милость. Ваша милость очень любезны.

— Можете сесть.

Тон у нее не особенно любезный.

— Не знаю, ваша милость, стоит ли мне садиться и задерживать вас, ведь я... я не достал тех писем, о которых говорил, когда имел честь явиться к вашей милости.

— Вы пришли только затем, чтобы сказать об этом?

— Только затем, чтобы сказать об этом, ваша милость.

Мистер Гаппи и так уже угнетен, разочарован, обескуражен, и в довершение всего блеск и красота миледи действуют на него ошеломляюще. Ей отлично известно, как влияют на людей ее качества,— она слишком хорошо это изучила, чтобы не заметить хоть ничтожной доли того впечатления, которое они производят на всех. Она смотрит на мистера Гаппи пристальным и холодным взглядом, а он не только не может угадать, о чем она сейчас думает, но с каждой минутой чувствует себя все более и более далеким от нее.

Она не хочет начинать разговор, это ясно; значит, начать должен он.

— Короче говоря, миледи,— приступает к делу мистер Гаппи тоном униженно кающегося вора,— то лицо, от которого я должен был получить эти письма, скоропостижно скончалось и...— Он умолкает.

Леди Дедлок невозмутимо доканчивает его фразу:

— И письма погибли вместе с этим лицом?

Мистер Гаппи ответил бы отрицательно, если бы мог... но он не в силах скрыть правду.

— Полагаю, что так, ваша милость.

Если бы он теперь мог заметить в ее лице хоть малейший признак облегчения! Но нет, этого он не заметил бы, даже если бы ее присутствие духа не смутило его окончательно и если бы сам он смотрел ей в лицо, а не отводил глаза.

Он что-то бормочет срывающимся голосом, неуклюже извиняясь за свою неудачу.

— Это все, что вы имеете мне сказать? — спрашивает леди Дедлок, выслушав его, или, точнее, выслушав то, что можно было разобрать в его лепете.

Мистер Гаппи отвечает, что все.

— Подумайте хорошенько, уверены ли вы в том, что ничего больше не желаете мне сказать, потому что вы говорите со мною в последний раз.

Мистер Гаппи в этом совершенно уверен. Да он и правда ничего больше не хочет сказать ей сейчас.

— Довольно. Я обойдусь без ваших извинений. Прощайте.

И, позвонив Меркурию, она приказывает ему проводить молодого человека, некоего Гаппи.

Но в доме в эту минуту случайно оказался пожилой человек, некий Талкингхорн. И этот пожилой человек, подойдя тихими шагами к библиотеке, в эту самую минуту кладет руку на ручку двери... входит... и чуть не сталкивается с молодым человеком, когда тот выходит из комнаты.

Одним лишь взглядом обмениваются пожилой человек и миледи, и на одно лишь мгновение всегда опущенная завеса взлетает вверх. Вспыхивает подозрение, страстное и острое. Еще мгновение, и завеса опускается снова.

— Прошу прощения, леди Дедлок... тысячу раз прошу прощения. Никак не ожидал застать вас здесь в такой час. Я думал, в комнате никого нет. Прошу прощения.

— Не уходите! — останавливает она его небрежным тоном.— Пожалуйста, останьтесь здесь. Я уезжаю на обед. Я уже кончила свой разговор с этим молодым человеком.

Расстроенный молодой человек выходит, кланяясь и подобострастно выражая надежду, что мистер Талкингхорн чувствует себя хорошо.



— Так, так,— говорит юрист, посматривая на него из-под сдвинутых бровей, хотя кому-кому, а мистеру Талкингхорну достаточно лишь бросить взгляд на мистера Гаппи.— От Кенджа и Карбоя, кажется?

— От Кенджа и Карбоя, мистер Талкингхорн. Моя фамилия Гаппи, сэр.

— Именно. Да, благодарю вас, мистер Гаппи, я чувствую себя прекрасно.

— Рад слышать, сэр. Желаю вам чувствовать себя как можно лучше, сэр, во славу нашей профессии.

— Благодарю вас, мистер Гаппи.

Мистер Гаппи выскальзывает вон крадущимися шагами. Мистер Талкингхорн, чей старомодный поношенный черный костюм по контрасту еще сильнее подчеркивает великолепие леди Дедлок, предлагает ей руку и провожает ее вниз по лестнице до кареты. Возвращается он, потирая себе подбородок, и в течение всего этого вечера потирает его очень часто.

## ГЛАВА XXXIV

### *Поворот винта*

— Что это такое? — спрашивает себя мистер Джордж.— Холостой заряд или пуля... осечка или выстрел?

Предмет этих недоумений — распечатанное письмо,— явно приводит кавалериста в полное замешательство. Он разглядывает письмо, держа его в вытянутой руке, потом подносит близко к глазам; берет его то одной рукой, то другой; перечитывает, наклоняя голову то вправо, то влево, то хмуря, то поднимая брови, и все-таки не может ответить на свой вопрос. Широкой ладонью он разглаживает письмо на столе, потом, задумавшись, ходит взад и вперед по галерее, то и дело останавливаясь, чтобы снова взглянуть на него свежим взглядом. Но даже это не помогает.

«Что же это такое,— раздумывает мистер Джордж,— холостой заряд или пуля?»

Неподалеку от него Фил Сквод при помощи кисти и горшка с белилами занимается побелкой мишеней, негромко насвистывая в темпе быстрого марша и на манер полковых музыкантов песню о том, что он «должен вернуться к покинутой деве и скоро вернется к ней» *.

— Фил!

Кавалерист подзывает его кивком.

Фил идет к нему, как всегда: сначала бочком отходит в сторону, словно хочет куда-то удалиться, потом бросается на своего командира, как в штыковую атаку. Брызги белил отчетливо выделяются на его грязном лице, и он чешет свою единственную бровь ручкой малярной кисти.

— Внимание, Фил! Слушай-ка, что я тебе прочитаю.

— Слушаю, командир, слушаю.

— «Сэр! Позвольте мне напомнить Вам (хотя, как Вам известно, по закону я не обязан Вам напоминать), что вексель сроком на два месяца, выданный Вами под поручительство мистера Мэтью Бегнета на сумму девяносто семь фунтов четыре шиллинга и девять пенсов, подлежит к уплате завтра, а посему благоволите завтра же внести означенную сумму по предъявлении упомянутого векселя. С почтением Джошуа Смоллуид». Что ты на это скажешь, Фил?

— Беда, хозяин.

— Почему?

— А потому,— отвечает Фил, задумчиво разглаживая поперечную морщину на лбу ручкой малярной кисти,— что, когда с тебя требуют деньги, это всегда значит, что быть беде.

— Слушай, Фил,— говорит кавалерист, присаживаясь на стол.— Ведь я, можно сказать, уже выплатил половину своего долга в виде процентов и прочего.

Отпрянув назад шага на два, Фил неописуемой гримасой на перекошенном лице дает понять, что, на его взгляд, это не может улучшить положения.

— Но слушай дальше, Фил,— говорит кавалерист, опровергая движением руки преждевременные выводы Фила.— Мы договорились, что вексель будет... как это называется... переписываться. И я его переписывал множество раз. Что ты на это скажешь?

— Скажу, что на этот раз переписать не удастся.

— Вот как? Хм! Я тоже так думаю.

— Джошуа Смоллуид, это тот, кого сюда притащили в кресле?

— Он самый.

— Начальник,— говорит Фил очень серьезным тоном,— по характеру он пиявка, а по хватке — винт и тиски; извивается как змея, а клешни у него как у омара.

Образно выразив свои чувства и немного подождав дальнейших вопросов, мистер Сквод обычным путем возвращается к недобеленной мишени и громким свистом объявляет во всеуслышание, что он должен вернуться и скоро вернется к некоей воображаемой деве. Джордж, сложив письмо, подходит к нему.

— Командир,— говорит Фил, бросив на него хитрый взгляд,— а все-таки *есть* способ уладить дело.

— Уплатить долг, что ли? Чего бы лучше — да не могу!

Фил качает головой.

— Нет, начальник, нет... не такой плохой. Но способ есть; смотрите, как надо поступить! — говорит Фил, делая мастерской мазок своей кистью.

— Ты хочешь сказать — «произвести побелку», то есть объявить себя несостоятельным должником?

Фил кивает.

— Ну и способ! А ты знаешь, что тогда будет с Бегнетами? Ты знаешь, что они разорятся, выплачивая мои долги? Так вот *ты какой* честный, Фил,— говорит кавалерист, разглядывая его с немалым возмущением,— хорош, нечего сказать!

Стоя на одном колене перед мишенью, Фил горячо оправдывается, подчеркивая свои слова множеством аллегорических взмахов кистью и оглаживая большим пальцем края белой поверхности: оказывается, он совсем позабыл о поручительстве Бегнета,— но раз так, делать нечего, и пусть ни один волосок не упадет с головы любого члена этого достойного семейства; а пока он оправдывается, за стеной, в длинном коридоре, раздается шум шагов, и слышно, как кто-то веселым голосом спрашивает, дома ли Джордж. Бросив взгляд на хозяина, Фил

поднимается, припадая на одну ногу, и отвечает: «Начальник дома, миссис Бегнет! Он здесь!» И вот появляется сама «старуха» вместе с мистером Бегнетом.

«Старуха» никогда не выходит на улицу без серой суконной накидки, грубой, поношенной, но очень опрятной, и несомненно той самой, которой столь дорожит мистер Бегнет за то, что она проделала весь путь из другой части света домой, в Европу, вместе с миссис Бегнет и зонтом. А зонт — этот неизменный спутник «старухи» — тоже всегда сопровождает ее, когда она выходит из дому. Цвет у него такой, что подобного нигде в мире не увидишь, а вместо ручки — ребристый деревянный крюк, в конец которого, похожий на нос корабля или птичий клюв, вставлена металлическая пластинка, напоминающая оконце над дверью подъезда или овальное стеклышко от очков — украшение, не наделенное способностью оставаться на своем посту с тем упорством, которого можно было бы ждать от предмета, длительно связанного с британской армией. Зонт у «старухи» какой-то весь обвисший, расхлябанный, в его «корсете» явно не хватает спиц, а все потому, надо думать, что он много лет служил дома — буфетом, а в путешествиях — саквояжем. Как бы то ни было, «старуха» целиком полагается на свою испытанную накидку с ее объемистым капюшоном и потому никогда не распускает зонта, но обычно пользуется этим орудием как жезлом, когда, делая покупки, хочет указать на заинтересовавшие ее куски мяса или пучки зелени или же стремится привлечь внимание торговцев дружеским тычком. Она никогда не выступает в поход без своей корзинки для покупок, которая смахивает на колодец, сплетенный из ивовых прутьев и прикрытый двухстворчатой откидной крышкой. Итак, в сопровождении этих своих верных спутников, в простой соломенной шляпке, из-под которой весело выглядывает открытое загорелое лицо, миссис Бегнет, краснощекая и сияющая, появляется в «Галерее-Тире» Джорджа.

— Ну, Джордж, старый друг,— говорит миссис Бегнет,— как вы себя чувствуете нынче утром? А утро-то какое солнечное!

Дружески пожав ему руку, миссис Бегнет переводит дух после долгого пешего пути и садится отдохнуть. При-

учившись отдыхать где угодно — и на верхушках обозных фур и на других столь же мало удобных местах,— она усаживается на твердую скамью, развязывает ленты своей шляпы, потом, откинув ее на затылок, складывает руки и, видимо, чувствует себя очень уютно.

Между тем мистер Бегнет уже успел пожать руку своему старому товарищу и Филу, которого миссис Бегнет тоже приветствует добродушным кивком и улыбкой.

— Ну, Джордж,— быстро начинает миссис Бегнет,— вот и мы с Дубом! — Она привыкла называть так своего мужа, должно быть потому, что в те времена, когда они познакомились, его прозвали в полку Железным дубом за удивительную твердость и жесткость черт его лица.— Мы зашли, чтобы, как всегда, уладить дело с этим поручительством. Дайте ему подписать новый вексель, Джордж, и он подпишет как полагается.

— А я сам хотел зайти к вам нынче утром,— неохотно отзывается кавалерист.

— Да, так и мы думали; но решили выйти пораньше, а Вулиджа — до чего он хороший мальчик! — оставили присматривать за сестрами, и вот, как видите, пришли к вам. Дуб теперь так занят на службе и так мало двигается, что ему полезно прогуляться. Но что с вами, Джордж? — спрашивает миссис Бегнет, прервав оживленную болтовню.— Вы прямо сам не свой!

— Я действительно сам не свой,— отвечает кавалерист.— Меня немножко сбили с позиции, миссис Бегнет.

Ее умные острые глаза сразу же угадывают правду.

— Джордж! — Она поднимает указательный палец.— Не говорите мне, что случилось что-то нехорошее с поручительством Дуба! Не говорите так, Джордж, ради наших детей!

Кавалерист смотрит на нее, и лицо у него расстроенное.

— Джордж,— продолжает миссис Бегнет, размахивая обеими руками для пущей выразительности и то и дело хлопая себя ладонями по коленям,— если вы допустили, чтобы с поручительством Дуба случилось что-то нехорошее, если вы его запутали, если по вашей милости наше добро пойдет с молотка, а я вижу по вашему лицу, Джордж,— читаю как по-печатному,— что не миновать

нам этого самого молотка, значит вы поступили очень скверно, а нас обманули жестоко. Жестоко, Джордж, скажу я вам. Вот что!

Мистер Бегнет обычно неподвижен, как насос или фонарный столб, но сейчас он кладет широкую правую ладонь на лысую голову, как бы затем, чтобы защитить ее от душа, и в великом замешательстве смотрит на миссис Бегнет.

— Джордж,— говорит его «старуха»,— я вам просто удивляюсь! Джордж, мне стыдно за вас! Я бы никогда не поверила, Джордж, что вы можете так поступить! Как говорится, «лежачий камень мохом обрастает», а я всегда знала, что вы не лежачий камень, значит мохом не обрастете, но у меня и в мыслях не было, что вы способны унести наш маленький пучок моха,— ведь на этот пучок Бегнету с детьми жить надо. Сами знаете, как он работает и какой он степенный. А Квебек, Мальта, Вулидж — вы же знаете, какие они; вот уж не ожидала, что у вас хватит духу, что у вас может хватить духу так нам удружить. Ох, Джордж! — И миссис Бегнет вытирает накидкой непритворные слезы.— Как вы могли?

Миссис Бегнет умолкла, мистер Бегнет, сняв руку с головы, словно душ уже прекратился, безутешно взирает на побледневшего мистера Джорджа, а тот в отчаянии смотрит на серую накидку и соломенную шляпу.

— Слушай, Мэт,— начинает кавалерист сдавленным голосом, обращаясь к мистеру Бегнету, но не отрывая глаз от его жены,— мне тяжело, что ты принимаешь все это так близко к сердцу,— и я полагаю, что дело уж не так плохо, как кажется. Сегодня утром я действительно получил вот это письмо,— и он читает письмо вслух,— однако надеюсь, что все еще можно уладить. Ну, а насчет камня, что ж, это правильно сказано. Я и вправду не лежу на месте, а все качусь да качусь, а когда, бывало, скатывался на чужую дорогу, так ни разу не прикатил туда ничего хорошего; это я знаю. Но никто не любит твою жену и детей больше, чем их люблю я, твой старый товарищ, бродяга, и я верю, что вы оба простите меня, если можете. Не думайте, что я от вас что-нибудь скрыл. Это письмо я получил только четверть часа назад.

— Старуха,— бурчит мистер Бегнет, немного помолчав,— скажи ему мое мнение.

— Ох, почему он не женился,— отзывается миссис Бегнет, смеясь сквозь слезы,— почему не женился на вдове Джо Пауча в Северной Америке? Тогда не стряслась бы с ним эта беда.

— Старуха правильно сказала,— говорит мистер Бегнет.— Почему ты не женился, а?

— Ну, теперь у вдовы Джо Пауча, надо думать, есть муж получше меня,— отвечает кавалерист.— Так ли, этак ли, а я теперь здесь, и *не* женат на ней. Что же мне делать? Вот все, что у меня за душой,— сами видите. Это не мое добро, а ваше. Скажите слово, и я распродам все до нитки. Да если б только я мог надеяться, что выручу примерно ту сумму, какая нам нужна, я бы давно уже все распродал. Не думай, Мэт, что я покину вас в беде — тебя и твою семью. Я скорей продам самого себя. Но хотел бы я знать,— говорит кавалерист, с презрением ударив себя кулаком в грудь,— кто пожелает купить такую рухлядь.

— Старуха,— бурчит мистер Бегнет,— скажи ему еще раз мое мнение.

— Джордж,— говорит «старуха»,— если хорошенько подумать, так вас, пожалуй, и не за что очень осуждать,— вот разве только за то, что вы завели свое дело без средств.

— Ну да, и это было как раз в моем духе,— соглашается кавалерист, покаянно качая головой,— именно в моем духе, я знаю.

— Замолчи! — прерывает его мистер Бегнет.— Старуха... совершенно правильно... передает мои мнения... так выслушай меня до конца!

— Если подумать хорошенько, не надо вам было тогда просить поручительства, Джордж, не надо было брать его. Но теперь уж ничего не поделаешь. Вы всегда были честным и порядочным человеком, насколько могли,— да таким и остались,— хоть и чуточку легкомысленным. А что до нас, подумайте, как же нам не тревожиться, когда такая штука висит у нас над головой? Поэтому простите нас, Джордж, и забудьте все начисто. Ну же! Простите и забудьте все начисто!

Протянув ему свою честную руку, миссис Бегнет другую протягивает мужу, а мистер Джордж берет их руки в свои и не выпускает в продолжение всей своей речи.

— Чего только я бы не сделал, чтобы распутаться с этим векселем,— да все что угодно, поверьте! Но все деньги, какие мне удавалось наскрести, каждые два месяца уходили на уплату процентов, то есть как раз на то, чтоб опять переписывать вексель. Жили мы тут довольно скромно, Фил и я. Но галерея не оправдала ожиданий, и она... словом, она не Монетный двор. Не надо мне было ее заводить? Конечно, не надо. Но я завел ее вроде как очертя голову,— думал, она меня поддержит, выведет в люди; так что вы уж не осудите меня за эти надежды, а я благодарю вас от всей души, верьте мне, и прямо готов со стыда сгореть.

Кончив свою речь, мистер Джордж крепко жмет дружеские руки, а затем, уронив их, отступает шага на два и, распрямив широкие плечи, стоит навытяжку, словно он уже произнес последнее слово подсудимого и уверен, что его немедленно расстреляют со всеми воинскими почестями.

— Джордж, выслушай меня! — говорит мистер Бегнет, бросая взгляд на жену.— Ну, старуха, продолжай!

Мистер Бегнет, мнения которого высказываются столь необычным образом, может только ответить, что на письмо необходимо безотлагательно отозваться; что и ему и Джорджу следует как можно скорее лично явиться к мистеру Смоллуиду и что прежде всего надо вызволить и выручить ни в чем не повинного мистера Бегнета, у которого денег нет. Мистер Джордж, полностью согласившись с этим, надевает шляпу, готовый двинуться вместе с мистером Бегнетом в лагерь врага.

— Плюньте на мои упреки, Джордж, все мы, бабы, болтаем не подумав, что в голову взбредет,— говорит миссис Бегнет, легонько похлопывая его по плечу.— Поручаю вам своего старика Дуба — вы его, конечно, выпутаете из беды.

Кавалерист говорит, что это добрые слова, и твердо обещает как-нибудь да выпутать Дуба. После чего миссис Бегнет, у которой вновь заблестели глаза, возвращается домой к детям вместе со своей накидкой, корзинкой и

зонтом, а товарищи отправляются в многообещающее путешествие — умасливать мистера Смоллуида.

Большой вопрос, найдутся ли в Англии еще хоть два человека, которые так же плохо умели бы вести дела с мистером Смоллуидом, как мистер Джордж и мистер Мэтью Бегнет. Найдутся ли в той же стране еще два столь же простодушных и неопытных младенца во всех делах, что ведутся «на смоллуидовский манер», хотя вид у обоих товарищей воинственный, плечи широкие и прямые, а походка тяжелая. В то время как они с очень серьезным видом шагают по улицам к Приятному холму, мистер Бегнет, заметив, что спутник его озабочен, считает своим дружеским долгом поговорить о давешней вылазке миссис Бегнет.

— Джордж, ты знаешь старуху... она ласковая и кроткая, как ягненок. Но попробуй затронуть ее детей... или меня... сразу вспыхнет, как порох.

— Это можно поставить ей в заслугу, Мэт.

— Джордж,— продолжает мистер Бегнет, глядя прямо перед собой,— старуха... не может сделать ничего такого... чего ей не поставишь в заслугу. Большую или малую, неважно. При ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

— Ее надо ценить на вес золота,— соглашается кавалерист.

— Золота? — повторяет мистер Бегнет.— Вот что я тебе скажу. Старуха весит... сто семьдесят четыре фунта. Взял бы я за старуху... столько металла... какого угодно? Нет. Почему? Потому что старуха из такого металла сделана... который куда дороже... чем самый дорогой металл. И она *вся* целиком из такого металла!

— Правильно, Мэт!

— Когда она за меня вышла... и согласилась принять обручальное кольцо... она завербовалась на службу ко мне и детям... от всей души и от всего сердца... на всю жизнь. Она такая преданная,— говорит мистер Бегнет,— такая верная своему знамени... что попробуй только тронуть нас пальцем... и она выступит в поход... и возьмется за оружие. Если старуха откроет огонь... может случиться... по долгу службы... не обращай внимания, Джордж. Зато она верная!

— Что ты, Мэт! — отзывается кавалерист.— Да я за это ставлю ее еще выше, благослови ее бог!

— Правильно! — соглашается мистер Бегнет с самым пламенным энтузиазмом, однако не ослабляя напряжения ни в одном мускуле.— Поставь старуху высоко... как на гибралтарскую скалу... и все-таки ты поставишь ее слишком низко... вот какой она молодец. Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

Так, наперебой расхваливая «старуху», они подходят к Приятному холму и к дому дедушки Смоллуида. Дверь отворяет неизменная Джуди и, не особенно приветливо, больше того,— со злобной усмешкой оглядев посетителей с головы до ног, оставляет их дожидаться, пока сама вопрошает оракула, можно ли их впустить. Оракул, по-видимому, дает согласие, ибо она возвращается, и с ее медовых уст слетают слова: «Можете войти, если хотите». Получив это любезное приглашение, они входят и видят мистера Смоллуида, который сидит, поставив ноги в выдвижной ящик своего кресла,— словно в ножную ванну из бумаг,— видят и миссис Смоллуид, отгороженную от света подушкой, как птица, которой не дают петь.

— Любезный друг мой,— произносит дедушка Смоллуид, ласково простирая вперед костлявые руки,— как поживаете? Как поживаете? А кто этот ваш приятель, любезный друг мой?

— Кто он? — отвечает мистер Джордж довольно резко, так как еще не может заставить себя говорить примирительным тоном.— Это, да будет вам известно, Мэтью Бегнет, который оказал мне услугу в нашей с вами сделке.

— Ага! Мистер Бегнет? Так, так! — Старик смотрит на него, приложив руку к глазам.— Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, мистер Бегнет? Какой он молодец, мистер Джордж! Военная выправка, сэр!

Гостям не предлагают сесть, поэтому мистер Джордж приносит один стул для Бегнета, другой для себя. Друзья усаживаются, причем мистер Бегнет садится так, словно тело его не может сгибаться,— разве только в бедрах и лишь для того, чтобы сесть.

— Джуди,— говорит мистер Смоллуид,— принеси трубку.



— Да нет уж,— вмешивается мистер Джордж,— не стоит девушке беспокоиться,— сказать правду, мне нынче что-то не хочется курить.

— Вот как? — отзывается старик.— Джуди, принеси трубку.

— Дело в том, мистер Смоллуид,— продолжает Джордж,— что я сегодня немножко не в духе. Сдается мне, сэр, что ваш друг в Сити устроил мне какой-то подвох.

— Ну что вы! — говорит дедушка Смоллуид.— На это он не способен.

— Разве нет? Что ж, рад слышать; а я думал, что это дело *его* рук. Вы знаете, о чем я говорю. О письме.

Дедушка Смоллуид улыбается самым отвратительным образом в знак того, что понял, о каком письме идет речь.

— Что это значит? — спрашивает мистер Джордж.

— Джуди,— говорит старик,— ты принесла трубку? Дай-ка ее мне. Так вы спрашиваете, что все это значит, любезный друг?

— Да! Но вспомните, мистер Смоллуид, вспомните,— убеждает его кавалерист, заставляя себя говорить как можно более мягким и дружественным тоном, и, держа развернутое письмо в правой руке, левым кулаком упирается в бок,— ведь я переплатил вам немало денег, а сейчас мы говорим с вами лицом к лицу, и оба прекрасно знаем, на чем мы порешили и какое условие соблюдали всегда. Я регулярно платил вам проценты, готов уплатить их сегодня и платить в будущем. Это первый раз, что я получил от вас такое письмо, и нынче утром оно меня немножко расстроило, потому что мой друг, Мэтью Бегнет, у которого, как вам известно, не было денег, когда...

— Как вам известно, мне это *не* известно,— перебивает его старик ровным голосом.

— Но черт вас... то бишь, черт подери... я же говорю вам, что денег у него не было; говорю, не так ли?

— Ну да, вы мне это говорите,— отвечает дедушка Смоллуид.— Но сам я этого не знаю.

— Пусть так,— соглашается кавалерист, подавляя гнев,— зато *я* знаю.

Мистер Смоллуид отзывается на его слова чрезвычайно добродушным тоном:

— Да, но это совсем другое дело! — И добавляет: — Впрочем, это не важно. Так ли, этак ли, мистер Бегнет все равно в ответе.

Бедный Джордж всеми силами старается благополучно уладить дело и задобрить мистера Смоллуида поддакиванием.

— Так думаю и я. Как вы правильно указали, мистер Смоллуид, Мэтью Бегнета притянут к ответу — все равно, были у него деньги или нет. Но это, видите ли, очень тревожит его жену, да и меня тоже; ведь если сам я такой никудышный бездельник, какому привычней получать тумаки, чем медяки, то он, надо вам знать, степенный семейный человек. Слушайте, мистер Смоллуид,— говорит кавалерист, решив вести деловые переговоры с солдатской прямотой, отчего сразу приобретает уверенность в себе,— хотя мы с вами в довольно приятельских отношениях, но я хорошо знаю, что не могу просить вас отпустить моего друга Бегнета на все четыре стороны.

— Боже мой, вы слишком скромны. Можете *просить* меня о чем угодно, мистер Джордж.

(Сегодня в шутливости дедушки Смоллуида есть что-то людоедское.)

— А вы можете мне отказать — вы это имеете в виду, а? Или, пожалуй, не столько вы, сколько ваш друг в Сити? Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — как эхо, повторяет дедушка Смоллуид, но так жестко и с таким ядовито-зеленым огнем в глазах, что серьезный от природы мистер Бегнет, взирая на почтенного старца, становится еще более серьезным.

— Слушайте! — снова начинает неунывающий Джордж.— Я рад, что вы в хорошем расположении духа потому, что сам хочу покончить с этой историей по-хорошему. Вот мой друг Бегнет, и вот я сам. Будьте так добры, мистер Смоллуид, давайте сейчас же уладим дело, как всегда. И вы очень успокоите моего друга Бегнета и его семью, если просто скажете ему, в чем заключается наше условие.

Какой-то призрак внезапно взвизгивает пронзительным голосом и с издевкой: «О господи! о!..», хотя, мо-

жет, это не призрак, а веселая Джуди; но нет, оглянувшись кругом, изумленные друзья убеждаются, что она молчит; только насмешливо и презрительно вздернула подбородок.

Мистер Бегнет становится еще более серьезным.

— Но вы как будто спросили меня, мистер Джордж,— говорит вдруг старик Смоллуид, который все это время держал в руках трубку,— вы как будто спросили, что значит это письмо?

— Да, спросил, конечно,— отвечает кавалерист, как всегда несколько необдуманно,— но, в общем, мне не так уж интересно это знать, лишь бы дело было улажено по-хорошему.

Уклонившись от ответа, мистер Смоллуид целится трубкой в голову кавалериста, но вдруг швыряет ее об пол, и она разбивается на куски.

— Вот что оно значит, любезный друг. Я вас вдребезги расшибу! Я вас растопчу! Я вас в порошок сотру! Убирайтесь к дьяволу!

Друзья встают и переглядываются. Мистер Бегнет становится таким серьезным, что серьезней и быть нельзя.

— Убирайтесь к дьяволу! — снова кричит старик.— Хватит с меня ваших трубок и вашего нахальства. Вы что это? Разыгрываете из себя независимого драгуна? Ишь какой! Ступайте к моему поверенному (вы помните, где он живет; вы у него уже были) и там рисуйтесь своей независимостью. Ступайте, любезный друг, там для вас еще имеются кое-какие шансы. Открой дверь, Джуди, гони этих болтунов! Зови на помощь, если они не уберутся. Гони их вон!

Он ревет так громко, что мистер Бегнет кладет руки на плечи товарища и, не дав ему очнуться от изумления, выводит его за дверь, которую сейчас же захлопывает торжествующая Джуди. Мистер Джордж, ошарашенный, некоторое время стоит столбом, глядя на дверной молоток. Мистер Бегнет, погрузившись в глубочайшую бездну серьезности, как часовой, ходит взад и вперед под окошком гостиной и, проходя мимо, всякий раз заглядывает внутрь, как бы что-то обдумывая.

— Пойдем-ка, Мэт! — говорит мистер Джордж, придя

в себя.— Надо нам толкнуться к юристу. Но что ты думаешь об этом негодяе?

Остановившись, чтобы кинуть прощальный взгляд в окно гостиной, мистер Бегнет отвечает, качнув головой в ту сторону:

— Будь моя старуха здесь... уж я бы им сказал!

Отделавшись таким образом от предмета своих размышлений, мистер Бегнет нагоняет кавалериста, и друзья удаляются, маршируя в ногу и плечом к плечу.

Когда же они приходят на Линкольновы поля, оказывается, что мистер Талкингхорн сейчас занят и видеть его нельзя. Очевидно, он вовсе не желает их видеть,— ведь после того как они прождали целый час, клерк, вызванный звонком, пользуется случаем доложить о них, но возвращается с неутешительным известием: мистеру Талкингхорну не о чем говорить с ними, и пусть они его не ждут. Но они все-таки ждут с упорством тех, кто знает военную тактику, и вот, наконец, опять раздается звонок, и клиентка, с которой беседовал мистер Талкингхорн, выходит из его кабинета.

Эта клиентка, красивая старуха, не кто иная, как миссис Раунсуэлл, домоправительница в Чесни-Уолде. Она выходит из святилища, сделав изящный старомодный реверанс, и осторожно закрывает за собой дверь. Здесь к ней, по-видимому, относятся почтительно,— клерк встает с деревянного дивана, чтобы проводить ее через переднюю комнату конторы и выпустить на улицу. Старуха благодарит его за любезность и вдруг замечает товарищей, ожидающих поверенного.

— Простите, пожалуйста, сэр, если не ошибаюсь, эти джентльмены — военные?

Клерк бросает на них вопросительный взгляд, но мистер Джордж в это время рассматривает календарь, висящий над камином, и не оборачивается, поэтому мистер Бегнет берет на себя труд ответить:

— Да, сударыня. Отставные.

— Так я и думала. Так и знала. Увидела я вас, джентльмены, и потеплело у меня на сердце. И всегда так — стоит мне увидеть военных. Благослови вас бог, джентльмены! Вы уж извините старуху,— у меня сын родной в солдаты завербовался. Хороший был, красивый

малый; озорной, правда, но добрый по-своему, хоть и находились люди, что хулили его прямо в глаза его бедной матери. Простите за беспокойство, сэр. Благослови вас бог, джентльмены!

— И вас также, сударыня! — желает ей мистер Бегнет от всего сердца.

Есть что-то очень трогательное в той искренности, с какой говорит эта старомодно одетая, но приятная старушка, в том трепете, что пробегает по ее телу. Но мистер Джордж так увлекся календарем, висящим над камином (быть может, он считает, сколько месяцев осталось до конца года), что даже не оглянулся, пока она не ушла и за нею не закрылась дверь.

— Джордж,— хрипло шепчет мистер Бегнет, когда тот отрывается от календаря,— не унывай! «Эй-эй, солдаты, к чему грустить, ребята?» Веселей, дружище!

Клерк снова ушел доложить, что посетители все еще дожидаются, и слышно, как мистер Талкингхорн отвечает довольно раздраженным тоном: «Так пусть войдут!», после чего друзья переходят в огромную комнату с расписным потолком и камином, перед которым стоит сам хозяин.

— Ну, что вам нужно, любезные? Сержант, я ведь сказал вам в прошлый раз, что ваши посещения для меня нежелательны.

Сержант, поневоле изменивший за последние несколько минут и свою манеру говорить и даже свою манеру держаться, отвечает, что получил письмо такого-то содержания, был по поводу него у мистера Смоллуида, а тот послал его сюда.

— Мне не о чем говорить с вами,— отзывается на это мистер Талкингхорн.— Если вы задолжали, вы обязаны уплатить долг или понести все последствия неуплаты. Неужели вам стоило приходить сюда только затем, чтоб услышать это?

Сержант должен сознаться, что денег у него, к сожалению, нет.

— Прекрасно! Тогда ваш поручитель,— этот человек, если это он,— обязан уплатить за вас.

Сержант должен добавить, что, к сожалению, у этого человека тоже нет денег.

— Прекрасно! Тогда или вы оба сложитесь и уплатите деньги, или вас обоих привлекут к суду за неуплату долга, и вы оба пострадаете. Вы получили деньги и должны их возвратить. Нельзя прикарманивать чужие фунты, шиллинги и пенсы, а потом выходить сухим из воды.

Юрист садится в кресло и мешает угли в камине. Мистер Джордж выражает надежду, что он будет настолько добр, чтобы...

— Повторяю, сержант, мне не о чем говорить с вами. Ваши сообщники мне не нравятся, и я не хочу видеть вас здесь. Это дело не по моей специальности, и оно не проходило через мою контору. Мистер Смоллуид любезно предлагает мне ведение подобных дел, но, как правило, я за них не берусь. Вам нужно обратиться к Мельхиседеку,— контора его в Клиффордс-Инне.

— Прошу прощения, сэр,— говорит мистер Джордж,— за то, что я докучаю вам, хоть вы и приняли меня столь неприветливо,— ведь все это так же неприятно мне, как и вам; но, может, вы разрешите мне сказать вам несколько слов с глазу на глаз?

Мистер Талкингхорн встает и, засунув руки в карманы, отходит к оконной нише.

— Ну, к делу! Мне время дорого.

Мастерски разыгрывая полнейшее равнодушие, он все-таки бросил испытующий взгляд на кавалериста и позаботился стать спиной к свету, так, чтобы лицо собеседника было освещено.

— Так вот, сэр,— говорит мистер Джордж,— тот человек, что пришел со мной, тоже замешан в этой несчастной истории,— номинально, только номинально, и я хочу лишь того, чтобы он не попал в беду из-за меня. Он в высшей степени уважаемый человек, имеет жену и детей; служил в королевской артиллерии...

— А мне, милейший, понюшка табаку дороже, чем вся королевская артиллерия — офицеры, солдаты, двуколки, фургоны, лошади, пушки и боевые припасы.

— Весьма возможно, сэр. Зато мне очень дороги Бегнет, его жена и дети, и я стараюсь, чтоб они не пострадали по моей вине. Значит, если я хочу вызволить их из этой беды, мне, видимо, остается только отдать вам

безоговорочно то, что вы на днях хотели получить от меня.

— Вы принесли это сюда?

— Да, сэр, принес.

— Сержант,— начинает юрист сухим, бесстрастным тоном, который обескураживает больше, чем самое яростное неистовство,— решайтесь, пока я говорю с вами, потому что это наш последний разговор. Закончив его, я перестану говорить на эту тему и больше к ней не вернусь. Имейте это в виду. Хотите — оставьте здесь на несколько дней то, что, по вашим словам, вы принесли сюда; хотите — унесите с собой. Если вы оставите это здесь, я сделаю для вас следующее: я поверну ваше дело на прежний лад и, больше того, выдам вам письменное обязательство, что этого вашего Бегнета ничем беспокоить не будут, пока вы не потеряете всякую возможность платить проценты; иначе говоря, пока ваши средства не истощатся полностью, кредитор не будет требовать от него уплаты вашего долга. Это значит, что фактически Бегнет почти освобождается от ответственности. Ну, как, решились?

Кавалерист сует руку за пазуху и, тяжело вздохнув, отвечает:

— Что делать, сэр, приходится.

Мистер Талкингхорн надевает очки, садится и пишет обязательство, потом медленно прочитывает и объясняет его Бегнету, который все это время смотрел в потолок, а теперь опять кладет руку на лысую голову, как бы желая защититься от этого нового словесного душа; и ему, должно быть, очень недостает «старухи»,— будь она здесь, уж он бы выразил свои чувства. Кавалерист вынимает из грудного кармана сложенную бумагу и нехотя кладет ее на стол юриста.

— Это просто письмо с распоряжениями, сэр. Последнее, которое я получил от него.

Посмотрите на жернов, мистер Джордж, и вы увидите, что он меняется так же мало, как лицо мистера Талкингхорна, когда тот развертывает и читает письмо! Кончив читать, он складывает листок и прячет его в свой стол, бесстрастный, как Смерть.

Ни говорить, ни делать ему больше нечего; остается

только — кивнуть, все так же холодно и неприветливо, и коротко сказать:

— Можете идти. Эй, там, проводите этих людей!

Их провожают, и они идут к мистеру Бегнету обедать.

Вареная говядина с овощами вместо вареной свинины с овощами — только этим и отличается сегодняшний обед от прошлого, и миссис Бегнет по-прежнему распределяет кушанье, приправляя его прекраснейшим расположением духа,— ведь эта редкостная женщина всегда раскрывает объятия для Хорошего и не помышляя о том, что оно могло бы быть Лучшим, и находит свет даже в любом темном пятнышке. На сей раз «пятнышко» — это потемневшее чело мистера Джорджа; он против обыкновения задумчив и угнетен. Вначале миссис Бегнет надеется, что Квебек и Мальта, ласкаясь к нему, развеселят его соединенными усилиями, но, видя, что молодые девицы не узнают сегодня своего прежнего проказника-Заводилу, она мигает им, давая легкой пехоте сигнал к отступлению и предоставляя мистеру Джорджу возможность развернуть свою колонну и дать ей отдых на открытом пространстве, у домашнего очага.

Но он не пользуется этой возможностью. Он остается в сомкнутом строю, мрачный и удрученный. Пока совершается длительный процесс мытья посуды, сопровождаемый стуком деревянных сандалий, мистер Джордж, хотя он так же, как мистер Бегнет, снабжен трубкой, выглядит не лучше, чем за обедом. Он забывает о курении; смотрит на огонь и задумывается; наконец роняет трубку из рук, приводя мистера Бегнета в уныние и замешательство своим полным равнодушием к табаку.

Поэтому, когда миссис Бегнет, разрумянившись от освежающего умыванья холодной водой из ведра, в конце концов появляется в комнате и садится за шитье, мистер Бегнет бурчит: «Старуха!» — и, мигнув, побуждает ее разведать, в чем дело.

— Слушайте, Джордж! — говорит миссис Бегнет, спокойно вдевая нитку в иглу.— Что это вы такой хмурый?

— Разве? Значит, я невеселый собеседник? Да, пожалуй, что так.

— Мама, он совсем не похож на Заводилу! — кричит маленькая Мальта.

— Должно быть, он заболел; правда, мама? — спрашивает Квебек.

— Да, плохой это признак, когда перестаешь походить на Заводилу! — говорит кавалерист, целуя девочек.— Но это верно,— тут он вздыхает,— к сожалению, верно. Малыши всегда правы!

— Джордж,— говорит миссис Бегнет, усердно работая,— если бы я считала, что вы злопамятный и не можете позабыть, какую чушь наболтала вам нынче утром крикливая солдатка, которой потом хотелось язык себе откусить,— да, пожалуй, и надо бы откусить,— я не знаю, чего бы я вам сейчас не наговорила.

— Добрая вы душа,— отзывается кавалерист,— да вот ни столечко не вспоминаю.

— Ведь, право же, Джордж, я только то сказала и хотела сказать, что поручаю вам своего Дуба и уверена, что вы его выпутаете. А вы и впрямь его выпутали, к нашему счастью!

— Спасибо вам, дорогая! — говорит Джордж.— Я рад, что вы обо мне такого хорошего мнения.

Кавалерист дружески пожимает руку миссис Бегнет вместе с рукодельем — хозяйка села рядом с ним — и внимательно смотрит ей в лицо. Поглядев на нее несколько минут, в то время как она усердно работает иглой, он переводит глаза на Вулиджа, сидящего в углу на табурете, и подзывает к себе юного флейтиста.

— Смотри, дружок,— говорит мистер Джордж, очень нежно поглаживая по голове мать семейства,— вот какое у твоей мамы доброе, ласковое лицо! Оно сияет любовью к тебе, мальчик мой. Правда, оно немножко потемнело от солнца и непогоды, от переездов с твоим отцом да забот о вас всех, но оно свежее и здоровое, как спелое яблоко на дереве.

Лицо мистера Бегнета выражает высшую степень одобрения и сочувствия, насколько это вообще возможно для его деревянных черт.

— Наступит время, мальчик мой,— продолжает кавалерист,— когда волосы у твоей мамы поседеют, а ее лоб вдоль и поперек покроется морщинами; но и тогда она будет красивой старухой. Старайся, пока молод, поступать так, чтобы в будущем ты мог сказать себе: «Ни

один волос на ее милой голове не побелел из-за *меня*; ни одна морщинка горя не появилась из-за *меня* на ее лице!» Ведь из всех мыслей, какие тебе придут на ум, когда ты станешь взрослым, Вулидж, *эта* лучше всех!

В заключение мистер Джордж встает с кресла, сажает в него мальчика рядом с матерью и говорит с некоторой поспешностью, что пойдет курить трубку на улицу.

## ГЛАВА XXXV

### *Повесть Эстер*

Я болела несколько недель и о привычном укладе своей жизни вспоминала как о далеком прошлом. Но это объяснялось не столько тем, что прошло действительно много времени, сколько переменой во всех моих привычках, вызванной болезнью и вытекающими из нее беспомощностью и праздностью. После того как я несколько дней пролежала в четырех стенах своей комнаты, весь мир словно отошел от меня на огромное расстояние, и в этой дали различные периоды моей жизни почти слились друг с другом, тогда как в действительности их разделяли годы. С самого начала болезни я как будто поплыла по какому-то темному озеру, а все события моего прошлого остались на том берегу, где я жила, когда была здорова, и смешались где-то вдали.

Вначале меня очень волновало, что я уже не могу выполнять свои хозяйственные обязанности, но вскоре они стали казаться мне такими же далекими, как самые давние из моих давних обязанностей в Гринлифе, или как те летние дни, когда я возвращалась из школы в дом крестной, с сумкой для книг и тетрадей под мышкой, а тень детской фигурки бежала рядом со мною. Теперь я впервые поняла, как коротка жизнь и на каком маленьком пространстве может она уместиться в сознании.

В разгаре болезни меня чрезвычайно тревожило, что все эти периоды моей жизни перепутываются в памяти один с другим. Чувствуя себя одновременно и ребенком, и молоденькой девушкой, и такой счастливой некогда Хлопотуньей, я мучилась не только воспомина-

ниями о заботах и трудностях, связанных со всеми этими стадиями моего развития, но и полнейшим своим бессилием поставить каждую из них на надлежащее место, хотя все вновь и вновь пыталась это сделать. Я думаю, что из тех, кому не довелось испытать подобного состояния, лишь немногие способны вполне понять меня, понять, какое болезненное беспокойство вызывали во мне эти переживания.

По той же причине я едва осмеливаюсь рассказать о том, что̀ чувствовала, когда была в бреду, то есть о том времени,— этот период казался мне одной длинной ночью, хотя, вероятно, продолжался несколько дней и ночей,— о том времени, когда мне чудилось, будто я с огромным трудом карабкаюсь по каким-то гигантским лестницам, неотступно стараясь во что бы то ни стало добраться до верхушки, но, как червяк, которого я когда-то видела на садовой дорожке, непрестанно отступаю перед каким-нибудь препятствием и поворачиваю назад, а потом снова силюсь подняться наверх. Иногда я понимала очень ясно, но чаще всего смутно, что лежу в постели, и тогда разговаривала с Чарли, чувствовала ее прикосновение и прекрасно ее узнавала, однако ловила себя на том, что жалуюсь ей: «Ох, Чарли, опять эти бесконечные лестницы... опять и опять... громоздятся до самого неба!», и все-таки снова старалась подняться по ним.

Смею ли я рассказать о тех, еще более тяжелых днях, когда в огромном темном пространстве мне мерещился какой-то пылающий круг — не то ожерелье, не то кольцо, не то замкнутая цепь звезд, одним из звеньев которой была я! То были дни, когда я молилась лишь о том, чтобы вырваться из круга,— так необъяснимо страшно и мучительно было чувствовать себя частицей этого ужасного видения!

Быть может, чем меньше я буду говорить об этих болезненных ощущениях, тем менее скучной и более понятной будет моя повесть. Я не потому описываю их здесь, что хочу заставить кого-то страдать от жалости ко мне, и не потому, что хоть сколько-нибудь страдаю сама, вспоминая о них. Но ведь, если бы мы глубже понимали природу этих странных недугов, мы, быть может, лучше умели бы их облегчать.

Покой, который за этим последовал, долгий сладостный сон и блаженный отдых, когда я от слабости была совершенно равнодушна к своей судьбе и могла бы (так мне по крайней мере кажется теперь) узнать, что вот-вот умру, и не почувствовать ничего, кроме сострадания к тем, кого покидаю,— все это, пожалуй, более понятно для других. В таком состоянии я была, когда однажды для меня вдруг снова засиял свет, а я вздрогнула и с безграничной радостью, описать которую невозможно никакими восторженными словами, поняла, что ко мне вернулось зрение.

Я слышала, как моя Ада день и ночь плачет за дверью, слышала, как она взывает ко мне, говоря, что я жестокая и не люблю ее; слышала ее просьбы и мольбы позволить ей войти, чтобы ухаживать за мной и утешать меня, не отходя от моей постели. Но когда я смогла говорить, я твердила только одно: «Ни за что, моя милая девочка, ни за что!» — и беспрестанно напоминала Чарли, чтобы она не впускала в комнату мою любимую, все равно, останусь я в живых или умру. Чарли была мне верна в это трудное время — ее маленькие руки и большое сердце держали дверь на запоре.

Но вот мое зрение стало восстанавливаться; лучезарный свет с каждым днем сиял для меня все ярче, я уже могла читать письма моей милой подруги, которые получала от нее каждое утро и каждый вечер; могла целовать их и класть под голову, зная, что Аде это не повредит. Я снова могла видеть, как моя маленькая горничная, такая нежная и заботливая, ходит по нашим двум комнатам, наводя порядок, и по-прежнему весело болтает с Адой, стоя у открытого окна. Я могла теперь понять, почему у нас в доме так тихо,— это о моем покое заботились все те, кто всегда был так добр ко мне. Я могла плакать от чудесной, блаженной полноты сердца и, совсем слабая, чувствовала себя не менее счастливой, чем когда была здоровой.

Мало-помалу я стала набираться сил. Вместо того чтобы лежать и с каким-то странным равнодушием следить за всем, что делалось для меня, словно это делалось для кого-то другого, кого мне было лишь чуть-чуть жаль, я начала помогать тем, кто за мной ухаживал, сперва

понемногу, потом все больше и больше, и, наконец, когда я смогла обслуживать сама себя, ко мне вернулись интерес и любовь к жизни.

Как хорошо я помню тот блаженный день, когда меня впервые усадили в постели, заложив мне за спину подушки, чтобы я смогла отпраздновать свое выздоровление радостным чаепитием с Чарли! Эта девочка — наверное, она была послана в мир, чтобы помогать слабым и больным,— была так счастлива, так усердно хлопотала и так часто отрывалась от своей возни, чтобы положить голову мне на грудь, приласкать меня и воскликнуть с радостными слезами: «Как хорошо! Как хорошо!», что мне пришлось сказать ей:

— Чарли, если ты будешь продолжать в том же духе, мне придется снова улечься, милая, потому что я слабее, чем думала.

Тогда Чарли притихла, как мышка, и с сияющим личиком принялась бегать из комнаты в комнату,— от тени к божественному солнечному свету, от света к тени, а я спокойно смотрела на нее. Когда все было готово и к кровати моей придвинули хорошенький чайный столик, покрытый белой скатертью, заставленный всякими соблазнительными лакомствами и украшенный цветами,— столик, который Ада с такой любовью и так красиво накрыла для меня внизу,— я почувствовала себя достаточно крепкой, чтобы заговорить с Чарли о том, что уже давно занимало мои мысли.

Сначала я похвалила Чарли за то, что в комнате у меня так хорошо; а в ней и правда воздух был очень свежий и чистый, все было безукоризненно опрятно и в полном порядке,— прямо не верилось, что я пролежала здесь так долго. Чарли очень обрадовалась и просияла.

— И все-таки, Чарли,— сказала я, оглядываясь кругом,— здесь недостает чего-то, к чему я привыкла.

Бедняжка Чарли тоже оглянулась кругом и покачала головой с таким видом, словно, по ее мнению, все было на месте.

— Все картины висят на прежних местах? — спросила я.

— Все, мисс,— ответила Чарли.

— И мебель стоит, как стояла. Чарли?

— Да, только я кое-что передвинула, чтобы стало просторнее мисс.

— И все-таки, Чарли,— сказала я,— мне недостает какой-то вещи, к которой я привыкла. А! Теперь, Чарли, я поняла, какой! Я не вижу зеркала.

Чарли встала из-за стола, под тем предлогом, что забыла что-то принести, убежала в соседнюю комнату, и я услышала, как она там всхлипывает.

Я и раньше очень часто думала об этом. Теперь я убедилась, что так оно и есть. Слава богу, это уже не было для меня ударом. Я позвала Чарли, и она вернулась, заставив себя улыбнуться, но, подойдя ко мне, не сумела скрыть своего горя, а я обняла ее и сказала:

— Это все пустяки, Чарли. Теперь я, наверное, выгляжу иначе, чем раньше, но и с таким лицом жить можно.

Вскоре я настолько поправилась, что уже могла сидеть в большом кресле и даже переходить неверными шагами в соседнюю комнату, опираясь на Чарли. Из этой комнаты зеркало тоже унесли, но от этого бремя мое не сделалось более тяжким.

Опекун все время порывался меня навестить, и теперь у меня уже не было оснований лишать себя счастья увидеться с ним. Он пришел как-то раз утром и, войдя в комнату, сначала только обнимал меня, повторяя: «Моя милая, милая девочка!» Я давно уже знала — кто мог знать это лучше меня? — каким глубоким источником любви и великодушия было его сердце; а теперь подумала: «Так много ли стоят мои пустяковые страдания и перемена в моей внешности, если я занимаю в этом сердце столь большое место? Да, да, он увидел меня и полюбил больше прежнего; он увидел меня, и я стала ему дороже прежнего; так что же мне оплакивать?»

Он сел рядом со мной на диван, обняв и поддерживая меня одной рукой. Некоторое время он сидел, прикрыв лицо ладонью, но когда отнял ее, заговорил как ни в чем не бывало. Я не встречала и никогда не встречу более обаятельного человека.

— Девочка моя,— начал он,— какое это было грустное время! И какая моя девочка стойкая, наперекор всему!

— Все к лучшему, опекун,— сказала я.

— Все к лучшему? — повторил он нежно.— Конечно, к лучшему. Но мы с Адой были совсем одинокие и несчастные; но ваша подруга Кедди то и дело приезжала и уезжала; но все в доме были растерянны и удручены, и даже бедный Рик присылал письма — *и мне тоже,*— так он беспокоился о вас!

Ада писала мне про Кедди, но о Ричарде — ни слова. Я сказала об этом опекуну.

— Видите ли, дорогая,— объяснил он,— я считал, что лучше не говорить ей о его письме.

— Вы сказали, что он писал *и вам тоже,*— промолвила я, сделав ударение на тех же словах, что и он.— Как будто у него нет желания писать вам, опекун... как будто у него есть более близкие друзья, которым он пишет охотнее!

— Он думает, что есть, моя любимая,— ответил опекун,— и даже гораздо более близкие друзья. Говоря откровенно, он написал мне поневоле, только потому, что бессмысленно было посылать письмо вам, не надеясь на ответ,— написал холодно, высокомерно, отчужденно, обидчиво. Ну что ж, милая моя девочка, мы должны отнестись к этому терпимо. Он не виноват. Под влиянием тяжбы Джарндисов он переменился и стал видеть меня не таким, какой я есть. Я знаю, что под ее влиянием не раз совершались подобные перемены, и даже еще худшие. Будь в ней замешаны два ангела, она, наверное, сумела бы испортить даже их ангельскую природу.

— Но вас-то ведь она не испортила, опекун.

— Что вы, дорогая, конечно испортила,— возразил он, смеясь.— По ее вине южный ветер теперь часто превращается в восточный. А Рик мне не доверяет, подозревает меня в чем-то... ходит к юристам, а там его тоже учат не доверять и подозревать. Ему говорят, что интересы наши в этой тяжбе противоположны, что удовлетворение моих требований грозит ему материальным ущербом, и так далее, и тому подобное. Однако, видит бог, что если бы только я мог выбраться из этих горных дебрей «парикатуры», иначе говоря, волокиты и жульничества, с которыми так долго было связано мое злосчастное имя (а я не могу из них выбраться), или если бы я мог сров-

нять эти «горные дебри» с землей, отказавшись от своих собственных прав (чего тоже не могу, да бесспорно не может и ни один истец,— в такой тупик нас завели), я бы сделал это немедленно. Я предпочел бы увидеть, что бедный Ричард снова стал самим собой, нежели получить все те деньги, которые все умершие истцы, раздавленные телесно и душевно колесом Канцлерского суда, оставили невостребованными в казне, а этих денег, дорогая моя, хватило бы на то, чтобы возвести из них пирамиду в память о беспредельной порочности Канцлерского суда.

— Возможно ли, опекун,— спросила я, пораженная,— чтобы Ричард в чем-то подозревал вас?

— Эх, милая моя, милая,— ответил он,— это у него болезнь,— ведь тонкому яду этих злоупотреблений свойственно порождать подобные болезни. Кровь у Рика отравлена, и он уже не может видеть вещи такими, каковы они в действительности. Но это *не его* вина.

— Как это ужасно, опекун.

— Да, Хозяюшка, впутаться в тяжбу Джарндисов — это ужасное несчастье. Большего я не знаю. Мало-помалу юношу заставили поверить в эту гнилую соломинку; а ведь она заражает своей гнилью все окружающее. Но я опять повторяю от всего сердца: нам надо быть терпимыми и не осуждать бедного Рика. Сколько добрых, чистых сердец, таких же, как его сердце, было развращено подобным же образом, и все это я видел в свое время!

Я не могла не сказать опекуну, как я потрясена и огорчена тем, что все его благие и бескорыстные побуждения оказались бесплодными.

— Не надо так говорить, Хлопотунья,— ответил он бодро.— Ада счастлива, надеюсь, а это уже много. Когда-то я думал, что эта юная пара и я — мы будем друзьями, а не подозревающими друг друга врагами, что мы сумеем противостоять влиянию тяжбы и осилить его. Выходит, однако, что я предавался несбыточным мечтам. Тяжба Джарндисов словно пологом отгородила Рика от света, когда он еще лежал в колыбели.

— Но, опекун, разве нельзя надеяться, что он узнает по опыту, какая все это ложь и мерзость?

— Надеяться мы, конечно, *будем,* Эстер,— сказал мистер Джарндис,— и будем желать, чтобы он понял свою

ошибку, пока еще не поздно. Во всяком случае, мы не должны быть к нему очень строгими. Он не один: сейчас, когда мы вот так сидим и разговариваем с вами, немного найдется на свете взрослых, зрелых и к тому же хороших людей, которые, стоит им только подать иск в этот суд, не изменятся коренным образом,— которые не испортятся в течение трех лет... двух лет... одного года. Так можно ли удивляться бедному Рику? Молодой человек, с которым случилось это несчастье,— теперь опекун говорил негромко, словно думая вслух,— сначала не может поверить (да и кто может?), что Канцлерский суд действительно таков, какой он есть на самом деле. Молодой человек ждет со всем пылом и страстностью юности, что суд будет защищать его интересы, устраивать его дела. А суд изматывает его бесконечной волокитой, водит за нос, терзает, пытает; по нитке раздергивает его радужные надежды и терпение; но бедняга все-таки ждет от него чего-то, цепляется за него, и, наконец, весь мир начинает казаться ему сплошным предательством и обманом. Так-то вот!.. Ну, хватит об этом, дорогая.

Он все время осторожно поддерживал меня рукой, и его нежность казалась мне таким бесценным сокровищем, что я склонила голову к нему на плечо,— будь он моим родным отцом, я не могла бы любить его сильнее. Мы ненадолго умолкли, и я тогда решила в душе, что непременно повидаюсь с Ричардом, когда окрепну, и постараюсь образумить его.

— Однако в дни таких радостных событий, как выздоровление нашей дорогой девочки, надо говорить о более приятных вещах,— снова начал опекун.— И мне поручили завести беседу об одном таком предмете, как только я вас увижу. Когда может прийти к вам Ада, милая моя?

О встрече с Адой я тоже думала часто. Отчасти в связи с исчезнувшими зеркалами, но не совсем,— ведь я знала, что никакая перемена в моей внешности не заставит мою любящую девочку изменить ее отношение ко мне.

— Милый опекун,— сказала я,— я так долго не пускала ее к себе, хотя для меня она, право же, все равно что свет солнца...

— Я это знаю, милая Хлопотунья, хорошо знаю.

Он был так добр, его прикосновение было полно такого глубокого сострадания и любви, а звук его голоса вносил такое успокоение в мое сердце, что я запнулась, так как была не в силах продолжать.

— Вижу, вижу, вы утомились,— сказал он.— Отдохните немножко.

— Я так долго не пускала к себе Аду,— начала я снова, немного погодя,— что мне, пожалуй, хотелось бы еще чуточку побыть одной, опекун. Лучше бы мне пожить вдали от нее, прежде чем вновь встретиться с нею. Если бы нам с Чарли можно было уехать куда-нибудь в деревню, как только я смогу передвигаться, и провести там с неделю, чтобы мне окрепнуть и набраться сил на свежем воздухе, чтобы мне освоиться с мыслью, какое это счастье — снова быть с Адой, мне кажется, так было бы лучше для нас обеих.

Надеюсь, это не было малодушием, что мне хотелось сначала немножко самой привыкнуть к своему изменившемуся лицу, а потом уже встретиться с моей дорогой девочкой, которую я так жаждала видеть; и мне действительно этого хотелось. Хотелось уехать. Опекун, разумеется, понял меня, но его я не стеснялась. Если мое желание и было малодушием, я знала, что он отнесется ко мне снисходительно.

— Ну, конечно, наша избалованная девочка — такая упрямая, что настоит на своем, даже ценою слез, которые прольются у нас внизу,— сказал опекун.— Но слушайте дальше! Бойторн, этот рыцарь до мозга костей, дал такой потрясающий обет, какого еще не видывала бумага,— он пишет, что, если вы не приедете и не займете всего его дома, из которого сам он специально для этого уже выехал, он клянется небом и землей снести этот дом, не оставив камня на камне!

И опекун передал мне письмо, которое начиналось не с обычного обращения вроде «Дорогой Джарндис», а устремлялось прямо к делу: «Клянусь, что если мисс Саммерсон не приедет и не поселится в моем доме, который я освобождаю для нее сегодня в час дня...», а дальше совсем всерьез и в самых патетических выражениях излагалась та необычайная декларация, о которой говорил опекун. Читая ее, мы смеялись от всей души, но это не

помешало нам отдать должное ее автору, и мы решили, что я завтра же пошлю благодарственное письмо мистеру Бойторну и приму его приглашение. Оно было мне очень приятно, ибо из всех мест, куда я могла бы уехать, мне никуда так не хотелось, как в Чесни-Уолд.

— Ну, милая наша Хозяюшка,— сказал опекун, взглянув на часы,— вас нельзя утомлять, и прежде чем подняться к вам наверх, мне пришлось дать обещание просидеть у вас не больше стольких-то минут, а они уже прошли все до одной. Но у меня есть к вам еще одна просьба. Маленькая мисс Флайт услышала, что вы заболели, и, недолго думая, явилась сюда пешком,— двадцать миль прошагала бедняжка, да еще в бальных туфельках! — чтоб узнать о вашем здоровье. Мы были дома, благодарение небу, а не то пришлось бы ей и возвращаться пешком.

Все тот же заговор! Как будто все сговорились доставлять мне удовольствие!

— Так вот, моя душенька,— сказал опекун,— если это вас не очень утомит, примите безобидную старушку какнибудь днем, до того как поедете спасать преданный вам дом Бойторна от разрушения, и вы так ей этим польстите, приведете ее в такой восторг, в какой я бы не мог ее привести за всю свою жизнь, хоть и ношу славное имя — Джарндис.

Несомненно, он понимал, что встреча с таким бедным обиженным созданием послужит мне мягким и своевременным уроком. Я угадала это по его тону. И, конечно, я всячески постаралась уверить его, что очень охотно приму старушку. Я всегда жалела ее... и еще больше жалела теперь. Я всегда радовалась, что могу утешить ее в ее горестях, а теперь радовалась этому еще больше.

Мы условились, на какой день следует пригласить мисс Флайт приехать в почтовой карете и разделить со мной мой ранний обед. Когда опекун ушел, я легла на кушетку, лицом к стене, и стала молиться о прощении,— ведь, одаренная столькими благами, я, быть может, преувеличила в душе тяжесть того ничтожного испытания, которое мне было ниспослано. Мне вспомнилась детскипростодушная молитва, которую я произнесла в тот

давний день рождения, когда стремилась быть прилежной, добросердечной, довольствоваться своей судьбой, стараться по мере сил делать добро людям, а если удастся, так и заслужить чью-нибудь любовь,— и я подумала, осуждая себя, о том счастье, которым наслаждалась с тех пор, и обо всех любящих сердцах, привязанных ко мне. Если я сейчас малодушна, значит все эти блага не пошли мне впрок, подумала я. И я повторила ребяческие слова своей давней ребяческой молитвы и почувствовала, что она, как и раньше, внесла мир в мою душу.

Теперь опекун навещал меня каждый день. Примерно через неделю с небольшим я уже могла бродить по нашим комнатам и подолгу разговаривать с Адой из-за оконной занавески. Однако я ни разу ее не видела,— у меня не хватало духу взглянуть на ее милое личико, хоть я легко могла бы смотреть на нее, когда знала, что она не видит меня.

В назначенный день приехала мисс Флайт. Бедная старушка вбежала в мою комнату, совершенно позабыв о своем всегдашнем старании держаться чопорно, и с криком, вырвавшимся из глубины души, бросилась мне на шею, твердя: «Дорогая моя Фиц-Джарндис!»; а поцеловала она меня раз двадцать, не меньше.

— Ах, боже мой! — проговорила она, сунув руку в ридикюль.— Я захватила с собой только документы, дорогая моя Фиц-Джарндис; вы не можете одолжить мне носовой платок?

Чарли дала ей платок, и он очень пригодился доброй старушке,— она прижимала его к глазам обеими руками и целых десять минут плакала в три ручья.

— Это от радости, дорогая моя Фиц-Джарндис,— поспешила она объяснить.— Вовсе не от горя. От радости видеть вас по-прежнему здоровой. От радости, что вы оказали мне честь принять меня. Вас, душечка моя, я люблю гораздо больше, чем канцлера. Впрочем, я *продолжаю* регулярно ходить в суд. Кстати, дорогая моя, насчет платка...

Тут мисс Флайт взглянула на Чарли, которая выходила встречать ее на остановку почтовой кареты. Чарли посмотрела на меня с таким видом, словно ей не хотелось говорить на эту тему.

— Оч-чень правильно! — одобрила мисс Флайт.— Оч-чень тактично. Прекрасно! Чрезвычайно нескромно с моей стороны упоминать об этом, но, дорогая мисс Фиц-Джарндис, боюсь, что я иногда (это между нами, и сами вы не догадались бы) — что я иногда путаюсь, говорю немножко... бессвязно, знаете ли,— и мисс Флайт приложила палец ко лбу.— Только и всего.

— А что же вы хотели сообщить мне? — спросила я с улыбкой, понимая, что ей хочется рассказать что-то.— Вы возбудили мое любопытство, и придется вам удовлетворить его.

Мисс Флайт взглянула на Чарли, спрашивая ее совета в этом затруднительном случае, а Чарли проговорила: «Лучше уж скажите, сударыня», чем доставила безмерное удовольствие нашей гостье.

— Какая смышленая девочка,— сказала мисс Флайт, обращаясь ко мне с таинственным видом.— Малышка. Но оч-чень смышленая! Так вот, дорогая моя, это премиленький эпизод. Только и всего. Но, по-моему, он очаровательный. Можете себе представить: от каретной остановки нас провожала одна бедная особа в очень неизящной шляпке...

— Позвольте вам доложить, мисс, это была Дженни,— вставила Чарли.

— Вот именно! — подтвердила мисс Флайт сладчайшим голосом.— Дженни. Да-а! И можете себе представить: она сказала вот этой нашей девочке, что в ее коттедж приходила какая-то леди под вуалью, справляться о здоровье моей дорогой Фиц-Джарндис, и эта леди взяла себе на память носовой платок только потому, что он когда-то принадлежал моей прелестной Фиц-Джарндис! Ну, знаете ли, это очень располагает в пользу леди под вуалью!

— Позвольте вам доложить, мисс,— сказала Чарли, на которую я посмотрела с некоторым удивлением.— Дженни говорит, что, когда ее ребеночек умер, вы оставили у нее свой носовой платок, а она убрала его, и он лежал вместе с пеленками и прочими вещицами, какие остались от младенца. Я думаю, позвольте вам доложить, что она сохранила его отчасти потому, что он ваш, мисс, отчасти потому, что им покрыли покойничка.

— Малышка,— прошептала мне мисс Флайт, пошевелив пальцами перед лбом, чтобы выразить этим, как умна Чарли.— Но чрез-вычайно смышленая! И объясняет все так толково! Она, душечка, говорит понятней любого адвоката, какого я когда-либо слушала!

— Я все это помню, Чарли,— сказала я.— И что же?

— Так вот, мисс,— продолжала Чарли,— этот самый платок леди и взяла. И Дженни просила вам передать, что не отдала бы его ни за какие деньги, но леди сама взяла его, а взамен оставила сколько-то монет. Дженни ее совсем не знает, мисс, позвольте вам доложить.

— Странно, кто бы это мог быть? — сказала я.

— Вы знаете, душечка,— зашептала мисс Флайт, приблизив губы к самому моему уху и принимая в высшей степени таинственный вид,— по *моему* мнению... только не говорите нашей малышке,— это супруга лорд-канцлера. Ведь он, знаете ли, женат. И как я слышала, она ему житья не дает. Бросает бумаги его милости в огонь, дорогая моя, если он отказывается платить по счетам ее ювелира!

Я тогда не стала гадать, кто эта леди,— просто подумала, что это, вероятно, была Кедди. Кроме того, мне пришлось заняться нашей гостьей,— она совсем закоченела во время поездки и, должно быть, проголодалась, а тут как раз подали обед, и надо было помочь ей, когда она, желая принарядиться, с величайшим удовольствием накинула на плечи жалкий истрепанный шарф и надела штопаные-перештопанные, совсем заношенные перчатки, которые привезла с собой завернутыми в бумагу. Мне пришлось также играть роль хозяйки за обедом, состоявшим из рыбы, жареной курицы, телятины, овощей, пудинга и мадеры, и мне так приятно было видеть, какую радость доставил этот обед старушке, как чинно и церемонно она кушала, что я уже не думала ни о чем другом.

Когда мы пообедали и нам подали десерт, красиво сервированный моей милой подругой, которая всегда сама наблюдала за приготовлением всего, что мне подавали, мисс Флайт, очень довольная, принялась болтать так оживленно, что я решила завести разговор о ее жизни, так как она всегда любила говорить о себе. Я начала с того, что спросила ее:

— Вы уже много лет ходите в Канцлерский суд, мисс Флайт?

— Ах, много, много, много лет, дорогая моя. Но я ожидаю судебного решения. В ближайшем будущем.

Но даже в ее надеждах сквозила такая тревога, что я усомнилась, надо ли было говорить об этом. И тут же подумала, что не надо.

— Мой отец ждал судебного решения,— продолжала, однако, мисс Флайт.— Мой брат. Моя сестра. Все они ждали судебного решения. И я жду.

— Все они...

— Да-а. Умерли, конечно, дорогая моя,— ответила она.

Заметив, что ей хочется продолжать этот разговор, и желая ей угодить, я передумала и решила не избегать его, а поддержать.

— А не разумней ли было бы,— сказала я,— больше не ждать решения?

— Правильно, дорогая моя,— быстро подтвердила она,— конечно, разумней.

— И никогда больше не ходить в суд?

— И это тоже правильно,— согласилась она.— Когда вечно ждешь того, что никогда не приходит,— это так изматывает, дорогая моя Фиц-Джарндис! Так изматывает, что, верите ли, только кожа да кости остаются!

Она показала мне свою руку, такую тонкую, что смотреть было страшно.

— Но, дорогая моя,— продолжала она таинственным тоном.— В суде есть что-то ужасно манящее. Тс! Не говорите об этом нашей малышке, когда она придет. Она может испугаться. Да и немудрено. В суде есть что-то манящее беспощадно. Расстаться с ним *нет сил*. Так что волей-неволей *приходится* ждать.

Я попыталась разуверить ее. Она терпеливо и с улыбкой выслушала меня, но сейчас же нашла ответ:

— Да, да, да! Вы так думаете потому, что я путаюсь, говорю немножко бессвязно. Оч-чень нелепо говорить так бессвязно, не правда ли? И оч-чень большая путаница получается. В голове. Я так полагаю. Но, дорогая моя, я ходила туда много лет и заметила. Это все от Жезла и Печати, что лежат на столе.

— Но что же они могут сделать, как вы думаете? — мягко спросила я.

— Они притягивают,— ответила мисс Флайт.— Притягивают к себе людей, дорогая моя. Вытягивают из них душевное спокойствие. Вытягивают разум. Красоту. Хорошие качества. Я не раз чувствовала, как даже ночью они вытягивают мой покой. Холодные, блестящие дьяволы!

Она похлопала меня по руке и добродушно кивнула, как будто стремясь уверить меня, что мне нечего ее бояться, несмотря на то что она говорит о таких мрачных вещах и поверяет мне такие страшные тайны.

— Постойте-ка,— снова заговорила она.— Я расскажу вам, как все это было со мной. До того, как они меня притянули... до того, как я впервые их увидела... что я делала? Играла на тамбурине? Нет. Вышивала тамбуром. Мы с сестрой делали вышивки тамбуром. Наш отец и брат имели строительную контору. Мы жили все вместе. Оч-чень прилично, дорогая моя! Сначала притянули отца... постепенно. Всё в доме вытянули вместе с ним. За несколько лет отец превратился в свирепого, желчного, сердитого банкрота,— никому, бывало, не скажет ласкового слова, никого не подарит ласковым взглядом. А раньше он был совсем другой, Фиц-Джарндис. Его притянули к ответу,— посадили в тюрьму для несостоятельных должников. Там он и умер. Потом втянули брата... быстро... в пьянство. В нищету. В смерть. Потом втянули сестру. Тс! Не спрашивайте — во что! Потом я заболела и оказалась в нужде; и тогда узнала... впрочем, я и раньше знала, что все это — дело рук Канцлерского суда. Но вот я поправилась и пошла посмотреть на это чудовище. А как увидела, какое оно, сама втянулась и осталась там.

Эту краткую повесть о своей жизни она рассказывала тихим голосом, как-то напряженно, словно все еще ощущая боль нанесенного ей удара, а умолкнув, постепенно приняла свой прежний любезный и важный вид.

— Вы не совсем верите мне, дорогая моя! Ну что ж! Когда-нибудь да поверите. Я говорю немножко бессвязно. Но я заметила. Все эти годы я видела, как множество но-

вых лиц появлялось там, и они, сами того не подозревая, поддавались влиянию Жезла и Печати. Так же, как мой отец. Как брат. Как сестра. Как я сама. Я слышу, как Велеречивый Кендж и все остальные говорят этим новым лицам: «А вот маленькая мисс Флайт. Кажется, вы тут человек новый, так вам надо пойти и представиться маленькой мисс Флайт!» Оч-чень хорошо. Горжусь, конечно, этой честью! И все мы смеемся. Но, Фиц-Джарндис, я знаю, что̀ произойдет. Я куда лучше их самих знаю, когда их начинает ма̀нить. Я различаю признаки, дорогая моя. Я видела, как они появились в Гридли. И я видела, чем это кончилось. Фиц-Джарндис, душечка,— она опять начала говорить вполголоса,— я видела, как они появились в нашем друге — подопечном тяжбы Джарндисов. Надо его удержать. А не то его доведут до гибели.

Несколько мгновений она смотрела на меня молча, потом лицо ее стало постепенно смягчаться, и на нем мелькнула улыбка. Опасаясь, должно быть, что разговор наш оказался слишком мрачным, и, кроме того, вероятно, уже забыв, о чем шла речь, она отпила немного вина из рюмки и проговорила любезным тоном:

— Да, дорогая моя, как я уже говорила, я жду решения суда. В ближайшем будущем. Тогда я, знаете ли, выпущу на волю своих птичек и буду жаловать поместья.

Меня очень огорчили и ее намеки на Ричарда и таившаяся в ее бессвязных речах печальная истина, столь печальным воплощением которой являлась сама эта жалкая, худенькая старушка. Но, к счастью, она успокоилась и опять сияла, улыбалась и кивала головой.

— А знаете, что я вам скажу, дорогая моя,— весело проговорила она, положив свою руку на мою.— Вы еще не поздравили меня с моим доктором. Положительно еще ни разу не поздравили!

Я не совсем поняла, что̀ она хочет сказать, в чем и вынуждена была сознаться.

— Я говорю о своем докторе, дорогая моя, о мистере Вудкорте, который был так необычайно внимателен ко мне. Хотя лечил меня совершенно безвозмездно. До Судного дня. Я говорю — о решении суда, которое рассеет во мне чары Жезла и Печати.

— Мистер Вудкорт теперь так далеко,— сказала я,— что поздравлять вас, пожалуй, уже поздно, мисс Флайт.

— Но, дитя мое,— возразила она,— возможно ли, что вы не знаете о том, что случилось?

— Нет,— ответила я.

— Не знаете, о чем говорят все и каждый, любимая моя Фиц-Джарндис?

— Нет,— сказала я.— Вы забыли, как долго я не выходила из своей комнаты.

— Верно! Забыла, дорогая моя... верно. Виновата. Но память из меня вытянули так же, как и все остальное, о чем я рассказывала. Оч-чень сильное влияние, не правда ли? Так вот, дорогая моя, произошло страшное кораблекрушение где-то там в Ост-Индских морях.

— Мистер Вудкорт погиб?!

— Не тревожьтесь, дорогая моя. Он в безопасности. Ужасная сцена. Смерть во всех ее видах. Сотни мертвых и умирающих. Пожар, буря и мрак. Толпы утопающих выброшены на скалу. И тут, среди всех этих ужасов, мой дорогой доктор оказался героем. Спокойно и мужественно выдержал все. Спас множество людей, не жаловался на голод и жажду, прикрывал нагих своей одеждой, руководил этими несчастными, указывал им, что надо делать, управлял ими, ухаживал за больными, хоронил мертвецов и, наконец, выходил тех, что остались в живых! Да, дорогая моя, эти бедные, истерзанные создания буквально молились на него. Добравшись до суши, они кланялись ему в ноги и благословляли его. Это знают все — по всей Англии молва гремит. Погодите! Где мой ридикюль с документами? Я взяла с собой описание, и вы прочтите его, прочтите!

И я действительно прочла с начала и до конца всю эту возвышенную историю, но в тот день читала ее еще очень медленно и с трудом, потому что у меня потемнело в глазах — я не различала слов и так плакала, что вынуждена была несколько раз откладывать в сторону длинную статью, которую мисс Флайт вырезала для меня из газеты. Я так гордилась тем, что когда-то знала человека, который поступил столь самоотверженно и доблестно; я ощущала такое пламенное ликование при мысли

о его славе; я так восхищалась и восторгалась его подвигами, что завидовала этим пострадавшим от бури людям, которые падали к его ногам и благословляли его как своего спасителя. Я сама готова была упасть на колени перед ним, таким далеким, и, восхищаясь им, благословлять его за то, что он так великодушен и храбр. Я чувствовала, что никто — ни мать, ни сестра, ни жена — не мог бы преклоняться перед ним больше, чем я. И я действительно преклонялась!

Моя бедная маленькая гостья подарила мне эту статью, а когда под вечер встала и начала прощаться, чтобы не опоздать к почтовой карете, в которой должна была вернуться в город, снова заговорила о кораблекрушении, но я была все еще очень взволнована и пока не могла представить себе его во всех подробностях.

— Дорогая моя,— сказала мисс Флайт, аккуратно складывая шарф и перчатки,— моему храброму доктору должны пожаловать титул. И, без сомнения, так оно и будет. Вы согласны со мной?

— Что он вполне заслужил титул? Да. Что он получит его? Нет.

— Почему же нет, Фиц-Джарндис? — спросила она довольно резким тоном.

Я объяснила ей, что в Англии не в обычае жаловать титулы лицам, совершившим подвиг в мирное время, как бы он ни был велик и полезен для человечества; впрочем, иной раз и жалуют,— если подвиг сводится к накоплению огромного капитала.

— Ну, что вы! — возразила мисс Флайт.— Как можете вы так говорить! Вы же знаете, дорогая моя, что все люди, которые украшают Англию своими знаниями, вдохновением, деятельным человеколюбием, всякого рода полезными усовершенствованиями, приобщаются к ее дворянству! Оглянитесь кругом, дорогая моя, и посмотрите. Нет, это *вы* сами, по-моему, сейчас немножко путаетесь, если не понимаете, что именно по этой веской причине в нашей стране всегда будут титулованные лица!

Боюсь, что она верила во все, что говорила,— ведь она иногда совсем лишалась рассудка.

А теперь я должна открыть одну маленькую тайну, которую до сих пор старалась сохранить. Я думала иной

раз, что мистер Вудкорт меня любил, и если б у него были хоть какие-то средства к жизни, он перед отъездом, пожалуй, сказал бы мне о своей любви. Я думала иногда, что, если б он так сказал, я была бы этому рада. Но теперь поняла — как хорошо, что он ничего не сказал! Как больно мне было бы написать ему, что мое несчастное лицо, то лицо, которое он знал, теперь изменилось до неузнаваемости и я безоговорочно освобождаю его от обещания, данного той, которую он никогда не видел!

Да, так вышло гораздо лучше! Милосердно избавленная от этой великой скорби, я могла теперь от всего сердца молиться своей детской молитвой о том, чтобы стать такой, каким он себя проявил столь блестяще, ибо я знала, что нам ничего не нужно менять, что нас не связывает цепь, которую мне пришлось бы рвать или ему — влачить, и что, с божьего соизволенья, я могу скромно идти путем долга, а он — широким путем доблести, и хотя каждый из нас идет своей дорогой, я имею право мечтать о том, как встречу его,— бескорыстно, с чистыми помыслами, сделавшись гораздо лучше, чем он считал меня, когда я немного нравилась ему,— встречу в конце пути.

## ГЛАВА XXXVI

### *Чесни-Уолд*

Мы с Чарли отправились в Линкольншир не одни. Опекун, решив не спускать с меня глаз, пока я не прибуду здравой и невредимой в дом мистера Бойторна, поехал нас провожать, и мы два дня пробыли в дороге. Какими прекрасными, какими чудесными казались мне теперь каждое дуновенье ветра, каждый цветок, листик и былинка, каждое плывущее облако, все запахи, да и все вообще в природе! Это было моей первой наградой за болезнь. Как мало я утратила, если весь широкий мир давал мне столько радости!

Опекун должен был вернуться домой немедленно, поэтому мы еще по дороге решили, в какой день моя милая девочка приедет ко мне. Я написала ей письмо, которое

опекун взялся передать, и через полчаса после нашего приезда, в чудесный вечер раннего лета, он уехал.

Будь я какой-нибудь принцессой, любимой крестницей доброй феи, которая одним взмахом волшебной палочки возвела для меня этот дом, я и то не была бы окружена в нем столькими знаками внимания. Его обитатели так тщательно приготовились к моему приезду, так любовно вспомнили о всех моих вкусах и склонностях, что не успела я обойти и половины комнат, как уже раз десять была готова упасть в кресло от глубокого волнения. Однако я поступила лучше и, вместо того чтобы поддаться слабости, показала все эти комнаты Чарли. А Чарли так восхищалась ими, что мое волнение улеглось, и после того как мы прогулялись по саду и Чарли истощила весь свой запас восторженных похвал, я почувствовала себя такой спокойной и довольной, какой мне и следовало быть. Как приятно было, что после чая я смогла сказать себе: «Ну, Эстер, теперь ты, милая, должно быть, уже образумилась, так надо тебе сесть и написать благодарственное письмо хозяину дома». Мистер Бойторн оставил для меня приветственную записку, такую же жизнерадостную, как и он сам, и поручил свою птичку моему попечению, а это, я знала, было проявлением его величайшего доверия ко мне. И вот я написала ему в Лондон небольшое письмо, в котором рассказывала о том, как выглядят его любимые кусты и деревья, как чудо-птичка самым радушным образом прочирикала мне «добро пожаловать», как она пела у меня на плече, к неописуемому восторгу моей маленькой горничной, а потом уснула в любимом уголке своей клетки,— но видела она что-нибудь во сне или нет, этого я сказать не могу. Кончив письмо и отправив его на почту, я усердно принялась распаковывать наши вещи и раскладывать их по местам. Чарли я услала спать пораньше, сказав, что в этот вечер она мне больше не понадобится.

Ведь я еще ни разу не видела себя в зеркале и даже не просила, чтобы мне возвратили мое зеркало. Я знала, что это малодушие, которое нужно побороть, но всегда говорила себе, что «начну новую жизнь», когда приеду туда, где находилась теперь. Вот почему мне хотелось остаться одной и вот почему, оставшись теперь одна в

своей комнате, я сказала: «Эстер, если ты хочешь быть счастливой, если хочешь получить право молиться о том, чтобы сохранить душевную чистоту, тебе, дорогая, нужно сдержать слово». И я твердо решила сдержать его; но сначала ненадолго присела, чтобы вспомнить обо всех дарованных мне благах. Затем помолилась и еще немного подумала.

Волосы мои не были острижены; а ведь им не раз угрожала эта опасность. Они были длинные и густые. Я распустила их, зачесала с затылка на лоб, закрыв ими лицо, и подошла к зеркалу, стоявшему на туалетном столе. Оно было затянуто тонкой кисеей. Я откинула ее и с минуту смотрела на себя сквозь завесу из собственных волос, так что видела только их. Потом откинула волосы и, взглянув на свое отражение, успокоилась — так безмятежно смотрело оно на меня. Я очень изменилась, ах, очень, очень! Сначала мое лицо показалось мне таким чужим, что я, пожалуй, отпрянула бы назад, отгородившись от него руками, если бы не успокоившее меня выражение, о котором я уже говорила. Но вскоре я немного привыкла к своему новому облику и лучше поняла, как велика перемена. Она была не такая, какой я ожидала, но ведь я не представляла себе ничего определенного, а значит — любая перемена должна была меня поразить.

Я никогда не была и не считала себя красавицей, и все-таки раньше я была совсем другой. Все это теперь исчезло. Но провидение оказало мне великую милость — если я и плакала, то недолго и не очень горькими слезами, а когда заплела косу на ночь, уже вполне примирилась со своей участью.

Одно только беспокоило меня, и я долго думала об этом, прежде чем лечь спать. Я хранила цветы мистера Вудкорта. Когда они увяли, я засушила их и положила в книгу, которая мне очень нравилась. Никто не знал об этом, даже Ада. И я стала сомневаться, имею ли я право хранить подарок, который он послал мне, когда я была совсем другой... стала думать — а может, это нехорошо по отношению к нему? Я хотела поступать хорошо во всем, что касалось мистера Вудкорта,— даже в тайниках моего сердца, которого ему не суждено было узнать,— потому

что ведь я могла бы любить его... любить преданно. В конце концов я поняла, что имею право сохранить цветы, если буду дорожить ими только в память о том, что безвозвратно прошло и кончилось, о чем я никогда больше не должна вспоминать с другими чувствами. Надеюсь, никто не назовет это глупой мелочностью. Для меня все это имело очень большое значение.

Я решила встать пораньше и уже сидела перед зеркалом, когда Чарли на цыпочках вошла в комнату.

— О господи, мисс,— вскричала Чарли, пораженная,— да вы уже встали?

— Да, Чарли,— ответила я, спокойно расчесывая волосы,— и я отлично себя чувствую и очень счастлива.

Тут я поняла, что у Чарли гора с плеч свалилась; но та гора, что свалилась с моих плеч, была еще больше. Теперь я знала самое худшее и примирилась с этим. Продолжая свой рассказ, я не буду умалчивать о минутах слабости, которой не могла преодолеть, но они быстро проходили, и меня не покидало спокойствие духа.

Мне хотелось до приезда Ады окрепнуть вполне и вернуть себе хорошее настроение, поэтому я вместе с Чарли так распределила время, чтобы весь день проводить на свежем воздухе. Было решено, что мы будем гулять перед завтраком, обедать рано, выходить из дому и до и после обеда, после чая гулять в саду, временами отдыхать, взбираться на все окрестные холмы, бродить по всем окрестным дорогам, тропинкам и полям. А что касается разных питательных и вкусных блюд, то добродушная экономка мистера Бойторна вечно бегала за мной с какой-нибудь едой или питьем в руках; и стоило ей узнать, что я отдыхаю в парке, как она спешила ко мне с корзинкой, и ее веселое лицо сияло желанием прочесть мне лекцию о том, как полезно кушать почаще.

Для верховой езды мне был предоставлен пони — толстенький пони с короткой шеей и челкой, падавшей на глаза,— который умел скакать — если хотел — таким ровным, не тряским галопом, что казался мне сущим сокровищем. Спустя два-три дня он уже привык бежать мне навстречу, когда я, приходя на выгон, подзывала его, ел из моих рук и шел за мной следом. Мы достигли столь полного взаимопонимания, что, когда он, бывало, лени-

вой рысцой вез меня по какой-нибудь тенистой дорожке и вдруг начинал упрямиться, стоило мне только потрепать его по шее и сказать: «Пенек, Пенек, странно, что ты не хочешь скакать,— ты же знаешь, как нравится мне легкий галоп, и не худо бы тебе доставить мне удовольствие, а так ты скоро совсем осовеешь — того и гляди заснешь!» — стоило мне это сказать, как он смешно дергал головой и сейчас же пускался вскачь, а Чарли в это время стояла где-нибудь и хохотала в таком восторге, что смех ее звучал словно музыка. Не знаю, кто дал Пеньку его кличку, но она к нему до того подходила, что казалось, будто она появилась на свет вместе с ним, как и его жесткая шерстка. Однажды мы запрягли его в маленький шарабан и торжественно проехали пять миль по зеленым проселкам, но вдруг, именно в ту минуту, когда мы начали превозносить его до небес, ему, должно быть, не понравилось, что его провожает целый рой надоедливых мелких комаров, которые всю дорогу толкутся у него над ушами, но как будто ни на дюйм не подвигаются вперед, и он остановился, чтобы поразмыслить о них. Должно быть, он пришел к выводу, что пора от них отвязаться, и упорно отказывался бежать дальше, пока я не передала вожжи Чарли, а сама не вышла из экипажа и не пошла вперед. После этого Пенек с каким-то упрямым добродушием двинулся за мной, сунув голову мне под мышку, и принялся тереться ухом о мой рукав. Тщетно я его уговаривала: «Ну, Пенек, я же тебя знаю,— ты теперь побежишь, если я сяду, чтобы немножко проехаться»,— стоило мне от него отойти, он опять останавливался и стоял как вкопанный. В конце концов мне пришлось все время идти впереди него: и так мы и вернулись домой, на потеху всей деревне.

Мы с Чарли не без оснований считали эту деревню удивительно приветливой: спустя какую-нибудь неделю жители ее уже улыбались нам, когда мы шли по улице, сколько бы раз на день мы ни проходили, и в каждом коттедже мы видели дружеские лица. Я уже в прошлый свой приезд познакомилась здесь со многими из взрослых и почти со всеми детьми, а теперь даже церковная колокольня казалась мне какой-то родной и милой.

В числе моих новых друзей была одна очень дряхлая старушка, которая жила в беленьком, крытом соломой домике, таком крошечном, что, когда распахивали наружные ставни его единственного окна, они закрывали собой всю переднюю стену. У этой старушки был внук-моряк, и под ее диктовку я написала ему письмо, в заголовке которого нарисовала уголок у камина, где когда-то бабушка нянчила внука и где его старенькая скамеечка все еще стояла на прежнем месте. Вся деревня решила, что этот рисунок — чудо искусства, когда же из самого Плимута пришел ответ, гласивший, что внук собирается взять рисунок с собой в Америку, а из Америки напишет снова, мне начали приписывать заслуги, по праву принадлежащие Почтовому ведомству, и расточать похвалы, заслуженные вовсе не мною, а им одним.

Я проводила столько времени на воздухе, так часто играла с ребятишками, так много беседовала со взрослыми, заходила, по приглашению хозяев, в столько коттеджей — да к тому же по-прежнему давала уроки Чарли и каждый день писала длинные письма Аде,— что мне даже некогда было подумать о моей маленькой утрате, и я почти всегда была веселой. Если я иногда и думала о ней в свободное время, то стоило мне чем-нибудь заняться, как я про нее забывала. Как-то раз я огорчилась, пожалуй, больше, чем следовало,— когда кто-то из деревенских детишек сказал:

— Мама, почему эта леди теперь не такая хорошенькая, как была?

Но я поняла, что ребенок любит меня не меньше прежнего, а когда он с каким-то жалостливо-покровительственным видом провел своей нежной ручонкой по моему лицу, ко мне быстро вернулось душевное равновесие.

Не мало произошло мелких событий, которые меня очень утешили, показав, как естественно для мягкосердечных людей быть деликатными и внимательными к тем, кто в каком-нибудь отношении стоит ниже их. Один из таких случаев меня особенно тронул. Как-то раз я зашла в церковку, где только что кончилось венчание и молодые собирались расписываться в книге брачных записей.

Сначала перо подали молодому мужу, и он вместо подписи неуклюже поставил крест; потом настал черед подписываться новобрачной, и она тоже поставила крест. Между тем я узнала, когда гостила здесь в прошлый раз, что она не только самая хорошенькая девушка в деревне, но и отлично училась в школе; так что теперь я не могла не взглянуть на нее с удивлением. Немного погодя она отошла в сторону и со слезами искренней любви и восхищения в умных живых глазах прошептала мне:

— Он такой милый и хороший, мисс, но еще не умеет писать,— потом я его научу, а сейчас, разве могла я его осрамить? Да ни за что на свете!

«Так чего же мне бояться людей,— подумала я,— если такое благородство живет в душе простой деревенской девушки?»

Ветерок освежал и бодрил меня так же, как и прежде, а на моем изменившемся лице играл здоровый румянец. Чарли, та была просто загляденье — такая сияющая и краснощекая,— и обе мы наслаждались жизнью весь день и крепко спали всю ночь напролет.

В лесах, примыкавших к парку Чесни-Уолда, у меня было одно любимое место, с которого открывался такой очаровательный вид, что здесь даже поставили скамью. Лес расчистили, прорубили в нем просеку, чтобы вид стал шире, и залитая солнцем даль была так прекрасна, что я каждый день отдыхала на этой скамье. Место здесь было высокое, и замечательная терраса Чесни-Уолда, прозванная «Дорожкой призрака», казалась отсюда особенно живописной, а диковинное прозвище и связанное с ним старинное семейное предание Дедлоков, рассказанное мне мистером Бойторном, сливались в моем представлении с этим видом и подчеркивали его природную красоту, придавая ему прелесть таинственности. Скамья стояла на отлогом пригорке, усеянном фиалками, и Чарли, большая охотница собирать полевые цветы, полюбила это место не меньше меня.

Теперь уже не к чему разбираться, отчего я ни разу не пошла посмотреть чесни-уолдский дом, и даже близко к нему не подходила. А ведь, приехав сюда, я услышала, что хозяева в отъезде и не собираются скоро воз-

вращаться. Нельзя сказать, чтобы я не интересовалась этим домом, чтобы мне не хотелось знать, как он устроен: наоборот, сидя здесь на скамье, я часто пыталась вообразить, как в нем расположены комнаты, и спрашивала себя, правда ли, что отзвуки, похожие на шум человеческих шагов, порою слышатся, если верить преданию, на уединенной Дорожке призрака. Возможно, что неясное чувство, испытанное мною при встрече с леди Дедлок, не позволяло мне приближаться к этому дому даже в ее отсутствие. Не знаю, так это или нет. Естественно, что лицо ее и весь облик связывались в моем представлении с ее домом, но не могу сказать, чтобы именно это мешало мне подойти к нему; однако что-то мешало. По той ли, по другой ли причине, или без всякой причины, но я ни разу не была около него. вплоть до того случая, к которому теперь подошел мой рассказ.

В тот день я отдыхала после долгой прогулки на своем любимом пригорке, а Чарли собирала фиалки неподалеку от меня. Я смотрела вдаль, на Дорожку призрака, окутанную густой тенью, которую отбрасывала стена дома, и старалась представить себе призрак женщины, будто бы бродивший там, как вдруг заметила, что кто-то идет по лесу в мою сторону. Просека была очень длинная, и в ней стоял сумрак от густой листвы, а тени ветвей на земле переплетались так, что в глазах рябило, поэтому я сначала не могла понять, кто это идет. Но мало-помалу я различила, что это женщина... леди... леди Дедлок. Она была одна и, как ни странно, шла к тому месту, где я сидела,— шла гораздо быстрее, чем ходила всегда.

Неожиданно увидев ее чуть ли не рядом с собой, (когда я ее узнала, она успела подойти так близко, что могла бы заговорить со мною), я взволновалась и даже хотела было встать и уйти. Но не смогла. Я была точно скованная, скованная не столько ее торопливым жестом, приглашавшим меня остаться, не столько тем, что она приближалась быстро, простирая ко мне руки, не столько разительной переменой в ее манерах,— куда девалась ее всегдашняя высокомерная сдержанность! — сколько чем-то в ее лице, о чем я тосковала и мечтала, когда была

маленькой девочкой... чего никогда не видела в других лицах... чего не видела раньше в ее лице.

Страх и слабость внезапно овладели мною, и я позвала Чарли. Леди Дедлок сейчас же остановилась и снова сделалась почти такой, какой я ее знала.

— Мисс Саммерсон, боюсь, что я испугала вас,— сказала она, замедлив шаг.— Вы, наверное, еще не окрепли. Я знаю, вы были тяжело больны. Я очень огорчилась, когда об этом услышала.

Я не могла оторвать глаз от ее бледного лица, не могла подняться со скамьи. Леди Дедлок протянула мне руку. Мертвенный холод этих пальцев так не вязался с неестественным спокойствием ее лица, что я окаменела. Не помню, какие мысли вихрем проносились в моем мозгу.

— Вы поправляетесь? — ласково спросила она.

— Я совсем здорова, леди Дедлок... была здорова минуту назад.

— Эта девочка — ваша служанка?

— Да.

— Может быть, вы пошлете ее вперед и пойдете домой вместе со мною?

— Чарли,— сказала я,— отнеси цветы домой, я скоро приду.

Чарли постаралась как можно лучше сделать реверанс, краснея, завязала ленты своей шляпы и ушла. Когда она исчезла из виду, леди Дедлок села рядом со мной на скамью.

Никакими словами не передать, что сталось со мной, когда я увидела в ее руке свой платок, тот, которым я когда-то покрыла умершего ребенка.

Я смотрела на нее; но я ее не видела, не слышала ее слов, не могла перевести дух. Сердце мое билось так сильно и бурно, что мне чудилось, будто что-то во мне сломалось, и я умираю. Но вот она прижала меня к своей груди и покрыла поцелуями, плача надо мной, жалея меня, умоляя меня очнуться; но вот она упала на колени с криком: «О девочка моя, дочь моя, я — твоя преступная, несчастная мать! Прости меня, если можешь!»; но вот я увидела ее у своих ног на голой земле, подавленную беспредельным отчаянием, и, уже тогда,



в смятении чувств, подумала в порыве благодарности провидению: «Как хорошо, что я так изменилась, а значит, никогда уже не смогу опозорить ее и тенью сходства с нею... как хорошо, что никто теперь, посмотрев на нас, и не подумает, что между нами может быть кровное родство».

Я подняла свою мать, упрашивая и умоляя ее не унижаться передо мною в ослеплении горя и стыда. Я говорила невнятно и бессвязно; ведь я не только была потрясена, но мне стало страшно, когда я увидела ее у *моих* ног. Я сказала ей, точнее — попыталась сказать, что не мне, ее дочери, прощать ей что бы то ни было, но если уж так выпало мне на долю, то я прощаю ее, простила много, много лет назад. Я сказала, что сердце мое переполнено любовью к ней, и никакое прошлое не изменило и не изменит этой дочерней любви. Не мне, впервые прижавшейся к материнской груди, судить свою мать за то, что она дала мне жизнь; нет, долг велит мне благословить ее и принять, хотя бы весь свет от нее отвернулся, и я только прошу, чтобы она мне это позволила. Я обнимала мать, она обнимала меня. В тиши этих лесов, в безмолвии этого летнего дня одни лишь наши смятенные души не знали покоя.

— Благословить и принять меня теперь уже поздно,— простонала моя мать.— Я должна идти своим темным путем, одна, а куда он меня приведет — не знаю. Ведь я даже за день, даже за час вперед не могу угадать, по какой дороге придется мне, грешной, идти. Вот какую земную кару навлекла я сама на себя. Я терплю ее и скрываю.

Вспомнив о своем стойком терпении, она, как вуалью, прикрылась привычным для нее горделивым равнодушием, но снова быстро сбросила его.

— Я должна хранить эту тайну, если ее можно сохранить, и — не только ради себя. У меня есть муж,— у меня, падшей женщины, позорящей своих близких!

Эти слова она произнесла с приглушенным стоном отчаяния, более страшным, чем громкий крик. Закрыв лицо руками, она вырвалась из моих объятий, словно не желая, чтобы я прикасалась к ней, потом опустилась

на землю, и никакими мольбами, никакими ласками не могла я заставить ее подняться. Нет, нет, нет, твердила она, только так может она говорить со мною; всюду она должна быть гордой и высокомерной; но здесь, в эти единственные в ее жизни минуты искренности, она будет смиренной и униженной.

Моя несчастная мать рассказала мне, что, когда я заболела, она чуть не помешалась. Только тогда узнала она, что ее дочь жива. Раньше она и не подозревала, что я ее дочь. Сюда она теперь приехала ради меня, чтобы хоть раз в жизни поговорить со мною. Нам нельзя встречаться, нельзя переписываться, и наверное отныне и до самой смерти нам не придется сказать друг другу ни слова. Отдавая мне письмо, написанное для меня одной, она наказала уничтожить его сразу же по прочтении,— и не столько ради нее, ибо ей ничего не нужно, сколько ради ее мужа и меня самой,— а потом считать ее умершей. Если я, видя ее в таком отчаянии, могу поверить, что она любит меня материнской любовью, то она просит поверить в это, ибо я тогда пойму, как она мучается, и, быть может, сама буду вспоминать о ней с более глубоким состраданием. А для нее уже нет никаких надежд, и помощи ей ждать неоткуда. Сохранит ли она свою тайну до самой смерти, или нет,— а если не сохранит, то навлечет позор и несчастье на то имя, которое носит,— все равно, она будет всегда бороться одна, ибо никто не может стать ей близким другом, никто на свете не в силах помочь ей ничем.

— А пока нет опасности, что тайна откроется? — спросила я.— Сейчас этой опасности нет, любимая моя матушка?

— Есть! — ответила мне мать.— Тайна чуть было не открылась. Только случай помог ее сохранить. Но другой случай может раскрыть ее... в любой день, может быть, завтра.

— Вы боитесь кого-нибудь?

— Тише! Не дрожи и не плачь так горько из-за меня. Я недостойна этих слез,— проговорила мать, целуя мне руки.— Я очень боюсь одного человека.

— Это ваш враг?

— Во всяком случае, не друг. Он слишком бесстра-

стен и для вражды и для дружбы. Это поверенный сэра Лестера Дедлока, и он, как говорят, «верный человек», но верность эта чисто деловая, бесчувственная — он никого не любит, только очень дорожит выгодами, привилегиями и славой, которыми пользуется как хранитель тайн многих знатных семейств.

— У него возникли подозрения?

— Возникли.

— Неужели он подозревает вас? — спросила я в тревоге.

— Да! Он вечно следит за мной, вечно тут, рядом. Я могу держать его в известных границах, но избавиться от него окончательно не могу.

— Неужели он не знает жалости, угрызений совести?

— Нет; он не знает и гнева. Он равнодушен ко всему на свете, кроме своего призвания. А его призвание — узнавать чужие тайны и пользоваться властью, которую они дают ему, не деля ее ни с кем и никому ее не уступая.

— Вы не могли бы довериться ему?

— И пытаться не буду. Много лет я шла своим темным путем, и он как-нибудь да кончится. Я в одиночестве буду идти им до конца, каков бы ни был конец. Близок он или далек, но, пока я не пройду всего пути, ничто не заставит меня свернуть с него.

— Милая матушка, неужели вы так твердо решились на это?

— Да, я *решилась*. Я долго побеждала безрассудство безрассудством, гордость — гордостью, презрение — презрением, дерзость — дерзостью и подавляла тщеславие многих еще большим тщеславием. И эту опасность я преодолею, если смогу, а если нет, устраню ее своей смертью. Кольцо опасности сомкнулось вокруг меня, и это почти так же страшно, как если бы вот эти чесниуолдские леса глухой стеной сомкнулись вокруг дома; но мой путь от этого не изменится. У меня один путь, другого быть не может.

— Мистер Джарндис...— начала было я, но мать торопливо перебила меня вопросом:

— А *он* подозревает?

— Нет,— ответила я.— Ничуть! Уверяю вас, он ни о

чем не подозревает! — И я передала ей с его слов все то, что он знал о моем происхождении.— Но он такой добрый и умный,— сказала я,— и, быть может, если б он знал...

Моя мать, все время сидевшая неподвижно, теперь прикоснулась рукой к моим губам и прервала меня.

— Можешь довериться ему вполне,— сказала она немного погодя.— На это я охотно даю согласие — жалкий дар покинутой дочери от такой матери! — но не говори об этом мне. Какая-то гордость во мне еще живет, даже теперь.

Я объяснила ей, насколько сумела тогда и насколько могу припомнить теперь, ибо волнение мое и отчаяние были так велики, что я сама едва понимала свои слова, хотя в моей памяти неизгладимо запечатлелось каждое слово, произнесенное моей матерью, чей голос звучал для меня так незнакомо и грустно,— ведь в детстве я не училась любить и узнавать этот голос, а он никогда меня не убаюкивал, никогда не благословлял, никогда не вселял в меня надежду,— повторяю, я объяснила ей, или попыталась объяснить, что мистер Джарндис, который всегда был для меня лучшим из отцов, мог бы ей что-нибудь посоветовать и поддержать ее. Но моя мать ответила: нет, это невозможно; никто не может ей помочь. Перед нею лежит пустыня, и по этой пустыне она должна идти одна.

— Дитя мое, дитя мое! — промолвила она.— В последний раз! Эти поцелуи — в последний раз! Эти руки обнимают меня в последний раз! Мы больше не встретимся. Мне нужно остаться такой, какой я была так долго, иначе нечего и надеяться сохранить тайну. Вот какое возмездие, вот какая судьба выпали мне на долю. Если ты услышишь о леди Дедлок, блестящей, преуспевающей, окруженной лестью, подумай о своей несчастной матери, которая страдает под этой личиной от угрызений совести. Знай, что она мучается, бесплодно раскаивается, убивает в своем сердце единственную любовь и искренность, на какие способна! И прости ей, если можешь, и моли бога простить ее, хоть и он этого не может!

Мы обнимали друг друга еще несколько минут, но она так овладела собой, что отвела мои руки и, положив

их мне на грудь, поцеловала в последний раз, потом уронила, отошла от меня и исчезла в лесу. Я осталась одна; а там вдали, безмятежный и безмолвный в игре света и теней, стоял старый дом с террасами и башенками — тот дом, который вначале, когда я впервые его увидела, казался мне погруженным в полный покой, а теперь предстал передо мною черствым и безжалостным свидетелем мук моей матери.

Ошеломленная, слабая и беспомощная, как во время болезни, я, наконец, обрела новые силы, осознав всю необходимость бороться с опасностью раскрытия тайны и предотвратить малейшее подозрение. Я постаралась как можно лучше скрыть от Чарли следы своих слез и заставила себя вспомнить о том, что моя священная обязанность — вести себя осторожно и овладеть собою. Не скоро удалось мне подавить или хотя бы сдержать первые вспышки горя; но примерно через час мне стало лучше, и я поняла, что могу вернуться домой. Я шла очень медленно и, увидев Чарли, ожидавшую меня у калитки, сказала ей, что после того как леди Дедлок ушла, мне захотелось погулять еще немного, но сейчас я чувствую, что выбилась из сил и хочу лечь спать. Запершись в своей комнате, я прочла письмо. И я узнала — в то время это имело для меня большое значение,— что, когда я появилась на свет, моя мать меня не бросила. Меня приняли за мертворожденную и унесли, а старшая и единственная сестра матери — моя крестная, у которой я жила в детстве,— заметив во мне признаки жизни, взяла меня к себе из свойственного ей сурового чувства долга, но взяла неохотно, не желая, чтобы я выжила, воспитала меня в строжайшей тайне и с тех пор, то есть со дня моего рождения, ни разу не виделась с моей матерью. Вот каким необычным образом заняла я свое место в этом мире,— моя родная мать до недавнего времени считала, что я родилась бездыханной... погребена... никогда не жила на свете... не имела имени. Когда она впервые увидела меня в церкви, мое лицо поразило ее, и она подумала, что, если бы ее дочь родилась живой и жила до сих пор, она была бы похожа на меня; в то время она ничего другого не подумала.

Я пока не стану пересказывать всего, что еще говорилось в ее письме. Для этого я найду в своей повести надлежащее время и место.

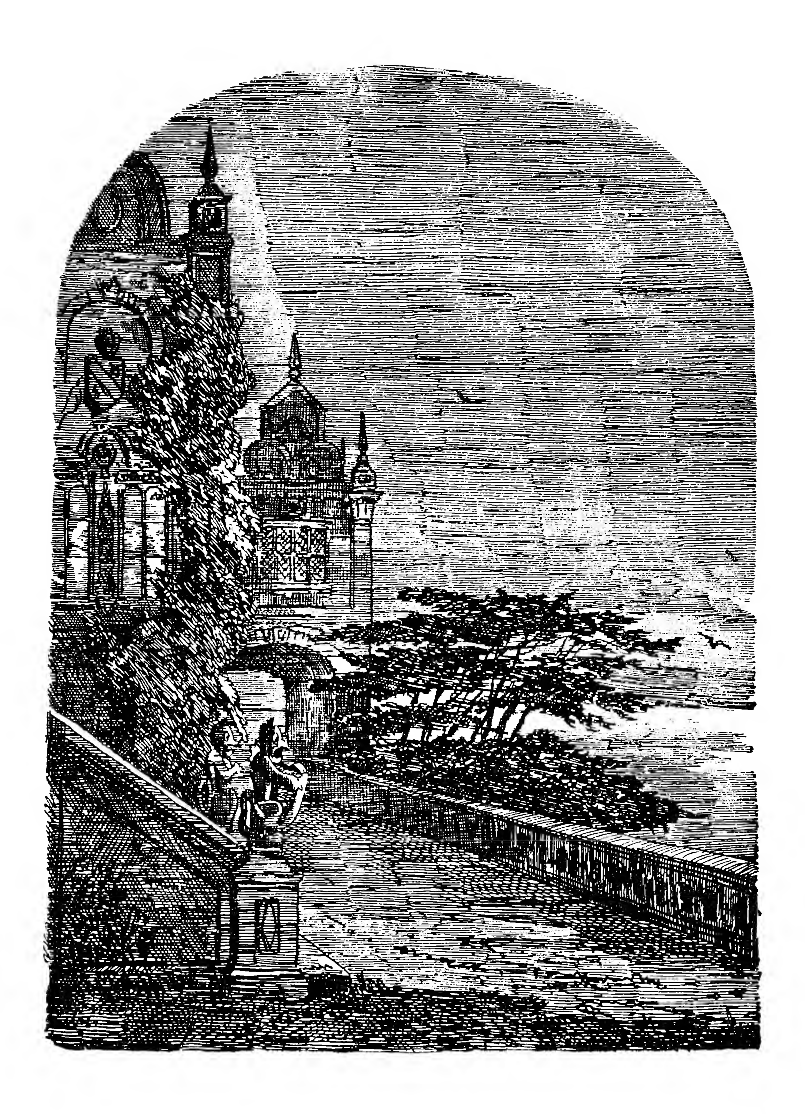
Прежде всего я поспешила сжечь письмо матери и даже развеять его пепел. И тогда — надеюсь, это не было слишком большим грехом,— тогда я стала горько сожалеть о том, что меня вырастили: ведь для многих людей было бы лучше, думала я, если бы я и в самом деле родилась мертвой, ибо во мне таятся опасности и позор, грозящие моей родной матери и одному знатному роду; и я внушала себе такой ужас, была так подавлена и потрясена, что мне стало казаться, будто лучше мне было умереть, как только я родилась,— это было бы хорошо и согласно с волей провидения, а то, что я осталась в живых,— и дурно и идет вразрез с этой волей.

Вот какие чувства владели мною. Измученная вконец, я заснула, а когда проснулась, снова заплакала, вспомнив, что вернулась в мир, отягощенная бременем тревоги за других. И я еще больше испугалась самой себя, когда вновь стала думать о той, против кого была свидетельницей, о владельце Чесни-Уолда и о новом и страшном значении давних слов, глухо бившихся мне в уши, как бьются волны прибоя о берег: «Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время — и очень скоро,— когда ты поймешь это и почувствуешь, как может чувствовать только женщина». Вспомнились мне и другие слова: «Молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову». Я была не в силах распутать все эти узлы, и мне казалось, будто это я во всем виновата, будто источник позора во мне самой, и вот теперь на меня действительно пали чужие грехи.

День померк и перешел в безрадостный вечер, пасмурный и хмурый, а я все еще продолжала бороться с отчаянием. Я вышла из дому одна и немного погуляла по парку, наблюдая, как сумрак все гуще окутывает деревья, и следя за судорожным полетом летучих мышей, которые иногда почти задевали меня. Вдруг меня впервые потянуло к дому Дедлоков. Вероятно, я не решилась бы подойти к нему близко, будь я более спокойна. Но я не была спокойна и пошла по дороге, которая вела к нему.

Не смея останавливаться и даже оглядываться, я прошла мимо разбитого террасами благоухающего цветника с широкими дорожками, превосходно возделанными клумбами и мягким газоном; я увидела, как все тут красиво и величественно, увидела источенные временем и непогодой старинные каменные балюстрады, парапеты, широкие лестницы с низкими ступенями, подстриженный мох и плющ, которые покрывали все это и росли вокруг каменного пьедестала солнечных часов, а вскоре услышала плеск фонтана. Потом я увидела с дороги вереницы темных окон, перемежавшихся большими башнями, к которым лепились крохотные башенки, и вычурные крыльца, где торчали, словно выступив из берлог тьмы и как бы огрызаясь на вечерний сумрак, древние каменные львы и уродливые чудища с гербовыми щитами в лапах и оскаленными мордами. Отсюда дорога вела к воротам, потом во двор, куда выходил главный подъезд (здесь я ускорила шаги); дальше она вилась мимо конюшен, расположенных в таком месте, где все звуки и шумы, будь то шуршанье ветра в густом плюще, цеплявшемся за высокую красную стену, слабый, жалобный скрип флюгера, лай собак или медленный бой часов, казались приглушенными. Немного погодя я почувствовала сладкий запах лип, шелест которых доносился до меня, и, не сходя с дороги, повернула к южной стене дома. Тут я увидела над собой балюстраду Дорожки призрака и одно освещенное окно — быть может, окно моей матери.

В этом месте дорога, по которой я шла, была вымощена так же, как и терраса наверху, и шаги мои, ранее бесшумные, теперь стали гулко отдаваться от каменных плит. Не останавливаясь, чтобы посмотреть на что-нибудь, но успевая увидеть все, что можно было разглядеть на ходу, я быстро шагала вперед и спустя несколько мгновений прошла бы мимо освещенного окна, но, прислушавшись к отзвуку своих шагов, вдруг подумала, что предание о Дорожке призрака полно грозного значения,— и это я, я должна принести несчастье этому величественному дому, в котором уже сейчас слышны мои зловещие шаги. В ужасе от самой себя, еще большем, чем раньше, я похолодела и, повернув назад, пустилась бежать и от себя и от всего на свете, и бежала без



передышки, пока не поравнялась со сторожкой привратника и угрюмый, темный парк не остался далеко позади.

Только ночью, сидя одна в своей комнате и снова чувствуя себя отверженной и несчастной, я мало-помалу начала понимать, как нехорошо предаваться отчаянию и какая это неблагодарность. Я получила радостное письмо от своей милой подруги, которая собиралась приехать на другой день, и это письмо дышало такой любовью, такой надеждой на встречу со мной, что не растрогаться им могло бы лишь каменное сердце. И от опекуна я получила письмо, в котором он просил меня передать Хлопотунье, если я встречу эту старушку, что без нее все приуныли, хозяйство пришло в полный упадок,— ибо никто, кроме нее, не знает, что делать с ключами,— а все домочадцы твердят, что без нее дом не дом, и того и гляди взбунтуются, требуя ее возвращения. Оба эти письма заставили меня подумать о том, как мало я заслужила подобную любовь и какой счастливой должна себя чувствовать. Потом я стала вспоминать о всей своей прошлой жизни, и на душе у меня стало легче.

Ведь я теперь ясно видела, что провидение не желало моей смерти, иначе я не осталась бы в живых, не говоря уж о том, что никогда бы не выпала мне на долю такая счастливая жизнь. Я теперь ясно видела, что в жизни моей многое, очень многое было направлено к моему благу; и если грехи отцов иногда падают на детей, то это изречение имеет не тот смысл, который я нынче утром приписывала ему с таким страхом. Я поняла, что я так же не повинна в своем рождении, как и какая-нибудь королева — в своем, и небесный отец не станет карать меня за мое рождение, как не станет вознаграждать королеву за то, что она родилась. Потрясение, испытанное мною в этот самый день, показало мне, что уже теперь, так скоро, я могу примириться с постигшим меня ударом, ибо если лицо мое изменилось, то и в этом есть кое-что хорошее. Я вновь напомнила себе самой свое решение и помолилась, чтобы мне было даровано утвердиться в нем; я всю свою душу излила в молитве о себе и своей несчастной матери и почувствовала, что мрак, окутавший меня утром, начал рассеиваться. Во сне я

уже не ощущала его, а когда заря разбудила меня, он исчез совсем.

Моя милая девочка должна была приехать в пять часов. Как убить время до ее приезда, я не знала, и решила, что самое лучшее — это сделать длинную прогулку по дороге, которой она ехала; и вот Чарли, я и Пенек — Пенек под седлом, потому что после того памятного случая его уже не решались запрягать,— мы втроем совершили большую экскурсию по дороге, а потом повернули обратно. Возвратившись, мы обошли и тщательно осмотрели дом и сад, постарались, чтобы все выглядело как можно лучше, и вынесли на видное место птичку, как одну из главных достопримечательностей усадьбы.

До приезда Ады оставалось еще добрых два часа, и в течение этих часов, показавшихся мне нестерпимо долгими, я, признаюсь, очень тревожилась, думая о своем изменившемся лице. Я так любила мою дорогую подругу, что ее мнением дорожила больше, чем мнением любых других людей, и потому очень беспокоилась, не зная, какое впечатление произведу на нее. Волновалась я вовсе не потому, что скорбела о случившемся,— хорошо помню, что в тот день я ничуть не скорбела,— но, думала я, достаточно ли подготовлена Ада? Может быть, увидев меня, она будет слегка смущена и разочарована? А вдруг лицо мое окажется хуже, чем она ожидала? А вдруг она будет искать свою прежнюю Эстер и не найдет ее? А вдруг ей придется привыкать ко мне и начинать все сначала?

Я отлично изучила личико моей милой девочки, а это прелестное личико очень правдиво отражало все ее чувства, и поэтому я знала, что она при самом первом взгляде на меня не сумеет скрыть свои чувства. И вот я стала думать: а что, если я увижу в ее лице то, чего и следует ожидать, смогу я за себя поручиться?

И я поняла, что смогу. После того, что было вчера, наверное смогу. Но все ждать и ждать, все надеяться и надеяться, все думать и думать — это была такая плохая подготовка к нашему свиданию, что я решила опять пойти по дороге навстречу Аде.

Поэтому я сказала Чарли:

— Чарли, я одна пойду по дороге ей навстречу и вернусь вместе с ней.

Чарли всегда полностью одобряла все, что я делала, и я ушла, оставив ее дома.

Еще не дойдя до столба, отмечавшего вторую милю, я успела столько раз вздрогнуть при виде каждого далекого облака пыли (хоть и знала, что подняла его не почтовая карета — для этого было еще рано), что решила повернуть назад и направиться домой. А повернув назад, так испугалась, как бы карета не нагнала меня (хоть и знала, что этого не будет, да и не может быть), что пустилась бежать во всю прыть и бежала почти всю дорогу, из боязни, что карета все же меня обгонит.

Благополучно вернувшись домой, я поняла, какую сделала глупость! Я разомлела от жары, и вид у меня был очень плохой, тогда как я стремилась выглядеть как можно лучше.

Наконец, когда я, вся дрожа, сидела в саду, полагая, что осталось не меньше четверти часа до приезда Ады, Чарли внезапно крикнула мне:

— Она идет, мисс! Вот она!

Сама не зная, что делаю, я помчалась наверх в свою комнату и спряталась за дверью. Там я и стояла, дрожа всем телом, и не вышла, даже когда услышала голос моей дорогой девочки, которая звала меня, поднимаясь по лестнице:

— Эстер, милая моя, дорогая, где ты? Хозяюшка, милая Хлопотунья!

Она вбежала в комнату и уже хотела выбежать вон, как вдруг увидела меня. Ах, мой ангел! Все тот же прежний милый взгляд, полный любви, полный нежности, полный привязанности. Только это и было в ее взгляде... а больше ничего, ничего!

И как счастлива я была, когда очутилась на полу, а моя красавица, моя милая девочка, которая тоже очутилась на полу рядом со мною, прижала мое рябое лицо к своей прелестной щечке, обливая его слезами, осыпая поцелуями, и стала баюкать меня, как ребенка, называя всякими нежными именами, какие только могла вспомнить, и прижимая к своему неизменно преданному сердцу,— как счастлива я была тогда!

## ГЛАВА XXXVII
### *«Джарндисы против Джарндисов»*

Если бы тайна, которую я должна была хранить, была моей, я непременно и очень скоро поведала бы ее Аде. Но тайна была не моя, и я чувствовала, что не имею права говорить о ней даже опекуну, если только не случится что-то важное. Это бремя надо было нести в одиночестве; но я понимала, в чем теперь заключается мой долг, и, счастливая привязанностью своей любимой подруги, не нуждалась в поощрении и ободрении. Хоть и случалось нередко, что, в то время как она спала и все было тихо в доме, воспоминание о матери мешало мне уснуть и я проводила ночь в тоске, но зато в другие часы я не поддавалась унынию, и Ада видела меня такой, какой я была раньше... конечно, если не считать той перемены, о которой я уже достаточно говорила и о которой, если удастся, пока упоминать не буду.

Очень трудно мне было сохранить полное спокойствие в тот первый вечер, когда мы сидели за работой и Ада спросила, живут ли теперь Дедлоки в своем поместье, а мне пришлось ответить, что да, вероятно живут, ведь леди Дедлок третьего дня разговаривала со мною в лесу. Еще трудней мне стало, когда Ада спросила, о чем разговаривала со мной леди Дедлок, и я ответила, что она отнеслась ко мне любезно и участливо, а моя милая подруга, отдавая должное ее изяществу и красоте, заметила, что она очень горделива и вид у нее властный и холодный. Но Чарли, сама того не ведая, помогла мне, рассказав, что леди Дедлок провела только две ночи в усадьбе, проездом из Лондона в соседнее графство, где собиралась погостить в каком-то знатном семействе, а уехала она рано утром на другой день после того, как мы видели ее на нашем «Кругозоре», как мы называли место, где мы с нею встретились. Вообще о Чарли можно было сказать по пословице: «У маленьких кувшинчиков большие ушки»; эта девочка за день успевала услышать столько всяких новостей, сколько до моих ушей и за месяц не дошло бы.

Мы собирались прогостить у мистера Бойторна месяц. С приезда моей подруги прошла, помнится, всего одна чудесная неделя, и вот как-то раз вечером, когда мы только что кончили помогать садовнику поливать цветы и в доме уже зажгли свечи, за креслом Ады с очень таинственным и многозначительным видом появилась Чарли и знаком попросила меня выйти из комнаты.

— Ах, мисс, позвольте вам доложить,— зашептала Чарли, раскрыв как можно шире свои круглые глазенки.— Вас просят прийти в «Герб Дедлоков».

— Полно, Чарли,— отозвалась я,— кто может просить меня прийти на постоялый двор?

— Не знаю, мисс,— ответила Чарли, вытянув шею и крепко прижав сложенные ручонки к нагруднику своего передничка, что она всегда делала, когда наслаждалась чем-нибудь таинственным или секретным,— но это джентльмен, мисс, и он просил передать вам поклон и сказать, что, может, вы будете любезны прийти, только никому про это не говорите.

— Чей поклон, Чарли?

— Ихний, мисс,— ответила Чарли, которая хотя и делала успехи в изучении грамматики, но не очень быстро.

— Как же так вышло, что за мной послали тебя, Чарли?

— Это не меня послали, позвольте вам доложить, мисс,— ответила моя маленькая горничная.— Это послали У. Грабла, мисс.

— А кто такой У. Грабл, Чарли?

— Это мистер Грабл, мисс,— ответила Чарли.— Неужто не знаете, мисс? «Герб Дедлоков, содержатель У. Грабл»,— объяснила Чарли нараспев, словно читая по складам вывеску.

— Вот как? Значит, он хозяин этого заведения, Чарли?

— Да, мисс. Позвольте вам доложить, мисс, жена у него прямо красавица, только она ногу сломала в щиколотке, и кость так и не срослась. А брат у ней пильщик — это который в тюрьме сидел, мисс, и люди говорят, что он наверное допьется до смерти,— ответила Чарли,— кроме пива, ничего в рот не берет.

Не понимая, в чем дело, и пугаясь теперь всего на свете, я решила, что мне лучше всего пойти туда одной.

Приказав Чарли поскорее принести мне шляпу с вуалью и шаль, я надела их и пошла по круто спускавшейся деревенской уличке, где чувствовала себя так же свободно, как в саду мистера Бойторна.

В ожидании моего прихода мистер Грабл стоял без сюртука на пороге своей чистенькой маленькой таверны. Завидев меня, он обеими руками снял шляпу и, держа ее перед собой, как чугунный котел (очень тяжелый), провел меня по усыпанному песком коридору в свой лучший зал — опрятный, с ковром на полу, но до того загроможденный комнатными растениями, что в нем негде было повернуться, и украшенный такими, например, предметами, как цветная гравюра с портретом королевы Каролины *, раковины, множество чайных подносов, два чучела высушенных рыб под стеклянными колпаками и какая-то странная вещь — не то диковинное яйцо, не то диковинная тыква (не знаю, что именно, и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь знал), подвешенная к потолку. Я прекрасно знала мистера Грабла в лицо,— ведь я часто видела, как он стоял на своем пороге — приятный, полный человек средних лет, который почти никогда не снимал шляпы и высоких сапог, так как без них, видимо, чувствовал себя неуютно даже у собственного камина, а сюртук надевал только когда ходил в церковь.

Сняв нагар со свечи и немного отступив, чтобы посмотреть, как она горит, он вышел так неожиданно, что я не успела даже спросить, кто послал его за мной. Он не закрыл за собой двери, и я услышала из другого зала голоса, которые мне показались знакомыми; но они внезапно смолкли. Кто-то шел быстрыми легкими шагами к той комнате, где я находилась, и вдруг передо мной оказался Ричард!

— Милая моя Эстер, мой лучший друг! — воскликнул он так искренне и сердечно, что, изумленная этой неожиданной встречей и тронутая его братским приветствием, я едва нашла в себе силы сказать ему, что Ада чувствует себя прекрасно.

— Вы отвечаете на мои мысли... все та же милая девушка! — сказал Ричард, подводя меня к креслу и усаживаясь рядом со мной.

Я приподняла вуаль, но — только приподняла.

— Все та же милая девушка! — повторил Ричард тем же дружеским тоном.

Я откинула вуаль, положила руку ему на плечо и, глядя ему прямо в лицо, сказала, как горячо я благодарю его за ласковые слова и как радуюсь встрече с ним — радуюсь тем сильнее, что еще во время болезни решила поговорить с ним.

— Милая моя,— сказал Ричард,— с кем же мне еще говорить, как не с вами, если я жажду, чтобы именно вы меня поняли.

— А я хочу, Ричард,— отозвалась я, покачав головой,— чтобы вы поняли другого человека.

— Ну, раз уж вы с самого начала завели речь о Джоне Джарндисе...— проговорил Ричард,— ведь вы намекаете на него, надо думать?

— Конечно.

— Тогда я тоже скажу сразу: я очень рад поговорить о нем, так как стремлюсь, чтобы вы меня поняли именно в этом отношении. Чтобы поняли меня вы, заметьте себе: вы, дорогая! Ни мистеру Джарндису, ни мистеру Кому-угодно я не обязан давать отчета.

Мне стало горько, что он заговорил таким тоном, и он заметил это.

— Ну, хорошо, хорошо, милая моя,— сказал Ричард,— пока не будем спорить. Мне хочется взять вас под руку, тихонько войти в ваш здешний деревенский дом и сделать сюрприз моей прелестной кузине. Как вы ни преданы Джону Джарндису, вы разрешите мне это, надеюсь?

— Дорогой Ричард,— ответила я,— вы знаете, что вас радушно примут в его доме,— а ведь это ваш родной дом, если только вы сами пожелаете считать его родным,— и так же радушно вас примут и здесь!

— Вот это слова самой любезной хозяюшки на свете! — весело воскликнул Ричард.

Я спросила, как ему нравится его профессия.

— Что ж, в общем она мне нравится,— ответил Ричард.— Все обстоит хорошо. Она не хуже любой другой — на время. Вероятно, я брошу ее, когда дела мои, наконец, уладятся, а тогда продам свой патент и... впро-

чем, не будем сейчас говорить обо всей этой скучной чепухе.

Такой молодой, красивый, ничуть не похожий на мисс Флайт! И все же как жутко напоминало о ней хмурое, нетерпеливое беспокойство, промелькнувшее в его глазах!

— Я сейчас в отпуску и живу в Лондоне,— сказал Ричард.

— Вот как?

— Да. Приехал последить за своими... за своими интересами в Канцлерском суде, пока не начались долгие каникулы,— объяснил Ричард с деланно-беспечным смехом.— Наконец-то мы сдвинем с места эту долголетнюю тяжбу, обещаю вам.

Надо ли удивляться тому, что я покачала головой?

— По-вашему, это неприятная тема? — И вновь та же тень скользнула по его лицу.— Так давайте пустим ее по ветру — по всем четырем ветрам — хотя бы на нынешний вечер... Пф-ф!.. Улетела!.. А как вы думаете, кто здесь со мной?

— Мистер Скимпол? Я как будто слышала его голос.

— Он самый! Вот человек, с которым мне так хорошо, как ни с кем другим. Что за прелестное дитя!

Я спросила Ричарда, знает ли кто-нибудь, что они приехали сюда вместе. Нет, ответил он, этого не знает никто. Он пошел навестить милого старого младенца,— так он называл мистера Скимпола,— и милый старый младенец сказал ему, где мы находимся, а он, Ричард, сказал тогда милому старому младенцу, что ему очень хочется съездить к нам, и милый старый младенец напросился к нему в спутники; вот Ричард и взял его с собой.

— Я ценю его на вес золота,— даже втрое больше, чем он весит — а уж о тех жалких деньгах, которые я уплатил за его проезд, и говорить нечего,— сказал Ричард.— Такой веселый малый. Вот уж непрактичный человек! Наивен и молод душой!

Я, правда, не видела никакой непрактичности в том, что мистер Скимпол катается за счет Ричарда, но ничего не сказала. Впрочем, сам мистер Скимпол вошел в комнату, и мы переменили разговор. Мистер Скимпол был счастлив видеть меня; сказал, что целых шесть недель

лил из-за меня сладостные слезы радости и сочувствия; в жизни не был так доволен, как в тот день, когда услышал о моем выздоровлении; только теперь начал понимать, какой смысл имеет сплав добра и зла в нашем мире; почувствовал, как высоко он ценит свое здоровье, когда слышит, что болен кто-то другой; не может утверждать наверное, но, возможно, это все-таки в порядке вещей, что «А» должен косить глазами, чтобы «Б» осознал, как приятно смотреть прямо перед собой, а «В» должен ходить на деревянной ноге, чтобы «Г» лучше ценил свои ноги из плоти и крови, обтянутые шелковыми чулками.

— Дорогая мисс Саммерсон, посмотрите на нашего друга Ричарда,— говорил мистер Скимпол,— он положительно окрылен самыми светлыми надеждами на будущее, хотя вызывает он их из тьмы Канцлерского суда. Как это очаровательно, как вдохновляет, как полно поэзии! В древности пастух был весел и в лесной глуши, ибо в своем воображении он слышал звуки свирели и видел пляски Пана * и нимф. А этот вот пастушок, наш буколический Ричард, увеселяет скучные судебные Инны, заставляя фортуну и ее свиту резвиться в них под мелодичное чтение судебного приговора, звучащее с судейской скамьи. Очень приятное зрелище, не правда ли? Какой-нибудь брюзгливый ворчун может, конечно, сказать мне: «А что толку от этих судов «права» и «справедливости», если все они — сплошное злоупотребление? Что вы можете сказать в их защиту?» Я отвечу: «Мой ворчливый друг, я их *не* защищаю, но они мне очень приятны. Вот, например, юный пастушок, мой друг, превращает их в нечто, пленяющее мою наивность. Я не говорю, что они существуют только для этого — ведь я дитя среди вас, практичных ворчунов, и не обязан отчитываться перед вами и перед самим собою,— но, быть может, это и так».

Я всерьез начала думать, что Ричард вряд ли мог бы найти себе худшего друга. Меня тревожило, что в то время, когда ему так было нужно руководиться твердыми принципами и стремиться к определенной цели, он подружился с тем, кто был так чарующе беспечен, отмахивался от всего на свете и легко обходился без всяких принципов и целей. Я, пожалуй, могла понять, почему

такой человек, как мой опекун, умудренный жизненным опытом и вынужденный наблюдать презренные уловки и раздоры всех тех, кто имел несчастье связаться с семейной тяжбой, находил огромное облегчение в мистере Скимполе, который охотно признавался в своих слабостях и проявлял столь простодушную наивность; но я не была уверена, так ли все это бесхитростно, как кажется, и даже подумывала — уж не играет ли мистер Скимпол какую-то роль, которая не хуже всякой другой роли, но с меньшими хлопотами позволяет ему потворствовать своей лени.

Они оба отправились меня провожать, а когда мистер Скимпол расстался с нами у калитки, я тихонько вошла в наш дом вместе с Ричардом и сказала:

— Ада, душенька моя, я привела к тебе в гости одного джентльмена.

Не трудно было разгадать выражение ее зардевшегося изумленного личика. Она всем сердцем любила Ричарда, и он знал это, знала и я. Все это было очень прозрачно, хоть и считалось, что они встретились только как родственники.

Я готова была не верить себе, такой скверной становилась я в своей подозрительности, но у меня не было полной уверенности в том, что и Ричард любит Аду всем сердцем. Он горячо восхищался ею,— как все и каждый,— и, наверное, с огромной гордостью и пылом возобновил бы их раннюю помолвку, если бы не знал, что Ада сдержит обещание, данное опекуну. И все же меня терзала мысль, что влияние тяжбы распространилось даже на его любовь,— в этом, как и во всем остальном, Ричард откладывал осуществление своих самых искренних и серьезных намерений до той поры, когда развяжется с делом Джарндисов. Ах! Никогда я не узнаю, каким мог бы сделаться Ричард, если бы в его жизнь не вошло это зло!

Со свойственной ему прямотой он сказал Аде, что приехал не за тем, чтобы тайком нарушить условия, поставленные мистером Джарндисом с ее согласия (пожалуй, слишком безоговорочного и доверчивого, по его мнению); нет, он приехал открыто повидаться со мной и с нею и доказать, что не по его вине у него с мистером Джарнди-

сом создались натянутые отношения. «Милый старый младенец» должен был прийти к нам с минуты на минуту, поэтому Ричард попросил меня встретиться с ним на следующее утро,— он хотел поговорить со мною наедине и оправдаться. Я предложила пойти погулять с ним по парку в семь часов утра, и так мы и условились. Вскоре явился мистер Скимпол и целый час смешил нас своими шутками. Он настоял на том, чтобы мы позвали «Ковинсову малютку» (то есть Чарли), и с видом доброго дедушки сказал ей, что по мере сил давал возможность подзаработать ее покойному отцу, а если кто-нибудь из ее братишек поспешит заняться той же профессией, он, мистер Скимпол, надо надеяться, успеет и его завалить работой.

— Ведь я то и дело запутываюсь в этих сетях,— объяснил мистер Скимпол, попивая вино, разбавленное водой, и обводя нас сияющим взором,— но меня то и дело выпутывают... как рыбачью лодку. Или, скажем, позволяют мне выйти сухим из воды, как судовой команде, уволенной на берег. Всегда получается так, что кто-то за меня платит. *Сам я* платить не могу, как вам известно, потому что у меня никогда не бывает денег. Но Кто-то за меня платит. Я выпутываюсь благодаря Кому-то. Не в пример скворцу, я выпутываюсь из силков. Если вы спросите, кто же этот Кто-то, клянусь честью, я не смогу ответить. Так давайте же выпьем за Кого-то. Благослови его бог!

На другой день Ричард немного опоздал, но ждала я его недолго, и мы отправились в парк. Утро было ясное и росистое, небо без единого облачка. Весело пели птички; дивно красиво искрились капельки росы на траве, зарослях папоротника и листве деревьев, а леса как будто стали еще пышнее, словно в прошлую тихую ночь, когда они покоились в непробудном сне, Природа, проявляясь во всех мельчайших жилках каждого чудесного листика, бодрствовала дольше обычного, чтобы прославить наступающий день.

— Что за очаровательное место! — воскликнул Ричард, оглядываясь кругом.— С тяжбами связано столько всяких ссор и раздоров, а тут ничего этого нет.

Зато здесь были иные горести.

— Знаете, что я вам скажу, милая девушка,— продолжал Ричард,— когда я, наконец, приведу в порядок свои дела, я приеду сюда отдыхать.

— Не лучше ли отдохнуть теперь же? — спросила я.

— Ну, что вы — отдыхать *теперь,* или вообще делать что-нибудь определенное *теперь,* это не так-то легко,— возразил Ричард.— Короче говоря, невозможно, по крайней мере для меня.

— Почему же нет? — спросила я.

— Вы сами знаете, почему, Эстер. Если бы вы жили в недостроенном доме, зная, что его придется покрыть кровлей или снять ее, зная, что его будут сносить или перестраивать сверху донизу уже завтра или послезавтра, на будущей неделе, через месяц или в будущем году, вам трудно было бы там отдыхать — волей-неволей вам пришлось бы вести беспорядочную жизнь. Так живу и я. Вы сказали: «Отдохнуть теперь же». Но для нас, истцов, нет слова «теперь».

Я была почти готова поверить в притягательную силу суда, о которой мне столько говорила моя бедная маленькая слабоумная приятельница, потому что снова увидела, как лицо Ричарда омрачилось по-вчерашнему. Страшно подумать, но что-то в нем напоминало несчастного, теперь уже покойного «человека из Шропшира».

— Милый Ричард, наш разговор начался плохо,— сказала я.

— Я знал, что вы это скажете, Хлопотунья.

— Не я одна так думаю, милый Ричард. Не я предостерегала вас однажды, умоляя не возлагать надежд на это фамильное проклятие.

— Опять вы возвращаетесь к Джону Джарндису! — с досадой сказал Ричард.— Ну что ж, придется нам поговорить о нем рано или поздно — ведь самое важное, что мне нужно сказать, касается его; так уж лучше начать сразу. Милая Эстер, неужели вы ослепли? Неужели вам не ясно, что в этой тяжбе он заинтересованное лицо, и если ему, быть может, на руку, чтобы я в ней не разбирался и бросил о ней думать, то это вовсе не на руку мне.

— Эх, Ричард,— сказала я с упреком,— вы видели мистера Джарндиса, беседовали с ним, жили у него, знали его; так как же вы можете так говорить,— хотя бы мне

одной и в уединенном месте, где никто нас не может услышать,— и как у вас хватает духу высказывать столь недостойные подозрения?

Он густо покраснел; должно быть, врожденное благородство пробудило в нем угрызения совести. Помолчав немного, он ответил сдержанным тоном:

— Эстер, вы, конечно, знаете, что я не подлец и что с моей точки зрения подозрительность и недоверие — это дурные качества в юноше моих лет.

— Безусловно,— сказала я.— Я совершенно в этом уверена.

— Что за милая девушка! — воскликнул Ричард.— Очень похоже на вас и утешительно для меня. А я нуждаюсь хоть в капельке утешения,— так мучит меня вся эта история, потому что как бы хорошо она ни кончилась, она все-таки неприятная, о чем мне излишне говорить вам.

— Я отлично знаю, Ричард,— сказала я,— знаю не хуже, чем... чем, скажем, вы сами, что подобные заблуждения чужды вашей натуре. И я не хуже вас понимаю, что̀ именно заставило вас перемениться так резко.

— Нет, нет, сестричка,— проговорил Ричард более веселым тоном,— вы-то уж, во всяком случае, будьте ко мне справедливы! Если я имел несчастье подпасть под влияние тяжбы, то ведь и мистер Джарндис его не избежал. Если она слегка развратила меня, то, вероятно, слегка развратила и его. Я не говорю, что он сделался бесчестным человеком, оттого что попал в это сложное и неопределенное положение; нет, человек он честный, в этом я не сомневаюсь. Но влияние тяжбы оскверняет всех. Вы же знаете, что всех. Вы слышали, как он сам всегда утверждал это. Так почему же *он один* уберегся?

— Потому, Ричард,— объяснила я,— что он человек незаурядный, и он твердо держится за пределами порочного круга.

— Ну да, потому-то, потому! — со свойственной ему живостью отозвался Ричард.— Что ж, милая девушка, может, это и вправду умней и расчетливей, когда притворяешься равнодушным к судьбе своей тяжбы. Глядя на тебя, прочие истцы начинают относиться спустя рукава к защите собственных интересов, и может случиться так,

что некоторые люди сойдут в могилу, некоторые обстоятельства исчезнут из людской памяти, и под шумок произойдет немало событий, довольно-таки выгодных для тебя.

Мне было так жаль Ричарда, что я уже не смогла упрекнуть его даже взглядом. Я вспомнила, как снисходителен был опекун к его заблуждениям, как беззлобно он о них говорил.

— Эстер,— продолжал Ричард,— вы не должны думать, что я приехал сюда обвинять Джона Джарндиса у него за спиной. Я приехал только затем, чтобы оправдаться. Я скажу одно: все шло прекрасно, и мы прекрасно ладили, пока я был мальчиком и в мыслях не имел этой самой тяжбы; но как только я начал интересоваться ею и разбираться в ней, дело приняло совершенно другой оборот. Тогда Джон Джарндис вдруг решает, что мы с Адой должны разойтись, и если я не изменю своего весьма предосудительного образа действий, значит я ее недостоин. Но я, Эстер, вовсе не собираюсь менять свой предосудительный образ действий. Я не хочу пользоваться расположением Джона Джарндиса ценой таких несправедливых компромиссных условий, каких он не имеет права диктовать. Нравится ему или не нравится, а я должен защищать свои права и права Ады. Я очень много думал об этом, и вот к какому выводу я пришел.

Бедный, милый Ричард! Он действительно думал об этом очень много. Как ясно это было видно по его лицу, голосу, по всему его виду.

— Итак, я честно сказал ему (надо вам знать, что я написал ему обо всем этом),— сказал, что между нами имеются разногласия и лучше открыто признать это, чем скрывать. Я благодарен ему за его добрые намерения и покровительство, и пусть он идет своей дорогой, а я пойду своей. Дело в том, что дороги наши не сходятся. По одному из двух завещаний, о которых идет спор, я должен получить гораздо больше, чем он. Я не берусь утверждать, что именно оно будет признано законным: однако оно существует и тоже имеет шансы на утверждение.

— Я не от вас первого узнала о вашем письме, дорогой Ричард,— сказала я.— Мне уже говорили об этом, и без единого слова обиды или гнева.

— В самом деле? — промолвил Ричард, смягчаясь.— Значит, хорошо, что я назвал его человеком честным, несмотря на всю эту несчастную историю. Но так я всегда говорил и никогда в этом не сомневался. Я знаю, милая Эстер, суждения мои кажутся вам чрезмерно резкими, так же отнесется к ним и Ада, когда вы расскажете ей о том, что произошло между мною и опекуном. Но, если бы вы так же вникли в тяжбу, как я; если б вы покорпели над бумагами, как я корпел, когда работал у Кенджа; если бы вы знали, сколько в этих бумагах скопилось всяких обвинений и контробвинений, подозрений и контрподозрений, я казался бы вам сравнительно сдержанным.

— Может быть, и так,— сказала я.— Но неужели вы думаете, Ричард, что в этих бесчисленных бумагах много правды и справедливости?

— В тяжбе есть где-то и правда и справедливость, Эстер...

— Точнее, были — давным-давно,— сказала я.

— Есть... есть... должны быть где-то,— с жаром продолжал Ричард,— и их надо вытащить на свет божий. Но разве можно вытащить их, превращая Аду во что-то вроде взятки, в средство зажать мне рот? Вы говорите, что я переменился под влиянием тяжбы. Джон Джарндис говорит, что каждый, кто в ней участвует, меняется, менялся и будет меняться под ее влиянием. Следовательно, тем правильней я поступил, решив сделать все, что в моих силах, чтобы привести ее к концу.

— Все, что в ваших силах, Ричард! А разве другие столько лет не делали всего, что было в их силах? И разве трудности стали легче от того, что было столько неудач?

— Не может же это продолжаться вечно,— ответил Ричард с такой кипучей страстностью, что во мне снова пробудилось печальное воспоминание об одной недавней встрече.— Я молод и полон рвения, а энергия и решимость часто творили чудеса. Другие отдавались этому делу только наполовину. Я же посвящаю ему всего себя. Я превращаю его в цель своей жизни.

— Но, Ричард, дорогой мой, тем хуже, тем хуже!

— Нет, нет и нет! Не бойтесь за меня,— возразил он

ласково.— Вы милая, добрая, умная, спокойная девушка, которую любят все: но у вас предвзятые взгляды. А теперь вернемся к Джону Джарндису. Повторяю, добрая моя Эстер, когда мы с ним были в таких отношениях, которые он считал столь удобными для себя, мы были в неестественных отношениях.

— Неужели отчуждение и враждебность — это естественные отношения между вами, Ричард?

— Нет, этого я не говорю. Я хочу сказать, что тяжба поставила нас в неестественные условия, с которыми естественные родственные отношения несовместимы. Вот для меня еще одно основание сдвинуть ее с мертвой точки! Когда тяжба кончится, я, быть может, увижу, что ошибался в Джоне Джарндисе. Когда я с нею разделаюсь, в голове у меня, возможно, прояснится, и, может быть, я соглашусь с тем, что вы говорите сегодня. Отлично. Тогда я признаю свою ошибку и принесу ему извинения.

Откладывать все до какого-то дня, который существует только в твоем воображении! Оставлять все запутанным и нерешенным на неопределенный срок!

— А теперь, лучшая из наперсниц,— продолжал Ричард,— мне хочется, чтобы моя кузина Ада поняла, что в своем отношении к Джону Джарндису я не проявляю ни придирчивости, ни непостоянства, ни своенравия, но действую разумно и целесообразно. Я хочу объяснить ей при вашем посредстве свое поведение, потому что она глубоко уважает и почитает кузена Джона, и я знаю, вы опишете ей мой образ действий в светлых тонах, хоть вы его и не одобряете, и... и, короче говоря...— тут он запнулся,— я... я не хочу, чтобы такая доверчивая девушка, как Ада, считала меня сварливым, подозрительным сутягой.

Я сказала в ответ, что эти последние слова гораздо более достойны его, чем все, что он говорил раньше.

— Что ж, это похоже на правду, моя милая,— согласился Ричард.— Пожалуй, так оно и есть. Но я скоро добьюсь своих прав. И тогда опять стану самим собой, не бойтесь.

Я спросила: это все, что я должна передать Аде?

— Не все,— ответил Ричард.— Я не могу утаить от нее, что Джон Джарндис ответил на мое письмо в обычном своем тоне, называя меня «мой дорогой Рик», попы-

тался опровергнуть мои доводы и сказал, что они не ухудшат его отношения ко мне. (Все это очень мило, конечно, но дела не меняет.) Пусть Ада знает: я теперь потому вижусь с ней редко, что защищаю ее интересы так же, как и свои,— поскольку мы в совершенно одинаковом положении,— и если до нее дойдут вздорные слухи о том, что я будто бы легкомысленный и неблагоразумный человек, то она им, надеюсь, не поверит; напротив, я все время жду конца тяжбы и в зависимости от этого строю свои планы. Раз я теперь совершеннолетний и уже вступил на определенный путь, я не считаю себя обязанным давать отчет Джону Джарндису ни в каких своих поступках; но Ада все еще состоит под опекой суда, и я пока не прошу ее снова стать моей невестой. Когда же она сделается самостоятельной, я опять буду самим собой, а наши обстоятельства тогда, наверное, изменятся к лучшему. Если вы передадите ей все это со свойственной вам деликатностью, вы окажете мне очень большую и очень ценную услугу, милая Эстер, а я с тем большей силой буду врубаться в дебри джарндисовской тяжбы. Конечно, я не прошу вас умалчивать обо всем этом в Холодном доме.

— Ричард,— отозвалась я,— вы оказали мне большое доверие, но боюсь, что вы не послушаетесь моего совета, правда?

— В этом отношении не могу послушаться, милая девушка. Во всем остальном — охотно.

Как будто в его жизни было что-то другое! Как будто весь его жизненный путь и характер не были окрашены в один цвет!

— Можно мне задать вам один вопрос, Ричард?

— Разумеется,— сказал он со смехом.— Кому же и спрашивать, как не вам?

— Вы сами сказали, что ведете беспорядочную жизнь.

— А как быть, милая Эстер, если еще ничего не упорядочено?

— Вы опять в долгу?

— Ну, конечно,— признался Ричард, удивленный моей простотой.

— Почему же «конечно»?

— Потому что иначе нельзя, милое дитя. Не могу же

я весь отдаться какой-нибудь цели и не нести никаких расходов. Вы забываете, а может быть и не знаете, что мы с Адой упомянуты как наследники и в том и в другом из двух спорных завещаний. По одному из них мы должны получить больше, по другому меньше — вопрос только в этом. Так или иначе, я не выйду из рамок завещанной суммы. Будьте спокойны, милая девушка,— добавил Ричард, забавляясь моим волнением,— все обойдется хорошо! Я все это преодолею, дорогая!

Я так ясно понимала опасность, угрожающую юноше, что всячески пыталась, заклиная его именем Ады, опекуна и своим собственным, предостеречь его с помощью самых убедительных доводов, какие только могла придумать, и указать ему на его ошибки. Он слушал меня терпеливо и кротко, но мои слова отскакивали от него, не производя ни малейшего впечатления. Да и немудрено, раз он в своем заблуждении так отнесся к письму опекуна; но я все же решила попробовать, не поможет ли влияние Ады.

Итак, когда мы вернулись в деревню, я пошла домой завтракать и, сначала подготовив Аду к тому, что̀ мне предстояло ей сказать, откровенно объяснила ей, почему мы должны опасаться, что Ричард погубит себя и попусту растратит свою жизнь. Это, конечно, очень ее огорчило, хотя она гораздо больше, чем я, надеялась, что он исправит свои ошибки,— так это было похоже на мою любящую девочку! — и она сейчас же написала ему следующее коротенькое письмо:

«Мой дорогой кузен!

Эстер передала мне все, что Вы говорили ей сегодня утром. Я пишу это письмо, чтобы самым серьезным образом сказать Вам, что я во всем с нею согласна, и Вы, несомненно, рано или поздно поймете, как исключительно правдив, искренен и добр наш кузен Джон, а тогда будете горько-горько сожалеть о том, что (сами того не желая) были к нему так несправедливы.

Я вряд ли сумею выразить то, что хочу сказать Вам, но верю, что Вы меня поймете. Я опасаюсь, мой дорогой кузен, что Вы отчасти ради моего блага готовите столько горя для себя; а если — для себя, то, значит, и для меня.

Если это так и если Вы, заботясь о моих интересах, занимаетесь этим делом, то я самым серьезным образом прошу и умоляю Вас отказаться от него. Все, что Вы можете сделать для меня, не даст мне и половины того счастья, какое я испытаю, когда Вы вырветесь из того мрака, в котором родились мы оба. Не сердитесь на меня за то, что я говорю это. Прошу Вас, очень прошу, милый Ричард, и ради меня и ради Вас, поймите, что нельзя не чувствовать отвращения к тому источнику бед, который отчасти послужил причиной того, что оба мы осиротели в детстве, и очень прошу Вас: забудьте о нем навсегда. Мы по опыту знаем теперь, что ничего хорошего в нем нет, что никаких благ он нам не сулит и ничего, кроме горя, не принесет.

Мой дорогой кузен, мне незачем говорить Вам, что Вы совершенно свободны и, очень возможно, найдете другую девушку, которую полюбите гораздо больше, чем ту, что была Вашей первой любовью. Позвольте мне Вам сказать, что по моему глубокому убеждению Ваша избранница охотно разделит с Вами Ваш жребий, как бы он ни был скромен и беден, если только увидит, что Вы счастливы, исполняете свой долг, идете избранной Вами дорогой; но она не захочет возлагать надежды на богатство или даже получить крупное наследство вместе с Вами (хотя получить его вряд ли удастся), если за него придется заплатить многими томительными годами, проведенными в бесплодном ожидании и тревоге, и Вашим равнодушием к любым другим целям. Вы, может быть, удивляетесь, что я говорю это очень уверенно, хотя сама так неопытна и так мало знаю жизнь, но сердце подсказывает мне, что я права.

Глубоко любящая Вас, дорогой кузен, навсегда Ваша

*Ада*».

Прочитав это письмо, Ричард сразу же явился к нам, хотя письмо почти — а может быть, и совсем — не повлияло на него. Это мы еще посмотрим, кто прав, а кто не прав, говорил он... он нам докажет... мы увидим! Он был оживлен и пылок,— очевидно, нежность Ады приятно взволновала его; но мне оставалось лишь вздыхать и надеяться, что, когда он перечитает письмо, оно произведет

на него более глубокое впечатление, чем произвело теперь.

Ричард и мистер Скимпол собирались провести с нами весь этот день и заказали себе места в почтовой карете на следующее утро, поэтому я стала искать удобного случая поговорить и с мистером Скимполом. Мы много времени проводили на воздухе, так что случай скоро представился, и я тогда осторожно объяснила мистеру Скимполу, что, потворствуя Ричарду, он возлагает на себя некоторую ответственность.

— Ответственность, дорогая мисс Саммерсон? — подхватил он мое последнее слово, улыбаясь сладчайшей улыбкой.— Ну нет, эта штука никак не для меня. Никогда в жизни я не возлагал на себя ответственности и никогда не возложу.

— По-моему, каждый человек обязан нести за что-то ответственность,— сказала я довольно робко, так как он был гораздо старше и гораздо умнее меня.

— Разве? — проговорил мистер Скимпол, выслушав эту новую для него точку зрения с очаровательным и шутливым удивлением.— Но ведь не каждый человек обязан быть платежеспособным, правда? Я неплатежеспособен. И никогда не был таковым. Смотрите, дорогая мисс Саммерсон,— он вынул из кармана горсть мелких серебряных и медных монет,— вот сколько-то денег. Не имею понятия, сколько именно. Лишен способности сосчитать их. Скажите, что это четыре шиллинга и девять пенсов, скажите, что — четыре фунта и девять шиллингов,— как хотите. Говорят, я задолжал больше. Пожалуй, действительно больше. Пожалуй, я задолжал столько, сколько добрые люди мне одолжили. Если они не перестают давать мне в долг, почему я не смею брать у них взаймы? Вот вам Гарольд Скимпол как на ладони. Если это называется ответственностью, я готов нести ее.

Он непринужденно спрятал деньги, взглянув на меня с улыбкой, сиявшей на его тонком лице, словно речь его относилась к чудачествам какого-то постороннего человека; а я почти уверовала в то, что он сам и правда не имеет к ним отношения.

— Раз уж вы заговорили об ответственности,— продолжал он,— мне хочется отметить, что никогда я не

имел счастья встречать особы, столь проникнутой возвышенным чувством ответственности, как вы. Вы представляетесь мне воплощением ответственности. Когда я вижу, уважаемая мисс Саммерсон, как вы стараетесь, чтобы маленькая упорядоченная система, в центре которой вы стоите, была безупречна, я готов сказать себе,— точнее, я очень часто себе говорю,— *вот это* ответственность!

После этих слов трудно было объяснить ему, что̀ я имею в виду, но я все же сказала, что все мы полагаемся на него и хотим верить, что он будет опровергать, а не поддерживать оптимистические взгляды Ричарда на тяжбу.

— Очень охотно опроверг бы,— отозвался мистер Скимпол,— будь это в моих силах. Но, дорогая мисс Саммерсон, я человек бесхитростный и не умею притворяться. Если он возьмет меня за руку и повлечет по воздуху через Вестминстер-Холл в погоню за фортуной, мне придется следовать за ним. Если он скажет: «Скимпол, пляшите со мной!», мне придется пуститься в пляс. Здравый смысл отверг бы это, я знаю, но у меня нет здравого смысла.

— Это большое несчастье для Ричарда,— заметила я.

— Вы так думаете? — отозвался мистер Скимпол.— Не говорите, не говорите! Предположим, он завел дружбу со Здравым смыслом... а это славный малый... весь в морщинах... ужасающе практичный... в каждом кармане на десять фунтов мелочи... в руках разграфленная счетная книга... в общем, скажем, похож на сборщика налогов. Допустим, что наш дорогой Ричард — жизнерадостный, пылкий юноша, который скачет через препятствия и, словно едва расцветший бутон, благоухает поэзией,— скажет этому весьма почтенному спутнику: «Я вижу перед собой золотую даль; она очень яркая, очень красивая, очень радостная, и вот я несусь по горам и по долам, чтобы доскакать до нее!» А почтенный спутник немедленно собьет его с ног разграфленной книгой; заявит ему трезвым, прозаическим тоном, что ничего такого не видит; докажет ему, что это вовсе не золотая даль, а сплошные судебные пошлины, мошенничества, парики из конского волоса и черные мантии. Ну, знаете ли, разочарование будет мучительным; несомненно полезным до

последней степени, но неприятным. *Я* так поступать не могу. У меня нет разграфленной счетной книги; в моем характере нет элементов, присущих сборщику налогов; я отнюдь не почтенный человек и не хочу им стать. Странно, быть может, но это так!

Не стоило больше продолжать этот праздный разговор, поэтому я предложила догнать Аду и Ричарда, которые немного опередили нас, и, отчаявшись в мистере Скимполе, отказалась от безнадежных попыток его усовестить. Утром он успел побывать в усадьбе Дедлоков и во время прогулки юмористически описывал нам портреты их предков. По его словам, среди покойных леди Дедлок были пастушки столь внушительного вида, что даже мирные посохи превращались в их руках в оружие нападения. Свои стада они стерегли в пышных юбках с фижмами и пудреных париках и налепляли себе мушки, чтобы пугать простой народ, подобно тому как вожди некоторых племен раскрашивают себя перед битвой. Среди них был и некий сэр... как его... Дедлок, которого художник изобразил на фоне битвы, взрыва бомбы, клубов дыма, вспышек молнии, пылающего города и осажденной крепости, причем все это умещалось между задними ногами его коня, что, по мнению мистера Скимпола, доказывало, сколь низко ставят Дедлоки подобные пустяки. Все представители этого рода, говорил мистер Скимпол, при жизни были «чучелами», так что из них составилась обширная коллекция чучел, с остекленевшими глазами, посаженных самым пристойным образом на всевозможные сучья и насесты, очень корректных, совершенно оцепеневших и навеки покрытых стеклянными колпаками.

Теперь стоило кому-нибудь упомянуть о Дедлоках, как я начинала волноваться; так что у меня стало легче на душе, когда Ричард с возгласом удивления побежал навстречу какому-то незнакомцу, которого заметил первый, в то время как тот неторопливо подходил к нам.

— Ну и ну! — проговорил мистер Скимпол.— Смотрите-ка — Воулс!

Это приятель Ричарда? спросили мы у него.

— И приятель и поверенный,— ответил мистер Скимпол.— Вот, уважаемая мисс Саммерсон, если вам нужны здравый смысл, чувство ответственности и порядочность,

воплощенные в одном лице, если вам нужен человек, примерный во всех отношениях,— пожалуйста, вот вам Воулс.

А мы и не знали, отозвались мы, что дела Ричарда ведет некто Воулс.

— Когда Ричард достиг совершеннолетия,— объяснил мистер Скимпол,— он расстался с нашим приятелем, Велеречивым Кенджем, и, насколько я знаю, обратился к Воулсу. Точнее, я знаю это наверное, потому что сам познакомил Ричарда с Воулсом.

— А вы давно его знаете? — спросила Ада.

— Воулса? Дорогая мисс Клейр, я знаю его так, как знаю нескольких других джентльменов-юристов. Однажды он очень вежливо и любезно начал что-то такое... начал судебное преследование,— так это, кажется, называется,— которое заключилось тем, что *меня* заключили в тюрьму. Кто-то был настолько добр, что вмешался и уплатил за меня деньги... сколько-то и четыре пенса,— я позабыл, сколько там было фунтов и шиллингов, но запомнил, что в конце суммы стояло четыре пенса, запомнил потому, что мне тогда показалось очень странным, что я кому-то должен четыре пенса... ну, а потом я познакомил Воулса с Ричардом. Воулс попросил меня отрекомендовать его, и я исполнил его просьбу. Но теперь мне вдруг пришло в голову,— добавил он, вопросительно глядя на нас с самой ясной своей улыбкой, словно он только сейчас сделал это открытие,— теперь мне пришло в голову, что, может быть, Воулс дал мне за это взятку? Во всяком случае, он дал мне что-то и назвал это «комиссионными». Может быть, это была бумажка в пять фунтов? А вы знаете, пожалуй, он *действительно* дал мне пятифунтовую бумажку!

Дальнейшим его рассуждениям на эту тему помешал Ричард, который вернулся очень возбужденный и торопливо представил нам мистера Воулса — долговязого, тощего, сутулого человека лет пятидесяти, с высоко поднятыми плечами, поджатыми губами, посиневшими, точно от холода, и желтым лицом, усеянным красными прыщами. Он носил черный костюм, застегнутый до самого подбородка, и черные перчатки, и если в нем было что-нибудь замечательное, так это его безжизненный вид и пристальный взгляд, которым он медленно впивался в Ричарда.

— Надеюсь, я не помешал вам, леди,— сказал мистер Воулс; и я заметила еще одну его отличительную особенность: он говорил каким-то утробным голосом.— Я условился с мистером Карстоном, что всегда буду уведомлять его о разборе его дела в Канцлерском суде, и, когда вчера вечером, после отправки почты, один из моих клерков доложил мне, что дело довольно неожиданно поставлено на повестку завтрашнего заседания, я сегодня рано утром сел в почтовую карету и приехал сюда, чтобы переговорить со своим клиентом.

— Вот видите! — проговорил Ричард, краснея и торжествующе глядя на нас с Адой.— Мы теперь ведем дела не по старинке, не плетемся шагом. Мы галопом мчимся вперед! Мистер Воулс, нам нужно нанять какой-нибудь экипаж до городка, где останавливается почтовая карета, сесть в нее сегодня же вечером и уехать в Лондон!

— Как вам будет угодно, сэр,— ответил мистер Воулс.— Я весь к вашим услугам.

— Постойте,— сказал Ричард, посмотрев на часы.— Если я сейчас сбегаю в «Герб Дедлоков», уложу свой чемодан и найму двуколку, или фаэтон, или что попадется, у нас останется еще час до отъезда. Я вернусь к чаю. Кузина Ада, вы вместе с Эстер займете мистера Воулса в мое отсутствие?

Горячась и спеша, он сейчас же убежал и скоро скрылся из виду в вечернем сумраке. А мы все пошли по направлению к дому.

— Но разве это так необходимо, чтобы мистер Карстон присутствовал завтра на судебном заседании, сэр? — спросила я.— Разве это может улучшить положение дел?

— Нет, мисс,— ответил мистер Воулс.— Насколько я могу судить, не может.

Мы с Адой выразили сожаление, что Ричард поедет только для того, чтобы обмануться в своих надеждах.

— Мистер Карстон желает следить за своими интересами лично и поставил мне условием осведомлять его о ходе дела,— объяснил мистер Воулс,— а когда клиент ставит какое-нибудь условие и оно не является безнравственным, мне надлежит его соблюдать. Я стремлюсь вести дела аккуратно и начистоту. Я вдовец, у меня три дочери — Эмма, Джейн и Кэролайн,— и я стараюсь так

выполнять свой долг, чтобы оставить им доброе имя. Приятное здесь место, мисс.

Это замечание было обращено ко мне, так как я шла рядом с мистером Воулсом, и я согласилась с ним и стала перечислять все здешние достопримечательности.

— Интересно! — сказал мистер Воулс.— Я имею счастье содержать моего престарелого отца, проживающего в Тоунтонской долине * — на своей родине,— и весьма восхищаюсь той местностью. Не думал я, что здешняя не менее живописна.

Желая поддержать разговор, я спросила мистера Воулса, не хочется ли ему навсегда поселиться в деревне?

— Этим вопросом, мисс, вы затронули во мне чувствительную струну,— ответил он.— Здоровье у меня неважное (сильно испорчено пищеварение), и если бы я имел возможность думать о себе одном, я искал бы убежища в сельском образе жизни, главным образом потому, что обязанности моей профессии всегда препятствовали мне вращаться в обществе и в частности — дамском, которое меня особенно привлекало. Но, имея трех дочерей — Эмму, Джейн и Кэролайн — и престарелого отца, я не могу позволить себе быть эгоистичным. Правда, мне уже не приходится содержать мою дражайшую бабушку,— она скончалась на сто втором году от рождения,— но осталось еще много таких причин, которые заставляют мельницу молоть беспрерывно.

Слушая его, надо было напрягать внимание, так как он говорил безжизненно, глухим, утробным голосом.

— Вы извините меня за упоминание о моих дочерях,— сказал он.— Это моя слабость. Мне хочется оставить бедным девушкам маленькое независимое состояние, а также доброе имя.

Тут мы подошли к дому мистера Бойторна, где нас ожидал стол, накрытый для вечернего чая. Вскоре, волнуясь и спеша, пришел Ричард и, опершись на спинку кресла, в котором сидел мистер Воулс, шепнул ему что-то на ухо. Мистер Воулс ответил громко — или, лучше сказать, насколько мог громко:

— Вы увозите меня с собой, сэр? Пожалуйста, мне все равно, сэр. Как вам будет угодно. Я весь к вашим услугам.

Мы узнали из дальнейшего разговора, что мистера Скимпола оставят здесь до утра, а завтра он займет те два места в почтовой карете, за которые уже заплатили. Страдая за Ричарда и очень опечаленные разлукой с ним, мы с Адой совершенно ясно, хотя по возможности вежливо, дали понять, что расстанемся с мистером Скимполом в «Гербе Дедлоков» и уйдем к себе, как только путники уедут.

Вместе с Ричардом, который мчался вперед, окрыленный надеждами, мы миновали деревню и поднялись на пригорок, где, по его приказу, ожидал человек с фонарем, державший под уздцы тощую, изможденную клячу, запряженную в двуколку.

Никогда мне не забыть этих двух путников, сидевших друг подле друга, в свете фонаря: Ричард — возбужденный, горячий, веселый, с вожжами в руках, и мистер Воулс — оцепеневший, в черных перчатках, застегнутый на все пуговицы, взирающий на соседа, как змея, которая взглядом зачаровывает свою жертву. Я как сейчас все это вижу: теплый, темный вечер, летние зарницы, пыльная дорога, окаймленная живыми изгородями и высокими деревьями, тощая, изможденная кляча с настороженными ушами, и спешный отъезд на разбирательство тяжбы «Джарндисы против Джарндисов».

Моя дорогая девочка сказала мне в тот вечер, что ей безразлично, будет ли Ричард богат или беден, окружен друзьями или покинут всеми; и чем больше он будет нуждаться в любви верного сердца, тем больше любви найдет он в этом верном сердце; и еще сказала, что, если он и теперь, несмотря на все свои заблуждения, думает о ней, то она будет думать о нем всегда; забудет о себе, если он позволит ей всецело посвятить себя его благу; забудет о своих удовольствиях, желая доставить удовольствие ему.

Сдержала ли она свое слово?

Я смотрю на лежащую передо мной дорогу, которая становится все короче,— так что конец пути уже виден; и над мертвым морем канцлерской тяжбы и разбитыми обломками, выброшенными им на берег, вижу свою любимую подругу, верную и добрую.

## ГЛАВА XXXVIII

### *Борьба чувств*

Когда нам пришла пора вернуться в Холодный дом, мы выехали в назначенный день, и все наши домочадцы оказали нам самый радушный прием. Я совсем поправилась, окрепла и, как только увидела корзиночку с ключами, которую принесли ко мне в комнату, ознаменовала свой приезд веселым тоненьким перезвоном, совсем как на Новый год. «Ну, Эстер, смотри же,— сказала я себе,— повторяю опять: помни о своем долге, помни; и если ты еще не очень радуешься тому, что должна исполнять свой долг весело и с удовольствием, во что бы то ни стало и при всех обстоятельствах, то обязана радоваться. Вот все, что мне нужно сказать *тебе,* дорогая!»

В первые дни у меня каждое утро было так занято разными хлопотами и возней с хозяйством, так заполнено проверкой счетов, непрерывной беготней взад и вперед из Брюзжальни в другие комнаты и обратно, новой раскладкой вещей в бесчисленных ящиках и шкафах, и вообще налаживанием всей жизни заново, что я ни минуты не была свободна. Но когда все было устроено и приведено в порядок, я решила на несколько часов съездить в Лондон; а побудило меня к этому одно обстоятельство, упомянутое в письме, которое я уничтожила в Чесни-Уолде.

Для этой поездки я выдумала предлог: сказала, что хочу повидаться с Кедди Джеллиби — так я ее всегда называла,— но сначала написала ей записку с просьбой пойти со мной в одно место, где мне нужно побывать по делу. Выехав из дому спозаранку, я так быстро прибыла в Лондон, что отправилась на Ньюмен-стрит, имея целый день в своем распоряжении.

Кедди не видела меня со дня своей свадьбы и так обрадовалась, была так приветлива, что я уже почти опасалась, как бы муж не приревновал ее ко мне. Но он был, по-своему, такой же противный... то есть — милый; словом, повторилась старая история — оба они, как и все, кого я знала, были со мной так ласковы, что я никогда бы не смогла заслужить подобное отношение к себе.

Мистер Тарвидроп-старший еще лежал в постели, и Кедди готовила для него шоколад, а грустный мальчуган, подмастерье (меня удивило, что в танцевальной профессии могут быть подмастерья), ждал, пока шоколад будет готов, чтобы отнести его наверх. Кедди сказала мне, что ее свекор чрезвычайно любезен и внимателен, и они дружно живут все вместе. (Она говорила, что они «живут все вместе», но на самом деле пожилой джентльмен кушал самые лучшие кушанья и занимал самое лучшее помещение, тогда как Кедди с мужем довольствовались объедками и ютились в двух угловых комнатушках над конюшнями.)

— А как поживает ваша мама, Кедди? — спросила я.

— Мне рассказывает о ней папа, Эстер,— ответила Кедди,— но вижу я ее очень редко. Мы с ней в хороших отношениях, чему я очень рада, но мама считает мой брак с учителем танцев глупостью и боится, как бы это не набросило тень и на нее.

Я подумала, что если бы миссис Джеллиби выполняла свой нравственный долг и семейные обязанности, вместо того чтобы водить телескопом по горизонту в поисках других занятий, то сумела бы предохранить себя от подобных неприятностей, но вряд ли стоит упоминать, что я не высказала этих мыслей.

— А ваш папа, Кедди?

— Он заходит к нам каждый вечер,— ответила Кедди,— и с таким удовольствием сидит вон там в углу, что на него приятно смотреть.

Бросив взгляд на этот угол, я увидела на стене отчетливый след от головы мистера Джеллиби. Утешительно было сознавать, что он нашел, наконец, куда приклонить голову.

— А вы, Кедди,— спросила я,— очень заняты, наверное?

— Да, дорогая, очень занята,— ответила Кедди.— Открою вам большой секрет: я сама готовлюсь давать уроки танцев. У Принца слабое здоровье, и мне хочется ему помочь. Уроки здесь, в других школах, у учеников на дому да еще возня с подмастерьями,— право же, у него, бедняжки, слишком много работы!

И опять мне так странно было слышать о каких-то «танцевальных подмастерьях», что я спросила Кедди, много ли их?

— Четверо,— ответила Кедди.— Один живет у нас и трое приходящих. Очень милые ребятишки; но когда они сходятся вместе, им, как и всем детям, конечно, хочется играть, а не работать. Так, например, мальчуган, которого вы только что видели, вальсирует один в пустой кухне, а остальных мы рассовываем по всему дому — кого куда.

— Лишь для того, конечно, чтобы они сами упражнялись делать «па»? — предположила я.

— Именно,— подтвердила Кедди.— Каждый день они несколько часов практикуются в «па», которые им показали. Но танцуют они в классе, а теперь, летом, мы проходим фигуры танцев каждое утро, с пяти часов.

— Ну и трудовая жизнь у вас! — воскликнула я.

— Вы знаете, дорогая,— отозвалась Кедди с улыбкой,— когда приходящие подмастерья звонят нам утром (звонок проведен в нашу комнату, чтобы не беспокоить мистера Тарвидропа-старшего), я открываю окно и вижу, как они стоят на улице с бальными туфлями под мышкой — ни дать ни взять мальчишки-трубочисты.

Теперь хореография предстала передо мной в совершенно новом свете. Кедди же, насладившись эффектом своих слов, весело рассказала мне во всех подробностях о собственных занятиях.

— Видите ли, дорогая, чтобы сократить расходы на тапера, мне нужно самой научиться немножко играть на рояле, да и на «киске» тоже — то есть на скрипке,— и вот приходится теперь упражняться в игре на этих инструментах да еще совершенствоваться в нашей профессии. Будь мама похожа на других матерей, я бы немножко знала музыку, хоть для начала. Но музыке меня не учили, и должна признаться, что занятия ею на первых порах приводят меня в отчаяние. К счастью, у меня очень хороший слух, а к скучной работе я привыкла — этим-то я, во всяком случае, обязана маме,— а вы знаете, Эстер, где есть желание, там будет и успех; это относится ко всему на свете.

Тут Кедди со смехом села за маленькое расстроенное фортепьяно и очень бойко забарабанила кадриль. Доиграв ее, она покраснела, поднялась и сказала с улыбкой:

— Не смейтесь надо мной, пожалуйста, милая девочка!

Мне не смеяться хотелось, а плакать, но я не сделала ни того, ни другого. Я ободряла и хвалила ее от всего сердца. Ведь я хорошо понимала, что, хотя она вышла за простого учителя танцев и сама непритязательно стремилась сделаться лишь скромной учительницей, но она избрала естественный, здоровый, внушенный любовью путь труда и постоянства, который был не хуже любой миссии.

— Дорогая моя,— проговорила Кедди, очень довольная,— вы представить себе не можете, как вы меня подбодрили. Чем только я вам не обязана! Какие перемены, Эстер, даже в моем маленьком мирке! Помните тот первый вечер, когда я вела себя так невежливо и вся выпачкалась чернилами? Кто мог подумать тогда, что из всех возможных и невозможных занятий я выберу преподавание танцев?

Муж ее, куда-то уходивший во время этого разговора, теперь вернулся и собирался начать упражнения с подмастерьями в бальном зале, а Кедди сказала, что полностью предоставляет себя в мое распоряжение. Но идти нам было еще рано, и я с большим удовольствием сообщила ей это — мне не хотелось уводить ее в часы занятий. Поэтому мы втроем отправились к подмастерьям, и я приняла участие в танцах.

Вот были диковинные ребятишки, эти подмастерья! Кроме грустного мальчугана, который, надеюсь, загрустил не потому, что вальсировал один в пустой кухне, подмастерьями числились еще два мальчика и маленькая, неопрятная хромая девочка в прозрачном платьице и очень безвкусной шляпке (тоже из какого-то прозрачного материала). И как не по-детски вела себя эта девочка, носившая свои бальные туфельки в затрепанном бархатном ридикюле! Как жалки были (когда они не танцевали) эти мальчуганы в рваных чулках и дырявых туфлях с совершенно смятыми задниками, таскавшие в карманах веревочки, камешки и костяшки!

Я спросила Кедди, что побудило их родителей выбрать для своих ребят эту профессию? Кедди ответила, что не знает,— может быть, детей готовят для преподавания танцев, а может быть — для сцены. Родители их — люди бедные; так, например, мать грустного мальчугана торгует имбирным пивом в ларьке.

Мы с величайшей серьезностью танцевали целый час, причем грустный ребенок делал чудеса своими нижними конечностями, в движениях которых можно было подметить некоторые признаки получаемого им удовольствия; но выше его талии этих признаков не наблюдалось. Кедди не сводила глаз с мужа, явно стараясь подражать ему, хотя сама уже успела приобрести грацию и уверенность в движениях, что в соединении с ее хорошеньким личиком и прекрасной фигурой производило чрезвычайно приятное впечатление. Она уже теперь почти целиком взяла на себя обучение подмастерьев, и муж ее редко вмешивался в занятия,— разве что исполнял свою роль в какой-нибудь фигуре, если его участие было необходимо. Но он всегда аккомпанировал. Стоило посмотреть, как жеманилась девочка в прозрачном одеянии и как снисходительно она относилась к мальчикам! Так мы проплясали добрый час.

Когда урок окончился, муж Кедди собрался уходить в какую-то школу, а Кедди убежала принарядиться перед тем как выйти вместе со мной. В это время я сидела в бальном зале и смотрела на подмастерьев. Двое приходящих убежали на лестницу, переобуться и подергать за волосы пансионера, о чем я догадалась по его негодующим крикам. Вернувшись в застегнутых курточках, с бальными туфлями за пазухой, они вынули свертки с хлебом и холодным мясом и принялись закусывать, расположившись под лирой, нарисованной на стене. Девочка в прозрачном платье, сунув туфельки в ридикюль и натянув на ноги стоптанные башмаки, рывком втиснула голову в безвкусную шляпку; а на мой вопрос, любит ли она танцевать, ответила: «Только не с мальчишками», завязала ленты под подбородком и с презрительным видом ушла домой.

— Мистер Тарвидроп-старший,— сказала Кедди,— очень сожалеет, что еще не кончил своего туалета и

потому лишен удовольствия повидать вас перед вашим уходом. Он вас прямо боготворит, Эстер.

Я сказала, что очень ему признательна, но не нашла нужным добавить, что охотно обойдусь без его внимания.

— Он очень долго занимается своим туалетом,— объяснила Кедди,— потому что на него, знаете ли, обращают большое внимание и ему нужно поддерживать свою репутацию. Вы не поверите, до чего он любезен с папой! Он может целый вечер рассказывать папе о принце-регенте, и я ни разу не видела, чтобы папа слушал кого-нибудь с таким интересом.

Я представила себе, как мистер Тарвидроп рисуется своим «хорошим тоном» в присутствии мистера Джеллиби, и пришла в полный восторг от этой картины. Потом я спросила Кедди, не пытается ли он когда-нибудь вызвать ее отца на разговор?

— Нет,— ответила Кедди,— вряд ли, но он всегда говорит сам, обращаясь к папе, и папа очень восхищается им и слушает его с удовольствием. Я знаю, конечно, что папа не имеет понятия о хорошем тоне, но он чудесно ладит с мистером Тарвидропом. Вы себе не представляете, как они подружились. Папа никогда не нюхал табака, а теперь он всякий раз берет понюшку из табакерки мистера Тарвидропа и то поднесет ее к носу, то опустит, и так весь вечер.

Подумать только — надо же было случиться, чтобы именно мистер Тарвидроп-старший явился спасать мистера Джеллиби от Бориобула-Гха! Это показалось мне чрезвычайно странным и забавным.

— Что касается Пищика,— нерешительно продолжала Кедди,— я боялась больше всего на свете (почти так же, как боюсь, что у меня самой родится ребенок), как бы он не обеспокоил мистера Тарвидропа, но мистер Тарвидроп так ласков с мальчиком, что и выразить нельзя. Он сам просит его привести, милая. Позволяет Пищику приносить ему газету в постель, угощает его корочками от своих гренков, гоняет по дому с разными маленькими поручениями, посылает ко мне за мелочью. Словом, чтобы долго не распространяться на эту тему, скажу, что я очень счастлива и должна горячо благодарить судьбу,— весело заключила Кедди.— Так куда же мы пойдем, Эстер?

— На Олд-стрит-роуд,— ответила я,— мне нужно сказать несколько слов одному клерку из юридической конторы, тому, которого послали встретить меня у почтовой станции, когда я приехала в Лондон и познакомилась с вами, дорогая. Я сейчас вспомнила, что этот самый джентльмен отвез нас тогда к вам.

— Если так, кому же идти туда с вами, как не мне,— сказала Кедди.

Мы пошли на Олд-стрит-роуд и, отыскав квартиру миссис Гаппи, спросили, дома ли хозяйка. Миссис Гаппи, сидевшая в гостиной, не дождавшись, пока ее вызовут, выглянула в переднюю с риском, что дверь раздавит ее, как орех, немедленно представилась нам и пригласила нас войти. Это была пожилая женщина в огромном чепце; нос у нее был красноватый, а глаза посоловелые, зато все лицо расплывалось в улыбке. Душная маленькая гостиная была убрана для приема гостей, и здесь висел портрет сына хозяйки, более точный, если можно так выразиться, чем сама натура,— столь настойчиво он подчеркивал все черты оригинала без единого исключения.

Но в гостиной находился не только портрет, мы увидели здесь и оригинал. Разодетый необычайно пестро, он сидел за столом и читал какие-то юридические документы, приставив указательный палец ко лбу.

— Мисс Саммерсон,— проговорил мистер Гаппи, вставая,— ваше посещение превратило мое жилище в оазис. Мамаша, будьте добры, принесите стул для другой леди и не путайтесь под ногами.

Миссис Гаппи, не переставая улыбаться, что придавало ей удивительно игривый вид, исполнила просьбу сына, а сама села в углу и обеими руками прижала к груди носовой платок, словно припарку.

Я представила Кедди, и мистер Гаппи сказал, что все мои друзья встретят у него более чем радушный прием. Затем я перешла к цели своего посещения.

— Я позволила себе написать вам записку, сэр,— начала я.

Желая засвидетельствовать получение записки, мистер Гаппи вынул ее из грудного кармана, прижал к губам и с поклоном опять положил в карман. Это так рассмешило мамашу мистера Гаппи, что она завертела

головой, заулыбалась еще игривей и, молчаливо ища сочувствия, толкнула локтем Кедди.

— Можно мне немного поговорить с вами наедине? — спросила я.

Тут мамашу мистера Гаппи охватил такой припадок веселья, какого я в жизни не видывала. Смеялась она совершенно беззвучно, но при этом вертела и качала головой, прикладывала платок ко рту, искала у Кедди сочувствия, толкая ее локтем, рукой, плечом, и вообще так расшалилась, что ей лишь с трудом удалось провести Кедди через маленькую двустворчатую дверь в смежную комнату — свою спальню.

— Мисс Саммерсон,— сказал мистер Гаппи,— вы извините причуды родительницы, которая вечно заботится о счастье своего детища. Мамаша, правда, очень надоедлива, но все это у нее от материнской любви.

Я не представляла себе, что можно так густо покраснеть и так измениться в лице, как это случилось с мистером Гаппи, когда я подняла вуаль.

— Я просила вас позволить мне увидеться с вами здесь, мистер Гаппи,— сказала я,— так как решила не заходить в контору мистера Кенджа: я вспомнила о том, что̀ вы однажды говорили мне по секрету, и боялась поставить вас в неловкое положение.

Должно быть, я все-таки поставила его в неловкое положение. Никогда я не видела такого смущения, такого замешательства, такого изумления и страха.

— Мисс Саммерсон,— запинаясь, пробормотал мистер Гаппи.— Я... я... прошу прощения, но мы, юристы, мы... мы считаем необходимым высказываться определенно. Вы говорите о том случае, мисс, когда я... я оказал себе честь сделать вам предложение, которое...

У мистера Гаппи как будто подступил комок к горлу, который он не мог проглотить. Молодой человек взялся рукой за шею, кашлянул, сделал гримасу, снова попытался проглотить комок, опять кашлянул, еще раз сделал гримасу, обвел глазами комнату и принялся судорожно перебирать свои бумаги.

— У меня что-то вроде головокружения, мисс,— объяснил он,— прямо с ног валит. Я... э... немножко подвержен этому... э... черт возьми!

Я молчала, чтобы дать ему время прийти в себя. И все это время он то прикладывал руку ко лбу, то опускал ее, то отодвигал свое кресло подальше в угол.

— Я хотел бы отметить, мисс...— снова начал мистер Гаппи,— боже мой!.. что-то у меня неладно с бронхами, надо думать... хм!.. отметить, что в тот раз вы были настолько любезны, что отклонили и отвергли мое предложение. Вы... вы, быть может, не откажетесь подтвердить это? Хотя здесь и нет свидетелей, но, может, этак будет спокойней... у вас на душе... если вы подтвердите?

— Ну, конечно,— ответила я,— на ваше предложение я ответила категорическим отказом, мистер Гаппи.

— Благодарю вас, мисс,— отозвался он и, растопырив дрожащие пальцы, принялся мерить рукой стол.— Это меня успокаивает и делает вам честь... Э... должно быть, у меня бронхит, не иначе!.. что-то попало в дыхательное горло... э... может, вы не обидитесь, если я замечу, хоть в этом и нет необходимости, ибо ваш собственный здравый смысл, как, впрочем, и здравый смысл любого другого лица, помогает это понять... может, вы не обидитесь, если я замечу, что то предложение было сделано мною в последний раз... и делу конец?

— Так я это и понимаю,— ответила я.

— Может... э... всякие формальности, пожалуй, излишни, но так вам самой будет спокойнее... может, вы не откажетесь подтвердить это, мисс? — спросил мистер Гаппи.

— Подтверждаю полностью и очень охотно,— ответила я.

— Благодарю вас,— сказал мистер Гаппи.— Очень благородно с вашей стороны, смею заверить. Сожалею, что мои планы на жизнь, в связи с не зависящими от меня обстоятельствами, лишают меня возможности когда-либо вернуться к этому предложению или возобновить его в каком бы то ни было виде или форме; но оно навсегда останется воспоминанием, обвитым... э... цветами под сенью дружбы...

Тут ему пришел на помощь бронхит, и мистер Гаппи перестал мерить стол.

— Можно мне теперь сказать вам то, что я хотела, мистер Гаппи? — спросила я.

— Почту за честь, смею заверить,— ответил мистер Гаппи.— Я глубоко убежден, что ваш здравый смысл и ваше благоразумие, мисс... внушат вам желание говорить со всей возможной искренностью и прямотой, а посему не иначе, как с удовольствием, смею заверить, выслушаю всякое заявление, какое вы пожелаете сделать.

— В тот раз вы были так добры намекнуть...

— Простите, мисс,— перебил меня мистер Гаппи,— но лучше нам не переходить от недвусмысленных суждений к намекам. Я отказываюсь подтвердить, что намекал на что-нибудь.

— Вы сказали в тот раз,— снова начала я,— что желаете позаботиться о моих интересах и улучшить мою судьбу, начав расследование насчет моей особы. Вероятно, вы затеяли все это, узнав, что я сирота и всем обязана великодушию мистера Джарндиса. Итак, вот о чем я хочу попросить вас, мистер Гаппи: будьте так любезны, откажитесь от мысли принести мне пользу подобным образом. Я иногда думала об этом, особенно в последнее время,— с тех пор как заболела. И, наконец, решила — на случай, если вы когда-нибудь вспомните о своей затее и соберетесь что-то сделать в этом направлении,— решила прийти к вам и убедить вас, что вы ошиблись во всех отношениях. Ваши расследования не могут принести мне ни малейшей пользы, ни малейшей радости. Мне известно мое происхождение, и могу вас уверить, что вам не удастся улучшить мою долю никакими расследованиями. Может быть, вы давно уже бросили эту свою затею. Если так, простите за беспокойство. А если нет, прошу вас поверить мне и отказаться от своих планов. Прошу вас — ради моего душевного спокойствия.

— Должен сознаться, мисс,— отозвался мистер Гаппи,— что ваши слова — плод здравого смысла и благоразумия, которые я в вас угадывал. Подобное благоразумие вполне успокаивает меня, и если я сейчас превратно понял ваши намерения, то готов принести исчерпывающие извинения. Но поймите меня правильно, мисс: я приношу извинения лишь в тех ошибках, которые мог совершить

во время нынешних наших переговоров,— не иначе,— что подтвердят и ваш здравый смысл и ваше благоразумие.

Надо отдать должное мистеру Гаппи — он почти перестал вилять. Видимо, он теперь был искренне готов исполнить мою просьбу, и лицо у него стало немного пристыженным.

— Будьте любезны, сэр,— продолжала я, заметив, что он хочет что-то сказать,— позвольте мне сразу высказать все, что мне нужно сообщить вам, так чтобы к этому уже не возвращаться. Я пришла к вам насколько возможно секретно, потому что вы сообщили мне о вашей затее как о тайне, которую я твердо решила хранить, да и сохранила, как вам известно. Я уже говорила о своей болезни. Нет смысла скрывать, что если раньше я слегка стеснялась бы попросить вас о чем-нибудь, то теперь мне стесняться уже не нужно. Итак, обращаюсь к вам с просьбой и надеюсь, вы меня достаточно уважаете, чтобы ее выполнить.

Надо снова отдать должное мистеру Гаппи: он смущался все более и более и, наконец, сгорая со стыда и краснея, сказал очень серьезным тоном:

— Даю честное слово, клянусь жизнью и клянусь душой, мисс Саммерсон, что, пока я жив, я буду выполнять ваши желания. Ни шагу не сделаю наперекор. Хотите, могу поклясться, чтобы вам было спокойнее... Когда я в настоящее время даю обещание касательно предмета, о коем идет речь,— скороговоркой продолжал мистер Гаппи, должно быть повторяя по привычке юридическую формулу,— я говорю правду, всю правду полностью и только правду...

— Этого вполне довольно,— сказала я, поднимаясь,— очень вам благодарна. Кедди, милая, я кончила!

Вместе с Кедди вернулась мамаша мистера Гаппи (теперь она уже толкала локтем меня и смеялась мне в лицо своим беззвучным смехом), и мы, наконец, ушли. Мистер Гаппи проводил нас до двери, с видом человека, который или не совсем проснулся, или спит на ходу, и смотрел нам вслед, вытаращив глаза.

Но минуту спустя он выбежал за нами на улицу с непокрытой головой, так что длинные его волосы развева-

лись во все стороны, и, попросив нас остановиться, проговорил с жаром:

— Мисс Саммерсон, клянусь честью и душой, вы можете на меня положиться!

— Я и полагаюсь,— отозвалась я,— и верю вам вполне.

— Простите, мисс,— продолжал мистер Гаппи, делая то шаг вперед, то шаг назад,— но поскольку здесь находится эта леди... ваша собственная свидетельница... может, у вас будет спокойнее на душе (чего я и желаю), если вы повторите ваши утверждения.

— Кедди,— обратилась я к своей подруге,— вы, пожалуй, не удивитесь, милая, если я скажу вам, что никогда не было никакой помолвки...

— Ни предложения, ни взаимного обещания сочетаться браком,— ввернул мистер Гаппи.

— Ни предложения, ни взаимного обещания сочетаться браком,— подтвердила я,— между этим джентльменом...

— Уильямом Гаппи, проживающим на Пентон-Плейс (Пентонвилл, графство Мидлсекс),— пробормотал он.

— Между этим джентльменом, мистером Уильямом Гаппи, проживающим на Пентон-Плейс (Пентонвилл, графство Мидлсекс), и мною.

— Благодарю вас, мисс,— сказал мистер Гаппи,— очень обстоятельное... э... извините меня... как зовут эту леди, как ее имя и фамилия?

Я сказала.

— Замужняя, я полагаю? — осведомился мистер Гаппи.— Замужняя. Благодарю вас. Урожденная Кэролайн Джеллиби; в девичестве проживала в Тейвис-Инне (Сити города Лондона, не числится ни в каком приходе); ныне проживает на улице Ньюмен-стрит, выходящей на Оксфорд-стрит. Очень вам признателен.

Он убежал домой, но опять вернулся бегом.

— Что касается этого предмета, я искренне и от души сожалею, что мои планы на жизнь в связи с не зависящими от меня обстоятельствами препятствуют возобновлению того, с чем некоторое время назад было навеки покончено,— сказал мне мистер Гаппи с жалким и растерянным видом,— но возобновить это невозможно. Ну, как вы думаете, *возможно* ли это? Прошу вас, ответьте.

Я ответила, что это, конечно, невозможно,— и речи быть не может. Он поблагодарил меня, побежал домой, но опять вернулся.

— Это делает вам великую честь, мисс, смею заверить,— сказал мистер Гаппи.— Если бы можно было воздвигнуть алтарь под сенью дружбы... но, клянусь душой, вы можете положиться на меня во всех отношениях, за исключением и кроме нежной страсти!

Борьба чувств, происходившая в груди мистера Гаппи и заставившая его метаться между порогом его дома и нами, начала привлекать внимание прохожих,— тем более что волосы у молодого человека слишком отросли, а ветер дул сильный,— поэтому мы поспешили удалиться. Я ушла успокоенная, но, когда мы в последний раз оглянулись, оказалось, что мистер Гаппи все еще продолжает метаться туда-сюда, пребывая все в том же смятенном состоянии духа.

## ГЛАВА XXXIX

### *Поверенный и клиент*

Надпись «Мистер Воулс», а над нею — «Нижний этаж» начертаны на косяке одной двери в Саймондс-Инне, на Канцлерской улице, а Саймондс-Инн — небольшое полинялое унылое строение со слепыми окнами,— смахивает на громадный мусорный ящик с двумя отделениями и решеткой. По-видимому, Саймонд был скряга и воздвиг это сооружение из старых строительных материалов, к которым легко пристают пыль и грязь, все, что гниет и разрушается, так что дом своим запущенным видом как бы увековечил память Саймонда, который при жизни выглядел не лучше. Это здание — точно памятник с гербом, поставленный Саймонду, и как в одной из «четвертей» герба иногда бывает начертан девиз, так в нижнем этаже Саймондс-Инна помещается юридическая контора мистера Воулса.

Контора мистера Воулса, скромная по своему характеру и укромная по местоположению, зажата в угол и

щурится на глухую стену. Темная щель в три фута длиной, мощенная выбитым плитняком, ведет к черной, как деготь, двери мистера Воулса, в закоулок, где и в самое солнечное июльское утро царит непроглядная тьма, а над подвальной лестницей устроен черный навес, о который запоздалые прохожие частенько разбивают себе лоб. Контора у мистера Воулса такая тесная, что клерк может открыть дверь, не вставая с табурета, в то время как другой клерк, работающий бок о бок с ним за тем же столом, может с такой же легкостью мешать угли в камине. Зловоние, похожее на запах паршивой овцы и смешанное с запахом плесени и пыли, позволяет догадываться, что по вечерам (а нередко и днем) здесь жгут свечи из бараньего сала и перебирают пергамент в засаленных ящиках. Да и без этого запаха в конторе было бы нечем дышать,— такая она затхлая и душная. Если это помещение когда-нибудь красили и белили, то, наверное, в незапамятные времена; оба камина дымят, и все тут покрыто копотью; окна с тусклыми потрескавшимися стеклами в тяжелых подъемных рамах имеют лишь одну отличительную черту — твердую решимость вечно оставаться грязными и опущенными, если только их не принудят к противному. Поэтому в жаркую погоду между раздвинутыми челюстями наиболее ветхого из этих окон всегда вставлен пучок лучинок.

Мистер Воулс — очень почтенный человек. Практика у него небольшая, но человек он очень почтенный. Более известные поверенные, уже нажившие или еще наживающие крупные состояния, признают, что он в высшей степени почтенный человек. Он не упускает ни одного случая зашибить деньгу юридической практикой, а это признак почтенности. Он не позволяет себе никаких удовольствий, а это другой признак почтенности. Он сдержан и серьезен — еще один признак почтенности. Пищеварение у него испорчено, что чрезвычайно почтенно. Ради своих трех дочерей он готов содрать семь шкур с одного вола, иначе говоря — с любого своего клиента. И его отец живет на его иждивении в Тоунтонской долине.

Главнейший принцип английской судебной системы сводится к тому, чтобы создавать тяжбу ради самой

тяжбы на пользу самой себе. Нет другого принципа, который проводился бы столь же отчетливо, определенно и последовательно по всем ее извилистым и узким путям. Если посмотреть на нее с этой точки зрения, она покажется вполне стройной и логичной системой, а вовсе не теми непроходимыми дебрями, какими ее считают непосвященные. Но пусть они, эти непосвященные, хоть раз ясно поймут, что ее главный принцип — это создавать тяжбу ради самой тяжбы себе на пользу, а им во вред, и они безусловно перестанут роптать.

Но не вполне понимая это,— сознавая это лишь частично и смутно,— непосвященные не всегда охотно терпят ущерб, наносимый их душевному спокойствию, а также карману, и все-таки ропщут, притом очень громко. Тогда почтенность мистера Воулса выдвигается против них в качестве неопровержимого аргумента.

— Отменить этот законодательный акт, любезный сэр? — говорит мистер Кендж строптивому клиенту.— Отменить его, мой дорогой сэр? Никогда с этим не соглашусь. Попробуйте изменить этот закон, сэр, и вы увидите, каковы будут последствия вашей неосмотрительности для определенной категории юристов, очень достойным представителем которой, позвольте вам заметить, можно назвать поверенного противной стороны в данной тяжбе,— мистера Воулса. Сэр, эта категория юристов будет сметена с лица земли. Но вы же не можете позволить себе, скажу больше — весь общественный строй не может позволить себе обойтись без таких юристов, как мистер Воулс. Это трудолюбивые, упорные, солидные люди, большие мастера своего дела. Дорогой сэр, я понимаю, почему вы негодуете на существующее положение вещей; согласен, что вас оно не устраивает, но я никогда не подам голоса за уничтожение целой категории юристов, подобных мистеру Воулсу.

О почтенности мистера Воулса с решающим результатом упоминалось даже на заседаниях парламентских комиссий, что явствует из нижеследующего протокола беседы с одним известным поверенным.

*Вопрос* (номер пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девятый). Если я правильно вас понимаю,

наше судопроизводство, несомненно, сопряжено с волокитой?

*Ответ*. Да, оно несколько медлительно.

*Вопрос*. И обходится очень дорого?

*Ответ*. Безусловно; нельзя вершить правосудие даром.

*Вопрос*. И вызывает всеобщее недовольство?

*Ответ*. Этого я не могу сказать. Во мне оно никакого недовольства не вызывает; скорее наоборот.

*Вопрос*. Но вы полагаете, что реформа нанесет ущерб определенной категории практикующих юристов?

*Ответ*. Несомненно.

*Вопрос*. Вы можете назвать для примера какого-либо типичного представителя этой категории?

*Ответ*. Да, я, не колеблясь, назову мистера Воулса. Реформа — для него разоренье.

*Вопрос*. Мистер Воулс считается в среде юристов почтенным человеком?

*Ответ* (который оказался роковым, ибо на десять лет прекратил подобные расследования). В юридическом мире мистер Воулс считается в *высшей степени* почтенным человеком.

А в дружеском разговоре не менее беспристрастные авторитеты заявляют, частным образом, что им непонятно, куда идет наш век, и утверждают, что мы катимся в пропасть,— ведь вот опять что-то отменили, а подобные перемены — гибель для таких людей, как Воулс, человек неоспоримо почтенный, который содержит отца в Тоунтонской долине и трех дочерей дома. Сделайте еще несколько шагов в этом направлении, говорят они, и что будет с отцом Воулса? Погибать ему, что ли? А куда деваться дочерям Воулса? Прикажете им сделаться белошвейками или пойти в гувернантки? Как будто мистер Воулс и его присные — мелкие вожди дикарей-людоедов, и, когда предлагается искоренить людоедство, их негодующие защитники ставят вопрос так: «Объявите людоедство противозаконным, и вы уморите с голоду Воулсов!»

Итак, мистер Воулс со своими тремя дочерьми в Лондоне и отцом в Тоунтонской долине неуклонно исполняет свой долг в качестве бревна, подпирающего некое ветхое

строение, которое превратилось в западню и угрожает гибелью всем. А очень многие люди в очень многих случаях рассматривают вопрос не с точки зрения перехода от Зла к Добру (о чем и речи нет), но всегда лишь с точки зрения ущерба или пользы для почтеннейшего легиона Воулсов.

Еще десять минут, и лорд-канцлер закроет заседание в последний раз перед долгими каникулами. Мистер Воулс, его молодой клиент и несколько синих мешков, набитых бумагами как попало, отчего они, словно объевшиеся удавы, сделались совершенно бесформенными,— мистер Воулс, его клиент и мешки вернулись в конторскую нору. Мистер Воулс, спокойный и невозмутимый, как и подобает столь почтенному человеку, стягивает с рук свои узкие черные перчатки, словно сдирая с себя кожу, стягивает с головы тесный цилиндр, словно снимая скальп с собственного черепа, и садится за письменный стол. Клиент швыряет свой цилиндр и перчатки на пол, отталкивает их ногой, не глядя на них и не желая знать, куда они девались, бросается в кресло, издавая не то вздох, не то стон; опускает больную голову на руку и всем своим видом являет воплощение «Юности в отчаянии».

— Опять ничего не сделано! — говорит Ричард.— Ничего, ничего не сделано!

— Не говорите, что ничего не сделано, сэр,— возражает бесстрастный Воулс.— Едва ли это справедливо, сэр... едва ли справедливо!

— Но что же именно сделано? — хмуро спрашивает Ричард.

— В этом заключается не весь вопрос,— отвечает Воулс.— Вопрос может также идти о том, что именно делается, что именно делается?

— А что же делается? — спрашивает угрюмый клиент.

Воулс сидит, облокотившись на письменный стол, и спокойно соединяет кончики пяти пальцев правой руки с кончиками пяти пальцев левой, затем так же спокойно разъединяет их и, медленно впиваясь глазами в клиента, отвечает:

— Многое делается, сэр. Мы налегли плечом на колесо, мистер Карстон, и колесо вертится.

— Да, но это колесо Иксиона *. А как же мне прожить следующие четыре-пять месяцев, будь они прокляты! — восклицает молодой человек, вскочив с кресла и шагая по комнате.

— Мистер Карстон,— отвечает Воулс, не спуская глаз с Ричарда, куда бы тот ни повернулся,— вы слишком нетерпеливы, и я сожалею об этом в ваших же интересах. Извините меня, если я посоветую вам поменьше волноваться, поменьше рваться вперед. Надо бы вам получше держать себя в руках.

— Иначе говоря, надо бы мне подражать вам, мистер Воулс? — говорит Ричард с нетерпеливым смехом, снова присаживаясь и отбивая сапогом барабанную дробь на ковре, не украшенном никакими узорами.

— Сэр,— отвечает Воулс, не отрывая взгляда от клиента и как будто неторопливо поедая его глазами с аппетитом заядлого крючкотвора.— Сэр,— продолжает Воулс глухим, утробным голосом и с безжизненным спокойствием,— я не столь самонадеян, чтобы предлагать себя вам или кому-нибудь другому в качестве образца для подражания. Позвольте мне только оставить доброе имя своим трем дочерям, и этого с меня довольно,— я не своекорыстный человек. Но, раз уж вы столь язвительно сравниваете себя со мной, я сознаюсь, что мне хотелось бы привить вам немножко моей,— вы, сэр, склонны назвать это бесчувственностью, пусть так, ничего не имею против, скажем, бесчувственности,— немножко моей бесчувственности.

— Мистер Воулс, я не хотел обвинять вас в бесчувственности,— оправдывается несколько смущенный клиент.

— Я полагаю, что хотели, сэр, сами того не ведая,— отвечает беспристрастный Воулс.— Что ж, это очень естественно. Мой долг защищать ваши интересы хладнокровно, и я вполне понимаю, что в такое время, как теперь, когда вы так возбуждены, я могу показаться вам бесчувственным. Мои дочери, пожалуй, знают меня лучше; мой престарелый отец, возможно, знает меня лучше. Но они познакомились со мною гораздо раньше, чем вы, к тому же доверчивое око привязанности не похоже на подозрительное око деловых отношений. Я отнюдь не жалуюсь, сэр, на то, что око деловых отно-

шений подозрительно,— совсем напротив. Заботясь о ваших интересах, я приветствую любую проверку, которой меня пожелают подвергнуть; меня следует проверять; я стремлюсь к тому, чтобы меня проверяли. Но ваши интересы, мистер Карстон, требуют хладнокровия и методичности с моей стороны; иначе нельзя... нет, сэр, даже ради того, чтобы доставить вам удовольствие.

Взглянув на конторскую кошку, которая терпеливо сторожит мышиную норку, мистер Воулс снова впивается глазами в молодого клиента, зачаровывая его взглядом, и продолжает глухим, как бы застегнутым на все пуговицы, едва слышным голосом, словно в нем сидит нечистый дух, который не хочет выйти наружу и не желает вещать громко.

— Вам угодно знать, сэр, что вам делать во время каникул? Полагаю, что вы, господа офицеры, можете доставить себе немало развлечений,— стоит только захотеть. Если бы вы спросили меня, что буду делать *я* во время каникул, мне было бы легче вам ответить. Я буду защищать ваши интересы. Меня вы всегда найдете здесь, и я день и ночь защищаю ваши интересы. Это мой долг, мистер Карстон, и для меня нет различий между судебными сессиями и каникулами. Если вы пожелаете посоветоваться со мной относительно ваших интересов, вы найдете меня здесь во всякое время. Другие юристы уезжают из города; я — нет. Я отнюдь не осуждаю их за то, что они уезжают; я просто говорю, что сам я не уезжаю. Этот пюпитр — ваша скала, сэр!

Мистер Воулс хлопает по пюпитру, и раздается гулкий звук, кажется, будто хлопнули по крышке гроба. Но только — не Ричарду. Ему в этом звуке слышится что-то ободряющее. Быть может, мистер Воулс понимает это.

— Я отлично знаю, мистер Воулс,— говорит Ричард более дружественным и добродушным тоном,— что вы честнейший малый — другого такого на свете нет — и когда имеешь дело с вами, знаешь, что имеешь дело с опытным юристом, которого нельзя провести. Но поставьте себя на мое место: я веду беспорядочную жизнь, с каждым днем все глубже и глубже увязаю во всяких трудностях, постоянно надеюсь и постоянно разочаровываюсь, замечаю в себе самом одну перемену за другой — и все к


30
TIME
ESTATE
I FLINTE

худшему, а во всем остальном не вижу перемен к лучшему,— представьте это себе, и вы скажете, как я иногда говорю, что я в очень тяжелом положении.

— Вы уже знаете, сэр,— отзывается мистер Воулс,— что я никогда не подаю надежд. Я с самого начала сказал вам, мистер Карстон, что надежд я не подаю никогда. А в таком случае, как данный, когда бо̀льшая часть судебных пошлин покрывается вычетами из спорного наследства, подавать надежды — значит не заботиться о своей репутации. Может показаться, будто я стремлюсь только к своей выгоде. И все же, когда вы говорите, что нет никаких перемен к лучшему, я должен опровергнуть ваше мнение, так как оно не соответствует действительности.

— Да? — говорит Ричард, повеселев.— Но почему вы так думаете?

— Мистер Карстон, ваши интересы защищает...

— Скала, как вы только что сказали.

— Именно, сэр! — подтверждает мистер Воулс и, покачивая головой, легонько похлопывает по пустому пюпитру, извлекая из него такой звук, что чудится, будто пепел где-то сыплется на пепел * и прах сыплется на прах.— Именно скала. А это уже кое-что. Ваши интересы я защищаю отдельно от прочих, а значит они не оттеснены чужими интересами и не затерялись среди них. *Это* уже кое-что. Тяжба не спит, мы ее будим, расшевеливаем, двигаем. *Это* уже кое-что. В тяжбе теперь фактически участвуют не одни только Джарндисы. *Это* уже кое-что. Никто теперь не может повернуть ее по-своему, сэр. А *это* уже безусловно кое-что.

Внезапно вспыхнув, Ричард хлопает кулаком по столу.

— Мистер Воулс! Скажи мне кто-нибудь, когда я впервые приехал к Джону Джарндису, что он не тот бескорыстный друг, каким казался, что на самом-то деле он таков, каким впоследствии мало-помалу предстал перед нами, я в самых сильных выражениях опроверг бы эту клевету и со всей своей горячностью защищал бы его. Так плохо я тогда знал жизнь! Теперь же объявляю вам, что он сделался для меня воплощением тяжбы; что если раньше она казалась мне чем-то отвлеченным, то теперь

она воплотилась в Джоне Джарндисе; что чем больше я страдаю, тем больше возмущаюсь им, и каждая новая проволочка, каждое новое разочарование — только новое оскорбление мне, нанесенное Джоном Джарндисом.

— Нет, нет,— возражает Воулс,— не надо так говорить. Всем нам следует быть потерпеливее. Что до меня, то я никого не осуждаю, сэр. Никогда никого не осуждаю.

— Мистер Воулс,— спорит разгневанный клиент,— вы не хуже меня знаете, что он задушил бы нашу тяжбу, будь это в его силах.

— Он не участвовал в ней активно,— соглашается мистер Воулс с притворной неохотой.— Он, безусловно, не участвовал в ней активно. Но, как бы то ни было... как бы то ни было, он, возможно, питает благие намерения. Кто может читать в сердцах, мистер Карстон?

— Вы можете,— отвечает Ричард.

— Я, мистер Карстон?

— Можете настолько, чтобы знать, какие у него намерения. Противоположны наши интересы или нет? Скажите... мне... это! — говорит Ричард, сопровождая последние три слова ударами кулаком по своей верной «скале».

— Мистер Карстон,— отзывается мистер Воулс, не делая ни малейшего движения и не мигая жадными глазами.— Я не исполнил бы своего долга в качестве вашего поверенного, я изменил бы вашим интересам, если бы назвал их совпадающими с интересами мистера Джарндиса. Они не совпадают, сэр. Я никогда никому не приписываю неблаговидных побуждений, ведь я — отец и сам имею отца, и я никогда никому не приписываю неблаговидных побуждений. Но я не должен отступать от своего профессионального долга, даже если это порождает семейные ссоры. Насколько я понимаю, вы сейчас советуетесь со мной, как вашим поверенным, относительно ваших интересов? Не так ли? В таком случае, я вам отвечу, что ваши интересы не совпадают с интересами мистера Джарндиса.

— Конечно, нет! — восклицает Ричард.— Вы поняли это давным-давно.

— Мистер Карстон,— продолжает Воулс,— я не хочу говорить ничего лишнего о третьем лице. Я желаю оста-

вить своим трем дочерям — Эмме, Джейн и Кэролайн — свое незапятнанное доброе имя вместе с маленьким состоянием, которое я, возможно, накоплю трудолюбием и усидчивостью. Кроме того, я стремлюсь сохранять хорошие отношения со своими собратьями по профессии. Когда мистер Скимпол оказал мне честь, сэр (я не скажу — очень высокую честь, ибо никогда не унижаюсь до лести),— честь свести нас с вами в этой комнате, я заявил вам, что не могу высказать вам своего мнения или дать совет касательно ваших интересов, покуда эти интересы вверены другому юристу. И я отозвался должным образом о конторе Кенджа и Карбоя, которая пользуется прекрасной репутацией. Вы, сэр, тем не менее нашли нужным отказаться от услуг этой конторы и поручить защиту ваших интересов мне. Вы мне передали ее чистыми руками, сэр, и я принял ее на себя чистыми руками. Теперь эти интересы играют в моей конторе важнейшую роль. Органы пищеварения у меня работают плохо, как вы, вероятно, уже слышали от меня самого, и отдых мог бы дать мне возможность поправиться; но я не буду отдыхать, сэр, пока остаюсь вашим ходатаем. Когда бы я вам ни потребовался, вы найдете меня здесь. Вызовите меня куда угодно, и я явлюсь. В течение долгих каникул, сэр, я посвящу свой досуг все более и более пристальному изучению ваших интересов и подготовлюсь к тому, чтобы после осенней сессии Михайлова дня сдвинуть с места землю и небо (включая, конечно, и лорд-канцлера); когда же я в конечном итоге поздравлю вас, сэр,— продолжает мистер Воулс с суровостью решительного человека,— когда я в конечном итоге от всего сердца поздравлю вас с получением крупного наследства, сэр,— о чем мог бы сказать кое-что дополнительно, только я никогда не подаю надежд,— вы ничего не будете мне должны, помимо того небольшого излишка, который поверенный получает от клиента сверх полагающегося ему установленного по таксе гонорара, вычитаемого из спорного имущества. Я не предъявляю к вам никаких претензий, мистер Карстон, кроме одной: я прошу вас отдать мне должное, ибо я ревностно и энергично выполняю свои профессиональные обязанности, выполняю их отнюдь не медлительно и не по старинке, сэр.

Когда же мои обязанности будут успешно выполнены, мы расстанемся.

В заключение Воулс присовокупляет добавочный пункт к этой декларации своих принципов, сказав, что, поскольку мистер Карстон собирается вернуться в полк, не будет ли мистер Карстон столь любезен подписать приказ своему банкиру выдать ему, Воулсу, двадцать фунтов.

— За последнее время у меня было много мелких консультаций и совещаний, сэр,— объясняет Воулс, перелистывая свой деловой дневник,— издержек накопилось порядочно, а я не выдаю себя за богача. Когда мы с вами заключили наше теперешнее соглашение, я откровенно заявил вам,— а я придерживаюсь того принципа, что поверенный и клиент должны быть вполне откровенны друг с другом,— я откровенно заявил вам, что человек я небогатый, и если вы желаете иметь богатого поверенного, вам лучше оставить свои документы в конторе Кенджа. Нет, мистер Карстон, здесь вы не найдете ни положительных, ни отрицательных сторон богатства, сэр. Вот это,— и Воулс опять хлопает по пустому пюпитру,— ваша скала, но ни на что бо̀льшее она не претендует.

Клиент, чье уныние как-то незаметно рассеялось и чьи угасавшие надежды разгорелись снова, берет перо и чернила и подписывает чек, недоуменно раздумывая и соображая, какое число на нем поставить, а это значит, что его вклад в банке довольно скуден. Все это время Воулс, застегнутый на все пуговицы как телесно, так и душевно, не отрывает от него пристального взгляда. Все это время кошка, прижившаяся в конторе Воулса, следит за мышиной норкой.

Но вот, наконец, клиент пожимает руку мистеру Воулсу, умоляя его ради самого неба и ради самой земли сделать все возможное, чтобы «вызволить его» из Канцлерского суда. Мистер Воулс, никогда не подающий надежд, кладет ладонь на плечо своего клиента и с улыбкой отвечает:

— Я всегда здесь, сэр. Если вы пожелаете обратиться ко мне лично или письменно, вы всегда найдете меня здесь, сэр, и я буду плечом подталкивать колесо.

Так они расстаются, и Воулс, оставшись один, выписывает из своего делового дневника разные разности и

переносит их в счетную книгу на благо своим трем дочерям. Так трудолюбивая лисица или медведь, быть может, подсчитывают добытых цыплят или заблудившихся путников, собираясь кормить ими своих детенышей, которым, впрочем, никак нельзя уподобить троих застегнутых на все пуговицы некрасивых, сухопарых девиц, обитающих вместе со своим родителем Воулсом в Кеннигтоне *, где они занимают грязный коттедж, расположенный в болотистом саду.

Выйдя из непроглядного мрака Саймондс-Инна на залитую солнцем Канцлерскую улицу — сегодня и здесь, оказывается, светит солнце,— Ричард шагает в задумчивости, потом сворачивает к Линкольнс-Инну и прохаживается в тени линкольнс-иннских деревьев. Часто падала узорная тень этих деревьев на многих подобных прохожих, и все они были на один лад: понурая голова, обгрызанные ногти, хмурый взор, замедленный шаг, мечтательный вид человека, не знающего, что с собой делать; все доброе, что было в душе, разъело ее и разъедено само; вся жизнь испорчена. Этот прохожий еще не оборван, но, может быть, и он когда-нибудь станет оборванцем. Канцлерский суд, черпающий мудрость только в Прецедентах, очень богат подобными «Прецедентами», так почему же один человек должен отличаться от десятка тысяч других людей?

Но упадок его начался еще так недавно, что, уходя отсюда и неохотно покидая на несколько долгих месяцев это место, хоть и столь ему ненавистное, Ричард, быть может, думает, что попал в какое-то исключительное положение. На сердце у него тяжело от терзающих забот, напряженного ожидания, недоверия и сомнения, и он, быть может, скорбно спрашивает себя, вспоминая о том дне, когда впервые пришел сюда, почему сегодняшний день так не похож на тот, почему он, Ричард, так не похож на того юношу, каким он был тогда, почему вся его душа так не похожа на его прежнюю душу. Но несправедливость порождает несправедливость; но когда борешься с тенями и они тебя побеждают, хочется создать себе реального противника; но когда тяжба твоя неосязаема и разобраться в ней не может никто, ибо время для этого давно миновало, чувствуешь горькое об-

легчение, нападая на друга, который мог бы тебя спасти от гибели, и в *нем* хочешь видеть своего врага. Ричард сказал Воулсу правду. В каком бы состоянии духа он ни был, в ожесточенном или смягченном, он все равно винит в своих горестях этого друга, ибо друг мешал ему достичь цели, к которой он, Ричард, стремился; а ведь если у него и может быть цель, то лишь та, которая ныне поглощает его целиком; кроме того, противник и угнетатель из плоти и крови служит ему самооправданием.

Значит ли это, что Ричард — чудовище? Или, может быть, Канцлерский суд оказался бы очень богат такими «прецедентами», если б о них удалось получить справку у того ангела, который ведает деяниями человеческими?

Две пары глаз, привыкших видеть таких юношей, как Ричард, смотрят ему вслед, когда он, кусая ногти и погруженный в тяжелые думы, пересекает площадь и скрывается из виду в тени южных ворот. Обладатели этих глаз, мистер Гаппи и мистер Уивл, разговаривают, опершись на невысокий каменный парапет под деревьями. Ричард прошел мимо, совсем близко от них, ничего не замечая, кроме земли у себя под ногами.

— Уильям,— говорит мистер Уивл, расправляя бакенбарды,— вот оно где, горение-то! Только это не самовозгорание, а тление; вот это что.

— Да! — отзывается мистер Гаппи.— Теперь уж ему не выпутаться из тяжбы Джарндисов, а в долгах он по уши, надо думать. Впрочем, я о нем мало что знаю. Когда он поступил на испытание к нам в контору, он на всех свысока смотрел — будто на Монумент * залез. У нас он и в клерках служил и клиентом был, но кем бы он ни был, хорошо, что я от него избавился! Да, Тони, так вот, значит, чем они занимаются, как я уже тебе говорил.

Снова скрестив руки, мистер Гаппи опять прислоняется к парапету и продолжает интересный разговор.

— Все еще занимаются этим,— говорит мистер Гаппи,— все еще производят учет товаров, все еще пересматривают бумаги, все еще роются в горах всякой рухляди. Этак они и лет за семь не управятся.

— А Смолл им помогает?

— Смолл от нас уволился — за неделю предупредил об уходе. Сказал Кенджу, что его дедушка не справляется со своими делами — трудно стало старику,— а ему, Смоллу, выгодно заняться ими. Между мною и Смоллом возникло охлаждение из-за того, что он был таким скрытным. Но он сказал, что мы с тобой первые начали скрытничать,— и, конечно, был прав, ведь мы и впрямь скрывали от него кое-что,— ну, я тогда опять подружился с ним. Вот как я узнал, что они все еще этим занимаются.

— Ты туда ни разу не заходил?

— Тони,— говорит мистер Гаппи, немного смущенный,— говоря откровенно, мне не очень-то хочется идти в этот дом — разве что с тобой вместе; поэтому я туда не заходил и поэтому предложил тебе встретиться сегодня со мною, чтобы забрать оттуда твои вещи. Теперь час пробил! Тони,— мистер Гаппи становится таинственно и вкрадчиво красноречивым,— я должен еще раз внушить тебе, что не зависящие от меня обстоятельства произвели прискорбные перемены и в моих планах на жизнь, самых для меня дорогих, и в том отказавшем мне во взаимности образе, о котором я раньше говорил тебе как другу. Тот образ теперь развенчан и тот кумир повержен. Что касается документов, которые я задумал было достать с твоей дружеской помощью и представить в суд в качестве вещественных доказательств, то единственное мое желание — бросить всю эту затею и предать ее забвению. Считаешь ли ты возможным, считаешь ли ты хоть сколько-нибудь вероятным (спрашиваю тебя, Тони, как друга),— ведь ты был знаком с этим взбалмошным и скрытным стариком, который пал жертвой... самопроизвольной огненной стихии; считаешь ли ты, Тони, хоть сколько-нибудь вероятным, что он тогда передумал и запрятал куда-то письма, после того как ты в последний раз виделся с ним, и что они в ту ночь не сгорели?

Мистер Уивл некоторое время размышляет. Качает головой. Говорит, что это совершенно невероятно.

— Тони,— продолжает мистер Гаппи, направляясь к переулку, где жил Крук,— еще раз пойми меня как

друг. Не входя в дальнейшие объяснения, я могу повторить, что тот кумир повержен. Теперь единственная моя цель — все предать забвению. Я дал обет сделать это. И я должен выполнить свой обет и ради самого себя, и ради развенчанного образа, и вследствие не зависящих от меня обстоятельств. Если бы ты хоть одним движением руки, хоть взмахом ресниц намекнул мне, что где-то в твоем прежнем жилище лежат бумаги, хоть чуть-чуть похожие на те письма, я бросил бы их в огонь, сэр, под свою личную ответственность.

Мистер Уивл кивает. Мистер Гаппи возвысился до небес в собственных глазах после того, как высказал эти отчасти юридические, отчасти романтические соображения — ибо этот джентльмен обожает разговаривать в форме допроса и изъясняться в форме резюме или судебной речи,— и сейчас он с достойным видом шествует в сопровождении друга к переулку.

Ни разу, с тех пор как он стал переулком, не доставался ему такой «фортунатов кошель» сплетен, каким оказались события, происходящие в лавке умершего старьевщика. Ежедневно в восемь часов утра мистера Смоллуида-старшего подвозят к перекрестку, и несут в лавку в сопровождении миссис Смоллуид, Джуди и Барта, и ежедневно все они сидят там весь день напролет, до девяти вечера, наскоро, по-походному, подкрепляясь не очень сытными яствами, доставленными из кухмистерской и весь день напролет ищут и рыщут, роются и копаются и ныряют в сокровищах дорогого покойника. Что это за сокровища — неизвестно, ибо наследники скрывают тайну так тщательно, что переулок прямо бесится. В бреду любопытства ему мерещатся гинеи, которые сыплются из чайников, чаши для пунша, до краев полные кронами, старые кресла и тюфяки, набитые ценными бумагами Английского банка. Переулок, покупает за шесть пенсов историю мистера Дэниела Дансера и его сестры (с ярко раскрашенной картинкой на складной вклейке), а также — историю мистера Ивса *, уроженца Саффолка, и все события этих достоверных историй приписывает биографии мистера Крука. Дважды вызывали мусорщика, чтобы увезти воз бросовой бумаги, золы и разбитых бутылок, и когда мусорщик приезжал,

весь переулок собирался и рылся в его корзинах. Не раз люди видели, как оба джентльмена, пишущие хищными перышками на листках тонкой бумаги, снуют по всему околотку, избегая друг друга, так как их недавнее содружество распалось. «Солнечный герб» устраивает Гармонические вечера, умело извлекая выгоду из этих волнующих событий. Маленького Суиллса вознаграждают громкими аплодисментами за «речитативные» (как выражаются музыканты) намеки на эти события, и певец вдохновенно вставляет в свои обычные номера отсебятину, посвященную этой теме. Даже мисс М. Мелвилсон, исполняя снова вошедшую в моду каледонскую песенку «Мы дремлем», подчеркивает фразу «собаки обожают варево» (какое именно, неизвестно) с таким лукавством и таким кивком в сторону соседнего дома, что все мгновенно понимают ее намек на мистера Смоллуида, который обожает находить деньги, и в награду дважды вызывают ее на бис. Тем не менее переулок не может ничего узнать, и, как сообщают миссис Пайпер и миссис Перкинс бывшему жильцу Крука, чье появление служит сигналом к общему сбору, обыватели беспрерывно находятся в состоянии брожения, томимые жаждой узнать все и даже больше.

Глаза всего переулка устремлены на мистера Уивла и мистера Гаппи, когда они стучат в запертую дверь дома, принадлежавшего дорогому покойнику, достигая тем самым вершины своей популярности. Когда же их, против всеобщего ожидания, впускают в дом, они тотчас же теряют популярность и даже начинают вызывать подозрение — от них, мол, ничего хорошего не жди.

Во всем доме ставни закрыты более или менее плотно, а в нижнем этаже так темно, что не худо бы зажечь там свечи. Мистер Смоллуид-младший ведет приятелей в заднюю комнату при лавке, где они, придя прямо с улицы, залитой солнцем, сначала не видят ничего — такая здесь тьма. Но вот мало-помалу они различают мистера Смоллуида-старшего, сидящего в своем кресле на краю не то колодца, не то могилы, набитой рваной бумагой, в которой добродетельная Джуди роется, как могильщица, тогда как миссис Смоллуид приютилась поблизости на полу в целом снежном сугробе из обрывков печатных и

рукописных бумаг, которыми ее любезно осыпали весь день вместо комплиментов. Вся эта компания, и Смолл в том числе, почернела от пыли и грязи и приобрела какой-то бесовский вид, под стать виду самой комнаты. А комната, сейчас пуще прежнего заваленная хламом и рухлядью, стала еще грязнее,— если только можно было покрыться более толстым слоем грязи,— и в ней остались жуткие следы ее покойного обитателя и даже его надписи мелом на стене.

При входе посетителей мистер Смоллуид и Джуди немедленно складывают руки и прекращают свои раскопки.

— Ага! — каркает старик.— Как поживаете, джентльмены? Как поживаете? Пришли забрать свое имущество, мистер Уивл? Прекрасно, прекрасно. Ха! Ха! А не приди вы за ним вовремя, нам пришлось бы его распродать, чтобы выручить плату за хранение. Вы здесь опять чувствуете себя как дома, надо полагать? Рад вас видеть, рад вас видеть!

Мистер Уивл благодарит его и озирается. Взгляд мистера Гаппи следует за взглядом мистера Уивла. Взгляд мистера Уивла возвращается к исходной точке, не обнаружив ничего нового. Взгляд мистера Гаппи тоже возвращается к исходной точке и встречается со взглядом мистера Смоллуида. Приветливый старец все еще лепечет, как заведенный механизм, завод которого скоро кончится: «Как поживаете, сэр... как вы... как...» Но вот завод кончился, и старик, запнувшись, ухмыляется молча, а мистер Гаппи вздрагивает, заметив мистера Талкингхорна, который стоит в темном углу напротив, заложив руки за спину.

— Этот джентльмен был так добр, что согласился взять на себя хлопоты по моим делам,— говорит дедушка Смоллуид.— Я неподходящий клиент для столь прославленного юриста, но он такой любезный!

Мистер Гаппи слегка подталкивает локтем приятеля, побуждая его еще раз оглянуться кругом, и суетливо кланяется мистеру Талкингхорну, который отвечает легким кивком. Мистер Талкингхорн смотрит перед собой с таким видом, словно ему нечего делать и даже, пожалуй, немного забавно видеть нечто для него новое.

— Тут, наверное, много всякого добра, сэр,— говорит мистер Гаппи мистеру Смоллуиду.

— Да все больше хлам и тряпье, дорогой мой друг! Хлам и тряпье! Мы с Бартом и моей внучкой Джуди стараемся сделать опись того, что годится для продажи. Но пока что набрали немного; мы... набрали... не... много... ха!

Завод мистера Смоллуида опять кончился; тем временем взгляд мистера Уивла, сопровождаемый взглядом мистера Гаппи, снова обежал комнату и вернулся к исходной точке.

— Ну, сэр,— говорит мистер Уивл,— мы больше не станем вам докучать, так позвольте нам пройти наверх.

— Куда угодно, дорогой сэр, куда угодно! Вы у себя дома. Будьте как дома, прошу вас!

Торопясь наверх, мистер Гаппи вопросительно поднимает брови и смотрит на Тони. Тони качает головой. Войдя в его прежнюю комнату, они видят, что она все такая же мрачная и зловещая, а под заржавленной каминной решеткой все еще лежит пепел от угля, горевшего в ту памятную ночь. Приятелям очень не хочется ни к чему прикасаться, и, прежде чем дотронуться до какой-нибудь вещи, они тщательно сдувают с нее пыль. Вообще у них нет ни малейшего желания задерживаться здесь, поэтому они спешат поскорей уложить скудное движимое имущество Тони и, не решаясь говорить громко, только перешептываются.

— Смотри! — говорит Тони, отшатываясь.— Опять эта ужасная кошка... лезет сюда!

Мистер Гаппи прячется за кресло.

— Мне про нее Смолл говорил. В ту ночь она прыгала и кидалась на все и всех, рвала что попало когтями, как сущий дракон, потом забралась на крышу, недели две там шаталась и, наконец, шлепнулась вниз через дымовую трубу, худая, как скелет. Видал ты такую бестию? Смотрит, как будто все понимает, правда? Точь-в-точь, как сам Крук! Брысь! Пошла вон, ведьма!

Стоя в дверях, хвост трубой и по-тигриному разинув пасть от уха до уха, Леди Джейн, как видно, не намерена повиноваться; но тут входит мистер Талкингхорн и спотыкается о нее, а она фыркает на его поношенные

брюки, злобно шипит, и, выгнув спину дугой, мчится вверх по лестнице. Может быть, ей опять захотелось побродить по крышам и вернуться домой через дымовую трубу.

— Мистер Гаппи, можно сказать вам несколько слов? — осведомляется мистер Талкингхорн.

Мистер Гаппи занят — он снимает со стены гравюры из «Галереи Звезд Британской Красоты» и укладывает эти произведения искусства в старую замызганную шляпную картонку.

— Сэр,— отвечает он, краснея,— я стремлюсь обходиться вежливо со всеми юристами и особенно, смею заверить, с таким знаменитым, как вы... добавлю искренне, сэр,— со столь прославленным, как вы. Тем не менее, мистер Талкингхорн, если вы желаете сказать мне несколько слов, сэр, я могу выслушать вас лишь при том условии, что вы скажете их в присутствии моего друга.

— Вот как? — говорит мистер Талкингхорн.

— Да, сэр. У меня есть на то причины — отнюдь не личного характера, но мне они представляются вполне уважительными.

— Бесспорно, бесспорно.— Мистер Талкингхорн совершенно невозмутим, точь-в-точь каменная плита перед камином, к которому он неторопливо подошел.— Но дело это не столь важное, мистер Гаппи, чтобы вы из-за меня трудились ставить какие-то условия.— Он делает паузу и усмехается, а усмешка у него такая же тусклая и потертая, как его брюки.— Вас можно поздравить, мистер Гаппи; вы удачливый молодой человек, сэр.

— Похоже на то, мистер Талкингхорн; я не жалуюсь.

— Какие тут жалобы!.. Великосветские друзья, свободный вход в знатные дома, доступ к элегантным леди! В Лондоне найдется немало людей, которые дали бы уши себе отрезать, лишь бы очутиться на вашем месте, мистер Гаппи.

Мистер Гаппи отвечает с таким видом, словно он сам дал бы себе отрезать свои все гуще и гуще краснеющие уши, только бы сейчас сделаться одним из этих людей и перестать быть самим собой:

— Сэр, если я занимаюсь своим делом и выполняю все, что от меня требуется у Кенджа и Карбоя, то мои

друзья и знакомые не должны интересовать ни моих хозяев, ни любых других юристов, в том числе мистера Талкингхорна. Я не обязан давать более подробные объяснения, и при всем моем уважении к вам, сэр, и, не в обиду будь сказано... повторяю, не в обиду будь сказано...

— Ну, конечно!

— ...я вообще не желаю давать никаких объяснений.

— Так, так...— отзывается мистер Талкингхорн, невозмутимо кивая головой.— Прекрасно... Я вижу по этим портретам, что вы весьма интересуетесь высшим светом, сэр?

С этими словами он обращается к удивленному Тони, и тот признает справедливость этого обвинения, впрочем не очень тяжкого.

— Это похвально и свойственно большинству англичан,— отмечает мистер Талкингхорн.

Все это время он стоял на предкаминной плите спиной к закопченному камину, а теперь оглядывается вокруг, приложив к глазам очки.

— Кто это? «Леди Дедлок». Хм! В общем, очень похожий портрет, но недостаточно выразительно передана сила характера. Всего доброго, джентльмены, всего доброго!

После его ухода мистер Гаппи, обливаясь потом, собирается с силами и спешит снять со стен последние портреты из «Галереи Звезд Британской Красоты», причем леди Дедлок он снимает под самый конец.

— Тони, давай-ка поскорей уложим вещи и вон отсюда,— возбужденно говорит он своему изумленному товарищу.— Не стоит больше скрывать от тебя, Тони, что с одной из представительниц этой лебединой стаи аристократок — той самой, чей портрет я сейчас держу в руках, у меня когда-то бывали тайные встречи и беседы. Могло наступить такое время, когда я мог бы открыть все это тебе. Но оно никогда не наступит. Данная мною клятва, поверженный кумир, а также не зависящие от меня обстоятельства требуют, чтобы все это было предано забвению. Я прошу тебя как друг, во имя твоего интереса к светской хронике и в память о тех небольших займах, которыми я, возможно, помогал тебе, предай все это забвению, не задав мне ни единого вопроса!

Эту просьбу мистер Гаппи высказывает в состоянии, близком к умопомешательству на почве юриспруденции, а душевное смятение его друга проявляется во всей его шевелюре и даже в холеных бакенбардах.

## ГЛАВА XL

### *Дела государственные и дела семейные*

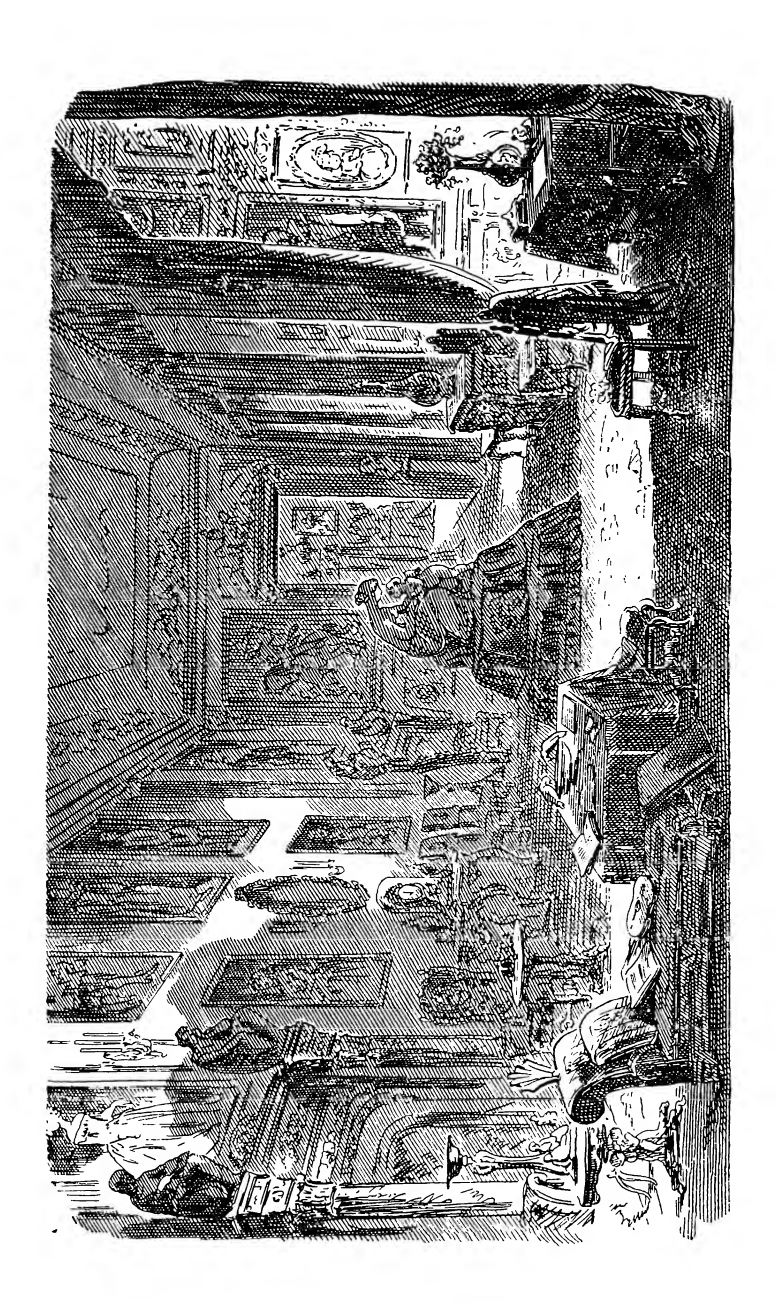
Не одну неделю находится Англия в ужасном состоянии. Лорд Кудл подал в отставку, сэр Томас Дудл не пожелал принять пост, а так как, кроме Кудла и Дудла, во всей Великобритании не было никого (о ком стоило бы говорить), то в ней не было и правительства. К счастью, поединок между этими великими людьми, одно время казавшийся неминуемым, не состоялся,— ведь если бы оба пистолета выстрелили и Кудл с Дудлом укокошили один другого, Англии, надо думать, пришлось бы дожидаться правительства до тех пор, пока не вырастут маленький Кудл и маленький Дудл, ныне бегающие в платьицах и длинных чулках. Но это грозное национальное бедствие предотвратил лорд Кудл, который вовремя спохватился и признал, что, выражая в пылу полемики ненависть и презрение ко всей позорной деятельности сэра Томаса Дудла, он хотел сказать только то, что партийные разногласия никогда не помешают ему воздать этой деятельности дань самого горячего восхищения; с другой стороны, как весьма своевременно выяснилось, сэр Томас Дудл в глубине души считает лорда Кудла воплощением доблести и чести, каковым он и останется в памяти потомства. И все же Англия не одну неделю находилась в гнетуще затруднительном положении, так как не имела кормчего (по удачному выражению сэра Лестера Дедлока), способного бороться со штормом; хотя сама Англия, как ни странно, по-видимому, не очень беспокоилась, а продолжала есть и пить, сочетаться браком и выдавать замуж, как и во времена допотопной древности. Но Кудл видел опасность, и Дудл видел опасность, и все их сторонники и приспешники совершенно

ясно предвидели опасность. Наконец сэр Томас Дудл не только соблаговолил принять пост, но сделал это, что называется, на широкую ногу, притащив с собой и приняв на службу всех своих племянников, всех своих двоюродных братьев и всех своих зятьев. Таким образом, надежда для старого корабля еще не потеряна.

И вот Дудл решил, что пора ему воззвать к стране — преимущественно в виде соверенов и пива. Перевоплотившись в то и другое, он доступен во множестве мест сразу и сам может взывать к значительной части населения одновременно. Сейчас Британия ревностно прикарманивает Дудла в виде соверенов и проглатывает Дудла в виде пива, клянясь до исступления, что не делает ни того, ни другого,— только стремится к вящему расцвету своей славы и укреплению нравственности,— а лондонский сезон внезапно заканчивается, так как все дудлисты и кудлисты разъезжаются, чтобы помочь Британии, занятой священнодействием выборов в парламент.

Поэтому домоправительница Дедлоков миссис Раунсуэлл,— хоть она и не получила никаких приказаний,— предвидит, что в Чесни-Уолд скоро приедут господа вместе с немалой толпой родственников и других лиц, способных так или иначе содействовать важному делу, предусмотренному конституцией. И поэтому величавая старуха, схватив Время за вихор, водит его вверх и вниз по лестницам, по галереям, коридорам и комнатам, дабы оно теперь же — пока не успеет еще немного постареть,— удостоверилось, что все приведено в порядок: полы натерты до блеска, ковры разостланы, из драпировок выбита пыль, постели оправлены, подушки взбиты, кладовые и кухни вымыты и готовы к услугам, словом, весь дом имеет тот вид, какой подобает достоинству его хозяев — Дедлоков.

Сегодня, в этот летний вечер, приготовления оканчиваются к закату солнца. Печальным и торжественным кажется старый дом, где жить очень удобно, но нет обитателей, если не считать портретов на стенах. «И они приходили и уходили,— мог бы сказать в раздумье какой-нибудь ныне здравствующий Дедлок, проходя мимо этих портретов; и они видели эту галерею такой же безлюдной и безмолвной, какой я вижу ее сейчас; и они



воображали, как воображаю я, что пусто станет в этом поместье, когда они уйдут; и им трудно было поверить, как трудно мне, что оно может обходиться без них; и они сейчас исчезли для меня, как я исчез для них, закрыв за собой дверь, которая захлопнулась с шумом, гулко раскатившимся по дому; и они преданы равнодушному забвению; и они умерли».

Но вот запылали стекла окон, выходящих на запад, прекрасные, когда на них смотришь снаружи, и в этот закатный час словно вставленные не в тусклый серый камень, а в сверкающий золотой чертог, и свет, погаснув в остальных окнах, хлынул внутрь, богатый, щедрый, и затопил комнаты, как летнее изобилие затопляет поля. И тогда начинают оттаивать застывшие Дедлоки. Странно оживают их черты, когда тени листьев шевелятся в галерее. Надутый судья в углу, увлекшись, невольно подмигивает. У баронета — с тупо вытаращенными глазами и жезлом в руке — появляется ямочка на подбородке. В грудь каменной пастушки проникает луч света и тепла, и будь это сто лет назад, он мог бы ее согреть. Прабабушка Волюмнии в туфлях на высоких каблучках и очень похожая на правнучку (лицо прабабки за целых два века предсказало появление на свет этой девственницы), испускает сияние, уподобляясь святой в ореоле. Фрейлина Карла Второго * с большими круглыми глазами (и прочими прелестями под стать глазам) словно купается в пылающих водах, что, пылая, струятся.

Но пламя солнца гаснет. Полы уже во мгле, и тень медленно ползет вверх по стене, разя Дедлоков, как старость и смерть. И вот на портрет миледи, висящий над огромным камином, падает вещая тень какого-то старого дерева, и портрет бледнеет, трепещет, и чудится, будто чья-то огромная рука держит не то покрывало, не то саван, ожидая случая набросить его на миледи. Все темнее становится тень, все выше она поднимается по стене... вот уже потолок окутан красноватым сумраком... вот огонь погас.

Вся перспектива парка, с террасы казавшаяся такой близкой, торжественно отошла куда-то вдаль и преобразилась, как многие из тех красот, что кажутся нам столь же близкими и так же преобразятся, обратившись в да-

лекий призрак. Поднимаются легкие туманы, падает роса, и воздух тяжек от сладостных благоуханий сада. Вот, превращаясь в огромные лесные массивы, сливаются друг с другом рощи, и каждая стала как бы одним густолиственным деревом. Вот, разлучая деревья, всходит луна и, постелив между стволами светлые дорожки, мостит светом аллею под высокими, как в соборе, причудливо изломанными сводами.

А теперь луна стоит уже высоко, и огромный дом, попрежнему безлюдный, напоминает тело, покинутое жизнью. Теперь, прокрадываясь по комнатам, жутко думать даже о живых людях, которые когда-то спали в этих уединенных опочивальнях, а об умерших — тем более. Теперь настало время теней, когда каждый угол кажется пещерой, каждая ступенька вниз — ямой; когда цветные стекла в окнах отбрасывают на пол бледные, блеклые пятна; когда толстые балки на лестнице можно принять за что угодно и за все на свете, только не за балки; когда тусклые отблески падают на доспехи, и не поймешь, отблески это падают или доспехи, крадучись, движутся, а в шлемах с опущенными забралами мерещатся страшные головы. Но из всех теней в Чесни-Уолде тень на портрете миледи в продолговатой гостиной ложится первой и уползает последней. В этот поздний час, при лунном свете, тень походит на зловещие руки, поднятые вверх и с каждым дуновением ветра угрожающие прекрасному лицу.

— Ей нехорошо, сударыня,— говорит один из грумов в приемной миссис Раунсуэлл.

— Миледи нездорова? Что с ней такое?

— Да миледи все время прихварывает, сударыня, с тех самых пор, как в последний раз приезжала сюда,— не со всей родней приезжала, сударыня, но одна; я говорю о том, когда она сюда заглянула, так сказать, вроде перелетной птицы. Миледи выходит из дома реже, чем всегда, и подолгу сидит у себя в покоях.

— В Чесни-Уолде, Томас, миледи поправится! — говорит домоправительница с гордым самодовольством.— Лучшего воздуха и более здоровой местности во всем свете не сыщешь!

Насчет этого Томас, возможно, придерживается собственных взглядов и, пожалуй, даже по-своему намекает

на них, приглаживая лоснящиеся волосы от затылка к вискам, но высказаться яснее не хочет и уходит в людскую подкрепиться холодным мясным паштетом и элем.

Этот грум — рыба-лоцман, плывущая впереди более благородной рыбы, акулы. На следующий вечер прибывают сэр Лестер и миледи, и с ними их свита в полном составе, а родственники и другие гости съезжаются со всех четырех сторон. С этого дня и в течение нескольких недель по тем областям страны, к которым Дудл взывает в виде золотого и пивного ливня, какие-то таинственные личности без громких имен носятся с деловитым видом, хотя все они просто-напросто беспокойные натуры и никогда ничего не делают, где бы они ни были.

Сэр Лестер находит, что во время событий государственного значения родственники приносят пользу. У достопочтенного Боба Стейблса нет соперников в искусстве занимать охотников за обедом. У прочих родственников нет соперников в уменье объезжать избирательные участки и трибуны и распинаться за интересы Англии. Волюмния немножко бестолкова, но породиста, и многие ценят ее бойкую болтовню и французские каламбуры, такие старые, что в круговороте времен они приобрели прелесть новизны, многие дорожат честью вести обольстительную Дедлок к столу и даже привилегией танцевать с нею. Когда совершаются события государственного значения, патриотическому делу можно послужить и танцами, и Волюмния неустанно пляшет ради неблагодарного отечества, отказавшего ей в пенсии.

Миледи не очень старается занимать толпу гостей и, все еще чувствуя недомогание, обычно выходит из своих покоев только во второй половине дня. Но на всех унылых обедах и гнетущих завтраках, на балах, словно скованных взглядом василиска *, и на прочих тоскливых празднествах уже одно ее появление вносит приятное разнообразие. Что касается сэра Лестера, ему и в голову не приходит, что те, кому посчастливилось быть принятыми в его доме, могут хоть в чем-нибудь нуждаться, и, пребывая в состоянии божественного удовлетворения, он вращается в обществе гостей, напоминая великолепный холодильник.

День за днем родственники трусят по пыли и скачут по придорожному дерну, объезжая избирательные участки и трибуны (в кожаных рукавицах и с арапниками, когда снуют по деревням, и в лайковых перчатках и с хлыстиками, когда снуют по городкам), и день за днем привозят донесения, по поводу которых сэр Лестер разглагольствует после обеда. День за днем эти беспокойные люди, обычно не имеющие решительно никаких занятий, кажутся по горло занятыми. День за днем Волюмния по-родственному болтает с сэром Лестером о положении нации, и сэр Лестер склоняется к выводу, что Волюмния вдумчивей, чем он полагал.

— Как наши дела? — спрашивает Волюмния, сжимая руки.— *Все ли* у нас благополучно?

Грандиозная кампания теперь уже почти закончилась, и через несколько дней Дудл перестанет взывать к стране. Сэр Лестер отобедал и только что появился в продолговатой гостиной — яркая звезда, сверкающая сквозь тучи родственников.

— Волюмния,— ответствует сэр Лестер, держа в руках какой-то список,— наши дела идут сносно.

— Только сносно!

Настало лето, и погода теплая, но по вечерам специально для сэра Лестера топят камин. Сэр Лестер садится на свое любимое место, отгороженное экраном от камина, и очень решительным, но чуть-чуть недовольным тоном — словно желая сказать: «*Я не* обыкновенный человек, и если говорю «сносно», это слово не следует понимать в его обычном значении»,— повторяет:

— Волюмния, наши дела идут сносно.

— *У вас-то,* во всяком случае, нет противников,— уверенно говорит Волюмния.

— Да, Волюмния. Наша обезумевшая страна, как это ни печально, во многих отношениях утратила здравый смысл, но...

— Все-таки еще не настолько свихнулась, чтобы дойти до этого. Приятно слышать!

Удачно закончив фразу сэра Лестера, Волюмния вернула себе его благосклонность. Сэр Лестер, милостиво наклонив голову, как будто говорит себе: «В общем, она неглупая женщина, хотя порой говорит не подумав».

И в самом деле, обольстительная Дедлок совершенно напрасно подняла вопрос о противниках — ведь на всех выборах сэр Лестер неизменно выставляет свою кандидатуру, как своего рода крупный оптовый заказ, который следует выполнить срочно. Два других принадлежащих ему парламентских места он считает как бы розничными заказами меньшего значения и просто направляет своим «поставщикам» угодных ему кандидатов с приказанием: «Будьте любезны изготовить из этих материалов двух членов парламента и по выполнении заказа прислать их на дом».

— Должен признать, Волюмния, что во многих местах народ, к прискорбию, выказал дурное умонастроение и на этот раз оппозиция правительству носила самый решительный и неукротимый характер.

— Пр-роходимцы! — бормочет Волюмния.

— Больше того,— продолжает сэр Лестер, окидывая взором родственников, расположившихся кругом на диванах и оттоманках,— больше того, даже во многих местах, точнее, почти во всех тех местах, где правительство одержало победу над некоей кликой...

(Заметим кстати, что кудлисты всегда обзывают дудлистов «кликой», а дудлисты платят тем же кудлистам.)

— ...даже в этих местах, как я вынужден сообщить вам с краской стыда за англичан, наша партия восторжествовала лишь ценою огромных затрат. Сотни,— уточняет сэр Лестер, оглядывая родственников со все возрастающим достоинством и обостряющимся негодованием,— сотни тысяч фунтов пришлось истратить!

Есть у Волюмнии небольшой грешок — слишком она наивна, а наивность очень идет к детскому платьицу с широким кушаком и нагрудничку, но как-то не вяжется с румянами и жемчужным ожерельем. Так или иначе Волюмния по наивности вопрошает:

— Истратить? На что?

— Волюмния! — с величайшей суровостью выговаривает ей сэр Лестер.— Волюмния!

— Нет, нет, я не хотела сказать «на что»,— спешит оправдаться Волюмния, взвизгнув по привычке.— Какая я глупая! Я хотела сказать: «Очень грустно!»

— Я рад,— отзывается сэр Лестер,— что вы хотели сказать: «Очень грустно».

Волюмния спешит высказать убеждение, что этих противных людей необходимо судить как предателей и силой заставить их поддерживать «нашу партию».

— Я рад, Волюмния,— повторяет сэр Лестер, не обращая внимания на эту попытку умаслить его,— что вы хотели сказать: «Очень грустно». Конечно, это позор для избирателей. Но раз уж вы, хоть и нечаянно, хоть и не желая задать столь неразумный вопрос, спросили меня: «На что?» — позвольте мне вам ответить. На неизбежные расходы. И, полагаясь на ваше благоразумие, Волюмния, я надеюсь, что вы не будете говорить на эту тему ни здесь, ни в других местах.

Обращаясь к Волюмнии, сэр Лестер считает своим долгом сохранять суровое выражение лица, так как в народе поговаривают, будто примерно в двухстах петициях по поводу выборов эти «неизбежные расходы» будут откровенно и бесцеремонно названы «подкупом», а некоторые безбожные шутники уже предложили исключить из церковной службы обычную молитву «за парламент» и посоветовать прихожанам вместо этого молиться за шестьсот пятьдесят восемь джентльменов *, «болящих и недугующих».

— Я думаю,— снова начинает Волюмния, оправившись, после небольшой передышки, от недавней экзекуции,— я думаю, мистер Талкингхорн заработался до смерти.

— Не знаю, с какой стати мистеру Талкингхорну зарабатываться до смерти,— возражает сэр Лестер, открывая глаза.— Я не знаю, чем занят мистер Талкингхорн. Он не выставлял своей кандидатуры.

Волюмния полагает, что его услугами пользовались. Сэр Лестер желает знать, кто пользовался и для чего именно? Волюмния, вторично посрамленная, предполагает, что кто-нибудь... для консультации и устройства дел. Сэр Лестер не имеет понятия, нуждался ли какой-нибудь клиент мистера Талкингхорна в услугах своего поверенного.

Леди Дедлок, сидя у открытого окна и облокотившись на подушку, лежащую на подоконнике, не отрывает глаз

от вечерних теней, падающих на парк, но с тех пор как заговорили о поверенном, она как будто начинает прислушиваться к беседе.

Один из родственников, томный, усатый кузен, развалившийся на диване в полном изнеможении, сообщает, что кто-то сказал ему вчега, будто Талкингхогн ездил в эти, как их... железные области... на консультацию п'какому-то де'у, и раз уж дгака сегодня закончилась, вот было бы здогово, явись он с известием, что кандидата кудлистов пгговалили с тггеском.

Меркурий, разнося кофе, докладывает сэру Лестеру, что приехал мистер Талкингхорн и сейчас обедает. Миледи на мгновение оборачивается, потом снова начинает смотреть в окно.

Волюмния счастлива, что ее Любимец здесь. Он такой оригинал, такой солидный господин, такой поразительный человек, который знает столько всякой всячины, но никогда ни о чем не рассказывает! Волюмния убеждена, что он франкмасон *. Наверное, он возглавляет какую-нибудь ложу,— наденет короткий фартук, и все ему поклоняются, словно идолу, а вокруг все свечи, свечи и лопаточки. Все эти бойкие фразы обольстительная Дедлок пролепетала, как всегда, ребяческим тоном, продолжая вязать кошелек.

— С тех пор как я сюда приехала,— добавляет Волюмния,— он ни разу здесь не был. Я уж стала побаиваться, не разбилось бы у меня сердце по милости этого ветреника. Готова даже была подумать, уж не умер ли он?

Быть может, это сгустился вечерний мрак, а может быть, еще более густой мрак окутал душу миледи, но лицо ее потемнело, как будто она подумала: «О, если бы так было!»

— Мистер Талкингхорн,— говорит сэр Лестер,— всегда встречает радушный прием в нашем доме и всегда ведет себя корректно, где бы он ни был. Весьма достойный человек, всеми уважаемый, и — вполне заслуженно.

Изнемогающий кузен предполагает, что он «чу'овищно богатый с'бьект».

— У него, без сомнения, есть состояние,— отзывается сэр Лестер.— Разумеется, платят ему щедро, и в высшем обществе он принят почти как равный.

Все вздрагивают — где-то близко грянул выстрел.

— Господи, что это? — восклицает Волюмния, негромко взвизгнув.

— Крысу убили,— отвечает миледи.

Входит мистер Талкингхорн, а за ним следуют Меркурии с лампами и свечами.

— Нет, нет, не надо,— говорит сэр Лестер.— А впрочем, вы, может быть, не расположены сумерничать, миледи?

Напротив, миледи это очень любит.

— А вы, Волюмния?

О! Ничто так не прельщает Волюмнию, как сидеть и разговаривать в темноте.

— Так унесите свечи,— приказывает сэр Лестер.— Простите, Талкингхорн, я с вами еще не поздоровался. Как поживаете?

Мистер Талкингхорн входит, как всегда, неторопливо и непринужденно; кланяется на ходу миледи, пожимает руку сэру Лестеру, подходит к столику, за которым баронет обычно читает газеты, и опускается в кресло, которое занимает, когда хочет что-нибудь сообщить. Сэр Лестер опасается, как бы миледи не простудилась у открытого окна — ведь она не совсем здорова. Миледи очень признательна ему, но ей хочется сидеть у окна, чтобы дышать свежим воздухом. Сэр Лестер встает, поправляет на ней шарф и возвращается на свое место. Тем временем мистер Талкингхорн берет понюшку табаку.

— Ну, как проходила предвыборная борьба? — осведомляется сэр Лестер.

— Неудачно с самого начала. Не было ни малейшей надежды. Они провели обоих своих кандидатов. Вас разгромили. Три голоса против одного.

Мастерски владея уменьем жить, мистер Талкингхорн вменил себе в обязанность не иметь политических убеждений, точнее — *никаких* убеждений. Поэтому он говорит «вас» разгромили.

Сэр Лестер обуян величественным гневом. Волюмния в жизни не слыхивала ничего подобного. Изнемогающий кузен бормочет, что это... неизбежно, газ... чегни... газгешают голосовать...

— И, заметьте, это в том самом месте,— продолжает в быстро сгущающейся темноте мистер Талкингхорн,

когда снова водворяется тишина,— в том самом месте, где сыну миссис Раунсуэлл предлагали выставить свою кандидатуру.

— Но у него хватило такта и ума отклонить это предложение, как вы уведомили меня в свое время,— говорит сэр Лестер.— Не могу утверждать, что я хоть сколько-нибудь одобряю взгляды, которые высказал мистер Раунсуэлл, пробыв около получаса в этой комнате; но его отказ был внушен ему правильным пониманием приличий, и я рад отметить это.

— Вы думаете? — отзывается мистер Талкингхорн.— Однако это не помешало ему принять очень активное участие в нынешних выборах.

Отчетливо слышно, как сэр Лестер охает.

— Так ли я вас понял? — говорит он.— Вы сказали, что мистер Раунсуэлл принимал очень активное участие в выборах?

— Исключительно активное.

— Против?..

— Ну да, конечно, против вас. Он превосходный оратор. Говорит просто и убедительно. Произвел сокрушительное впечатление и пользуется огромным влиянием. Деловой стороной выборов ведал он.

Все общество догадывается (хоть и не видит), что сэр Лестер величественно выкатил глаза.

— Ему усердно помогал его сын,— говорит мистер Талкингхорн в заключение.

— Его сын, сэр? — повторяет сэр Лестер ужасающе вежливым тоном.

— Его сын.

— Тот сын, что хотел жениться на девушке, которая прислуживает миледи?

— Тот самый. У него один сын.

— В таком случае, клянусь честью,— говорит сэр Лестер после угрожающей паузы, во время которой слышалось его сопенье и можно было догадаться, что он выкатил глаза,— в таком случае, клянусь честью, клянусь жизнью, клянусь своей репутацией и принципами, шлюзы общества прорваны, и паводок... э... сровнял с землей грани и подрыл основы системы, коей поддерживается порядок!

Общий взрыв возмущения в толпе родственников. Волюмния полагает, что теперь-то уж действительно пора, я вам скажу, кому-нибудь, кто стоит у власти, вмешаться и принять какие-нибудь решительные меры. Изнемогающий кузен полагает, что... стгана летит... во весь опог... к чегту на гога.

— Я прошу,— говорит сэр Лестер, задыхаясь,— я прошу прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Комментарии излишни. Миледи, относительно этой девушки позвольте мне посоветовать вам...

— Я не хочу расставаться с нею,— отзывается негромким, но твердым голосом миледи, не вставая со своего места у окна.

— Я не об этом говорю,— поясняет сэр Лестер.— В этом отношении я с вами согласен. Но раз вы находите, что она заслуживает вашего покровительства, вам следовало бы удержать ее своим влиянием от таких опасных знакомств. Вам следовало бы объяснить ей, какому насилию подвергнутся в подобном обществе ее чувства долга и принципы; и вы могли бы уберечь ее для лучшей жизни. Вы могли бы указать ей, что с течением времени она, вероятно, найдет себе в Чесни-Уолде мужа, который...— сэр Лестер на минуту задумывается и заключает: — который не отторгнет ее от алтарей ее праотцев.

Все это он произносит тем же неизменно вежливым и почтительным тоном, каким всегда говорит с женой. В ответ она только чуть заметно кивает. Всходит луна, и в окно, у которого сидит миледи, теперь льется маленький поток холодного бледного света, озаряющий ее голову.

— Следует заметить, однако,— говорит мистер Талкингхорн,— что эти люди по-своему очень горды.

— Горды?

Сэр Лестер не верит своим ушам.

— Я не удивился бы, если бы все они,— да и жених в том числе,— отреклись от этой девушки, не дожидаясь, пока она сама от них отречется, оставшись в Чесни-Уолде при создавшихся условиях.

— Ну что ж! — говорит сэр Лестер дрожащим голосом.— Ну что ж! Вам лучше знать, мистер Талкингхорн. Вы бывали в их среде.

— Уверяю вас, сэр Лестер, я только констатирую

факт,— говорит поверенный.— Впрочем, я мог бы рассказать по этому поводу одну историю... с разрешения леди Дедлок.

Она дает согласие, наклонив голову, а Волюмния приходит в восторг. История! О, наконец-то он что-то расскажет! Она надеется, что это история с привидениями?

— Нет. Это истинное происшествие.— Неожиданно изменив своему обычному бесстрастию и немного помолчав, мистер Талкингхорн повторяет с некоторым пафосом: — Это истинное происшествие, мисс Дедлок. Сэр Лестер, мне лишь недавно рассказали его во всех подробностях. История очень короткая. Она иллюстрирует то, о чем я говорил. Я не буду называть имен — пока. Надеюсь, леди Дедлок не сочтет меня за это дурно воспитанным человеком?

При свете угасающего огня видно, как он повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок, замершая у окна.

— У мистера Раунсуэлла есть один земляк,— тоже заводчик, как мне говорили,— и этому земляку выпало счастье иметь дочь, которая привлекла внимание некоей знатной леди. Подчеркиваю, что это была действительно знатная леди — знатная не только по сравнению с ним; словом, она была замужем за джентльменом, занимавшим такое же положение в свете, как вы, сэр Лестер.

Сэр Лестер снисходительно роняет: «Да, мистер Талкингхорн»,— выражая этим, что леди, о которой идет речь, вероятно, стояла на недосягаемой нравственной высоте в глазах какого-то «железных дел мастера».

— Леди была богата, красива, расположена к девушке, обращалась с нею очень ласково и всегда держала ее при себе. Надо, однако, сказать, что леди эта, при всей своей знатности, много лет скрывала одну тайну. Говоря точнее, она в юности собиралась выйти замуж за одного молодого повесу — армейского капитана,— который только портил жизнь себе и другим. Замуж она за него не вышла, но произвела на свет ребенка, отцом которого был он.

При свете пламени видно, как мистер Талкингхорн повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок в профиль, замершая у окна.

— Когда армейский капитан умер, она решила, что теперь ей нечего опасаться разоблачения; но целая цепь событий, которой мне незачем докучать вам, привела к тому, что тайное стало явным. Как мне передавали, все началось с ее собственной неосторожности — однажды она не сдержалась,— и это доказывает, как трудно даже самым сдержанным из нас (а она была очень сдержанна) постоянно быть начеку. Вы, конечно, представляете себе, какое смятение, какой переполох поднялись в ее семье; предлагаю вам, сэр Лестер, вообразить, как был потрясен ее супруг. Но сейчас не об этом речь. Когда земляк мистера Раунсуэлла услышал, какая раскрылась тайна, он запретил дочери пользоваться покровительством и расположением этой леди, как не потерпел бы, чтобы девушку растоптали у него на глазах. Так сильна была в нем гордость, что он с возмущением увез дочь из этого дома, очевидно считая, что жить в нем для нее позор и бесчестие. Он не понимал, какая честь оказана ему и его дочери благосклонностью этой леди... никак не мог понять. Ему было так же тяжело видеть свою дочь в доме этой леди, как если бы хозяйка его была из подонков общества. Вот и весь рассказ. Надеюсь, леди Дедлок извинит меня за то, что он носит столь печальный характер.

По поводу рассказа общество выражает различные мнения, более или менее не сходные с мнением Волюмнии. А это обольстительное юное создание никак не может поверить, что подобные леди существуют на свете, и считает, что вся эта история — чистейший вымысел. Большинство склонно разделить чувства изнемогающего кузена, выраженные в следующих немногих словах: «а... ну его к дьяволу... этого дугацкого... земляка Гаунсуэлла». Сэр Лестер мысленно возвращается к Уоту Тайлеру и воссоздает цепь событий по собственному усмотрению.

Вообще разговор что-то не клеится, да и немудрено — ведь с тех пор, как в других местах начались «неизбежные расходы», общество в Чесни-Уолде каждый день засиживалось до поздней ночи; а сегодня, впервые за много вечеров, в доме не было других гостей, кроме родственников. В одиннадцатом часу сэр Лестер просит мистера Талкингхорна позвонить, чтобы принесли свечи.

Теперь поток лунного света разлился в целое озеро, и теперь леди Дедлок в первый раз делает движение, встает и подходит к столу, чтобы выпить стакан воды. Родственники, как летучие мыши, вспугнутые ярким светом свечей, щурясь, подлетают к столу, чтобы подать ей стакан; Волюмния (которая всегда не прочь выпить чего-нибудь покрепче, если удастся) берет другой стакан и удовлетворяется очень маленьким глотком; леди Дедлок, изящная, сдержанная, провожаемая восторженными взорами, медленно идет по длинной анфиладе комнат рядом с Волюмнией, и контраст между ними отнюдь не в пользу сей нимфы.

## ГЛАВА XLI

### *В комнате мистера Талкингхорна*

Мистер Талкингхорн поднимается на башенку и входит в свою комнату, немного запыхавшись, хотя поднимался он не спеша. Лицо у него такое, словно он свалил с себя бремя какой-то огромной заботы и по-своему — бесстрастно — удовлетворен. Нельзя сказать, что он торжествует,— нет, для этого он слишком замкнут, слишком сурово и непреклонно подавил в себе все чувства,— и сказать это — все равно что заподозрить его в таких, например, грехах, как волнение, вызванное любовью, нежными чувствами или какой-нибудь романтической блажью. Он испытывает спокойное удовлетворение. Быть может, он только яснее прежнего сознает свою власть, когда, сжав одной жилистой рукой другую и заложив их за спину, прохаживается взад и вперед бесшумными шагами.

В комнате стоит вместительный письменный стол, заваленный бумагами. Зеленая лампа зажжена, очки для чтения лежат на пюпитре, к столу придвинуто кресло, словом, все имеет такой вид, как будто мистер Талкингхорн собирается провести перед сном час-другой за работой. Но сейчас ему, должно быть, не хочется работать. Он пробегает глазами самые неотложные бумаги, низко наклонившись над столом, ибо вечером старческое зрение

лишь с трудом разбирает и печатное и рукописное, потом открывает застекленную дверь и выходит на террасу с полом, обитым свинцом. По этой террасе он так же медленно прохаживается взад и вперед, остывая (если столь холодный человек вообще может остыть) после своего рассказа в гостиной.

Было время, когда люди, знавшие так же много, как мистер Талкингхорн, поднимались на башни при свете звезд и смотрели на небо, чтобы прочесть там свое будущее. В эту ночь небо усеяно мириадами звезд, но блеск их затмило яркое сиянье луны. Прохаживаясь мерным шагом взад и вперед по террасе, мистер Талкингхорн, может быть, ищет свою собственную звезду, а она, должно быть, очень неяркая звезда, если тот, кто представляет ее на земле, сам такой тусклый. Если же он пытается предугадать свою судьбу, то она, возможно, начертана другими письменами — не на небе, а гораздо ближе.

Он прогуливается по террасе, глядя вверх, но сейчас, должно быть, не видя ни неба, ни земли — так далеки от них его мысли,— и вдруг, проходя мимо окна, останавливается, заметив чьи-то глаза, впившиеся в него. Потолок в его комнате довольно низкий, а верхняя часть двери, расположенной против окна, застеклена. Вторая дверь, внутренняя, обита сукном, но он не закрыл ее, когда поднялся наверх, так как ночь очень теплая. Глаза, впившиеся в него, смотрят из коридора сквозь стекло. Они ему хорошо знакомы. Уже много лет кровь не бросалась ему в лицо так внезапно и не заливала его таким ярким румянцем, как в тот миг, когда он узнает леди Дедлок.

Он входит в комнату, входит и миледи, закрывая за собой обе двери. В ее глазах смятение чувств... Страх это или гнев? Но осанка ее и вообще весь вид совершенно такие же, как два часа назад, когда она была в гостиной.

Все-таки что же это — страх или гнев? Мистер Талкингхорн не может сказать наверное. Ведь и то и другое чувство способно вызвать такую бледность, достичь такой силы.

— Леди Дедлок!

Она отзывается не сразу; молчит и после того, как медленно опустилась в кресло у стола. Они смотрят друг на друга, недвижные, как два портрета.

— Зачем вы рассказали мою историю целой толпе?

— Леди Дедлок, мне нужно было дать вам понять, что я ее знаю.

— Как давно вы ее знаете?

— Я подозревал уже давно... но узнал наверное лишь недавно.

— Несколько месяцев назад?

— Несколько дней.

Он стоит перед нею, опустив одну руку на спинку кресла и заложив другую за старомодный жилет, под жабо, совершенно так же, как стоял перед нею всегда со дня ее замужества. Та же официальная вежливость, та же спокойная почтительность, под маской которой, быть может, таится вызов; тот же самый человек, загадочный, холодный, все такой же далекий, никогда не подходивший близко.

— Правда ли то, что вы говорили об этой бедной девушке?

Он немного наклоняет голову в ее сторону, как будто не вполне понимая ее вопрос.

— Вы же помните, о чем рассказывали. Это правда? Ее друзья тоже знают мою историю? Об этом уже говорит весь город? Пишут мелом на стенах, кричат на улицах?

Так! Гнев, страх и стыд. Все три чувства борются друг с другом. Как сильна эта женщина, если она может подавлять в себе эти бушующие страсти! Вот что думает мистер Талкингхорн, глядя на нее, и его косматые седые брови сдвигаются чуть ближе обычного под ее взглядом.

— Нет, леди Дедлок. Считайте мои слова гипотезой,— я предполагаю, что так может быть, и высказал это после того, как сэр Лестер, сам того не сознавая, отнесся столь высокомерно к моему рассказу. Но так оно и будет, если эти люди узнают... то, что знаем мы с вами.

— Значит, они еще не знают?

— Нет.

— Могу ли я спасти честь бедной девушки раньше, чем они узнают?

— Право же, леди Дедлок,— отвечает мистер Талкингхорн,— я не могу дать удовлетворительный ответ на этот вопрос.

Заинтересованный, он внимательно и с любопытством следит за ее внутренней борьбой и думает: «До чего эта женщина сильна, и как изумительно она владеет собой!»

— Сэр,— начинает она снова, всеми силами стараясь произносить слова отчетливо, ибо у нее дрожат губы.— Я выскажусь яснее. Я не оспариваю вашей гипотезы. Я все это предвидела, и когда встретилась здесь с мистером Раунсуэллом, не хуже вас поняла, что так оно и будет. Не сомневаюсь, что, если б он мог узнать, какая я на самом деле, бедная девушка показалась бы ему оскверненной тем, что она, хоть на мгновение, хоть помимо своей воли, была предметом моего высокого и благородного покровительства. Но я к ней расположена,— или, вернее, была расположена, ибо я уже не принадлежу к этому дому,— и если у вас хватит уважения к той женщине, которая сейчас в вашей власти, чтобы считаться с нею, она будет очень тронута вашим великодушием.

Мистер Талкингхорн слушает с глубоким вниманием, но отклоняет эту просьбу, самоуничижительно пожав плечами и еще ближе сдвинув брови.

— Вы подготовили меня к разоблачению, и за это я вам благодарна. Вы чего-нибудь требуете от меня? Может быть, я должна отречься от своих прав, может быть, я избавлю мужа от каких-нибудь обвинений или неприятностей, связанных с расторжением брачных уз, если удостоверю сейчас, что вы узнали правду? Я напишу все, что вы мне продиктуете; напишу здесь и немедленно. Я готова это написать.

«И напишет!» — думает юрист, заметив, как решительно она берет перо.

— Я не буду беспокоить вас, леди Дедлок. Пощадите себя, прошу вас.

— Вы же знаете, я давно ждала этого. Я не хочу щадить себя и не хочу, чтобы меня щадили. Хуже, чем вы поступили со мной, вы поступить не можете. Делайте же то, что вам осталось доделать.

— Леди Дедлок, делать ничего не нужно. Я позволю себе сказать несколько слов, когда вы кончите.

Казалось бы, им больше незачем следить друг за другом, но они все время следят, а звезды следят за ними, заглядывая в открытое окно. Далекие леса покоятся в

лунном свете, а просторный дом так же безмолвен, как тесная домовина. Тесная домовина! Где же теперь в эту тихую ночь тот могильщик, тот заступ, которым суждено добавить последнюю великую тайну ко многим тайнам жизни Талкингхорна? Родился ли тот человек? Выкован ли тот заступ? В летнюю ночь, под недреманными очами звезд, как-то странно думать об этих вопросах; а может быть, еще страннее — не думать.

— О раскаянии, или угрызениях совести, или вообще о своих чувствах я не скажу ни слова,— снова начинает леди Дедлок.— Если бы я и сказала, вы бы меня не услышали. Забудем об этом. Это не для ваших ушей.

Он делает вид, что хочет возразить, но она презрительно отмахивается.

— О другом, совсем о другом пришла я поговорить с вами. Мои драгоценности находятся там, где хранились всегда. Там их и найдут. А также мои платья. И все ценное, что мне принадлежит. Сознаюсь, я взяла с собой деньги, но немного. Я нарочно переоделась в чужое платье, чтобы не привлекать к себе внимания. Я ушла, чтобы отныне исчезнуть. Объявите об этом всем. Это моя единственная просьба к вам.

— Простите, леди Дедлок,— говорит мистер Талкингхорн совершенно невозмутимо.— Я, кажется, вас не совсем понимаю. Вы ушли?..

— Чтобы исчезнуть для всех, кто живет здесь. Этой ночью я покидаю Чесни-Уолд. Я ухожу сейчас.

Мистер Талкингхорн качает головой. Она поднимается, но он качает головой, не снимая одной руки со спинки кресла, а другой — со своего старомодного жилета и жабо.

— Что это значит? Я не должна уходить?

— Нет, леди Дедлок,— отвечает он очень спокойно.

— Вы знаете, каким облегчением для всех будет мой уход? Разве вы забыли, что этот дом осквернен, запятнан, забыли — чем и кем?

— Нет, леди Дедлок, вовсе не забыл.

Не удостоив его ответом, она подходит к внутренней двери и берется за нее рукой, но он вдруг говорит, не шевельнувшись и не повысив голоса:

— Леди Дедлок, будьте любезны задержаться здесь и выслушать меня, а не то я ударю в набатный колокол,

и не успеете вы дойти до лестницы, как я подниму на ноги весь дом. А тогда уж мне придется рассказать все начистоту при всех гостях и слугах, при всех людях в этом доме.

Он победил ее. Она пошатнулась, вздрогнула и в замешательстве схватилась за голову. Пожалуй, никто бы не придал этому особого значения; но когда человек, одаренный зрением, столь изощренным, как у мистера Талкингхорна, подмечает минутное колебание в женщине ее склада, он прекрасно знает этому цену.

Он спешит повторить:

— Будьте добры выслушать меня, леди Дедлок,— и указывает на кресло, с которого она встала.

Она колеблется, но он снова указывает на кресло, и она садится.

— Отношения наши сложились неудачно, леди Дедлок, но — не по моей вине, и потому я не буду извиняться. Вам отлично известно, какое положение я занимаю при сэре Лестере, и вы, несомненно, давно уже думали, что я как раз тот человек, который способен узнать вашу тайну.

— Сэр,— отзывается она, не поднимая глаз с пола, на который устремлен ее взгляд,— лучше бы мне было уйти. А вам лучше было бы меня не удерживать. Вот все, что я хочу сказать.

— Простите, леди Дедлок, но я попрошу вас выслушать еще кое-что.

— Если так, я хочу слушать у окна. Здесь нечем дышать.

Она идет к окну, а его бдительный взор отражает внезапно зародившееся опасение — уж не задумала ли она броситься вниз и, ударившись о выступ стены или карниза, разбиться насмерть, рухнув на нижнюю террасу? Но, быстро оглядев ее с головы до ног, в то время как она стоит у окна, ни на что не опираясь, и смотрит перед собой на звезды,— угрюмо смотрит не вверх, а вперед, на те звезды, что низко стоят на небе,— он успокаивается. Повернувшись в ее сторону, он становится позади нее.

— Леди Дедлок, я еще не решил, какой путь мне избрать,— не нашел такого решения, которое сам при-

знал бы правильным. Мне еще не ясно, что̀ мне следует делать и как поступать в дальнейшем. Пока же я прошу вас хранить тайну, как вы ее хранили до сих пор, и не удивляться, что и я храню ее.

Он делает паузу, но миледи не отзывается на его слова.

— Простите, леди Дедлок. Это важный вопрос. Вы изволите слушать меня внимательно?

— Да.

— Благодарю вас. Я мог бы не сомневаться в этом, зная силу вашего характера. Мне не следовало задавать этого вопроса, но я привык шаг за шагом нащупывать почву, по которой ступаю. Единственный человек, с которым нужно считаться в этих несчастных обстоятельствах,— это сэр Лестер.

— Так почему же,— спрашивает она негромко и не отрывая угрюмого взгляда от далеких звезд,— почему вы удерживаете меня в этом доме?

— Потому что *необходимо* считаться с сэром Лестером. Леди Дедлок, мне нет нужды говорить вам, что он очень горд; что доверие его к вам безгранично, и падение луны с неба не так ошеломило бы его, как ваше падение с той высоты, на которую он вознес вас, как свою супругу.

Она дышит быстро и тяжело, но стоит недвижно, такая же сдержанная, какой он видел ее в самом знатном кругу.

— Уверяю вас, леди Дедлок, что, если б не ваше прошлое, я скорее взялся бы одними своими силами — просто голыми руками — вырвать с корнем самое старое дерево в этом парке, чем расшатать ваше влияние на сэра Лестера или подорвать его доверие и уважение к вам. Даже теперь я колеблюсь. Не потому, что он усомнится в моих словах (нет, это невозможно даже для него), но потому, что удар будет для него неожиданным — ведь подготовить его не может никто.

— Даже мое бегство? — говорит она.— Подумайте об этом хорошенько.

— Ваше бегство, леди Дедлок, разгласит всю правду, вернее в сто раз раздутую правду, по всему свету. Ни на день нельзя будет сохранить честь рода. О бегстве и думать нечего.

В его ответе звучит спокойная убежденность, не допускающая возражений.

— Если я говорю, что сэр Лестер — единственный, с кем надо считаться, я хочу сказать, что его честь и честь рода — это одно целое. Сэр Лестер и баронетство, сэр Лестер и Чесни-Уолд, сэр Лестер, его предки и его родовое наследие,— мистер Талкингхорн произносит эти слова очень сухо,— неотделимы друг от друга, о чем мне излишне напоминать вам, леди Дедлок.

— Продолжайте!

— Из этого следует,— продолжает мистер Талкингхорн скучным голосом,— что мне нужно многое принять во внимание. Дело надо замять, если можно. А как это будет возможно, если сэр Лестер сойдет с ума или будет лежать на смертном одре? Если я нанесу ему удар завтра утром, как прикажете тогда объяснить людям, почему все случилось так внезапно? Чем это было вызвано? Отчего вы разошлись? Леди Дедлок, люди немедленно примутся писать мелом на стенах и кричать на улицах обо всем этом, и вы должны помнить, что это заденет не только вас (с вами я вовсе не могу считаться в данном случае), но и вашего супруга, леди Дедлок, вашего супруга.

Он говорит чем дальше, тем проще, но только не более выразительно и не более оживленным тоном.

— Есть и другая точка зрения,— продолжает он.— Сэр Лестер обожает вас чуть не до ослепления. Быть может, он не прозреет, даже если узнает то, что знаем мы с вами. Я допускаю крайность, но может случиться и так. А если так, лучше, чтобы он ничего не узнал... лучше потому, что — разумней, лучше для него, лучше для меня. Все это я должен учесть, и все эти обстоятельства в совокупности очень затрудняют решение.

Она стоит молча и смотрит все на те же звезды. Они уже бледнеют, и кажется, будто она застыла в неподвижности потому, что холод их оледенил ее тело.

— Мои наблюдения привели меня к выводу,— говорит мистер Талкингхорн, который теперь засунул руки в карманы и, как заведенная машина, продолжает высказывать свои соображения,— мои наблюдения, леди Дедлок, привели меня к выводу, что почти всем моим знакомым лучше было бы не вступать в брак. Три четверти их

горестей вызваны браком. Так подумал я, когда сэр Лестер женился, и так всегда думал с тех пор. Но довольно об этом. Теперь я должен руководиться обстоятельствами. Пока же прошу вас хранить молчание, и сам я тоже буду молчать.

— Неужели я день за днем должна влачить свою тяжкую жизнь, пока вы этого требуете? — спрашивает она, по-прежнему глядя на далекое небо.

— Да, боюсь, что так, леди Дедлок.

— Неужели я должна оставаться прикованной к месту, где меня ждет душевная пытка?

— Все, что я советую, необходимо,— в этом я уверен.

— Неужели мне придется стоять на этих роскошных подмостках, где я так долго играла жалкую роль обманщицы, и они рухнут подо мной, когда вы подадите знак? — медленно говорит она.

— Не без предупреждения, леди Дедлок. Я не предприму ничего, не известив вас заранее.

Все эти вопросы она задает таким тоном, как будто на память повторяет заученное или бредит во сне.

— И мы должны встречаться, как встречались?

— Только так, если позволите.

— И я по-прежнему должна скрывать свою вину, как скрывала ее столько лет?

— Как скрывали столько лет. Не мне говорить об этом, леди Дедлок, но я напомню вам, что ваша тайна не может тяготить вас больше, чем раньше, не может быть хуже или лучше, чем была. Правда, ее знаю *я;* но мы с вами, пожалуй, никогда не доверяли друг другу вполне.

Она еще некоторое время стоит все так же задумавшись, потом спрашивает.

— Вам нужно сказать мне еще что-нибудь?

— Видите ли,— отвечает педантичный мистер Талкингхорн, слегка потирая руки,— мне хотелось бы получить уверенность, что вы согласны на мое предложение, леди Дедлок.

— В этом вы можете быть уверены.

— Прекрасно. В заключение я хотел бы в качестве деловой меры предосторожности,— на случай, если вам придется рассказать сэру Лестеру о нашей встрече здесь,— я хотел бы напомнить, что, говоря с вами, я

заботился лишь о том, чтобы оградить самолюбие и честь сэра Лестера, а также честь его рода. Я был бы счастлив всячески оградить и леди Дедлок, если бы обстоятельства это допускали; но они этого, к сожалению, не допускают.

— Я могу засвидетельствовать вашу преданность, сэр.

Она все время стояла в задумчивости — и до того, как ответила, и после,— но в конце концов тронулась с места и теперь идет к выходу с невозмутимым видом, отчасти свойственным ей от рождения, отчасти благоприобретенным. Мистер Талкингхорн открывает перед нею обе двери совершенно так же, как он сделал бы это десять лет назад, и прощается с нею старомодным поклоном. Странный взгляд устремляет она на него и странным, хоть и едва заметным движением отвечает на его поклон, а затем ее прекрасное лицо исчезает в темноте. Да, думает он, оставшись один, эта женщина проявила необыкновенное самообладание.

Он еще больше убедился бы в этом, случись ему видеть, как эта женщина мечется по своим покоям, вся изогнувшись, точно от боли, закинув назад голову и заломив руки, стиснутые на затылке, а ее распустившиеся волосы развеваются у нее за спиной. Он еще больше бы в этом уверился, если б увидел, как эта женщина часами быстро ходит взад и вперед, без передышки, не зная усталости, и шагам ее вторят неизменные шаги на Дорожке призрака. Но он закрывает окно, преграждая доступ похолодавшему воздуху, и, задернув оконные занавески, ложится в постель и засыпает. А когда звезды гаснут и бледный рассвет, заглядывая в башенку, видит его лицо, такое старое, каким оно никогда не бывает днем, поистине чудится, будто могильщик с заступом уже вызван и скоро начнет копать могилу.

Тот же бледный рассвет заглядывает к сэру Лестеру, который прощает в величаво-снисходительном сне свою кающуюся родину, заглядывает к бедным родственникам, которые видят себя во сне занятыми на государственной службе, главным образом — получением жалования; заглядывает к целомудренной Волюмнии, которой снится, будто она принесла приданое в пятьдесят тысяч фунтов противному старику генералу, обладателю вставных зубов, которых у него полон рот — ни дать ни взять рояль, пре-

избыточно снабженный клавишами,— генералу, давно уже вызывающему восхищение в Бате и ужас в других местах. Заглядывает он и в мансарды под крышами, и в людские на дворе, и в каморки над конюшнями, где спящим снятся более непритязательные сны, например — о блаженстве в сторожке или законном браке с Уиллом или Салли. Но вот восходит яркое солнце и поднимает всё и вся: Уиллов и Салли; испарения, дотоле таившиеся в земле; поникшие листья и цветы; птиц, зверей и ползучих тварей; садовников, которые будут сейчас подметать росистый газон и, укатывая его катком, развертывать позади себя свиток изумрудного бархата; дым, который чуть-чуть вьется, выползая из огромного кухонного очага, потом выпрямляется и стоит столбом в пронизанном светом воздухе. Последним поднимается флаг над головой спящего мистера Талкингхорна, весело возвещая, что сэр Лестер и леди Дедлок пребывают в своем счастливом доме и что в линкольнширском поместье принимают гостей.

## ГЛАВА XLII

### *В конторе мистера Талкингхорна*

Покинув зеленые холмы и раскидистые дубы дедлоковского поместья, мистер Талкингхорн возвращается в зловонный, жаркий и пыльный Лондон. Каким образом он перебирается оттуда сюда, потом обратно — неизвестно; это одна из его непроницаемых тайн. В Чесни-Уолде он появляется с таким видом, словно от его конторы до этой усадьбы рукой подать, а в своей конторе — словно и не покидал Линкольновых полей. Перед поездкой он не переодевается, а вернувшись, не рассказывает о том, как съездил. Сегодня утром он исчез из своей комнаты в башенке так же незаметно, как сейчас, в поздних сумерках, появляется на Линкольновых полях.

Словно пыльная лондонская птица, что устраивается на ночь вместе с другими птицами на этих приятных полях, где все овцы пошли на пергамент, козы — на парики, а пастбище вытоптано и превратилось в пустырь,

мистер Талкингхорн, этот сухарь, этот увядший человек, который живет среди людей, но не желает с ними знаться, который состарился, не изведав веселой юности, и так давно привык вить свое тесное гнездо в тайниках и закоулках человеческой души, что начисто позабыл о ее прекрасных просторах,— мистер Талкингхорн не спеша возвращается домой. Раскалена мостовая, раскалены все здания, а сам он сегодня так пропекся в этой печи, что почти совсем высох, и его жаждущая душа мечтает о выдержанном полувековом портвейне.

Фонарщик, быстро перебирая ногами, спускается и поднимается по стремянке на той стороне Линкольновых полей, где живет мистер Талкингхорн, а этот верховный жрец, ведающий аристократическими таинствами, входит в свой скучный двор. Он уже поднялся на крыльцо, но еще не успел войти в полутемный вестибюль, как вдруг сталкивается на верхней ступеньке с низеньким человеком, который подобострастно кланяется ему.

— Это вы, Снегсби?

— Да, сэр. Надеюсь, вы здоровы, сэр? Я вас тут жду не дождусь, сэр, и собрался было уходить домой.

— Вот как? А в чем дело? Что вам от меня нужно?

— Изволите видеть, сэр,— отвечает мистер Снегсби, сняв шляпу, но держа ее у головы в знак почтения к своему лучшему заказчику,— я хотел бы сказать вам словечко-другое, сэр.

— Можете вы сказать его здесь?

— Безусловно, сэр.

— Тогда говорите.

Юрист оборачивается и, облокотившись на железные перила, ограждающие площадку крыльца, смотрит на фонарщика, который зажигает фонари во дворе.

— Это насчет...— начинает мистер Снегсби таинственным полушепотом,— насчет... говоря напрямик, иностранки, сэр.

Мистер Талкингхорн удивленно смотрит на него.

— Какой иностранки?

— Иностранки, сэр. Француженки, если не ошибаюсь. Сам-то я не знаю ихнего языка, но по ее манерам и виду догадался, что она француженка; во всяком случае, безусловно иностранка. Та самая, что была у вас наверху,

сэр, когда мы с мистером Баккетом имели честь явиться к вам в ту ночь и привести подростка-метельщика.

— А! Да-да. Мадемуазель Ортанз.

— Так ее зовут, сэр? — Мистер Снегсби, прикрыв рот шляпой, покорно покашливает.— Сам я, вообще говоря, не знаю, какие бывают иностранные имена, сэр, но не сомневаюсь, что ее зовут именно так.

Мистер Снегсби, кажется, чуть не сделал отчаянной попытки произнести имя француженки, но, подумав, снова только кашлянул, на этот раз вместо извинения.

— Что же вам нужно сказать мне о ней, Снегсби? — спрашивает мистер Талкингхорн.

— Изволите видеть, сэр,— отвечает торговец, прикрыв рот шляпой,— у меня из-за нее довольно большие неприятности. Я очень счастлив в семейной жизни... по крайней мере настолько счастлив, насколько это вообще возможно, разумеется,— но моя женушка немножко ревнива. Говоря напрямик, очень даже ревнива. А тут, изволите видеть, какая-то иностранка, да еще так шикарно одетая, приходит в лавку и таскается,— я всегда остерегаюсь употреблять грубые выражения, сэр, если без них можно обойтись, но она действительно таскается... по переулку... а это, знаете ли, того... ведь правда? Сами посудите, сэр!

Изложив все это очень жалобным тоном, мистер Снегсби кашляет многозначительным кашлем, дабы восполнить пробелы своего рассказа.

— Что это ей взбрело в голову? — говорит мистер Талкингхорн.

— Вот именно, сэр,— отзывается мистер Снегсби,— я знал, что вам это тоже будет не по душе, так что вы извините меня и поймете, что беспокоился я не зря, особенно принимая во внимание всем известную порывистость моей женушки. Изволите видеть, иностранка, чье имя вы сейчас назвали,— а оно и вправду звучит как-то по-иностранному,— иностранка эта крайне сметливая особа и запомнила в ту ночь фамилию «Снегсби», потом навела справки, узнала мой адрес и как-то раз пришла к нам во время обеда. Надо сказать, что Гуся, наша служанка, девушка очень робкая и подверженная припадкам, увидела иностранку и перепугалась — до того у нее лицо

сердитое, а когда говорит, чуть ли не зубами скрежещет, чтобы, значит, напугать слабоумную,— ну, девушка и не стерпела, и вместо того чтобы выдержать напор, грохнулась вниз с кухонной лестницы, и тут с ней начались припадки, один за другим, да такие, каких, наверное, ни с кем еще нигде не случалось, кроме как у нас дома. Так вот и вышло, что у женушки моей было хлопот полон рот, и в лавку пошел я один. Иностранка мне и сказала тогда, что к мистеру Талкингхорну ее никогда не пускает его «наниматель» (я тогда еще подумал, что, должно быть, иностранцы так называют клерков), а поэтому она доставит себе удовольствие каждый день приходить ко мне в лавку, пока вы ее не примете. С тех пор она, как я уже говорил, повадилась таскаться,— да, сэр, таскаться! — мистер Снегсби с пафосом делает ударение на этом слове,— таскаться по переулку. А какие могут произойти от этого последствия, предвидеть невозможно. Не удивлюсь даже, если соседи уже строят насчет меня самые неприятные и ошибочные предположения, а о моей женушке и говорить нечего (хотя о ней нельзя не говорить). Тогда как, бог свидетель,— уверяет мистер Снегсби, покачивая головой,— я в жизни не видывал иностранок,— вот разве что, бывало, цыганка забредет со связкой метелок и грудным ребенком — это в старину,— или с тамбурином и серьгами в ушах — это в теперешнее время. В жизни я не видывал иностранок, уверяю вас, сэр!

Мистер Талкингхорн выслушал жалобу с серьезным видом, а когда торговец умолк, он задает вопрос:

— Это все, не так ли, Снегсби?

— Ну да, сэр, все,— отвечает мистер Снегсби, заканчивая фразу кашлем, который явно означает: «и этого хватит... с меня».

— Не знаю, чего хочет мадемуазель Ортанз,— говорит юрист,— с ума она сошла, что ли?

— Будь она даже сумасшедшей, сэр,— говорит мистер Снегсби умоляющим тоном,— это все-таки, знаете ли, плохое утешение, когда в твою семью вбивают клин или, скажем, иностранный кинжал.

— Верно,— соглашается юрист.— Так, так! Это надо прекратить. Очень жаль, что вам причинили беспокойство. Если она опять придет, пришлите ее сюда.

Отвесив несколько поклонов и отрывисто покашляв вместо извинения, мистер Снегсби уходит, немного утешенный. Мистер Талкингхорн поднимается по лестнице, говоря себе: «Ох, уж эти женщины,— на то они только и созданы, чтобы народ мутить. Мало мне разве пришлось возиться с хозяйкой, а теперь и со служанкой возись! Но с *этой* потаскухой разговоры короткие».

Открыв дверь, мистер Талкингхорн ощупью пробирается по своим темным комнатам, зажигает свечи и осматривается. При скудном свете трудно рассмотреть всю аллегорию, изображенную на потолке, но ясно видно, как назойливый римлянин, вечно угрожающий ринуться вниз из облаков и указующий куда-то перстом, по-прежнему предается своему привычному занятию. Не удостоив его особым вниманием, мистер Талкингхорн вынимает из кармана небольшой ключ и отпирает ящик, в котором лежит другой ключ, а им отпирает сундук, где находится еще ключ, и таким образом добирается до ключа от погреба; а вынув его, готовится сойти в царство старого вина. Он идет к двери со свечой в руке, как вдруг слышит стук.

— Кто там?.. Так, так, любезная, это вы? Легка на помине! Мне только что говорили о вас. Ну! Что вам угодно?

Он ставит свечу на каминную полку в передней, где днем сидит клерк, и, похлопывая ключом по своей иссохшей щеке, обращается с этими приветливыми словами к мадемуазель Ортанз. Крепко сжав губы и косясь на него, это создание кошачьей породы закрывает дверь и отвечает:

— Я никак не могла застать вас дома, сэр.

— Вот как?

— Я приходила сюда очень часто, сэр. Но мне всегда говорили: его нет дома, он занят, он то, он другое, он не может вас принять.

— Совершенно правильно, чистая правда.

— Неправда! Ложь!

У мадемуазель Ортанз есть привычка внезапно делать какое-нибудь движение, да так, что кажется, будто она вот-вот кинется на человека, с которым говорит, а тот невольно вздрагивает и отшатывается. Мистер Талкингхорн тоже вздрогнул и отшатнулся, хотя мадемуазель Ортанз

только презрительно улыбнулась, полузакрыв глаза (но по-прежнему косясь на собеседника), и покачала головой.

— Ну-с, милейшая,— говорит юрист, быстро постукивая ключом по каминной полке,— если у вас есть что сказать, говорите... говорите.

— Сэр, вы поступили со мной нехорошо. Вы поступили скверно и неблагородно.

— Как? Скверно и неблагородно? — повторяет юрист, потирая себе нос ключом.

— Да. Не к чему и говорить об этом. Вы сами знаете, что это так. Вы поймали меня... завлекли... чтобы я давала вам сведения; просили показать мое платье, которое миледи надевала в ту ночь; просили прийти в этом платье, чтобы встретиться здесь с мальчишкой... Скажите! Так это или нет?

Мадемуазель Ортанз снова делает порывистое движение.

«Ведьма, сущая ведьма!» — по-видимому, думает мистер Талкингхорн, подозрительно глядя на нее; потом говорит вслух:

— Полегче, душечка, полегче. Я вам заплатил.

— Заплатили! — повторяет она с ожесточенным презрением.— Это два-то соверена! А я их и не разменяла даже — ни пенни из них не истратила; я их отвергаю, пре-зираю, швыряю прочь!

Что она и проделывает, выхватив монеты из-за корсажа и швырнув их об пол с такой силой, что они подпрыгивают в полосе света, потом раскатываются по углам и, стремительно покружившись, постепенно замедляют бег и падают.

— Вот! — говорит мадемуазель Ортанз, снова полузакрыв большие глаза.— Так, значит, вы мне заплатили? Хорошенькая плата, боже мой!

Мистер Талкингхорн скребет голову ключом, а француженка язвительно смеется.

— Вы, как видно, богаты, душечка,— сдержанно говорит мистер Талкингхорн,— если так сорите деньгами!

— Да я и правда богата,— отвечает она,— я очень богата ненавистью. Я всем сердцем ненавижу миледи. Вы это знаете.

— Знаю? Откуда я могу это знать?

— Вы отлично знали это, когда попросили меня дать вам те самые сведения. Отлично знали, что я была в яр-р-р-рости!

Нельзя, казалось бы, более раскатисто произнести звук «р» в последнем слове, но для мадемуазель Ортанз этого мало, и она подчеркивает страстность своей речи, сжав руки и стиснув зубы.

— О-о! Значит, я знал это, вот как? — говорит мистер Талкингхорн, внимательно рассматривая нарезку на бородке ключа.

— Да, конечно. Я не слепая. Вы рассчитывали на меня, потому что знали это. И были правы! Я ненавижу ее.

Мадемуазель Ортанз теперь стоит скрестив руки и последнее замечание бросает ему через плечо.

— Засим, имеете вы сказать мне еще что-нибудь, мадемуазель?

— Я с тех пор без места. Найдите мне хорошее место. Устройте меня в богатом доме! Если не можете или не желаете, тогда наймите меня травить ее, преследовать, позорить, бесчестить. Я буду помогать вам усердно и очень охотно. Ведь сами-то вы делаете все это. Мне ли не знать!

— Должно быть, вы слишком много знаете,— замечает мистер Талкингхорн.

— А разве нет? Неужели я так глупа и, как младенец, поверю, что приходила сюда в этом платье показаться мальчишке только для того, чтобы разрешить какой-то спор, пари? Хорошенькое дело, боже мой!

Эту тираду, до слова «пари» включительно, мадемуазель произносила иронически вежливо и мягко; затем внезапно перескочила на самый ожесточенный и вызывающий тон, а ее черные глаза закрылись и снова широко раскрылись чуть ли не в одно и то же мгновение.

— Ну-с, теперь посмотрим,— говорит мистер Талкингхорн, похлопывая себя ключом по подбородку и невозмутимо глядя на нее,— посмотрим, как обстоит дело.

— Ах, вот что? Ну, посмотрим,— соглашается мадемуазель, гневно и неистово кивая ему в ответ.

— Вы приходите сюда, чтобы обратиться ко мне с удивительно скромной просьбой, которую сейчас изложили, и, если я вам откажу, вы придете снова.

— Да, снова! — подтверждает мадемуазель, кивая все так же неистово и гневно.— Снова!.. И снова! И много раз снова! Словом, без конца!

— И придете не только сюда, но, быть может, и к мистеру Снегсби? А если визит к нему тоже не будет иметь успеха, вы придете сюда опять?

— И опять! — повторяет мадемуазель, как одержимая.— И опять. И опять. И много раз опять. Словом, без конца!

— Так. А теперь, мадемуазель Ортанз, позвольте мне посоветовать вам взять свечу и подобрать ваши деньги. Вы, вероятно, найдете их за перегородкой клерка, вон там в углу.

Она отвечает лишь коротким смехом, глядя на юриста через плечо, и стоит как вкопанная, скрестив руки.

— Не желаете, а?

— Нет, не желаю!

— Тем беднее будете вы, и тем богаче я! Смотрите, милейшая, вот ключ от моего винного погреба. Это большой ключ, но ключи от тюремных камер еще больше. В Лондоне имеются исправительные заведения (где женщин заставляют вращать ногами ступальные колеса), и ворота у этих заведений очень крепкие и тяжелые, а ключи под стать воротам. Боюсь, что даже особе с вашим характером и энергией будет очень неприятно, если один из этих ключей повернется и надолго запрет за ней дверь. Как вы думаете?

— Я думаю,— отвечает мадемуазель, не пошевельнувшись, но произнося слова отчетливо и ласковым голосом,— что вы подлый негодяй.

— Возможно,— соглашается мистер Талкингхорп, невозмутимо сморкаясь.— Но я не спрашиваю, что вы думаете обо мне, я спрашиваю, что вы думаете о тюрьме.

— Ничего. Какое мне до нее дело?

— А вот какое, милейшая,— объясняет юрист, как ни в чем не бывало пряча платок и поправляя жабо,— тут у нас законы так деспотично-строги, что ограждают любого из наших добрых английских подданных от нежела-

тельных ему посещений, хотя бы и дамских. И по его жалобе на беспокойство такого рода закон хватает беспокойную даму и сажает ее в тюрьму, подвергая суровому режиму. Повертывает за ней ключ, милейшая.

И он наглядно показывает при помощи ключа от погреба, как это происходит.

— Неужели правда? — отзывается мадемуазель Ортанз все так же ласково.— Смехота какая! Но... черт возьми!.. какое мне все-таки до этого дело?

— А вы, красотка моя, попробуйте нанести еще один визит мне или мистеру Снегсби,— говорит мистер Талкингхорн,— вот тогда и узнаете — какое.

— Может быть, вы тогда *меня* в тюрьму упрячете?

— Может быть.

Мадемуазель говорит все это таким шаловливым и милым тоном, что странно было бы видеть пену на ее губах, однако рот ее растянут по-тигриному, и чудится, будто еще немного, и из него брызнет пена.

— Одним словом, милейшая,— продолжает мистер Талкингхорн,— мне не хочется быть неучтивым, но если вы когда-нибудь снова явитесь без приглашения сюда — или туда,— я передам вас в руки полиции. Полисмены очень галантны, но они самым позорящим образом тащат беспокойных людей по улицам... прикрутив их ремнями к доске, душечка.

— Вот увидим,— шипит мадемуазель, протянув руку вперед,— погляжу я, посмеете вы или нет!

— А если,— продолжает юрист, не обращая внимания на ее слова,— если я устрою вас на это хорошее место, иначе говоря, посажу под замок, в тюрьму, пройдет немало времени, прежде чем вы снова очутитесь на свободе.

— Вот увидим! — повторяет мадемуазель все тем же шипящим шепотом.

— Ну-с,— продолжает юрист, по-прежнему не обращая внимания на ее слова,— а теперь убирайтесь вон. И подумайте дважды, прежде чем прийти сюда вновь.

— Сами подумайте! — бросает она.— Дважды, двести раз подумайте!

— Ваша хозяйка уволила вас как несносную и неуживчивую женщину,— говорит мистер Талкингхорн, провожая ее до лестницы.— Теперь начните новую жизнь,

а мои слова примите как предостережение. Ибо все, что я говорю, я говорю не на ветер; и если я кому-нибудь угрожаю, то выполняю свою угрозу, любезнейшая.

Она спускается по лестнице, не отвечая и не оглядываясь. После ее ухода он тоже спускается в погреб, а достав покрытую паутиной бутылку, приходит обратно и не спеша смакует ее содержимое, по временам откидывая голову на спинку кресла и бросая взгляд на назойливого римлянина, который указует перстом с потолка.

## ГЛАВА XLIII

*Повесть Эстер*

Теперь уже не имеет значения, как много я думала о своей матери — живой, но попросившей меня считать ее умершей. Сознавая, какая ей грозит опасность, я не решалась видеться с ней или даже писать ей из боязни навлечь на нее беду. Самое мое существование оказалось непредвиденной опасностью на жизненном пути моей матери, и, зная это, я не всегда могла преодолеть ужас, охвативший меня, когда я впервые узнала тайну. Я не осмеливалась произнести имя своей матери. Мне казалось, что я не должна даже слышать его. Если в моем присутствии разговор заходил о Дедлоках, что, естественно, случалось время от времени, я старалась не слушать и начинала считать в уме или читать про себя стихи, которые знала на память, или же просто выходила из комнаты. Помнится, я нередко делала это и тогда, когда нечего было опасаться, что заговорят о ней,— так я боялась услышать что-нибудь такое, что могло бы выдать ее — выдать по моей вине.

Теперь уже не имеет значения, как часто я вспоминала о голосе моей матери, спрашивая себя, услышу ли я его снова,— чего страстно желала,— и раздумывая о том, как странно и грустно, что я услышала его так поздно. Теперь уже не имеет значения, что я искала имя моей матери в газетах; ходила взад и вперед мимо ее лондонского дома, который казался мне каким-то милым и род-

ным, но боялась даже взглянуть на него; что однажды я пошла в театр, когда моя мать была там, и она видела меня, но мы сидели среди огромной, разношерстной толпы, разделенные глубочайшей пропастью, и самая мысль о том, что мы друг с другом связаны и у нас есть общая тайна, казалась каким-то сном. Все это давным-давно пережито и кончено. Удел мой оказался таким счастливым, что если я перестану рассказывать о доброте и великодушии других, то смогу рассказать о себе лишь очень немного. Это немногое можно пропустить и продолжать дальше.

Когда мы вернулись домой и зажили по-прежнему, Ада и я, мы часто разговаривали с опекуном о Ричарде. Моя милая девочка глубоко страдала оттого, что юноша был несправедлив к их великодушному родственнику, но она так любила Ричарда, что не могла осуждать его даже за это. Опекун все хорошо понимал и ни разу не упрекнул его за глаза ни единым словом.

— Рик ошибается, дорогая моя,— говорил он Аде.— Что делать! Все мы ошибались, и не раз. Будем полагаться на вас и на время,— быть может, он все-таки исправится.

Впоследствии мы узнали наверное (а тогда лишь подозревали), что опекун не стал полагаться на время и нередко пытался открыть глаза Ричарду,— писал ему, ездил к нему, мягко уговаривал его и, повинуясь велениям своего доброго сердца, приводил все доводы, какие только мог придумать, чтобы его разубедить. Но наш бедный, любящий Ричард оставался глух и слеп ко всему. Если он не прав, он принесет извинения, когда тяжба в Канцлерском суде окончится, говорил он. Если он ощупью бредет во мраке, самое лучшее, что он может сделать, это рассеять тучи, по милости которых столько вещей на свете перепуталось и покрылось тьмой. Подозрения и недоразумения возникли из-за тяжбы? Так пусть ему позволят изучить эту тяжбу и таким образом узнать всю правду. Так он отвечал неизменно. Тяжба Джарндисов настолько овладела всем его существом, что из каждого приведенного ему довода он с какой-то извращенной рассудительностью извлекал все новые и новые аргументы в свое оправдание.

— Вот и выходит,— сказал мне как-то опекун,— что убеждать этого несчастного, милого юношу еще хуже, чем оставить его в покое.

Во время одного разговора на эту тему я воспользовалась случаем высказать свои сомнения в том, что мистер Скимпол дает Ричарду разумные советы.

— Советы! — смеясь, подхватил опекун.— Но, дорогая моя, кто же будет советоваться со Скимполом?

— Может быть, лучше сказать: поощряет его? — промолвила я.

— Поощряет! — снова подхватил опекун.— Кого же может поощрять Скимпол?

— А Ричарда разве не может? — спросила я.

— Нет,— ответил он,— куда ему, этому непрактичному, нерасчетливому, кисейному созданию! — ведь Ричард с ним только отводит душу и развлекается. Но советовать, поощрять, вообще серьезно относиться к кому или чему бы то ни было, такой младенец, как Скимпол, совершенно не способен.

— Скажите, кузен Джон,— проговорила Ада, которая подошла к нам и выглянула из-за моего плеча,— почему он сделался таким младенцем?

— Почему он сделался таким младенцем? — повторил опекун, немного опешив, и начал ерошить свои волосы.

— Да, кузен Джон.

— Видите ли,— медленно проговорил он, все сильней и сильней ероша волосы,— он весь — чувство и... и впечатлительность... и... и чувствительность... и... и воображение. Но все это в нем как-то не уразновешено. Вероятно, люди, восхищавшиеся им за эти качества в его юности, слишком переоценили их, но недооценили важности воспитания, которое могло бы их уравновесить и выправить; ну, вот он и стал таким. Правильно? — спросил опекун, внезапно оборвав свою речь и с надеждой глядя на нас.— Как полагаете вы обе?

Ада, взглянув на меня, сказала, что Ричард тратит деньги на мистера Скимпола, и это очень грустно.

— Очень грустно, очень,— поспешил согласиться опекун.— Этому надо положить конец... Мы должны это прекратить. Я должен этому помешать. Так не годится.

Я сказала, что мистер Скимпол, к сожалению, познакомил Ричарда с мистером Воулсом, с которого получил за это пять фунтов в подарок.

— Да что вы? — проговорил опекун, и на лице его мелькнула тень неудовольствия.— Но это на него похоже... очень похоже! Ведь он сделал это совершенно бескорыстно. Он и понятия не имеет о ценности денег. Он знакомит Рика с мистером Воулсом, а затем,— ведь они с Воулсом приятели,— берет у него в долг пять фунтов. Этим он не преследует никакой цели и не придает этому никакого значения. Бьюсь об заклад, что он сам сказал вам это, дорогая!

— Сказал! — подтвердила я.

— Вот видите! — торжествующе воскликнул опекун.— Это на него похоже! Если бы он хотел сделать что-то плохое или понимал, что поступил плохо, он не стал бы об этом рассказывать. А он и рассказывает и поступает так лишь по простоте душевной. Но посмотрите на него в домашней обстановке, и вы лучше поймете его. Надо нам съездить к Гарольду Скимполу и попросить его вести себя поосторожней с Ричардом. Уверяю вас, дорогие мои, это ребенок, сущий ребенок!

И вот мы как-то раз встали пораньше, отправились в Лондон и подъехали к дому, где жил мистер Скимпол.

Он жил в квартале Полигон в Сомерс-Тауне *, где в то время ютилось много бедных испанских беженцев, которые носили плащи и курили не сигары, а папиросы. Не знаю, то ли он все-таки был платежеспособным квартирантом, благодаря своему другу «Кому-то», который рано или поздно всегда вносил за него квартирную плату, то ли его неспособность к делам чрезвычайно усложняла его выселение, но, так или иначе, он уже несколько лет жил в этом доме. А дом был совсем запущенный, каким мы, впрочем, его себе и представляли. Из решетки, ограждавшей нижний дворик, вывалилось несколько прутьев; кадка для дождевой воды была разбита; дверной молоток едва держался на месте; ручку от звонка оторвали так давно, что проволока, на которой она когда-то висела, совсем заржавела, и только грязные следы на ступенях крыльца указывали, что в этом доме живут люди.

В ответ на наш стук появилась неряшливая пухлая девица, похожая на перезрелую ягоду и выпиравшая из всех прорех своего платья и всех дыр своих башмаков, и, чуть-чуть приоткрыв дверь, загородила вход своими телесами. Но, узнав мистера Джарндиса (мы с Адой даже подумали, что она, очевидно, связывала его в своих мыслях с получением жалования), она тотчас же отступила и позволила нам войти. Замок на двери был испорчен, и девица попыталась ее запереть, накинув цепочку, тоже неисправную, после чего попросила нас подняться наверх.

Мы поднялись на второй этаж, причем нигде не увидели никакой мебели; зато на полу всюду виднелись грязные следы. Мистер Джарндис без дальнейших церемоний вошел в какую-то комнату, и мы последовали за ним. Комната была довольно темная и отнюдь не опрятная, но обставленная с какой-то нелепой, потертой роскошью: большая скамейка для ног, диван, заваленный подушками, мягкое кресло, забитое подушечками, рояль, книги, принадлежности для рисования, ноты, газеты, несколько рисунков и картин. Оконные стекла тут потускнели от грязи, и одно из них, разбитое, было заменено бумагой, приклеенной облатками; однако на столе стояла тарелочка с оранжерейными персиками, другая — с виноградом, третья — с бисквитными пирожными, и вдобавок бутылка легкого вина. Сам мистер Скимпол полулежал на диване, облаченный в халат, и, попивая душистый кофе из старинной фарфоровой чашки — хотя было уже около полудня,— созерцал целую коллекцию горшков с желтофиолями, стоявших на балконе.

Ничуть не смущенный нашим появлением, он встал и принял нас со свойственной ему непринужденностью.

— Так вот я и живу! — сказал он, когда мы уселись (не без труда, ибо почти все стулья были сломаны).— Вот я перед вами! Вот мой скудный завтрак. Некоторые требуют на завтрак ростбиф или баранью ногу; а я не требую. Дайте мне персиков, чашку кофе, красного вина, и с меня хватит. Все эти деликатесы нужны мне не сами по себе, а лишь потому, что они напоминают о солнце. В коровьих и бараньих ногах нет ничего солнечного. Животное удовлетворение,— вот все, что они дают!

— Эта комната служит нашему другу врачебным кабинетом (то есть служила бы, если б он занимался медициной); это его святилище, его студия,— объяснил нам опекун.

— Да,— промолвил мистер Скимпол, обращая к нам всем поочередно свое сияющее лицо,— а еще ее можно назвать птичьей клеткой. Вот где живет и поет птичка. Время от времени ей общипывают перышки, подрезают крылышки; но она поет, поет!

Он предложил нам винограду, повторяя с сияющим видом:

— Она поет! Ни одной нотки честолюбия, но все-таки поет.

— Отличный виноград,— сказал опекун.— Это подарок?

— Нет,— ответил хозяин.— Нет! Его продает какой-то любезный садовник. Подручный садовника принес виноград вчера вечером и спросил, не подождать ли ему денег: «Нет, мой друг,— сказал я,— не ждите... если вам хоть сколько-нибудь дорого время». Должно быть, время было ему дорого — он ушел.

Опекун улыбнулся нам, как бы спрашивая: «Ну можно ли относиться серьезно к такому младенцу?»

— Этот день мы все здесь запомним навсегда,— весело проговорил мистер Скимпол, наливая себе немного красного вина в стакан,— мы назовем его днем святой Клейр и святой Саммерсон. Надо вам познакомиться с моими дочерьми. У меня их три: голубоглазая дочь — Красавица, вторая дочь — Мечтательница, третья — Насмешница. Надо вам повидать их всех. Они будут в восторге.

Он уже собирался позвать дочерей, но опекун попросил его подождать минутку, так как сначала хотел немного поговорить с ним.

— Пожалуйста, дорогой Джарндис,— с готовностью ответил мистер Скимпол, снова укладываясь на диван,— сколько хотите минуток. У нас время — не помеха. Мы никогда не знаем, который час, да и не желаем знать. Вы скажете, что так не достигнешь успехов в жизни? Конечно. Но мы и *не* достигаем успехов в жизни. Ничуть на них не претендуем.

Опекун снова взглянул на нас, как бы желая сказать: «Слышите?»

— Гарольд,— начал он,— я хочу поговорить с вами о Ричарде.

— Он мой лучший друг! — отозвался мистер Скимпол самым искренним тоном.— Мне, пожалуй, не надо бы так дружить с ним — ведь с вами он разошелся. Но все-таки он мой лучший друг. Ничего не поделаешь; он весь — поэзия юности, и я его люблю. Если это не нравится вам, ничего не поделаешь. Я его люблю.

Привлекательная искренность, с какой он изложил эту декларацию, действительно казалась бескорыстной и пленила опекуна, да, пожалуй, на мгновение и Аду.

— Любите его сколько хотите,— сказал мистер Джарндис,— но не худо бы нам поберечь его карман, Гарольд.

— Что? Карман? — отозвался мистер Скимпол.— Ну, сейчас вы заговорите о том, чего я не понимаю.

Он налил себе еще немного красного вина и, макая в него бисквит, покачал головой и улыбнулся мне и Аде, простодушно предупреждая нас, что этой премудрости ему не понять.

— Если вы идете или едете с ним куда-нибудь,— напрямик сказал опекун,— вы не должны позволять ему платить за вас обоих.

— Дорогой Джарндис,— отозвался мистер Скимпол, и его жизнерадостное лицо засияло улыбкой — такой смешной показалась ему эта мысль,— но что же мне делать? Если он берет меня с собой куда-нибудь, я должен ехать. Но как могу я платить? У меня никогда нет денег. А если б и были, так ведь я в них ничего не понимаю. Допустим, я спрашиваю человека: сколько? Допустим, он отвечает: семь шиллингов и шесть пенсов. Я не знаю, что такое семь шиллингов и шесть пенсов. Я не могу продолжать разговор на такую тему, если уважаю этого человека. Я не спрашиваю занятых людей, как сказать «семь шиллингов и шесть пенсов» на мавританском языке, о котором и понятия не имею. Так чего же мне ходить и спрашивать их, что такое семь шиллингов и шесть пенсов в монетах, о которых я тоже не имею понятия?

— Ну, хорошо,— сказал опекун, ничуть не раздосадованный этим бесхитростным ответом,— если вам опять случится поехать куда-нибудь с Риком, возьмите в долг у меня (только смотрите не проболтайтесь ему ни намеком), а он пусть себе ведет все расчеты.

— Дорогой Джарндис,— отозвался мистер Скимпол,— я готов на все, чтобы доставить вам удовольствие, но это кажется мне пустой формальностью... предрассудком. Кроме того, даю вам слово, мисс Клейр и дорогая мисс Саммерсон, я считал мистера Карстона богачом. Я думал, что стоит ему написать какой-нибудь там ордер, или подписать обязательство, вексель, чек, счет, или проставить что-нибудь в какой-нибудь ведомости, и деньги польются рекой.

— Вовсе нет, сэр,— сказала Ада.— Он человек бедный.

— Что вы говорите! — изумился мистер Скимпол, радостно улыбаясь.— Вы меня удивляете.

— И он ничуть не богатеет оттого, что хватается за гнилую соломинку,— сказал опекун и с силой положил руку на рукав халата, в который был облачен мистер Скимпол,— поэтому, Гарольд, всячески остерегайтесь поощрять это заблуждение.

— Мой дорогой и добрый друг,— проговорил мистер Скимпол,— милая мисс Саммерсон и милая мисс Клейр, да разве я на это способен? Ведь все это — дела, а в делах я ничего не понимаю. Это он сам поощряет меня. Он является ко мне после своих великих деловых подвигов, уверяет, что они подают самые блистательные надежды, и приглашает меня восхищаться ими. Ну, я и восхищаюсь ими... как блистательными надеждами. А больше я о них ничего не знаю, да так ему и говорю.

Беспомощная наивность, с какой он излагал нам эти мысли, беззаботность, с какой он забавлялся своей неопытностью, странное уменье ограждать себя от всего неприятного и защищать свою диковинную личность, сочетались с очаровательной непринужденностью всех его рассуждений и как будто подтверждали мнение моего опекуна. Чем чаще я видела мистера Скимпола, тем менее возможным казалось мне, что он способен что-либо замышлять, утаивать или подчинять кого-нибудь своему

влиянию; однако в его отсутствие я считала это более вероятным, и тем менее приятно мне было знать, что он как-то связан с одним из моих близких друзей.

Мистер Скимпол понял, что его экзамен (как он сам выразился) окончен, и, весь сияя, вышел из комнаты, чтобы привести своих дочерей (сыновья его в разное время убежали из дому), оставив опекуна в полном восхищении от тех доводов, какими он оправдывал свою детскую наивность. Вскоре он вернулся с тремя молодыми особами и с миссис Скимпол, которая в молодости была красавицей, но теперь выглядела чахлой высокомерной женщиной, страдающей множеством всяких недугов.

— Вот это,— представил их нам мистер Скимпол,— моя дочь Красавица: ее зовут Аретуза, она поет и играет разные пьески и песенки, под стать своему папаше. Это моя дочь Мечтательница: зовут Лаура; немного играет, но не поет. А это моя дочь Насмешница: зовут Китти, немного поет, но не играет. Все мы немножко рисуем и немножко сочиняем музыку, но никто из нас не имеет понятия ни о времени, ни о деньгах.

Миссис Скимпол вздохнула, и мне почудилось, будто ей хочется вычеркнуть этот пункт из списка семейных достоинств. Я подумала также, что вздохнула она нарочно — чтобы как-то воздействовать на опекуна; а в дальнейшем она вздыхала при каждом удобном случае.

— Как это приятно и даже прелюбопытно — определять характерные особенности каждого семейства,— сказал мистер Скимпол, обводя веселыми глазами всех нас поочередно.— В нашей семье все мы дети, а я — самый младший.

Дочки, видимо, очень любили отца и, услышав эту забавную истину, громко захохотали — особенно Насмешница.

— Это же правда, душечки мои,— разве нет,— сказал мистер Скимпол.— Так оно и есть, и так должно быть, ибо, как в песне поется, «такова наша природа». Вот, например, у нас сидит мисс Саммерсон, которая одарена прекрасными административными способностями и поразительно хорошо знает всякие мелочи. Мисс Саммерсон, наверное, очень удивится, если услышит, что в этом доме никто не умеет зажарить отбивную котлету. Но мы дей-

ствительно не умеем; не знаем, как и подступиться к ней. Мы абсолютно ничего не умеем стряпать. Как обращаться с иголкой и ниткой, нам тоже неизвестно. Мы восхищаемся людьми, обладающими практической мудростью, которой нам так недостает, и мы с ними не спорим. Так для чего же им спорить с нами? Живите и дайте жить другим, заявляем мы им. Живите за счет своей практической мудрости, а нам позвольте жить на ваш счет!

Он смеялся, но, как всегда, казался вполне искренним и глубоко убежденным во всем, что говорил.

— Мы ко всему относимся сочувственно, мои прелестные розы,— сказал мистер Скимпол,— ко всему на свете. Не так ли?

— О да, папа! — воскликнули все три дочери.

— По сути дела в этом и заключается назначение нашей семьи в сумятице жизни,— пояснил мистер Скимпол.— Мы способны наблюдать, способны интересоваться всем окружающим, и мы действительно наблюдаем и интересуемся. Ничего больше мы не можем делать. Вот моя дочь — Красавица; она уже три года замужем. Признаюсь, что обвенчаться с таким же младенцем, как она сама, и произвести на свет еще двух младенцев было очень неумно с точки зрения политической экономии; зато очень приятно. В честь этих событий мы устраивали пирушки и обменивались мнениями по социальным вопросам. Как-то раз она привела домой молодого муженька, и они свили себе гнездышко у нас наверху, где и воспитывают своих маленьких птенчиков. В один прекрасный день Мечтательница и Насмешница, наверное, приведут *своих* мужей домой и совьют *себе* гнезда наверху. Так вот мы и живем; сами не знаем как, но как-то живем.

Не верилось, что Красавица может быть матерью двоих детей,— на вид она сама была еще совсем девочкой, и мне стало жалко и мать и ее ребят. Было совершенно ясно, что все три дочери росли без присмотра, а учили их чему попало и как попало — лишь с той целью, чтобы отец мог забавляться ими, как игрушками, когда ему было нечего делать. Я заметила, что дочки даже причесывались, сообразуясь с его вкусами: так, у Красавицы прическа была классическая — узел волос на затылке; у Мечтательницы романтическая — густые

развевающиеся локоны, а у Насмешницы кокетливая — ясный лоб открыт, а на висках задорные кудряшки. Одевались они в том же стиле, как и причесывались, но чрезвычайно неряшливо и небрежно.

Ада и я, мы поболтали с этими молодыми особами и нашли, что они удивительно похожи на отца. Тем временем мистер Джарндис (который усиленно ерошил себе волосы и намекал на перемену ветра) беседовал с миссис Скимпол в углу, причем оттуда ясно доносился звон монет. Мистер Скимпол еще раньше выразил желание погостить у нас и удалился, чтобы переодеться.

— Розочки мои,— сказал он, вернувшись,— позаботьтесь о маме; ей сегодня нездоровится. А я денька на два съезжу к мистеру Джарндису, послушаю, как поют жаворонки, и это поможет мне сохранить приятное расположение духа. Вы ведь знаете, что сегодня его хотели испортить и опять захотят, если я останусь дома.

— Такой противный! — воскликнула дочь Насмешница.

— И ведь он знал, что папа как раз отдыхает, любуясь на свои желтофиоли и голубое небо! — жалобно промолвила Лаура.

— И в воздухе тогда пахло сеном! — сказала Аретуза.

— Очевидно, этот человек недостаточно поэтичен,— поддержал их мистер Скимпол, но — очень добродушно.— Это было грубо с его стороны. Вот что значит, когда у тебя не хватает чуткости! Мои дочери очень обиделись,— объяснил он нам,— на одного славного малого...

— Вовсе он не славный, папа. Он несносный! — запротестовали все три дочери.

— Неотесанный малый... своего рода свернувшийся еж в человеческом образе,— уточнил мистер Скимпол.— Он пекарь, живет по соседству, и мы заняли у него два кресла. Нам нужны были два кресла, но у нас их не было, и потому мы, конечно, стали искать человека, который их *имеет* и может одолжить нам. Прекрасно! Этот угрюмый субъект одолжил нам кресла, и со временем они пришли в негодность. Когда они уже никуда не годились, он захотел взять их назад. Он взял их назад. Вы скажете — он удовлетворился? Ничуть. Он стал жаловаться — заявил претензию на то, что мы привели их в негодное

состояние. Я пытался его урезонить, доказать ему, что он ошибается. Я сказал: «Неужели вы, друг мой, дожив до таких лет, все еще столь упрямы, что продолжаете считать кресло предметом, который надо поставить на полку и созерцать, разглядывать издали, рассматривать под тем или другим углом зрения? Неужели вы *не понимаете,* что мы заняли у вас эти кресла для того, чтобы сидеть в них?» Но он не поддался ни на какие резоны и увещания и начал выражаться несдержанно. Терпеливый, как и сейчас, я сделал новую попытку его усовестить. Я сказал: «Послушайте, приятель, как бы ни различались между собой наши деловые способности, мои и ваши, все мы дети одной великой матери — Природы. Вы же видите, чем я занимаюсь в это ясное летнее утро (я тогда лежал на диване): передо мною цветы, на столе фрукты, над головой безоблачное небо, воздух напоен ароматами, и я созерцаю Природу. Умоляю вас, во имя нашего общечеловеческого братства, не заслоняйте мне столь божественной картины нелепой фигурой сердитого пекаря!» Но он не послушался,— закончил мистер Скимпол, смеясь и поднимая брови в шутливом изумлении,— он заслонил Природу своей нелепой фигурой, заслоняет и будет заслонять. Поэтому я очень рад, что могу ускользнуть от него и уехать к моему другу Джарндису.

Он, вероятно, и не думал о том, что миссис Скимпол и его дочери останутся в городе, обреченные на встречи с пекарем; впрочем, сами они так привыкли к подобному отношению, что принимали его как нечто само собой разумеющееся. Мистер Скимпол нежно простился с семьей, веселый и грациозный, как всегда, и уехал с нами в состоянии полной душевной гармонии. Спускаясь по лестнице, мы не могли не видеть комнат, двери которых были открыты настежь, и сделали вывод, что комната хозяина казалась роскошным чертогом по сравнению с остальными.

Я не предвидела и не могла предвидеть, что не пройдет еще этот день, как случится одно событие, которое произведет на меня глубокое впечатление и навсегда останется мне памятным по своим последствиям. По дороге к нам гость наш был так оживлен, что я только слушала его и удивлялась; да и не я одна — Ада тоже



поддалась его обаянию. Что касается опекуна, то не успели мы проехать милю-другую, как ветер, упорно дувший с востока, когда мы уезжали из Сомерс-Тауна, резко изменил направление.

Не знаю, была ли инфантильность мистера Скимпола подлинной или притворной во всех прочих отношениях, но перемене обстановки и прекрасной погоде он радовался совершенно по-детски. Ничуть не утомленный остротами, которыми он осыпал нас по дороге, он первым из нас прошел в гостиную, и я, занимаясь хозяйством, слышала, как он, сидя за роялем, одну за другой распевал итальянские и немецкие баркаролы и застольные песни — точнее, только их припевы.

Незадолго до обеда все мы были в сборе, и мистер Скимпол все еще сидел за роялем, наигрывая с большим чувством отрывки из музыкальных пьес, а в промежутках болтая о том, что завтра он дорисует развалины древней Веруламской стены *, которые начал рисовать года два назад, но не кончил, потому что они ему надоели,— как вдруг нам принесли визитную карточку, и опекун с удивлением прочел вслух:

— Сэр Лестер Дедлок!

Гость вошел в комнату, и вся она завертелась передо мной, прежде чем я смогла сделать хоть шаг. Будь я в силах пошевельнуться, я бы убежала. Голова моя так кружилась, что у меня даже не хватило духу укрыться в оконной нише, где сидела Ада; впрочем, я и окна-то не видела и даже забыла, где оно. Не успела я собраться с силами и дойти до стула, как услышала свое имя и поняла, что опекун представляет меня.

— Садитесь, пожалуйста, сэр Лестер.

— Мистер Джарндис,— проговорил сэр Лестер, кланяясь и усаживаясь,— я имел честь заехать к вам...

— Этим вы сделали честь *мне,* сэр Лестер.

— Благодарю вас... я имел честь заехать к вам по дороге из Линкольншира, ибо желаю выразить вам свое сожаление по поводу того, что моя неприязнь,— впрочем, имеющая довольно серьезные основания,— моя неприязнь к одному джентльмену, который... который вам знаком, принимал вас у себя и о котором я поэтому больше ничего не скажу, помешала вам и, больше того, молодым

леди, находящимся под вашей охраной и опекой, увидеть в моем чесни-уолдском доме кое-какие вещи, которые могли бы понравиться лицам с изысканным и утонченным вкусом.

— Вы чрезвычайно любезны, сэр Лестер, и я приношу вам глубокую благодарность от имени этих молодых леди — вот они! — и от себя.

— Весьма возможно, мистер Джарндис, что джентльмен, о котором я по упомянутым причинам воздерживаюсь говорить,— весьма возможно, мистер Джарндис, что этот джентльмен оказал мне честь понять мой характер настолько превратно, чтобы внушить вам представление, будто вы не будете приняты в моем линкольнширском поместье с той вежливостью, с той почтительностью, которую всем моим людям предписано проявлять по отношению ко всем леди и джентльменам, посещающим мой дом. Если так, я только прошу вас поверить, сэр, что на самом деле вы были бы приняты столь же вежливо и почтительно, как и все прочие посетители.

Опекун деликатно уклонился от ответа.

— Мне было неприятно, мистер Джарндис,— важно продолжал сэр Лестер,— заверяю вас, сэр... *Мне* было неприятно... узнать от нашей чесни-уолдской домоправительницы, что один джентльмен, гостивший вместе с вами в этой части нашего графства, и, по-видимому, тонкий знаток Изящных Искусств, был точно так же и по той же причине лишен возможности осмотреть наши семейные портреты с той неторопливостью, с тем вниманием, с тем интересом, которые он, быть может, хотел бы им уделить, а значит, и сам лишился возможности получить удовольствие от созерцания некоторых из этих портретов.

Тут он вынул визитную карточку и, глядя на нее в лорнет, прочел очень внушительным тоном, хоть и с некоторым трудом:

— Мистер Гирольд... Геральд... Гарольд... Скемплинг, Скамплинг... простите — Скимпол.

— Да вот и сам мистер Гарольд Скимпол,— сказал мой опекун, явно удивленный.

— А! — воскликнул сэр Лестер.— Прекрасно; я счастлив познакомиться с мистером Скимполом и воспользоваться случаем лично выразить ему сожаление. Я на-

деюсь, сэр, что, когда вы снова заглянете в мои места, вам не придется больше стесняться, как в прошлый раз.

— Вы очень добры, сэр Лестер Дедлок. Я конечно воспользуюсь вашим любезным приглашением и доставлю себе удовольствие снова посетить ваш прекрасный дом. Владельцы таких поместий, как Чесни-Уолд,— проговорил мистер Скимпол со свойственным ему счастливым и беспечным видом,— это благодетели общества. Они так добры, что держат у себя множество великолепных вещей, позволяя нам, бедным людям, восторгаться и наслаждаться ими; а тот, кто не ощущает восторга и наслаждения, попросту проявляет неблагодарность по отношению к нашим благодетелям.

Сэру Лестеру подобные мысли, как видно, очень понравились.

— Вы художник, сэр?

— Нет,— ответил мистер Скимпол,— совершенно праздный человек. Просто любитель.

Сэру Лестеру это, как видно, понравилось еще больше. Он выразил надежду, что ему самому посчастливится быть в Чесни-Уолде, когда мистер Скимпол опять приедет в Линкольншир, а мистер Скимпол заверил его, что очень польщен и почитает это за честь.

— Мистер Скимпол,— продолжал сэр Лестер, снова обращаясь к опекуну,— сообщил нашей домоправительнице, которая, как он, вероятно, заметил, давно и преданно служит нашей семье...

(— Это было на днях — я осматривал чесни-уолдский дом, когда поехал навестить мисс Саммерсон и мисс Клейр,— непринужденно пояснил мистер Скимпол.)

— ...сообщил нашей домоправительнице, что и раньше гостил в этих местах с одним своим другом, и этот друг — мистер Джарндис.— Сэр Лестер поклонился моему опекуну.— Вот как я узнал о тех обстоятельствах, по поводу которых сейчас выразил сожаление. Уверяю вас, мистер Джарндис... *Мне...* было бы неприятно услышать, что в мой дом постеснялся войти любой джентльмен — кто бы он ни был; так что же говорить о джентльмене, который когда-то был знаком с леди Дедлок и даже приходится ей дальним родственником и которого (как миледи сама говорила мне) она глубоко уважает.

— Все ясно, сэр Лестер,— сказал опекун.— Я очень тронут, и все мы тронуты вашим вниманием. Промах сделал я сам, и это мне следует извиниться за него.

Я ни разу не подняла глаз. Я не видела гостя и, казалось мне, даже не прислушивалась к беседе. Странно, что я ее запомнила,— ведь она как будто не дошла до моего сознания. Я слышала, как разговаривали окружающие, но была в таком смятении и так тяготилась присутствием этого джентльмена, которого инстинктивно стремилась избегать, что в голове у меня шумело, сердце билось, и мне казалось, что я ничего не понимаю.

— Я рассказал обо всем этом леди Дедлок,— сказал сэр Лестер, поднявшись,— и миледи сообщила мне, что она имела удовольствие обменяться несколькими словами с мистером Джарндисом и его подопечными, так как случайно встретилась с ними, когда они гостили по соседству. Позвольте мне, мистер Джарндис, повторить вам и этим молодым леди то, что я уже говорил мистеру Скимполу. Некоторые обстоятельства, несомненно, препятствуют мне утверждать, что я был бы рад услышать о посещении моего дома мистером Бойторном; но эти обстоятельства касаются только данного джентльмена, а к другим лицам они отношения не имеют.

— Вы помните, что̀ я всегда говорю о нем,— легким тоном сказал мистер Скимпол, призывая нас в свидетели.— Это добродушный бык, который уперся на своем и считает, что все на свете окрашено в ярко-красный цвет!

Сэр Лестер Дедлок кашлянул, как бы желая выразить, что не может больше слышать ни слова о подобном субъекте, и простился с нами чрезвычайно церемонно и вежливо. Я постаралась поскорее уйти в свою комнату и не выходила из нее, пока не овладела собой. Это было очень трудно, но, к счастью, никто ничего не заметил, и когда я снова сошла вниз, все только подшучивали надо мной, вспоминая, как я была молчалива и застенчива в присутствии знатного линкольнширского баронета.

И тогда я решила, что пора мне рассказать опекуну все, что я знаю о себе. Так тяжело было думать, что теперь я могу встретиться с матерью, что меня могут пригласить к ней в дом и даже что мистер Скимпол — хоть

он вовсе мне не друг — будет удостоен вниманием и любезностью ее мужа,— так тяжело было сознавать все это, что я почувствовала себя не в силах найти правильный путь без помощи опекуна.

Когда все ушли спать и мы с Адой, как всегда, немного поболтали в нашей уютной гостиной, я снова вышла из своей комнаты и отправилась искать опекуна в его библиотеке. Я знала, что в этот час он всегда читает, и когда подошла к его двери, увидела свет настольной лампы, падающий в коридор.

— Можно войти, опекун?

— Конечно, девочка моя. А что случилось?

— Ничего. Просто я решила воспользоваться часом, когда все в доме спят, чтобы сказать вам несколько слов о себе.

Он подвинул мне кресло, закрыл книгу и, отложив ее, обратил ко мне свое доброе, внимательное лицо. Я не могла не заметить, что лицо у него опять какое-то странное, совсем как в ту ночь, когда он сказал, что у него есть заботы, которых мне не понять.

— Все, что касается вас, милая Эстер, касается всех нас,— сказал он.— Как бы охотно вы ни говорили со мною, я буду слушать вас еще охотнее.

— Я знаю, опекун. Но я так нуждаюсь в вашем совете и поддержке. Ах, вы не подозреваете, как я в этом нуждаюсь, и особенно сегодня.

Он удивился моей горячности и даже немного встревожился.

— Мне так хотелось поговорить с вами,— сказала я,— хотелось с той самой минуты, как приехал к нам гость.

— Какой гость, дорогая? Сэр Лестер Дедлок?

— Да.

Он скрестил руки и с глубочайшим изумлением посмотрел на меня, ожидая, что̀ я скажу еще. Я не знала, как мне подготовить его.

— Слушайте, Эстер,— проговорил он с улыбкой,— кто-кто, но чтобы *вы* могли иметь какое-то отношение к нашему гостю — вот уж чего я бы никак не подумал!

— Ну да, опекун, конечно. И я не думала когда-то.

Улыбка сошла с его лица, и оно сделалось серьезным.

Он подошел к двери, чтобы убедиться, закрыта ли она (но об этом я уже позаботилась), и снова сел на свое место рядом со мной.

— Опекун,— начала я,— вы помните тот день, когда мы бежали от грозы и леди Дедлок говорила с вами о своей сестре?

— Конечно. Конечно, помню.

— И напомнила вам, что они с сестрой разошлись, «пошли каждая своей дорогой».

— Конечно.

— Почему они расстались, опекун?

Он взглянул на меня и переменился в лице.

— Дитя мое, что за вопросы? Не знаю. Да, кажется, и никто не знал, кроме них самих. Кто мог ведать тайны этих гордых красавиц! Вы видели леди Дедлок. Если бы вы видели ее сестру, вы заметили бы, что она была так же непоколебима и надменна, как леди Дедлок.

— Ах, опекун, я видела ее много, много раз!

— Вы ее видели?

Он немного помолчал, закусив губу.

— Так вот, Эстер, когда вы как-то раз, давно, говорили со мной о Бойторне, а я сказал вам, что однажды он чуть было не женился и его невеста хоть и не умерла в действительности, но умерла для него, причем эта трагедия повлияла на всю его дальнейшую жизнь,— знали ли вы все это, знали вы, кто была его невеста?

— Нет, опекун,— ответила я, страшась света, который, пока еще тускло, забрезжил передо мной.— Нет, да и сейчас не знаю.

— Это была сестра леди Дедлок.

— Но почему,— выговорила я с большим трудом,— скажите мне, опекун, умоляю вас, почему разошлись *они* — мистер Бойторн и она?

— По ее желанию; а по какой причине — неизвестно; это она утаила в своем непреклонном сердце. Впоследствии он предполагал (хоть и не знал наверное), что она поссорилась с сестрой, жестоко уязвившей ее гордыню, и безмерно страдала от этого; во всяком случае, она написала Бойторну, что с того числа, которым помечено ее письмо, она для него умерла,— да так оно и оказалось,— а к решению своему пришла потому, что знает, как

сильна в нем гордость, как остро развито в нем чувство чести, свойственные и ее натуре. Зная, что эти качества главенствуют в его характере, как и в ее собственном, и считаясь с этим, она, по ее словам, принесла себя в жертву и будет нести свой крест до самой смерти. Так она, к сожалению, и поступила: с тех пор он никогда больше не видел ее и ничего о ней не слышал. Как, впрочем, и все те, кто ее знал раньше.

— Ах, опекун, это я виновата! — вскричала я в отчаянии.— Какое горе я причинила невольно!

— Вы, Эстер?

— Да, опекун. Невольно, но все-таки причинила. Эта женщина, что жила в уединении,— первая, кого я помню в жизни.

— Не может быть! — вскричал он, вскочив с места.

— Да, опекун, да! А *ее* сестра — моя мать!

Я хотела было рассказать ему, о чем писала мне мать, но в тот вечер он отказался слушать меня. Он говорил со мною так нежно и с таким глубоким пониманием, так ясно объяснил мне все то, что я сама смутно сознавала и на что надеялась в самые светлые свои минуты; а я, и без того уже переполненная пламенной благодарностью, жившей во мне столько лет, я никогда еще не любила его так сильно, не благодарила так глубоко, как в тот вечер. А когда он проводил меня до моей комнаты и поцеловал у двери и когда я, наконец, легла спать, я подумала: смогу ли я когда-нибудь работать так усердно, быть такой доброй по мере своих скромных сил, такой самоотверженной и такой преданной ему и полезной для других, чтобы доказать ему, как я благословляю и почитаю его?

## ГЛАВА XLIV

### *Письмо и ответ*

Наутро опекун позвал меня к себе, и я поведала ему все то, чего не досказала накануне. Сделать ничего нельзя, сказал он, остается только хранить тайну и избегать таких встреч, как вчерашняя. Он понимает мои опа-

сения и вполне разделяет их. Он берется даже удержать мистера Скимпола от посещения Чесни-Уолда. Той женщине, которую не следует называть при мне, он не может ни помочь, ни дать совета. Он хотел бы помочь ей, но это невозможно. Если она подозревает юриста, о котором говорила мне, и ее подозрения обоснованы, в чем он, опекун, почти не сомневается, тайну вряд ли удастся сохранить. Он немного знает этого юриста в лицо и понаслышке и убежден, что это человек опасный. Но что бы ни случилось, твердил он мне с тревожной и ласковой нежностью, я буду так же не виновата в этом, как и он сам, и так же не смогу ничего изменить.

— Я не думаю,— сказал он,— что могут возникнуть подозрения, связанные с вами, дорогая моя. Но многое можно заподозрить и не зная о вас.

— Если говорить о юристе, это верно,— согласилась я.— Но с тех пор как я начала так тревожиться, я все думаю о двух других лицах.

И я рассказала ему все про мистера Гаппи, который, возможно, о чем-то смутно догадывался в то время, когда я сама еще не понимала тайного смысла его слов; впрочем, после нашей последней встречи я уже не сомневалась, что он болтать не будет.

— Прекрасно,— сказал опекун.— В таком случае, мы пока можем забыть о нем. А кто же второй?

Я напомнила ему о горничной француженке, которая так настойчиво стремилась поступить ко мне.

— Да! — отозвался он задумчиво.— Она опаснее клерка. Но, в сущности, дорогая, ведь она всего только искала нового места. Незадолго перед этим она видела вас и Аду и, естественно, вспомнила о вас. Просто она хотела наняться к вам в горничные. Вот и все.

— Она вела себя как-то странно,— сказала я.

— Да, странно, но странно вела она себя и тогда, когда ей вдруг пришла блажь сбросить туфли и шлепать по лужам в одних чулках, с риском простудиться насмерть,— сказал опекун.— Однако раздумывать обо всех этих шансах и возможностях — это значит бесполезно тревожиться и мучиться. Каждый пустяк может показаться опасным, если смотреть на него с подобной точки зрения. Не теряйте надежды, Хозяюшка. Нельзя быть

лучше, чем вы; и теперь, когда вы знаете всё, будьте самой собой, будьте такой, какой были раньше. Это самое приятное, что вы можете сделать для всех. Поскольку я знаю вашу тайну...

— И так облегчаете мне это бремя, опекун,— вставила я.

— ...я буду внимательно следить за всеми событиями, происходящими в этой семье, насколько это возможно на расстоянии. А если наступит время, когда я смогу протянуть руку помощи и оказать хоть малейшую услугу той, чье имя лучше не называть даже здесь, я приложу все усилия, чтобы сделать это ради ее милой дочери.

Я поблагодарила его от всего сердца. Да и как было не благодарить! Я уже подошла к двери, как вдруг он попросил меня задержаться на минуту. Быстро обернувшись, я опять заметила, что выражение лица у него такое же, как в тот памятный мне вечер, и вдруг, сама не знаю почему, меня осенила неожиданная догадка, и мне показалось, что, быть может, я когда-нибудь его и пойму.

— Милая Эстер,— начал опекун,— я давно уже думал, что мне нужно кое-что сказать вам.

— Да, опекун?

— Трудновато мне было подойти к этому, да и сейчас еще трудно. Мне хотелось бы высказаться как можно яснее, с тем чтоб вы тщательно взвесили мои слова. Вы не против того, чтобы я изложил это письменно?

— Дорогой опекун, как могу я быть против того, чтобы вы написали что-нибудь и дали прочесть *мне?*

— Так скажите же мне, милая вы моя,— промолвил он с ясной улыбкой,— правда ли, что я сейчас такой же простой и непринужденный... такой же откровенный, честный и старозаветный, как всегда?

Я совершенно искренне ответила: «Вполне». И это была истинная правда, ибо его мимолетные колебания исчезли (да они и длились-то всего несколько секунд), и он снова стал таким же светлым, всепонимающим, сердечным, искренним, как всегда.

— Может быть, вам кажется, что я умолчал о чем-нибудь, сказал не то, что думал, утаил что-то — все равно

что? — спросил он, и его живые ясные глаза встретились с моими.

Я без колебания ответила, что, конечно, нет.

— Можете вы вполне полагаться на меня и верить всему, что я говорю, Эстер?

— Безоговорочно! — ответила я от всего сердца.

— Моя дорогая девочка,— сказал опекун,— дайте мне руку.

Он взял мою руку, легонько обнял меня, глядя мне в лицо все с той же неподдельной искренностью и дружеской преданностью, с той же прежней готовностью защищать меня, которые сразу превратили этот дом в мой родной дом, и сказал мне:

— С того зимнего дня, когда мы с вами ехали в почтовой карете, вы заставили меня перемениться, милая моя. Но, главное, вы с тех пор сделали мне бесконечно много добра.

— Ах, опекун, а вы? Чего только не сделали вы для меня с той поры!

— Ну,— сказал он,— об этом теперь вспоминать нечего.

— Но разве можно это забыть?

— Да, Эстер,— сказал он мягко, но серьезно,— теперь это надо забыть... забыть на некоторое время. Вам нужно помнить только о том, что теперь ничто не может меня изменить — я навсегда останусь таким, каким вы меня знаете. Можете вы быть твердо уверенной в этом, дорогая?

— Могу; твердо уверена,— сказала я.

— Это много,— промолвил он.— Это все. Но я не должен ловить вас на слове. Я не стану писать того, о чем думаю, пока вы не будете убеждены, что ничто не может изменить меня, такого, каким вы меня знаете. Если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, я не буду писать ничего. Если же вы, по зрелом размышлении, утвердитесь в этой уверенности, пошлите ко мне Чарли «за письмом» ровно через неделю. Но не присылайте ее, если не будете уверены вполне. Запомните, в этом случае, как и во всех остальных, я полагаюсь на вашу правдивость. Если у вас не будет уверенности, не присылайте Чарли!

— Опекун,— отозвалась я,— да ведь я уже уверена. Я так же не могу изменить свое убеждение, как вы не

можете перемениться ко мне. Я пошлю Чарли за письмом.

Он пожал мне руку и не сказал больше ни слова. И в течение всей следующей недели ни он, ни я не говорили об этом. Когда настал назначенный им вечер, я, как только осталась одна, сказала Чарли:

— Чарли, пойди постучись к мистеру Джарндису и скажи ему, что пришла от меня «за письмом».

Чарли спускалась по лестнице, поднималась по лестнице, шла по коридорам, а я прислушивалась к ее шагам, и в тот вечер извилистые ходы и переходы в этом старинном доме казались мне непомерно длинными; потом она пошла обратно, по коридорам, вниз по лестнице, вверх по лестнице и, наконец, принесла письмо.

— Положи его на стол, Чарли,— сказала я.

Чарли положила письмо на стол и ушла спать, а я сидела, глядя на конверт, но не дотрагивалась до него и думала о многом.

Сначала я вспомнила свое угрюмое детство, когда была такой робкой и застенчивой, потом — тяжелые дни, когда моя тетка лежала мертвая и ее непреклонное лицо было таким холодным и неподвижным, а потом — то время, когда я жила вдвоем с миссис Рейчел и чувствовала себя такой одинокой, как будто мне не с кем было перемолвиться словом, не на кого бросить взгляд. Затем я вспомнила иные дни, когда мне было даровано счастье находить друзей среди всех окружающих и быть любимой. Я вспоминала все вплоть до того дня, когда впервые увидела мою дорогую девочку, принявшую меня с той сестринской любовью, которая так украсила и обогатила мою жизнь. Я вспомнила яркие приветственные огни, которые в одну холодную звездную ночь засверкали нам навстречу из этих самых окон, впервые озарив наши полные ожидания лица, и с тех пор уже не меркли. Я вновь пережила свою счастливую жизнь, перебрала в памяти дни своей болезни и выздоровления. Я думала о том, как изменилась я сама и как неизменно ласковы со мной все мои друзья, и все это счастье сияло мне, словно яркий свет, исходя от лучшего из друзей, который сейчас прислал мне письмо, лежащее на столе.

Я вскрыла и прочла его. Я была так потрясена любовью, бескорыстной заботливостью, вниманием ко мне,

которые проглядывали в каждом слове этого письма, что слезы то и дело застилали мне глаза, и я не сразу дочитала его до конца. Но потом я прочла его три раза подряд и только тогда положила обратно на стол. Я и раньше догадывалась о его содержании, и не ошиблась. В письме мне был задан вопрос: соглашусь ли я стать хозяйкой Холодного дома?

Это было не любовное письмо, хотя оно дышало любовью ко мне,— опекун писал так, как говорил со мной всегда. В каждой строчке я видела его лицо, слышала его голос, чувствовала его доброту и стремление защитить меня. Он писал так, как будто мы поменялись местами, как будто все добрые дела исходили от меня, а все чувства, пробужденные ими,— от него.

В письме он говорил о том, что я молода, а он уже пережил свою лучшую пору и достиг зрелости в то время, когда я была еще ребенком; а теперь у него уже седая голова и он пишет мне, отлично понимая значение разницы в возрасте, и напоминает мне о ней, чтобы я хорошенько подумала. Говорил, что, согласившись на этот брак, я ничего не выиграю, а отказавшись от него, ничего не потеряю, ибо никакие новые отношения не могут углубить его нежность ко мне, и, как бы я ни решила поступить, он уверен, что мое решение будет правильным. Свое предложение он обдумал еще раз, уже после нашего последнего откровенного разговора, и решил сделать его, хотя бы для того, чтобы на одном скромном примере показать мне, что весь мир готов опровергнуть суровое предсказание, омрачившее мое детство. Он писал, что я и представить себе не могу, какое счастье я способна ему дать, но об этом он больше ничего не скажет, ибо мне всегда следует помнить, что я ничем ему не обязана, а вот он — мой неоплатный должник. Он часто думал о нашем будущем; он предвидел, что настанет время,— как ни грустно,— очень скоро настанет время, когда Ада (которая уже почти достигла совершеннолетия) уйдет от нас и нам больше не придется жить, как мы живем теперь; а предвидя это, он постоянно размышлял о своем предложении. Вот как вышло, что он его сделал. Если я и чувствую, что могу дать ему законное право быть моим защитником, что могу радостно и

охотно сделаться нежно любимой спутницей его последних лет во всех превратностях жизни и до самой смерти, он все же не хочет, чтобы я навеки связала себя согласием, пока это письмо еще так ново для меня; нет, даже если я все это чувствую, я должна дать себе много времени для размышления. Так ли я решу, или иначе, он хочет сохранить наши прежние отношения, хочет обращаться со мною по-прежнему, хочет, чтобы я по-прежнему называла его опекуном. Что же касается его чудесной Хлопотуньи, его маленькой Хозяюшки, он знает, что она навсегда останется такой, какая она теперь.

Вот главное, что он сказал в этом письме, где каждая строчка от первой до последней была внушена чувством справедливости и собственного достоинства; и написал он его в таком тоне, словно и правда был моим опекуном по закону, беспристрастно передающим мне предложение своего друга и бескорыстно перечисляющим все, что можно сказать за и против него.

Но он ни одним намеком не дал мне понять, что обдумывал все это еще в то время, когда я была красивее, чем теперь, но тогда решил ничего мне не говорить. Он не сказал, что, когда мое лицо изменилось и я подурнела, он продолжал любить меня так же, как и в лучшую мою пору. Не сказал, что, когда открылась тайна моего рождения, это не было для него ударом. Что его великодушие выше обезобразившей меня перемены и унаследованного мною позора. Что чем больше я нуждаюсь в подобной верности, тем больше могу полагаться на него до конца.

Впрочем, я теперь *сама* знала все это: знала очень хорошо. Это было для меня как бы завершением возвышенной повести, которую я читала, и я уже видела, к какому решению должна прийти — других решений быть не могло. Посвятить мою жизнь его счастью в благодарность за все, что он для меня сделал? Но этого мало, думала я, и чего же я хотела в тот вечер, несколько дней назад, как не придумать, чем еще я могу отблагодарить его?

И все же, прочитав письмо, я долго плакала, и не только от полноты сердца, не только от неожиданности этого предложения,— ибо оно все-таки оказалось неожи-

данным для меня, хоть я и предвидела его; нет, я чувствовала, что безвозвратно утратила что-то, чему нет названия и что неясно для меня самой. Я была очень счастлива, очень благодарна, очень спокойна за свое будущее, но я долго плакала.

Немного погодя я подошла к своему старому зеркалу. Глаза у меня были красные и опухшие; и я сказала себе: «Ах, Эстер, Эстер, ты ли это?» Лицо в зеркале, кажется, снова собиралось расплакаться от этого упрека, но я погрозила ему пальцем, и оно стало спокойным.

— Вот это больше похоже на то сдержанное выражение, которым ты утешила меня, моя прелесть, когда я заметила в тебе такую перемену! — сказала я, распуская волосы.— Когда ты станешь хозяйкой Холодного дома, тебе придется быть веселой, как птичка. Впрочем, тебе постоянно надо быть веселой; поэтому начнем теперь же.

Я начала расчесывать волосы и совсем успокоилась. Правда, я все еще немножко всхлипывала, но только потому, что плакала раньше; а сейчас я уже не плакала.

— Так вот, милая Эстер, ты счастлива на всю жизнь. Счастлива своими лучшими друзьями, счастлива своим старым родным домом, счастлива возможностью делать много добра, счастлива незаслуженной тобой любовью лучшего из людей.

И вдруг я подумала: а что, если бы опекун женился на другой, как бы я себя почувствовала и что стала бы делать? Вот уж когда действительно изменилось бы все вокруг меня. Я вообразила свою жизнь после этого события, и она представилась мне такой непривычной и пустой, что я немного побренчала своими ключами и поцеловала их, а потом положила в корзиночку.

Расчесывая на ночь волосы перед зеркалом, я стала думать о том, как часто я сама сознавала в душе, что неизгладимые следы болезни и обстоятельства моего рождения тоже требуют, чтобы я была всегда, всегда, всегда занята делом... полезна для других, приветлива, услужлива, и все это — искренне и без всяких претензий. Вот уж, право, самое подходящее время теперь унывать и лить слезы! А если мысль о том, чтобы сделаться хозяйкой Холодного дома, сначала показалась мне странной (хотя это и не оправдание для слез), то, в сущности, что

же в ней странного? Если не мне, то другим людям она уже приходила в голову.

— Разве ты не помнишь, милая моя дурнушка,— спросила я себя, глядя в зеркало,— что̀ говорила миссис Вудкорт о твоем замужестве, когда ты еще не была рябой?..

Быть может, это имя напомнило мне о... засушенных цветах. Теперь лучше было расстаться с ними. Конечно, они хранились лишь в память о том, что̀ совсем прошло и кончилось, но все-таки лучше было с ними расстаться.

Они были заложены в книгу, которая стояла на полке в соседней комнате — нашей гостиной, отделявшей спальню Ады от моей. Я взяла свечу и, стараясь не шуметь, пошла туда за этой книгой. Сняв ее с полки, я заглянула в открытую дверь, увидела, что моя милая красавица спит, и тихонько прокралась к ней, чтобы поцеловать ее.

Я знаю, что это была слабость, и плакать мне было совершенно не от чего, но я все-таки уронила слезу на ее милое личико, потом другую, еще и еще. Слабость еще бо̀льшая — я вынула засохшие цветы и на мгновение приложила их к губам Ады. Я думала о ее любви к Ричарду... хотя, в сущности, цветы не имели к этому никакого отношения. Потом я принесла их в свою комнату, сожгла на свечке, и они мгновенно обратились в пепел.

Наутро, сойдя в столовую к первому завтраку, я нашла опекуна таким же, как всегда,— по-прежнему искренним, откровенным и непринужденным. В его обращении со мной не чувствовалось ни малейшей натянутости; не было ее (или мне так казалось) и в моем обращении с ним. В это утро я несколько раз оставалась с ним вдвоем и думала тогда, что он, вероятно, сейчас заговорит со мной о письме; но об этом он не сказал ни слова.

Не сказал ни на другое утро, ни на следующий день, ни в один из тех дней, которые прожил у нас мистер Скимпол, задержавшийся в Холодном доме на целую неделю. Я каждый день ждала, что опекун заговорит со мной о письме, но он молчал.

Тогда я стала волноваться и решила, что мне следует написать ответ. По вечерам, оставшись одна в своей ком-

нате, я не раз пыталась приняться за него, но не могла даже начать как следует — что бы я ни написала, все мне не нравилось, и каждый вечер я думала, что лучше подождать еще денек. Так я прождала еще семь дней, но опекун по-прежнему ничего не говорил.

Наконец, как-то раз после обеда, когда мистер Скимпол уже уехал, а мы трое собирались покататься верхом, я переоделась раньше Ады и, спустившись в гостиную, подошла к опекуну, который стоял ко мне спиной и смотрел в окно.

Когда я вошла, он оглянулся и сказал с улыбкой:

— А, это вы, Хлопотунья? — и снова повернулся к окну.

Я решила поговорить с ним теперь же. Точнее, для этого только я и пришла сюда.

— Опекун,— промолвила я, запинаясь и дрожа,— когда бы вы хотели получить ответ на письмо, за которым ходила Чарли?

— Когда он будет готов, дорогая моя,— ответил он.

— Мне кажется, он готов,— сказала я.

— Его принесет Чарли? — с улыбкой спросил он.

— Нет; я сама принесла его, опекун,— ответила я.

Я обвила руками его шею и поцеловала его, а он спросил, считаю ли я себя хозяйкой Холодного дома, и я сказала: «Да»; но пока что все осталось по-старому, и мы все вместе уехали кататься, и я даже ничего не сказала своей милой девочке.

## ГЛАВА XLV

### *Священное поручение*

Как-то раз утром, кончив бренчать ключами, я вместе с моей красавицей прогуливалась по саду и, случайно посмотрев в сторону дома, увидела, что в него вползает какая-то длинная, узкая тень, которая смахивает на мистера Воулса. В это самое утро Ада говорила мне о своих надеждах на то, что Ричард, может быть, скоро охладеет к канцлерской тяжбе,— охладеет именно потому, что

теперь занимается ею с таким пылким увлечением, и, вспомнив об этом, я ничего не сказала о тени мистера Воулса моей дорогой девочке, чтобы не огорчить ее.

Немного погодя появилась Чарли и кинулась в нашу сторону, легко обегая кусты и мчась вприпрыжку по дорожкам, румяная и хорошенькая, словно спутница Флоры *, а не просто моя служанка, и на бегу крикнула мне:

— С вашего позволения, мисс, извольте пойти домой, поговорить с мистером Джарндисом!

У Чарли была одна особенность: когда ее посылали передать что-нибудь, она начинала говорить, едва завидев, хотя бы издалека, того, к кому ее послали. Поэтому я поняла, что Чарли, в обычных для нее выражениях, просит меня «изволить пойти домой, поговорить с мистером Джарндисом» гораздо раньше, чем услышала ее голос. Когда же я, наконец, его услышала, она успела столько раз произнести эти слова, что совсем запыхалась.

Я сказала Аде, что скоро вернусь, а направляясь к дому, спросила у Чарли, не приехал ли к мистеру Джарндису какой-нибудь джентльмен. Чарли, чье знание грамматики, к стыду моему, никогда не делало чести моим педагогическим способностям, ответила:

— Да, мисс, который был приехавши в деревню с мистером Ричардом.

Трудно было представить себе людей, более разных, чем опекун и мистер Воулс. Когда я вошла, они сидели за столом друг против друга, и один был такой открытый, другой — такой скрытный; один — такой широкоплечий и прямой, другой — такой узкогрудый и сутулый; один откровенно высказывал то, что хотел сказать, сочным, звучным голосом, другой — все чего-то недосказывал и говорил бесстрастно, разевая рот как-то по-рыбьи,— словом, мне показалось, будто я в жизни не видывала людей, столь разительно несходных.

— Вы уже знакомы с мистером Воулсом, дорогая,— сказал опекун, надо сознаться, не слишком любезным тоном.

Мистер Воулс, как всегда в перчатках и застегнутый на все пуговицы, встал, затем снова сел, совершенно так

же, как в тот раз, когда он садился рядом с Ричардом в двуколку. Поскольку у него не было перед глазами Ричарда, он смотрел прямо перед собой.

— Мистер Воулс,— начал опекун, глядя на эту черную фигуру, как на какую-то зловещую птицу,— привез нам очень печальные вести о нашем столь несчастном Рике.— Он сделал сильное ударение на словах «столь несчастном», словно желал подчеркнуть, что они характеризуют отношение мистера Воулса к Ричарду.

Я села между собеседниками. Мистер Воулс сидел недвижный, как истукан, только украдкой трогал рукой в черной перчатке один из красных прыщиков, усеявших его желтое лицо.

— Вы, к счастью, очень дружны с Риком, дорогая,— сказал опекун,— поэтому мне хотелось бы знать, что вы обо всем этом думаете. Будьте добры, мистер Воулс, высказаться как можно... как можно яснее.

И мистер Воулс, высказываясь отнюдь не ясно, начал так:

— Как я уже говорил, мисс Саммерсон, будучи поверенным мистера Карстона, я осведомлен о том, что он теперь находится в очень стесненных обстоятельствах, и дело не столько в общей сумме его долгов, сколько в особых условиях и срочности векселей, выданных мистером Карстоном, и в его возможностях погасить эти векселя, иными словами — уплатить долги. Я много раз добивался для мистера Карстона отсрочек по мелким платежам, но всяким отсрочкам есть предел, и мы до него дошли. Я не раз выручал его ссудами из собственного кармана, дабы уладить все эти неприятности, но, разумеется, хочу получить деньги обратно, ибо не выдаю себя за богача и к тому же обязан содержать отца, проживающего в Тоунтонской долине, не говоря уж о том, что стремлюсь оставить маленькое состояние своим трем дорогим дочерям, проживающим вместе со мною. Я опасаюсь, что мистер Карстон попал в такое положение, выпутаться из коего он может только продав свой патент; а если так, об этом, во всяком случае, желательно поставить в известность его родных.

Во время своей речи мистер Воулс не сводил с меня глаз, а теперь, погрузившись в молчание,— которого он,

можно сказать, и не нарушал, такой глухой у него был голос,— снова устремил недвижный взгляд куда-то в пространство.

— Подумать только,— бедный юноша останется даже без того небольшого жалованья, которое получает теперь,— сказал мне опекун.— Но что я могу поделать? Вы знаете его, Эстер. Теперь он ни за что не согласится принять от меня помощь. Предлагать ее или даже намекать на это — значит довести его до крайности, если только он уже не доведен до нее чем-нибудь другим.

Мистер Воулс снова обратился ко мне:

— Мнение мистера Джарндиса, мисс, несомненно соответствует истине, и в этом вся трудность. Я не считаю, что надо что-нибудь сделать. Я не говорю, что надо что-то сделать. Отнюдь нет. Я просто приехал сюда строго конфиденциально, и рассказал обо всем с целью вести дела начистоту, так, чтобы впоследствии не говорили, будто дела не велись начистоту. Я всегда стремлюсь вести все дела начистоту. Я хочу оставить после себя доброе имя. Если бы я, заботясь лишь о своих собственных интересах, посоветовался с мистером Карстоном, меня бы здесь не было, ибо, как вам хорошо известно, он горячо восстал бы против моей поездки. Наши сегодняшние переговоры не носят характера юридической консультации. Платы за них я не требую. Я заинтересован в них лишь в качестве члена общества, отца... *и* сына,— добавил мистер Воулс, чуть было не позабыв о родителе, проживающем в Тоунтонской долине.

Нам стало ясно, что, сообщая о своем намерении разделить с нами ответственность, которую он нес как человек осведомленный о положении Ричарда, мистер Воулс сказал истинную правду. Я могла придумать лишь один выход: надо мне съездить в Дил *, где теперь служит Ричард, увидеться с ним и по мере сил попытаться предотвратить беду. Не считая нужным советоваться с мистером Воулсом, я отвела опекуна в сторону, чтобы изложить ему свой план действий, а мистер Воулс, унылый и длинный, крадучись подошел к камину и протянул к огню свои траурные перчатки.

Опекун, конечно, сейчас же заспорил со мной, доказывая, что путешествие меня утомит, но других возраже-

ний у него не было, а мне очень хотелось поехать, так что я добилась его согласия. Теперь надо было только отделаться от мистера Воулса.

— Так вот, сэр,— сказал мистер Джарндис,— мисс Саммерсон повидается с мистером Карстоном, а нам остается лишь уповать на то, что его положение еще не безнадежно. Позвольте мне приказать, чтобы вам подали завтрак; вам не худо подкрепиться с дороги, сэр.

— Благодарю вас, мистер Джарндис,— отозвался мистер Воулс, протягивая свой длинный черный рукав, чтобы остановить опекуна, который хотел было позвонить,— завтракать я никак не могу. Благодарю вас,— нет, нет, ни кусочка. Пищеварение у меня совершенно испорчено, и я всегда ем очень умеренно, а если бы я позволил себе принять сытную пищу в такой час дня, не знаю, какие получились бы последствия. Поскольку все выяснено начистоту, сэр, я теперь, с вашего позволения, распрощаюсь с вами.

— Хотелось бы мне,— с горечью проговорил опекун,— чтобы и вы, мистер Воулс, и все мы навсегда распрощались с тяжбой, столь хорошо вам знакомой.

Мистер Воулс, чье одеяние, от сапог до цилиндра, было так густо покрыто черной краской, что она испарялась от близости к огню, распространяя очень неприятный запах, коротко и как-то криво кивнул, потом медленно покачал головой.

— Если мы, практикующие юристы, претендуем на то, чтобы нас уважали, сэр, мы должны налегать плечом на колесо. И мы налегаем, сэр. По крайней мере я налегаю и хочу думать, что все мои собратья по профессии поступают так же. Вы не забудете, мисс, что обещали не упоминать обо мне в разговоре с мистером Карстоном?

Я ответила, что ни слова о нем не скажу.

— Пожалуйста, мисс. До свиданья. Мистер Джарндис, желаю вам всего доброго, сэр.

Мистер Воулс прикоснулся к моим пальцам, потом к пальцам опекуна своей холодной перчаткой, в которой, казалось, не было руки, и длинный, узкий — ни дать ни взять тень — уполз прочь. А мне представилось, как эта «тень», взобравшись на империал почтовой кареты, будет ползти по озаренным солнцем полям, между Холод-

ным домом и Лондоном, замораживая на своем пути даже семена в земле.

Я, конечно, вынуждена была сказать Аде, куда еду и с какой целью, а она, разумеется, очень встревожилась и расстроилась. Но она была так предана Ричарду, что только жалела и оправдывала его, и в порыве все более глубокой любви — милая моя, любящая девочка! — написала длинное письмо, которое я обещала передать ему.

Пришлось взять с собой Чарли, хотя мне, конечно, не нужно было никаких провожатых, и я охотно оставила бы ее дома. В тот же день мы вместе выехали в Лондон, и узнав, что в почтовой карете есть два свободных места для пассажиров, уплатили за них. В тот час, когда у нас обычно ложились спать, мы с Чарли покатили к морю вместе с письмами, адресованными в Кент.

Во времена почтовых карет ехать до Дила приходилось целую ночь, но в карете мы были одни, и эта ночь не показалась нам слишком утомительной. Я провела ее так, как, наверное, провел бы каждый, будь он на моем месте. В иные минуты моя поездка казалась мне многообещающей, в другие — безнадежной. То я думала, что мне удастся помочь Ричарду, то удивлялась, как это могло взбрести мне в голову. То приходила к выводу, что, тронувшись в путь, поступила очень умно, то — что совсем не умно. В каком состоянии я найду Ричарда, что̀ я скажу ему, что̀ он скажет мне — все эти вопросы поочередно занимали меня, сочетаясь с моими противоречивыми чувствами; а колеса всю ночь отстукивали одну и ту же песню, и письмо опекуна казалось мне ее припевом.

Наконец мы въехали в узкие улицы Дила, очень унылые в это сырое туманное утро. Длинное плоское взморье с беспорядочно разбросанными домишками — деревянными и кирпичными,— загроможденное кабестанами, большими лодками, навесами, шестами с талями и блоками, и рядом обширные пустыри, усыпанные галькой, поросшие травой и сорняками,— все это показалось мне невыносимо скучным. Море волновалось под слоем густого белого тумана; а на суше все словно оцепенело, если не считать нескольких канатчиков, которые встали споза-

ранку и, обмотавшись пенькой, имели такой вид, словно, тяготясь своим теперешним существованием, собрались вплести в канаты самих себя.

Но когда мы вошли в теплую комнату превосходной гостиницы, умылись, переоделись и сели завтракать (ложиться спать уже не стоило), Дил стал казаться нам более веселым. Наша комнатка чем-то напоминала каюту, и Чарли была от нее в восторге. Но вот туман начал подниматься, как занавес, и мы увидели множество кораблей, о близости которых раньше и не подозревали. Не помню, сколько всего их было, хотя слуга назвал нам число судов, стоявших на рейде. Были там и большие корабли — особенно один, только что прибывший на родину из Индии; и когда солнце засияло, выглянув из-за облаков, и бросило на темное море светлые блики, казавшиеся серебристыми озерками, изменчивая игра света и тени на кораблях, суета маленьких лодок, снующих между ними и берегом, жизнь и движение на судах и во всем, что их окружало,— все это стало необычайно красивым.

Огромный корабль, прибывший из Индии, больше других привлекал наше внимание, потому что он стал на рейд этой ночью. Он был окружен лодками, и мы с Чарли толковали о том, как, должно быть, радуются люди на его борту, что наконец-то могут сойти на берег. Чарли хотелось знать, по каким океанам он плыл, правда ли, что в Индии очень жарко, какие там змеи и тигры и так далее; а так как подобные сведения она запоминала гораздо лучше, чем грамматические правила, то я рассказала ей все, что сама об этом знала. Я добавила также, что во время морских путешествий иногда случаются кораблекрушения, море выбрасывает людей на скалы, и тут несчастных спасает один-единственный человек, бесстрашный и добрый. Чарли спросила, как это может быть, и я рассказала ей, что мы дома узнали об одном таком случае.

Я хотела было послать Ричарду записку, чтобы известить его о своем приезде, но потом решила, что гораздо лучше пойти к нему без предупреждения. Он жил в казармах, и я немного сомневалась, удобно ли нам туда идти; но мы все-таки отправились на разведку. Заглянув

в ворота казарменного двора, мы увидели, что в этот ранний час там почти безлюдно, и я спросила сержанта, стоявшего на крыльце гауптвахты, где живет Ричард. Он дал мне в провожатые солдата, а тот, поднявшись с нами по лестнице с голыми стенами, постучал в какую-то дверь и ушел.

— Кто там? — крикнул Ричард из комнаты.

Я оставила Чарли в коридорчике и, подойдя к полуоткрытой двери, спросила:

— Можно войти, Ричард? Это я, Хлопотунья.

Ричард что-то писал за столом, а вокруг, на полу, в полном беспорядке валялись костюмы, жестянки, книги, сапоги, щетки, чемоданы. Он был полуодет,— и не в военном, а в штатском,— не причесан, и вид у него был такой же растерзанный, как у его комнаты. Все это я заметила лишь после того, как он радостно поздоровался со мной, а я села рядом с ним,— ведь едва он услышал мой голос, как вскочил из-за стола и немедленно заключил меня в свои объятья. Милый Ричард! Со мной он был все тот же. Вплоть до... ах, бедный, бедный, мальчик! — вплоть до конца он всегда встречал меня с прежней мальчишеской веселостью.

— Праведное небо! — воскликнул он.— Милая моя Старушка, как вы очутились здесь? Мог ли я думать, что увижу вас? Ничего плохого не случилось? Ада здорова?

— Вполне здорова. И еще больше похорошела, Ричард!

— Эх! — вздохнул он, откинувшись на спинку кресла.— Бедная моя кузина! А я, Эстер, сейчас писал вам.

Он сидел, развалившись в кресле, комкая мелко исписанный лист бумаги, и такой он был молодой, красивый — в самом расцвете,— но какой измученный, издерганный!

— Раз уж вы потрудились столько написать, неужели мне не удастся прочесть ваше письмо? — спросила я.

— Э, дорогая,— ответил он, безнадежно махнув рукой,— только поглядите на эту комнату, и вы прочтете все, что я написал. Вот оно — всюду, во всех углах!

Я ласково уговаривала его не унывать. Сказала, что, случайно узнав о его тяжелом положении, приехала,

чтобы поговорить с ним и вместе найти какой-нибудь выход.

— Это похоже на вас, Эстер; но это — бесполезно, а потому — *не* похоже на вас! — отозвался он с грустной улыбкой.— Сегодня я уезжаю в отпуск — должен был уехать через час,— чтобы уладить дело с продажей моего патента. Пускай! Что сделано, того не воротишь. Итак, военная служба кончилась тем же, чем и прочие мои занятия. Не хватало только, чтобы я сделался священником, а не то я обошел бы полный круг всех профессий.

— Ричард,— начала я,— неужели вы действительно не можете остаться в полку?

— Никак не могу, Эстер,— ответил он.— Мне угрожает позор, да так скоро, что «власть имущим» (как говорится в катехизисе) гораздо удобнее обойтись без меня, чем оставить меня на службе. И они правы. Не говоря уже о моих долгах, настойчивых кредиторах и тому подобных неприятностях, я и сам не гожусь даже для этой службы. Ни к чему у меня не лежит душа; ни к какому делу, кроме одного, нет у меня ни интереса, ни охоты, ни любви. Если бы этот мыльный пузырь и не лопнул,— добавил он, разорвав в клочки свое письмо и разбрасывая обрывки,— все равно я не мог бы уехать из Англии. Ведь меня должны были командировать за границу, но как могу я уехать? Как могу я, умудренный горьким опытом, доверять ведение тяжбы даже Воулсу, если сам не стою у него над душой!

Очевидно, он прочел на моем лице то, что я хотела ему сказать, и взяв мою руку, лежавшую у него на плече, поднес ее к моим губам, чтобы помешать мне произнести хоть слово.

— Нет, Хлопотунья! Я запрещаю... вынужден запретить всякие разговоры на некоторые темы. Их две: первая — Джон Джарндис. Вторая... сами знаете что. Назовите это помешательством, а я скажу, что теперь уж ничего не поделаешь,— я не могу остаться в здравом уме. Но это не помешательство — у меня есть одна-единственная цель, и к ней я стремлюсь. Жаль, что меня заставили свернуть с моего настоящего пути ради каких-то других целей. Вы, чего доброго, скажете, что теперь, после того как я ухлопал на это дело столько времени,

после того как я столько мучился и тревожился, надо его бросить, и это будет разумно! Да, разумно, чего уж разумней! А также очень приятно некоторым лицам; только я никогда этого дела не брошу.

Он был в таком состоянии, что я решила не возражать ему, чтобы не укреплять его решимости (хотя крепче она, пожалуй, и быть не могла). Я вынула и отдала ему письмо Ады.

— Вы хотите, чтобы я прочел его сейчас? — спросил он.

Я ответила утвердительно, а он положил письмо перед собой, облокотился на стол и, опустив голову на руки, начал читать. Но не прочтя и нескольких строк, обеими руками прикрыл лицо, чтобы я его не видела. Немного погодя он встал под тем предлогом, что за столом ему не хватает света, и отошел к окну. Там он читал письмо стоя ко мне спиной, а дочитав, сложил его и, не выпуская из рук, молча стоял еще несколько минут. Когда он вернулся на прежнее место, я заметила на его глазах слезы.

— Вы, Эстер, конечно, знаете, о чем она мне пишет?

Он сказал это мягче, чем говорил раньше, и поцеловал письмо.

— Да, Ричард.

— Она предлагает мне свое маленькое наследство, которое вскоре должна получить,— сказал он и топнул ногой,— денег как раз столько, сколько я промотал,— и она просит и умоляет принять их, чтобы я мог уладить свои дела и остаться на военной службе.

— Я знаю, что ничего она так не желает, как вашего счастья,— сказала я.— Ах, дорогой Ричард, у нее золотое сердце, у вашей Ады.

— Я это знаю. Я... лучше бы мне умереть!

Он снова отошел к окну и, взявшись за раму, опустил голову на руку. Мне было очень больно видеть его в таком состоянии, но я надеялась, что, быть может, он сделается более уступчивым, и не говорила ни слова. Однако я его плохо знала. Могла ли я ожидать, что он от волнения перейдет к новой вспышке чувства обиды?

— И тот самый Джон Джарндис, чье имя мы с вами в других случаях не упоминаем, пытался оторвать от

меня это сердце! — воскликнул он негодующим тоном.— А милая девушка делает мне великодушное предложение, живя в доме этого самого Джона Джарндиса и, наверное, с милостивого согласия и при поддержке того же Джона Джарндиса, который вновь пытается меня подкупить, чтобы я отказался от своих прав.

— Ричард! — воскликнула я, вскочив с места.— Я не хочу слышать от вас такую постыдную клевету! — Первый раз в жизни я тогда по-настоящему рассердилась на него, но и то лишь на мгновение. Стоило мне взглянуть на его осунувшееся молодое лицо, уже выражавшее раскаяние, как я положила руку ему на плечо и сказала: — Пожалуйста, дорогой Ричард, не говорите так со мной. Одумайтесь!

Он принялся беспощадно осуждать себя самым искренним тоном, сказал, что был глубоко неправ и тысячу раз просит у меня прощения. На это я улыбнулась, но не очень весело, потому что все еще дрожала после своей гневной вспышки.

— Принять это предложение, моя дорогая Эстер,— сказал он, садясь рядом со мной и возвращаясь к нашему разговору,— еще раз умоляю вас, простите меня, я глубоко раскаиваюсь,— принять это предложение невозможно; как ни дорога мне Ада, об этом и говорить нечего. Кроме того, я могу показать вам всякие официальные бумаги и документы, которые убедят вас, что с военной службой я покончил. Верьте мне, я уже снял с себя красный мундир. Но как бы я ни тревожился, как бы ни волновался, меня утешает сознание, что, заботясь о своих интересах, я защищаю интересы Ады. Воулс «налег плечом на колесо», а раз он работает для меня, то, значит, и для нее, благодарение богу!

В нем снова вспыхнули какие-то радужные надежды, и черты его прояснились, но видеть его таким мне было еще больнее.

— Нет, нет! — с жаром воскликнул Ричард.— Если бы все маленькое состояние Ады было моим, так и то не стоило бы тратить из него ни фартинга, чтоб удержать меня на том пути, для которого я не гожусь, которым не интересуюсь, который мне надоел. Лучше отдать эти деньги на дело, которое вернет их сторицей, лучше

истратить их там, где перед Адой открывается гораздо больше возможностей. А обо мне не беспокойтесь! Теперь я буду думать только об одном, и мы с Воулсом будем работать для этой цели. Без средств я не останусь. Продам патент и частично расплачусь с некоторыми мелкими ростовщиками, которые теперь, по словам Воулса, ничего не хотят слышать и пристают со своими векселями. Во всяком случае, у меня еще осталось кое-что, а будет больше. Ну, довольно об этом! Отвезите Аде мое письмо, Эстер, и обе вы побольше верьте в меня — не думайте, что я уже совсем погиб, дорогая.

Не буду повторять того, что я говорила Ричарду. Я знаю: все это были скучные увещания, и, конечно, ничего умного я сказать не могла. Но я говорила от всего сердца. Он выслушал меня терпеливо и сочувственно; но я поняла, что говорить с ним сейчас на «запретные» темы — дело безнадежное. Во время этой встречи я поняла, как прав был опекун, когда сказал, что, пытаясь разубеждать Ричарда, мы повредим ему больше, чем если оставим его в покое.

Поэтому я, наконец, попросила Ричарда дать мне доказательства того, что он говорит правду и с военной службой у него действительно все кончено. Он охотно показал мне целую переписку, из которой явствовало, что на его прошение об отставке уже получено согласие. И тут я услышала от него самого, что у мистера Воулса имеются копии всех этих бумаг и что Ричард не раз советовался с ним о продаже патента. Итак, я узнала, как обстоят дела Ричарда, привезла ему письмо Ады и обещала (а я уже обещала) вернуться вместе с ним в Лондон — вот и все; больше никакого толку из моей поездки не вышло. С грустью признав это в душе, я сказала, что вернусь в гостиницу и там подожду его, а он, накинув на плечи плащ, проводил меня и Чарли до ворот, и мы вдвоем с нею пошли обратно по взморью.

В одном месте собралось много любопытных,— они окружили морских офицеров, выходивших из шлюпки на берег, и старались подойти поближе к ним. Я сказала Чарли, что эта шлюпка, наверное, с того огромного корабля, который прибыл из Индии, и мы тоже остановились посмотреть.

Офицеры медленно поднимались на набережную, оживленно болтая друг с другом и с окружившими их людьми, и смотрели по сторонам, явно радуясь своему возвращению в Англию.

— Чарли, Чарли! — сказала я.— Уйдем отсюда! — И я вдруг так заспешила, что моя маленькая горничная не могла скрыть своего удивления.

Лишь тогда, когда мы с ней остались вдвоем в нашей комнатке-каюте и я смогла перевести дух, начала я понимать, почему так поторопилась уйти. В одном из этих загорелых моряков я узнала мистера Аллена Вудкорта, и мне стало страшно — а вдруг он узнает меня? Мне не хотелось, чтобы он видел мое изменившееся лицо. Я была застигнута врасплох и совсем растерялась.

Но я поняла, что так не годится, и сказала себе: «Слушай, милая моя, у тебя нет никаких оснований — нет и не может быть никаких оснований — страдать от этого больше, чем всегда. Какой ты была в прошлом месяце, такая ты и сегодня — не хуже, не лучше. Ты не выполняешь своего решения. Вспомни его, Эстер! Вспомни!» Я вся дрожала — от быстрой ходьбы — и вначале никак не могла успокоиться, но потом мне стало лучше, и я этому очень обрадовалась.

Моряки вошли в гостиницу. Я слышала, как они разговаривают на лестнице. Не было сомнений, что это они, так как я узнала их голоса... вернее, узнала голос мистера Вудкорта. Мне было бы гораздо легче уехать, не повидавшись с ним, но я твердо решила не спасаться бегством. «Нет, милая моя, нет. Нет, нет и нет!»

Я развязала ленты своей шляпы и приподняла вуаль — лучше сказать, наполовину опустила ее, хотя это почти одно и то же,— написала на своей визитной карточке, что нахожусь здесь вместе с мистером Ричардом Карстоном, и послала карточку мистеру Вудкорту. Он пришел сейчас же. Я сказала ему, что очень рада случайно оказаться в числе первых соотечественников, встретивших его по возвращении на родину, в Англию. И я поняла, что ему очень жаль меня.

— За то время, что мы не виделись с вами, мистер Вудкорт, вы многое испытали — кораблекрушение, опас-

ности,— сказала я,— но едва ли можно назвать несчастьем то, что позволило вам сделать столько добра и проявить такое мужество. Мы читали об этом с самым искренним сочувствием. Я впервые узнала все от вашей прежней пациентки, бедной мисс Флайт, когда выздоравливала после своей тяжкой болезни.

— А! Маленькая мисс Флайт! — отозвался он.— Она живет по-прежнему?

— По-прежнему.

Я уже настолько овладела собой, что могла обойтись без вуали и сняла ее.

— Она вам так благодарна, мистер Вудкорт, что это просто трогательно. И ведь она очень любящая душа,— я ее хорошо знаю.

— Вы... вы так думаете? — проговорил он.— Мне... мне это очень приятно.

Ему было до того жаль меня, что он едва мог говорить.

— Верьте мне,— сказала я,— я была глубоко тронута ее сочувствием и вниманием в те трудные для меня дни.

— Я очень огорчился, когда узнал, что вы были тяжело больны.

— Да, я была очень больна.

— Но теперь вы совсем поправились?

— Да, совсем поправилась и по-прежнему жизнерадостна,— сказала я.— Вы знаете, как добр мой опекун и как счастливо мы живем; словом, мне есть за что благодарить судьбу и решительно нечего желать.

Я чувствовала, что он жалеет меня больше, чем я когда-либо сама жалела себя. Оказалось, что это я должна его успокаивать, и на меня нахлынул прилив новых сил, я ощутила в себе новый источник спокойствия. Я стала говорить с ним о его путешествии и планах на будущее, спросила, не собирается ли он вернуться в Индию. Он ответил, что вряд ли вернется туда. В Индии судьба его баловала не больше, чем здесь. Как был он бедным судовым врачом, когда уехал, так и вернулся бедняк бедняком.

Пока мы беседовали и я радовалась, что облегчила ему (если только я имею право употребить это слово)

тяжесть встречи со мной, Ричард вошел в комнату. Он узнал внизу, какой гость сидит у меня, и они встретились с искренним удовольствием.

После того как они поздоровались и поговорили о делах Ричарда, мистер Вудкорт, видимо, начал догадываться, что с юношей не все ладно. Он часто поглядывал на него с таким выражением, словно что-то в лице Ричарда вызывало в нем жалость; не раз бросал он взгляд и на меня, будто желая убедиться, знаю я истину или нет. А ведь Ричард в тот день был оживлен, весел и от души радовался мистеру Вудкорту, который всегда ему нравился.

Ричард предложил ему отправиться в Лондон с нами, но мистер Вудкорт должен был еще немного задержаться на корабле и потому не мог сопутствовать нам. Но пообедали мы все вместе,— было еще довольно рано,— и вскоре он стал почти таким же, каким был прежде, так что я все больше успокаивалась при мысли о том, что сумела смягчить остроту его сострадания ко мне. Зато о Ричарде он все еще беспокоился. Когда карета была уже почти готова к отъезду и Ричард сбежал вниз присмотреть за своими вещами, мистер Вудкорт заговорил со мною о нем.

Я сомневалась, имею ли я право откровенно рассказать ему обо всем, что происходит с Ричардом, и только коротко объяснила, что он разошелся с мистером Джарндисом и запутался в злополучной канцлерской тяжбе. Мистер Вудкорт выслушал мой рассказ сочувственно и выразил сожаление, что все обстоит так плохо.

— Я заметила, что вы довольно внимательно за ним наблюдали,— сказала я.— Вы находите, что он очень переменился?

— Да, переменился,— ответил мистер Вудкорт, покачав головой.

Впервые в тот день я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо, но волнение мое было лишь мимолетным. Я отвернулась, и оно прошло.

— Не то чтобы он казался моложе или старше,— сказал мистер Вудкорт,— худощавее или полнее, бледнее или румяней, чем раньше, но лицо у него стало какое-то странное. Никогда в жизни я не видел такого странного

выражения у человека еще очень молодого. Нельзя сказать, что дело тут только в тревоге или в усталости, хотя он, конечно, устал и постоянно встревожен, и все это похоже на уже зародившееся отчаяние.

— Вам не кажется, что он болен?

— Нет. На вид он здоров.

— А что у него неспокойно на душе, это нам слишком хорошо известно,— продолжала я.— Мистер Вудкорт, ведь вы поедете в Лондон?

— Да, завтра или послезавтра.

— Ричард ни в чем так не нуждается, как в друге. Он всегда был расположен к вам. Прошу вас, зайдите к нему, когда приедете. Навещайте его время от времени, если можете. Очень вас прошу,— этим вы его поддержите. Вы не знаете, как это может ему помочь. Вы и представить себе не можете, как Ада, мистер Джарндис и даже я... как все мы будем благодарить вас, мистер Вудкорт!

— Мисс Саммерсон,— проговорил он, волнуясь все больше,— видит небо, я буду ему верным другом! Раз вы доверили его мне, я принимаю на себя это поручение и буду почитать его священным!

— Благослови вас бог! — сказала я, и глаза мои быстро наполнились слезами, но я подумала: пускай, раз они льются не из-за меня самой.— Ада любит его... мы все его любим, но Ада любит его так, как мы любить не можем. Я передам ей ваши слова. Благодарю вас, и да благословит вас бог за нее!

Едва мы успели наскоро обменяться этими словами, как Ричард вернулся и, взяв меня под руку, пошел вместе со мной садиться в карету.

— Вудкорт, давайте будем встречаться в Лондоне! — сказал он, не подозревая, какое значение имеет его просьба.

— Обязательно! — отозвался мистер Вудкорт. — У меня там, кажется, не осталось ни одного приятеля, кроме вас. А где мне вас найти?

— Мне, конечно, придется где-нибудь обосноваться, но где, я еще и сам не знаю,— сказал Ричард, раздумывая.— Спросите у Воулса в Саймондс-Инне.

— Хорошо! И чем скорей мы увидимся, тем лучше.

Они горячо пожали друг другу руки. Когда я уже сидела в карете, а Ричард еще стоял на улице, мистер Вудкорт дружески положил ему руку на плечо и взглянул на меня. Я поняла его и в благодарность помахала ему рукой.

Мы тронулись в путь, а он все еще не отрывал от меня глаз, и в этом последнем взгляде я прочла его глубокое сострадание ко мне. И я была рада этому. На себя прежнюю я теперь смотрела так, как мертвые смотрят на живых, если когда-нибудь вновь посещают землю. Я была рада, что меня вспоминают с нежностью, ласково жалеют и не совсем забыли.

## ГЛАВА XLVI

### *«Держи его!»*

Тьма покрыла Одинокий Том. Все расползаясь и расползаясь с тех пор, как вчера вечером зашло солнце, она расползлась так широко, что постепенно заполнила все пустоты этого гиблого места. Некоторое время здесь кое-где еле теплились бледные, словно под землей горящие, огоньки,— как еле теплится в Одиноком Томе светильник Жизни,— с трудом, с великим трудом пробиваясь сквозь тяжелый зловонный воздух и мигая, как подмигивает этот светильник в Одиноком Томе многим мерзостям. Но все огни потухли. Луна часами смотрела тусклым холодным взглядом на Тома, словно признавая в нем слабого своего соперника и видя отдаленное сходство с собой в этой пустыне, непригодной для жизни и пожираемой внутренним пламенем; но луна зашла и исчезла. Ужасные кошмары, словно чернейшие кони из конюшни ада, что вышли на свое пастбище, носятся над Одиноким Томом, а Том крепко спит.

Много произносилось речей и в парламенте и в других местах по поводу Тома и много было ожесточенных споров насчет того, как лучше исправить этот самый Том — вернуть ли его на путь истинный при помощи полицейских, или приходских надзирателей, или колокольного звона, или цифровых данных, или правильно развитого вкуса, или Высокой церкви, или Низкой церкви *,



или вовсе обойдясь без церкви; приказать ли ему расщеплять кривым ножом его разума полемическую солому, или же заставить его дробить камни. Из всей этой суеты и шумихи вытекает лишь одно несомненное следствие, а именно: Том сможет или сумеет, захочет или будет исправляться только в чьей-то теории, которую никто к нему не приложит на практике. А тем временем, тем многообещающим временем Том по-прежнему неуклонно летит вниз головой в пропасть вечной погибели.

Но он мстит. Самые ветры служат ему посланцами и работают на него в эти часы мрака. Нет капли в испорченной крови Тома, которая не занесла бы куда-нибудь заразы и болезни. Вот этой нынешней ночью она осквернит поток избранной крови (которую химики, сделав ее анализ, наверное, признáют подлинно благородной) — крови одного норманского рода *,— и его светлость не сможет отречься от позорного родства. Нет атома в грязи, покрывающей Том, нет частицы в том отравленном воздухе, которым он дышит, нет непотребства и низости, ему свойственных, нет деяния, совершенного им по невежеству, злобе или жестокости, которые не обратились бы в возмездие за его обиды, проникнув во все слои общества вплоть до надменнейших из надменных и высочайших из высоких. Осквернением, грабежом, развратом Том поистине мстит за себя.

Трудно сказать, когда Одинокий Том безобразнее — днем или ночью,— но если признать, что чем лучше он виден, тем он противней на вид, и что никакое воображение не может представить его себе хуже, чем он есть в действительности, то придется сделать вывод, что он безобразнее днем. А день как раз наступает; но было бы лучше для славы нации, чтобы солнце все-таки иногда заходило во владениях Британской империи, чем всходило над таким мерзостным чудищем, как Том.

Смуглый, загорелый джентльмен, которому, видимо, не спится и поэтому приятнее бродить по улицам, чем метаться в постели, считая ночные часы, заходит сюда в эти тихие предрассветные минуты. Все здесь возбуждает его любопытство, и он часто останавливается и окидывает взглядом убогие переулки. Однако он, должно быть, испытывает не только любопытство,— когда он

смотрит по сторонам, в его живых темных глазах светятся сострадание и участие, словно он понимает весь ужас подобной нищеты и, вероятно, когда-то уже познакомился с нею.

По краям забитой грязью зловонной канавы — главной улицы Одинокого Тома — стоят, еле держась на месте, полуразрушенные лачуги, запертые и безмолвные. Нигде ни живой души, кроме этого путника да какой-то одинокой женщины, примостившейся на чужом пороге. Путник направляется в ее сторону. Приблизившись, он догадывается, что она пришла пешком издалека — ноги у нее стерты и покрыты дорожной пылью. Она сидит на пороге, облокотившись на колено, опустив голову на руку, и, должно быть, ждет кого-то. Рядом с нею лежит парусиновый мешок или узел, который она принесла с собой. Женщина, вероятно, задремала — она не слышит приближающихся шагов.

Выщербленный тротуар так узок, что Аллен Вудкорт вынужден свернуть на мостовую, чтобы обойти эту женщину. Заглянув ей в лицо, он встречается с нею взглядом и останавливается.

— Что с вами?

— Ничего, сэр.

— Вы не можете достучаться? Хотите войти в этот дом?

— Да нет; просто дожидаюсь, пока не откроется ночлежка — это в другом доме... не здесь,— терпеливо объясняет женщина.— А села я на пороге потому, что скоро тут солнышко пригреет, а я озябла.

— Вы, должно быть, устали. Смотреть жалко, как вы сидите на улице.

— Спасибо вам, сэр. Ничего, посижу.

Он привык разговаривать с бедняками, и говорит он не тем покровительственным, или снисходительным, или ребяческим тоном, каким с ними беседуют обычно (ведь, по мнению многих, самый утонченный способ подойти к бедняку — это заговорить с ним языком прописей), поэтому женщина быстро перестает робеть и стесняться.

— Покажите-ка мне лоб,— говорит он, наклоняясь к ней.— Я лекарь. Не бойтесь. Я не сделаю вам больно.

Он знает, что, прикоснувшись к ней искусной и опытной рукой, он быстрее рассеет ее недоверие. Она сначала

отнекивается, твердя: «Не надо, это пустяк», но не успел он тронуть пальцем пораненное место, как она подняла голову, чтоб ему было лучше видно.

— Да! Сильный ушиб и большая ссадина. Наверное, очень больно.

— Побаливает, сэр,— отвечает женщина, и слеза катится по ее щеке.

— Давайте-ка я вас полечу. Вот только оботру носовым платком, и все,— от платка больней не будет.

— Ну, конечно, сэр, я понимаю.

Он очищает пораненное место, обтирает его и, внимательно осмотрев, осторожно прижимает ладонью; потом, вынув из кармана коробочку с перевязочными материалами, промывает и бинтует рану. Занимаясь своим делом, он подшучивает над тем, что устроил хирургический кабинет на улице, потом спрашивает:

— Значит, ваш муж кирпичник?

— А вы почем знаете, сэр? — спрашивает женщина с удивлением.

— Просто я заметил, какого цвета глина на вашем мешке и платье, вот и догадался. И я знаю, что кирпичники бродят по разным местам в поисках сдельной работы. Как ни грустно, но знавал я и таких кирпичников, что поколачивают своих жен.

Женщина, быстро подняв глаза, кажется, хочет сказать, что ушиблась сама, а муж тут ни при чем. Но она чувствует, как лекарь кладет руку ей на лоб, видит, какое у него спокойное, сосредоточенное лицо, и молча опускает глаза.

— Где же сейчас ваш муж? — спрашивает лекарь.

— Вчера вечером с ним беда приключилась, сэр,— попал в кутузку; а выйдет — придет за мной в ночлежку.

— Не миновать ему беды похуже, если он часто будет давать волю кулакам,— ведь он же ударил вас. Но сами вы его, грубияна, прощаете, так что я больше не буду о нем говорить; только от души пожелаю, чтобы он заслужил ваше прощение. У вас есть ребенок?

Женщина качает головой.

— Есть-то есть, только не я его родила,— это ребенок Лиз; но для меня он все равно что свой.

— Значит, ваш умер. Понимаю! Бедный малыш!

Он уже кончил перевязывать рану и убирает коробочку.

— Наверное, у вас есть где-нибудь постоянное жилье. Далеко отсюда? — спрашивает он, добродушно отмахиваясь от благодарности, когда женщина встает и приседает перед ним.

— Далеко ли отсюда? Пожалуй, добрых двадцать две мили будет, сэр, а не то и все двадцать три. В Сент-Олбенсе. А вы, сэр, слыхали про Сент-Олбенс? Должно быть, слыхали — мне показалось, будто вы вздрогнули.

— Да, слыхал. А теперь я еще спрошу у вас кое о чем. У вас есть деньги на ночлег?

— Да, сэр,— отвечает она,— денег у меня хватит.

И она показывает ему деньги. Потом застенчиво и горячо благодарит его, а он отвечает: «Не за что»,— прощается с нею и уходит прочь. Одинокий Том все еще спит, и ничто в нем даже не шевелится.

Нет, что-то все-таки шевелится! Молодой человек, вернувшись на место, с которого издали заметил женщину, сидящую на пороге, видит, как оборванец-нищий очень осторожно пробирается вперед, боязливо протянув перед собой руку и прижимаясь к грязным стенам, от которых и самым последним нищим лучше бы держаться подальше. Это подросток с изможденным лицом и голодным блеском в горящих глазах. Он так старается пройти незамеченным, что даже появление чужого в этих краях прилично одетого человека не соблазняет его оглянуться назад. Перейдя на другую сторону улицы, он ковыляет по ней, прикрыв лицо истрепанным рукавом, и то вдруг отшатнется назад, то снова двинется вперед, крадучись и в тревоге протянув перед собой руку, а его бесформенные лохмотья висят на нем клочьями, и невозможно догадаться, из чего сотканы эти лохмотья и для какой цели. По цвету и ветхости они смахивают на охапку прелых листьев болотного кустарника, гниющих уже давно.

Аллен Вудкорт останавливается, смотрит ему вслед и, разглядев его, смутно вспоминает, что когда-то видел этого мальчика. Он не может вспомнить — где и когда; но оборванец что-то напомнил ему. Наконец Аллен решает, что видел его где-нибудь в больнице или приюте,

но все-таки не может понять, почему этот мальчишка ему запомнился.

Раздумывая об этом, он постепенно выходит из Одинокого Тома на те улицы, где утро уже наступило, как вдруг слышит, что кто-то бежит сзади него, и, оглянувшись, видит, как мальчик мчится куда-то во всю прыть, а женщина с пораненным лбом несется за ним вдогонку.

— Держи его! Держи! — кричит женщина, задыхаясь.— Держите его, сэр!

Перебежав дорогу, Аллен Вудкорт кидается наперерез подростку, но тот оказался проворней — бросился вбок, пригнулся, выскользнул из рук Аллена и, отбежав на несколько ярдов, выпрямился и снова понесся во весь дух. Женщина гонится за ним, крича: «Держите его, сэр! Держите, ради бога!» У Аллена мелькает подозрение, что мальчишка только что украл у женщины деньги, и, приняв участие в погоне, он бежит так быстро, что то и дело нагоняет беглеца; но тот всякий раз бросается вбок, пригибается, ускользает из рук и мчится дальше. Поравнявшись с ним, можно было бы хватить его кулаком, сбить с ног и задержать, но преследователь не может на это решиться, и безобразная, нелепая погоня продолжается. Поняв, наконец, что деться ему некуда, беглец ныряет в узкий проход и попадает во двор, из которого нет выхода. Здесь, у гнилого забора, путь его оканчивается, и мальчик валится на землю, задыхаясь и глядя на своего преследователя, который стоит, тоже задыхаясь и глядя на него, пока не подбегает женщина.

— Ох, Джо, ты, Джо! — кричит женщина.— Вот ты какой! Наконец-то я тебя нашла!

— Джо! — повторяет Аллен, внимательно его разглядывая.— Джо! Погодите... Ну, конечно — он и есть! Да ведь этого малого приводили на допрос к коронеру.

— Ну да, я вас видел раз, на дознании,— жалобно лепечет Джо.— Ну и что? Неужто нельзя оставить в покое такого горемыку, как я? Может, вам мало моего горя? Хотите, чтоб мне еще горше было? Меня все гнали да гнали, то один из вас, то другой, пока от меня только кожа да кости остались. А что дознание было, так неужто это *я* виноват? *Я-то* ведь ничего худого не сделал. Тот очень добрый был, жалел меня; кто-кто только не

ходил по моему перекрестку, а разговаривал со мной он один. Да неужто это я затеял, чтоб дознавались про его смерть? Лучше б уж про мою. Лучше бы уж мне пойти на реку да просверлить головой дырку в воде. Право, лучше.

Он бормочет таким жалобным голосом, его грязные слезы кажутся такими искренними, он лежит в углу под забором, до того похожий на гриб или какой-то болезненный нарост, который вырос тут среди грязи и мерзости, что Аллен Вудкорт растроган. Он спрашивает у женщины:

— Вот несчастный! Что он такого натворил?

Не отвечая, она только покачивает головой, глядя на лежащего мальчика не сердито, но удивленно, и бормоча: «Эх, Джо, ты, Джо! Наконец-то я тебя отыскала!»

— Что он натворил? — спрашивает Аллен.— Ограбил вас?

— Да нет, сэр, что вы! Разве он станет у меня воровать! Мне он не сделал ничего, кроме хорошего; в том-то и чудо.

Аллен смотрит то на Джо, то на женщину, ожидая, чтобы кто-нибудь разгадал ему эту загадку.

— Он как-то раз пришел ко мне, сэр...— говорит женщина,— эх, Джо!.. пришел ко мне, сэр, в Сент-Олбенс, совсем больной, но я не посмела оставить его у себя, а одна молодая леди (которая много мне помогала, спасибо ей!) пожалела его и увела к себе домой...

Аллен в ужасе отшатывается от мальчика.

— Да, сэр, да! Оставила его ночевать у себя в доме, накормила, напоила, а он, неблагодарный этакий, взял да и сбежал ночью, и с тех пор ни слуху ни духу о нем не было, пока он вот сейчас не попался мне на глаза. А молодая леди (такая она была милая и красивая) заразилась от него оспой, потеряла свою красоту, и теперь ее, пожалуй, и не узнать бы, если бы не остались при ней ее ангельская душа, да ладное сложение, да нежный голос... Знаешь ты это? Неблагодарный этакий, знаешь ты, что все это приключилось из-за тебя и через ее доброту к тебе? — спрашивает женщина, начиная сердиться на мальчика при этом воспоминании и вдруг заливаясь горючими слезами.

Мальчик, ошеломленный этой новостью, растерянно трет грязный лоб грязной ладонью, смотрит в землю и так дрожит всем телом, что скрипит ветхий забор, к которому он прислонился.

Взмахом руки Аллен останавливает женщину, и она умолкает.

— Ричард рассказывал мне...— начинает он, запинаясь,— то есть я вообще слышал обо всем этом. Подождите минуту, не обращайте на меня внимания; я сейчас поговорю с ним.

Отойдя в сторону, он некоторое время стоит близ крытого прохода и смотрит в пространство. Возвращается он уже овладев собой, но борясь с желанием бросить этого мальчишку на произвол судьбы, и внутренняя борьба его так заметна, что женщина не сводит с него глаз.

— Ты слышишь, что̀ она говорит? Впрочем, встань-ка лучше, встань!

Дрожа и пошатываясь, Джо медленно поднимается на ноги и становится,— как и все его собратья, когда они в затруднительном положении,— боком к собеседнику, опираясь костлявым плечом о забор и украдкой почесывая правой рукой левую ладонь, а левой ступней правую ногу.

— Ты слышал, что она сказала; я знаю, что все это правда. Ты бывал здесь с тех пор?

— Помереть мне на этом месте, если я был в Одиноком Томе до нынешнего проклятого утра,— отвечает Джо хриплым голосом.

— А зачем ты пришел сюда теперь?

Джо оглядывает тесный двор, смотрит на собеседника, не поднимая глаз выше его колен, и, наконец, отвечает:

— Я ведь никакого ремесла не знаю и никакой работы найти не могу. Совсем обнищал, да и заболел к тому же, ну и подумал: дай-ка я вернусь сюда, покуда все еще спят, спрячусь тут в одном знакомом месте, полежу до темноты, а тогда пойду попрошу милостыни у мистера Сенгсби. Он, бывало, всегда подаст мне сколько-нибудь, хотя миссис Сенгсби, та всякий раз меня прогоняла... как и все отовсюду.

— Откуда ты пришел?

Джо снова оглядывает двор, переводит глаза на колени собеседника и, наконец, опять прижимается щекой к забору, как видно покорившись своей участи.

— Слышишь, что я говорю? Я спрашиваю, откуда ты пришел?

— Ну, бродяжничал, коли на то пошло,— отвечает Джо.

— Теперь скажи мне,— продолжает Аллен, с большим трудом превозмогая отвращение, и, подойдя вплотную к мальчику, наклоняется к нему, стараясь завоевать его доверие,— скажи, отчего ты сбежал из того дома, когда добрая молодая леди пожалела тебя на свое горе и взяла к себе?

Тупая покорность Джо внезапно сменяется возбуждением, и, обращаясь к женщине, он горячо говорит, что знать не знал о том, что случилось с молодой леди,— и слыхом не слыхал,— и не за тем он пошел к ней, чтоб ей повредить, да он лучше сам себе повредил бы, лучше дал бы отрезать несчастную свою голову, кабы можно было так сделать, чтоб он и не подходил к ней; а она добрая была, очень добрая, пожалела его...— и все это он говорит таким тоном и с таким выражением лица, что искренность его не оставляет сомнений, а в заключение заливается горькими слезами.

Аллен Вудкорт видит, что это не притворство. Он заставляет себя дотронуться до мальчика.

— Ну-ка, Джо, скажи мне всю правду!

— Нет; не смею,— говорит Джо, снова отворачиваясь.— Не смею, а смел бы, так сказал бы.

— Но мне нужно знать, почему ты сбежал,— говорит Аллен.— Ну, Джо, говори!

Он повторяет это несколько раз, и Джо, наконец, поднимает голову, снова обводит глазами двор и говорит негромко:

— Ладно, кое-что скажу. Меня увели. Вот что!

— Увели? Ночью?

— Ага!

Очень опасаясь, как бы его не подслушали, Джо оглядывается кругом и даже смотрит на самый верх высокого, футов в десять, забора и сквозь щели в нем,

как будто предмет его опасений может вдруг заглянуть через этот забор или спрятаться за ним.

— Кто тебя увел?

— Не смею сказать,— отвечает Джо.— Не смею, сэр.

— Но я хочу знать все — это нужно ради молодой леди. Можешь на меня положиться — я никому не перескажу. Говори, никто не услышит.

— Вот уж не знаю,— сомневается Джо, опасливо покачивая головой.— Один человек, пожалуй, *услышит!*

— Ну что ты! Здесь же никого нет, кроме нас.

— Нет, по-вашему? — говорит Джо.— А если есть? Ведь он бывает и тут и там — во многих местах зараз.

Аллен смотрит на него в недоумении, но чувствует в этих нелепых словах какую-то правду, а что они сказаны искренне, в этом сомневаться нельзя. Он терпеливо ожидает подробного объяснения, а Джо, потрясенный не столько его настойчивостью, сколько терпением, наконец сдается и в отчаянии шепчет ему на ухо чье-то имя.

— Вот оно что! — говорит Аллен.— Но почему? Что ты наделал?

— Ничего, сэр. Никогда я ничего худого не делал, разве что задерживался на одном месте, да вот еще к дознанию меня притянули. Ну а теперь уж я не задерживаюсь — все иду да иду. На кладбище иду — вот куда.

— Нет, нет; туда мы тебя не пустим. Но что он сделал с тобой?

— Положил в больницу,— шепчет в ответ Джо,— ну я и лежал, покуда не выписали; потом деньжонок дал... четыре монеты, то есть четыре полукроны, и говорит: «Убирайся прочь! Никому ты здесь не нужен, говорит, ну так и убирайся подальше. Ступай бродяжничать, говорит. Не задерживайся на одном месте, говорит. Чтоб глаза мои тебя больше не видели ближе, чем за сорок миль от Лондона, а не то каяться будешь». Да и буду каяться, дай ему только меня увидеть — а уж он увидит, будьте покойны, если только я сквозь землю не провалюсь,— заключает Джо и в тревоге снова озирается по сторонам.

Некоторое время Аллен раздумывает обо всем этом; потом обращается к женщине, не сводя с Джо ободряющего взгляда:

— Он не такой неблагодарный, как вы думали. У него была причина сбежать, хоть и неуважительная.

— Спасибо вам, сэр, спасибо! — восклицает Джо.— Вот видите! Сами видите, тетушка, что зря вы на меня поклеп взвели. Только обязательно скажите молодой леди, как джентльмен про меня говорил, вот и ладно будет. Что ж, *вы* ведь тоже меня пожалели, я понимаю.

— Ну, Джо,— говорит Аллен, не сводя с него глаз,— пойдем-ка теперь со мной, и я найду тебе место получше; там ты ляжешь и спрячешься. Я пойду по одной стороне улицы, а ты по другой, чтобы на нас не обратили внимания, и ты обещай мне, что не убежишь; а свое обещание ты сдержишь, в этом я уверен.

— Не убегу... вот разве только увижу, что *он* идет, сэр.

— Отлично; верю на слово. Сейчас полгорода уже встает, а через час проснется весь город. Пойдем... До свиданья, сестрица.

— До свиданья, сэр; премного вам благодарна.

Женщина все время сидела на своем мешке и внимательно слушала, а теперь поднимается и берет мешок в руки. Джо повторяет: «Только вы обязательно скажите молодой леди, что не хотел я ей повредить, и передайте, что̀ говорил про меня джентльмен!», потом, кивнув ей, идет, волоча ноги, дрожа, размазывая на лице грязь и мигая; кричит ей что-то на прощанье, не то смеясь, не то плача, и крадучись плетется позади Аллена Вудкорта, прижимаясь к домам на другой стороне улицы. Таким порядком оба они выходят из Одинокого Тома туда, где ярко светит солнце и где воздух чище.

## ГЛАВА XLVII

### *Завещание Джо*

Проходя вместе с Джо по улицам, где в утреннем свете высокие шпили церквей да и все отдаленные предметы кажутся такими отчетливыми и близкими, что невольно чудится, будто самый город обновился после ноч-

ного отдыха, Аллен Вудкорт обдумывает, как и где ему приютить своего спутника. «До чего это странно,— думает он,— что в самом сердце цивилизованного мира труднее приютить человека, чем бездомную собаку». Да, как ни странно, но так оно и есть,— и вправду труднее.

Первое время Аллен то и дело оглядывается — не убежал бы Джо. Но, сколько бы он ни смотрел, он всякий раз видит, как мальчик жмется к стенам домов на той стороне улицы, осторожной рукой нащупывая себе путь от кирпича к кирпичу и от двери к двери, и крадучись двигается вперед, настороженно следя глазами за спутником. Уверившись вскоре, что Джо не собирается удирать, Аллен идет дальше, обдумывая, как быть.

Увидев съестной ларек на углу, Аллен понимает, что̀ нужно сделать прежде всего. Он останавливается, оглядывается и кивком подзывает Джо. Перейдя улицу, Джо приближается, то и дело останавливаясь, волоча ноги и медленно растирая правым кулаком согнутую ковшиком левую ладонь,— кажется, будто он, получив в дар от природы пестик и ступку, мешает тесто из грязи. Джо подают завтрак, который представляется ему роскошным, и мальчик начинает глотать кофе и жевать хлеб с маслом, тревожно озираясь по сторонам, как испуганное животное.

Но он чувствует себя таким больным и несчастным, что ему теперь даже есть не хочется.

— Я думал — с голоду помираю,— говорит Джо немного погодя и перестает есть,— а выходит — и тут ошибся... ничего-то я не знаю, ничего понять не могу. Не хочется мне ни есть, ни пить.

И Джо стоит, дрожа всем телом и в недоумении глядя на завтрак.

Аллен Вудкорт щупает его пульс и кладет руку ему на грудь.

— Дыши глубже, Джо.

— Трудно мне дышать,— говорит Джо,— ползет оно еле-еле, дыхание-то... словно повозка тяжелая тащится.— Он мог бы добавить: «И скрипит, как повозка», но только бормочет: — Нельзя мне задерживаться, сэр.

Аллен ищет глазами аптеку. Аптеки по соседству нет, но есть трактир, и это, пожалуй, даже лучше. Он приносит рюмку вина и приказывает Джо отпить немножко. Мальчик начинает оживать после первого же глотка.

— Можешь выпить еще чуть-чуть, Джо,— говорит Аллен, внимательно наблюдая за ним.— Вот так! Теперь отдохнем минут пять и пойдем дальше.

Мальчик сидит на скамье у съестного ларька, прислонившись спиной к железной решетке, а Аллен Вудкорт прохаживается взад и вперед по улице, освещенной утренним солнцем, и время от времени бросает взгляд на своего спутника, стараясь не показать, что следит за ним. Не нужно особой наблюдательности, чтобы заметить, как согрелся и подкрепился мальчик. Его лицо немного проясняется, если только может проясниться лицо столь хмурое, и он постепенно доедает ломоть хлеба с маслом, от которого раньше отказывался. Подметив эти благоприятные признаки, Аллен заговаривает с ним и, к своему немалому удивлению, узнает о встрече с леди под вуалью и обо всем, что из этого вышло. Медленно пережевывая хлеб, Джо медленно рассказывает, как было дело. После того как он покончил и с рассказом и с хлебом, путники идут дальше.

Не зная, где найти временное убежище для мальчика, Аллен решает посоветоваться со своей бывшей пациенткой, услужливой старушкой мисс Флайт, и направляется к тому переулку, где впервые встретился с Джо. Но в лавке старьевщика теперь все по-другому. Мисс Флайт уже не живет здесь; лавка закрыта; девица неопределенного возраста, с жесткими чертами лица, потемневшего от пыли,— не кто иная, как прелестная Джуди,— резко и скупо отвечает на вопросы. Все-таки посетитель узнает, что мисс Флайт переселилась со своими птичками к миссис Блайндер, и тогда идет вместе с Джо в Белл-Ярд, который находится по соседству; а там мисс Флайт (которая встает рано, чтобы не опаздывать на «Суд скорый и правый», где председательствует ее добрый друг канцлер) мчится вниз по лестнице, проливая радостные слезы и раскрыв объятия.

— Мой дорогой доктор! — восклицает мисс Флайт.— Мой заслуженный, доблестный, уважаемый офицер!

Выражается она, правда, немного вычурно, но она так же приветлива и сердечна, как и самые здравые умом люди,— пожалуй, даже больше. Аллен, всегда терпеливый с нею, ждет, пока она не истощит всех своих запасов восторга, и, показав рукой на Джо, который стоит в дверях, весь дрожа, объясняет, зачем он сюда пришел.

— Нельзя ли мне поместить его на время где-нибудь поблизости? Вы такая опытная, такая рассудительная,— посоветуйте что-нибудь.

Мисс Флайт, весьма польщенная комплиментом, задумывается; но блестящая мысль приходит ей в голову не сразу. У миссис Блайндер весь дом занят, а сама мисс Флайт живет в комнате бедного Гридли.

— Гридли! — восклицает вдруг мисс Флайт, хлопнув в ладоши после того, как раз двадцать сказала, что живет в его комнате.— Гридли! Ну, разумеется! Конечно! Мой дорогой доктор! Нам поможет генерал Джордж.

Бесполезно было бы спрашивать, что это за «генерал Джордж», даже если бы мисс Флайт уже не умчалась наверх, чтобы нацепить на себя общипанную шляпку и ветхую шаль и вооружиться своим ридикюлем с документами. Но вот она возвращается в парадном туалете и, как всегда бессвязно, объясняет доктору, что «генерал Джордж», у которого она часто бывает, знаком с ее дорогой Фиц-Джарндис и принимает близко к сердцу все, что ее касается, и тогда Аллен начинает думать, что, пожалуй, он избрал правильный путь. Желая подбодрить Джо, он говорит, что теперь их путешествие скоро кончится, и все вместе они отправляются к «генералу». К счастью, он живет недалеко.

Наружный вид «Галереи Джорджа», длинный коридор и открывающееся за ним просторное, почти пустое помещение кажутся Аллену Вудкорту подходящими. Располагает его к себе и внешность самого мистера Джорджа, который совершает свой утренний моцион, расхаживая по галерее с трубкой во рту и без сюртука, так что мускулы его рук, развитых фехтованием и гимнастическими гирями, отчетливо выделяются под рукавами тонкой рубашки.

— Ваш слуга, сэр,— говорит мистер Джордж, кланяясь по-военному.

Добродушная улыбка расплывается по всему его лицу вплоть до широкого лба и вьющихся волос, когда он здоровается с мисс Флайт, которая очень чинно и довольно медленно совершает торжественную церемонию представления. В заключение он повторяет: «Ваш слуга, сэр»,— и снова кланяется.

— Простите, сэр, вы — моряк, если не ошибаюсь? — спрашивает мистер Джордж.

— Я горжусь тем, что меня принимают за моряка,— отвечает Аллен,— но я был только судовым лекарем.

— Вот как, сэр! А я было подумал, что вы настоящий морской волк.

Аллен выражает надежду, что мистер Джордж тем охотнее извинит его за вторжение и снова закурит трубку, которую хотел было отложить в сторону из вежливости.

— Очень благодарен, сэр,— говорит кавалерист.— Я знаю по опыту, что мисс Флайт относится снисходительно к моему куренью, и если вы тоже...— и, не докончив фразы, он снова берет трубку.

Аллен рассказывает ему все, что знает про Джо, а кавалерист слушает, и лицо у него очень серьезное.

— Значит, это и есть тот парень, сэр,— спрашивает он, выглянув наружу и увидев Джо, который стоит, уставившись на огромные буквы, начертанные на выбеленной передней стене здания и не имеющие для него никакого смысла.

— Он самый,— отвечает Аллен.— И вот, мистер Джордж, я прямо не знаю, как мне с ним быть. Не хочется помещать его в больницу, даже если бы мне удалось выхлопотать, чтобы его туда приняли немедленно — ведь если его и примут, все равно пробудет он там недолго. Сбежит он и из работного дома, даже если у меня хватит терпения добиться, чтобы его приняли,— ведь когда чего-нибудь добиваешься, только и слышишь, что разные отговорки да увертки и тебя то и дело гоняют из одного места в другое; а это мне не по вкусу.

— Никому это не по вкусу, сэр,— отзывается мистер Джордж.

— Он ни в коем случае не останется ни в больнице, ни в работном доме, потому что смертельно боится того

человека, который велел ему «убраться подальше». В своем невежестве он верит, что этот человек вездесущ и всеведущ.

— Простите, сэр,— говорит мистер Джордж,— но вы не сказали, как его фамилия. Или ее нужно хранить в тайне, сэр?

— Да нет, просто мальчик делает из нее тайну. Фамилия этого человека Баккет.

— Тот Баккет, что служит в сыскной полиции, сэр?

— Он самый.

— Я его знаю, сэр,— говорит кавалерист, выпустив клуб дыма и расправляя грудь,— а мальчишка прав в том смысле, что этот Баккет бесспорно хитрая бестия.

И мистер Джордж продолжает курить с многозначительным видом, молча поглядывая на мисс Флайт.

— Видите ли, мне хочется, чтобы мистер Джарндис и мисс Саммерсон узнали, что этот Джо,— который сейчас рассказал мне такую невероятную историю,— наконец-то нашелся, и чтобы они смогли поговорить с ним, если пожелают. Поэтому я хочу нанять для него угол у порядочных людей, которые согласились бы принять его. Джо очень редко общался с порядочными людьми, мистер Джордж,— говорит Аллен, заметив, что кавалерист смотрит в сторону входа.— В этом вся трудность. Может, вы знаете кого-нибудь по соседству, кто согласится принять его к себе ненадолго, если я заплачу за него вперед?

Задавая этот вопрос, он замечает грязнолицего маленького человека с причудливо искривленным телом и перекошенным лицом, который стоит рядом с кавалеристом и смотрит ему в глаза снизу вверх. Еще немного попыхтев трубкой, кавалерист вопросительно смотрит сверху вниз на маленького человека, а тот подмигивает ему.

— Надо вам знать, сэр,— говорит мистер Джордж,— что я хоть сейчас дал бы голову себе проломить, если бы только это могло доставить удовольствие мисс Саммерсон, и, стало быть, почитаю за честь оказать этой молодой леди любую услугу, пусть хоть самую малую. Мы сами живем тут, как бродяги, сэр, и Фил и я. Видите, какая у нас обстановка. Если хотите, мы охотно отведем мальчику уголок, где ему будет спокойно. Никакой платы

не нужно, кроме как за питание. Дела наши идут не блестяще, сэр. Нас когда угодно могут вышвырнуть отсюда вон со всеми потрохами. Тем не менее, сэр, располагайте этим помещением, худо ли оно, хорошо ли, пока мы сами еще живем здесь.

Сделав широкий жест трубкой, мистер Джордж как бы предоставляет все здание галереи в распоряжение гостя.

— Я полагаю, сэр,— добавляет он,— вы, как медик, можете сказать, что на этот раз болезнь у бедняги не заразительная?

Аллен в этом совершенно уверен.

— Потому что заразой, сэр, мы сыты по горло,— поясняет мистер Джордж, печально покачав головой.

Его новый знакомый так же печально соглашается с этим.

— Я все же обязан сказать вам кое-что,— говорит Аллен, повторив, что болезнь у Джо не заразная,— мальчик очень плох, очень ослабел, и, может быть — наверное я знать не могу,— болезнь его так запущена, что он не выздоровеет.

— Вы находите, что он в опасности, сэр? — осведомляется кавалерист.

— Да, к сожалению.

— В таком случае, сэр,— решительно говорит кавалерист,— мне кажется,— ведь я и сам бродяга,— мне кажется, что чем скорей он войдет в дом, тем лучше. Эй, Фил! Веди-ка его сюда!

Мистер Сквод, весь перекосившись, бросается выполнять приказ, а кавалерист, докурив трубку, кладет ее на место. Мальчика приводят в галерею. Он не индеец из племени Токехупо, о котором хлопочет миссис Пардигл: он не ягненок из стада миссис Джеллиби, так как не имеет ни малейшего отношения к Бориобула-Гха; он не приукрашен отдаленностью и экзотикой; он не настоящий дикарь, не такой дикарь, который рожден и вырос в чужих странах; он самый обыкновенный продукт отечественного производства. Грязный, некрасивый, неприятный для всех пяти чувств; телом — заурядное детище заурядных улиц, и только душой — язычник. Доморощенная грязь оскверняет его, доморощенные паразиты

пожирают его, точат его доморощенные болезни, покрывают его домотканые отрепья; отечественное невежество — порождение английской почвы и английского климата — так принизило его бессмертную природу, что он опустился ниже зверей, обреченных на погибель. Предстань, Джо, в своем неприкрашенном облике! От подошв на ступнях твоих и до темени на голове твоей нет в тебе ничего интересного.

Медленно, волоча ноги, входит Джо в галерею мистера Джорджа и стоит, сжавшись в комок и блуждая глазами по полу. Он как будто знает, что этим людям хочется отстраниться от него, и их желание отчасти вызвано им самим, отчасти тем горем, которое он причинил. И он тоже сторонится их. Он не из их среды, не из их мира. Он не принадлежит ни к какой среде, ему нет места ни в каком мире — ни в зверином, ни в человеческом.

— Слушай, Джо! — говорит Аллен.— Вот это мистер Джордж.

Джо еще некоторое время шарит взглядом по полу, потом на миг поднимает глаза, но сейчас же снова опускает их.

— Он твой добрый друг — хочет приютить тебя здесь у себя.

Джо вместо поклона загребает воздух рукой, сложенной ковшиком. Немного подумав и переступив с ноги на ногу, он бормочет: «Большое спасибо».

— Здесь тебе ничто не грозит. Будь послушным и поправляйся — вот все, что от тебя сейчас требуется. И ты всегда должен говорить нам правду, Джо, запомни это.

— Помереть мне на этом месте,— произносит Джо свое излюбленное выражение,— если не буду слушаться, сэр! Ничего я худого не сделал, кроме того, о чем вы знаете. И ничего худого со мной не случалось, сэр, только то и было, что ничего я знать не знал да чуть с голоду не подох.

— Верю. Теперь послушай, что̀ скажет мистер Джордж. Я вижу, он хочет поговорить с тобой.

— Я только хотел, сэр, показать ему место, где он может улечься и выспаться как следует,— говорит мистер Джордж, такой прямой и широкоплечий, что подивиться можно.— Пойдем-ка! — Кавалерист уводит Джо в дальний

угол галереи и открывает чуланчик.— Видишь, вот ты и дома! Вот тебе тюфяк, и если будешь хорошо себя вести, можешь тут лежать, пока мистер... простите, сэр...— он с виноватым видом смотрит на визитную карточку, которую дал ему Аллен,— пока мистер Вудкорт не позволит тебе встать. Не пугайся, если услышишь выстрелы,— стрелять будут не в тебя, а в мишень. И еще вот что я посоветую, сэр,— говорит кавалерист, обращаясь к гостю.— Фил, поди-ка сюда!

Фил бросается к ним, не преминув соблюсти все правила своей тактики.

— Этот человек сам был подкидышем, сэр, его в канаве нашли грудным младенцем. Значит, он, надо полагать, жалеет беднягу. Что, Фил, жалеешь ведь?

— Еще бы не жалеть, командир! — отвечает Фил.

— Я так думаю, сэр,— начинает мистер Джордж, и лицо у него такое, словно он, уверенный в собственной правоте воин, который сейчас высказывает свое мнение на заседании военного совета,— надо бы Филу сводить парня помыться да купить ему на несколько шиллингов какой-нибудь одежонки попроще...

— Вот какой вы заботливый, мистер Джордж,— перебивает его Аллен, вынимая кошелек,— а я как раз сам хотел попросить вас об этом.

Филу Скводу немедленно поручают привести Джо в более приличный вид, и они уходят. Мисс Флайт в полном восторге от своего успеха, но она торопится в суд, очень опасаясь, как бы ее друг канцлер не стал о ней беспокоиться или не вынес в ее отсутствие того решения, которого она так долго ждала, а это, «мои дорогие доктор и генерал,— добавляет она,— было бы чрезвычайно досадной неудачей после стольких лет ожидания!» Аллен пользуется возможностью выйти на улицу, чтобы купить кое-какие подкрепляющие лекарства, а достав их по соседству, возвращается и, видя, что кавалерист шагает по галерее, тоже принимается шагать в ногу с ним.

— Мне кажется, сэр,— говорит мистер Джордж,— вы довольно коротко знакомы с мисс Саммерсон.

— Да, довольно коротко.

— Но вы не в родстве с нею?

— Нет, не в родстве.

— Простите за любопытство,— говорит мистер Джордж,— но мне показалось, будто вы потому принимаете такое большое участие в этом несчастном, что мисс Саммерсон однажды пожалела его на свою беду. Что до *меня,* мне хочется помочь ему именно по этой причине.

— И мне тоже, мистер Джордж.

Кавалерист искоса поглядывает на загорелое лицо Аллена, смотрит в его живые темные глаза, быстро измеряет взглядом его рост и телосложение и, кажется, остается доволен.

— С тех пор как вы ушли, сэр, я все думал, что догадываюсь, даже знаю наверное, в чью квартиру на Линкольновых полях водил Баккет мальчишку. Мальчишка не знает, как фамилия хозяина этой квартиры, а я могу назвать ее вам. Талкингхорн. Вот к кому водили Джо.

Аллен, вопросительно глядя на него, повторяет:

— Талкингхорн?

— Да, Талкингхорн. Он самый, сэр. Я его знаю и знаю, что раньше он, тоже с помощью Баккета, разыскивал одного человека,— теперь уже умершего,— который его когда-то оскорбил. Кто-кто, а *я,* сэр, хорошо знаю этого Талкингхорна... на свое горе.

Аллен, естественно, спрашивает, что это за человек.

— Что за человек? Вы хотите знать, какой он с виду?

— С виду-то я его и сам знаю. Я спрашиваю, каков он с людьми. Вообще, что он за человек?

— Так вот что я вам скажу, сэр,— отвечает кавалерист, внезапно останавливаясь и скрестив руки на широкой груди в таком гневе, что все лицо его вспыхивает и пылает.— Это прескверный человек. Это человек, который пытает людей медленной пыткой. Души в нем не больше, чем в каком-нибудь старом ржавом карабине... Это тот человек,— могу поклясться! — который заставил меня столько тревожиться, волноваться, раскаиваться, сколько всем прочим людям и ввек не заставить. Вот что он за человек, этот мистер Талкингхорн!

— Простите, я задел ваше больное место,— говорит Аллен.

— Еще бы не больное! — Расставив ноги и лизнув широкую ладонь правой руки, кавалерист поглаживает

ею то место, где некогда у него были усы.— Вы тут ни при чем, сэр! Но судите сами. Я у него во власти. Это я про него говорил, когда сказал вам давеча, что меня могут вышвырнуть вон отсюда со всеми потрохами. Он вечно держит меня в неизвестности,— живешь, будто на доске качаешься. И в покое не хочет оставить и добить не добивает. Если мне нужно внести ему проценты, или попросить отсрочки, или вообще поговорить с ним по делу, он не желает меня видеть, не желает слышать... отсылает к Мельхиседеку в Клиффордс-Инн; а Мельхиседек отсылает меня из Клиффордс-Инна обратно к нему, Талкингхорну... так вот и хожу, по его милости, взад-вперед, вокруг да около, словно я из того же теста, что и он. Э, да что там говорить — я теперь чуть не полжизни прохожу у его дверей; все стою, дожидаюсь да время теряю. А ему что? Ничего! Все равно что старому ржавому карабину, с которым я его сравнил. Он меня так изводит, так раздражает, что, пожалуй, доведет до того... Ну, да ладно! чушь... я немного забылся. Мистер Вудкорт,— кавалерист снова начинает шагать,— скажу вам только: хорошо, что он старый человек; хорошо, что мне никогда не случится пришпорить коня да ринуться на него в открытом поле. Но если бы такой случай представился, а я бы до того дошел, до чего он меня частенько доводит... ему бы несдобровать, сэр!

Мистер Джордж так разволновался, что вынужден отереть потный лоб рукавом рубашки. Он старается успокоиться, насвистывая национальный гимн, но все-таки голова у него судорожно дергается, а грудь все еще вздымается; не говоря уж о том, что время от времени он обеими руками хватается за отложной воротник рубашки, должно быть находя его слишком тугим и боясь задохнуться. Короче говоря, Аллен Вудкорт почти не сомневается, что «в открытом поле» мистеру Талкингхорну несдобровать.

Вскоре возвращается Джо вместе со своим проводником и, приняв лекарство, собственноручно приготовленное Алленом, укладывается на тюфяк с помощью заботливого Фила, которому Аллен поручает уход за больным и дает все необходимые указания и медикаменты. Таким образом, утро проходит быстро. Аллен идет домой переодеться

и позавтракать, а потом, даже не отдохнув, отправляется к мистеру Джарндису, чтобы рассказать ему о своей находке.

Он возвращается вместе с мистером Джарндисом, который очень заинтересовался его рассказом и по секрету предупредил его, что есть причины тщательно хранить все эти события в тайне. Джо в общих чертах и почти без изменений повторяет мистеру Джарндису все, что рассказывал утром. Но ему все тяжелее тянуть свою «повозку», и тянется она со все более глухим скрипом.

— Только бы мне полежать здесь спокойно, да не гнали бы меня никуда,— бормочет Джо,— и нашелся бы добрый человек, сходил бы на перекресток, где я подметал, да сказал бы мистеру Сенгсби, что известный, мол, ему Джо идет себе да идет, не задерживаясь, как полагается,— очень я тогда рад буду! Еще больше, чем сейчас, хоть мне и сейчас так хорошо, что такому горемыке, как я, лучшего и желать невозможно.

Прошло дня два, а Джо все вспоминает о владельце писчебумажной лавки, да так часто, что Аллен, посоветовавшись с мистером Джарндисом, решает отправиться в Кукс-Корт — с тем большей готовностью, что «повозка», должно быть, вот-вот сломается.

Итак, Аллен приходит в Кукс-Корт. Мистер Снегсби стоит за прилавком в своем сером сюртуке и нарукавниках, перелистывая недавно принесенный переписчиком контракт, на который ушло немало бараньих кож, и блуждает глазами по этой исписанной писарским почерком необъятной пергаментной пустыне, где оазисы заглавных букв лишь изредка нарушают ее ужасающее однообразие, давая отдых взору и спасая «путника» от отчаяния. Мистер Снегсби останавливается у одного из этих чернильных колодцев и приветствует незнакомца кашлем, выражая готовность приступить к деловым переговорам.

— Вы не припоминаете меня, мистер Снегсби?

Сердце у мистера Снегсби начинает тяжело стучать, ибо его давние опасения еще не исчезли. Он едва находит в себе силы ответить:

— Нет, сэр; не могу сказать, что припоминаю. Я скорей думаю, говоря напрямик, что никогда вас не видывал, сэр.

— Мы встречались два раза,— говорит Аллен Вудкорт.— В первый раз у смертного одра одного бедняка, во второй...

«Вот оно — пришло-таки, наконец! — с ужасом думает торговец, внезапно вспомнив все.— Нарыв созрел... сейчас прорвется!» Однако у него хватает присутствия духа увести посетителя в комнатушку, где лежат счетные книги, и закрыть дверь.

— Вы не женаты, сэр?

— Нет, не женат.

— Пожалуйста, сэр,— просит мистер Снегсби удрученным шепотом,— хоть вы и холостой, постарайтесь говорить как можно тише. Дело в том, что моя женушка, наверное, подслушивает где-нибудь за дверью, готов держать пари на все свое предприятие и пятьсот фунтов в придачу!

Совершенно подавленный, мистер Снегсби садится на табурет, прислонившись спиной к конторке, и начинает оправдываться:

— У меня никогда не было никаких собственных секретов, сэр. Не могу припомнить, чтобы хоть раз я пытался обмануть свою женушку с того самого дня, как она согласилась выйти за меня замуж. Да я и не стал бы ее обманывать, сэр. Говоря напрямик, я не мог бы ее обмануть, просто не посмел бы. Но, несмотря на это и тем не менее, я положительно опутан всякими секретами и тайнами, так что мне прямо жизнь не мила.

Посетитель выражает ему соболезнование и спрашивает, помнит ли он Джо. Как не помнить! — отвечает мистер Снегсби, подавляя стон.

— Если не считать меня самого, нет человека, против которого моя женушка была бы так решительно вооружена и настроена, как против Джо,— объясняет мистер Снегсби.

Аллен спрашивает — почему?

— Почему? — повторяет мистер Снегсби, в отчаянии хватаясь за пучок волос, торчащий на затылке его лысого черепа.— Да как же *мне* знать, почему? Впрочем, ведь вы холостяк, сэр, и дай вам бог еще долго оставаться в блаженном неведении супружеской жизни и задавать подобные вопросы женатым!

Высказав это доброе пожелание, мистер Снегсби кашляет — кашлем, выражающим унылую покорность судьбе,— и заставляет себя выслушать посетителя.

— Ну вот, опять! — говорит мистер Снегсби, весь бледный от обуревающих его чувств и необходимости говорить шепотом.— Вот опять, с другой стороны! Одно лицо строжайше запрещает мне говорить о Джо кому бы то ни было, даже моей женушке. Потом приходит другое лицо в вашем лице,— то есть вы,— и столь же строго запрещает мне говорить о Джо любому другому лицу и особенно первому лицу. Да это просто какой-то сумасшедший дом! Говоря напрямик, это форменный Бедлам *, сэр! — заключает мистер Снегсби.

Но в конце концов оказывается, что дело вовсе уже не так плохо, как он думал,— мина не взрывается у его ног, и яма, в которую он упал, не разверзается еще глубже. Мягкосердечный и огорченный тяжелым состоянием Джо, он охотно обещает «забежать вечерком», пораньше, как только можно будет тихонько выбраться из дому. И когда наступает вечер, он действительно потихоньку уходит; но кто знает, может быть миссис Снегсби не хуже его умеет делать свои дела втихомолку.

Джо очень обрадовался своему старому приятелю, и когда они остаются вдвоем, говорит, что «мистер Сенгсби» чудо какой добрый, если сделал такой большой крюк из-за такого никудышного малого, как он, Джо. Тронутый видом больного, мистер Снегсби немедленно кладет на стол полкроны — свой волшебный бальзам, исцеляющий все раны.

— Ну, как ты себя чувствуешь, бедняга? — спрашивает торговец, сочувственно кашляя.

— Мне повезло, мистер Сенгсби, вот повезло-то,— отвечает Джо,— так что ничего мне больше не нужно. А уж как мне тут хорошо, вы и представить себе не можете. Мистер Сенгсби! Очень я горько каюсь, что натворил такое, но ведь я не затем туда пошел, сэр.

Торговец тихонько кладет на стол еще полкроны и спрашивает Джо, почему он кается и что именно он натворил?

— Мистер Сенгсби,— отвечает Джо,— я пошел и заразил одну леди, что там была, только она была не та,

другая леди, и никто из них мне за это худого слова не сказал, потому что они такие добрые, а я такой несчастный. А леди вчера сама пришла меня навестить и говорит: «Эх, Джо! говорит. А мы думали, ты пропал, Джо!» говорит. А сама сидит, улыбается до того спокойно — ни словечком меня не попрекнула за то, что я натворил, даже косо не глянула — вот какая; а я к стене отвернулся, мистер Сенгсби. И вижу я — мистер Джарндис тоже волей-неволей, а отвернулся. А мистер Вудкот, тот пришел накапать мне чего-то, чтоб мне полегчало,— он день и ночь мне капает,— и вот наклонился он надо мной и стал говорить до того весело, а я вижу — у него слезы полились, мистер Сенгсби.

Растроганный торговец кладет на стол еще полкроны. Если что и может облегчить его душу, так лишь повторное применение этого испытанного средства.

— Знаете, про что я думаю, мистер Сенгсби,— продолжает Джо,— может, вы умеете писать очень большими буквами, а?

— Конечно, Джо, как не уметь! — отвечает торговец.

— Большими-пребольшими буквами, громадными, а? — спрашивает Джо в волнении.

— Да, бедный мой мальчик.

Джо смеется, очень довольный.

— Так вот я про что думаю, мистер Сенгсби: ведь мне велели не задерживаться на месте, все гнали и гнали, а я все шел да шел, а больше гнать некуда, так вот уж вы сделайте милость, напишите очень большими буквами, чтобы всякий мог разобрать, повсюду, что, мол, очень я горько каюсь, правда истинная, что натворил такое, хоть я вовсе не затем туда пошел и даже вовсе ничего знать не знал, а все-таки смекнул, когда мистер Вудкот из-за этого заплакал раз, да он и всегда о том горюет, и, может, он, бог даст, простит меня в душе. Вот написать про это большущими буквами, может он тогда меня и простит.

— Так и напишем, Джо. Большущими буквами.

Джо снова смеется.

— Спасибо вам, мистер Сенгсби. Очень вы добрый, сэр, а мне теперь стало еще лучше прежнего.

Отрывисто кашлянув, кроткий маленький торговец кладет на стол четвертую полукрону — первый раз в жизни пришлось ему истратить на подобные нужды столько полукрон — и неохотно уходит. Никогда больше он не встретится с Джо на нашей маленькой земле... никогда.

Ибо повозка, которую так тяжело влачить, близится к концу своего пути и тащится по каменистой земле. Сутками напролет ползет она вверх по обрывистым кручам, расшатанная, изломанная. Пройдет еще день-два, и когда взойдет солнце, оно уже не увидит эту повозку на ее тернистом пути.

Фил Сквод, закопченный и обожженный порохом, исполняет обязанности сиделки и одновременно работает в качестве оружейника за своим столиком в углу, то и дело оглядываясь, кивая головой в зеленой суконной ермолке и твердя: «Держись, мальчуган! Держись!» Нередко сюда приходит мистер Джарндис, а Аллен Вудкорт сидит тут почти весь день, и оба они много думают о том, как причудливо Судьба вплела этого жалкого отщепенца в сеть стольких жизненных путей. Кавалерист, могучий, пышущий здоровьем, тоже часто заглядывает в чулан и, загородив выход своим атлетическим телом, излучает на Джо столько энергии и силы, что мальчик, как бы немного окрепнув, отвечает на его ободряющие слова более твердым голосом.

Сегодня Джо весь день спит или лежит в забытьи, а Аллен Вудкорт, который только что пришел, стоит подле него и смотрит на его изнуренное лицо. Немного погодя он тихонько садится на койку, лицом к мальчику,— так же, как сидел в комнате переписчика судебных бумаг,— выстукивает ему грудь и слушает сердце. «Повозка» почти остановилась, но все-таки тащится еле-еле.

Кавалерист стоит на пороге, недвижно и молча. Фил, тихонько стучавший по какому-то металлу, перестал работать и замер с молоточком в руке. Мистер Вудкорт оглядывается; его сосредоточенное лицо поглощенного своим делом врача очень серьезно, и, бросив многозначительный взгляд на кавалериста, он делает знак Филу унести рабочий столик. Когда Фил снова возьмет в руки свой молоточек, на нем будет ржавое пятнышко от слезы.

— Ну, Джо! Что с тобой? Не пугайся.

— Мне почудилось,— говорит Джо, вздрогнув и оглядываясь кругом,— мне почудилось, будто я опять в Одиноком Томе. А здесь никого нет, кроме вас, мистер Вудкот?

— Никого.

— И меня не отвели обратно в Одинокий Том? Нет, сэр?

— Нет.

Джо закрывает глаза и бормочет:

— Большое вам спасибо.

Аллен внимательно смотрит на него несколько мгновений, потом, приблизив губы к его уху, тихо, но отчетливо произносит:

— Джо, ты не знаешь ни одной молитвы?

— Никогда я ничего не знал, сэр.

— Ни одной коротенькой молитвы?

— Нет, сэр. Вовсе никакой. Мистер Чедбендс, тот молился раз у мистера Сенгсби, и я его слушал; только он как будто разговаривал сам с собой, а вовсе не со мной. Молился он куда как много, только *я*-то ничего понять не мог. Другие джентльмены, те тоже кое-когда приходили молиться в Одинокий Том; только они все больше говорили, что другие молятся не так, как надо, других, значит, осуждали, а то сами с собой разговаривали, а не с нами вовсе. *Мы*-то никогда ничего не знали. Кто-кто, а я знать не знал, об чем это они.

Эти слова он произносит очень медленно, и только опытный и внимательный слушатель способен услышать их, а услышав, понять. Ненадолго заснув или забывшись, Джо вдруг порывается соскочить с постели.

— Стой, Джо! Куда ты?

— На кладбище пора, сэр,— отвечает мальчик, уставившись безумными глазами на Аллена.

— Ляг и объясни мне. На какое кладбище, Джо?

— Где его зарыли, того, что был добрый такой, очень добрый, жалел меня. Пойду-ка я на то кладбище, сэр,— пора уж,— да попрошу, чтоб меня рядом с ним положили. Надо мне туда — пускай зароют. Он, бывало, часто мне говорил: «Нынче я такой же бедный, как ты, Джо», говорит. А теперь я хочу ему сказать, что я, мол, такой же бедный, как он, и пришел, чтоб меня рядом с ним положили.

— Успеешь, Джо. Успеешь.

— Кто его знает! Может, и не захотят там зарыть, если я туда один пойду. Так уж вы обещайте, сэр, что меня туда отнесут и с ним рядом положат.

— Обещаю, Джо.

— Спасибо вам, сэр. Спасибо вам. Придется ключ от ворот достать, чтоб меня туда втащить, а то ворота день и ночь заперты. А еще там ступенька есть,— я ее своей метлой подметал... Вот уж и совсем стемнело, сэр. А будет светло?

— Скоро будет светло, Джо.

Скоро. «Повозка» разваливается на части, и очень скоро придет конец ее трудному пути.

— Джо, бедный мой мальчик!

— Хоть и темно, а я вас слышу, сэр... только я иду ощупью... ощупью... дайте руку.

— Джо, можешь ты повторить то, что я скажу?

— Повторю все, что скажете, сэр,— я знаю, это хорошее.

— Отче наш...

— Отче наш!.. да, это очень хорошее слово, сэр.

— Иже еси на небесех...

— Иже еси на небесех... скоро будет светло, сэр?

— Очень скоро. Да святится имя твое...

— Да святится... твое...

Свет засиял на темном мрачном пути. Умер!

Умер, ваше величество. Умер, милорды и джентльмены. Умер, вы, преподобные и неподобные служители всех культов. Умер, вы, люди; а ведь небом вам было даровано сострадание. И так умирают вокруг нас каждый день.

## ГЛАВА XLVIII

### *Последняя схватка*

Дом в Линкольншире снова смежил свои бесчисленные глаза, а дом в Лондоне бодрствует. В Линкольншире Дедлоки былых времен дремлют в рамах своих портретов, и чудится, будто это не ветер тихо шепчет в продолгова-

той гостиной, а портреты дышат мерно и ровно. В Лондоне Дедлоки наших времен с грохотом катят в огнеоких каретах, сквозь ночную тьму, а дедлоковские заспанные Меркурии, посыпав головы пеплом (то есть пудрой) в знак своего великого смирения, все утро просиживают в вестибюле, лениво развалясь и глазея в окошки. Большой свет — этот огромный мир, достигающий чуть не пяти миль в окружности,— мчится во весь опор, а светила солнечной системы почтительно вращаются на указанном им расстоянии.

Там, где светская толпа всего гуще, где огни всего ярче, где все чувства сдерживаются изысканностью и утонченностью, доведенными до совершенства, там пребывает леди Дедлок. Никогда она не спускается с тех сияющих высот, на которые поднялась и которыми овладела. Хоть и рушится ее многолетняя вера в свое уменье скрыть все, что она хочет, под покровом гордости, хоть и не уверена она сегодня, что до завтра останется для всех окружающих прежней леди Дедлок, но не в ее натуре сдаться и пасть, когда в нее впиваются завистливые глаза. Поговаривают, будто с некоторых пор она стала еще прекраснее и еще надменнее. Изнемогающий кузен находит, что кгасоты у ней хватит... на це'ый магазин кгасоток... но от нее как-то не по себе... вгоде той неугомонной особы... * что вскакивала с постели и бгодила по ночам... где-то у Шекспига.

Мистер Талкингхорн не говорит ничего, и лицо его ничего не выражает. Теперь, как и раньше, его можно увидеть на пороге какой-нибудь светской гостиной, в мягком белом галстуке, свободно завязанном старомодным узлом, и, как и раньше, он принимает знаки покровительственного внимания от аристократии, но ничем себя не выдает. По-прежнему его никак нельзя заподозрить в том, что он имеет хоть какое-нибудь влияние на миледи. По-прежнему ее никак не заподозришь в том, что она хоть сколько-нибудь его боится.

Со дня их последнего разговора в его башенке, в Чесни-Уолде, миледи много думала об одном вопросе. Теперь она приняла решение и готова выполнить его.

В большом свете еще только утро, хотя, судя по столь незначительному светилу, как солнце, полдень уже мино-

вал. Меркурии, эти роскошные красавцы, выбились из сил — они больше не в состоянии глазеть в окна и теперь отдыхают в вестибюле, понурив тяжелые головы на манер перезрелых подсолнечников. И столько на них всякой мишуры и позолоты, что кажется, будто их тоже оставили па семена. Сэр Лестер почивает в библиотеке на благо родине, заснув над отчетом Парламентской комиссии. Миледи сидит в той комнате, где принимала молодого человека, некоего Гаппи. Роза при ней; она что-то писала по приказу миледи и читала ей вслух. Сейчас Роза вышивает, а может быть, занимается каким-то другим девичьим рукоделием, а миледи в молчании смотрит на ее склоненную головку — уже не первый раз за этот день.

— Роза!

Деревенская красавица повертывается в сторону миледи, и ее личико сияет улыбкой. Но миледи очень серьезна, и сияющее личико принимает удивленное, недоумевающее выражение.

— Поди посмотри, заперта ли дверь?

Да, заперта. Подойдя к двери и вернувшись, Роза смотрит на миледи с еще большим удивлением.

— Я хочу сказать тебе кое-что по секрету, дитя мое,— ты хоть и не все понимаешь, но привязана ко мне. О том, что̀ я собираюсь сделать, я буду говорить вполне откровенно — с тобой во всяком случае. Но я тебе доверяю. Никому не рассказывай о нашем разговоре.

Застенчивая молоденькая красавица очень серьезно обещает оправдать доверие миледи.

— Ты ведь заметила,— спрашивает леди Дедлок, делая ей знак сесть поближе,— ты заметила, Роза, что с тобой я не такая, как с другими людьми?

— Да, миледи. Со мной вы гораздо ласковее. И я часто думаю, что знаю вас такой, какая вы на самом деле.

— Ты часто думаешь, что знаешь меня такой, какая я на самом деле? Бедное ты дитя, бедное дитя!

Она говорит это с какой-то горькой досадой,— но не на Розу,— и в глубокой задумчивости устремляет на девушку затуманенные глаза.

— А ты знаешь, Роза, как мне с тобой легко и хорошо? Тебе не приходило в голову, что ты мне приятна

потому, что ты молода и простодушна, любишь меня и благодарна мне?

— Не знаю, миледи; почти не смею на это надеяться. Но мне всем сердцем хотелось бы, чтобы так оно и было.

— Так оно и есть, девочка моя.

Хорошенькое личико чуть было не вспыхнуло от радости, но радость быстро померкла — так скорбно прекрасное лицо другой женщины. И девушка робко ждет объяснений.

— Если бы я сегодня сказала тебе: «Уходи! Оставь меня!», мне было бы очень больно и горько, дитя мое, и я осталась бы совсем одинокой.

— Миледи! Я вам чем-то не угодила?

— Нет, что ты! Сядь сюда.

Роза опускается на скамеечку у ног миледи. Миледи кладет руку на ее темноволосую головку, прикасаясь к ней так же нежно, по-матерински, как и в тот памятный вечер, когда приезжал «железных дел мастер»; и уже не отнимает руки.

— Я говорила тебе, Роза, что хотела бы видеть тебя счастливой, и сделала бы тебя счастливой, если бы только могла хоть кому-нибудь принести счастье. Но я не могу. Я лишь теперь узнала о некоторых обстоятельствах, и хотя тебя они не касаются, но есть причины, по которым лучше тебе не оставаться здесь. Ты не должна здесь оставаться. Я твердо решила, что ты здесь не останешься. Я написала отцу твоего жениха, и он сегодня приедет сюда. Все это я сделала ради твоего блага.

Девушка, заливаясь слезами, осыпает поцелуями ее руки и говорит: как же ей жить, когда они расстанутся? Миледи вместо ответа целует ее в щеку.

— А теперь, дитя мое, желаю тебе счастья там, где тебе будет лучше. Будь счастлива и любима!

— Ах, миледи, я иногда думала... простите, что я осмеливаюсь... думала, что *сами-то вы* несчастливы.

— Я!

— Неужели вам будет лучше, когда вы меня отошлете? Прошу вас, прошу, передумайте. Позвольте мне остаться у вас еще немножко!

— Я уже сказала тебе, дитя мое: все то, что я делаю, я делаю ради твоего блага, а не ради себя. Впрочем, это

все уже сделано. В эту минуту, Роза, я говорю с тобой так, как чувствую; но не так я буду говорить немного погодя. Запомни это и сохрани в тайне мое признание. Сделай это ради меня; а сейчас мы расстанемся навсегда!

Миледи легонько отстраняет от себя свою простодушную наперсницу и выходит из комнаты. Когда она снова появляется на лестнице к концу дня, вид у нее еще более надменный и холодный, чем всегда: она так равнодушна, словно все человеческие страсти, чувства, интересы, отжив свой век в древнейшие эпохи мира, исчезли с лица земли вместе с некогда населявшими ее и вымершими чудовищами.

Меркурий доложил о приходе мистера Раунсуэлла — вот почему миледи вышла из своих покоев. Мистер Раунсуэлл ожидает ее не в библиотеке; но миледи идет в библиотеку. Там сейчас сидит сэр Лестер, а миледи хочет сначала поговорить с ним.

— Сэр Лестер, я хочу... впрочем, вы, кажется, заняты.

О, боже мой, нет! Вовсе нет! Ведь у него только мистер Талкингхорн.

Всегда он где-то поблизости. Какой-то вездесущий. Нет от него спасения и покоя ни на миг.

— Виноват, леди Дедлок. Вы позволите мне удалиться?

Бросив на него взгляд, которым ясно сказано: «Вы же знаете, что вольны остаться, если сами этого захотите»,— она говорит, что в этом нет надобности, и направляется к креслу. Мистер Талкингхорн с неуклюжим поклоном слегка подвигает к ней кресло и отходит к окну напротив. Вклинившись между нею и меркнущим светом дня на утихшей улице, он отбрасывает свою тень на миледи и погружает во мглу все, что она видит перед собой. Вот так он потопил во мраке и всю ее жизнь.

Улица за окном и при самом красивом освещении все равно — скучная улица, на которой два длинных ряда домов уставились друг на друга с такой чопорной строгостью, что кажется, будто некоторые из стоящих здесь роскошных особняков были выстроены не из камня, но малопомалу окаменели, завороженные этими взглядами. Улица за окном преисполнена столь унылого величия, так твердо

решила не снисходить до оживления, что даже двери и окна здесь мрачно кичатся своей черной окраской и пылью, а гулкие конюшни на задних дворах имеют такой безжизненный, монументальный вид, словно в них должны стоять только каменные кони, сошедшие с пышных пьедесталов. На этой величественной улице ступени подъездов украшены замысловатыми железными решетками и, приютившись в их омертвелых гирляндах, гасители для устаревших факелов дивятся на выскочку — газ. Кое-где, еле держась на месте в ржавой листве, торчит железный обручик, сквозь который сорванцы-мальчишки стараются пропихнуть шапки своих товарищей (только на это он теперь и годится), а оставили его, как священную память о тех временах, когда в него втыкали фонарь с горящим маслом, ныне исчезнувшим. Нет, даже само масло хоть и редко, но еще встречается кое-где, налитое в маленькую смешную стеклянную плошку с шишечкой на дне, напоминающей устрицу, и каждую ночь оно мигает и хмурится на новые источники света, уподобляясь в этом своему отставшему от века ретрограду-хозяину, заседающему в палате лордов.

Поэтому леди Дедлок, сидящей в кресле, пожалуй, не на что смотреть в окно, у которого стоит мистер Талкингхорн. И все же... и все же... она бросает на него такой взгляд, словно всем сердцем желает, чтобы эта тень сошла с ее пути.

Сэр Лестер просит извинения у миледи. Она желала сказать?..

— Только то, что у нас мистер Раунсуэлл (он приехал по моему приглашению) и что надо нам, наконец, решить вопрос об этой девушке. Мне до смерти надоела вся эта история.

— Чем же... я могу... помочь вам? — спрашивает сэр Лестер в полном недоумении.

— Примем его здесь и покончим с этим делом. Велите пригласить его сюда.

— Мистер Талкингхорн, позвоните, пожалуйста. Благодарю вас... Попросите...— говорит сэр Лестер Меркурию, не сразу припоминая, как величают мистера Раунсуэлла в деловом мире,— попросите железного джентльмена прийти сюда.

Меркурий отправляется на поиски «железного джентльмена», отыскивает и приводит его. Сэр Лестер радушно встречает эту «железистую личность».

— Надеюсь, вы здоровы, мистер Раунсуэлл. Присядьте. (Мой поверенный, мистер Талкингхорн.) Миледи пожелала, мистер Раунсуэлл,— торжественным мановением руки сэр Лестер дипломатично отсылает его к миледи,— пожелала побеседовать с вами. Хм!

— Буду очень счастлив,— отзывается «железный джентльмен»,— с величайшим вниманием выслушать все то, что леди Дедлок изволит сказать мне.

Обернувшись к ней, он находит, что она нравится ему меньше, чем в их первую встречу. Холодом веет от ее отчужденного и высокомерного лица, и теперь уже ничто в ней не поощряет собеседника к откровенности.

— Позвольте спросить вас, сэр,— начинает леди Дедлок равнодушным тоном,— вы говорили со своим сыном относительно его блажи?

Когда она задает этот вопрос, кажется, будто ее томным глазам не под силу даже взглянуть на собеседника.

— Если мне не изменяет память, леди Дедлок, я сказал, когда в прошлый раз имел удовольствие вас видеть, что настоятельно буду советовать сыну преодолеть эту... блажь.

Заводчик повторяет ее слово, делая на нем упор.

— И вы ему это посоветовали?

— Ну да, конечно!

Сэр Лестер одобрительно кивает. Очень достойно. Если «железный джентльмен» что-нибудь обещал, он был обязан выполнить обещание. В этом отношении простые металлы не должны отличаться от драгоценных. Очень, очень достойно.

— Он так и сделал?

— Право же, леди Дедлок, я не могу дать вам определенный ответ. Боюсь, что не преодолел. Вероятно, еще нет. Наш брат, то есть человек нашего звания, иной раз связывает свои планы на будущее со своей... блажью, а значит, ему не так-то легко отказаться от нее. Пожалуй, нам вообще свойственно относиться серьезно ко всему на свете.

Сэр Лестер, заподозрив, что за этой фразой скрывается «уот-тайлеровское умонастроение», вскипает. Мистер Раунсуэлл безукоризненно деликатен и вежлив; но тон его, хоть и учтивый, не менее холоден, чем оказанный ему прием.

— Видите ли,— продолжает миледи,— я думала об этой истории... которая мне надоела.

— Очень сожалею, смею заверить.

— И еще о том, что говорил по этому поводу сэр Лестер, а я с ним вполне согласна,— сэр Лестер польщен,— и я решила, что девушке лучше расстаться со мной, конечно, лишь в том случае, если вы не можете утверждать, что блажь у вашего сына прошла.

— Утверждать это я не могу, леди Дедлок, никоим образом.

— В таком случае, девушке лучше уехать.

— Простите, миледи,— учтиво вмешивается сэр Лестер,— но, быть может, этим мы обидим девушку, и обидим незаслуженно. Вот молодая девушка,— начинает сэр Лестер величественно излагать вопрос, помахивая правой рукой (кажется, будто он расставляет серебряный столовый сервиз),— девушка, которая имела счастье привлечь к себе внимание и благосклонность высокопоставленной леди и пользуется покровительством этой высокопоставленной леди, а также всевозможными преимуществами подобного положения, бесспорно очень значительными,— я полагаю, бесспорно очень значительными, сэр,— для молодой девушки ее звания. Итак, возникает вопрос, справедливо ли это — лишать молодую девушку тех многочисленных преимуществ и того счастья, которые выпали ей на долю, лишать только потому, что она,— сэр Лестер, как бы желая извиниться, но с очень важным видом, подчеркивает эту фразу, наклонив голову в сторону заводчика,— только потому, что она привлекла внимание отпрыска мистера Раунсуэлла? Заслужила ли она такую кару? Справедливо ли это по отношению к ней? Разве это мы раньше имели в виду?

— Виноват! — вставляет свое слово родитель этого «отпрыска».— Сэр Лестер, вы позволите мне высказаться? Мне кажется, мы можем сократить разговор. Прошу вас, не придавайте значения всему этому. Быть может, вы не

забыли,— впрочем, нельзя ожидать, чтобы вы помнили такие пустяки,— а если забыли, то я вам напомню, что я с самого начала был против того, чтобы девушка оставалась здесь.

Не придавать значения покровительству Дедлоков? Ого! Сэр Лестер должен верить своим ушам, унаследованным от столь благородных предков; не будь этого, он подумал бы, что не расслышал слов «железного джентльмена».

— Ни нам, ни вам уже незачем распространяться об этом,— ледяным тоном говорит миледи, пока ее супруг еще не успел опомниться и только тяжело дышит в полном изумлении.— Девушка очень хорошая; я ни в чем не могу ее упрекнуть, но она так равнодушна к этим своим многочисленным преимуществам и к счастью, которое выпало ей на долю, что влюбилась,— или воображает, что влюбилась, бедная глупышка! — и неспособна оценить все это по достоинству.

Сэр Лестер позволяет себе заметить, что это совершенно меняет дело. Он должен был знать, что миледи имеет достаточные причины и основания придерживаться своего мнения. Он вполне согласен с миледи. Девушке лучше уехать.

— Как сказал сэр Лестер в прошлый раз, когда мы так устали от этих разговоров, мистер Раунсуэлл,— томно продолжает леди Дедлок,— мы не можем заключать с вами никаких соглашений. А если так, то при создавшихся условиях девушке здесь делать нечего, и ей лучше уехать. Так я ей и сказала. Желаете вы, чтобы мы отослали ее в деревню, или вы намерены взять ее с собой, или как вы вообще хотите с ней поступить?

— Леди Дедлок, разрешите мне говорить откровенно...

— Пожалуйста.

— Я предпочел бы как можно скорее избавить вас от этого бремени, а девушке дать возможность уволиться безотлагательно..

— Говоря так же откровенно,— отзывается миледи все с той же деланной небрежностью,— я бы тоже это предпочла. Если я правильно вас понимаю, вы возьмете ее с собой?

«Железный джентльмен» кланяется ей «железным» поклоном.

— Сэр Лестер, позвоните, пожалуйста.

Мистер Талкингхорн выступает вперед из оконной ниши и дергает за шнурок от звонка.

— Я забыла, что вы здесь. Благодарю вас.

Он кланяется, как всегда, и молча отходит к окну. Меркурий быстро является на зов, получает указания насчет того, кого именно ему следует привести, исчезает, приводит указанное лицо и снова исчезает.

Роза, как видно, плакала, да и сейчас еще очень взволнована. Не успела она войти, как заводчик, встав с кресла, берет ее под руку и останавливается с нею у двери, готовый уйти.

— Вот видите, вас уже взяли на попечение, и вы уходите под надежной защитой,— устало говорит миледи.— Я сказала, что вы очень хорошая девушка, и плакать вам не о чем.

— И все-таки,— замечает мистер Талкингхорн, чуть подвигаясь вперед и заложив руки за спину,— она, вероятно, плачет оттого, что ей жалко уезжать.

— Что с нее взять, ведь она невоспитанная,— парирует мистер Раунсуэлл довольно резким тоном, как будто он обрадовался, что наконец-то получил возможность отыграться на этом крючкотворе,— девчонка неопытная, ничего еще не понимает. Останься она тут, сэр, может, она и развилась бы.

— Все может быть,— невозмутимо соглашается мистер Талкингхорн.

Роза, всхлипывая, говорит, что ей очень грустно расставаться с миледи, что в Чесни-Уолде она жила счастливо, что у миледи ей было хорошо и она бесконечно благодарна миледи.

— Полно, глупый ты котенок! — негромко и мягко останавливает ее заводчик.— Возьми себя в руки, если любишь Уота!

Миледи отпускает девушку мановением руки, выражающим лишь равнодушие, и говорит:

— Довольно, милая, перестаньте! Вы хорошая девушка. Идите!

Сэр Лестер, величественно отрекшись от участия в

этом деле, замыкается в святилище своего синего сюртука. Мистер Талкингхорн,— неясная фигура на фоне темной улицы, теперь, правда, уже испещренной световыми бликами фонарей,— маячит перед глазами миледи, еще более высокий и черный, чем всегда.

— Сэр Лестер и леди Дедлок,— говорит мистер Раунсуэлл после недолгого молчания,— прощаясь с вами, прошу извинить меня за то, что я, хоть и не по своему почину, вновь обеспокоил вас столь скучным делом. Уверяю вас, я прекрасно понимаю, как надоели леди Дедлок все эти пустяки. Пожалуй, я сделал лишь один промах — надо было тогда же уговорить девочку уехать со мной, не беспокоя вас. Но мне казалось,— и, смею заметить, я, очевидно, преувеличил значение этого вопроса,— мне казалось, что уважение к вам обязывает меня объяснить, как обстоит дело, а считаясь с вашими пожеланиями и удобствами, я проявлю искреннее стремление уладить дело по-хорошему. Надеюсь, вы извините меня за то, что я так плохо знаю высший свет.

Сэр Лестер считает, что подобная речь вынуждает его покинуть свое святилище.

— Мистер Раунсуэлл,— внушает он,— говорить об этом нет надобности. Я полагаю, что никаких оправданий не нужно, ни нам, ни вам.

— Рад слышать это, сэр Лестер, и если вы разрешите мне напоследок вернуться к тому, о чем я говорил раньше, то есть к долголетней службе моей матери в семействе Дедлоков,— а подобная служба предполагает высокие достоинства и у господ и у слуг,— я приведу вот этот маленький пример — девушку, с которой я сейчас стою под руку и которая показала себя такой любящей и преданной при расставанье; а ведь, осмелюсь сказать, это моя матушка до некоторой степени воспитала в ней подобные чувства... хотя, конечно, леди Дедлок своим сердечным участием и мягкой снисходительностью сделала для Розы гораздо больше.

Возможно, что он говорит это с иронией, однако в его словах больше истины, чем он думает. Впрочем, он говорит, не изменяя своей обычной прямоте,— только оборачивается в ту сторону слабо освещенной комнаты, где сидит миледи. Сэр Лестер встает, чтобы ответить на про-

щальные слова посетителя, мистер Талкингхорн снова звонит, Меркурий снова прилетает, и мистер Раунсуэлл с Розой уходят из этого дома.

Вносят лампы, и оказывается, что мистер Талкингхорн еще стоит у окна, заложив руки за спину, а миледи еще сидит в кресле и перед глазами у нее еще маячит его фигура, заслоняющая от нее и ночь и день. Миледи очень бледна. Заметив это, когда миледи поднимается, чтобы уйти, мистер Талкингхорн думает: «Еще бы ей не бледнеть! До чего сильна эта женщина! Она все время играла роль». Но и он умеет играть роль — у него одно неизменное амплуа,— и когда он открывает дверь перед этой женщиной, пятьдесят пар глаз в пятьдесят раз более зорких, чем глаза сэра Лестера, не заметили бы ни единого изъяна в его игре.

Сегодня леди Дедлок обедает одна в своей комнате. Сэра Лестера вызвали в парламент спасать партию Дудла и громить клику Кудла. Сидя за обедом, леди Дедлок, попрежнему мертвенно-бледная (и точь-в-точь такая, как о ней говорит изнемогающий кузен), спрашивает, уехал ли сэр Лестер. Да. А мистер Талкингхорн уже ушел? Нет. Вскоре она опять спрашивает: неужели он *еще* не ушел? Нет. Что он делает? Меркурий полагает, что он пишет письма в библиотеке. Миледи желает его видеть? Нет, ни в коем случае.

Зато он желает видеть миледи. Спустя несколько минут ей докладывают, что он свидетельствует миледи свое почтение и спрашивает, не соблаговолит ли она принять его и побеседовать с ним несколько минут после обеда. Миледи примет его сейчас. Он входит, извиняясь за то, что помешал ей кушать, хоть и с ее разрешения. Когда они остаются одни, миледи взмахом руки просит его прекратить эту комедию.

— Что вам угодно, сэр?

— Вы знаете, леди Дедлок,— говорит юрист, садясь в кресло неподалеку от нее и медленно потирая ноги в поношенных штанах — вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз,— я несколько удивлен вашим образом действий.

— Вот как?

— Да, решительно удивлен. Не ожидал я этого. Я считаю, что вы нарушили наш договор и свое обещание. Это

меняет наши отношения, леди Дедлок. Должен сказать, что я этого не одобряю.

Перестав потирать ноги, он кладет руки на колени и смотрит на нее. Он, как всегда, невозмутим, он не изменился ни в чем, однако в его обращении сейчас чувствуется какой-то едва заметный оттенок вольности, которого раньше никогда не было; и это не укрылось от внимания женщины.

— Я не совсем понимаю вас.

— Нет, кажется, понимаете. Думаю, что понимаете. Полно, леди Дедлок, полно, не к чему нам теперь фехтовать друг с другом и скрещивать рапиры. Ведь вы любите эту девочку.

— Ну так что же, сэр?

— Вы знаете,— да и я знаю,— что вы уволили ее не по тем причинам, которые указали, но чтобы оградить ее, насколько возможно, от...— простите, что я об этом говорю, но в этом суть дела,— от позора и бесчестия, которые угрожают вам.

— Ну так что же, сэр?

— А вот что, леди Дедлок,— отвечает юрист, положив ногу на ногу и поглаживая колено,— я против этого. Я считаю, что это опасно. Я убежден, что этого не нужно было делать, ибо это вызовет в вашем доме разговоры, подозрения, слухи и тому подобное. Кроме того, этим вы нарушили наше условие. Вы должны были оставаться совершенно такою же, как раньше. Однако вам, очевидно, самой ясно, как ясно мне, что сегодня вечером вы были совсем другой, нежели всегда. Э, да что говорить, леди Дедлок, это ясно всем!

— Если я, сэр,— начинает она,— помня о своей тайне...

Но он перебивает ее:

— Леди Дедлок, в этом суть дела, а когда говоришь о деле по существу, необходима полная ясность. Это уже не ваша тайна. Извините меня. Тут вы ошиблись. Это моя тайна, и я храню ее ради сэра Лестера и его рода. Будь она только вашей тайной, леди Дедлок, мы не вели бы здесь этого разговора.

— Совершенно верно. Если, помня об *этой* тайне, я по мере сил стараюсь спасти невинную девушку

(ведь я не забыла, как вы на нее намекали, когда в Чесни-Уолде рассказывали мою историю гостям),— стараюсь спасти невинную девушку от тяжелых последствий угрожающего мне позора, то я поступаю так, как решила поступить. Ничто в мире и никто в мире не может поколебать мое решение или повлиять на меня.

Она говорит все это непринужденно, отчетливо и внешне так же бесстрастно, как он. А он педантично обсуждает «суть дела», словно эта женщина — просто бесчувственное орудие, которым он пользуется в своих целях.

— Вот как? — говорит он.— Тогда вы сами видите, леди Дедлок, что доверять вам нельзя. Вы изложили все совершенно ясно, с предельной точностью, и теперь я вижу, что доверять вам нельзя.

— Быть может, вы помните, что я не скрыла своего беспокойства о девушке, когда мы ночью беседовали в Чесни-Уолде?

— Да,— отвечает мистер Талкингхорн, спокойно вставая и становясь спиной к камину.— Да. Я припоминаю, леди Дедлок, что о девушке вы тогда говорили. Но это было раньше, чем мы заключили условие; а ведь и буква и дух нашего условия запрещали вам совершать какие бы то ни было поступки, вытекающие из моего открытия. Это бесспорно так. Пощадить девушку? Но какое она имеет значение, какую ценность? Пощадить! Леди Дедлок, под угрозой честь рода. В подобных случаях необходимо идти напролом через... через все, не отклоняясь ни вправо, ни влево, не обращая внимания ни на что, ничего не щадя, все растаптывая на пути...

Она все время смотрела на стол. Теперь она подняла глаза и смотрит на собеседника. Лицо ее стало суровым, а нижняя губа закушена. «Эта женщина меня понимает,— думает мистер Талкингхорн, когда она снова опускает глаза.— Нельзя пощадить *ее*. Так с какой стати ей щадить других?»

Несколько мгновений они молчат. Леди Дедлок ничего не ела, но два или три раза недрогнувшей рукой наливала себе воды и выпивала ее. Она встает из-за стола, садится в глубокое кресло и, откинувшись назад, полулежит в

нем, прикрыв лицо рукой. Ничто в ней не обнаруживает слабости и не возбуждает сострадания. Она задумчива, мрачна, сосредоточенна. «Эта женщина,— думает мистер Талкингхорн, стоя у камина, словно какой-то темный неодушевленный предмет, который заслоняет ей все на свете,— эта женщина достойна изучения».

И он всласть изучает ее на досуге — некоторое время даже не говорит ни слова. Она тоже что-то изучает на досуге. Не такая она женщина, чтобы заговорить первой; не такая,— стой он тут хоть до полуночи, и это столь ясно, что даже он чувствует себя вынужденным прервать молчание.

— Леди Дедлок, в нашей беседе мы еще не дошли до самого неприятного; но в нем суть дела. Наш договор расторгнут. Вы, с вашим умом и силой характера, не можете не понять, что я считаю договор недействительным и буду поступать, как мне заблагорассудится.

— Я к этому готова.

Мистер Талкингхорн наклоняет голову.

— Только по этому поводу мне и пришлось побеспокоить вас, леди Дедлок.

Он уже хочет уйти, но миледи останавливает его вопросом:

— Это и есть предупреждение, которое вы собирались мне сделать? Отвечайте, я хочу понять вас правильно.

— Я хотел сделать вам несколько иное предупреждение, леди Дедлок; то предупреждение я сделал бы, если бы вы соблюли наш договор. Но, в сущности, это одно и то же... в сущности, одно и то же. Только юрист поймет, в чем различие между ними.

— Значит, это последнее предупреждение?

— Именно. Последнее.

— Вы собираетесь сказать сэру Лестеру правду сегодня вечером?

— Вопрос ребром! — говорит мистер Талкингхорн с легкой улыбкой и осторожно покачивает головой, глядя на миледи, которая по-прежнему прикрывает лицо рукою.— Нет, не сегодня.

— Завтра?

— Принимая во внимание все обстоятельства, мне

лучше не отвечать на этот вопрос, леди Дедлок. Скажи я вам, что и сам не знаю, когда именно это случится, вы не поверите, и мой ответ ничего вам не даст. Может быть, завтра. Но я, пожалуй, ничего больше не скажу. Вы предупреждены, а я не подаю надежд, которые в силу различных обстоятельств могут не исполниться. Желаю вам доброго вечера.

Он молча направляется к двери, а миледи опускает руку, поворачивает к нему бледное лицо и окликает его в тот миг, когда он собирается открыть дверь:

— Вы еще останетесь здесь? Я слышала, что вы писали в библиотеке. Вы вернетесь туда?

— Только за шляпой. Я иду домой.

Вместо ответа на его прощальный поклон она опускает не голову, а только глаза, и это — какое-то странное, еле заметное движение; а он уходит. Выйдя из комнаты, он вынимает часы, смотрит на них, и ему кажется, что они ошибаются примерно на одну минуту. Лестницу украшают другие, очень роскошные часы, которые, не в пример многим роскошным часам, славятся своей точностью.

— Ну, а *вы* что скажете,— говорит мистер Талкингхорн, взглянув на них.— Вы что скажете?

Если б они сейчас сказали: «Не иди домой!..» Какими знаменитыми часами они сделались бы отныне, если бы из всех отсчитанных ими вечеров они выбрали именно этот вечер, а из всех стариков и юношей, когда-либо стоявших перед ними, выбрали именно этого старика и сказали ему: «Не иди домой!»

Часы бьют три четверти восьмого — звон их отчетлив и чист — и продолжают тикать.

— Ну, вы хуже, чем я думал,— укоризненно бормочет мистер Талкингхорн, обращаясь к своим часам.— Ошибаетесь на две минуты! Этак вас на мой век не хватит.

Какие это были бы замечательные часы, если бы, заплатив добром за зло, они протикали в ответ: «Не иди домой!»

Он выходит на улицу и шагает, заложив руки за спину, мимо величественных особняков, с которыми связано столько всевозможных тайн, трудностей, закладных.

щекотливых дел, хранящихся под его поношенным жилетом из черного атласа. Кирпичи, выбеленные известкой, и те, кажется, делают ему признания. Высокие дымовые трубы поверяют ему семейные тайны. Труб этих видимо-невидимо, но ни одна не шепнет ему: «Не иди домой!»

Среди суеты и движения менее аристократических улиц, под грохот и дребезжанье бесчисленных экипажей, под шум бесчисленных шагов и звуки бесчисленных голосов, освещенный яркими огнями витрин, овеваемый западным ветром, теснимый густой толпой, он идет навстречу своей беспощадной судьбе, и ничто не остановит его словами: «Не иди домой!» Но вот он, наконец, пришел в свой скучный кабинет, зажег свечи и, оглянувшись кругом, смотрит вверх на римлянина, указующего перстом с потолка, но не видит сегодня ни в руке римлянина, ни в суете окруживших его амуров нового смысла и запоздалого предостережения: «Не входи сюда!»

Ночь лунная; но луна на ущербе и только сейчас встает над необъятными дебрями Лондона. Звезды сияют, как сияли они в Чесни-Уолде над террасой, пристроенной к башенке. «Эта женщина», как он с недавних пор привык называть миледи, смотрит на них. Душа у нее в смятении; на сердце гнет, она страдает, места себе не находит. Ей душно, ей тесно в этих просторных комнатах. Она рвется вон из них на свободу и, наконец, решает уйти в сад.

Своевольная и властная всегда, эта женщина никого не удивляет, что бы она ни делала, и сейчас, небрежно накинув на плечи мантилью, она выходит на улицу, освещенную луной. Ее сопровождает Меркурий с ключом от сада. Отперев садовую калитку, он, по приказу миледи, отдает ей ключ, а она говорит, что он может идти домой. Она немного погуляет здесь, пока у нее не пройдет головная боль. Погуляет с час или больше. Провожать ее не надо. Калитка закрывается, щелкнув задвижкой, и Меркурий покидает миледи, которая скрылась из виду в тени деревьев.

Прекрасная ночь, яркая большая луна и мириады звезд. Направляясь в свой винный погреб, мистер Тал-

кингхорн открывает и закрывает двери, которые захлопываются с шумом, и пересекает дворик, похожий на тюремный. Случайно подняв глаза к небу, он думает о том, какая сегодня прекрасная ночь, какая яркая большая луна, какое множество звезд! И такая тихая ночь!

Очень тихая ночь. Когда луна сияет ярким светом, она как бы излучает покой и тишину, умиротворяя даже те людные места, где жизнь кипит. Ночь тиха — тиха не только на пыльных дорогах и на вершинах холмов, с которых открывается вид на спящие поля, чей сон тем глубже, чем дальше они уходят куда-то, сливаясь, наконец, с каймой деревьев, что выделяются на фоне неба, окутанные призрачным, седым туманом; ночь тиха не только в садах, лесах и у реки, где заливные луга свежи и зелены, где вода, сверкая, струится между уютными островками, плещет, низвергаясь с плотин, бежит среди шелестящих тростников; покой нисходит на реку не только там, где она течет меж тесно сгрудившимися домами и где в ней отражаются мосты, а верфи и корабли превращают ее во что-то черное и страшное,— не только там, где, спасаясь от этого уродства, она убегает в болотистую низину с мрачными баканами, которые торчат, как скелеты, выброшенные на берег волнами,— не только там, где она широко растекается в более высоких, просторных местах, изобилующих нивами, ветряными мельницами и колокольнями, и где, наконец, сливается с вечно волнующимся океаном; ночь тиха не только в открытом море, не только на берегу, где случайный прохожий останавливается и смотрит, как шхуна с распростертыми крыльями пересекает лунную дорожку, которая, казалось, была дарована ему одному; нет, покой нисходит даже на дебри Лондона. Его колокольни, башни и купол его огромного собора кажутся все более воздушными; в этом бледном свете его закопченные крыши теряют грубость очертаний; шумы на улицах, приглушенные, умолкают один за другим, а звуки шагов на тротуарах медленно тают вдали. На тех полях, где обитает мистер Талкингхорн,— а судейские пастушки неумолчно играют на свирелях Канцлерского суда, оберегая в овчарнях своих овец, пока всеми правдами и неправдами не остригут их наголо,— на этих полях все шумы растворились в лунной ночи и слились

в один далекий гул, словно весь город превратился в огромное звенящее стекло.

Что это? Кто выстрелил из ружья или пистолета? Где?

Редкие прохожие вздрагивают, останавливаются и оглядываются кругом. Кое-где открываются окна и двери, и люди выходят узнать, что случилось. Выстрел был громкий, он вызвал эхо и гулко раскатился вдали. По уверению какого-то прохожего, от него даже дом затрясся. Он поднял на ноги всех собак в околотке, и они яростно лают. Перепуганные кошки бешено мчатся через улицу. Пока собаки все еще лают и воют,— один пес воет, как сущий демон,— церковные колокола, словно тоже чем-то испуганные, начинают отбивать часы. Как бы вторя им, уличный шум нарастает и становится громким, как крик. Но вскоре все затихает. Прежде чем последние отставшие часы начинают бить десять, водворяется тишина. И вот часы умолкли; прекрасная ночь, яркая большая луна и мириады звезд снова погружаются в покой.

А мистера Талкингхорна все это потревожило? В окнах у него темно, из комнат не доносится ни звука, дверь заперта. Впрочем, *этого* человека трудно вытащить из его раковины,— разве если случится что-то из ряда вон выходящее. Его не слышно, его не видно. Каким же оглушительным должен быть пушечный выстрел, чтобы нарушить невозмутимое спокойствие этого твердокаменного старика?

Много лет настойчивый римлянин указывал перстом с потолка неизвестно на что. Да вряд ли он и сегодня видит что-то определенное. Просто он, как и всякий римлянин или как всякий британец, одержимый одной навязчивой идеей, раз начав, продолжает указывать. Так, изогнувшись в неестественной позе, он тщетно указывает перстом всю ночь напролет. Лунный свет, сумрак, заря, восход, день. А римлянин все так же настойчиво продолжает указывать перстом, хотя на него никто не обращает внимания.

Но вот наступает утро, и приходят люди, чтобы убрать комнаты. И, то ли римлянин, наконец, указал на что-то новое, чего здесь не было раньше, то ли первый вошедший сошел с ума, но, так или иначе, человек этот,



подняв глаза вверх, на протянутую руку, а затем опустив их на что-то, распростертое внизу, вскрикивает и бежит прочь. Остальные, увидев то, что видел первый, тоже вскрикивают и убегают, а на улице поднимается переполох.

Что все это значит? В комнате закрыли ставни, и ее не освещают ничем, и люди, незнакомые с нею, входят тихо, но тяжело ступая; уносят из нее какой-то груз в спальню и кладут его на кровать. Весь день здесь недоуменно шепчутся, усердно обыскивают каждый уголок, тщательно осматривают следы шагов и тщательно отмечают расположение всех вещей в комнате. Все глаза смотрят вверх на римлянина, и все голоса бормочут: «Если б он только мог рассказать, что он видел!»

Римлянин указывает на стол, а на столе стоят бутылка вина (почти полная), рюмка и две свечи, внезапно погасшие вскоре после того, как их зажгли. Он указывает на пустое кресло и пятно на полу перед креслом — пятно, которое можно почти закрыть ладонью. Все это как раз в том месте, куда указывает его перст. Распаленное воображение способно увидеть во всем этом такие ужасы, от которых могут помешаться все остальные детали росписи — не только толстоногие амуры, но и облака, и цветы, и колонны,— словом, самое тело и душа этой Аллегории и весь ее ум. Все те, что входят в полутемную комнату и оглядываются кругом, непременно устремляют взор вверх, на римлянина, и он кажется им таинственным и грозным, как и всякий свидетель, пусть немой и недвижный.

И в течение многих грядущих лет люди, наверное, будут рассказывать страшные истории о пятне на полу, которое так легко прикрыть, но так трудно смыть; а римлянин, указующий перстом с потолка, будет указывать, пока пыль, сырость и пауки будут его щадить,— указывать с гораздо большим смыслом, чем во времена мистера Талкингхорна, и — со зловещим значением. Ибо время мистера Талкингхорна прошло навсегда; а в ту ночь римлянин указывал на руку убийцы, поднятую на старика, и с вечера до утра беспомощно указывал на него самого, лежащего ничком на полу, с пулей в сердце.

## ГЛАВА XLIX
### *Дружба дружбой, служба службой*

Мистер Джозеф Бегнет (по прозвищу — Дуб), отставной артиллерист, а ныне музыкант-фаготист, и все его семейство отмечают знаменательную годовщину. Отмечают празднеством и пиром. Празднуют день рождения одного из членов семейства.

Не день рождения самого мистера Бегнета. Нет, эту славную веху в торговле музыкальными инструментами мистер Бегнет отмечает только тем, что особенно крепко целует детей перед завтраком, после обеда выкуривает лишнюю трубочку, а под вечер начинает спрашивать себя, что думает об этом его бедная старенькая матушка — тема, вызывающая бесконечные, но совершенно бесплодные размышления, так как мать его скончалась лет двадцать назад. Иные мужчины лишь редко вспоминают об отце — очевидно, на текущем счету их памяти весь вклад сыновней любви внесен на имя матери. Мистер Бегнет один из таких мужчин. А достоинства своей «старухи» он ценит так высоко, что слово «самоотречение» кажется ему именем существительным женского рода.

Празднуют и не день рождения кого-нибудь из троих детей. Эти годовщины тоже отмечаются кое-чем, но, как правило, ограничиваются поздравлениями и пудингом. Правда, в прошлый день рождения юного Вулиджа мистер Бегнет сделал несколько замечаний насчет роста и общего развития сына и затем, после краткого, но глубокого размышления на тему о том, как все меняется с течением времени, учинил сыну экзамен по катехизису и задал ему совершенно точно вопросы первый и второй, а именно: «Как твое имя?» и «Кто дал тебе это имя?», но третьего вспомнить не смог и заменил его вопросом: «А как тебе нравится это имя?», придав ему, однако, значительность столь назидательную и поучительную, что вопрос приобрел совершенно ортодоксальный характер. Впрочем, экзамен по катехизису производился только в этот день рождения и не вошел в традицию на семейных торжествах.

Сегодня день рождения «старухи», и это величайший праздник в году, отмеченный в календаре мистера Бег-

нета ярко-красной цифрой. Знаменательное событие из года в год празднуется по определенному ритуалу, составленному и утвержденному мистером Бегнетом несколько лет назад. Глубоко убежденный в том, что обед, состоящий из двух кур,— высочайший предел царской роскоши, мистер Бегнет в этот день неизменно выходит из дому спозаранку, чтобы купить парочку кур, а продавец столь же неизменно надувает его, всучив ему двух самых древних старцев петухов, какие выросли и состарились в птичниках Европы. Вернувшись с этими образцами птичьей жесткости, завязанными в чистый ситцевый платок, синий с белыми разводами (без которого в этот день покупки не обходятся), мистер Бегнет за завтраком, как бы между прочим, спрашивает миссис Бегнет, что именно она желала бы скушать за обедом. Миссис Бегнет, как ни странно столь неизменное совпадение, отвечает, что ей хотелось бы курятины, и мистер Бегнет немедленно вынимает из тайника свой узелок, вызывая всеобщее изумление и восторг. Далее он требует, чтобы «старуха» весь день напролет ничего не делала, но сидела бы сложа руки в своем самом лучшем наряде, а прислуживать ей и заниматься хозяйством будут дети и он сам. Но повар он никудышный, а потому не трудно догадаться, что весь этот почет не доставляет «старухе» никакого удовольствия; однако она занимает свое почетное положение со всем благодушием, какое только можно вообразить.

В сегодняшний день ее рождения мистер Бегнет уже закончил традиционную подготовку к празднеству. Он купил два экземпляра домашней птицы, до того старых, что их по пословице, конечно, никак нельзя было «провести на мякине», а уж на вертел они и подавно не годились; он изумил и привел в восторг все семейство неожиданной покупкой; он самолично руководит жареньем петухов, а миссис Бегнет сидит в парадном туалете, как почетная гостья, и ее смуглые сильные руки так и чешутся исправить оплошности, которые она подмечает.

Квебек и Мальта накрывают на стол, а Вулидж, как и подобает, неся службу под командой отца, поворачивает вертел, на котором жарятся петухи. Конечно, юные поварята часто делают промахи, и тогда миссис Бегнет под-

мигивает им, покачивает головой или морщится, обернувшись в их сторону.

— В половине второго,— объявляет мистер Бегнет.— Минута в минуту. Изжарятся.

Миссис Бегнет с тревогой видит, что вертел остановился и один петух начинает подгорать.

— Ну и обед у тебя будет, старуха! — говорит мистер Бегнет.— Хоть самой королеве на стол.

Миссис Бегнет весело улыбается, показывая белые зубы, но юный Вулидж замечает в ней признаки такого беспокойства, что, побуждаемый сыновней любовью, взглядом спрашивает ее, что случилось? — а сам стоит, уставившись на нее во все глаза, начисто позабыв о петухах и не подавая никаких надежд на то, что к нему вернется память. К счастью, старшая из его сестренок догадывается, почему взволновалась миссис Бегнет, и приводит его в себя увещевательным толчком в бок. Петухи снова начинают вращаться, и миссис Бегнет даже глаза закрывает,— такая большая гора свалилась у нее с плеч.

— Джордж придет к нам,— говорит мистер Бегнет.— В половине пятого. Без опоздания. Сколько уж лет, старуха, Джордж приходит к нам. В этот день?

— Ах, Дуб, Дуб, да, я думаю, столько лет, сколько нужно для того, чтоб молодка стала старухой. Примерно столько, никак не меньше! — отвечает миссис Бегнет, смеясь и качая головой.

— Старуха,— говорит мистер Бегнет.— Это вздор. Ты все такая же молодая. Если не моложе. Именно моложе. Как всем известно.

Квебек и Мальта кричат, хлопая в ладоши, что Заводила, наверное, принесет маме подарочек, и пытаются угадать, какой именно.

— Знаешь, Дуб,— начинает миссис Бегнет, но, окинув взглядом накрытый стол, правым глазом подмигивает Мальте, чтобы та принесла солонку и, отрицательно качнув головой, дает понять Квебек, что перечницы ставить не нужно,— знаешь, Дуб, мне кажется, что Джордж опять собирается куда-то сбежать.

— Джордж,— возражает мистер Бегнет,— неспособен дезертировать. И покинуть старого товарища. В беде. Не бойся.

— Да нет же, Дуб. Нет. Ты меня не понял. Я не хотела сказать, что покинет. Конечно, не покинет. Но дай ему только развязаться со своими денежными неурядицами, и он наверняка удерет куда-нибудь.

Мистер Бегнет спрашивает — почему?

— Видишь ли,— отвечает ему жена, немного подумав,— сдается мне, что Джордж стал какой-то беспокойный — прямо места себе не находит. Я не говорю, что он теперь не такой обходительный, как был. Конечно, обходительный — это у него в крови; но он чем-то терзается и как будто выбит из колеи.

— Просто его чересчур замуштровали,— говорит мистер Бегнет.— Один крючкотвор замуштровал. Который самого дьявола из колеи выбьет.

— Это, пожалуй, верно,— соглашается с ним жена,— но все-таки дела не меняет, Дуб.

Разговор на время прекращается, так как мистер Бегнет понимает, что ему необходимо целиком сосредоточиться на приготовлении обеда, которому угрожает некоторая опасность, ибо от природы сухие петухи упорно не желают выделить из себя сок для подливки, а «темный» соус получился безвкусным и белым, как лен. Картошка, варившаяся в кожуре, столь же строптиво крошится на вилках, когда ее чистят, и рассыпается, словно она подвержена землетрясениям. А ноги у петухов оказались гораздо более длинными, чем следует, и обтянутыми жесткой, как чешуя, кожей. Преодолев, в меру своих способностей, все эти недостатки, мистер Бегнет кладет петухов на блюдо, и все усаживаются за стол, причем миссис Бегнет занимает место почетной гостьи — по правую руку от хозяина.

Большое счастье для «старухи», что день ее рождения бывает только раз в году,— ведь случись ей дважды отведать подобной «курятины», с ней бы худо было. Все тонкие связки и сухожилия, какими только обладает домашняя птица, у этих двух экземпляров уподобились гитарным струнам. Конечности же их глубоко пустили корни в тело, как старые деревья пускают корни в землю. В частности, ноги у петухов такие жесткие, что кажется, будто птицы эти посвятили большую часть своей долгой и многотрудной жизни пешеходному спорту и состяза-

ниям в ходьбе. Но мистер Бегнет, не замечая этих маленьких недостатков, ревностно потчует миссис Бегнет, упрашивая ее скушать огромную порцию лакомства, лежащую на ее тарелке; а так как добрая «старуха» ни за что на свете не огорчит его хоть на миг ни в какой день года, а в этот — тем менее, то пищеварению ее угрожает страшная опасность. Как ухитряется юный Вулидж безнаказанно обгладывать и, не будучи потомком страуса, переваривать ноги этих петухов, его встревоженная матушка понять не в силах.

Но после окончания пира «старуха» подвергается новому испытанию: ей приходится сидеть в почетном бездействии и только смотреть, как ее дочки убирают комнату, выметают золу из камина, моют и чистят столовую и кухонную посуду на заднем дворе. Обе молодые девицы, подоткнув юбочки в подражание матери, носятся туда-сюда, скользя, как на коньках, в своих высоких деревянных сандалиях, а их бурный восторг и энергия подают самые радужные надежды на будущее, но внушают некоторые опасения в настоящем. Разговоры становятся бессвязными, посуда и оловянные кружки громко стучат и гремят, метлы так и летают по полу, вода льется и разливается, и все это — без удержу; что касается омовения самих молодых девиц, то оно слишком волнующее зрелище для миссис Бегнет, чтобы она могла смотреть на него со спокойствием, подобающим ее положению. Наконец различного рода очистительные процессы победоносно заканчиваются; Квебек и Мальта появляются в свежих нарядах, улыбающиеся и обсохшие; трубки, табак и бутылки уже на столе, а «старуха», как всегда в этот день приятного семейного торжества, впервые начинает наслаждаться душевным покоем.

Когда мистер Бегнет садится на свое обычное место, стрелки часов приближаются к половине пятого; а когда они отмечают ровно половину, мистер Бегнет объявляет:

— Джордж! Точно. По-военному.

Действительно, это пришел Джордж, и он горячо поздравляет «старуху» (которую целует по случаю торжественного дня), детей и мистера Бегнета.

— Всех поздравляю! — говорит мистер Джордж.

— Джордж, старый друг! — восклицает миссис Бегнет, глядя на него с любопытством.— Что с вами стряслось?

— Что со мной стряслось?

— Ну да! Вы какой-то бледный, Джордж,— бледней, чем всегда, да и вид у вас совсем расстроенный. Правда, Дуб?

— Джордж,— говорит мистер Бегнет.— Скажи старухе. Что случилось?

— Я не знал, что я бледный,— говорит кавалерист, проводя рукой по лбу,— не знал и что лицо у меня расстроенное; если так, извините. Но сказать вам правду, тот мальчик, которого поместили у меня, умер вчера днем, и это меня очень огорчило, вроде как обухом по голове ударило.

— Бедняжка! — отзывается миссис Бегнет с материнским состраданием.— Неужели умер? Ах ты господи!

— Я про это не хотел говорить — не подходящий предмет для разговора в день рождения, но ведь я не успел присесть, как вы уже выпытали у меня эту новость. А не то я бы сразу развеселился,— объясняет кавалерист, заставляя себя говорить более оживленным тоном,— но такая уж вы, миссис Бегнет,— все-то у вас мигом.

— Правильно,— соглашается мистер Бегнет.— Старуха. У нее и впрямь всё мигом... Чисто порох.

— И больше того — она виновница нынешнего торжества, так что мы должны ее занимать! — восклицает мистер Джордж.— Вот поглядите, какую брошечку я принес. Вещица, конечно, пустяковая, так просто — на память. А больше в ней ничего хорошего нет, миссис Бегнет.

Мистер Джордж вынимает свой подарок, и младшие члены семейства встречают его восторженными прыжками и хлопаньем в ладоши, а мистер Бегнет благоговейным восхищением.

— Старуха! — говорит мистер Бегнет.— Скажи ему мое мнение о ней.

— Чудо как хороша, Джордж! — восклицает миссис Бегнет.— Такой красивой вещи я в жизни не видывала!

— Прекрасно,— соглашается мистер Бегнет.— Мое мнение!

— Она такая хорошенькая, Джордж,— говорит миссис Бегнет, вытянув руку, в которой держит подарок, и поворачивая брошку во все стороны,— что для меня она слишком уж красива!

— Плохо! — возражает мистер Бегнет.— Не мое мнение!

— Но так ли, этак ли, спасибо вам сто тысяч раз, старый друг,— говорит миссис Бегнет, протянув руку Джорджу, и глаза ее блестят от удовольствия,— и хоть я иной раз и обходилась с вами как сварливая солдатка, Джордж, на самом-то деле мы с вами такие закадычные друзья, каких во всем свете не сыщешь. А теперь, если хотите, Джордж, сами приколите ее на счастье.

Дети теснятся вокруг, желая лучше видеть, как Джордж прикалывает к лифу миссис Бегнет свой подарок, а мистер Бегнет смотрит поверх головы Вулиджа, чтобы тоже увидеть это,— смотрит с таким деревянно-степенным и в то же время ребячески-милым интересом, что миссис Бегнет не может удержаться от легкого смеха и говорит:

— Ах, Дуб, Дуб, вот уж бесценный старикан!

Но кавалеристу не удается приколоть брошь. Рука его дрожит, он волнуется и роняет свой подарок.

— Ну и ну! — говорит он, подхватив его на лету и озираясь по сторонам.— До того расстроился, что не могу справиться с таким пустяком!

Миссис Бегнет, придя к заключению, что для подобного случая нет лучшего лекарства, чем трубка, мигом сама прикалывает брошку и, усадив кавалериста в его привычном уютном уголке, приносит мужчинам трубки.

— Если и трубка вас не подбодрит, Джордж,— говорит она,— посмотрите разок-другой вот сюда — на свой подарочек, а уж оба-то средства вместе *обязательно* подействуют.

— Да вас и одной хватит, чтобы меня подбодрить,— отзывается Джордж,— я это прекрасно знаю, миссис Бегнет... Ну, теперь расскажу вам, почему да отчего у меня столько огорчений накопилось. Возьмите хоть этого несчастного мальчишку. Невесело было видеть, как он умирает, зная, что ничем ему не поможешь.

— Что вы говорите, Джордж? Вы же помогли ему. Вы его приютили.

— Да, этим я ему помог, но ведь это пустяк. Я хочу сказать, миссис Бегнет, что он умирал, так ничему и не научившись,— только и умел, что отличать правую руку от левой. Ну, а тут уж помогать было поздно.

— Ах, бедняжка! — восклицает миссис Бегнет.

— И вот,— продолжает кавалерист, все еще не зажигая трубки и проводя тяжелой рукой по волосам,— тут невольно приходит на память Гридли. С ним тоже вышло плохо, хоть и по-другому. Так что оба они сливаются в твоих мыслях с бессердечным старым негодяем, что преследовал их обоих. А как подумаешь об этом ржавом карабине, что торчит в своем углу, такой жесткий, бесчувственный, равнодушный ко всему на свете, так прямо дрожь пробирает и кровь горит в жилах, уверяю вас.

— Мой вам совет,— говорит миссис Бегнет,— зажгите-ка вы трубочку, и пусть у вас горит она, а не кровь. Так-то лучше будет — и спокойней, и уютней, да и для здоровья полезней.

— Правильно,— соглашается кавалерист,— так я и сделаю.

Да, так он и делает, правда не утратив своей негодующей серьезности, которая производит сильное впечатление на юных Бегнетов и даже побуждает мистера Бегнета ненадолго отложить церемонию тоста за здоровье миссис Бегнет — тоста, который Бегнет в такие дни всегда провозглашает сам, произнося речь, образцовую по сжатости. Но молодые девицы уже составили напиток, который мистер Бегнет привык называть «смесью», а трубка Джорджа уже рдеет, поэтому мистер Бегнет, наконец, считает своим долгом произнести главный тост праздничного вечера. Он обращается к собравшемуся обществу в следующих выражениях:

— Джордж. Вулидж. Квебек, Мальта. Сегодня день ее рождения. Сделайте хоть целый дневной переход. Другой такой не найдете. Пьем за ее здоровье!

Все с энтузиазмом выпили, и миссис Бегнет произносит благодарственную речь, еще более краткую. Этот перл красноречия сводится к четырем словам: «А я за ваше!», причем «старуха» сопровождает его кивком в сторону каждого из присутствующих поочередно и умеренным



глотком «смеси». Но на сей раз она заключает церемонию неожиданным восклицанием: «Кто-то пришел!»

Кто-то действительно пришел,— к великому удивлению маленького общества,— и уже заглянул в дверь. Это человек с острыми глазами, живой, проницательный, и он сразу ловит все устремленные на него взгляды, каждый в отдельности и все вместе, с такой ловкостью, которая обличает в нем незаурядного человека.

— Джордж,— говорит он с легким поклоном,— как вы себя чувствуете?

— Э, да это Баккет! — восклицает мистер Джордж.

— Он самый,— отзывается Баккет, войдя и закрыв за собой дверь.— А я, знаете ли, проходил тут по улице и случайно остановился взглянуть на музыкальные инструменты в витрине,— одному моему приятелю нужна подержанная виолончель с хорошим звуком — гляжу, целая компания веселится, и показалось мне, будто в углу сидите вы; так и есть — не ошибся. Ну, Джордж, как делишки? Идут довольно гладко? А ваши, тетушка? А ваши, хозяин? Бог мой! — восклицает мистер Баккет, раскрыв объятия,— да тут и деточки имеются! Только подсуньте мне малыша, и можете сделать со мной все что угодно. Ну-ка, поцелуйте-ка меня, крошечки вы мои! Незачем и спрашивать, кто *ваши* родители. В жизни не видывал такого сходства!

Завоевав всеобщее расположение, мистер Баккет садится рядом с мистером Джорджем и усаживает к себе на колени Квебек и Мальту.

— Ах вы мои прелестные милашки,— говорит мистер Баккет,— поцелуйте-ка меня еще разок; а больше мне ничего не нужно. Господь с вами, до чего ж у вас здоровый вид! А по скольку лет вашим девочкам, тетушка? Одной восемь, а другой десять, я так думаю.

— Вы почти угадали, сэр,— говорит миссис Бегнет.

— Я всегда угадываю,— отвечает мистер Баккет,— потому что до смерти люблю ребят. У одного моего приятеля девятнадцать человек детей, тетушка, и все от одной матери, а сама она до сих пор свежая и румяная, как заря. Не такая красавица, как вы, но вроде вас, могу поклясться! А это как называется, душечка? — продолжает мистер Баккет, ущипнув Мальту за щечку.— Это

персик, вот что это такое. Ну что за девочка! А как насчет твоего папы? Как думаешь, милочка, удастся папе подыскать подержанную виолончель с хорошим звуком для приятеля мистера Баккета? Моя фамилия Баккет. Смешная, правда? *

Эти любезные речи окончательно завоевывают сердца всего семейства. Миссис Бегнет, позабыв, какой сегодня день, своими руками набивает трубку, потом наливает стакан мистеру Баккету и радушно потчует его. Такого приятного человека она с радостью приняла бы когда угодно и говорит ему, что особенно рада видеть его сегодня вечером, потому что он друг Джорджа, а Джордж нынче прямо сам не свой — чем-то расстроен.

— Сам не свой? Расстроен? — восклицает мистер Баккет.— Что вы говорите! А в чем дело, Джордж? Ни за что не поверю, что вы расстроены. С чего бы вам расстраиваться? Впрочем, может, вас что-нибудь волнует, а?

— Ничего особенного,— отвечает Джордж.

— И *я* думаю, что нет,— поддакивает мистер Баккет.— Ну, что вас может волновать, а? Разве этих малюточек что-нибудь волнует, а? Понятно, нет; зато они сами скоро будут волновать каких-нибудь молодых людей и уж, конечно, приведут их в расстройство чувств. Я не очень-то хороший пророк, но *это я* вам предсказываю, тетушка.

Миссис Бегнет, совершенно плененная, выражает надежду, что у мистера Баккета есть дети.

— В том-то и горе, тетушка! — говорит мистер Баккет.— Вы не поверите: нет у меня детей. Жена да жилица — вот и вся моя семья. Миссис Баккет не меньше меня любит ребят и так же хотела бы иметь своих, но... нету. Так вот все и получается в жизни. Мирские блага распределены не поровну, но роптать не надо. Какой у вас уютный дворик, тетушка! Из этого дворика есть выход, а?

Из дворика выхода нет.

— Неужели нет? — переспрашивает мистер Баккет.— А я думал, что есть. Очень мне нравится этот дворик — в жизни не видывал такого. Вы мне позволите его осмотреть? Благодарю вас. Нет, я вижу, выхода нет. Но какой это благоустроенный дворик!

Обежав острым взглядом весь двор, мистер Баккет возвращается, садится в кресло рядом со своим другом, мистером Джорджем, и ласково хлопает мистера Джорджа по плечу.

— Ну, а теперь как настроение, Джордж?

— Теперь хорошее,— отвечает кавалерист.

— Вот это в вашем духе! — одобряет мистер Баккет.— Да и с чего ему быть плохим? Мужчина с вашей прекрасной фигурой и здоровьем не имеет права расстраиваться... Скажите вы, тетушка, ну можно ли расстраиваться, когда у тебя такая широкая грудь?.. И ведь вас, конечно, ничто не волнует, Джордж; да и что может вас волновать?

Что-то уж очень настойчиво твердя одно и то же, несмотря на свои выдающиеся и многоразличные способности по части светского разговора, мистер Баккет два-три раза повторяет последнюю фразу, обращаясь к трубке, которую зажигает, как бы прислушиваясь к чему-то, с особенным, ему одному свойственным выражением лица. Но вскоре солнце его общительности приходит в себя после своего краткого затмения и вновь начинает сиять.

— А это ваш братец, душечки? — говорит мистер Баккет, обращаясь к Мальте и Квебек за информацией насчет юного Вулиджа.— И очень милый братец... конечно, только единокровный брат. Он уже в таком возрасте, что не может быть вашим сыном, тетушка.

— Во всяком случае, я могу удостоверить, что мать его не какая-то другая женщина,— со смехом возражает миссис Бегнет.

— Да ну? Поразительно! А впрочем, он и вправду похож на вас — тут уж ничего не скажешь. Бог мой! Да он прямо вылитая мать! А вот лоб, знаете ли,— *тут* узнаешь отца!

Зажмурив один глаз, мистер Баккет переводит глаза с отца на сына, а мистер Бегнет курит с невозмутимым удовлетворением.

Миссис Бегнет пользуется удобным случаем сообщить гостю, что мальчик — крестник Джорджа.

— Крестник Джорджа? Да что вы! — подхватывает мистер Баккет с большим чувством.— Надо мне еще раз пожать руку крестнику Джорджа. Крестный и крестник

делают честь один другому. А кем он у вас собирается быть, тетушка? У него есть способности к игре на каком-нибудь музыкальном инструменте?

— Играет на флейте. Прекрасно,— внезапно вмешивается мистер Бегнет.

— Вы не поверите, хозяин, когда я был мальчишкой, я сам играл на флейте,— говорит мистер Баккет, пораженный этим совпадением.— Не по-ученому, как наверняка играет он, а просто по слуху. Подумать только! «Британские гренадеры» — от этой песни у нас, англичан, кровь кипит! А ну-ка, сыграй нам «Британских гренадеров», юноша!

Ничто не может сильнее польстить маленькому кружку, чем такая просьба, обращенная к юному Вулиджу, который немедленно достает свою флейту и начинает играть зажигательную мелодию, в то время как мистер Баккет, необычайно оживившись, отбивает такт и поет припев: «Бри-танские грена-а-а-адеры!», ни разу его не пропустив. Короче говоря, он оказался столь музыкальным человеком, что мистер Бегнет даже вынимает трубку изо рта и выражает убеждение, что их новый знакомый — певец. Мистер Баккет, не отрицая этого обвинения, сознается, что когда-то действительно немножко пел, стремясь излить чувства, волновавшие его грудь, но отнюдь не имея самонадеянного намерения услаждать своих друзей, и все это он говорит так скромно, что его тут же просят спеть. Не желая отстать от других участников вечеринки, он поет им: «Поверьте, когда б эти милые юные чары» *. Эту песню, как он объясняет миссис Бегнет, он всегда считал своей самой мощной союзницей, так как она помогла ему завоевать сердце миссис Баккет в бытность ее девицей и уговорить ее пойти под венец, или, как выражается мистер Баккет, «прийти к финишу».

Незнакомец оказался таким приятным и компанейским малым, так быстро сделался душой общества, что мистер Джордж, не выразивший большого удовольствия при встрече с ним, невольно начинает им гордиться. Он так любезен, у него столько разнообразных талантов, с ним чувствуешь себя так непринужденно, что положительно стоит познакомить его со своими друзьями. Выкурив еще одну трубку, мистер Бегнет уже так дорожит

этим знакомством, что просит мистера Баккета оказать ему честь пожаловать к ним на следующий день рождения «старухи». А мистер Баккет испытывает величайшее уважение к семейству Бегнетов, особенно после того, как узнает, что сегодня празднуется день рождения хозяйки. Он пьет за здоровье миссис Бегнет с почти восторженной пылкостью; обещает прийти еще раз ровно через год, выражая более чем растроганную благодарность за приглашение; записывает для памяти знаменательную дату в свою большую черную записную книжку, стянутую ремешком, и выражает надежду, что миссис Баккет и миссис Бегнет еще до этого дня так подружатся, что сделаются как бы родными сестрами. Чего стоит общественная деятельность, говорит он, если у человека нет личных привязанностей? Правда, он сам, по мере своих скромных сил, общественный деятель, но не в этой области находит он счастье. Нет, счастье надо искать в благословенном кругу семьи.

Все сегодня складывается так, что мистер Баккет, естественно, не должен забывать о друге, которому обязан столь многообещающим знакомством. И он не забывает. Он все время рядом с ним. О чем бы ни заходил разговор, он не сводит с друга нежного взора. Он решает посидеть еще немного, чтобы идти домой вместе с ним. Он интересуется даже сапогами своего друга и внимательно их рассматривает, пока мистер Джордж, положив ногу на ногу, курит у камина.

Наконец мистер Джордж встает, собираясь уходить. В тот же миг встает и мистер Баккет, движимый тайным тяготением к обществу друга. Он в последний раз восторгается детьми и вспоминает о поручении своего приятеля, который сейчас в отъезде.

— Так как же насчет подержанной виолончели, хозяин... можете вы подыскать мне что-нибудь в этом роде?

— Да хоть десяток,— отвечает мистер Бегнет.

— Очень вам признателен,— говорит мистер Баккет, крепко пожимая ему руку.— «Друга познаешь в нужде» — вот вы и есть такой друг. С хорошим звуком, заметьте! Мой приятель настоящий музыкант. Черт его побери,— пилит Моцарта и Генделя и прочих знаменитостей, как великий мастер своего дела. И вам не к чему,—

добавляет мистер Баккет задушевным и доверительным тоном,— вам не к чему скромничать, хозяин,— назначать слишком дешевую цену. Я не хочу, конечно, чтобы мой приятель переплачивал, но вы должны получить приличную комиссию и вознаграждение за потерю времени. Это только справедливо. Каждый человек должен жить, и пусть живет.

Мистер Бегнет делает движение головой в сторону «старухи», как бы желая сказать, что новый знакомый прямо драгоценная находка.

— А что, если мне заглянуть к вам завтра, ну хоть, скажем, в половине одиннадцатого? Вы уже сможете назвать мне цены нескольких виолончелей с хорошим звуком? — осведомляется мистер Баккет.

Чего легче! Мистер и миссис Бегнет берутся узнать нужные сведения и даже предлагают друг другу собрать в своей лавке небольшую коллекцию виолончелей, чтобы покупатель мог с ними ознакомиться.

— Благодарю вас,— говорит мистер Баккет,— благодарю вас. До свидания, тетушка. До свидания, хозяин! До свидания, душечки. Очень вам признателен за один из приятнейших вечеров, какие я только проводил в жизни!

Нет, это они очень признательны ему за удовольствие, полученное в его обществе; так что и гость и хозяева расстаются, обменявшись самыми добрыми пожеланиями.

— Ну, Джордж, старый друг,— говорит мистер Баккет, подхватив кавалериста под руку у выхода из лавки,— пойдемте!

Они идут по уличке, а Бегнеты ненадолго задерживаются на пороге, глядя им вслед, и миссис Бегнет говорит достойному Дубу, что мистер Баккет «так и льнет к Джорджу — должно быть, души в нем не чает».

Соседние улицы узки и плохо вымощены; шагать по ним под руку не совсем удобно, и мистер Джордж вскоре предлагает спутнику идти порознь. Но мистер Баккет не в силах расстаться с другом и отвечает:

— Подождите минутку, Джордж. Дайте мне сперва поговорить с вами.

И он немедленно тащит Джорджа в какую-то харчевню, ведет его в отдельную комнату, закрывает

дверь и, став к ней спиной, смотрит Джорджу прямо в лицо.

— Слушайте, Джордж,— начинает мистер Баккет,— дружба дружбой, а служба службой. Я всегда стараюсь по мере сил, чтобы они не сталкивались одна с другой. Нынче вечером я пытался сделать все по-хорошему; судите сами, удалось мне это или нет. Можете считать себя под арестом, Джордж.

— Под арестом? За что? — спрашивает кавалерист, как громом пораженный.

— Слушайте, Джордж,— говорит мистер Баккет, стараясь внушить кавалеристу разумное отношение ко всему происходящему, и для большей убедительности тычет в его сторону толстым указательным пальцем,— как вам отлично известно, долг — это одно, а дружеская болтовня — совершенно другое. Мой долг официально предупредить вас, что «всякое суждение, которое вы произнесете, может быть обращено против вас». Поэтому, Джордж, будьте осторожней, не говорите лишнего. Вы случайно не слышали об одном убийстве?

— О каком убийстве?

— Слушайте, Джордж,— говорит мистер Баккет, назидательно двигая указательным пальцем,— запомните, что̀ я вам сказал. Я вас ни о чем не расспрашиваю. Сегодня вечером вы были расстроены. Так вот, вы случайно не слышали об одном убийстве?

— Нет. А где произошло убийство?

— Слушайте, Джордж,— говорит мистер Баккет,— смотрите не выдайте сами себя. Сейчас скажу, почему я за вами пришел. На Линкольновых полях произошло убийство... убили одного джентльмена, некоего Талкингхорна. Застрелили вчера вечером. Потому-то я и пришел за вами.

Кавалерист опускается в кресло, которое стоит сзади него, и на лбу его выступают крупные капли пота, а по лицу разливается мертвенная бледность.

— Баккет! Полно! Быть не может, чтобы мистера Талкингхорна убили и вы заподозрили *меня!*

— Джордж,— отвечает мистер Баккет, беспрерывно двигая указательным пальцем,— это не только может быть, но так оно и есть. Преступление было совершено

вчера в десять часов вечера. Вы, конечно, знаете, где вы были вчера в десять часов вечера и, надо думать, сможете представить доказательства — где именно.

— Вчера вечером! Вчера вечером! — повторяет кавалерист в раздумье. И вдруг его осеняет: — Господи, да ведь вчера вечером я был там!

— Я это знал, Джордж,— отзывается мистер Баккет очень непринужденно.— Я это знал. А также — что вы там бывали частенько. Люди видели, как вы околачивались в конторе Талкингхорна, не раз слыхали, как вы препирались с ним, и может быть — наверное я этого не говорю, заметьте себе,— но, может быть, слышали, как он вас называл злонамеренным, преступным, опасным субъектом.

Кавалерист открывает рот, словно хочет подтвердить все это, но не в силах вымолвить ни слова.

— Слушайте, Джордж,— продолжает мистер Баккет, положив шляпу на стол с таким деловым видом, словно он не сыщик, арестовавший заподозренного, а какой-нибудь драпировщик, который пришел к заказчику,— я хочу, да и весь вечер хотел,— чтобы все у нас с вами обошлось по-хорошему. Скажу вам откровенно, что сэр Лестер Дедлок, баронет, обещал награду в сто гиней за поимку убийцы. Мы с вами всегда были в хороших отношениях, но по долгу службы я обязан вас арестовать, и если кто-то должен заработать эти сто гиней, не все ли равно, я их заработаю или кто другой. Итак, вы, надо думать, поняли, что я должен вас забрать, и будь я проклят, если не заберу. Придется мне звать на подмогу, или обойдемся без этого?

Мистер Джордж уже пришел в себя и стал навытяжку, как солдат.

— Пойдемте,— говорит он.— Я готов.

— Джордж,— продолжает мистер Баккет,— подождите минутку! — и все с тем же деловым видом, словно сам он — драпировщик, а кавалерист — окно, на которое нужно повесить драпировки, вытаскивает из кармана наручники.— Обвинение тяжкое, Джордж; я обязан их надеть.

Кавалерист, вспыхнув от гнева, колеблется, но лишь мгновение, и, стиснув руки, протягивает их Баккету со словами:

— Ладно! Надевайте!

Мистер Баккет вмиг надевает на них наручники.

— Ну как? Удобно? Если нет, так и скажите,— я хочу, чтоб у нас с вами все обошлось по-хорошему, насколько позволяет долг службы; а то у меня в кармане есть другая пара.

Это замечание он делает с видом очень почтенного ремесленника, который стремится выполнить заказ аккуратно и вполне удовлетворить заказчика.

— Годятся? Прекрасно! Теперь слушайте, Джордж! — Он шарит в углу, достает плащ и закутывает в него кавалериста.— Отправляясь за вами, я позаботился о вашем самолюбии и прихватил с собой вот это. Чудесно! Кто теперь заметит, что на вас наручники?

— Один я,— отвечает кавалерист.— Но, раз так, окажите мне еще одну услугу — надвиньте-ка мне шляпу на глаза.

— Вздор какой! Неужели вы это серьезно? А стоит ли? Право, не стоит.

— Не могу я смотреть в лицо всем встречным, когда у меня эти штуки на руках,— настаивает мистер Джордж.— Ради бога, надвиньте мне шляпу на глаза.

Мистер Баккет выполняет эту настоятельную просьбу, сам надевает шляпу и выводит свою добычу на улицу; кавалерист идет таким же ровным шагом, как и всегда, но голова его сидит на плечах не так прямо, как раньше, и когда нужно перейти улицу или завернуть за угол, мистер Баккет направляет его, подталкивая локтем.

## ГЛАВА L

### *Повесть Эстер*

Вернувшись из Дила, я нашла у себя записку от Кедди Джеллиби (так мы все еще называли ее), в которой говорилось, что здоровье Кедди, пошатнувшееся за последнее время, теперь ухудшилось, и она будет невыразимо рада, если я приеду повидаться с нею. Записка была коротенькая — всего в несколько строчек, написанных в

постели, с которой больная не могла встать,— вложенная в письмо ко мне от мужа Кедди, очень встревоженного и просившего меня исполнить ее просьбу. Теперь Кедди была матерью, а я — крестной бедненькой малютки, крохотной девочки со старческим личиком, до того маленьким, что оно почти скрывалось в оборках чепчика, и худенькими ручонками с длинными пальчиками, вечно сжатыми в кулачки под подбородком. Девочка лежала так целый день, широко раскрыв глазенки, похожие на блестящие крапинки, и словно недоумевая (казалось мне), почему она родилась столь крошечной и слабенькой. Когда ее перекладывали, она плакала; если же ее не трогали, вела себя так терпеливо, словно хотела только одного — спокойно лежать и думать. На личике у нее выделялись странные темные жилки, а под глазами — странные темные пятнышки, смутно напоминавшие мне о «чернильных временах» в жизни бедной Кедди; в общем, девочка производила очень жалкое впечатление на тех, кто к ней еще не привык.

Но сама Кедди к ней, конечно, привыкла и лучшей дочки не желала. Она забывала о своих недомоганиях, строя всевозможные планы и мечтая о том, как будет воспитывать свою крошку Эстер, да как крошка Эстер выйдет замуж, и даже как она, Кедди, состарившись, будет бабушкой крошечных Эстер крошки Эстер, и в этом так трогательно сказывалась ее любовь к ребенку, которым она так гордилась, что я поддалась бы искушению рассказать о ее мечтах подробно, если бы не вспомнила вовремя, что уже сильно уклонилась в сторону.

Теперь вернусь к записке. Отношение Кедди ко мне носило какой-то суеверный характер — оно возникло в ту давнюю ночь, когда она спала, положив голову ко мне на колени, и становилось все более суеверным. Она почти верила,— сказать правду, даже твердо верила,— что всякий раз, как мы встречаемся, я приношу ей счастье. Конечно, все это были выдумки любящей подруги, и мне почти стыдно о них упоминать, но доля правды в них могла оказаться теперь, когда Кедди заболела. Поэтому я, с согласия опекуна, поспешила уехать в Лондон, а там и она и Принц встретили меня так радушно, что и передать нельзя.

На другой день я снова отправилась посидеть с больной, отправилась и на следующий. Поездки эти ничуть меня не утомляли — надо было только встать пораньше, проверить счета и до отъезда распорядиться по хозяйству. Но после того как я съездила в город три раза, опекун сказал мне, когда я вечером вернулась домой:

— Нет, Хозяюшка милая, нет, этак не годится. Вода точит и камень, а эти частые поездки могут подточить здоровье нашей Хлопотуньи. Переедем-ка все в Лондон и поживем на своей прежней квартире.

— Только не делайте этого ради меня, дорогой опекун,— сказала я,— ведь я ничуть не утомляюсь.

И это была истинная правда. Я только радовалась, что кому-то нужна.

— Ну, так ради меня,— не сдавался опекун,— или ради Ады, или ради нас обоих. Позвольте, завтра, кажется, чей-то день рождения?

— Именно,— подтвердила я, целуя свою дорогую девочку, которой на другой день должен был исполниться двадцать один год.

— Вот видите; а ведь это большое событие,— заметил опекун полушутливо, полусерьезно,— и по этому случаю моей прелестной кузине придется заняться разными необходимыми формальностями в связи с ее совершеннолетием; выходит, что всем нам будет удобнее пожить в Лондоне. Значит, в Лондон мы и уедем. Решено. Теперь поговорим о другом: в каком состоянии вы оставили Кедди?

— В очень плохом, опекун. Боюсь, что ее здоровье и силы восстановятся не скоро.

— То есть как — «не скоро»? — озабоченно спросил опекун.

— Пожалуй, она проболеет несколько недель, как это ни грустно.

— Так! — Он принялся ходить по комнате, засунув руки в карманы и глубоко задумавшись.— Ну, а что вы скажете насчет ее доктора, милая моя? Он хороший врач?

Мне пришлось сознаться, что я не могу сказать о нем ничего дурного, хотя мы с Принцем не дальше как сегодня сошлись на том, что не худо бы проверить диагноз этого доктора, пригласив на консилиум другого врача.

— Знаете что,— быстро сказал опекун,— надо пригласить Вудкорта.

Мысль о нем не приходила мне в голову, и слова опекуна застали меня врасплох. На мгновение все, что связывалось у меня с мистером Вудкортом, как будто вернулось и привело меня в смятение.

— Вы ничего не имеете против него, Хлопотунья?

— Против него, опекун? Конечно, нет.

— И вы не думаете, что больная будет против?

Я не только не думала этого, но даже была убеждена, что она будет верить ему и он ей очень понравится. И я сказала, что она знакома с ним, так как они часто встречались, когда он так участливо лечил мисс Флайт.

— Прекрасно! — отозвался опекун.— Сегодня он уже был у нас, дорогая моя, и завтра я поговорю с ним об этом.

Во время этого короткого разговора я чувствовала,— не знаю почему, ведь Ада молчала и мы даже не смотрели друг на друга,— чувствовала, что моя дорогая девочка живо помнит, как весело она обняла меня за талию, когда не кто иная, как наша Кедди принесла мне маленький прощальный подарок. И я поняла — необходимо сказать Аде и Кедди тоже о том, что мне предстоит сделаться хозяйкой Холодного дома, а если я стану все откладывать да откладывать, я буду в своих же глазах менее достойной любви хозяина этого дома. И вот, когда мы поднялись наверх и подождали, пока часы пробьют полночь, чтобы я первая смогла прижать к сердцу и поздравить свою любимую подругу с днем ее рождения, я стала говорить ей, как некогда говорила самой себе, о том, что ее кузен Джон добр и благороден и что меня ждет счастливая жизнь. Никогда еще, кажется, за все годы нашей дружбы моя дорогая девочка не была со мной так нежна, как в ту ночь. А я была так рада этому, так утешалась, сознавая, что правильно поступила, преодолев свою совсем ненужную скрытность, что была в десять раз счастливее прежнего. Всего несколько часов назад я не думала, что скрываю свою помолвку умышленно, но теперь, когда высказалась, почувствовала, что ясней понимаю, почему молчала так долго.

На другой день мы переехали в Лондон. Наша прежняя квартира была не занята, и мы в каких-нибудь полчаса так удобно устроились в ней, словно никогда из нее не уезжали. Мистер Вудкорт обедал у нас по случаю дня рождения моей милой девочки, и мы очень приятно провели вечер, хотя, конечно, ощущали большую пустоту, ибо в этот торжественный день с нами не было Ричарда. А потом я несколько недель,— помнится, восемь или девять,— целыми днями сидела у Кедди; вот почему я все это время видела Аду очень мало,— никогда еще мы не виделись с нею так мало с тех пор, как познакомились, если не считать периода моей болезни. Правда, она часто приходила к Кедди, но там обе мы должны были развлекать и ободрять больную и потому не могли говорить по душам, как бывало. Если я возвращалась домой ночевать, мы с Адой не разлучались весь вечер; но Кедди плохо спала от боли, и я нередко оставалась у нее на всю ночь, чтобы ухаживать за нею.

Что за чудесная женщина была эта Кедди, как она любила мужа и свою маленькую жалкую крошку; а ведь ей надо было заботиться и обо всем доме! Самоотверженная, безропотная, она так горячо желала поскорей выздороветь ради своих близких, так боялась причинить кому-нибудь беспокойство, так была встревожена тем, что муж ее лишился своей помощницы, а об удобствах мистера Тарвидропа необходимо заботиться по-прежнему... словом, я только теперь узнала, до чего она хорошая. И как странно было думать, что она недвижно лежит день за днем, бледная и беспомощная, в том доме, где танцы — самое главное в жизни, где подмастерья с раннего утра упражняются под аккомпанемент «киски» в бальном зале, а неопрятный мальчуган всю вторую половину дня вальсирует один в пустой кухне.

По просьбе Кедди я взяла на себя верховное руководство и наблюдение за ее комнатками, вычистила их, убрала, передвинула ее кровать и другие вещи в светлый, веселый уголок, не такой душный, как тот, который она занимала раньше; и с тех пор мы завели такой обычай: сначала приводили в полный порядок свой туалет, потом я клала ей на руки мою малюсенькую тезку, а сама усаживалась рядом поболтать, поработать или почитать

вслух. В один из таких спокойных часов я сказала Кедди про перемены в Холодном доме.

Кроме Ады, нас навещали и другие посетители. В первую очередь — Принц, который забегал к нам в перерывах между занятиями, осторожно входил, стараясь не шуметь, присаживался и с любящей тревогой глядел на Кедди и свою маленькую дочку. Хорошо ли, плохо ли чувствовала себя Кедди, она неизменно уверяла мужа, что ей почти совсем хорошо, а я — да простит мне небо! — неизменно подтверждала ее слова. Это так радовало Принца, что он иной раз вынимал из кармана свою «киску» и проводил смычком по одной-двум струнам, чтобы позабавить малютку; только это ему никогда не удавалось,— моя крошечная тезка как будто даже не замечала, что он играет.

Бывала у нас и миссис Джеллиби. Она заходила от случая к случаю, как всегда рассеянная, и тихо сидела, не глядя на внучку, но устремив глаза куда-то вдаль, словно все ее внимание было поглощено каким-нибудь юным бориобульцем, пребывающим на своих родных берегах. Поблескивая глазами, по-прежнему безмятежная и растрепанная, она говорила: «Ну, Кедди, дитя мое, как ты себя чувствуешь сегодня?» — и приятно улыбалась, не слушая ответа; или заводила разговор о том, сколько писем она получила за последнее время, сколько ответов написала, или какое количество кофе может производить колония Бориобула-Гха. Все это она говорила с благодушным и нескрываемым презрением к нашей столь узкой деятельности.

Бывал у нас и мистер Тарвидроп-старший, ради которого с утра до вечера и с вечера до утра принимались бесчисленные предосторожности. Если малютка плакала, ее чуть не душили из боязни, что детский крик, упаси боже, обеспокоит мистера Тарвидропа. Если ночью нужно было разжечь огонь в камине, это делали чуть ли не тайком и всячески стараясь не шуметь, чтобы не потревожить его сон. Если для удобства Кедди нужно было что-нибудь принести из другой комнаты, она сначала тщательно обдумывала вопрос — а не может ли эта вещь понадобиться ему? В ответ на это внимание он заходил к невестке раз в день, осеняя ее благодатью своего при-

сутствия и с такой снисходительностью, с таким покровительственным видом, с таким изяществом озаряя все вокруг сиянием своей напыщенной особы, что я могла бы подумать (если б не видела его насквозь): ну, Кедди нашла себе благодетеля на всю жизнь!

— Моя Кэролайн,— говорил он, наклоняясь к ней, насколько это ему удавалось,— скажите мне, что сегодня вы чувствуете себя лучше.

— О, гораздо лучше; благодарю вас, мистер Тарвидроп,— отвечала Кедди.

— Я в восторге! В упоении! А наша милая мисс Саммерсон еще не совсем извелась от усталости?

Тут он закатывал глаза и посылал мне воздушный поцелуй, хотя приятно отметить, что он перестал ухаживать за мной с тех пор, как я так изменилась.

— Вовсе нет,— уверяла я его.

— Чудесно! Мы должны заботиться о нашей дорогой Кэролайн, мисс Саммерсон. Мы не должны скупиться ни на какие лекарства, лишь бы она поправилась. Мы должны хорошо кормить ее... Моя милая Кэролайн,— обращался он к своей невестке с бесконечно щедрым и покровительственным видом,— не отказывайте себе ни в чем, моя прелесть. Изъявите желание и удовлетворяйте его, дочь моя. Все, что есть в этом доме, все, что есть в моей комнате,— все к вашим услугам, дорогая. Прошу вас даже,— добавлял он порой, ярче прежнего блистая своим «хорошим тоном»,— не обращайте внимания на мои скромные потребности, если они противоречат вашим, моя Кэролайн. Ваши нужды важнее моих.

Он так давно превратил свой «хороший тон» в привилегию для себя и повинность для других (унаследованную Принцем от покойной матери), что они приобрели право давности, и я не раз видела, как и Кедди и ее муж умилялись до слез, тронутые столь преданным самоотречением.

— Нет, дорогие мои,— внушал им мистер Тарвидроп, и я, видя, как бедная Кедди обнимает его толстую шею своей худенькой рукой, сама готова была прослезиться, но уже по другой причине,— нет, нет! Я обещал никогда не покидать вас. Исполняйте только свой долг по отношению ко мне, любите меня, и никакой другой на-

грады я не требую. А теперь всего доброго! Я направляюсь в парк.

Там он прогуливался и нагуливал себе аппетит к обеду — обедал же он в ресторане. Хочу верить, что я не придираюсь к мистеру Тарвидропу-старшему, но я не замечала в нем качеств более достойных, чем те, о которых правдиво рассказываю здесь, если не считать того, что он, несомненно, был расположен к Пищику и очень торжественно брал его с собой на прогулку,— причем всегда отсылал мальчугана домой перед тем, как сам шел обедать — а иной раз дарил ему медяк. Но, насколько я знаю, даже это его бескорыстное внимание к ребенку требовало довольно больших расходов от других лиц, ибо Пищика надо было привести в достаточно парадный вид, чтобы профессор «хорошего тона» мог водить его за ручку гулять, так что малыша пришлось с головы до ног одеть во все новенькое за счет Кедди и ее мужа.

И, наконец, в числе наших посетителей был мистер Джеллиби. Когда он приходил к нам по вечерам, кротким голосом спрашивал Кедди, как ее здоровье, а потом садился, прислонившись головой к стене и не делая больше никаких попыток вымолвить еще хоть слово, я, право же, чувствовала к нему большое расположение. Если он заставал меня в хлопотах, занятой каким-нибудь пустяковым делом, он иногда порывался снять сюртук, как бы всей душой желая мне помочь, но дальше этого дело не шло. Так он и просиживал весь вечер, прислонившись головой к стене и пристально глядя на задумчивую малютку, а мне было трудно избавиться от нелепой мысли, что они понимают друг друга.

Перечисляя наших гостей, я еще не назвала мистера Вудкорта, но ведь он теперь лечил Кедди и потому постоянно бывал у нее. Под его наблюдением она быстро начала поправляться, да и немудрено — так он был мягок, так опытен, так неутомим в своих стараниях. За это время я много раз виделась с мистером Вудкортом, хоть и не так много, как можно было ожидать,— ведь, зная, что можно спокойно оставить Кедди на его попечении, я нередко уходила домой до его прихода. И все-таки мы встречались часто. Теперь я совершенно примирилась

с собой, но тем не менее радовалась при мысли о том, что он до сих пор жалеет меня; а что он действительно меня жалеет, это я чувствовала. Он работал теперь ассистентом у мистера Беджера, имевшего большую практику, но сам пока не строил определенных планов на будущее.

Когда Кедди стала выздоравливать, я заметила, что моя милая Ада в чем-то переменилась. Не могу сказать, когда именно я впервые это заметила, так как наблюдала это во многих мелочах, ничтожных каждая в отдельности, но в целом приобретавших некоторое значение. Сопоставив их одну с другой, я пришла к выводу, что Ада уже не так откровенно и весело разговаривает со мной, как бывало. Любила она меня так же нежно и преданно, как и раньше, в этом я ни минуты не сомневалась, но у нее как будто было тайное горе, которого она мне не поверяла; казалось, она молча жалела кого-то.

Этого я никак не могла понять, но мне было так дорого счастье моей красавицы, что ее душевное состояние меня тревожило, и я часто раздумывала, что̀ именно могло ее так печалить. Наконец, убедившись, что Ада что-то скрывает от меня из боязни меня огорчить, я вообразила, будто она сама немного огорчена — из-за меня... моим признанием насчет Холодного дома.

Как могла я убедить себя в том, что это похоже на правду, не знаю. Мне и в голову не приходило, что, предполагая это, я придаю слишком большое значение своей особе. Сама-то ведь я не огорчалась; я была вполне довольна и совершенно счастлива. А все-таки Ада могла думать — думать за меня, хотя сама я выбросила из головы все подобные мысли,— о том, что когда-то было, но теперь изменилось, и мне было так легко поверить в свое предположение, что я и поверила.

Что мне сделать, чтобы успокоить свою милую девочку (думала я тогда), как доказать ей, что подобные чувства мне чужды? Что ж, оставалось только казаться как можно более оживленной да работать как можно усерднее, но это я всегда старалась делать. Однако болезнь Кедди, то больше, то меньше, мешала мне исполнять мои домашние обязанности (хотя по утрам я всегда задерживалась, чтобы приготовить завтрак опекуну, и он

сто раз говорил со смехом, что в доме, очевидно, две хозяйки, потому что *его* Хозяюшка всегда на месте); и вот я решилась быть прилежной и веселой вдвойне. Я хлопотала по дому, напевая все песни, какие знала; все шила и шила, как одержимая, все болтала и болтала без умолку и утром, и днем, и вечером.

Тем не менее все та же тень лежала между мною и моей милочкой.

— Итак, Хлопотунья,— заметил опекун как-то раз вечером, когда мы сидели втроем и он закрыл книгу, которую читал,— Вудкорт вылечил Кедди Джеллиби. И теперь она совсем здорова?

— Да,— ответила я,— и она платит ему такой горячей благодарностью, которая ценнее всякого богатства, опекун.

— Правильно; но я все же хотел бы, чтоб он получил и богатство,— сказал опекун,— всем сердцем желал бы.

И я желала этого. Так я и сказала.

— Еще бы! Мы охотно помогли бы ему разбогатеть, знай мы только, как это сделать. Ведь правда, Хозяюшка?

Не отрываясь от шитья, я рассмеялась и ответила, что не уверена, стоит ли это делать,— ведь богатство может его испортить, и тогда он, пожалуй, будет приносить меньше пользы людям, так как некоторые больные, например мисс Флайт, да и сама Кедди и многие другие, уже не смогут его приглашать, а обойтись без него им будет трудно.

— Это верно,— сказал опекун.— Об этом я не подумал. Однако вы, наверное, согласитесь, что хорошо бы помочь ему разбогатеть, но лишь настолько, чтобы ему хватало на жизнь, не правда ли? Настолько, чтобы он мог работать со спокойной душой? Настолько, чтобы иметь уютный домашний очаг и домашних богов... а может быть и домашнюю богиню?

— Это совсем другое дело,— проговорила я.— С этим мы все должны согласиться.

— Конечно, все,— отозвался опекун.— Я очень ценю Вудкорта, очень уважаю и осторожно расспрашивал его об его планах на будущее. Трудно предлагать помощь человеку независимому по натуре и такому гордому, как

он. И все же я был бы рад помочь ему, если бы знал, как за это приняться. Он, видимо, подумывает о новом путешествии. Жаль было бы лишаться такого человека.

— Может быть, это откроет для него новый мир,— сказала я.

— Все может быть, Хлопотунья,— согласился опекун.— От старого мира он, вероятно, не ждет ничего хорошего. А вы знаете, мне иногда кажется, что он переживает какое-то разочарование или горе. Вы ни о чем таком не слыхали?

Я покачала головой.

— Хм! Стало быть, я ошибся,— сказал опекун.

Тут наступила маленькая пауза, и, решив, ради моей милой девочки, что лучше ее заполнить, я, продолжая работать, стала напевать песню, которую опекун особенно любил.

— Вы думаете, что мистер Вудкорт снова отправится в путешествие? — спросила я, промурлыкав свою песню до конца.

— Не знаю наверное, милая моя, но мне кажется, что он, возможно, уедет за границу надолго.

— Куда бы он ни поехал, он увезет с собой наши лучшие сердечные пожелания,— проговорила я,— и хотя это не богатство, он от них, во всяком случае, не обеднеет, правда, опекун?

— Конечно, Хлопотунья,— ответил он.

Я сидела на своем обычном месте — в кресле, рядом с опекуном. Раньше, до получения письма, я обычно занимала другое кресло, а это стало моим лишь теперь. Взглянув на Аду, сидевшую напротив, я увидела, что она смотрит на меня глазами полными слез, и слезы текут по ее щекам. Тут я почувствовала, что мне нужно быть ровной и веселой, чтобы раз навсегда вывести из заблуждения свою подругу и успокоить ее любящее сердце. Впрочем, я и так уже была ровной и веселой, а значит, мне оставалось только быть самой собой.

Поэтому я заставила свою дорогую девочку опереться на мое плечо,— как далека я была от мысли, какое бремя лежит у нее на душе! — сказала, что ей не по себе, и, обняв ее, увела наверх. Когда мы вошли в свою комнату, Ада, быть может, уже была готова сделать мне призна-

ние, которое явилось бы для меня огромной неожиданностью, но я даже не попыталась вызвать ее на откровенность — мне и в голову не пришло, что это как раз то, в чем она нуждается.

— Ах, моя милая, добрая Эстер,— промолвила Ада,— если бы только я могла решиться поговорить с тобой и кузеном Джоном, когда вы вместе!

— Да что с тобой, моя милочка! — старалась я успокоить ее.— Ада! Что же мешает тебе поговорить с нами?

Ада только опустила голову и крепче прижала меня к груди.

— Ты, конечно, не забываешь, моя прелесть,— сказала я, улыбаясь,— какие мы с ним спокойные, старозаветные люди и как твердо я решила быть самой скромной из замужних дам? Ты не забываешь, какая счастливая и мирная жизнь мне предстоит и кому я этим обязана? Я уверена, Ада, что ты никогда не забудешь о том, какой он чудесный человек. Этого нельзя забыть.

— Конечно, нет, Эстер, никогда!

— Значит, дорогая,— сказала я,— ты не можешь сказать нам ничего плохого; так почему бы тебе не поговорить с нами?

— Ты сказала «плохого», Эстер? — промолвила Ада.— Ах, когда я думаю обо всех этих годах, и об его отеческой заботливости и доброте, и о давней дружбе между всеми нами, и о тебе... ах, что мне делать, что делать!

Я посмотрела на свою девочку с удивлением и решила, что лучше ничего на это не отвечать, но попытаться развеселить ее; поэтому я сейчас же перевела разговор на воспоминания о разных незначительных событиях нашей совместной жизни и, таким образом, не дала ей высказаться. Только после того как она улеглась, я пошла к опекуну пожелать ему спокойной ночи; потом вернулась к Аде и посидела подле нее.

Она спала, а я смотрела на нее, и мне казалось, что она немного изменилась. Я не раз думала об этом за последнее время. Даже теперь, глядя на нее, спящую, я не могла решить, в чем же, собственно, она изменилась; но что-то неуловимое в ее привычной для меня красоте теперь казалось мне каким-то другим. Я с грустью

вспомнила давние надежды опекуна, связанные с нею и Ричардом, и сказала себе: «Она тревожится о нем», а потом стала раздумывать — к чему приведет эта любовь?

Во время болезни Кедди я, возвращаясь домой, часто заставала Аду за шитьем, но она немедленно убирала свою работу, и я так и не узнала, что она шьет. В тот вечер работа ее лежала в не совсем задвинутом ящике комода, стоявшего рядом с ее кроватью. Я не выдвинула ящика, но призадумалась — что же она могла шить? Ведь шила она явно не для себя самой.

Целуя свою дорогую подругу, я заметила, что она лежит, засунув одну руку под подушку, так что ее не было видно.

Значит, я в то время была вовсе не такая добрая, какой они меня считали, вовсе не такая добрая, какой считала себя сама, если только о том и заботилась, чтобы казаться веселой и довольной, полагая, что от меня одной зависит успокоить мою милую девочку и вернуть ей душевный мир.

И я легла спать, не усомнившись в этом, обманув сама себя. А проснувшись на другой день, снова заметила, что все та же тень лежит между мной и моей дорогой девочкой.

## ГЛАВА LI

### *Все объяснилось*

Приехав в Лондон, мистер Вудкорт в тот же день пошел к мистеру Воулсу, в Саймондс-Инн. С той минуты как я попросила его стать другом Ричарду, он никогда не забывал своего обещания и ни разу его не нарушил. Он сказал мне тогда, что, принимая мое поручение, почтет своим священным долгом его исполнить; и он сдержал слово.

Мистера Воулса он застал в конторе и сказал ему, что, по уговору с Ричардом, зашел сюда узнать его адрес.

— Правильно, сэр,— отозвался мистер Воулс.— Местожительство мистера Карстона не за сотню миль отсюда, сэр... не за сотню миль. Присядьте, пожалуйста, сэр.

Мистер Вудкорт поблагодарил мистера Воулса и ска-

зал, что говорить им не о чем — он только просит дать адрес Ричарда.

— Именно, сэр. Я полагаю, сэр,— сказал мистер Воулс, не давая адреса и тем самым молчаливо настаивая на том, чтобы мистер Вудкорт присел,— я полагаю, сэр, что вы имеете влияние на мистера Карстона. Точнее, знаю, что имеете.

— Сам я этого не знаю,— заметил мистер Вудкорт,— но вам, должно быть, виднее.

— Сэр, мои профессиональные обязанности требуют, чтобы мне было «виднее»,— продолжал мистер Воулс, как всегда сдержанно.— Мои профессиональные обязанности требуют, чтобы я изучал и понимал джентльмена, который доверяет мне защиту своих интересов. А я никогда сознательно не погрешу против своих профессиональных обязанностей. Как я ни стремлюсь работать добросовестно, я, конечно, могу погрешить против своих профессиональных обязанностей, сам того не ведая; но сознательно не погрешу, сэр.

Мистер Вудкорт снова попросил мистера Воулса дать ему адрес Ричарда.

— Уделите мне внимание, сэр,— настаивал мистер Воулс.— Потерпите немного и выслушайте меня. Сэр, мистер Карстон ведет крупную игру без... нужно ли говорить без чего?

— Без денег, надо думать?

— Сэр,— отозвался мистер Воулс,— скажу вам честно (быть честным — это мое золотое правило, все равно выигрываю я от этого или проигрываю, а я вижу, что большей частью проигрываю), именно — без денег. Имейте в виду, сэр, я не высказываю вам никакого мнения о шансах мистера Карстона в этой игре — *никакого* мнения. Быть может, бросив игру, после того как он играл столь долго и крупно, мистер Карстон поступит в высшей степени неблагоразумно, а может быть, и наоборот; я лично не говорю ничего. Нет, сэр, ничего! — закончил мистер Воулс с решительным видом, хлопая ладонью по пюпитру.

— Вы, по-видимому, забываете,— заметил мистер Вудкорт,— что я не просил вас высказываться и не интересуюсь вашими высказываниями.

— Простите, сэр! — возразил мистер Воулс,— вы несправедливы к самому себе. Нет, сэр! Простите! Я не могу допустить,— пока вы в моей конторе, я не могу допустить,— чтобы вы были несправедливы к самому себе. Вы интересуетесь всем, решительно всем, что касается вашего друга. Я слишком хорошо знаю человеческую натуру, сэр, чтобы хоть на минуту допустить, что джентльмен, подобный вам, не интересуется чем-либо, что имеет отношение к его другу.

— Может, и так,— проговорил мистер Вудкорт,— но я больше всего интересуюсь его адресом.

— Я, кажется, уже сообщил вам, сэр, номер дома,— сказал мистер Воулс «в скобках» и таким тоном, словно адрес Ричарда был чем-то совершенно лишним.— Если мистер Карстон и впредь намерен вести крупную игру, сэр, он должен иметь фонды. Поймите меня! В настоящее время фонды имеются налицо. Я ничего не прошу,— фонды имеются налицо. Но для продолжения игры нужны еще фонды, если только мистер Карстон не намерен отказаться от того, что он предпринял, а это предоставляется исключительно и всецело его собственному усмотрению. Пользуюсь случаем откровенно заявить об этом вам, сэр, как другу мистера Карстона. Если фондов нет, я всегда буду счастлив выступать от имени мистера Карстона и вести его дела лишь в той мере, в какой могу твердо рассчитывать на гонорар, который мне выплатят из спорного наследства, но не больше. Я не могу пойти дальше этого, сэр, не нанося ущерба другим лицам. Мне пришлось бы тогда нанести ущерб своим трем дорогим дочерям или своему престарелому отцу, который живет на моем иждивении — в Тоунтонской долине — или другим лицам. Принимая все это во внимание, сэр, я выношу решение (назовите его блажью или причудой, как хотите) не наносить ущерба никому.

На это мистер Вудкорт довольно сухо ответил: «Рад слышать».

— Я хочу, сэр, оставить по себе доброе имя,— продолжал мистер Воулс.— Поэтому я пользуюсь каждым удобным случаем откровенно рассказать любому другу мистера Карстона, в каком положении сейчас находится мистер Карстон. А о себе скажу, сэр, что за свою работу

я заслуживаю вознаграждения. Если я берусь налечь плечом на колесо, я и налегаю, сэр, и полностью окупаю работой свой гонорар. Для этого я и нахожусь здесь. Для этой цели моя фамилия написана на входной двери.

— А как насчет адреса мистера Карстона, мистер Воулс?

— Мне помнится, сэр, я уже сказал вам, что мой клиент живет здесь,— ответил мистер Воулс.— Квартиру мистера Карстона вы найдете на третьем этаже. Мистер Карстон пожелал жить поближе к своему поверенному, и я ровно ничего не имею против этого, ибо только радуюсь, когда меня проверяют.

Тут мистер Вудкорт пожелал мистеру Воулсу всего доброго и пошел искать Ричарда, слишком хорошо понимая теперь, почему он так переменился.

Ричард оказался дома, в полутемной, убого обставленной комнате, и выглядел он почти так же, как в тот день, когда я виделась с ним в казармах, с той лишь разницей, что на этот раз он не писал, но держал в руках какую-то книгу, от которой и взгляд его и мысли были очень далеко. Дверь случайно была открыта, поэтому мистер Вудкорт некоторое время наблюдал за ним без его ведома и впоследствии говорил мне, что никогда не забудет, каким измученным и подавленным показался ему этот юноша, глубоко погруженный в свои думы.

— Вудкорт, дорогой мой! — воскликнул Ричард, вскочив с места и протянув руки.— Вы появляетесь передо мной, словно какой-то дух.

— Добрый дух, который, как и все прочие духи, по поверью, только и ждет, чтобы к нему обратились,— сказал мистер Вудкорт.— А как идут дела в мире смертных?

Они сели рядом.

— Довольно плохо и довольно медленно,— ответил Ричард,— во всяком случае — мои дела.

— Что же это за дела?

— Те, что связаны с Канцлерским судом.

— В жизни не слыхивал, чтобы там хоть когда-нибудь дела шли хорошо,— заметил мистер Вудкорт, качая головой.

— И я не слыхал,— сказал Ричард хмуро.— Да и кто слышал?

Но вдруг он оживился и сказал со свойственной ему непосредственной откровенностью:

— Вудкорт, я не хочу, чтобы вы ошибались во мне, даже если эта ошибка будет в мою пользу. Вы должны знать, что за все эти годы я не сделал ничего хорошего. Я стремился не делать ничего дурного, но, по-видимому, только на это я и способен, а больше ни на что. Возможно, что мне лучше было бы держаться подальше от той сети, которой меня опутала судьба; но я этого не думаю, хотя вы, наверное, скоро услышите, а может быть, уже слышали противоположное мнение. Короче говоря, я, очевидно, нуждался в какой-то цели; но теперь я выбрал себе цель — или она выбрала меня,— и спорить об этом уже поздно. Берите меня таким, каков я есть, и не требуйте от меня большего.

— Согласен,— проговорил мистер Вудкорт.— Относитесь так же ко мне.

— Ну, что говорить о вас! — отозвался Ричард.— Вы способны заниматься своим делом ради него самого, вы способны взяться за плуг и никогда не уклоняться в сторону, вы можете создать себе цель из чего угодно. Мы с вами очень разные люди.

Он говорил, словно сожалея о чем-то, и на минуту снова помрачнел.

— Ну, будет, будет! — воскликнул он, стараясь развеселиться.— Всему бывает конец. Поживем — увидим! Итак, вы возьмете меня таким, каков я есть, и не будете требовать от меня большего?

— Ну да, конечно!

Они пожали друг другу руки со смехом, но очень искренне. За искренность одного из них я ручаюсь всем своим сердцем.

— Вы мне прямо богом ниспосланы,— сказал Ричард,— ведь я здесь никого не вижу, кроме Воулса. Вудкорт, есть одно обстоятельство, которое я хотел бы раз навсегда объяснить в самом начале нашей дружбы. Если я этого не сделаю, вы вряд ли сможете относиться ко мне хорошо. Вы, наверное, знаете, что я люблю свою кузину Аду?

Мистер Вудкорт ответил, что он узнал об этом от меня.

— Прошу вас,— продолжал Ричард,— не считайте меня отъявленным эгоистом. Не думайте, что я бьюсь над этой несчастной канцлерской тяжбой, ломая себе голову и терзая сердце, только ради своих собственных интересов и прав. Интересы и права Ады связаны с моими; их нельзя разделить. Воулс работает для нас обоих. Не забывайте этого!

Он пылко стремился подчеркнуть свою заботу об интересах Ады, и мистер Вудкорт самым решительным образом заверил его, что воздает ему должное.

— Видите ли,— сказал Ричард, с какой-то жалкой настойчивостью возвращаясь все к той же теме, хотя говорил он непосредственно, не обдумывая заранее своих слов,— я не в силах вынести мысли, что могу показаться себялюбивым и низким столь прямому человеку, как вы, пришедшему сюда из чисто дружеских побуждений. Я хочу, Вудкорт, чтобы Ада получила все, на что она имеет право, так же как хочу этого для себя. Я приложу все силы к тому, чтобы она восстановила свои права, а я свои. Я ставлю на карту все, что могу наскрести, чтобы выпутать и ее и себя. Умоляю вас, не забывайте об этом!

Впоследствии, когда мистер Вудкорт вспоминал об этой встрече, он говорил, что горячее стремление Ричарда защитить интересы Ады произвело на него очень сильное впечатление, и, рассказывая мне о своем визите в Саймондс-Инн, больше всего говорил об этом. А я снова стала бояться, что маленькое состояние моей дорогой девочки будет проглочено мистером Воулсом,— потому-то Ричард так и старается оправдать себя. Мистер Вудкорт пришел к Ричарду, когда я уже начала ездить к больной Кедди; теперь же я расскажу о том времени, когда Кедди поправилась, а между мной и моей милой подругой все еще лежала тень.

На другой день после того вечера, о котором я рассказала в предыдущей главе, я утром предложила Аде пойти повидаться с Ричардом. Меня немного удивило, что она стала колебаться, вместо того чтобы обрадоваться и согласиться сразу, как ожидала я.

— Дорогая моя,— начала я,— а ты не поссорилась с Ричардом за то время, что я так редко бывала дома?

— Нет, Эстер.

— Может быть, он тебе давно не писал? — спросила я.

— Нет, писал,— ответила Ада.

А глаза полны таких горьких слез и лицо дышит такой любовью! Я не могла понять своей милой подруги. Не пойти ли мне одной к Ричарду? сказала я. Нет, Ада считает, что мне лучше не ходить одной. Может быть, она пойдет со мной вместе? Да, Ада находит, что нам лучше пойти вместе. Не пойти ли нам сейчас? Да, пойдем сейчас. Нет, я никак не могла понять, что творится с моей девочкой, почему лицо ее светится любовью, а в глазах слезы.

Мы быстро оделись и вышли. День был пасмурный, время от времени накрапывал холодный дождь. Это был один из тех серых дней, когда все кажется тяжелым и грубым. Мы шли, и на нас хмурились дома, нас осыпало пылью и окутывало дымом; все вокруг выглядело неприкрашенным и неприглаженным. Мне казалось, что моей красавице совсем не место на этих угрюмых улицах, казалось даже, что по их унылым мостовым похоронные процессии проходят гораздо чаще, чем в других частях города.

Прежде всего нам надо было отыскать Саймондс-Инн. Мы уже собирались зайти в какую-нибудь лавку и справиться, как вдруг Ада сказала, что это, кажется, по соседству с Канцлерской улицей.

— Так пойдем туда, милая,— сказала я.

Итак, мы пошли на Канцлерскую улицу и действительно увидели там надпись: «Саймондс-Инн».

Теперь оставалось только узнать номер дома.

— Впрочем, достаточно найти контору мистера Воулса,— вспомнила я,— ведь его контора в том же доме, что и квартира Ричарда.

На это Ада сказала, что контора мистера Воулса, вероятно, вон там, в углу. Так оно и оказалось.

Потом возник вопрос, в какую же из двух смежных дверей нам нужно войти? Я говорила, что в эту, Ада — что в ту, и опять моя прелесть оказалась права. Итак, мы поднялись на третий этаж и увидели фамилию Ричарда, начертанную большими белыми буквами на доске, напоминавшей могильную плиту.

Я хотела было постучать, но Ада сказала, что лучше нам просто повернуть дверную ручку и войти. И вот мы подошли к Ричарду, который сидел за столом, обложившись связками бумаг, покрытых пылью, и мне почудилось, будто каждая из этих бумаг — запыленное зеркало, отражающее его душу. На какую бы из них я ни взглянула, мне тотчас попадались на глаза зловещие слова: «Джарндисы против Джарндисов».

Ричард поздоровался с нами очень ласково, и мы уселись.

— Приди вы немного раньше,— сказал он,— вы застали бы у меня Вудкорта. Что за славный малый этот Вудкорт! Находит время заглянуть ко мне в перерывах между работой, а ведь всякий другой на его месте, даже будь он вполовину менее занят, считал бы, что зайти ему некогда. И он такой бодрый, такой здоровый, такой рассудительный, такой серьезный... словом, совсем не такой, как я; и вообще здесь как будто светлеет, когда он приходит, и темнеет вновь, стоит ему выйти за дверь.

«Благослови его бог,— подумала я,— за то, что он сдержал слово, данное мне!»

— Он не так уверенно смотрит на наше будущее, Ада, как смотрим мы с Воулсом,— продолжал Ричард, бросая унылый взгляд на связки бумаг,— но ведь он посторонний человек и не посвящен в эти таинства. Мы погрузились в них с головой, а он нет. Можно ли ожидать, чтобы он хорошо разбирался в этом лабиринте?

Он снова опустил блуждающий взгляд на бумаги и провел обеими руками по голове, а я заметила, как ввалились и какими большими стали его глаза, как сухи его губы, как обкусаны ногти.

— Неужели вы считаете, Ричард, что жить в таком месте полезно для здоровья? — проговорила я.

— Как вам сказать, моя дорогая Минерва,— ответил Ричард со своим прежним беззаботным смехом,— конечно, воздух здесь не деревенский, и вообще местечко не бог весть какое веселое — если солнце случайно и заглянет сюда, значит можете биться об заклад на крупную сумму, что открытые места оно освещает ярко. Но на время и здесь хорошо. Недалеко от суда и недалеко от Воулса.

— Может быть,— начала я,— расстаться с тем и другим...

— ...было бы мне полезно? — докончил мою фразу Ричард, принудив себя засмеяться.— Конечно! Но теперь жизнь моя должна идти лишь одним путем — вернее, одним из двух путей. Или тяжба кончится, Эстер, или тяжущийся. Но кончится тяжба... тяжба, милая моя!

Эти последние слова были обращены к Аде, которая сидела к нему ближе, чем я. Она отвернулась от меня и смотрела на него, поэтому я не видела ее лица.

— Наши дела идут прекрасно,— продолжал Ричард.— Воулс подтвердит вам это. Мы действительно мчимся вперед на всех парах. Спросите Воулса. Мы не даем им покоя. Воулс знает все их окольные пути и боковые тропинки, и мы всюду их настигаем. Мы уже успели их разбередить. Мы разбудим это сонное царство, попомните мои слова!

Давно уже его уверенность в будущем огорчала меня больше, чем его уныние, ведь она была так непохожа на уверенность искреннюю, в ней было столько неутоленной жажды, столько отчаянного желания надеяться во что бы то ни стало, она была такая вымученная и такая мучительная для него самого, что я всем сердцем жалела его уже с давних пор. Но теперь, увидев, что все это неизгладимо запечатлелось на его красивом лице, я встревожилась еще больше. Я говорю «неизгладимо», так как убеждена, что, если бы в тот самый час роковая тяжба могла прийти к тому концу, о котором он мечтал, оставленные ею следы преждевременной тревоги, угрызений совести и разочарований все равно не покинули бы его лица до самого смертного часа.

— Мне так привычно видеть нашу дорогую Хлопотунью,— сказал Ричард, в то время как Ада по-прежнему сидела недвижно и молча,— видеть ее сострадательное личико, все такое же, как в прежние дни...

Ах! Нет, нет. Я улыбнулась и покачала головой.

— ...совершенно такое же, как в прежние дни,— повторил Ричард с чувством, беря меня за руку и глядя на меня тем братским взглядом, выражение которого ничто в мире не могло изменить,— мне так привычно видеть ее, что перед нею я не могу притворяться. Я немножко


LAW

неустойчив, что правда, то правда. Временами я надеюсь, дорогая моя, временами... отчаиваюсь — не совсем, но почти. Я так устал! — проговорил Ричард, тихонько выпустив мою руку, и принялся ходить по комнате.

Он несколько раз прошелся взад и вперед и опустился на диван.

— Я так устал,— повторил он подавленно.— Это такая тяжелая, тяжелая работа!

Эти слова он произнес в раздумье, опустив голову на руку и устремив глаза в пол, а моя дорогая девочка вдруг поднялась, сняла шляпу, стала перед ним на колени и, смешав с его волосами свои золотистые локоны, которые озарили его словно потоком солнечного света, обвила руками его шею и обернулась ко мне. О, какое любящее и преданное лицо я увидела!

— Эстер, милая,— проговорила она очень спокойно,— я не вернусь домой.

Все объяснилось в одно мгновение.

— Никогда не вернусь. Я останусь со своим милым мужем. Вот уже больше двух месяцев как мы обвенчались. Иди домой без меня, родная моя Эстер; я никогда не вернусь домой!

Моя милая девочка прижала к своей груди его голову. И тут я поняла, что вижу любовь, которую может изменить только смерть.

— Объясни все Эстер, моя любимая,— сказал Ричард, нарушая молчание.— Расскажи ей, как это случилось.

Я бросилась к ней прежде, чем она успела подойти ко мне, и обняла ее. Мы молчали, и я, прижавшись щекой к ее лицу, не хотела ничего слушать.

— Милая моя,— говорила я.— Любимая моя. Бедная моя, бедная девочка!

Я так горячо жалела ее. Я очень любила Ричарда, но все-таки, помимо своей воли, страстно жалела ее.

— Эстер, ты простишь меня? Кузен Джон простит меня?

— Милая моя,— сказала я.— Ты обидела его, если хоть на миг усомнилась в этом. А я!..

Что *могла я* прощать ей?

Я вытерла глаза моей плачущей девочке и села рядом с ней на диване, а Ричард сел по другую сторону от

меня, и в то время как я вспоминала о другом вечере, столь непохожем на этот день,— вечере, когда они посвятили меня в тайну своей любви и пошли своим собственным безумным, счастливым путем,— они рассказывали мне, почему поженились теперь.

— Все, что у меня есть, принадлежит Ричарду,— объяснила Ада,— но, Эстер, он ничего не хотел принять от меня; что же мне оставалось делать, как не выйти за него замуж, если я так глубоко его люблю?

— А вы были целиком поглощены своими добрыми делами, замечательная наша Хлопотунья,— сказал Ричард,— могли ли мы говорить с вами в такое время? Да мы и не обдумывали ничего заранее. Просто вышли из дому в одно прекрасное утро и обвенчались.

— А когда все это совершилось, Эстер,— сказала моя девочка,— я постоянно думала да раздумывала, как сказать об этом тебе и как сделать лучше. То мне казалось, что тебе надо узнать обо всем немедленно, то — что тебе ничего знать не нужно и лучше скрыть все это от кузена Джона; словом, я не знала, как быть, и очень волновалась.

Значит, какой же я была эгоистичной, что не догадалась об этом раньше! Не помню, что̀ я говорила им. Я была так огорчена и вместе с тем так любила их и была так рада, что они любят меня. Я так их жалела, но все же как будто гордилась их взаимной любовью. Никогда я не испытывала подобного волнения, и мучительного и приятного одновременно, и сама не могла разобраться, что̀ больше — горе мое или радость. Но я пришла сюда не для того, чтобы омрачать их путь; я и не сделала этого.

Когда я немного одумалась и успокоилась, моя милая девочка вынула из-за корсажа обручальное кольцо, поцеловала его и надела на палец. Тут я вспомнила вчерашнюю ночь и сказала Ричарду, что со дня своей свадьбы она всегда надевала кольцо на ночь, когда никто не мог его увидеть. Ада, краснея, спросила: как ты об этом узнала, дорогая моя? А я сказала, что видела, как она спала, спрятав руку под подушку, но в то время и не подозревала, почему она так спит; вот как узнала, дорогая моя. Тогда они сызнова принялись рассказывать мне обо

всем с самого начала, а я опять принялась огорчаться, радоваться, говорить глупости и по мере сил прятать от них свое старое, некрасивое лицо, чтобы не испортить им настроения.

Так проходило время; но мне пора уже было подумать о возвращении домой. Мы начали прощаться, и мне стало еще тяжелее, потому что Ада пришла в полное отчаяние. Она бросилась мне на шею, называя меня всеми ласковыми именами, какие могла придумать, и твердила, что не знает, как ей без меня жить. Ричард вел себя не лучше. А я, я, наверно, расстроилась бы еще больше, чем они оба, если бы несколько раз не сделала себе строгого внушения: «Эстер, если ты будешь так вести себя, я никогда больше не стану с тобой разговаривать!»

— Ну, признаюсь, в жизни я не видывала такой жены! — проговорила я.— Должно быть, она ни капельки не любит своего мужа. Слушайте, Ричард, оторвите от меня мою девочку, ради всего святого.

Но я сама не выпускала ее из объятий и готова была плакать над нею бог знает сколько времени.

— Объявляю дорогим молодоженам,— сказала я,— что ухожу лишь для того, чтобы вернуться завтра, и что то и дело буду ходить сюда и обратно, пока Саймондс-Инну не надоест меня видеть. Поэтому я не буду прощаться, Ричард. Зачем, если я вернусь так скоро?

Я передала ему с рук на руки мою обожаемую девочку и собралась уходить; но задержалась, чтобы еще раз взглянуть на ее дорогое лицо,— сердце у меня разрывалось при мысли, что я сейчас должна буду уйти и расстаться с ней.

И вот я сказала (веселым и оживленным тоном), что, если они не пригласят меня прийти опять, я, быть может, и не посмею явиться без зова, но моя дорогая девочка только взглянула на меня и слабо улыбнулась сквозь слезы, а я сжала ее прелестное личико ладонями, в последний раз поцеловала ее, рассмеялась и убежала.

Но зато как я плакала, когда спускалась по лестнице! Мне казалось, что я навсегда потеряла свою Аду. Без нее я почувствовала себя такой одинокой, вокруг меня образовалась такая пустота, мне было так тяжело возвра-

щаться домой — туда, где я уже не увижу ее, что я все плакала и плакала, шагая взад и вперед по какому-то темному закоулку, и никак не могла перестать.

Но постепенно я успокоилась,— после того как побранила себя,— и поехала домой в наемной карете. Незадолго до этого дня тот бедный мальчик, которого я видела в Сент-Олбенсе, нашелся и теперь лежал при смерти,— вернее, он уже умер, но тогда я этого еще не знала. Опекун пошел справиться о его здоровье, но не вернулся к обеду. Я была совсем одна и поплакала еще немножко, хотя, в общем, кажется, вела себя не так уж плохо.

Понятно, что мне не сразу удалось привыкнуть к мысли о разлуке с моей любимой подругой. Ведь прошло всего три-четыре часа, а мы с нею прожили вместе столько лет. Я так упорно думала о той убогой неуютной квартире, в которой я ее оставила, так отчетливо представляла себе эти комнаты, мрачные, неприветливые, мне так страстно хотелось побывать около Ады и хоть как-то позаботиться о ней, что я решилась снова отправиться в Саймондс-Инн вечером, хотя бы лишь для того, чтобы посмотреть с улицы на ее окна.

Пожалуй, это было глупо, но тогда я думала иначе и даже теперь не совсем уверена, что это было глупо. Я рассказала обо всем Чарли, и мы вышли в сумерках. Когда мы подошли к новому, чужому для меня дому, который теперь стал домом моей милой девочки, было уже темно, и в окнах за желтыми занавесками горел свет. Поглядывая на них, мы осторожно прошлись взад и вперед раза три-четыре и едва не столкнулись с мистером Воулсом, который вышел из своей конторы и, повернув голову, тоже посмотрел вверх, прежде чем направиться домой. Его долговязая черная фигура и этот затерявшийся во тьме закоулок — все было так же мрачно, как мое душевное состояние. Я думала о юности, любви и красоте моей дорогой девочки, запертой в этих четырех стенах, и ее жилище, столь не подходящее для нее, казалось мне чуть ли не застенком.

Место здесь было очень уединенное и очень скудно освещенное, поэтому я не боялась, что меня кто-нибудь увидит, когда я буду пробираться на верхний этаж. Оста-

вив Чарли внизу, я, стараясь не шуметь, поднялась по темной лестнице, и меня не смущал тусклый свет уличных масляных фонарей, так как сюда он не достигал. Я прислушалась, и в затхлой, гнилой тишине этого дома мне послышался неясный говор знакомых молодых голосов. Коснувшись губами доски, похожей на могильную плиту, и мысленно поцеловав свою дорогую девочку, я тихонько спустилась на улицу, решив сознаться как-нибудь на днях, что снова приходила сюда вечером.

И мне действительно стало легче: пусть никто не знал об этом тайном посещении, кроме Чарли и меня, мне все-таки показалось, будто оно смягчило мою разлуку с Адой и как-то соединило нас на несколько мгновений. Я отправилась домой, еще не совсем свыкшаяся с мыслью о перемене в своей жизни, но утешенная тем, что хоть немного побродила у дома своей милой подруги.

Опекун уже вернулся домой и стоял в задумчивости у темного окна. Когда я вошла, лицо его посветлело, и он сел на свое обычное место; но, когда я села тоже, на меня упал свет лампы, и опекун увидел мое лицо.

— Хозяюшка,— сказал он,— да вы, оказывается, плакали.

— Да, опекун,— отозвалась я,— сознаюсь, что поплакала немножко. Ада была так расстроена, и все это так печально.

Я положила руку на спинку его кресла и увидела по его глазам, что мои слова и взгляд, брошенный на опустевшее место Ады, подготовили его.

— Она вышла замуж, дорогая?

Я рассказала ему все и подчеркнула, что она с первых же слов заговорила о том, как горячо желает, чтобы он простил ее.

— Мне нечего ей прощать.— сказал он.— Благослови их бог, и Аду и ее мужа! — Но, как и я, он сразу же стал ее жалеть: — Бедная девочка, бедная девочка! Бедный Рик! Бедная Ада!

Мы умолкли и молчали, пока он не сказал со вздохом:

— Да, да, дорогая моя. Холодный дом быстро пустеет.

— Но его хозяйка остается в нем, опекун.— Я колебалась перед тем, как сказать это, но все-таки реши-

лась — такой печальный у него был голос.— И она всеми силами постарается принести счастье этому дому.

— Это ей удастся, душа моя.

Письмо не внесло никакой перемены в наши отношения, если не считать того, что я теперь всегда сидела рядом с опекуном; и на этот раз в них ничего не изменилось. Он по-прежнему посмотрел на меня ласковым отеческим взглядом, по-прежнему положил свою руку на мою и повторил:

— Ей это удастся, дорогая. Тем не менее Холодный дом быстро пустеет, Хозяюшка!

Немного погодя мне стало грустно, что мы больше ничего не сказали по этому поводу. Я чувствовала что-то вроде разочарования. Я стала опасаться, что, с тех пор как получила письмо и ответила на него, вела себя, пожалуй, не совсем так, как стремилась вести себя.

## ГЛАВА LII

### *Упрямство*

Но вот через день, рано утром, только мы собрались завтракать, как прибежал мистер Вудкорт и сообщил поразительную новость: совершено страшное убийство, подозрение пало на мистера Джорджа, и он заключен под стражу. Это меня так потрясло, что, услышав от мистера Вудкорта о том, что сэр Лестер Дедлок обещал крупную награду за поимку убийцы, я сначала не поняла, почему именно он обещал награду: но мистер Вудкорт объяснил, что убитый был поверенным сэра Лестера, и я тотчас вспомнила, какой страх он внушал моей матери.

Человек, к которому моя мать давно уже относилась настороженно и подозрительно, человек, который давно относился настороженно и подозрительно к ней, человек, которого она не любила и всегда боялась, как опасного и тайного врага, теперь был устранен неожиданно и насильственно, и это показалось мне чем-то таким ужасным, что я сразу же вспомнила о ней. Как тяжело было слышать о такой смерти и тем не менее не чувствовать жалости! Как

страшно было думать, что, быть может, моя мать когда-нибудь желала смерти этому старику, так внезапно выброшенному из жизни!

Эти мысли теснились в моей голове, усиливая смятение и ужас, которые я всегда испытывала, когда упоминалось имя моей матери, и я так разволновалась, что едва усидела за столом. Я не могла следить за разговором, пока не прошло некоторое время и мне не удалось оправиться от потрясения. Но когда я немного пришла в себя, увидела, как огорчен опекун, и услышала, с каким серьезным видом оба мои собеседника говорят о заподозренном человеке, вспоминая, какое прекрасное впечатление он производил на нас и как много хорошего мы о нем знали, мое сочувствие к нему и мой страх за его судьбу так возросли, что я вполне овладела собой.

— Опекун, неужели вы думаете, что его обвиняют не без оснований?

— Нет, моя милая, я *не могу* так думать. Мы знаем его как человека искреннего и сострадательного, одаренного огромной силой и вместе с тем младенческой кротостью, очень храброго, но бесхитростного и уравновешенного,— так как же можно обвинять его «не без оснований» в подобном преступлении? Я не могу этому поверить. Не то что не верю или не хочу верить. Просто не могу!

— И я не могу,— сказал мистер Вудкорт.— И все-таки, несмотря на все, что мы думаем и знаем о нем, нам лучше не забывать, что против него собраны кое-какие улики. К покойному он относился враждебно. Ничуть этого не скрывал — говорил об этом многим. Ходит слух, будто у него с покойным были крупные разговоры, а что он отзывался о нем очень неодобрительно, это мне доподлинно известно. Он признает, что находился поблизости от места преступления один, незадолго до того, как было совершено убийство. Я убежден, что он так же не виновен, как я сам, но все это — улики против него.

— Вы правы,— сказал опекун и, повернувшись ко мне, добавил: — Мы окажем ему очень плохую услугу, дорогая, если, закрыв глаза на правду, не учтем всего этого.

Я, конечно, понимала, что мы должны признать всю силу этих улик, и не только в своей среде, но и говоря

с другими людьми. Однако я знала (и не могла не сказать этого), что как бы ни были тяжелы улики против мистера Джорджа, мы не покинем его в беде.

— Упаси боже! — отозвался опекун.— Мы будем поддерживать его, как сам он поддержал двух несчастных, которых уже нет на свете.

Он имел в виду мистера Гридли и мальчика, которых мистер Джордж приютил у себя.

Тут мистер Вудкорт рассказал нам, что подручный кавалериста пришел к нему еще до рассвета, после того как всю ночь сам не свой бродил по улицам. Оказывается, мистер Джордж больше всего беспокоился, как бы мы не подумали, что он действительно совершил преступление. И вот он послал своего подручного сказать нам, что он не виновен, в чем и дает самую торжественную клятву. Мистер Вудкорт успокоил посланца только тем, что обещал ему прийти к нам рано утром и передать все это. Он добавил, что хочет немедленно пойти навестить заключенного.

Опекун тотчас же сказал, что пойдет вместе с ним. Не говоря уж о том, что я была очень расположена к мистеру Джорджу, а он ко мне, у меня был тайный интерес ко всей этой истории, известный одному лишь опекуну. Я чувствовала себя так, словно все это было связано со мной и близко касалось меня. Мне казалось даже, что я лично заинтересована в том, чтобы обнаружили истинного виновника, и подозрение не пало на людей невинных; ведь подозрения могут зайти очень далеко — только дай им волю.

Словом, я смутно сознавала, что долг призывает меня пойти вместе с ними. Опекун не пытался разубеждать меня, и я пошла.

Тюрьма, в которой сидел кавалерист, была огромная, со множеством дворов и переходов, так похожих друг на друга и так одинаково вымощенных, что, проходя по ним, я как будто лучше поняла заключенных, которые год за годом живут в одиночках, под замком, среди все тех же голых стен; лучше поняла ту привязанность, которую они иногда питают (как мне приходилось читать) к какому-нибудь сорному растению или случайно пробившейся былинке. На верхнем этаже, в сводчатой комнате, напоми-

нающей погреб, со стенами столь ослепительно белыми, что по контрасту с ними толстые железные прутья на окнах и окованная железом дверь казались густо-черными, мы увидели мистера Джорджа, стоявшего в углу. Очевидно, он раньше сидел там на скамейке и встал, услышав, как отпирают замок и отодвигают засовы.

Увидев нас, он, тяжело ступая, сделал было шаг вперед, точно собирался подойти к нам, но вдруг замер на месте и сдержанно поклонился. Тогда я сама подошла к нему, протянула руку, и он мгновенно понял, как мы к нему относимся.

— У меня прямо гора с плеч свалилась, уверяю вас, мисс и джентльмены,— сказал он, очень горячо поздоровавшись с нами и тяжело вздохнув.— Теперь для меня уже не так важно, чем все это кончится.

Он был не похож на арестанта. Глядя на этого спокойного человека с военной выправкой, можно было скорее подумать, что он — один из стражей тюремной охраны.

— Принимать здесь даму еще менее удобно, чем в моей галерее,— сказал мистер Джордж,— но я знаю, мисс Саммерсон на меня не посетует.

Он подал мне руку и подвел меня к скамье, на которой сидел сам до нашего прихода, и когда я села, ему, как видно, стало очень приятно.

— Благодарю вас, мисс,— сказал он.

— Ну, Джордж,— проговорил опекун,— как мы не требуем от вас новых уверений, так, думается, и вам незачем требовать их от нас.

— Конечно, нет, сэр. Спасибо вам от всего сердца. Будь я виновен в этом преступлении, я не мог бы скрывать свою тайну и смотреть вам в глаза, раз вы оказали мне такое доверие своим посещением. Я очень тронут этим. Я не краснобай, но глубоко тронут, мисс Саммерсон и джентльмены.

Он приложил руку к широкой груди и поклонился нам, нагнув голову. Правда, он тотчас же выпрямился, но в этом безыскусственном поклоне сказалось его глубокое волнение.

— Прежде всего,— начал опекун,— нельзя ли нам позаботиться о ваших удобствах, Джордж?

— О чем, сэр? — спросил кавалерист, откашлявшись.

— О ваших удобствах. Может быть, вы нуждаетесь в чем-нибудь таком, что облегчило бы вам тяжесть заключения?

— Как вам сказать, сэр,— ответил мистер Джордж, немного подумав,— я вам очень признателен, но курить здесь запрещается, а ни в чем другом я не терплю недостатка.

— Ну, может быть, вы потом вспомните о каких-нибудь мелочах. Дайте нам знать, Джордж, как только вам что-нибудь понадобится.

— Благодарю вас, сэр,— сказал мистер Джордж с улыбкой на загорелом лице.— Кто всю жизнь мыкался по свету, тому пока что не так уж плохо и здесь.

— А теперь насчет вашего дела,— проговорил опекун.

— Да, сэр,— отозвался мистер Джордж, скрестив руки на груди, и приготовился слушать с некоторым любопытством, но вполне владея собой.

— В каком положении теперь ваше дело?

— Теперь, сэр, оно отложено. Баккет объяснил мне, что, вероятно, будет время от времени просить дальнейших отсрочек, пока дело не будет расследовано более тщательно. Как оно может быть расследовано более тщательно, я лично не вижу, но Баккет с этим, вероятно, как-нибудь справится.

— Бог с вами, друг мой! — воскликнул опекун, невольно поддаваясь свойственной ему раньше чудаковатой пылкости.— Да вы говорите о себе, словно о постороннем человеке!

— Простите, сэр,— сказал мистер Джордж.— Я очень ценю вашу доброту. Но ни в чем не повинный человек в моем положении только так и может к себе относиться; а не то он голову об стену разобьет.

— До известной степени это правильно,— проговорил опекун немного спокойнее.— Но, друг мой, даже невинному необходимо принять обычные меры предосторожности для своей защиты.

— Конечно, сэр. Я так и сделал. Я заявил судьям: «Джентльмены, я так же не виновен в этом преступлении, как вы сами; все факты, которые выдвигались как улики против меня, действительно имели место; а больше

я ничего не знаю». Так я буду говорить и впредь, сэр. Что же мне еще делать? Ведь это правда.

— Но одной правды мало,— возразил опекун.

— Мало, сэр? Ну, значит, дело мое дрянь! — шутливо заметил мистер Джордж.

— Вам нужен адвокат,— продолжал опекун.— Мы пригласим для вас опытного юриста.

— Прошу прощения, сэр,— сказал мистер Джордж, сделав шаг назад.— Я вам очень признателен. Но, с вашего позволения, я решительно отказываюсь.

— Вы не хотите пригласить адвоката?

— Нет, сэр! — Мистер Джордж резко мотнул головой.— Благодарю вас, сэр, но... никаких юристов!

— Почему?

— Не нравится мне это племя,— сказал мистер Джордж.— Гридли оно тоже не нравилось. И... простите меня за смелость, но вряд ли оно может нравиться вам самим, сэр.

— Оно мне не нравится в Канцлерском суде, который разбирает дела гражданские,— объяснил опекун, немного опешив.— Гражданские, Джордж, а ваше дело уголовное.

— Вот как, сэр? — отозвался кавалерист каким-то беззаботным тоном.— Ну, а я не разбираюсь во всех этих тонкостях, так что я против всего племени юристов вообще.

Опустив руки, он переступил с ноги на ногу и стал, положив одну свою крупную руку на стол, а другую уперев в бок, с видом человека, которого не собьешь с намеченного пути. Тщетно мы все трое уговаривали его и старались разубедить. Он слушал нас с терпеливой кротостью, которая так шла к его грубоватому добродушию, но все наши доводы могли поколебать его не больше, чем тюрьму, в которой он сидел.

— Прошу вас, подумайте, мистер Джордж,— проговорила я.— Неужели у вас нет никаких желаний в связи с вашим делом?

— Я, конечно, хотел бы, чтобы меня судили военным судом, мисс,— ответил он,— но хорошо знаю, что об этом не может быть и речи. Будьте добры, уделите мне немного внимания, мисс,— несколько минут, не больше,— и я попытаюсь высказаться как можно яснее.

Он оглядел всех нас троих поочередно, помотал головой, словно шею ему жал воротник тесного мундира, и после краткого раздумья продолжал:

— Видите ли, мисс, на меня надели наручники, арестовали меня и привели сюда. Я теперь опозоренный, обесчещенный человек — вот до чего я докатился. Баккет обшарил мою галерею сверху донизу; имущество мое, правда небольшое, все перерыли, порасшвыряли, так что неизвестно, где теперь что лежит, и (как я уже говорил) вот до чего я докатился! Впрочем, я на это не особенно жалуюсь. Хоть я и попал сюда «на постой» не по своей вине, но хорошо понимаю, что, не уйди я бродяжничать еще мальчишкой, ничего такого со мной не случилось бы. А теперь вот случилось. Значит, спрашивается: как мне к этому отнестись?

Оглядев нас добродушным взглядом, он потер смуглый лоб и сказал, как бы извиняясь:

— Не умею я говорить, придется немножко подумать.

Немножко подумав, он снова посмотрел на нас и продолжал:

— Как теперь быть? Несчастный покойник сам был юристом и довольно крепко зажал меня в тиски. Не хочу тревожить его прах, но, будь он в живых, я бы сказал, что он до черта крепко прижал меня. Потому-то мне и не нравятся его товарищи по ремеслу. Держись я от них подальше, я бы сюда не попал. Но не в этом дело. Теперь допустим, что это я его убил. Допустим, я действительно разрядил в него свой пистолет — один из тех, что за последнее время употреблялись для стрельбы в цель, а Баккет нашел у меня такие пистолеты, хотя ничего особенного в этом нет, и он мог бы найти их у меня когда угодно — в любой день, с тех пор как я содержу галерею-тир. Так что же я сделал бы, попав сюда, если б и впрямь совершил убийство? Я нанял бы адвоката.

Он умолк, заслышав, что кто-то отпирает замки и отодвигает засовы, и молчал, пока дверь не открыли и не закрыли опять. Вскоре я скажу, для чего ее открывали.

— Я нанял бы адвоката, а он сказал бы (как мне часто доводилось читать в газетах): «Мой клиент ничего не говорит, мой клиент временно воздерживается от защиты...

мой клиент то, да се, да другое, да третье». Но я-то знаю, что у этого племени не в обычае идти напрямик и допускать, что другие идут прямым путем. Скажем, я не виновен, и я нанимаю адвоката. Скорей всего он подумает, что я виновен... пожалуй, даже наверное так подумает. Что он будет делать,— все равно, поверит он мне или нет? Он будет действовать так, как будто я виновен: будет затыкать мне рот, посоветует не выдавать себя, скрывать обстоятельства дела, по мелочам опровергать свидетельские показания, вертеться, крутиться и в конце концов он, может быть, меня вызволит — добьется моего оправдания. Но, мисс Саммерсон, как вы думаете, хочу ли я, чтобы меня оправдали таким путем, или, по мне, лучше быть повешенным, а все-таки поступить по-своему?.. Извините, что я упоминаю о предмете, столь неприятном для молодой девицы.

Он уже вошел в азарт и больше не нуждался в том, чтобы «немножко подумать».

— Пусть уж лучше меня повесят, зато я поступлю по-своему. И я это твердо решил! Этим я не хочу сказать,— он оглядел всех нас, уперев свои сильные руки в бока и подняв темные брови,— этим я не хочу сказать, что мне больше других хочется, чтобы меня повесили. Я хочу сказать, что меня должны оправдать вполне, без всяких оговорок, или не оправдывать вовсе. Поэтому, когда говорят об уликах, которые против меня, но говорят правду, я подтверждаю, что это правда, а когда мне говорят: «Все, что вы скажете, может послужить материалом для следствия»,— я отвечаю, что ничего не имею против... пускай служит. Если меня не могут оправдать на основании одной лишь правды, меня вряд ли оправдают на основании чего-то менее важного или вообще чего бы то ни было. А если и оправдают, этому для меня — грош цена.

Он сделал шага два по каменному полу, вернулся к столу и закончил свою речь следующими словами:

— Благодарю вас, мисс и джентльмены, горячо благодарю за ваше внимание и еще больше за участие. Я осветил вам все дело, как оно представляется простому кавалеристу, у которого разум — все равно что тупой палаш. Я ничего хорошего в жизни не сделал,— вот только

выполнял свой долг на военной службе, и если в конце концов случится самое худшее, я только пожну то, что посеял. Когда я очнулся от первого потрясения, после того как меня забрали и обвинили в убийстве,— а бродяга вроде меня, который столько шатался по свету, недолго оправляется от потрясений,— я обдумал, как мне себя вести, и сейчас объяснил это вам. Этой линии я и буду придерживаться. По крайней мере я не опозорю своих родных, не заставлю их хлебнуть горя и... вот все, что я могу вам сказать.

Когда дверь открыли — как я уже говорила раньше,— вошел человек такого же военного вида, как и мистер Джордж, но, на первый взгляд, не столь внушительный, а с ним — загорелая, с живыми глазами, здоровая на вид женщина, которая держала в руках корзинку и с самого своего прихода очень внимательно слушала все, что говорил мистер Джордж. Не прерывая своей речи, мистер Джордж приветствовал этих людей только дружеским кивком и дружеским взглядом. Теперь же он сердечно пожал им руки и сказал:

— Мисс Саммерсон и джентльмены, это мой старый товарищ Мэтью Бегнет. А это его жена миссис Бегнет.

Мистер Бегнет сдержанно поклонился нам по-военному, а миссис Бегнет присела.

— Они — мои истинные друзья,— сказал мистер Джордж.— Меня забрали из их дома.

— Подержанная виолончель,— вставил мистер Бегнет, сердито дергая головой.— С хорошим звуком. Для приятеля. Дело не в деньгах.

— Мэт,— сказал мистер Джордж,— ты слышал почти все, что я говорил этой леди и джентльменам! Ты, конечно, согласен со мной?

Мистер Бегнет, подумав, предоставил своей жене ответить на этот вопрос.

— Старуха,— проговорил он.— Скажи ему. Согласен я. Или нет...

— Ну, Джордж,— воскликнула миссис Бегнет, распаковывая свою корзинку, в которой лежали кусок холодной соленой свинины, пачка чаю, сахар и хлеб из непросеянной муки,— надо бы вам знать, что он никак с вами не согласен. Надо бы вам знать, что, послушавши вас,

можно с ума спятить. Как же вас вызволить, если вы *этого* не хотите, *того* не желаете?.. Что это вам вздумалось так придираться да разбираться? Все это вздор и чепуха, Джордж.

— Не будьте строги ко мне в моих горестях, миссис Бегнет,— шутливо проговорил кавалерист.

— К черту ваши горести, если вы от них не умнеете! — вскричала миссис Бегнет.— Никогда в жизни не было мне так стыдно слушать дурацкую болтовню, как было стыдно за вас, когда вы тут всякий вздор городили. Адвокаты? А что, кроме вашей дурацкой придирчивости, мешает вам нанять хоть дюжину адвокатов, если этот джентльмен порекомендует их вам?

— Вот разумная женщина,— сказал опекун.— Надеюсь, вы уговорите его, миссис Бегнет.

— Уговорить его, сэр? — отозвалась она.— Бог с вами! Да вы не знаете Джорджа. Вот, глядите,— миссис Бегнет бросила корзинку и показала на мистера Джорджа своими смуглыми руками, не знавшими перчаток,— вот он какой! До чего он своевольный, до чего упрямый малый,— хоть кого выведет из терпения. Вы скорей вскинете на плечо сорокавосьмифунтовую пушку, чем разубедите этого человека, когда он забрал себе что-нибудь в голову и уперся на своем. Э, да неужто я его не знаю! — вскричала миссис Бегнет.— Неужто я вас не знаю, Джордж? Или вы после стольких лет вздумали корчить из себя неизвестно кого и втирать очки *мне?*

Дружеское негодование женщины сильно действовало на ее супруга, который несколько раз покачал головой, глядя на кавалериста и как бы убеждая его пойти на уступки. Время от времени миссис Бегнет бросала взгляд на меня, и по выражению ее глаз я поняла, что ей чего-то от меня хочется, но чего именно — я не могла догадаться.

— Вот уж много лет, как я перестала вас уговаривать, старина,— сказала миссис Бегнет, сдув пылинку со свинины и снова бросив на меня взгляд,— и когда леди и джентльмены узнают вас не хуже, чем знаю я, они тоже перестанут вас уговаривать. Если вы не слишком упрямы, чтобы принять кое-какие гостинцы, вот они!

— Принимаю с великой благодарностью,— отозвался кавалерист.

— В самом деле? — проговорила миссис Бегнет ворчливым, но довольно добродушным тоном.— Очень этому удивляюсь. Странно, что вы не хотите уморить себя голодом, лишь бы поставить на своем. Вот было бы похоже на вас! Может, вы теперь и до *этого* додумаетесь?

Тут она опять взглянула на меня; и теперь я поняла, что, глядя попеременно то на меня, то на дверь, она давала мне понять, что нам следует уйти и подождать ее за оградой тюрьмы. Передав это тем же способом опекуну и мистеру Вудкорту, я встала.

— Мы надеемся, что вы передумаете, мистер Джордж,— сказала я,— и когда снова придем повидаться с вами, найдем вас более благоразумным.

— Более благодарным вы меня не найдете, мисс Саммерсон,— отозвался он.

— Но надеюсь — более сговорчивым,— сказала я.— И прошу вас подумать о том, что необходимо раскрыть тайну и обнаружить преступника,— это дело первостепенной важности не только для вас, но, может быть, и для других лиц.

Он выслушал меня почтительно, но не обратил большого внимания на мои слова, которые я произнесла, слегка отвернувшись от него,— уже на пути к выходу. Он всматривался (как мне после сказали) в мое лицо и фигуру, которые почему-то вдруг привлекли его внимание.

— Любопытно,— проговорил он.— И ведь в тот раз я тоже так подумал!

Опекун спросил, что̀ он имеет в виду.

— Видите ли, сэр,— ответил он,— когда в ночь преступления моя злосчастная судьба привела меня в дом убитого, по лестнице мимо меня прошла женщина, и хоть было темно, она показалась мне до того похожей на мисс Саммерсон, что я даже чуть было не заговорил с нею.

Я содрогнулась; такого ужаса я ни до, ни после этого не испытывала и, надеюсь, не испытаю и впредь.

— Она спускалась по лестнице, а я поднимался,— сказал кавалерист,— и когда она прошла мимо окошка,— в ту ночь светила луна,— я заметил, что на плечи у нее накинута широкая черная мантилья с длинной бахромой. Впрочем, это совершенно не относится к нашему делу,

но сейчас мисс Саммерсон показалась мне до того похожей на ту женщину, что я сразу о ней вспомнил.

Я не могу определить и отделить одно от другого все те чувства, какие я испытала после его слов. Достаточно сказать, что если с самого начала мною владело смутное убеждение, что долг требует от меня наблюдать за ходом следствия по этому делу,— хоть я и не смела задавать себе никаких вопросов,— то сейчас это убеждение стало твердым; однако я с возмущением говорила себе, что у меня нет ни малейших оснований чего-то опасаться.

Мы втроем вышли из тюрьмы и стали прохаживаться неподалеку от ворот, расположенных в уединенном месте. Долго ждать нам не пришлось,— мистер и миссис Бегнет тоже вышли из ворот и быстро подошли к нам.

На глазах у миссис Бегнет выступили слезы, ее пылающее лицо было взволновано.

— Вы знаете, мисс, я и виду не показала Джорджу, какого я мнения о его деле,— призналась она, как только подошла к нам,— но он попал в скверную историю, бедняга!

— Нет, не думаю, если о нем позаботиться, если действовать осторожно и оказать ему помощь,— сказал опекун.

— Такому джентльмену, как вы, лучше знать, сэр,— заметила миссис Бегнет, поспешно вытирая глаза краем серой накидки,— но я за него беспокоюсь. Очень уж он неосторожный — говорил много такого, чего у него и на уме не было. Джентльмены присяжные, может, и не поймут его так, как понимаем мы с Дубом. К тому же собрали столько улик и столько свидетелей будут показывать против него, а Баккет такой хитрый.

— Подержанная виолончель. Говорил, что играл на флейте. В детстве,— добавил мистер Бегнет очень многозначительным тоном.

— Теперь вот что я вам скажу, мисс,— начала миссис Бегнет,— а когда я говорю «мисс», я говорю «все вы». Пойдемте-ка вон туда в уголок у стены, и я вам кое-что скажу.

И миссис Бегнет торопливо потащила нас в еще более уединенное место, но она так тяжело дышала от волнения,

что сначала не могла вымолвить ни слова, и мистеру Бегнету пришлось понукать ее:

— Скажи им, старуха!

— Так вот, мисс,— проговорила «старуха», развязывая ленты своей шляпы, чтобы свободнее было дышать,— легче сдвинуть с места Дуврский замок *, чем сдвинуть Джорджа, когда он упрется на своем, если только не удастся найти какую-то новую силу, которая его сдвинет. И я эту силу нашла!

— Вы прямо сокровище, а не женщина! — сказал опекун.— Рассказывайте!

— Так вот что я вам скажу, мисс,— торопливо продолжала она, волнуясь и то и дело всплескивая руками.— Хоть он и говорит, что у него нет родных, но это сущая чепуха. Они ничего про него не знают, но зато он знает о них. Он кое-когда рассказывал мне о себе и — гораздо больше, чем другим, и не зря он как-то раз говорил моему Вулиджу, как это, мол, хорошо, если у матери не прибавилось ни одной морщинки, ни одного седого волоса по вине сына. Бьюсь об заклад на пятьдесят фунтов, что в тот день Джордж увидел свою мать. Она жива, и ее нужно привезти прямо сюда!

Тут миссис Бегнет, немедленно взяв в рот несколько булавок, принялась подкалывать подолы своих юбок, так чтобы они стали чуть короче серой накидки, и сделала она это изумительно быстро и ловко.

— Дуб,— сказала миссис Бегнет,— приглядывай за детьми, старик, и подай мне зонт! Я еду в Линкольншир, чтобы доставить сюда старушку!

— Что она выдумала, эта женщина! — воскликнул опекун, сунув руку в карман.— Как же она поедет? Да хватит ли у нее денег?

Миссис Бегнет снова повозилась со своими юбками, вытащила кожаный кошелек, торопливо пересчитала лежавшие в нем несколько шиллингов, потом закрыла его с чувством полного удовлетворения.

— Не беспокойтесь обо мне, мисс. Я жена солдата и привыкла путешествовать одна. Ну, Дуб,— и миссис Бегнет расцеловалась с мужем,— один поцелуй тебе, старик, три детям. А теперь я отправилась в Линкольншир за матушкой Джорджа!

И она действительно уже тронулась в путь, в то время как мы трое только переглядывались, не помня себя от удивления. Она зашагала прочь твердым шагом, завернула за угол, и ее серая накидка скрылась из виду.

— Мистер Бегнет,— сказал опекун,— неужели вы так и отпустите ее?

— Ничего не поделаешь,— ответил тот.— Однажды приехала домой. Из другой части света. Вот в этой серой накидке. И с тем же зонтом. Что старуха скажет, то и делайте. Делайте! Когда старуха говорит: «Я *сама* сделаю». Она сама и сделает.

— Значит, она действительно такая добрая и честная, какой кажется,— заметил опекун,— а это очень много,— большего и не скажешь.

— Она знаменосец Несравненного батальона,— сказал мистер Бегнет и, уже уходя, еще раз оглянулся на нас.— И другой такой во всем свете не сыщешь. Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

## ГЛАВА LIII

### *След*

Обстоятельства сложились так, что мистеру Баккету теперь частенько приходится совещаться со своим толстым указательным пальцем. Когда мистер Баккет обдумывает дела столь же важные, как то, которым он занят теперь, его толстый указательный палец как бы возвышается до положения демона-друга. Мистер Баккет прикладывает его к уху, и палец нашептывает ему нужные сведения; прикладывает к губам, и палец приказывает ему молчать; трет им нос, и палец обостряет его нюх; грозит им преступнику, и тот, как завороженный, выбалтывает гибельное признание. Авгуры * из Храма Уголовного Розыска неизменно предсказывают, что, если уж мистер Баккет начал длительно совещаться со своим пальцем, значит скоро можно ожидать грозного возмездия кому-то.

Мистер Баккет в общем — снисходительный философ, несклонный строго осуждать людские безрассудства,

и обычно он изучает человеческую натуру не слишком ревностно; но теперь он заходит в десятки домов и без устали рыщет по бесчисленным улицам, хотя вид у него такой, словно он слоняется от нечего делать. С ближними своими он поддерживает самые дружеские отношения, а со многими даже не прочь выпить за компанию. Деньгами он сорит не стесняясь, в обращении любезен, в беседе бесхитростен; однако в глубинах тихой реки его жизни струится подводное течение, которое направляется указательным пальцем.

Мистера Баккета не связывают ни пространство, ни время. Как и любой смертный, сегодня он здесь, а завтра его уже нет; но, не в пример простому смертному, послезавтра он опять тут как тут. Нынче вечером он, как будто из простого любопытства, осматривает железные гасители факелов у подъезда лондонского дома сэра Лестера Дедлока; а завтра утром будет в Чесни-Уолде ходить по террасе с полом, обитым свинцом,— той самой террасе, по которой некогда прохаживался старик, чей дух хотят умилостивить сотней гиней, обещанных за поимку убийцы. Мистер Баккет осматривает все вещи покойного — ящики, письменные столы, карманы — словом, все, что тому принадлежало. Несколько часов спустя он останется вдвоем с римлянином, и один будет по-прежнему указывать перстом вниз, а другой — поднимать указательный палец вверх.

Подобные занятия вряд ли совместимы с семейными радостями; во всяком случае, мистер Баккет теперь не бывает дома. А ведь он очень высоко ценит общество миссис Баккет — особы с врожденным сыскным нюхом, которая могла бы творить чудеса, если бы развила свой талант профессиональной практикой, но, не получив этой возможности, осталась просто любительницей, хотя и одаренной; однако мистер Баккет избегает ее, лишая себя столь милого сердцу отдохновения. Миссис Баккет довольствуется общением и разговорами со своей жилицей (к счастью, женщиной приятной), в судьбе которой принимает участие.

В день похорон на Линкольновых полях собирается огромная толпа, и сэр Лестер Дедлок лично присутствует на церемонии. Строго говоря, кроме него, провожающих

только трое: лорд Дудл, Уильям Баффи да изнемогающий кузен (которого прихватили с собой, чтобы составить две пары), но скорбных карет тьма тьмущая. Аристократия соизволила выразить столько соболезнования на четырех колесах, сколько этому околотку в жизни не доводилось видывать. И так велико скопище гербов на дверцах карет, что кажется, будто вся Геральдическая палата * сразу потеряла родителей. Герцог Фудл выслал роскошную карету — ни дать ни взять погребальный костер, осыпанный прахом и пеплом,— карету с серебряными втулками, патентованными осями, всеми новейшими усовершенствованиями и тремя осиротевшими лакеями шести футов ростом, торчащими на запятках, словно траурный султан. Все высокопоставленные кучера, сколько их есть в Лондоне, облачились в черные ливреи, и если покойный старик в поношенном одеянии питал некоторое пристрастие к породистым лошадям (что мало вероятно), сегодня он может вдосталь налюбоваться ими.

Незаметный среди убитых горем факельщиков, экипажей и лошадиных ног, мистер Баккет сидит, притаившись, в одной из скорбных карет и с удобством наблюдает за толпой сквозь решетчатые ставни ее окон. Он великий мастер следить за толпой,— как и за всем на свете,— и когда посматривает туда-сюда то в правое окно кареты, то в левое, то поднимает глаза вверх на окна домов, то пробегает взглядом по головам людей, он ничего не упускает из виду.

«А, и ты здесь, мой дружок? — говорит себе мистер Баккет, подразумевая миссис Баккет, которая по его протекции получила место на крыльце дома, где жил покойный.— Вот как! Так, так! И ты, право же, выглядишь очень мило, миссис Баккет!»

Процессия еще не тронулась с места,— она ждет, чтобы из дому вынесли то, из-за чего все собрались. Мистер Баккет, расположившись в передней карете, украшенной гербами, чуть-чуть раздвигает ставни толстыми указательными пальцами обеих рук и наблюдает.

До чего нежна его супружеская любовь,— он прямо глаз не сводит с миссис Баккет. «Так вот ты где, мой дружок, а? — бормочет он себе под нос.— И ты взяла с собой нашу жилицу. Я за тобой присматриваю, миссис

Баккет; надеюсь, ты чувствуешь себя прекрасно, дорогая?»

Ни слова больше не произносит мистер Баккет, но смотрит вокруг внимательнейшими глазами, пока не выносят завернутого в саван хранителя благородных тайн (Где теперь все эти тайны? По-прежнему ли он хранит их? Или они вместе с ним отбыли в это неожиданное путешествие?),— смотрит, пока процессия не трогается с места и картина перед его глазами не изменяется. После этого он усаживается поудобнее, словно тоже собирается куда-то ехать, и на всякий случай запоминает, как оборудована карета внутри — авось когда-нибудь пригодится.

Велико различие между мистером Талкингхорном, спрятанным в темном катафалке, и мистером Баккетом, спрятавшимся в темной карете. Неизмеримо пространство, окружающее маленькую ранку, которая повергла первого в непробудный сон, не тревожимый даже тряской по мостовым, и велико различие между этим пространством и тонкой нитью кровавого следа, которая держит второго в неусыпном и бдительном напряжении, заметном чуть не в каждом волосе на его голове! Но им обоим нет дела до этого различия; ни тот, ни другой ничуть этим не интересуются.

Мистер Баккет сидит в карете, как у себя дома, дожидаясь, пока вся процессия не пройдет мимо, затем выскальзывает на улицу, когда наступает момент, который он заранее наметил. И вот он направляет свои стопы в почти родной для него дом сэра Лестера Дедлока — дом, куда он вхож в любой час дня и ночи, где его всегда встречают гостеприимно и очень за ним ухаживают, где он знаком со всей челядью и окружен атмосферой таинственного величия.

Мистеру Баккету нет нужды стучать или звонить. Он запасся ключом от двери и может войти, когда ему заблагорассудится. В то время как он проходит по вестибюлю, Меркурий докладывает:

— Вот для вас еще одно письмо, мистер Баккет; получено по почте,— и подает ему письмо.

— Неужели еще одно? — отзывается мистер Баккет.

Кто знает, быть может, Меркурий и томится любознательностью, возбужденной корреспонденцией мистера Баккета, но осторожный адресат вовсе не собирается ее удовлетворить. Мистер Баккет смотрит в лицо Меркурию с таким видом, словно это не лицо, но аллея в несколько миль длиной, которую он неторопливо просматривает из конца в конец.

— Скажите, у вас нет с собой табакерки? — осведомляется мистер Баккет.

К сожалению, Меркурий не нюхает табака.

— Достали бы мне щепотку, а? — просит мистер Баккет.— Вот спасибо. Все равно какого; насчет сорта я не разборчив. Вот уж спасибо так спасибо!

Не спеша взяв щепотку из табакерки, позаимствованной у кого-то из слуг, мистер Баккет долго и необычайно внимательно принюхивается к ней сперва одной ноздрей, потом другой, уверенным тоном объявляет, что табак как раз такой, какой ему нравится, и уходит с письмом в руках.

И вот мистер Баккет поднимается наверх в маленькую библиотеку, устроенную внутри большой, и хотя идет с таким видом, словно привык получать десятки писем в день, но, сказать правду, он никогда не вел обширной корреспонденции. Писать он не мастер — перо держит, как маленькую карманную дубинку, которую всегда носит при себе, чтобы иметь ее под рукой,— и не поощряет других писать ему письма, поясняя, что это слишком безыскусственный и прямолинейный способ ведения щекотливых дел. Вдобавок ему нередко приходится наблюдать, как письма, компрометирующие репутации, представляются на рассмотрение суда в качестве вещественных доказательств, и он не без оснований полагает, что писать их было весьма неразумно. По этим причинам он почти никогда не пишет и не получает писем. Однако за последние двадцать четыре часа он получил их ровно полдюжины.

— И это тоже,— говорит мистер Баккет, развертывая только что полученное письмо,— это тоже написано тем же почерком и состоит из тех же двух слов.

Каких двух слов?

Он запирает дверь на ключ, снимает ремешок со своей черной записной книжки («книги судеб» для многих

людей), вынимает из нее другое письмо и, положив его рядом с первым, читает в обоих разборчиво написанные слова: «Леди Дедлок».

— Да, да,— говорит мистер Баккет.— Но я мог бы заработать обещанную награду и без этой анонимной информации.

Положив письма в свою «книгу судеб» и снова затянув ее ремешком, он отпирает дверь как раз вовремя, чтобы принять обед, который ему приносят на роскошном подносе вместе с графином хереса. В дружеском кругу, где не нужно стесняться, мистер Баккет нередко признает, что его ничем не корми, только дай ему выпить капельку хорошего, старого ост-индского хереса. Вот и теперь он наполнил и осушил рюмку, причмокнув от наслаждения, но не успел он приступить к еде, как его осеняет какая-то новая мысль.

Мистер Баккет бесшумно отворяет дверь и заглядывает в соседнюю комнату. В библиотеке никого нет, огонь в камине чуть теплится. Голубем облетев комнату, взгляд мистера Баккета опускается на тот стол, куда обычно кладут полученные письма. Там лежит несколько писем на имя сэра Лестера. Мистер Баккет подходит к столу и рассматривает адреса.

— Нет,— говорит он,— ни одного, написанного тем почерком нету. Значит, так пишут только мне. Завтра можно открыть все сэру Лестеру Дедлоку, баронету.

Затем он возвращается и с аппетитом обедает; а после того как он успел немного подремать, его приглашают в гостиную. В последние дни сэр Лестер вызывал его к себе туда каждый вечер и спрашивал, не может ли он сообщить что-нибудь новое. Изнемогающий кузен (чуть совсем не изнемогший на похоронах) и Волюмния тоже сидят в гостиной.

Мистер Баккет кланяется всем троим поочередно, но — по-разному. Сэру Лестеру — поклон почтительный; Волюмнии — поклон галантный; изнемогающему кузену — поклон старого знакомого, небрежно дающий понять, что «ты, мол, братец, известный повеса, из золотой молодежи; ты меня знаешь, и я тебя знаю». Продемонстрировав этими тонкими оттенками свой такт, мистер Баккет потирает руки.

— Нет ли у вас чего-нибудь нового, инспектор? — спрашивает сэр Лестер.— Вы бы не хотели побеседовать со мною наедине?

— Побеседовать... нет, не сегодня, сэр Лестер Дедлок, баронет.

— Не забудьте,— продолжает сэр Лестер,— что мое время целиком в вашем распоряжении, ибо я стремлюсь восстановить попранное величие закона.

Мистер Баккет, кашлянув, устремляет взор на Волюмнию, нарумяненную и в жемчужном ожерелье, словно желая почтительно заметить: «А ты еще очень недурна собой. В твоем возрасте многие дамочки, право же, выглядят гораздо хуже».

Очаровательная Волюмния, возможно, подозревает о смягчающем влиянии своих прелестей и, перестав писать какие-то треугольные записки, мечтательно поправляет жемчужное ожерелье. Мистер Баккет мысленно подсчитывает, сколько может стоить это драгоценное украшение, и решает, что Волюмния сейчас, вероятно, сочиняет стихи.

— Если я еще не просил вас, инспектор,— продолжает сэр Лестер,— не просил самым настоятельным образом проявить все ваше мастерство при расследовании этого зверского преступления, то я немедленно воспользуюсь случаем исправить оплошность, которую я, быть может, сделал. Не думайте о затратах. Я готов взять на себя все расходы. Только добейтесь цели, а тратить можете сколько угодно,— я без колебаний оплачу все ваши издержки.

В ответ на эту щедрость мистер Баккет снова отвесил сэру Лестеру почтительный поклон.

— Как и следовало ожидать,— добавляет сэр Лестер с горячностью возмущенного человека,— ко мне еще не вернулось душевное спокойствие, нарушенное в тот день, когда произошло это страшное событие. Да и вряд ли я когда-нибудь успокоюсь. Но сегодня, после того как мне пришлось подвергнуться тяжкому испытанию — предать земле останки верного, усердного и приверженного мне человека,— я негодую.

Голос у сэра Лестера дрожит, его седые волосы топорщатся на голове. На глазах у него слезы; лучшая часть его существа в смятении.

— Я заявляю,— продолжает он,— я торжественно заявляю, что, пока преступника не найдут и не покарают по закону, я буду считать, что имя мое запятнано. Джентльмен, посвятивший мне значительную часть своей жизни, джентльмен, посвятивший мне последний день своей жизни, джентльмен, постоянно сидевший за моим столом и спавший под моим кровом, уходит из моего дома к себе, и спустя час после того, как он покинул мой дом, его убивают. Быть может, за ним шли по пятам от самого моего дома, следили, пока он был в моем доме, и даже наметили его жертвой именно потому, что он был связан с моим домом,— кто знает, а вдруг его связь с моим домом как раз и вызвала предположение, что он владеет более крупным состоянием и вообще более важное лицо, чем могло бы показаться по его скромному образу жизни. Если я, с моими средствами, моим влиянием, моим общественным положением, не смогу обнаружить и уличить виновников столь страшного злодеяния, я погрешу против уважения к памяти этого джентльмена и моей верности тому, кто был всегда верен мне.

Пока он с глубоким волнением и искренностью произносит эту декларацию, оглядывая комнату с таким видом, словно обращается к большому обществу, мистер Баккет смотрит на него внимательно и серьезно, и в этом взгляде,— как ни дерзко подобное предположение,— быть может, есть доля сострадания.

— Сегодняшняя погребальная церемония,— продолжает сэр Лестер,— наглядно показала, каким уважением пользовался мой покойный друг,— он делает ударение на последнем слове, ибо смерть уравнивает сильных мира сего и малых сих,— каким уважением пользовался мой покойный друг среди цвета наших соотечественников, а мое присутствие на этой церемонии, как я уже говорил, растравило рану, нанесенную мне этим тягчайшим и дерзновенным преступлением. Если бы его совершил даже мой родной брат, я бы его не пощадил.

Вид у мистера Баккета очень серьезный. Волюмния говорит, что покойный был таким преданным, таким обаятельным человеком!

— Надо думать, вам его очень недостает, мисс,— произносит мистер Баккет успокоительным тоном.—

Можно было заранее предвидеть, что вам его будет недоставать; мне это яснее ясного.

В ответ Волюмния дает понять мистеру Баккету, что ее чувствительная душа не оправится от этого удара до самой смерти, что нервы ее расстроены навсегда и больше уж она не питает ни малейшей надежды на то, что когда-нибудь будет в силах улыбнуться. Тем временем она складывает треугольником письмо, адресованное грозному старому генералу в Бат и рисующее меланхолическое состояние ее духа.

— Потрясение для деликатной особы женского пола,— сочувственно говорит мистер Баккет,— но со временем все это пройдет.

Волюмнии больше всего на свете хочется знать, что̀ происходит. Признают ли виновным — или как это там называется — этого ужасного солдата? Были ли у него сообщники — или как их там называют в суде? И она задает еще множество таких же простодушных вопросов.

— Видите ли, мисс,— отвечает мистер Баккет, убедительно покачав указательным пальцем (и так он галантен от природы, что чуть было не добавил «душечка моя!»),— в настоящее время ответить на эти вопросы нелегко. Именно в настоящее время. Изволите видеть, сэр Лестер Дедлок, баронет,— вовлекая в разговор баронета, мистер Баккет отдает дань его знатности,— этим делом я занимаюсь день и ночь. Если б не рюмка-другая хересу, мне, пожалуй, не удалось бы выдержать такое умственное напряжение. *Я мог бы* ответить на ваши вопросы, мисс, но мне это запрещает служебный долг. Сэр Лестер Дедлок, баронет, в самом скором времени будет осведомлен обо всем, что уже удалось выяснить. И я надеюсь,— мистер Баккет снова принимает серьезный вид,— что он получит удовлетворение.

Изнемогающий кузен надеется только, что кого-нибудь казнят... в назидание пгочим. Полагает, что в нынешние вгемена... повесить челаэка тгудней... чем достать челаэку место... хотя бы на десять тыщ в год. Не сомневается... что в пгимег пгочим... гогаздо лучше повесить не того, кого надо... чем никого.

— Видите ли, сэр, *вы* знаете жизнь,— говорит мистер Баккет, одобрительно подмигивая и сгибая палец,— и мо-

жете подтвердить то, что я сказал этой леди. Не к чему говорить *вам,* что, получив информацию, я взялся за работу. Вы знаете такие вещи, о каких леди и понятия не имеют, да этого от них и ждать нельзя. Бог мой! Особенно когда леди занимают столь высокое положение в обществе, как вы, мисс,— объясняет мистер Баккет, даже покраснев от того, что опять чуть было не сказал «душечка».

— Волюмния,— внушает сэр Лестер,— инспектор верен своему долгу и совершенно прав.

Мистер Баккет бормочет:

— Я рад, что удостоился вашего одобрения, сэр Лестер Дедлок, баронет.

— В самом деле, Волюмния,— продолжает сэр Лестер,— вы не подаете примера, достойного подражания, задавая инспектору подобные вопросы. Он сам наилучший судья во всем, что касается его ответственности; он отвечает за свои действия. И нам, помогающим издавать законы, не подобает препятствовать и мешать тем, кто приводит их в исполнение. Или,— сэр Лестер теперь говорит довольно суровым тоном, ибо Волюмния пыталась перебить его раньше, чем он успел закончить фразу,— или тем, кто восстанавливает их поруганное величие.

Волюмния смиренно объясняет, что ею движет не простое любопытство (вообще столь свойственное юным и ветреным представительницам ее пола), но что она положительно умирает от жалости и участия к милейшему человеку, утрату которого оплакивают все.

— Прекрасно, Волюмния,— говорит сэр Лестер.— В таком случае, вам надлежит быть как можно более осмотрительной.

Мистер Баккет пользуется паузой, чтобы снова заговорить.

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, с вашего позволения и между нами, я не прочь сообщить этой леди, что считаю расследование дела почти законченным. Это великолепное дело... великолепное... а то немногое, чего не хватает, чтобы его закончить, я надеюсь раздобыть через несколько часов.

— Я от души рад слышать об этом,— отзывается сэр Лестер.— Это можно поставить вам в большую заслугу.

— Сэр Лестер Дедлок, баронет,— продолжает мистер Баккет очень серьезным тоном,— надеюсь, это будет поставлено мне в заслугу и одновременно принесет удовлетворение всем. Видите ли, мисс,— объясняет мистер Баккет, устремляя серьезный взгляд на сэра Лестера,— когда я говорю, что это великолепное дело, надо понимать — великолепное с моей точки зрения. С точки зрения других лиц такие дела всегда более или менее неприятны. Бывает, что мы узнаем о весьма странных происшествиях в семейных домах, мисс,— таких происшествиях, верьте мне, что вы бы сказали: да это просто чудеса в решете.

Волюмния соглашается с ним, издав легкое взвизгивание невинного младенца.

— Да, мисс, и даже — в благороднейших семействах, знатнейших семействах, высокопоставленных семействах,— говорит мистер Баккет и снова искоса бросает на сэра Лестера серьезный взгляд.— Я и раньше имел честь оказывать услуги высокопоставленным семействам; и вы представить себе не можете — ну, пойду дальше, скажу, что даже вы не можете себе представить, сэр,— обращается он к изнемогающему кузену,— какие порой случаются истории!

Кузен, который от неизбывной скуки то и дело нахлобучивал себе на голову диванные подушки, зевает и произносит: «Весь-а-ятно»,— что означает: «Весьма вероятно».

Рассудив, что теперь как раз настала пора отпустить инспектора, сэр Лестер властно прекращает разговор словами: «Очень хорошо. Благодарю вас!», а мановением руки объявляет, что беседа кончена, и если высокопоставленные семейства предаются низким порокам, то пусть они сами и расхлебывают все последствия.

— Не забудьте, инспектор,— снисходительно добавляет он,— что я в вашем распоряжении во всякое время, когда вам будет угодно.

Мистер Баккет (все с тем же серьезным видом) спрашивает, удобно ли будет сэру Лестеру принять его завтра утром, в случае, если, как и надо ожидать, дело подвинется вперед? Сэр Лестер отвечает: «В любое время!» Мистер Баккет, отвесив свои три поклона, направляется

к выходу, но вдруг вспоминает нечто, о чем совсем было позабыл.

— Кстати, могу я спросить,— осведомляется он вполголоса, из осторожности вернувшись на прежнее место,— кто повесил на лестнице объявление о награде?

— Это *я* велел повесить его туда,— отвечает сэр Лестер.

— Вы не сочтете меня дерзким, сэр Лестер Дедлок, баронет, если я спрошу вас — зачем?

— Вовсе нет. Я выбрал это место как одно из самых заметных в доме. Мне кажется, что чем чаще объявление будет бросаться в глаза людям, тем лучше. Я хочу внушить всем в моем доме мысль о том, как тяжко это преступление, как твердо я решил покарать виновника и как безнадежны любые попытки избежать возмездия. Впрочем, инспектор, вы знаете дело лучше меня, и если вы имеете какие-либо возражения...

Мистер Баккет пока не имеет никаких возражений; раз уж объявление есть, лучше его не снимать. Снова отвесив каждому из троих по поклону, он удаляется и закрывает дверь, а Волюмния слабо взвизгивает перед тем, как сказать, что этот восхитительно ужасный человек — просто какое-то вместилище страшных тайн.

Любя общество и умея приноравливаться ко всем его слоям, мистер Баккет останавливается в вестибюле перед камином, где в этот ранний зимний вечер пылает яркий, пышущий жаром огонь, и восторгается Меркурием.

— Ну и рост у вас,— шесть футов и два дюйма будет, а? — говорит мистер Баккет.

— И три дюйма,— отвечает Меркурий.

— Не может быть! До чего вы широки в плечах! — на первый взгляд и не угадаешь, что такой рослый. Вы не из тонконогих, э нет! Скажите, вас никогда не лепил скульптор, натурщиком быть не доводилось?

Задавая этот вопрос, мистер Баккет слегка повернул и наклонил голову, придав такое выражение своим глазам, что его можно принять за ценителя искусств.

Меркурию никогда не доводилось быть натурщиком.

— А жаль; надо бы вам попробовать,— говорит мистер Баккет.— Один мой приятель-скульптор,— вы скоро

услышите, что он попал в Королевскую академию *,— дорого бы дал за то, чтобы сделать с вас набросок, а потом изваять вашу статую из мрамора. Миледи, кажется, нет дома?

— Уехала на званый обед.

— Выезжает чуть не каждый день, а?

— Да.

— И немудрено! — говорит мистер Баккет.— Такая роскошная женщина, такая красавица, такая изящная, такая шикарная, да она прямо украшение для любого дома, куда бы ни поехала, ни дать ни взять — свежий лимон на обеденном столе. А ваш папаша служил по той же части, что и вы?

Следует отрицательный ответ.

— Мой служил по этой самой,— говорит мистер Баккет.— Сначала он был мальчиком на побегушках, потом ливрейным лакеем, потом дворецким, потом управляющим, а потом уж завел свой собственный трактир. При жизни пользовался всеобщим уважением, а когда умер — все по нем плакали. Лежа на смертном одре, говорил, что считает годы, проведенные в услужении, самым почетным временем своей жизни; да так оно и было. У меня родной брат в услужении и брат жены тоже. А что, у миледи хороший характер?

— Обыкновенный,— ответствует Меркурий.— Какой у всех леди, такой и у нее.

— Так! — отзывается мистер Баккет.— Значит, немножко избалована? Немножко капризна? Бог мой! Чего еще можно ожидать от женщин, если они такие красотки? За это-то самое они нам и нравятся, правда?

Засунув руки в карманы своих коротких атласных штанов персикового цвета и вытянув стройные ноги в шелковых чулках, Меркурий тоном заправского ловеласа говорит, что не может этого отрицать.

Слышен стук колес и неистовый звон колокольчика.

— Легка на помине! — говорит мистер Баккет.— Приехала!

Распахивается дверь, и миледи проходит по вестибюлю. Как всегда, очень бледная, она одета в полутраур,

и на руках у нее два великолепных браслета. Красота этих браслетов, а может, и красота ее рук привлекает внимание мистера Баккета. Жадным взором он смотрит на них и чем-то бренчит у себя в кармане... быть может, медяками.

Заметив его издали, миледи устремляет вопросительный взгляд на другого Меркурия, того, что привез ее домой.

— Это мистер Баккет, миледи.

Шаркнув ножкой, мистер Баккет приближается к миледи, водя перед губами своим демоном-другом.

— Вы дожидаетесь сэра Лестера?

— Нет, миледи; я его уже видел.

— Вам нужно что-нибудь сказать мне?

— Не сейчас, миледи.

— Узнали что-нибудь новое?

— Кое-что, миледи.

Разговор ведется на ходу. Она даже не остановилась и плавно поднимается по лестнице одна. Подойдя ближе, мистер Баккет смотрит, как она поднимается по тем ступеням, по которым старик спустился в могилу, проходит мимо грозной скульптурной группы вооруженных воинов и их теней на стене, проходит мимо печатного объявления, на которое бросает взгляд, и скрывается из виду.

— Обольстительная женщина, прямо обольстительная,— говорит мистер Баккет, вернувшись к Меркурию.— Вот только вид у нее не особенно здоровый.

Она и впрямь не особенно здорова, поясняет Меркурий. Мигрень замучила.

Неужели? Какая жалость! Так надо побольше гулять, советует мистер Баккет. Да она уже пробовала лечиться прогулками, говорит Меркурий. Иной раз гуляет часа по два, если чувствует себя скверно. И даже по ночам.

— А вы уверены, что рост у вас целых шесть футов и три дюйма? — спрашивает мистер Баккет.— Простите, что перебил.

В этом нет ни малейших сомнений.

— А я бы не подумал — до того вы хорошо сложены. И наоборот — взять к примеру хоть лейб-гвардейцев: счи-


£100

таются красавцами, а сложены препаршиво... Так, значит, гуляет даже по ночам? Однако только при лунном свете, конечно?

Ну, конечно. При лунном свете! Конечно. Разумеется! Собеседники что-то уж очень разговорчивы и охотно поддакивают друг другу.

— А сами вы, должно быть, не имеете привычки гулять? — продолжает мистер Баккет.— Не хватает времени, надо думать?

А хоть бы и хватало, так Меркурий не любит гулять. Предпочитает делать моцион на запятках.

— Оно и понятно,— соглашается мистер Баккет.— Разве можно сравнить гулянье с катаньем? Помнится,— продолжает мистер Баккет, грея себе руки и с приятностью поглядывая на пламя,— она ходила гулять в тот самый вечер, когда все это произошло.

— А как же, конечно ходила! Я же сам и провел ее в сад, что через дорогу от нас.

— И оставили ее там, а сами ушли. Ну да, конечно, ушли. Я видел, как вы уходили.

— А я не видел *вас,*— говорит Меркурий.

— Да я, по правде сказать, торопился,— объясняет мистер Баккет,— пошел, знаете, навестить свою тетку — она живет в Челси, через два дома от старого Бан-Хауса; девяносто лет стукнуло старухе, одинокая, имеет небольшое состояние. Ну вот, я случайно и проходил мимо сада, в то время как вы отошли. Позвольте. В котором часу это было? Кажется, десяти еще не было.

— В половине десятого.

— Правильно. В половине десятого. И, если не ошибаюсь, миледи была в широкой черной мантилье с длинной бахромой?

— Ну да, в мантилье.

Ну да, конечно. Мистер Баккет должен вернуться наверх, потому что у него есть там небольшое дельце, но сначала он хочет пожать руку Меркурию в благодарность за приятную беседу и спросить, не согласится ли Меркурий — мистер Баккет больше ни о чем не попросит,— не согласится ли он, когда у него выпадет полчасика свободного времени, уделить его скульптору Королевской академии к обоюдному удовольствию?

## ГЛАВА LIV

### *Взрыв мины*

Бодрый и свежий после сна, мистер Баккет встает спозаранку и готовится к боевому дню. Облачившись в чистую рубашку и вооружившись мокрой головной щеткой, каковым орудием он в торжественных случаях приглаживает те скудные остатки растительности, которые еще уцелели у него на черепе после суровой жизни, посвященной всякого рода расследованиям, мистер Баккет приводит себя в парадный вид, после чего начинает запасаться пищей и, первым делом заложив основу завтрака двумя бараньими отбивными, добавляет к ним в соответствующей пропорции чай, крутые яйца, гренки и варенье. Насладившись этими питательными яствами и закончив хитроумное совещание со своим демоном-другом, он конфиденциально поручает Меркурию негласно «доложить сэру Лестеру, баронету, что в любое время, когда он будет готов принять меня, я буду готов явиться». Милостивый ответ гласит, что сэр Лестер поторопится закончить свой туалет и через десять минут выйдет к мистеру Баккету в библиотеку, а мистер Баккет, направив свои стопы в эту комнату, становится перед камином и, приложив палец к подбородку, смотрит на рдеющие угли.

Мистер Баккет задумчив, как человек, которому предстоит трудная работа, но спокоен, тверд и уверен в себе. Глядя на него, можно подумать, что он знаменитый игрок в вист на большие ставки,— скажем, от ста гиней и выше,— который уже уверен в выигрыше, но, стремясь поддержать свою блестящую репутацию, хочет вплоть до самой последней взятки разыгрывать игру мастерски. Ни тени тревоги или смущения не обнаруживает мистер Баккет, когда появляется сэр Лестер, но, в то время как баронет медленно идет к креслу, сыщик по-вчерашнему искоса поглядывает на него, внимательно и серьезно; а вчера в этом взгляде, сколь ни дерзка подобная мысль, пожалуй была и доля сострадания.

— Простите, что я заставил вас ждать, инспектор, но сегодня утром я встал немного позже обычного. Я не особенно хорошо себя чувствую. Чувства негодования и вол-

нения, которые я испытал в последние дни, отозвались на моем здоровье. Я подвержен... подагре,— сэр Лестер хотел было сказать «недомоганиям», да так и сказал бы всякому другому, но мистер Баккет явно все знает про его подагру,— а последние события вызвали новый приступ.

Он садится с трудом и, видимо, превозмогая боль, а мистер Баккет подвигается поближе к нему и кладет на стол свою большую руку.

— Я не знаю, инспектор,— говорит сэр Лестер, поднимая на него глаза,— хотите ли вы, чтобы мы остались одни, но всецело предоставляю это на ваше усмотрение. Если вы хотите побеседовать со мной наедине, пожалуйста. Если нет, мисс Дедлок было бы интересно...

— Изволите видеть, сэр Лестер Дедлок, баронет,— объясняет мистер Баккет, вкрадчиво склонив голову набок и приложив указательный палец к уху, как серьгу,— сейчас нам необходимо остаться вдвоем. Нам прямо-таки необходимо остаться вдвоем, и вы это вскоре поймете. В любой обстановке присутствие леди, и особенно столь высокопоставленной, как мисс Дедлок, для меня только приятно, но дело не во мне, и в данном случае, осмелюсь вас уверить, нам необходимо остаться вдвоем.

— Пусть так.

— Больше того, сэр Лестер Дедлок, баронет,— продолжает мистер Баккет,— я как раз хотел попросить у вас разрешения запереть дверь на ключ.

— Пожалуйста.

Ловко и бесшумно принимая эту предосторожность, мистер Баккет по привычке становится на одно колено и старается так повернуть ключ в скважине, чтобы и одним глазком нельзя было заглянуть в эту комнату из соседней.

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, я говорил вчера вечером, что мне лишь очень немногого недостает, чтобы закончить расследование. Теперь я его закончил и собрал все необходимые и достаточные улики против лица, совершившего преступление.

— Против солдата?

— Нет, сэр Лестер Дедлок; не против солдата.

Удивленно глядя на него, сэр Лестер осведомляется:

— Преступник заключен в тюрьму?

Мистер Баккет отвечает ему после небольшой паузы:

— Преступление совершила женщина.

Сэр Лестер откидывается на спинку кресла и, едва переводя дух, восклицает:

— Праведное небо!

— Теперь, сэр Лестер Дедлок, баронет,— начинает мистер Баккет, стоя перед сидящим баронетом, и, упершись ладонью одной руки в библиотечный стол, выразительно поводит указательным пальцем другой,— теперь я обязан подготовить вас к некоторым известиям, которые могут нанести и, скажу больше, безусловно нанесут вам удар. Но, сэр Лестер Дедлок, баронет, вы джентльмен, а я знаю, что такое джентльмен и на что джентльмен способен. Джентльмен может перенести удар, когда это неизбежно, перенести твердо и стойко. Джентльмен может заставить себя перенести почти что любой удар. Да вот, взять к примеру хоть вас самих, сэр Лестер Дедлок, баронет. Если вам наносят удар, вы, натурально, думаете о своем роде. Вы спрашиваете себя, как перенесли бы все ваши предки, вплоть до Юлия Цезаря,— пока что дальше не пойдем,— как все они перенесли бы подобный удар; вы вспоминаете, что десятки ваших предков способны были перенести удар мужественно, и сами вы переносите его мужественно в память о них и для поддержания родовой чести. Вот как вы рассуждаете и вот как вы действуете, сэр Лестер Дедлок, баронет.

Сэр Лестер сидит, откинувшись назад с каменным лицом, и, вцепившись в ручки кресла, смотрит на мистера Баккета.

— Теперь, сэр Лестер Дедлок,— продолжает мистер Баккет,— подготовив вас таким образом, я буду просить вас ни минутки не огорчаться тем, что кое-какие обстоятельства стали известны *мне*. Я знаю так много о стольких людях, и знатных и простых, что одним фактом больше, одним — меньше, роли не играет. Как бы ни передвигались фигуры на шахматной доске, кого-кого, а *меня* это не удивит, и если мне стало известно, каким образом они передвинулись, так это не имеет ровно никакого значения, так как я знаю по опыту, что любая их перестановка (особенно, если она сделана не по правилам) вполне возможна. Следовательно, вот что я вам

скажу, сэр Лестер Дедлок, баронет: не огорчайтесь только потому, что мне стали известны кое-какие ваши семейные дела.

— Благодарю вас за старание подготовить меня,— говорит после небольшой паузы сэр Лестер, не шевельнув ни рукой, ни ногой и не меняясь в лице,— хочу верить, что в этом не было нужды, но, впрочем, отдаю должное вашим добрым побуждениям. Продолжайте, пожалуйста. А также,— сэр Лестер как-то съеживается, явно тяготясь тем, что перед глазами у него маячит фигура сыщика,— прошу вас, присядьте, если ничего не имеете против.

Вовсе нет. Мистер Баккет приносит себе стул и, усевшись, тем самым несколько укорачивает свою фигуру.

— Теперь, сэр Лестер Дедлок, баронет, после этого короткого предисловия я приступаю к делу. Леди Дедлок...

Выпрямившись в кресле, сэр Лестер бросает на сыщика гневный взор. Мистер Баккет делает успокоительное движение пальцем.

— Леди Дедлок, как вам известно, вызывает всеобщее восхищение. Да, всеобщее восхищение,— вот какая она, ее милость,— отмечает мистер Баккет.

— Я безусловно предпочел бы, инспектор,— холодно внушает ему сэр Лестер,— чтобы в нашей беседе имя миледи совершенно не упоминалось.

— И я предпочел бы, сэр Лестер Дедлок, баронет, но... это невозможно.

— Невозможно?

Мистер Баккет неумолимо качает головой.

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, это никак не возможно. То, что я обязан вам сказать, относится к ее милости. Она — ось, вокруг которой вертится все.

— Инспектор,— возражает сэр Лестер с яростью во взоре и дрожью в губах,— вы знаете, в чем заключается ваш долг. Исполняйте свой долг, но берегитесь выходить за его пределы. Этого я не потерплю. Этого я не вынесу. Если вы припутаете к этому делу имя миледи, вы за это ответите... вы за это ответите... Имя миледи не такое имя, которое могут трепать все и каждый!

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, я скажу только то, что обязан сказать, не больше.

— Надеюсь, что так оно и будет. Отлично. Продолжайте. Продолжайте, сэр!

Глядя в эти гневные глаза, которые теперь избегают его, глядя на этого разгневанного человека, что дрожит с головы до ног, но тщится сохранить спокойствие, мистер Баккет, нащупывая себе путь указательным пальцем, продолжает вполголоса:

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, мой долг сказать вам, что покойный мистер Талкингхорн с давних пор относился к леди Дедлок недоверчиво и подозрительно.

— Если б он только посмел намекнуть мне на это, сэр,— но он не посмел,— я бы убил его своими руками! — кричит сэр Лестер, стукнув кулаком по столу.

Но в самом разгаре вспыхнувшей ярости он умолкает, скованный проницательным взглядом мистера Баккета, а тот, твердо уверенный в себе, медленно поводит указательным пальцем, терпеливо покачивая головой.

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, покойный мистер Талкингхорн был человек замкнутый, скрытный, и я не знаю наверное, что именно было у него на уме в первую пору вашего брака. Но, как я слышал от него самого, он давно уже подозревал, что леди Дедлок — в этом доме и в вашем присутствии, сэр Лестер Дедлок,— догадалась, взглянув на какую-то рукопись, что некий человек еще жив и живет в нищете — человек, который любил ее, прежде чем вы начали за ней ухаживать, и обязан был на ней жениться,— мистер Баккет делает паузу и повторяет решительным тоном: — обязан был на ней жениться... бесспорно обязан. Я слышал от самого мистера Талкингхорна, что спустя короткое время этот человек умер, а после его смерти мистер Талкингхорн заподозрил леди Дедлок в том, что она посетила, одна и тайком, убогое жилище и убогую могилу покойного. Я узнал — после того как навел справки и кое-что увидел и услышал,— что леди Дедлок действительно ходила туда в платье своей горничной, а узнал потому, что покойный мистер Талкингхорн поручил мне следить за ее милостью,— простите, что употребляю выражение, которое у нас в ходу,— и я ее выследил. В его конторе, на Линкольновых полях, я устроил очную ставку этой горничной со свидетелем, который служил проводником леди Дедлок, и тут уж не

осталось сомнений в том, что ее милость без ведома этой девицы надевала ее платье. Сэр Лестер Дедлок, баронет, я вчера сделал попытку подготовить вас к столь неприятным разоблачениям, подчеркнув, что даже в высокопоставленных семействах порой случаются очень странные происшествия. Все, о чем я говорил сейчас, и еще кое-что произошло в вашем собственном семействе, с вашей собственной супругой и через нее. Я думаю, что покойный мистер Талкингхорн продолжал расследование до своего смертного часа и что в тот роковой вечер у него с леди Дедлок был по этому поводу крупный разговор. Теперь вы только передайте все это леди Дедлок, сэр Лестер Дедлок, баронет, и спросите ее милость, что произошло вскоре после того, как он ушел отсюда,— не ходила ли она к нему домой, чтобы сказать ему еще что-то, и не надела ли она тогда широкой черной мантильи с длинной бахромой?

Сэр Лестер Дедлок сидит как статуя, устремив взор на беспощадный палец, вонзающийся в святая святых его сердца.

— Передайте все это ее милости, сэр Лестер Дедлок, баронет, от моего имени, от имени Баккета, инспектора сыскного отделения. И если ее милость будет отпираться, скажите ей, что — напрасно... ибо инспектор Баккет знает все — знает, что она проходила мимо солдата, как вы его называете (хотя теперь он в отставке), и знает, что она видела этого солдата, когда разминулась с ним на лестнице. Теперь, сэр Лестер Дедлок, баронет, зачем я все это говорю?

Закрыв лицо руками, сэр Лестер со стоном просит мистера Баккета немного помолчать. Но вскоре он отнимает руки от лица, так хорошо сохраняя достойный вид и внешнее спокойствие,— хотя его лицо так же бело, как волосы,— что мистеру Баккету становится даже немного страшно. Сэр Лестер всегда замкнут в раковине своей надменности, но сейчас его оледенило и сковало еще что-то, и мистер Баккет вскоре замечает, что речь его становится необычно медлительной, а начиная говорить, он иногда с трудом произносит какие-то нечленораздельные звуки. Подобными звуками он сейчас и нарушает молчание; однако вскоре овладевает собой и заставляет себя

выговорить, что не может постичь, каким образом столь преданный и усердный джентльмен, каким был покойный мистер Талкингхорн, ничего не сказал ему об этих прискорбных, печальных, непредвиденных, потрясающих, невероятных обстоятельствах.

— Повторяю, сэр Лестер Дедлок, баронет,— продолжает мистер Баккет,— передайте мои слова ее милости, и пусть она сама все объяснит. Расскажите об этом ее милости, если найдете нужным, от имени Баккета, инспектора сыскного отделения. Или я ничего не понимаю в людях, или вы узнаете, что покойный мистер Талкингхорн сам бы сообщил все это вам, как только решил бы, что настало время; узнаете даже, что он дал это понять ее милости. Более того, он, возможно, рассказал бы вам обо всем в то самое утро, когда я осматривал его тело! Ведь вы не знаете, что̀ именно я собираюсь сказать и сделать через пять минут, сэр Лестер Дедлок, баронет; допустим, что меня сейчас пристукнут, вы тогда, чего доброго, станете удивляться, почему я не сделал того, что собирался сделать, не так ли?

Правильно. Сэр Лестер делает огромное усилие, стараясь не испускать нечленораздельных звуков, и ему удается выдавить из себя слово: «Правильно».

Но вдруг из вестибюля доносятся чьи-то громкие голоса. Прислушавшись к ним, мистер Баккет идет к двери и, бесшумно повернув ключ, открывает ее, а затем снова прислушивается. Немного погодя он оглядывается и говорит торопливым, но спокойным шепотом:

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, эта прискорбная семейная история разглашена, чего я и ожидал, после того, как покойный мистер Талкингхорн скончался так внезапно. Единственный шанс замять ее — это впустить сюда людей, которые сейчас препираются внизу с вашими лакеями. Может, вы посидите спокойно — ради чести вашего рода,— пока я разделаюсь с ними? И будьте так любезны, кивните мне головой, когда вам покажется, что я прошу кивнуть.

Сэр Лестер отвечает заплетающимся языком: «Как знаете, инспектор, как знаете!», а мистер Баккет, кивнув ему и с проницательным видом согнув указательный палец, шмыгает вниз в вестибюль, после чего голоса быстро

умолкают. Вскоре он возвращается, а в нескольких шагах за ним шествует Меркурий, который вместе с другим родственным ему божеством в пудреном парике и персиковых штанах несет в кресле расслабленного старика. За ними идут мужчина и две женщины. Приветливо и непринужденно указав, куда поставить кресло, мистер Баккет отпускает обоих Меркуриев и снова запирает дверь на ключ. Сэр Лестер смотрит ледяным взором на это вторжение в его святилище.

— Ну-с, вы, может, знаете меня, леди и джентльмены,— начинает мистер Баккет конфиденциальным тоном.— Я Баккет, инспектор сыскного отделения, вот кто я такой, а вот это,— говорит он, высунув из внутреннего кармана кончик своей дубинки, которая всегда у него под рукой,— это знак моей власти. Значит, вы хотите видеть сэра Лестера Дедлока, баронета? Прекрасно! Вы его видите, и заметьте себе, что не всякий может удостоиться такой чести. Ваша фамилия Смоллуид, дедушка, вот какая у вас фамилия, и мне она хорошо известна.

— Ну и что же? Вы ведь о ней ничего дурного не слышали! — визжит мистер Смоллуид громко и пронзительно.

— А вы случайно не знаете, за что зарезали одну свинью, а? — спрашивает мистер Баккет, глядя ему прямо в глаза, но ничуть не раздражаясь.

— Нет!

— Так вот, ее зарезали за то, что она вела себя чересчур нахально,— говорит мистер Баккет.— Смотрите, как бы и вам не подвергнуться той же участи,— это вам совсем ни к чему. Может, вы привыкли разговаривать с глухими, а?

— Да,— рычит мистер Смоллуид,— у меня жена глухая.

— Вот почему вы так пронзительно визжите. Но раз ее здесь нет, визжите, пожалуйста, на одну-две октавы ниже — так и мне будет приятнее и для вас приличнее,— говорит мистер Баккет.— А этот джентльмен, он из проповедников, сдается мне.

— Это мистер Чедбенд,— отвечает Смоллуид, резко сбавив тон.

— Я когда-то знавал одного вашего однофамильца —

приятель мой был, тоже сержант,— говорит мистер Баккет, протянув руку Чедбенду,— так что мне ваша фамилия нравится. А это, наверное, миссис Чедбенд?

— И миссис Снегсби,— представляет мистер Смоллуид вторую свою спутницу.

— Ее муж держит писчебумажную лавку, и он мой закадычный друг,— говорит мистер Баккет.— Люблю его, как брата родного!.. Ну, в чем дело?

— То есть вы спрашиваете, по какому делу мы пришли? — осведомляется мистер Смоллуид, немного озадаченный столь неожиданным поворотом.

— Ага! Вы прекрасно понимаете, о чем я спрашиваю. Выкладывайте, а мы послушаем в присутствии сэра Лестера Дедлока, баронета. Ну! Валяйте.

Подозвав к себе мистера Чедбенда, мистер Смоллуид кратко совещается с ним шепотом. Мистер Чедбенд, выделяя из пор своего лба и ладоней значительное количество пота, произносит громко: «Да, вы первый!» — и возвращается на прежнее место.

— Я был клиентом и другом мистера Талкингхорна, — верещит дедушка Смоллуид,— я вел с ним дела. Я был полезен ему, а он был полезен мне. Покойный Крук был моим шурином. Он был родным братом зловредной сороки... то бишь миссис Смоллуид. Я унаследовал имущество Крука. Я осмотрел все его бумаги и вещи. Все они были перерыты на моих глазах. Среди них нашлась пачка писем, которая осталась от его покойного жильца и была запрятана на полке рядом с подстилкой Леди Джейн — Круковой кошки. Старик повсюду рассовывал всякую всячину. Мистер Талкингхорн пожелал иметь эти письма и получил их; но сначала я сам их прочитал. Я деловой человек, ну, я в них и заглянул. Это были письма от любовницы его жильца, а подписывалась она «Гонория». Но ведь Гонория — это, черт побери, довольно редкое имя, а? Нет ли случайно в этом доме какой-нибудь леди, которая подписывается «Гонория», а? Да нет; не думаю, что есть! Нет, нет, не думаю? А может, подпись у нее похожа на ту? Нет, нет, не думаю, что похожа!

Но тут, на вершине своего торжества, мистер Смоллуид обрывает речь, задыхаясь от кашля, и только охает:

— Ох, боже мой! О господи! Меня совсем растрясло!

— Ну-с,— говорит мистер Баккет, подождав, пока он откашляется,— когда вы соберетесь сказать то, что касается сэра Лестера Дедлока, баронета, имейте в виду, что этот джентльмен сидит здесь.

— А разве я этого еще не сказал, мистер Баккет? — визжит дедушка Смоллуид.— Неужто я не сказал того, что касается этого джентльмена? Может, его не касается капитан Хоудон со своей «навеки любящей Гонорией» и их младенцем в придачу? В таком случае, я желаю знать, где находятся эти письма. Это касается меня, если даже не касается сэра Лестера Дедлока. И я узнàю, где они! Я не потерплю, чтоб они улетучились под шумок. Я вручил их моему другу и поверенному мистеру Талкингхорну, а не кому-то другому.

— Да ведь он заплатил вам за них... заплатил щедро,— говорит мистер Баккет.

— Не в плате дело. Я хочу знать, кому они достались. И я скажу вам, чего мы хотим... чего мы все здесь требуем, мистер Баккет. Мы требуем, чтобы это убийство расследовали тщательно и досконально. Мы знаем, кому оно на пользу и по каким причинам, а вы сделали еще далеко не все. Если Джордж, бродячий драгун, и приложил к этому руку, так он был только сообщником, а подстрекал его кто-то другой. Вы не хуже прочих понимаете, на что я намекаю.

— Так вот что я вам скажу,— говорит мистер Баккет, мгновенно изменив тон, подойдя вплотную к старику и придав чуть ли не колдовскую силу своему указательному пальцу.— Будь я проклят, если допущу, чтобы хоть один человек на свете испортил мое дело, или вмешался в него, или опередил меня хоть на полсекунды. Вы требуете тщательного и досконального расследования! Вы этого требуете! А вы видите эту руку? По-вашему, я не знаю, в какое время нужно ее протянуть и схватить за руку того, кто стрелял?

Так страшна сила этого человека и такая угроза звучит в его словах, которых никак не назовешь праздной похвальбой, что мистер Смоллуид начинает извиняться. Сдержав внезапно вспыхнувший гнев, мистер Баккет обрывает старика:

— Вот что я вам посоветую — не забивайте себе головы этим убийством. Это мое дело. Следите за газетами, и я не удивлюсь, если вы скоро прочтете в них что-нибудь насчет него, только читайте повнимательней. Я знаю, что̀ мне надо делать, и вот все, что я хотел вам сказать по этому поводу. Теперь насчет писем. Вы хотите знать, кому они достались? Охотно отвечу вам. *Мне* достались. Та самая пачка, а?

Мистер Смоллуид смотрит жадными глазами на маленький сверток, который мистер Баккет вынул из каких-то загадочных недр своего сюртука, и подтверждает, что это та самая пачка.

— Ну-с, что же вы еще скажете? — спрашивает мистер Баккет.— Только не больно широко разевайте пасть — вам это не идет, не очень красиво получается.

— Я желаю получить пятьсот фунтов.

— Нет, не желаете,— вы хотели сказать пятьдесят,— издевается над ним мистер Баккет.

Тем не менее выясняется, что мистер Смоллуид все-таки желает получить пятьсот.

— Имейте в виду, что сэр Лестер Дедлок, баронет, уполномочил меня рассмотреть эту вашу претензию (однако ничего не признавая и не обещая),— говорит мистер Баккет. Сэр Лестер машинально наклоняет голову.— А вы требуете, чтобы я уплатил вам пятьсот фунтов. Но ведь это нелепое требование! Двести пятьдесят и то много, но все-таки разумнее. Не лучше ли вам попросить двести пятьдесят?

Мистер Смоллуид совершенно уверен, что лучше ему этого не делать.

— В таком случае,— говорит мистер Баккет,— давайте выслушаем мистера Чедбенда. Бог мой! Сколько раз я, бывало, слушал болтовню своего старого товарища-сержанта, вашего однофамильца, и до чего ж он был умеренный человек во всех отношениях — другого такого я в жизни не видывал!

Получив приглашение высказаться, мистер Чедбенд выступает вперед, источая пот из ладоней и расплываясь в елейной улыбке, а высказывается он в следующих словах:

— Друзья мои, ныне пребываем мы — Рейчел, супруга моя, и я сам — в палатах богачей и сильных мира

сего. Почему пребываем мы ныне в палатах богачей и сильных мира сего, друзья мои? Потому ли, что мы приглашены, потому ли, что мы призваны пировать с ними, потому ли, что мы призваны ликовать с ними, потому ли, что мы призваны играть с ними на лютне, потому ли, что мы призваны плясать с ними? Нет! Так почему же пребываем мы здесь, друзья мои? Знаем ли мы некую греховную тайну и требуем ли мы зерна, и вина, и елея, или — что примерно одно и то же — денег за сохранение сей тайны? Пожалуй, так и есть, друзья мои.

— Вы деловой человек, вот вы кто такой,— говорит мистер Баккет, выслушав его очень внимательно,— а стало быть, собираетесь объяснить, какую именно тайну вы знаете. Правильно. Так и надо поступать.

— Давайте же, брат мой, в духе любви, углубимся в сие,— продолжает мистер Чедбенд, бросив на него хитрый взгляд.— Рейчел, супруга моя, выступи вперед!

Миссис Чедбенд, которой только того и надо было, выступает вперед, отпихнув своего супруга на задний план, и, подойдя к мистеру Баккету, усмехается жестко и хмуро.

— Раз уж вы желаете знать то, что знаем мы,— говорит она,— пожалуйста, могу рассказать. Я воспитала мисс Хоудон, дочь ее милости. Я служила у сестры ее милости, а сестра эта очень тяжело переживала позор, который ей довелось испытать по вине ее милости, и даже сказала ее милости, что девочка умерла,— да она и впрямь чуть не умерла, как только родилась. Но она все-таки осталась в живых, и я ее знаю.

Произнося эту речь, миссис Чедбенд всякий раз со смехом делает язвительное ударение на словах «ее милость», а кончив, складывает руки и неумолимо смотрит на мистера Баккета.

— Надо так понимать,— говорит сыщик,— что *вы* ожидаете двадцатифунтовой бумажки или подарка примерно на эту сумму?

Миссис Чедбенд только посмеивается и презрительно заявляет ему, что он может «предложить» и двадцать пенсов.

— Супруга моего приятеля, владельца писчебумажной лавки, прошу вас,— говорит мистер Баккет, подзы-

вая указательным пальцем миссис Снегсби.— Ну, а *вы* в какую игру играете, сударыня?

Вначале слезы и стенания мешают миссис Снегсби объяснить, в какую игру она играет, но мало-помалу смутно выясняется, что миссис Снегсби — женщина, истерзанная обидами и оскорблениями, женщина, которую мистер Снегсби походя обманывал, покидал, пытался держать в черном теле; а в этих горестях величайшим утешением ей служило сочувствие покойного мистера Талкингхорна, который однажды, зайдя в Кукс-Корт в отсутствие ее неверного мужа, выразил ей такое участливое соболезнование, что она с тех пор привыкла обращаться к нему со всеми своими невзгодами. Оказывается, что все — не говоря о присутствующих — сговорились нарушать душевное спокойствие миссис Снегсби. Например, мистер Гаппи, клерк от Кенджа и Карбоя, вначале был открытая душа, ясный, как солнце в полдень, а потом вдруг замкнулся, и теперь душа его — потемки, мрак полночный, а все, безусловно, под влиянием подкупа и давления со стороны мистера Снегсби. Опять же мистер Уивл, приятель мистера Гаппи,— этот вел в переулке таинственную жизнь по все тем же понятным причинам. А еще покойный Крук, и покойный Нимрод, и покойный Джо — все они были «замешаны в этом». В чем именно, миссис Снегсби подробно не объясняет, но она знает, что Джо «был сыном мистера Снегсби», так верно знает, как если б об этом «в трубы трубили», и она шла по пятам за мистером Снегсби, когда тот ходил прощаться с мальчишкой, который был при смерти; а не будь мальчишка его сыном, на что бы мистеру Снегсби с ним прощаться? С некоторых пор она только и делала, что выслеживала мистера Снегсби да сопоставляла всякие подозрительные обстоятельства, а они все до единого были одно подозрительней другого; словом, она день и ночь добивалась своей цели — изобличить и уличить своего изменщика-мужа. Так вот и вышло, что она свела Чедбендов с мистером Талкингхорном, выяснила вместе с мистером Талкингхорном, почему так переменился мистер Гаппи, и тем самым помогла вытащить на свет божий обстоятельства, которые интересуют всех присутствующих, хоть это все и вышло случайно, так сказать попутно;

сама же она идет и будет идти своим прямым широким путем, который завершится полным разоблачением мистера Снегсби и разрывом супружеских уз. Все это миссис Снегсби, как оскорбленная женщина, приятельница миссис Чедбенд и последовательница мистера Чедбенда, оплакивающая покойного мистера Талкингхорна, заявляет здесь в доверительном порядке со всей возможной неясностью в мыслях и со всей возможной и невозможной бессвязностью речи, но зато она не предъявляет никаких денежных претензий, не строит никаких планов и проектов, кроме упомянутого, и лишь привносит сюда, как и повсюду, густые тучи пыли, которые поднимаются от непрестанно работающей мельницы ее ревности.

Пока она произносит этот монолог, отнимающий немало времени, мистер Баккет, мгновенно разглядев, что̀ она собой представляет, ибо кислые ее слова прозрачны, как уксус, советуется со своим демоном-другом и устремляет острые внимательные глаза на Чедбендов и мистера Смоллуида. Сэр Лестер недвижим, и лицо у него такое же ледяное, как и раньше, но он все-таки раза два бросает взгляд на мистера Баккета, как будто из всех людей на свете только один человек, этот сыщик, внушает ему доверие.

— Прекрасно,— говорит мистер Баккет,— теперь я вас понимаю, заметьте себе, и, будучи уполномочен сэром Лестером Дедлоком, баронетом, рассмотреть ваши претензии,— сэр Лестер снова машинально наклоняет голову в подтверждение его слов,— я могу уделить этому делу полное и беспристрастное внимание. Ну что ж, не буду называть ваше поведение «сговором», «вымогательством» или как-нибудь в этом роде, так как все мы тут люди, умудренные житейским опытом, и желаем уладить дело полюбовно. Но скажу вам, чему я *действительно* удивляюсь: я изумлен, что вы рискнули шуметь внизу, в вестибюле. Это было не в ваших интересах. Вот как я на это смотрю.

— Мы требовали, чтобы нас впустили,— оправдывается мистер Смоллуид.

— Ну да, конечно, вы требовали, чтобы вас впустили,— весело соглашается мистер Баккет,— но очень странно для пожилого джентльмена в вашем возрасте,—

что называется, поистине почтенном возрасте, имейте в виду! — притом джентльмена, который уже не владеет своими конечностями, отчего ум у него обострился, ибо вся жизненная сила бросилась ему в голову,— повторяю, очень странно не понимать, что если он не будет помалкивать о подобном деле, так оно не принесет ему ни гроша! Вот видите, вы дали волю своему вспыльчивому нраву; тут-то вы и потеряли почву под ногами,— объясняет мистер Баккет убедительным и дружеским тоном.

— Я только сказал, что не уйду, пока кто-нибудь из слуг не пойдет доложить сэру Лестеру Дедлоку,— возражает мистер Смоллуид.

— Именно! Вот когда вы дали волю своему вспыльчивому нраву. Ну, в другой раз держите его в руках — деньжонок подзаработаете. Позвонить, чтобы вас снесли вниз?

— Когда же мы опять займемся этим делом? — строго спрашивает миссис Чедбенд.

— Что за прелесть — настоящая женщина! Ваш очаровательный пол всегда отличался любопытством! — отвечает мистер Баккет не без галантности.— Буду иметь удовольствие сделать вам визит завтра или послезавтра... причем, конечно, не забуду о мистере Смоллуиде и его желании получить двести пятьдесят фунтов.

— Пятьсот! — восклицает мистер Смоллуид.

— Пусть так! Номинально пятьсот.— Мистер Баккет берется за шнурок от звонка.— А пока *могу* я пожелать вам всего хорошего от своего имени и от имени хозяина дома? — осведомляется он вкрадчивым тоном.

Ни у кого не хватает дерзости отказать ему в этом, и вся компания удаляется тем же порядком, каким явилась сюда. Мистер Баккет провожает гостей до двери, а вернувшись, говорит серьезным, деловым тоном:

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, вам решать, нужно ли от них откупиться, или нет. Я бы посоветовал откупиться при моем посредстве; и думаю, что откупиться можно будет по дешевке. Миссис Снегсби — это не женщина, а соленый огурец какой-то — была орудием в руках всех этих мошенников и, пытаясь связать концы с концами, принесла гораздо больше вреда, чем сама того желала. Покойный мистер Талкингхорн твердой рукой

правил всеми этими клячами и, бесспорно, угнал бы их туда, куда хотел, но его самого стащили с козел головой вниз, а теперь клячи запутались ногами в постромках, и каждая тянет и тащит в свою сторону. Вот что происходит, и такова жизнь. Кошки нет — мышам раздолье; тронулся лед — водичка течет. Теперь насчет особы, которую придется арестовать.

Сэр Лестер как будто только сейчас проснулся,— хотя глаза у него все время были широко открыты,— и напряженно смотрит на мистера Баккета, в то время как тот бросает взгляд на свои часы.

— Особа, которую придется арестовать, находится сейчас здесь, в доме,— продолжает мистер Баккет, твердой рукой пряча часы и воодушевляясь,— и я собираюсь взять ее под стражу в вашем присутствии. Сэр Лестер Дедлок, баронет, вы только молчите и сидите смирно. Ни шума, ни суматохи не будет. Вечером я вернусь, если вам угодно, и постараюсь выполнить ваши пожелания, то есть получше замять эту несчастную семейную историю. А теперь, сэр Лестер Дедлок, баронет, пусть вас не волнует этот арест. Вы ясно увидите, как было дело с начала и до конца.

Мистер Баккет звонит, идет к двери, шепотом отдает какое-то краткое приказание Меркурию, потом закрывает дверь и стоит перед нею, скрестив руки. Спустя одну-две минуты напряженного ожидания дверь медленно открывается и входит француженка — мадемуазель Ортанз.

Как только она входит в комнату, мистер Баккет, захлопнув дверь, загораживает ее спиной. Вздрогнув от неожиданного шума, француженка озирается и только тогда видит сэра Лестера Дедлока, сидящего в кресле.

— Простите, пожалуйста,— торопливо бормочет она.— Мне сказали, что здесь никого нет.

Она делает шаг к двери и видит перед собой мистера Баккета. И вдруг судорога искажает ее лицо, и по нему разливается мертвенная бледность.

— Это моя жилица, сэр Лестер Дедлок,— говорит мистер Баккет, кивая на нее.— Вот уже несколько недель как эта молодая иностранка сняла у меня комнату.

— Какое до этого дело сэру Лестеру, ангел мой? — насмешливо спрашивает мадемуазель.

— А вот увидим, ангел мой,— отвечает мистер Баккет.

Мадемуазель Ортанз смотрит на него, и хмурая гримаса на ее напряженном лице мало-помалу превращается в презрительную улыбку.

— Вы очень таинственны. А вы случайно не пьяны?

— В меру трезв, ангел мой,— отвечает мистер Баккет.

— Я только что пришла в этот омерзительный дом вместе с вашей женой. Несколько минут назад ваша жена куда-то ушла. Внизу мне сказали, что она здесь. Я поднимаюсь сюда, но ее здесь нет. Вы что, смеяться надо мной вздумали? — спрашивает мадемуазель, спокойно сложив руки; но на ее смуглой щеке что-то дергается, как пружинка в часах.

Мистер Баккет только грозит ей пальцем.

— Ах, боже мой, идиот несчастный! — кричит мадемуазель, рассмеявшись и тряхнув головой.— Я ухожу, пустите меня, толстая свинья.

Она угрожающе топает ногой.

— А теперь, мадемуазель,— говорит мистер Баккет холодным и решительным тоном,— подите-ка сядьте на тот диванчик.

— Ни на что я не сяду,— упирается она, быстро качая головой.

— А теперь, мадемуазель,— повторяет мистер Баккет, который стоит столбом и только грозит ей пальцем,— сядьте-ка на тот диванчик.

— Зачем?

— Затем, что я арестую вас по обвинению в убийстве, и вы это сами прекрасно понимаете. Вы — женщина и вдобавок иностранка, а потому, заметьте, я хочу обойтись с вами вежливо, если только удастся быть вежливым. Если же не удастся, придется мне быть грубым; а за стеной находятся люди погрубее меня. Каким я буду с вами — это всецело зависит от вас самой. Поэтому советую вам, как друг, пойти и, не медля ни секунды, сесть на тот диванчик.

Мадемуазель повинуется, хотя что-то быстро и резко дергается на ее щеке, и произносит сдавленным голосом:

— Вы дьявол!

— Вот видите,— удовлетворенно внушает ей мистер Баккет,— теперь вам удобно, и ведете вы себя так, как я того ожидал от неглупой молодой иностранки. Поэтому я хочу дать вам один совет, а именно: не говорите лишнего. Здесь никто не ждет от вас никаких показаний, и самое лучшее вам — не болтать языком. Одним словом, чем меньше вы будете «парлэ» [1], тем лучше, заметьте себе.— Мистер Баккет очень гордится тем, что употребил французское слово.

Растянув рот по-тигриному, мадемуазель недвижно сидит на диване, вытянувшись в струнку и стиснув руки — а может быть, и колени,— и ее черные глаза мечут пламя на сыщика.

— О, вы, Баккет, вы сущий дьявол! — бормочет она.

— Итак, сэр Лестер Дедлок, баронет,— начинает мистер Баккет, и теперь его указательный палец не знает ни минуты покоя,— эта молодая особа, моя жилица, служила горничной у ее милости в тот период, о котором я вам говорил, и она не только возненавидела ее милость самой лютой и страстной ненавистью, после того как была уволена...

— Ложь! — кричит мадемуазель.— Я сама уволилась.

— Почему же вы не слушаетесь моего совета? — спрашивает мистер Баккет весьма выразительным и чуть ли не умоляющим тоном.— Удивляюсь вашей несдержанности. Этак вы, чего доброго, проболтаетесь и скажете что-нибудь такое, что потом могут истолковать вам во вред, заметьте себе. Обязательно проболтаетесь. Не обращайте внимания на мои слова, пока я не даю показаний на суде. Я не с вами говорю.

— Уволена, тоже скажет! — в ярости кричит мадемуазель.— Ее милостью! Хорошенькая «ее милость», нечего сказать! Да я опозор-р-рила бы себя, останься я у такой гнусной леди!

— Ну, знаете, я вам удивляюсь! — увещает ее мистер Баккет.— А я-то думал, французы — вежливая нация, вот что я думал, право. И вдруг приходится слышать, как особа женского пола выражается подобным образом в присутствии сэра Лестера Дедлока, баронета!

---

[1] Parler *(франц.)* — говорить.

— Олух несчастный! Его одурачили! — кричит мадемуазель.— Плевать я хотела на его дом, на его имя, на его глупость,— и она плюет на ковер.— Подумаешь, какой великий человек! Подумаешь, какой знатный! О господи! Тьфу!

— Так вот, сэр Лестер Дедлок,— продолжает мистер Баккет,— эта необузданная иностранка обозлилась на покойного мистера Талкингхорна и вбила себе в голову, что он у нее в долгу потому-де, что он однажды вызвал ее к себе в контору на очную ставку, о чем я вам уже рассказал; а ведь ей щедро заплатили за беспокойство.

— Ложь! — кричит мадемуазель.— Я отка-залась от его денег... наотрррез!

— Если вы будете упорно продолжать свое «парлэ»,— бросает ей мистер Баккет как бы между прочим,— вам придется за это поплатиться, заметьте себе... Далее, не могу вам сказать, сэр Лестер Дедлок, потому ли она поселилась у меня с заранее обдуманным намерением совершить убийство, что сначала хотела замазать мне глаза; но так или иначе, она жила у меня уже в то время, когда шлялась вокруг да около конторы покойного мистера Талкингхорна, ища с ним ссоры, и в то же время изводила одного несчастного торговца, который ее до смерти боялся.

— Ложь! — кричит мадемуазель.— Все ложь!

— Убийство было совершено, сэр Лестер Дедлок, баронет, и вы знаете — при каких обстоятельствах. Теперь я прошу вас минуты две слушать меня внимательно. Меня вызвали, и дело это поручили мне. Я обследовал место преступления, мертвое тело, бумаги и вообще все, что нужно. Получив некоторые сведения (от одного клерка из того же дома), я забрал Джорджа, потому что его видели у дома покойного в ночь и даже чуть ли не в самый час преступления, а кроме того, слышали, как он раньше не раз пререкался с покойным и даже угрожал ему, насколько понял свидетель. Если вы спросите меня, сэр Лестер Дедлок, верил ли я с самого начала в то, что мистера Талкингхорна убил Джордж, я искренне отвечу вам: нет. А все-таки он мог быть убийцей, и против него скопилось столько улик, что я считал своим долгом за-

брать его и посадить под замок до конца следствия. Теперь слушайте дальше!

Мистер Баккет наклоняется вперед слегка взволнованный,— что для него необычно,— и подготавливает слушателя к рассказу о дальнейших событиях, угрожающе взметнув указательный палец, а мадемуазель Ортанз, хмуро насупившись и впившись в него своими черными глазами, с решительным видом сжимает пересохшие губы.

— Вечером я вернулся домой, сэр Лестер Дедлок, баронет, и застал эту девицу за ужином с моей женой, миссис Баккет. С того дня как она впервые напросилась к нам в жилицы, она всячески подлизывалась к миссис Баккет, но в тот вечер лебезила больше обыкновенного; пожалуй, даже пересаливала. Точно так же она пересаливала, выражая свое глубокое уважение и прочее к незабвенной памяти покойного мистера Талкингхорна. Я сел за стол против нее; поглядел, как она орудует ножом, и, клянусь богом, вдруг меня осенило: понял — ее работа!

Мадемуазель едва слышно шепчет сквозь сжатые зубы и губы:

— Вы дьявол.

— Но где же находилась она в ночь убийства? — продолжает мистер Баккет.— В театре. (Как я впоследствии узнал, она действительно была в театре,— была и до того, как совершила убийство, и после.) Я понял, что мне придется иметь дело с очень хитрой преступницей и что собрать улики против нее будет очень трудно, и вот я устроил ей западню, да такую, какой еще никогда не устраивал, и с таким риском, на какой еще ни разу не шел. Все это я успел обдумать, пока разговаривал с нею за ужином. Когда же мы с женой ушли наверх и легли спать (надо сказать, что дом у нас маленький, а слух у этой особы очень острый), я на всякий случай заткнул простынею рот миссис Баккет,— а вдруг она ахнет от удивленья? — и рассказал ей обо всем, что мне пришло в голову... Не вздумайте попытаться еще раз, душечка, а не то я вас стреножу.

Оборвав свою речь, мистер Баккет бесшумно ринулся на мадемуазель и придавил ей плечо тяжелой рукой.

— С чего это вы вдруг? — осведомляется она.

— Не вздумайте выброситься из окна. Вот с чего это я вдруг,— отвечает мистер Баккет, грозя ей пальцем.— Ну-ка, возьмите меня под руку. И незачем вам вставать; я сам сяду рядом с вами. Почему бы вам не взять меня под руку, а? Я человек женатый, с женой моей вы знакомы. Вот и берите меня под руку.

Тщетно пытаясь облизнуть сухие губы, она издает болезненный стон, сдерживает себя и повинуется.

— Прекрасно, теперь мы опять все наладили. Сэр Лестер Дедлок, баронет, это дело никогда бы не удалось расследовать досконально, как удалось теперь, не будь миссис Баккет; а она такая женщина, что отберите пятьдесят тысяч женщин... нет, сто пятьдесят тысяч, другой такой не найдете! Я хотел, чтобы эта девица перестала держаться начеку, и потому с той самой ночи ни разу не заходил домой, однако по мере надобности клал записки для миссис Баккет то в молоко, то в булки, которые посылал ей. А что я шепнул миссис Баккет, когда заткнул ей рот простыней, так это следующие слова: «Можешь ты, милая моя, постоянно втирать ей очки, рассказывая, что я подозреваю Джорджа, того, другого, третьего? Можешь ты следить за ней день и ночь, не смыкая глаз?.. Можешь ты мне сказать: «Она шагу не ступит без моего ведома; она будет моей пленницей, сама того не подозревая; она не уйдет от меня, как не уйдет от смерти; жизнь ее будет моей жизнью, а душа — моей душой, пока я не уличу ее, если убийство совершила она?» А миссис Баккет ответила мне, хоть и не очень внятно — простыня мешала,— «Могу, Баккет!» И блестяще выполнила свое обещание!

— Ложь! — перебивает его мадемуазель.— Сплошная ложь, друг мой!

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, правильно ли я все рассчитал? Когда я рассчитывал, что эта пылкая девица обязательно будет пересаливать и в других отношениях, был я прав или нет? Был прав. Что она задумала сделать? Не пугайтесь! Задумала свалить вину на ее милость.

Сэр Лестер поднимается, но, пошатнувшись, снова падает в кресло.

— И ее поощряли слухи о том, что я постоянно торчу у вас в доме; а торчал я здесь как раз в расчете

на то, чтоб она это знала. Теперь откройте вот эту мою записную книжку, сэр Лестер Дедлок, когда я, с вашего позволения, переброшу ее вам, и просмотрите полученные мною письма; вы в каждом увидите два слова: «Леди Дедлок». Разверните письмо, адресованное вам и перехваченное мною сегодня утром, и вы прочтете в нем три слова: «Леди Дедлок — убийца». Эти письма сыпались на меня, словно божьи коровки. Что же вы теперь скажете про миссис Баккет, если она видела из засады, как эта особа писала все свои письма? Что вы скажете про миссис Баккет, если она полчаса назад достала чернила, которыми были написаны эти письма, и почтовую бумагу и даже оторванные чистые полулисты и прочее? Что вы скажете, сэр Лестер Дедлок, баронет, про миссис Баккет, если она следила за этой девицей, когда та сдавала письма на почту одно за другим? — с торжеством осведомляется мистер Баккет, восторгаясь гениальностью своей супруги.

Два обстоятельства все больше бросаются в глаза по мере того, как мистер Баккет подходит к концу своего рассказа. Во-первых, чудится, будто он неуловимо получил какое-то грозное право собственности на мадемуазель. Во-вторых, чудится, будто самый воздух, которым она дышит, сжимается и замыкается вокруг нее, словно ее с трудом дышащее тело все тесней и тесней опутывают сетью или пеленают гробовыми пеленами.

— Известно, что ее милость была на месте преступления в тот знаменательный час,— говорит мистер Баккет,— и что вот эта моя приятельница-иностранка увидела ее там, вероятно с верхней площадки лестницы. Ее милость, Джордж и моя приятельница-иностранка, все они, можно сказать, тогда шли по пятам друг за другом. Но теперь это уже не имеет никакого значения, и я не буду распространяться на эту тему. Я нашел пыж от пистолета, из которого стреляли в покойного мистера Талкингхорна. Пыж был сделан из клочка бумаги, оторванного от печатной статьи с описанием вашего дома в Чесни-Уолде. Ну, это улика не очень веская, скажете вы, сэр Лестер Дедлок, баронет. Да! Но если вот эта моя приятельница-иностранка настолько позабыла об осторожности, что не побоялась просто изорвать на куски и бро-

сить остаток печатной страницы, а миссис Баккет сложила обрывки и увидела, что не хватает как раз того клочка, который пошел на пыж, дело начинает принимать скверный оборот.

— Все это наглая ложь,— перебивает его мадемуазель.— Очень уж много вы разглагольствуете. Вы кончили или будете говорить вечно?

— Сэр Лестер Дедлок, баронет,— продолжает мистер Баккет, который всегда с удовольствием произносит полный титул своего собеседника, не желая опускать ни единого слова,— последний пункт, к которому я теперь перехожу, доказывает, как важно в нашей работе быть терпеливым и ничего не делать второпях. Вчера я следил за этой особой без ее ведома, когда она была на похоронах вместе с моей женой, решившей взять ее с собою, а я уже тогда собрал столько улик, подметил такое выражение на ее лице, был так возмущен ее подкопом под миледи, да и час похорон показался мне настолько подходящим часом для так называемого возмездия, что, будь я более молодым и менее опытным работником, я, не колеблясь, арестовал бы ее тогда. Опять же в прошлый вечер, когда ее милость, которая вызывает всеобщее восхищение, вернулась домой с видом,— бог мой! — можно сказать, с видом Венеры, выходящей из волн морских *, было так неприятно и просто дико думать об обвинении ее в убийстве, которого она не совершила, что мне положительно не терпелось покончить с этим делом. Но допустим, что я покончил бы с ним; что бы я в этом случае потерял? Сэр Лестер Дедлок, баронет, я потерял бы тогда орудие преступления. После того как похоронная процессия тронулась в путь, вот эта моя пленница предложила миссис Баккет проехаться на омнибусе за город и попить чайку в одном очень приличном ресторанчике. Надо сказать, что неподалеку оттуда находится пруд. За чаем эта девица встала и пошла взять носовой платок из комнаты, где обе наши дамы оставили свои шляпки. Ходила она довольно долго и вернулась немного запыхавшись. Как только они приехали домой, миссис Баккет доложила мне об этом, а также о прочих своих наблюдениях и подозрениях. Ночь была лунная, я приказал обшарить дно пруда в присутствии двух наших сыщиков, и вскоре нашли кар-

манный пистолет, который не успел пролежать там и шести часов... А теперь, душечка, просуньте ручку чуть подальше и держите ее попрямей — тогда я не сделаю вам больно!

Мистер Баккет во мгновение ока защелкивает наручник на запястье француженки.

— Один есть,— говорит мистер Баккет.— Теперь протяните другую, душечка. Два... и дело с концом!

Он встает, она поднимается тоже.

— Где,— спрашивает она, опустив веки, так что они почти закрывают ее большие глаза, которые, как ни странно, все-таки смотрят на него пристальным взглядом,— где ваша лживая, ваша проклятая жена-предательница?

— Отправилась в полицейский участок,— отвечает мистер Баккет.— Там вы ее и увидите, душечка.

— Хотелось бы мне ее поцеловать! — восклицает мадемуазель Ортанз, фыркнув по-тигриному.

— А я опасаюсь, как бы вы ее не укусили,— говорит мистер Баккет.

— Уж я бы ее укусила! — кричит она, широко раскрыв глаза.— Я бы ее на куски растерзала с восторгом!

— Ну, конечно, душечка,— говорит мистер Баккет, сохраняя полнейшее спокойствие,— ничего другого я и не мог ожидать, зная, до чего ненавидят друга друга особы вашего пола, когда ссорятся. А на меня ведь вы сердитесь гораздо меньше, не так ли?

— Да. Но все-таки вы дьявол.

— То ангел, то дьявол,— вот как нас честят, а? — восклицает мистер Баккет.— Но, подумайте хорошенько, ведь я только действую по долгу службы. Позвольте мне накинуть на вас шаль поаккуратней. Мне и раньше не раз приходилось заменять камеристку многим дамам. Шляпку поправить не требуется? Кэб стоит у подъезда.

Бросив негодующий взгляд на зеркало, мадемуазель Ортанз одним резким движением приводит свой туалет в полный порядок, и, надо отдать ей должное, вид у нее сейчас точь-в-точь как у настоящей светской дамы.

— Так выслушайте меня, ангел мой,— язвительно говорит она, кивая головой.— Вы очень остроумны. Но можете вы возвратить к жизни того человека?

— Пожалуй, что нет,— отвечает мистер Баккет.

— Забавно! Послушайте меня еще немножко. Вы очень остроумны. Но можете вы вернуть женскую честь *ей?*

— Не злобствуйте,— говорит мистер Баккет.

— Или мужскую гордость *ему?* — кричит мадемуазель, с неизъяснимым презрением указывая на сэра Лестера.— Ага! Так посмотрите же на него. Бедный младенец! Ха-ха-ха!

— Пойдемте-ка, пойдемте; это «парлэ» еще хуже прежнего,— говорит мистер Баккет.— Пойдемте!

— Значит, не можете. Ну, так делайте со мной что хотите. Придет смерть — только и всего; а мне наплевать. Пойдемте, ангел мой. Прощайте вы, седой старик. Я вас жалею и пре-зи-раю! — И она так стиснула зубы, что кажется, будто рот ее замкнулся при помощи пружины.

Нет слов описать, с каким видом выводит ее мистер Баккет, но этот подвиг он совершает каким-то ему одному известным способом, окружая и обволакивая ее, точно облаком, и улетая вместе с нею,— ни дать ни взять доморощенный Юпитер, который похищает предмет своей нежной страсти *.

Оставшись один, сэр Лестер сидит недвижно, словно все еще прислушиваясь к чему-то, словно внимание его все еще чем-то поглощено. Но вот, наконец, он обводит глазами опустевшую комнату и, поняв, что в ней никого нет, пошатываясь встает, отодвигает кресло и делает несколько шагов, хватаясь рукой за стол. Потом останавливается и, снова бормоча что-то невнятное, поднимает глаза, точно присматриваясь к чему-то.

Бог его знает, что он такое видит. То ли — зеленые-зеленые леса Чесни-Уолда, великолепный дом, портреты своих предков; то ли — чужих людей, оскверняющих все это, полицейских, запустивших грубые руки в самое драгоценное его наследие, тысячи пальцев, указывающих на него, тысячи рож, злорадно смеющихся над ним. Но если подобные тени и мелькают перед ним, к его великому ужасу, то есть еще одна, совсем иная тень, имя которой он даже сейчас может произнести почти отчетливо; и, глядя лишь на нее одну, он рвет свои белые волосы и только к ней одной он простирает руки.

Это она — та, которой он дорожил без малейшего себялюбия, разве что много лет видел в ней главный источник своего достоинства и гордости. Она, которую он любил, боготворил, почитал и вознес так высоко, что ее уважал весь свет. Она, к которой он, скованный этикетом и условностями своей жизни, испытывал живую любовь и нежность, сейчас терзаемые, как никакие другие его чувства, невыносимой пыткой. Он смотрит на нее, почти не думая о себе, и не может вынести мысли, что ее низвергли с тех высот, которые она так украшала.

Но, даже рухнув на пол, он, забывая о своих муках, все еще находит в себе силы вырвать ее имя из хаоса непроизвольных звуков и почти внятно вымолвить его, скорее со скорбью и состраданием, чем с упреком.

## ГЛАВА LV

### *Бегство*

Баккет, инспектор сыскного отделения, еще не нанес своего сокрушительного удара, о котором рассказывалось только что, он пока еще освежается сном, готовясь к боевому дню, а тем временем ночью двухместная почтовая карета, запряженная парой лошадей, выезжает из Линкольншира и по промерзшим зимним дорогам несется в Лондон.

Вскоре всю эту местность пересекут железные рельсы, и поезда будут метеорами проноситься по широким ночным просторам, грохоча и сверкая огнями, затмевающими лунный свет; но пока что их нет в этих краях, хоть и можно надеяться, что они когда-нибудь появятся. Ведутся подготовительные работы, производятся изыскания, ставятся вехи. Уже строят мосты, устои которых, еще не перекрытые фермами, в тоске переглядываются через дороги и реки, и можно подумать, что это каменные влюбленные, которым что-то препятствует соединиться; коегде возведены отдельные участки насыпей, но, недоконченные, они сейчас похожи на обрывы, залитые пото-

ками брошенных повозок и тачек, успевших покрыться ржавчиной; высокие треножники из жердей возникают на вершинах холмов, под которыми, по слухам, будут прорыты туннели; все имеет хаотический вид, все кажется покинутым, безнадежно опустошенным. Но почтовая карета несется во тьме ночной по промерзшим дорогам и не помышляя о дороге железной.

В этой карете едет миссис Раунсуэлл, столько лет прослужившая домоправительницей в Чесни-Уолде, а рядом с нею сидит миссис Бегнет в серой накидке и с зонтом в руках. «Старухе» хотелось бы примоститься на передней скамейке, снаружи, так как это сиденье устроено на открытом воздухе и представляет собой что-то вроде насеста, а она как раз привыкла путешествовать сидя на торчке, но миссис Раунсуэлл так заботится об удобствах своей спутницы, что не пускает ее туда. Миссис Раунсуэлл не в силах выразить свою благодарность миссис Бегнет. Она сидит как всегда величавая, держа спутницу за руку, и как ни шероховата эта рука, уже не раз подносила ее к губам.

— Вы — сами мать, душа моя,— то и дело повторяет она,— и вы нашли мать моего Джорджа!

— А вот как дело было,— отзывается миссис Бегнет.— Джордж, он всегда говорил со мной откровенно, сударыня; и вот он раз у нас дома говорит моему Вулиджу, что придется, мол, тебе, Вулидж, о многом подумать, когда вырастешь, и приятней всего тебе будет думать о том, что у мамы твоей ни морщинки на лице, ни седого волоса на голове не прибавилось по твоей вине; и так трогательно он это сказал, что я сразу же догадалась: значит, недавно он что-то услышал про свою родную мать, вот и вспомнил о ней. В молодости он не раз мне говорил, что был плохим сыном.

— Никогда, дорогая! — возражает миссис Раунсуэлл, заливаясь слезами.— Благословляю его от всей души, никогда! Он всегда меня любил, всегда был такой ласковый со мной, мой Джордж! Но он был смелый мальчик, немножко сбился с пути, ну и завербовался в солдаты. И я понимаю, что вначале он не хотел нам писать, пока не выйдет в офицеры; а когда увидел, что офицером ему не быть, решил, что, значит, он теперь ниже нас, и нечего

ему нас позорить. Он всегда был гордый, мой Джордж,— чуть не с пеленок!

Всплеснув руками, словно в давно минувшие дни молодости, почтенная старуха, вся дрожа, вспоминает о том, какой он был хороший мальчик, какой красивый мальчик, какой веселый, добродушный и умный мальчик; как все в Чесни-Уолде его любили; как любил его сэр Лестер, когда еще был молодым джентльменом; как любили его собаки; как даже те люди, которые на него сердились, простили его, когда он, бедный мальчик, ушел из дому. И теперь, после такой долгой разлуки, увидеть его снова, но... в тюрьме! И широкий корсаж тяжело вздымается, а по-старинному подтянутый прямой стан горбится под бременем материнской любви и горя.

С врожденной чуткостью доброго, отзывчивого сердца миссис Бегнет позволяет старой домоправительнице ненадолго отдаться нахлынувшим на нее чувствам,— да и сама она вынуждена отереть рукой свои материнские глаза, но вскоре снова начинает тараторить, как всегда, бодрым голосом:

— Вот я и говорю Джорджу, когда отправилась позвать его чай пить (а он тогда вышел на улицу под тем предлогом, что хочется, мол, трубочку выкурить на воздухе): «Что это вас нынче так тревожит, Джордж, скажите ради всего святого? Я всякое видела на своем веку, да и вас частенько видела и в хорошее время и в плохое, и дома и за границей, но в жизни не видывала, чтобы вы так загрустили,— ведь можно подумать, будто вы в чем-то каетесь!» — «Эх, миссис Бегнет,— говорит Джордж,— мне нынче и вправду грустно и настроение у меня покаянное, вот почему я сейчас такой, каким вы меня видите».— «Да что же вы наделали, старый друг?» — спрашиваю я. «Эх, миссис Бегнет,— говорит Джордж, а сам головой качает,— что я делал сегодня, то делал и многие годы, а переделывать это — лучше и не пытаться. Если мне и доведется попасть в рай, то уж, конечно, не за то, что я был хорошим сыном своей матери-вдове. А больше я вам ничего говорить не буду». И вот, сударыня, как сказал мне Джордж, что теперь, мол, «переделывать — лучше и не пытаться», я вдруг и вспомнила кое-что, о чем

и раньше не раз думала, и тут же принялась допытываться, отчего ему именно сегодня пришли в голову такие мысли. Ну, Джордж и говорит мне, что он, мол, случайно встретил в конторе Талкингхорна одну приятную старушку, которая очень напомнила ему мать, да так увлекся разговором про эту самую старушку, что совсем забылся и принялся мне расписывать, какой она была раньше, много лет назад. Но вот, наконец, он замолчал; тут я у него и спрашиваю: а кто ж она такая, эта старушка, которую он нынче видел? А Джордж отвечает, что это, мол, миссис Раунсуэлл, которая вот уже лет пятьдесят с лишком служит домоправительницей в семействе Дедлоков, в Чесни-Уолде, где-то в Линкольншире. А надо вам сказать, Джордж не раз говорил мне и раньше, что он родом из Линкольншира; ну я в тот вечер и сказала своему старику Дубу: «Дуб, это его мать — бьюсь об заклад на со-рок пять фун-тов!»

За последние четыре часа миссис Бегнет рассказывала все это по меньшей мере раз двадцать, щебеча, словно птица, но как можно громче, чтобы старушка могла расслышать ее слова, несмотря на стук колес.

— Спасибо вам, и дай вам бог счастья,— говорит миссис Раунсуэлл.— Дай вам бог счастья, добрая вы душа, а я вас благодарю от всего сердца!

— Бог с вами! — восклицает миссис Бегнет совершенно искренне.— За что же меня благодарить? Не за что! Вам спасибо, сударыня, за то, что вы так благодарите меня! И еще раз не забудьте, сударыня, когда увидите, что Джордж — и вправду ваш сын, непременно заставьте его, ради вашего же блага, заручиться всей помощью, какая ему нужна, чтобы оправдаться и снять с себя обвинение,— ведь он так же не виноват, как мы с вами. Этого мало, что правда и справедливость на его стороне; за него должны стоять суд и судейские,— восклицает миссис Бегнет, видимо уверенная, что «суд и судейские» стоят особняком и навеки расторгли свой союз с правдой и справедливостью.

— Он получит всю помощь, какую только можно получить, дорогая моя,— говорит миссис Раунсуэлл.— Я с радостью отдам все свое добро, лишь бы помочь ему. Сэр Лестер сделает все, что можно, да и вся его родня

тоже. Я... я знаю кое-что, дорогая моя, и буду сама просить, как мать, которая не видела его столько лет и, наконец, отыскала в тюрьме.

Старая домоправительница так волнуется, говорит так несвязно, так горестно ломает руки, что все это производит сильное впечатление на миссис Бегнет, и, пожалуй, даже удивило бы ее, если б она не видела, как страстно жалеет старушка своего несчастного сына. И все-таки миссис Бегнет недоумевает, почему миссис Раунсуэлл так рассеянно и непрерывно бормочет: «Миледи, миледи, миледи!»

Морозная ночь подходит к концу, брезжит рассвет, а почтовая карета все мчится вперед в утреннем тумане, похожая на призрак какой-то погибшей кареты. Ее окружает огромное общество других призраков — изгородей и деревьев, которые медленно исчезают, уступая дневной действительности. По приезде в Лондон путешественницы выходят из кареты; старая домоправительница — очень взволнованная и встревоженная, миссис Бегнет — совсем свежая и собранная, какой она, впрочем, осталась бы и в том случае, если бы ей немедленно пришлось отбыть дальше, в том же экипаже и опять без багажа, и ехать в какой-нибудь гарнизон на мысе Доброй Надежды, острове Вознесения или в Гонконге.

Но пока они идут в тюрьму, где содержится кавалерист, старой домоправительнице удается не только оправить свое светло-лиловое платье, но и принять всегда свойственный ей спокойный и сдержанный вид. Сейчас она словно прекрасная статуэтка из старинного фарфора удивительно чистой и правильной формы; а ведь ни разу еще за все эти годы — и даже тогда, когда она вспоминала о своем блудном сыне,— сердце ее не билось так быстро, а корсаж не вздымался так судорожно, как сейчас.

Подойдя к камере, они видят, что дверь открывается и выходит надзиратель. Миссис Бегнет немедленно делает ему знак не говорить ни слова. Кивнув в знак согласия, он впускает их и закрывает дверь.

Поэтому Джордж, который что-то пишет за столом, сосредоточившись на своей работе и не подозревая, что он здесь уже не один, даже не поднимает глаз. Старая



домоправительница смотрит на него, и одни лишь ее трепетные руки могли бы рассеять все сомнения миссис Бегнет, даже если б, увидев мать и сына вместе и зная все, что она знает, она все-таки усомнилась в их родстве.

Старая домоправительница не выдает себя ни шорохом платья, ни движением, ни словом. В то время как сын ее что-то пишет, ни о чем не подозревая, она стоит и смотрит на него, борясь с волнением, и только руки ее трепещут. Но они очень красноречивы... очень, очень красноречивы. Миссис Бегнет понимает их язык. Они говорят о благодарности, о радости, о горе, о надежде; говорят о неугасимой любви, пылавшей безответно с той поры, как этот рослый человек стал юношей, и о том, что более внимательного сына мать любит меньше, а этого сына любит с великой нежностью и гордостью; они, эти руки, говорят таким трогательным языком, что на глазах у миссис Бегнет появляются слезы и, поблескивая, текут по ее загорелому лицу.

— Джордж Раунсуэлл! Милое мое дитя, обернись и взгляни на меня!

Выскочив из-за стола, сын обнимает мать и падает перед ней на колени. То ли в порыве позднего раскаяния, то ли отдавшись ранним воспоминаниям детства, он складывает руки, как ребенок на молитве, и, простирая их к материнской груди, опускает голову и плачет.

— Мой Джордж, мой милый, милый сын! Ты всегда был моим любимым сыном, ты и до сих пор любимый; где же ты был в эти горькие долгие годы?.. И как он вырос, как возмужал, каким стал красивым, сильным мужчиной! Я всегда думала, что он будет точь-в-точь таким, если, по милости божьей, останется в живых.

Некоторое время она не в силах спрашивать, а он не в силах отвечать связно. И все это время «старуха», то есть миссис Бегнет, стоит, отвернувшись, лицом к выбеленной стене, опираясь на нее рукой и прильнув к ней честным, открытым лбом, стоит, вытирая глаза своей видавшей виды серой накидкой и ликует,— самая лучшая из «старух» на всем белом свете.

— Матушка,— начинает кавалерист, после того как все трое немного успокоились,— прежде всего простите

меня, потому что я понял, как нужно мне ваше прощение.

Простить! Она прощает его всем сердцем и всей душой. Она всегда его прощала. Она рассказывает ему, как, много лет назад, назвала его в своем завещании своим возлюбленным сыном Джорджем. Она никогда не верила в то, что он плохой, нет, никогда. Если б она умирала, не изведав счастья этой встречи,— а ведь она уже старая женщина и долго не проживет,— и если б она не потеряла сознания перед смертью, то, испуская последнее дыхание, она благословила бы его, как своего возлюбленного сына Джорджа.

— Матушка, я не выполнил своего сыновнего долга, я огорчил вас и вот поплатился за это; но в последние годы и во мне зародилось что-то вроде добрых чувств. Когда я убежал из дому, я не очень тосковал о нем, матушка,— не очень, как это ни стыдно, а когда уехал далеко и очертя голову завербовался в солдаты, стал обманывать себя и думать, что ни о ком я не тоскую — уж, конечно, нет! — и что никто не тоскует обо мне.

Отерев глаза и спрятав носовой платок, кавалерист продолжает свою исповедь; но как разительно отличается его обычная манера говорить и держать себя от той мягкости, с какой он говорит теперь, изредка обрывая речь полуподавленным всхлипываньем.

— И вот я написал домой лишь несколько строк, в которых рассказал, как вам хорошо известно, матушка, что завербовался в солдаты под чужим именем; а потом я уехал за границу. Там я сначала думал, что напишу домой на будущий год, когда выйду в люди; а когда этот год прошел, стал думать, что напишу на следующий — опять-таки, когда выйду в люди; когда же прошел и этот год, я уже почти никогда не думал о том, что пора, мол, написать домой. Так вот год за годом и прошли все десять лет моей службы, а тут я стал стареть и спрашивать себя: да стоит ли вообще писать?

— Я не виню тебя, дитя мое... Но, Джордж, как мог ты не успокоить меня? Как мог не написать ни словечка своей любящей матери, которая все стареет и стареет?

Эти слова вновь переворачивают всю его душу, но он берет себя в руки и громко, с силой откашливается.

— Да простит меня бог, матушка, но я думал, что мои письма для вас плохое утешение. Вот вы — вас уважают и ценят. А мой брат — он все богатеет, становится все более известным человеком, как мне приходится иногда читать в наших северных газетах. А я — простой драгун... бродяга, я не сумел устроить свою жизнь, не умел сам себе пробить дорогу, как брат, и, хуже того, потерял ее, потому что забыл, в каких прекрасных правилах был воспитан, забыл то немногое, что знал в юности, а если чему и научился, так это не годилось для тех занятий, которые мне по душе. Так какое право я имел писать о себе? Что хорошего могло выйти из моих писем после стольких лет? Ведь вы, матушка, тогда уже пережили самое худшее. В то время (то есть когда я уже стал зрелым) я понял, как вы обо мне горевали и плакали, как молились за меня; но со временем ваша боль прошла или притупилась, и, ничего обо мне не зная, вы думали обо мне лучше, чем я того заслуживал.

Старая мать скорбно качает головой и, взяв его сильную руку, с любовью кладет ее себе на плечо.

— Нет, матушка, я не говорю, что так оно действительно было, но так я себе это представлял. Повторяю, ну что хорошего могло из этого выйти? Правда, милая моя матушка, кое-что хорошее могло бы получиться для меня самого... но мне это показалось бы подлостью. Вы бы меня разыскали; выкупили бы меня из военной службы; увезли бы меня в Чесни-Уолд; свели бы меня с братом и его семьей; и все вы всячески старались бы как-нибудь мне помочь и превратить меня в степенного штатского. Но как могли бы вы верить в меня, когда я сам не мог в себя верить? Как могли бы вы не считать меня позорной обузой,— меня, бездельника-драгуна, который сам себе был позорной обузой, если не считать того времени, когда его сдерживала дисциплина? Как мог бы я смотреть в глаза детям брата и служить им примером — я, бродяга, который еще мальчишкой убежал из дому и принес горе и несчастье родной матери? «Нет, Джордж,— говорил я себе, матушка, когда перебирал все это в уме,— ты сам себе постелил постель, ну и лежи в ней!»

Величаво выпрямившись, миссис Раунсуэлл со все возрастающей гордостью качает головой в сторону миссис

Бегнет, как бы желая сказать: «Я вам говорила!» А «старуха», стремясь дать выход своим чувствам и выразить интерес к разговору, с силой тычет Джорджа зонтом в спину, между лопатками. И в дальнейшем она время от времени точно так же орудует зонтом, словно в припадке безумия, вспыхнувшего на почве дружеских чувств, но не забывает после каждого из этих увещаний повернуться к выбеленной стене и вытереть глаза серой накидкой.

— Вот я и убедил себя, матушка, что уж если я теперь раскаялся, то лучше всего искуплю свою вину тем, что буду лежать в постели, которую сам себе постелил, да и умру в ней. Так я и поступил бы (однако я не раз приезжал в Чесни-Уолд, чтобы хоть одним глазком поглядеть на вас без вашего ведома) — так я и поступил бы, если бы не вот эта жена моего старого товарища,— ведь как я теперь вижу, она меня перехитрила. Но за это я благодарен ей... спасибо вам за это, миссис Бегнет, от всего сердца, от всей души.

На что миссис Бегнет ответствует двумя тычками.

И вот старуха мать начинает упрашивать своего сына Джорджа, своего милого, вновь обретенного мальчика, свою радость и гордость, свет своих очей, утеху своей старости, и, называя его всеми ласковыми именами, какие только может вспомнить, уговаривает его воспользоваться самой лучшей консультацией, какую только можно получить при деньгах и связях; она говорит, что ему необходимо поручить ведение своего дела самым знаменитым адвокатам, каких только удастся пригласить; говорит, что, раз он попал в такую беду, ему надо поступать так, как ему посоветуют, и, хоть он и чист, как стеклышко, он не должен упрямиться; нет, он должен обещать, что станет думать только о тревогах и страданиях своей бедной старухи матери, а тревожиться и страдать она будет, пока его не отпустят с миром; если же он не послушается, он разобьет ей сердце.

— Матушка, вы просите так мало, что я должен уступить,— отвечает кавалерист, прервав ее поцелуем,— скажите, что мне нужно делать, и так я и буду делать — лучше поздно, чем никогда. Миссис Бегнет, вы, конечно, позаботитесь о матушке?

Вместо ответа «старуха» изо всей силы тычет его зонтом.

— Познакомьте ее с мистером Джарндисом и мисс Саммерсон,— она узнает, что они тоже уговаривали меня защищаться; а они посоветуют, как быть, и помогут нам.

— И еще, Джордж,— говорит ему мать,— мы должны как можно скорее послать за твоим братом. Он умный, рассудительный человек,— так мне говорили, хотя сама я, дорогой мой, почти ничего не знаю о том, что делается за оградой Чесни-Уолда,— и он может многое сделать для тебя.

— Матушка,— спрашивает кавалерист,— не рано ли мне просить вас об одной милости?

— Конечно, нет, дорогой мой.

— Тогда окажите мне только одну великую милость — не пишите об этом брату.

— О чем не писать, дорогой?

— Не пишите обо мне. Сознаюсь, матушка, что я просто не могу вынести этой мысли... не могу свыкнуться с нею. Он так не похож на меня, мой брат, он столько сделал, чтобы выйти в люди, пока я прозябал в солдатах, что у меня духу не хватит встретиться с ним в тюрьме и вдобавок — когда меня обвиняют в тяжком преступлении. Можно ли ожидать от такого человека, как он, что подобная новость будет ему приятна? Нельзя. Нет, скройте от него мою тайну, матушка, окажите мне эту незаслуженную милость и кого-кого, а брата не посвящайте в мою тайну.

— Но не всегда же скрывать, милый Джордж?

— Может быть, и не всегда, матушка,— хотя, возможно, я когда-нибудь попрошу и об этом; а пока скрывайте, умоляю вас. Если же ему суждено узнать, что его бродяга-брат вернулся,— говорит кавалерист, с сомнением покачивая головой,— то лучше уж я сам скажу ему об этом и посмотрю, как он примет мои слова, а тогда решу, наступать мне или отступать.

Он горячо настаивает, глубоко убежденный в своей правоте, а по лицу миссис Бегнет видно, что она понимает и одобряет его; поэтому мать сдается и, умолкнув, всем своим видом обещает исполнить его просьбу. За это он ласково благодарит ее.

— Во всем остальном, милая моя матушка, я буду самым сговорчивым и послушным сыном; только в этом одном не уступлю. Теперь я готов принять даже адвокатов. Я тут сидел и писал кое-что,— он бросает взгляд на исписанную бумагу, лежащую на столе,— рассказывал совершенно точно обо всем, что знаю насчет покойного, и как вышло, что меня припутали к этому злополучному делу. Написано просто и по всем правилам, не хуже, чем книга приказов по полку,— ни слова лишнего, только то, что относится к делу. Я надумал прочесть это с начала и до конца, как только получу разрешение говорить в свою защиту. Надеюсь, мне и теперь можно будет прочесть это; а впрочем, я сейчас отказываюсь от своей воли и, что бы там ни говорили, что бы ни делали, обещаю не своевольничать.

Итак, переговоры благополучно закончились соглашением, а время, отведенное для свидания, уже подходит к концу, поэтому миссис Бегнет объявляет, что пора уходить. Старуха мать снова и снова обнимает сына, а сын вновь и вновь прижимает ее к своей широкой груди.

— Куда вы отведете матушку, миссис Бегнет?

— Я поеду в городской дом, милый мой, то есть в дом моих господ. У меня там срочное дело,— отвечает миссис Раунсуэлл.

— Вы наймете карету и проводите туда матушку, миссис Бегнет? Да я и так знаю, что проводите. И спрашивать не к чему.

Действительно, «не к чему», соглашается миссис Бегнет при помощи зонта.

— Возьмите ее с собой, старинная моя приятельница, и примите мою благодарность. Поцелуйте от меня Квебек и Мальту, передайте привет крестнику, крепко пожмите руку Дубу, а вот это вам, дорогая моя,— жаль только, что это не десять тысяч фунтов золотом!

Кавалерист касается губами загорелого лба «старухи», и дверь его камеры закрывается.

Добрая старая домоправительница хочет отправить миссис Бегнет домой в той же карете, но тщетны все ее мольбы. Живо соскочив на мостовую у подъезда дедлоковского дома и поднявшись вместе с миссис Раунсуэлл

на крыльцо, «старуха» пожимает ей руку, удаляется с деловым видом и вскоре, вернувшись в лоно бегнетовского семейства, как ни в чем не бывало снова принимается за мытье овощей.

Миледи сидит в той комнате, где вела свой последний разговор с покойным, и смотрит на то место, где он стоял у камина, так неторопливо изучая ее на досуге, как вдруг слышит стук в дверь. Кто это? Миссис Раунсуэлл. Что привело миссис Раунсуэлл в город так неожиданно?

— Горе, миледи. Тяжкое горе. Ах, миледи, можно мне сказать вам несколько слов?

Что еще случилось и почему эта всегда спокойная старуха так дрожит? Она гораздо счастливее своей госпожи, как часто думала сама госпожа, так почему же она так трепещет и смотрит на миледи с таким странным недоверием?

— Что случилось? Сядьте и отдышитесь.

— Ах, миледи, миледи! Я нашла своего сына... младшего, того, что так давно ушел в солдаты. И он сидит в тюрьме.

— За долги?

— Нет, нет, миледи. Я с радостью заплатила бы за него, сколько бы он ни задолжал.

— За что же он попал в тюрьму?

— По обвинению в убийстве, миледи,— убийстве, в котором он так же не виновен, как... как я. Его обвиняют в убийстве мистера Талкингхорна.

Что значит ее взгляд и этот жест мольбы? Почему она подходит так близко? Что за письмо держит она в руках?

— Леди Дедлок, дорогая моя госпожа, милостивая госпожа, добрая моя госпожа! Вы должны пожалеть меня, вы должны простить меня. Я служила своим господам еще до вашего рождения. Я предана им. Но подумайте о моем дорогом сыне,— ведь на него напраслину взвели.

— *Я* его не обвиняю.

— Нет, миледи, нет. Но другие обвиняют, и он в тюрьме, в опасности. Ах, леди Дедлок, если вы можете сказать хоть слово в его оправдание, скажите это слово!

Что она такое вообразила, эта старуха? Почему она думает, что женщина, к которой она обращается с подобной просьбой, может опровергнуть несправедливое подозрение, если оно действительно несправедливо? Прекрасные глаза миледи смотрят на домоправительницу с удивлением, чуть ли не с ужасом.

— Миледи, вчера вечером я выехала из Чесни-Уолда, чтобы на старости лет найти своего пропавшего сына, а в последние дни шаги на Дорожке призрака слышались так часто и такие они были зловещие, каких я ни разу не слыхивала за все эти годы. Ночь за ночью, чуть, бывало, стемнеет, их топот отдавался в ваших покоях, но вчера вечером они звучали так страшно, как никогда. И вот, миледи, вчера, как стемнело, я получила это письмо.

— Какое письмо?

— Тише! Тише! — Оглянувшись кругом, домоправительница отвечает испуганным шепотом: — Миледи, я никому о нем ни слова не сказала, я не верю тому, что в нем написано, я знаю, что этого не может быть, я твердо уверена, что это неправда. Но мой сын в опасности, и вы должны меня пожалеть. Если вы знаете что-нибудь такое, что неизвестно другим, если вы кого-нибудь подозреваете, если вы можете разгадать эту загадку, но по какой-то причине молчите, то подумайте обо мне, дорогая моя госпожа, и, несмотря ни на что, расскажите обо всем, что вам известно. Это моя единственная просьба. Я знаю, вы не жестокая, но вы всегда поступаете посвоему, без чужой помощи, ни с кем не водите дружбы, и каждый, кто восхищается вами, как изящной и прекрасной леди,— а восхищаются все,— каждый знает, что вы очень далеки от него, и к вам нельзя подойти близко. Миледи, может быть, гордость или гнев заставляют вас молчать о том, что вам известно, а если так, умоляю вас, подумайте о своей верной служанке,— ведь вся моя жизнь прошла в вашем семействе, и я к нему глубоко привязана,— смягчитесь и помогите оправдать моего сына! Миледи, моя добрая госпожа,— умоляет старая домоправительница с непритворным простодушием,— я такая ничтожная и скромная, а вы от природы такая гордая и далекая ото всех, что, пожалуй, и представить себе не можете, как я страдаю за свое детище; но я так страдаю, что

вот даже пришла сюда к вам и осмелилась просить и умолять вас не отвергнуть нас в это ужасное время, если вы можете помочь нам добиться правды!

Не говоря ни слова, миледи поднимается и берет письмо из ее рук.

— Вы хотите, чтобы я его прочла?

— Пожалуйста, прочтите, миледи, но лишь после того, как я уйду, и не забудьте о моей единственной просьбе.

— Не знаю, чем я могу помочь. Я не скрываю ничего такого, что касается вашего сына. Я никогда его не обвиняла.

— Миледи, прочитайте это письмо, и, может быть, вы больше пожалеете моего сына за то, что на него взвели поклеп.

Старая домоправительница уходит, а миледи стоит с письмом в руках. Она действительно не жестокая, и было время, когда лицо этой почтенной женщины, умоляющей ее с такой страстной искренностью, пробудило бы в ней глубокое сострадание. Но миледи так давно привыкла подавлять свои чувства и скрывать истину, столько лет сознательно перевоспитывала себя в той пагубной школе, которая учит людей заглушать свои естественные душевные побуждения, хоронить их в своем сердце,— подобно тому, как мухи далеких эпох погребены в янтаре,— наводить однообразный и тусклый глянец на всех хороших и дурных, глубоко чувствующих и бесчувственных, разумных и неразумных,— так давно привыкла к этому, что, слушая миссис Раунсуэлл, до сих пор подавляла в себе даже удивление.

Она развертывает письмо. В него вложена печатная заметка о том, как нашли труп человека с пулей в сердце, лежавший ничком на полу; а внизу написано ее имя и слово «убийца».

Письмо выпало из ее рук. Как долго оно пролежало на полу, она не знает; оно лежит, где упало, но вдруг она отдает себе отчет в том, что перед нею стоит лакей и докладывает о приходе молодого человека, некоего Гаппи. Лакей, должно быть, несколько раз повторил свои слова,— они звенели в ее ушах еще до того, как она начала понимать их смысл.

— Проводите его сюда.

Он входит. Подняв письмо, она держит его в руках и старается сосредоточиться. Для мистера Гаппи она все та же леди Дедлок, по-прежнему сдержанная, гордая и холодная.

— Ваша милость, может быть, мой приход сначала покажется вам непростительной дерзостью, но ведь вы, ваша милость, ни разу не были рады меня видеть, на что я, впрочем, не жалуюсь, так как, принимая во внимание все обстоятельства, радоваться действительно было нечему; но когда я объясню вашей милости, с какой целью явился сейчас, вы, надеюсь, меня не осудите,— говорит мистер Гаппи.

— Объясняйте.

— Очень благодарен, ваша милость. Я должен прежде всего сказать вашей милости,— начинает мистер Гаппи, присев на краешек стула и поставив цилиндр на ковер у своих ног,— что мисс Саммерсон, чей образ, как я однажды сказал вашей милости, был в течение одного периода моей жизни запечатлен в моем сердце, пока его не стерли не зависящие от меня обстоятельства,— мисс Саммерсон говорила со мной после того, как я в последний раз имел удовольствие нанести визит вашей милости, и настоятельно просила меня не делать никаких шагов ни в какой области, которая может ее касаться. А поскольку желания мисс Саммерсон для меня закон (исключая желаний, связанных с не зависящими от меня обстоятельствами), я, следовательно, никак не думал, что удостоюсь высокой чести снова нанести визит вашей милости.

Тем не менее он пришел, угрюмо напоминает ему миледи.

— Тем не менее я пришел,— признает мистер Гаппи.— Вот я и хочу разъяснить вашей милости, почему я пришел.

Она просит разъяснить это как можно яснее и короче.

— А я,— говорит мистер Гаппи обиженным тоном,— настоятельно прошу вашу милость обратить особенное внимание на то, что я пришел сюда не ради себя. Направляясь к вам, я заботился не о своих интересах. Не дай я мисс Саммерсон обещания, которое почитаю

священным, ноги бы моей больше не было в этом доме; напротив, я бы держался от него подальше.

Мистер Гаппи находит, что сейчас ему самая пора запустить обе руки себе в шевелюру.

— Вы, может, припомните, ваша милость, что, когда я пришел сюда в прошлый раз, я столкнулся с одним человеком, который пользовался большой известностью среди нас, юристов, и чью потерю все мы оплакиваем. С тех пор этот человек принялся вредить мне всюду и везде, можно сказать, весьма некрасивым образом, так что я уж начал побаиваться не на шутку, а не сделал ли я, сам того не ведая, чего-нибудь против желания мисс Саммерсон. Но ведь я,— хвалить себя не годится, однако должен это сказать в свою защиту,— ведь я тоже не плохо знаю свое дело.

Леди Дедлок устремляет на него строгий, вопросительный взгляд. Мистер Гаппи мгновенно отводит от нее глаза и смотрит куда-то в сторону.

— Скажу больше,— продолжает он,— было так трудно понять, чего, собственно, добивается этот человек совместно с другими лицами, что, пока мы не понесли утраты, которую оплакиваем, я, можно сказать, увязал в песке,— вы, ваша милость, возможно этого не поняли, ибо вращаетесь в высших кругах, так благоволите считать, что это все равно что «зашел в тупик». Опять же Смолл — это мой приятель, с которым ваша милость незнакомы,— Смолл сделался таким замкнутым и двуличным, что временами было довольно трудно удержаться и не стукнуть его по башке. Так или иначе, но я напряг свои скромные силы и способности, да еще мне помог один наш общий друг, некий мистер Тони Уивл (человек аристократических склонностей — у него в комнате всегда висит портрет вашей милости), и вот теперь у меня появилась причина кое-чего опасаться, почему я и явился предупредить, что вашей милости надо держаться начеку. Прежде всего позвольте спросить, ваша милость: не приходили к вам нынче утром какие-нибудь необычные гости? Я хочу сказать — не светские визитеры, а такие, как, например, бывшая служанка мисс Барбери или один человек, который не владеет своими нижними конечностями, так что его приходится таскать, словно чучело Гая Фокса.

— Нет.

— Ну, а я могу заверить вашу милость, что эти посетители сюда явились и их приняли. Надо вам сказать, что я увидел их у подъезда и подождал на углу площади, пока они отсюда не вышли, а тогда отошел и целых полчаса кружил по улицам, чтобы с ними не встретиться.

— Какое мне дело до всего этого и какое вам дело? Я вас не понимаю. Что вы хотите этим сказать?

— Ваша милость, я пришел просить вас держаться начеку. Может, в этом нет надобности. Пусть так. В таком случае, я только сделал все возможное, чтобы выполнить обещание, которое дал мисс Саммерсон. Я сильно подозреваю (кое-что Смолл сам выболтал, а кое-что мы выпытали у него), я сильно подозреваю, что те письма, которые я когда-то брался принести вашей милости, а потом считал погибшими, на самом деле вовсе не погибли. Еще я подозреваю, что если в них есть что разглашать, так это разглашают *сейчас*. И еще — что гости, о которых я упоминал, явились сюда нынче утром, чтобы сорвать на этом хороший куш. И, должно быть, уже сорвали, а нет, так вот-вот сорвут.

Мистер Гаппи поднимает свой цилиндр и встает.

— Ваша милость, вам лучше знать, имеет все это хоть какое-нибудь значение или не имеет. Так ли, этак ли, но я старался исполнить желание мисс Саммерсон в том смысле, чтобы ничего больше не затевать и насколько возможно замять то, что я уже успел сделать; с меня этого довольно. Возможно, что не было никакой надобности предостерегать вашу милость и, придя сюда с этой целью, я позволил себе вольность; если так, надеюсь, вы постараетесь забыть мой дерзкий поступок, а я попытаюсь забыть ваше неодобрение. Теперь я распрощаюсь с вашей милостью, и, заверяю вас, нечего бояться, что я опять явлюсь к вам.

В ответ на эти прощальные заверения она лишь едва поднимает глаза, но вскоре после его ухода звонит в колокольчик.

— Где сейчас сэр Лестер?

Меркурий докладывает, что он сидит один в библиотеке, запершись.

— Приходил ли кто-нибудь к сэру Лестеру сегодня утром?

Несколько человек по делу. Меркурий описывает их так, как до него описал мистер Гаппи. Довольно; он может идти.

Так! Все кончено. Имя ее на устах у толпы; муж ее узнал о своем несчастье, позор ее получит огласку,— быть может, слух разносится уже сейчас, пока она это думает,— и вдобавок к громовому удару, которого так долго ждала она, но никак не ждал ее муж, какие-то невидимые доносчики обвиняют ее в убийстве ее врага.

А врагом ее он действительно был, и она часто, часто, часто желала его смерти. Он враг и теперь, даже в могиле. Тяжкое обвинение свалилось на нее как новая пытка, которой ее подвергает его безжизненная рука. И, вспомнив о том, что в тот вечер она тайком подходила к его дверям, вспомнив, что незадолго перед убийством она уволила свою любимую служанку,— а это могут объяснить ее желанием избавиться от лишних глаз,— вспомнив все это, она трепещет, словно рука палача касается ее шеи.

Она бросилась на пол и лежит, зарывшись лицом в диванные подушки, а волосы ее разметались в беспорядке. Но вдруг она вскакивает, носится по комнате, снова бросается на пол, мечется, стонет. Она охвачена невыразимым ужасом. Будь она и вправду убийцей, ужас ее не мог бы быть сильнее.

Ведь если б она действительно задумала совершить убийство и приняла хитроумнейшие предосторожности, ненавистный образ, несмотря на это, разросся бы в ее глазах до гигантских размеров и помешал бы ей предугадать неизбежные последствия преступления; но не успел бы он пасть ниц, как эти последствия хлынули бы на нее нежданным потоком,— как всегда бывает после убийства; и вот теперь она понимает, что когда он ее выслеживал, а она думала: «О, если бы смертельный удар поразил этого старика и убрал с моего пути!» — то эти мысли ей внушало желание уничтожить бесследно — развеять по всем ветрам — улики, собранные им против нее. Недаром она испытала недоброе облегчение, когда

узнала о его смерти. Чем была его смерть, как не извлечением камня, замыкавшего гнетущий ее свод, а теперь свод рушится, рассыпаясь на тысячи обломков, и каждый из них давит и ранит ее!

И вот страшное наваждение охватывает и омрачает ее душу: от этого преследователя — живого или мертвого, окостенелого и бесчувственного при жизни, каким она хорошо его помнит, или столь же окостенелого и бесчувственного теперь, на гробовом ложе,— от этого преследователя нельзя спастись иначе как смертью. Затравленная, она бежит. Смятение чувств — стыда, страха, угрызений совести, отчаяния,— достигнув своего апогея, берет над нею верх; и даже ее непоколебимая уверенность в себе теперь сорвана и унесена прочь, как древесный лист неистовым ураганом.

Она торопливо пишет несколько строк мужу и, запечатав письмо, оставляет его на столе:

«Если меня будут разыскивать, обвинив в его убийстве, верьте, что в этом я совершенно не виновна. Во всем остальном не верьте ничему хорошему обо мне, ибо я виновна во всех других проступках, какие мне приписывают, как Вы уже слышали или услышите. В тот роковой вечер он предупредил меня, что расскажет Вам о моем падении. После того как он расстался со мной, я вышла из дому, сказав, что хочу погулять в саду, где иногда гуляю, но на самом деле я решила пойти к нему, чтобы в последний раз попросить его сжалиться надо мной: прекратить муки ожидания — эту ужасную пытку, которой он мучил меня так давно — Вы не знаете, как давно,— и сострадательно нанести удар завтра же утром.

В доме у него было темно и тихо. Я звонила два раза, но никто не откликнулся, и я вернулась домой.

Теперь у меня уже нет дома. Я больше не буду обременять Вас. Забудьте в своем справедливом негодовании недостойную женщину, на которую Вы напрасно потратили столько великодушной преданности,— эта женщина покидает Вас с глубоким стыдом,— еще более глубоким, чем стыд, с которым она бежит от самой себя — и прощается с Вами навсегда!»

Она быстро одевается, прячет лицо под вуалью, прислушивается к чему-то и, не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, спускается по лестнице и, улучив минуту, когда в вестибюле никого нет, открывает, потом закрывает за собой огромную дверь и быстро исчезает из виду, словно ее подхватил и унес резкий морозный ветер.

## ГЛАВА LVI
### *Погоня*

Бесстрастно, как и подобает знатным, городской дом Дедлоков взирает на другие дома величаво-унылой улицы и ничем не выдает, что внутри его что-то неладно. Тарахтят кареты, раздается стук в двери, высший свет обменивается визитами; пожилые прелестницы с костлявыми шейками и персиковыми щечками, румянец которых приобретает довольно-таки замогильный оттенок при дневном свете, когда эти очаровательные создания смахивают на какой-то сплав из Женщины и Смерти, изображенных на популярной картинке,— пожилые прелестницы ослепляют мужчин. Из холодных конюшен, мягко покачиваясь на рессорах, выезжают кареты, и на их козлах, глубоко погрузившись в пуховые подушки, восседают коротконогие кучера в белокурых париках, а на запятках торчат расфранченные Меркурии с булавами в руках и в треуголках набекрень — зрелище, поистине достойное небожителей.

Внешне городской дом Дедлоков ничуть не меняется, и проходит много часов, прежде чем внутри его рушится чинное однообразие его жизни. Но вот обворожительная Волюмния, замученная великосветской болезнью — скукой, и находя, что сегодня этот недуг слишком сильно портит ей настроение, решается, наконец, перейти в библиотеку для перемены обстановки. Однако ее осторожный стук не вызывает отклика, и тогда она открывает дверь, заглядывает внутрь и, увидев, что в комнате никого нет, входит.

В Бате, этом городке, заросшем травой и заселенном стариками, бойкая Дедлок слывет донельзя любопытной

девицей, которая пользуется всяким удобным и неудобным случаем шмыгать туда-сюда с золотым лорнетом в руках и совать свой нос во что только можно. И на сей раз она, конечно, не упускает случая попорхать, как птичка, над письмами и бумагами своего родича — быстро клюнуть один документ, заглянуть, склонив головку набок, в другой и, приложив к глазам лорнет, с любознательным и беспокойным видом попрыгать от стола к столу. Увлекшись поисками, она обо что-то спотыкается и, направив лорнет в эту сторону, видит своего родича,— он распростерт на полу, словно поваленное дерево.

Столь неожиданное открытие придает любимому слабому взвизгиванию Волюмнии изрядную долю искренности, и в доме мгновенно поднимается переполох. Слуги мчатся вверх и вниз по лестницам, яростно звонят звонки, посылают за докторами, леди Дедлок ищут повсюду, но не находят. О ней нет ни слуху ни духу с тех пор, как она позвонила в последний раз. Ее письмо к сэру Лестеру найдено на ее столе; но кто знает, может быть он уже получил другую весть из другого мира — весть, требующую личного ответа,— и теперь все языки человечества, живые и мертвые, ему одинаково чужды.

Его укладывают в постель, согревают, растирают, обмахивают, прикладывают ему лед к голове и всячески стараются привести его в чувство. Однако день угас и ночь наступила в спальне, прежде чем хриплое его дыхание стало ровным, а в устремленных в одну точку невидящих глазах, перед которыми время от времени водили свечой, впервые мелькнули проблески сознания. Но, с тех пор как он пришел в себя, состояние его непрерывно улучшается — мало-помалу он начинает поворачивать голову, переводить глаза с одного предмета на другой и даже шевелить пальцами в знак того, что слышит и понимает все, что ему говорят.

Сегодня утром, когда он рухнул на пол, он был красивым осанистым джентльменом, немножко припадающим на ногу, но все же представительным и с упитанным лицом. Теперь он лежит в постели — старик со впалыми щеками, дряхлая тень самого себя. Раньше голос у него был густой и сочный и сэр Лестер так долго был убежден в огромном весе и значении каждого своего слова для

всего человечества, что слова его и вправду звучали так, словно в них был какой-то важный смысл. Но теперь он может только шептать, а все, что он шепчет, звучит так, как и должно звучать,— это бессмысленный лепет, не слова, а звук пустой.

Его любимая служанка — преданная домоправительница — стоит у его ложа. Это первое, что он осознает, и это явно доставляет ему удовольствие. Сделав несколько тщетных попыток заставить окружающих понять его речь, он делает знак, чтобы ему подали карандаш, но — еле заметный знак, так что его понимают не сразу. Только старая домоправительница догадывается, чего он хочет, и приносит ему аспидную доску.

Немного погодя он медленно, не своим почерком, царапает на ней слова: «Чесни-Уолд?»

Нет, отвечает ему домоправительница; он в Лондоне. Ему сделалось дурно сегодня утром, в библиотеке. Как она рада, что случайно оказалась в Лондоне и может теперь ухаживать за ним.

— Болезнь у вас не тяжелая, сэр Лестер. Завтра вам будет гораздо лучше, сэр Лестер. Так и сказали все эти джентльмены.

Она говорит это, а слезы текут по ее красивому старческому лицу.

Окинув глазами всю комнату, больной очень внимательно всматривается в докторов, обступивших кровать, и пишет: «Миледи».

— Миледи нет дома, сэр Лестер; она вышла до того, как вам сделалось дурно, и еще не знает о вашей болезни.

Очень волнуясь, он указывает на слово, которое написал. Все стараются его успокоить, но он опять указывает на это слово, а волнение его возрастает. Он видит, как люди переглядываются, не зная, что сказать, и, снова взяв аспидную доску, пишет: «Миледи. Ради бога, где?» Потом испускает стон, в котором звучит мольба.

Врачи решают, что старуха домоправительница должна отдать ему письмо миледи, содержания которого никто не знает и даже не может предугадать. Она распечатывает и отдает ему письмо, чтобы он сам прочел его. С великим трудом прочитав его два раза, он кладет пись-

мо исписанной страницей вниз, так, чтобы никто не мог ее увидеть, и стонет. Но вот он снова теряет сознание или впадает в забытье, и только спустя час открывает глаза и склоняет голову на руку своей верной и преданной старой служанки. Врачи понимают, что ему легче быть с нею одной и отходят в сторону, возвращаясь лишь тогда, когда нужна их помощь.

Он снова просит аспидную доску, но не может вспомнить слово, которое хочет написать. Смотреть жалко на его тревогу, его волнение и страдания. Кажется, будто он вот-вот помешается — так остро он чувствует, что необходимо спешить, и так беспомощно силится объяснить, что̀ именно нужно сделать, за кем надо послать. Он написал букву Б и остановился. Но вдруг, когда отчаяние его уже дошло до предела, он начинает писать слово «мистер» перед Б. Старуха домоправительница подсказывает: «Баккет?» Слава богу! Это он и хотел написать.

Мистера Баккета находят внизу,— он обещал вернуться и уже явился. Позвать его?

Нельзя не понять, как страстно жаждет сэр Лестер его увидеть,— нельзя не понять, как хочет он, чтобы комнату покинули все, кроме домоправительницы. Его желание исполняют быстро, и мистер Баккет приходит. Из всех людей на земле только он один подает надежду и внушает доверие сэру Лестеру, упавшему с высоты своего величия.

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, очень грустно видеть вас в таком состоянии. Надеюсь, вы поправитесь. Обязательно поправитесь, на благо своему роду.

Сэр Лестер, передав мистеру Баккету письмо, пристально следит за его лицом, пока тот читает. А мистеру Баккету приходят в голову какие-то новые мысли,— это видно по его глазам,— и, согнув свой указательный палец, но не отрывая глаз от письма, он, наконец, говорит:

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, я вас понимаю.

Сэр Лестер пишет на аспидной доске: «Полное прощение. Найдите...» Мистер Баккет останавливает его.

— Сэр Лестер Дедлок, баронет, я ее найду. Но поиски надо начать немедленно. Нельзя терять ни минуты.

С быстротою мысли повернувшись в ту сторону, куда посмотрел сэр Лестер Дедлок, он видит на столе небольшую шкатулку.

— Принести ее сюда, сэр Лестер Дедлок, баронет? Понятно. Открыть одним из этих ключей? Понятно. Самым маленьким ключом? Разумеется. Вынуть деньги? Вынимаю. Пересчитать? За этим дело не станет. Двадцать и тридцать — пятьдесят, еще двадцать — семьдесят, еще пятьдесят — сто двадцать, да еще сорок — сто шестьдесят. Взять их на расходы? Возьму и, конечно, дам отчет. Денег не жалеть? Не буду.

Быстрота, с какой мистер Баккет безошибочно понимает все молчаливые приказания сэра Лестера, кажется почти сказочной. Миссис Раунсуэлл взяла свечу, чтобы посветить ему, и у нее даже голова закружилась — так стремительно бегают его глаза и летают руки, когда он вскакивает, уже готовый к отъезду.

— А вы Джорджу матерью доводитесь, бабушка; вот вы кто такая, правда? — обращается к ней мистер Баккет, уже нахлобучив шляпу на голову и застегивая пальто.

— Да, сэр, я его мать, и до чего я по нем горюю!

— Так я и думал, судя по тому, что он давеча мне говорил. Ну что ж, тогда я вам кое-что скажу. Можете больше не горевать. С вашим сыном все обстоит прекрасно. Нет, плакать не надо, потому что сейчас вы должны ухаживать за сэром Лестером Дедлоком, баронетом, а будете плакать — ему лучше не станет. Что до вашего сына, повторяю: у него все прекрасно, и он с сыновней любовью велел пожелать вам того же и поклониться. Обвинение с него сняли,— вот как обстоит дело; честь его ничуть не пострадала и репутация не запятнана,— она не хуже вашей, а ваша чиста, как стеклышко, держу пари на один фунт. Можете мне верить — ведь это я забрал вашего сынка. Он тогда вел себя молодцом, да и вообще он человек расчудесный, а вы расчудесная старушка, и вы с ним такие мать и сын, что вас можно за деньги показывать как образцовых... Сэр Лестер Дедлок, баронет, ваше поручение я выполню. Не бойтесь, что я сверну с дороги вправо или влево, что я засну, умоюсь или побреюсь раньше, чем найду то, что пошел искать. Передать от

вашего имени прощение и вообще всякие добрые слова? Сэр Лестер Дедлок, баронет, передам. Вам желаю поправиться, а вашим семейным делам — уладиться, как они улаживались — бог мой! — и будут улаживаться во многих семействах до скончания веков!

Кончив свою речь и застегнувшись на все пуговицы, мистер Баккет бесшумно выходит из комнаты, глядя перед собой и словно уже пронизывая глазами ночную тьму в поисках беглянки...

Прежде всего он направляется в покои миледи и осматривает их, стараясь найти хоть какую-нибудь мелочь, которая могла бы ему помочь. Теперь в ее комнатах совсем темно, и было бы очень любопытно понаблюдать, как мистер Баккет, подняв над головой восковую свечу, мысленно составляет инвентарь хрупких безделушек, которые столь разительно не вяжутся с его обликом; но никто его не видит, потому что он позаботился запереть дверь.

— Шикарный будуар,— говорит мистер Баккет, чувствуя, что он как будто понаторел во французском языке после своей недавней стычки с француженкой.— Должно быть, стоил кучу денег. Нелегко, верно, было расстаться с такой роскошью; очень уж туго ей пришлось, надо думать!

Он открывает и закрывает ящики в столах, заглядывает в шкатулки и футляры с драгоценностями, видит свое отражение в бесчисленных зеркалах и принимается философствовать по этому поводу.

— Можно подумать, что я вращаюсь в великосветских кругах и сейчас собираюсь расфрантиться, чтобы ехать на бал в Олмэк *,— бормочет мистер Баккет.— Того и гляди окажется, что я — какой-нибудь гвардейский щеголь, а мне-то и невдомек.

По-прежнему обегая глазами комнату, он находит в ящике комода дорогой ларчик и открывает его. Широкая его рука роется в перчатках, почти не ощущая их,— слишком они легки и нежны для его огрубевших пальцев,— и вдруг нащупывает белый носовой платок.

— Хм! Надо осмотреть *тебя,*— говорит мистер Баккет, ставя на комод свечу.— С какой это стати *тебя* хранили не с другими платками, а припрятали отдельно?

С какой целью? Ты чей платок — ее милости или еще чей-то? Где-нибудь на тебе должна быть метка.

Отыскав метку, он читает вслух: «Эстер Саммерсон».

— Так! — говорит мистер Баккет и стоит, приложив палец к уху.— Пойдем-ка: *тебя* я прихвачу с собой.

Он заканчивает свои наблюдения так же бесшумно и тщательно, как начал и вел их: наводит порядок, оставляя все вещи, кроме платка, на тех самых местах, где они были раньше, и, пробыв в этих комнатах всего минут пять, покидает их и выходит на улицу. Бросив взгляд вверх, на тускло освещенные окна в спальне сэра Лестера, он мчится во весь дух к ближайшей стоянке наемных карет и, выбрав лошадь, за которую не жаль заплатить хорошие деньги, велит ехать в «Галерею-Тир Джорджа». Мистер Баккет не считает себя ученым знатоком лошадей, но, привыкнув посещать главнейшие конские состязания и тратить там малую толику денег, обычно любит подводить итоги своим знаниям в этой области, утверждая, что, если лошадь резва, он это сразу видит.

Вот и сегодня он тоже не ошибся. Тарахтя по булыжникам со скоростью, опасной для жизни, и, однако, внимательно глядя острыми глазами на всех крадущихся прохожих, мимо которых карета несется по полночным улицам, и даже на свет в верхних окнах, за которыми люди уже легли или ложатся спать, и на углы улиц, которые с грохотом объезжает карета, и на пасмурное небо, и на землю, покрытую тонкой пеленой снега,— ибо след может найтись где угодно,— он во весь опор мчится к месту своего назначения, да так стремительно, что, приехав и соскочив на землю, чуть не задыхается в клубах пара, который валит от лошади.

— Отпусти-ка ей удила на минутку, пускай остынет; а я мигом вернусь.

Пробежав по длинному деревянному проходу, он видит, что кавалерист сидит дома и курит трубку.

— Так я и знал, Джордж, что после всего, что вы пережили, вы первым долгом возьметесь за трубку, приятель. Не могу тратить лишних слов. Дело чести! Все — ради спасения женщины. Мисс Саммерсон, та девица, что была здесь, когда умер Гридли,— не беспокойтесь, я

знаю, что ее так зовут,— о ней не беспокойтесь! — так вот: где она живет?

Кавалерист только что вернулся домой после визита к ней и дает ее адрес,— это неподалеку от Оксфорд-стрит.

— Вы об этом не пожалеете, Джордж. Спокойной ночи!

Он выходит, смутно припоминая, что, оказывается, видел и Фила, который сидел, разинув рот, у нетопленного камина, уставившись на нежданного гостя; потом несется дальше и снова выходит из кареты, опять-таки окутанный клубами пара.

Мистер Джарндис один не спит во всем доме, но уже собирается лечь спать, как вдруг слышит резкий звон колокольчика и, оторвавшись от книги, в халате спускается вниз, чтобы открыть дверь.

— Не пугайтесь, сэр.— Гость, во мгновение ока очутившись в передней, уже запер дверь и, дружески глядя на хозяина, стоит, положив руку на задвижку.— Я уже имел удовольствие встречаться с вами. Инспектор Баккет. Взгляните на этот носовой платок, сэр,— это платок мисс Эстер Саммерсон. Я сам нашел его в комоде у леди Дедлок четверть часа назад. Нельзя терять ни минуты. Дело идет о жизни и смерти. Вы знакомы с леди Дедлок?

— Да.

— Сегодня там открылась одна тайна. Семейные дела получили огласку. Сэра Лестера Дедлока, баронета, хватил удар,— не то апоплексия, не то паралич,— и его долго не удавалось привести в чувство, так что потеряно драгоценное время. Леди Дедлок ушла из дому сегодня, во второй половине дня, и оставила мужу письмо, которое мне совсем не по нутру. Прочтите его. Вот оно!

Прочитав письмо, мистер Джарндис спрашивает сыщика, что он обо всем этом думает?

— Не знаю что и думать. Скорей всего она хочет покончить с собой. Так или иначе, может дойти до этого, и опасность возрастает с каждой минутой. Надо было начать поиски раньше — я бы ста фунтов не пожалел отдать за каждый потерянный час. Дело в том, мистер Джарндис, что сэр Лестер Дедлок, баронет, поручил мне выследить и найти ее... чтобы спасти и сказать, что он ее

прощает. Деньги и полномочия у меня имеются, но мне нужно еще кое-что. Мне нужна мисс Саммерсон.

Мистер Джарндис переспрашивает с тревогой в голосе:

— Мисс Саммерсон?

— Слушайте, мистер Джарндис,— отвечает мистер Баккет, который все это время с величайшим вниманием изучал лицо собеседника,— я говорю с вами как с человеком большой души, а дело такое спешное, какие не часто случаются. Промедление тут необычайно опасно, и если оно произойдет по вашей вине, вы потом никогда себе этого не простите. Повторяю, восемь, а то и десять часов, ценой по сотне фунтов каждый, не меньше, потеряны с тех пор, как леди Дедлок исчезла. Мне поручили ее найти. Я — инспектор Баккет. Ее и так уж тяготило многое, а тут еще она узнала, что ее заподозрили в убийстве. Если я пущусь за нею в погоню один, она, не зная о том, что́ сэр Лестер Дедлок, баронет, просил меня передать, может дойти до крайности. Если же я поеду за нею вдогонку вместе с молодой леди, к которой она питает нежные чувства,— я ни о чем не спрашиваю и вообще об этом ни слова,— она поверит, что я ей друг. Отпустите со мной мисс Саммерсон, дайте мне возможность удержать леди Дедлок с ее помощью, и я спасу беглянку и верну ее, если она еще жива. Отпустите со мной мисс Саммерсон,— задача эта трудная,— и я как можно лучше сделаю все, что в моих силах, хоть и не знаю, что в данном случае будет лучше. Время летит — скоро час ночи. Когда он пробьет, будет потерян еще целый час, а он стоит уже не сотню, а тысячу фунтов.

Все это верно, и спешить действительно необходимо. Мистер Джарндис просит сыщика подождать внизу, пока сам он пойдет переговорить с мисс Саммерсон. Мистер Баккет соглашается, но, по своему обыкновению, не остается внизу, а следует за мистером Джарндисом наверх, не упуская его из виду. Пока наверху совещаются, он стоит в засаде на полутемной лестнице. Немного погодя мистер Джарндис, вернувшись, говорит, что мисс Саммерсон сейчас придет и под покровительством мистера Баккета будет сопровождать его всюду, куда он укажет.



Мистер Баккет, очень довольный, одобряет это решение и, поджидая свою спутницу, отходит к двери.

Тут он настраивает свой ум на высокий лад и устремляет мысленный взор в необъятную даль. Он видит множество одиноких прохожих на улицах; множество одиноких за городом, на пустошах, на дорогах, под стогами сена. Но той, которую он ищет, среди них нет. Он видит других одиноких: они стоят на мостах и, перегнувшись через перила, смотрят вниз; они ютятся во мраке глухих закоулков под мостами, у самой воды; а какой-то темный-темный бесформенный предмет, что плывет по течению,— самый одинокий из всех,— привлекает к себе его внимание.

Где она? Живая или мертвая, где она? Если бы тот платок, который он складывает и бережно прячет, волшебной силой показал ему комнату, где она его нашла, показал окутанный мраком ночи пустырь, вокруг домишка кирпичника, где маленького покойника покрыли этим платком, сумел бы Баккет выследить ее там? На пустыре, где в печах для обжига пылают бледно-голубые огни; где ветер срывает соломенные кровли с жалких кирпичных сараев; где глина промерзла, а вода превратилась в лед и чудится, будто дробилка, которую, целый день шагая по кругу, приводит в движение изможденная слепая лошадь, это не просто дробилка, но орудие пытки для человека,— на этом гиблом, вытоптанном пустыре маячит чья-то одинокая тень, затерянная в этом скорбном мире, засыпаемая снегом, гонимая ветром и как бы оторванная от всего человечества. Это женщина; но она одета как нищая, и в подобных отрепьях никто не пересекал вестибюля Дедлоков и, распахнув огромную дверь, не выходил из их дома.

## ГЛАВА LVII

### *Повесть Эстер*

Я уже легла спать и успела заснуть, как вдруг опекун постучал в дверь моей комнаты и попросил меня встать немедленно. Когда я выбежала, чтобы поговорить с ним и узнать, что случилось, он после двух-трех вступитель-

ных слов сказал мне, что сэр Лестер Дедлок узнал все, что моя мать бежала из дому, а к нам явился человек, которому поручено найти ее, если удастся, и заверить в том, что ее простили, что ее любят и не дадут в обиду; меня же этот человек просит сопровождать его, в надежде, что на нее повлияют мои мольбы, если сам он не сумеет ее убедить. Таков был общий смысл слов опекуна, и я их поняла; но тревога, спешка и горе привели меня в замешательство, и как я ни старалась, я не могла успокоиться и совсем пришла в себя лишь спустя несколько часов.

Тем не менее я быстро оделась и закуталась, не разбудив ни Чарли, ни других обитателей нашего дома, и сошла вниз, к мистеру Баккету,— оказалось, что это ему доверили тайну. Так мне сказал опекун, провожая меня, и объяснил также, почему мистер Баккет вспомнил обо мне. В передней при свете свечи, которую держал опекун, мистер Баккет вполголоса прочел мне письмо, оставленное моей матерью на столе, и минут через десять, после того как меня разбудили, я уже сидела рядом со своим спутником и мы быстро катили по улицам.

Он сказал мне прямо, однако стараясь щадить меня, что хочет задать мне несколько вопросов и что очень многое будет зависеть от моих ответов, которые должны быть совершенно точными. Спрашивал он главным образом о том, как часто я виделась со своей матерью (которую он неизменно называл «леди Дедлок»), когда и где я говорила с нею в последний раз и как это вышло, что у нее очутился мой носовой платок. Когда я ответила ему на эти вопросы, он попросил меня хорошенько подумать — подумать не спеша, нет ли где-нибудь такого человека, все равно где, к которому она вероятней всего решит обратиться в случае крайней необходимости. Я никого не могла указать, кроме опекуна. Но, подумав, назвала еще мистера Бойторна. Я вспомнила о нем потому, что о моей матери он всегда говорил с рыцарской почтительностью, был когда-то помолвлен с ее сестрой,— как я слышала от опекуна,— и, сам того не ведая, пострадал по причинам, связанным с ее прошлым.

Во время этого разговора мой спутник приказал вознице придержать лошадь, чтобы нам было легче слышать

друг друга. Теперь же он велел ему трогаться снова и, немного подумав, сказал мне, что уже решил, как действовать дальше. Он был не прочь изложить мне свой план, но в голове у меня мутилось, и я чувствовала, что все равно ничего не пойму.

Мы отъехали еще не очень далеко от нашего дома, как вдруг остановились в переулке у освещенного газом здания, где, видимо, помещалось какое-то учреждение. Мистер Баккет провел меня туда и усадил в кресло у камина, в котором ярко пылал огонь. Я посмотрела на стенные часы — был уже второй час ночи. Двое полицейских в безукоризненно опрятных мундирах и ничуть не похожие на людей, работающих всю ночь, молча писали что-то за письменным столом; и вообще здесь было очень тихо, если не считать того, что из подвального этажа доносились глухие стуки в дверь и крики, на которые никто не обращал внимания.

Мистер Баккет вызвал третьего полицейского и шепотом передал ему какие-то инструкции, после чего тот вышел из комнаты, а первые двое стали совещаться, причем один из них одновременно писал что-то под диктовку мистера Баккета, говорившего вполголоса. Оказалось, что они составляли описание наружности моей матери, и когда оно было закончено, мистер Баккет принес его мне и прочел шепотом. Описание это было сделано очень точно.

Второй полицейский, подойдя к нам вплотную и внимательно прослушав чтение, снял с описания копию и вызвал еще одного человека в мундире (их было несколько в соседней комнате), а тот взял копию и ушел с нею. Все это они делали очень быстро, не теряя ни минуты, хотя никто, казалось, не спешил. Как только бумагу кудато отослали, оба полицейских снова принялись что-то писать — очень старательно и аккуратно. Мистер Баккет стал спиной к камину и в задумчивости принялся греть перед огнем подошвы своих сапог, согнув сначала одну ногу, потом другую.

— Вы хорошо закутались, мисс Саммерсон? — спросил он, поймав мой взгляд.— На дворе зверский холод; не под силу это для молодой леди — провести ночь на воздухе в такую стужу.

Я ответила, что мне все равно, какая погода, и одета я тепло.

— Дело может затянуться надолго,— заметил он.— Ну что ж, пускай, лишь бы оно хорошо кончилось, мисс.

— Молю бога, чтобы оно кончилось хорошо! — сказала я.

Он успокоительно кивнул головой.

— Что бы вы ни делали, никогда не волнуйтесь. Что бы ни случилось, отнеситесь к этому хладнокровно и спокойно,— так будет лучше для вас, лучше для меня, лучше для леди Дедлок и лучше для сэра Лестера Дедлока, баронета.

Ко мне он был так внимателен, говорил со мной так мягко, что, глядя на него, когда он стоял спиной к камину, грея себе сапоги и почесывая щеку указательным пальцем, я прониклась доверием к его прозорливости, и это меня успокоило. Еще не было без четверти двух, когда я услышала топот копыт и стук колес.

— Ну, мисс Саммерсон,— сказал мистер Баккет,— пора нам тронуться в путь!

Он взял меня под руку, полицейские вежливо поклонились мне на прощанье, и я увидела у подъезда фаэтон, или скорее коляску с поднятым верхом, запряженную парой почтовых лошадей и с форейтором вместо кучера. Мистер Баккет усадил меня в экипаж, а сам сел на козлы. Человек в мундире, которого мистер Баккет посылал за коляской, передал ему, по его просьбе, потайной фонарь, и, после того как он сделал несколько указаний форейтору, мы отъехали.

Иногда мне казалось, что все это сон. Мы мчались во весь опор по таким путаным улицам, что в этом лабиринте я скоро потеряла всякое представление о том, где мы находимся; заметила только, что мы два раза переехали по мостам через Темзу, затем покатили по ее низкому берегу, густо застроенному, пересеченному узкими уличками, загроможденному сухими и плавучими доками, висячими мостами и высокими складами, из-за которых торчал целый лес корабельных мачт. Наконец мы остановились на углу какого-то топкого переулка, где, несмотря на сильный ветер, дувший с реки, стоял очень тяжелый запах, и тут при свете фонаря мой спутник стал сове-

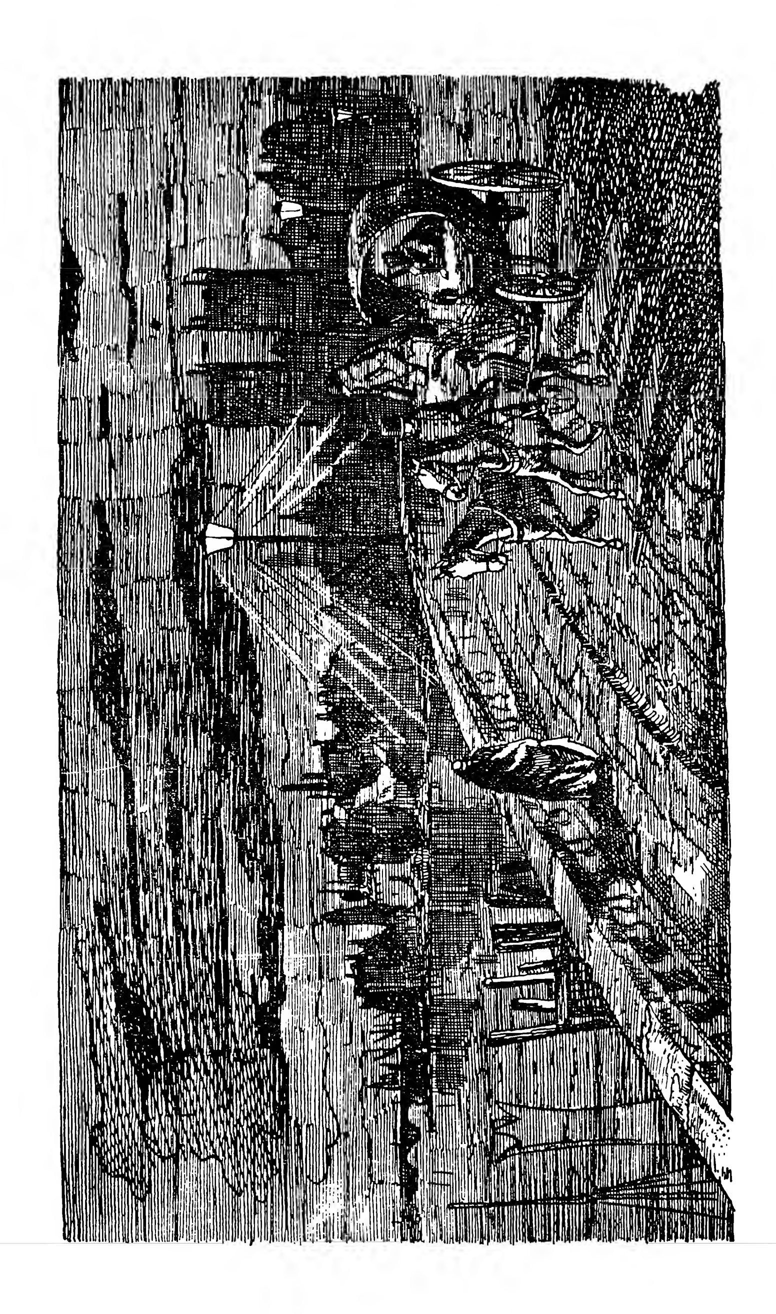
щаться с какими-то людьми, видимо полисменами и матросами. На полуразрушенной стене, у которой они стояли, висело объявление, и я разобрала на нем слова: «Найдены утопленники», потом другую надпись что-то насчет вылавливания баграми,— и тогда во мне вспыхнуло страшное подозрение: я поняла, с какой целью мы приехали сюда.

Мне незачем было напоминать себе, что я нахожусь тут не для того, чтобы, поддавшись своим чувствам, усложнить трудные поиски, умалить надежды на их успех и удлинить неизбежные проволочки. Я молчала, но никогда не забуду, сколько я выстрадала в этом ужасном месте. И по-прежнему все вокруг казалось мне страшным сном. Позвали сидевшего в лодке человека, совсем черного от грязи, в длинных сапогах, промокших и разбухших, и такой же шляпе, и он стал шептаться с мистером Баккетом, а потом вместе с ним спустился куда-то по скользким ступеням — вероятно затем, чтобы показать ему что-то спрятанное там. Они вернулись, вытирая руки о полы пальто, словно там, внизу, они трогали и переворачивали что-то мокрое; но, к счастью, мои опасения оказались напрасными!

Посовещавшись некоторое время с окружающими, мистер Баккет (которого все здесь, видимо, знали и уважали) вошел вместе с ними в какой-то дом, оставив меня в коляске, а форейтор принялся ходить взад и вперед около своих лошадей, чтобы согреться. Начинался прилив, о чем я догадывалась по шуму прибоя, слыша, как волны разбиваются о берег в конце переулка, устремляясь в мою сторону. Они даже не приблизились к нам, и все же за те четверть часа, а может быть и меньше,— что мы простояли на берегу, мне сотни раз чудилось, будто волны уже подкатывают, и я содрогалась при мысли, что они могут бросить под ноги лошадям мою мать.

Но вот мистер Баккет вышел, наказав здешним людям «смотреть в оба», и, погасив фонарь, снова занял свое место.

— Не тревожьтесь, мисс Саммерсон, хоть мы и заехали в эту дыру,— сказал он, повернувшись ко мне.— Я только хотел наладить дело и самолично убедиться, что оно налажено. Трогай, приятель!



Должно быть, мы повернули назад и ехали теперь прежней дорогой. Это не значит, что я, в расстройстве чувств, смогла запомнить хоть какие-нибудь отдельные приметы нашего пути к реке, но так мне казалось по общему виду улиц. Мы ненадолго заехали в какое-то другое учреждение, вероятно полицейский участок, и еще раз проехали по мосту. Все это время, да и в течение всей нашей поездки, мой закутанный спутник, сидевший на козлах, ни на миг не ослаблял напряженного внимания ко всему окружающему, но, когда мы ехали по мосту, он, казалось, насторожился еще больше. Один раз он привстал, чтобы заглянуть через перила, в другой раз соскочил с козел и побежал назад вслед за какой-то женщиной, как тень проскользнувшей мимо нас; то и дело он смотрел в глубокую черную бездну воды, и лицо у него было такое, что сердце у меня замирало. Река в тот час наводила ужас — она была такая мрачная и словно затаившаяся, так быстро ползла между низкими плоскими берегами, была так густо испещрена какими-то тенями и предметами с неясными, призрачными очертаниями, казалась такой мертвенной и таинственной. С тех пор я много раз видела ее и при солнечном и при лунном свете, но так и не могла забыть впечатлений своей ночной поездки. В моей памяти на этом мосту всегда тускло горят фонари; резкий вихрь бешено крутится вокруг бездомной женщины, бредущей нам навстречу, монотонно вертятся колеса, а свет фонарей на нашей коляске отражается в воде, и чудится, будто бледный отблеск его глядит на меня... как лицо, выступающее из жуткой реки.

Мы долго тарахтели по безлюдным улицам, но вот, наконец, съехали с мостовой на темную, немощеную дорогу, и городские дома остались позади нас. Немного погодя я узнала хорошо знакомую мне дорогу в Сент-Олбенс. В Барнете нас дожидалась подстава; лошадей перепрягли, и мы тронулись дальше. Стоял жестокий мороз, открытая местность, по которой мы ехали, вся побелела от снега; но сейчас снег не шел.

— А ведь она старая ваша знакомая, эта дорога-то, правда, мисс Саммерсон? — пошутил мистер Баккет.

— Да,— отозвалась я.— Вы собрали какие-нибудь сведения?

— Кое-какие собрал, но им нельзя доверять вполне,— ответил он,— впрочем, времени прошло еще немного.

Мистер Баккет заходил во все трактиры, и дневные и ночные, если только в них горел свет (в те времена на этой дороге они встречались часто, так как здесь было много проезжих), и соскакивал с козел у застав, чтобы поговорить со сборщиками подорожных пошлин. Я не раз слышала, как он приказывал подать вина своим собеседникам и бренчал монетами, да и вообще он был со всеми любезен и весел, но как только снова садился на козлы, лицо его принимало прежнее настороженное, сосредоточенное выражение, и он неизменно бросал форейтору все тем же деловым тоном:

— Трогай, приятель!

Мы задерживались так часто, что все никак не могли доехать до Сент-Олбенса, а между пятью и шестью часами утра снова остановились в нескольких милях от него у трактира, из которого мистер Баккет принес мне чашку чаю.

— Выпейте, мисс Саммерсон,— это вас подкрепит. А вы понемногу приходите в себя, правда?

Я поблагодарила его и сказала, что, пожалуй, действительно прихожу в себя.

— Вначале вы, что называется, были ошеломлены,— сказал он,— да и немудрено, бог мой! Не говорите громко, душа моя. Все в порядке. Мы ее нагоняем.

Не знаю, какое радостное восклицание вырвалось или чуть было не вырвалось у меня, но он поднял палец, и я прикусила язык.

— Она прошла здесь вчера вечером, около восьми или девяти часов. В первый раз я услышал о ней у Хайгетской таможенной заставы *, но не мог узнать ничего определенного. С тех пор расспрашивал о ней всюду. В одном месте нападал на ее след, в другом терял его: но все равно она где-то впереди на нашей дороге и жива... Эй, конюх, бери обратно чашку с блюдцем. И если ты не увалень, посмотрим, удастся тебе поймать полукрону другой рукой или нет. Раз, два, три — поймал! Ну, приятель, теперь вскачь!

Вскоре мы прибыли в Сент-Олбенс, где остановились незадолго до рассвета, как раз когда я начала сопостав-

лять и осознавать события этой ночи, поверив, наконец, что все это — не сон. Оставив коляску на почтовой станции и приказав заложить в нее пару свежих лошадей, мистер Баккет взял меня под руку, и мы направились домой, то есть к Холодному дому.

— Это ваше постоянное местожительство, мисс Саммерсон,— объяснил мой спутник,— поэтому я хочу навести справки здесь — может, сюда заходила какая-нибудь незнакомка, похожая на леди Дедлок, и спрашивала вас или мистера Джарндиса. Вряд ли это могло быть, но возможность не исключена.

Когда мы поднимались на холм, он внимательно осматривал все вокруг — уже начало светать,— и вдруг напомнил мне, что когда-то, в памятный для меня вечер, я спускалась с этого холма вместе со своей маленькой горничной и бедным Джо, которого он называл Тупицей.

Я не могла понять, как он узнал об этом.

— Вон там на дороге вы поравнялись с каким-то человеком,— помните? — спросил мистер Баккет.

Да, я и это отлично помнила.

— Это был я,— сказал мой спутник.

Заметив, что я удивилась, он продолжал:

— В тот день я приехал сюда на двуколке повидать этого малого. И вы, наверное, слышали, как стучали колеса, когда вы сами пошли его повидать; я же заметил вас и вашу девчонку в то время, как вы обе поднимались в гору, а я вел на поводу свою лошадь под гору. Я расспросил о парне в поселке, быстро узнал, в каком обществе он очутился, и только было подошел к кирпичным сараям, чтобы за ним последить, как увидел, что вы ведете его сюда, к себе домой.

— Разве он тогда в чем-нибудь провинился? — спросила я.

— Нет, ни в чем,— ответил мистер Баккет, спокойно сдвинув шляпу на затылок,— но не думаю, чтобы он вообще вел себя безукоризненно. Не думаю. Я хотел его повидать потому, что необходимо было избежать огласки этой самой истории, касавшейся леди Дедлок. А мальчишка не умел держать язык за зубами, разболтал про то, что однажды оказал небольшую услугу покойному

мистеру Талкингхорну, за которую тот ему заплатил; ну, а позволить ему болтать нельзя было ни в каком случае. Итак, я выпроводил его из Лондона, а потом решил приехать сюда и приказать ему, чтоб он и не думал возвращаться в город, раз уж он оттуда ушел, а убирался бы подальше да не попадался мне на обратном пути.

— Бедный мальчик! — сказала я.

— Довольно бедный,— согласился мистер Баккет,— и довольно беспокойный, и довольно не плохой — только вдали от Лондона и прочих подобных мест. Когда я увидел, что его взяли к вам в дом, я, верьте не верьте, прямо остолбенел.

Я спросила его, почему.

— Почему, душа моя? — сказал мистер Баккет.— Да потому, разумеется, что в вашем доме его длинному языку и конца бы не было. Все равно как если бы он родился с языком ярда в полтора или того длиннее.

Теперь я отчетливо помню весь этот разговор, но тогда в голове у меня мутилось, и мне никак не удавалось сосредоточить внимание — я сообразила только, что, рассказывая мне о Джо так подробно, мой спутник хотел лишь развлечь меня. Из тех же благих побуждений, надо полагать, он часто заговаривал со мной о том о сем, но по лицу его было видно, что он все время думает только о своей цели. На эту тему он говорил и тогда, когда мы вошли в наш сад.

— А! — сказал мистер Баккет.— Вот мы и пришли! Красивый дом и стоит в уединенном месте. Прямо как в сказке — ни дать ни взять домик в дятловом дупле,— который можно было распознать только по дыму, что так красиво вился над крышей. Я вижу, тут раненько начинают разводить огонь на кухне; значит, служанки у вас хорошие. Только нужно строго следить за теми людьми, которые приходят в гости к прислуге; кто их знает, что у них на уме, да и не угадаешь, если не знаешь наверное, зачем они пришли. И еще одно, душа моя: если вы когда-нибудь обнаружите, что за кухонной дверью прячется молодой человек, обязательно подайте на него жалобу, как на заподозренного в тайном проникновении в жилой дом с противозаконной целью.

Мы уже подошли к дому. Мистер Баккет нагнулся, внимательно осмотрел гравий в поисках следов, потом взглянул вверх, на окна.

— А этот старообразный юнец, мисс Саммерсон, он всегда живет в одной и той же комнате, когда приезжает к вам в гости? — спросил он, глядя на окна комнаты, которую мы обычно отводили мистеру Скимполу.

— Вы знаете мистера Скимпола! — воскликнула я.

— Как вы сказали? — переспросил мистер Баккет, наклонившись ко мне.— Скимпол, да? Я не раз спрашивал себя, как его фамилия. Так, значит, Скимпол. А как его зовут? Уж наверное не Джоном и не Джекобом!

— Гарольдом,— ответила я.

— Гарольдом. Так. Престранная птица этот Гарольд,— сказал мистер Баккет, глядя на меня очень многозначительно.

— Он своеобразный человек,— согласилась я.

— Не имеет понятия о деньгах,— заметил мистер Баккет.— Но все же от них не отказывается!

Мистер Баккет, очевидно, знает его, невольно вырвалось у меня.

— Послушайте-ка, что я вам расскажу, мисс Саммерсон,— начал он.— Вам вредно все время думать об одном и том же, так что я вам про это расскажу, чтобы вы хоть немного отвлеклись. Ведь это он сказал мне, где находится Тупица. В ту ночь я решил было постучаться и только спросить у кого-нибудь о мальчишке; а потом подумал — дай-ка я сначала попытаю счастья, авось удастся разыскать его иным путем; увидел тень в этом окне, да и бросил в стекло горсть гравия. Гарольд открыл окно, я на него поглядел; ну, думаю: «Этот субъект мне пригодится». Первым долгом принялся его умасливать — сказал, что не хочется-де беспокоить хозяев, раз они уже легли спать, и как это, мол, прискорбно, что мягкосердечные молодые леди укрывают у себя бродяг; а как только раскусил его хорошенько, говорю, что охотно, мол, пожертвую пятифунтовую бумажку, лишь бы выпроводить отсюда Тупицу без шума и треска. Тут он весь расплывается в улыбке, поднимает брови и начинает рассуждать: «К чему говорить мне о какой-то пятифунтовой бумажке, друг мой? В таких вопросах я сущее дитя — да я и поня-

тия не имею, что такое деньги». Я-то, конечно, уразумел сразу, что значит этакое беззаботное отношение к подобному предмету, и, теперь уже не сомневаясь, что этот тип как раз такой, какой мне нужен, завернул в пятифунтовую бумажку камешек, да и подбросил его Скимполу. Ладно! Он смеется и сияет с самым невинным видом и, наконец, говорит: «Но я не знаю ценности этой бумажки. Что же мне с нею *делать?*» — «Истратьте ее, сэр»,— отвечаю я. «Но меня облапошат,— говорит он,— мне не дадут столько сдачи, сколько нужно; я потеряю эту бумажку; мне она ни к чему». Бог мой, в жизни вы не видывали такой физиономии, с какой он мне все это выкладывал! Само собой, он объяснил мне, где найти Тулицу, и я его нашел.

Я заметила, что со стороны мистера Скимпола это было предательством по отношению к моему опекуну и такой поступок уже выходит за обычные пределы его ребяческой наивности.

— Вы говорите — пределы, душа моя? — повторил мистер Баккет.— Пределы? Вот что, мисс Саммерсон, хочу я вам дать один совет, который понравится вашему супругу, когда вы счастливо выйдете замуж и заведете свою семью. Всякий раз, как вам кто-нибудь скажет, что «я-де ровно ничего не смыслю в денежных делах»,— смотрите в оба за своими собственными деньгами, потому что их обязательно прикарманят, если удастся. Всякий раз, как вам кто-нибудь объявит: «В житейских делах я дитя»,— знайте, что этот человек просто не желает нести ответственность за свои поступки, и вы его уже раскусили и поняли, что он эгоист до мозга костей. Сказать правду, сам я человек не поэтичный, если не считать того, что иной раз не прочь спеть песню в компании, но зато я человек практичный и знаю все это по опыту. Это закон жизни. Кто ненадежен в одном, тот ненадежен во всем. Ни разу не встречал исключения. И вы не встретите. Да и никто другой. Сделав такое предостережение неопытной девице, душа моя, я позволю себе позвонить в этот вот звонок и, таким образом, вернуться к нашему делу.

Но так же, как у меня, дело, должно быть, ни на миг не выходило у него из головы, о чем можно было догадаться по его лицу. Все наши домашние были поражены

моим неожиданным появлением в столь ранний час, да еще в обществе подобного спутника, а расспросы мои удивили их еще больше. Мне ответили, что никто в Холодный дом не приходил. И это, конечно, была правда.

— Если так, мисс Саммерсон,— сказал мой спутник,— нам надо как можно скорей попасть в тот дом, где живут кирпичники. Вы уж сами их расспросите, будьте так добры. Чем проще с ними разговаривать, тем лучше, а вы — сама простота.

Мы немедленно тронулись в путь. Дойдя до памятного мне домика, мы увидели, что он заперт и, по-видимому, необитаем; но одна из соседок, знавших меня, вышла на улицу, в то время как я старалась достучаться, и сказала, что обе женщины с мужьями живут теперь все вместе в другом доме — ветхом домишке, сложенном из старого кирпича, на краю того участка, где находятся печи и длинными рядами сушатся кирпичи. Мы сразу же пошли к этому дому, стоявшему в нескольких сотнях ярдов от прежнего, и, увидев, что дверь полуоткрыта, я ее распахнула.

Обитатели его сидели за завтраком, но их было только трое, не считая ребенка, который спал в углу на койке. Дженни, матери умершего ребенка, дома не было. Увидев меня, другая женщина встала, а мужчины, как всегда, хмуро промолчали, но все-таки угрюмо кивнули мне, как старой знакомой. Когда же вслед за мной вошел мистер Баккет, все переглянулись, и я с удивлением поняла, что женщина его знает.

Я, конечно, попросила разрешения войти. Лиз (я знала только это ее уменьшительное имя), поднявшись, хотела было уступить мне свое место, но я села на табурет у камина, а мистер Баккет присел на край койки. Теперь, когда мне пришлось говорить с людьми, к которым я не привыкла, я вдруг разволновалась и почувствовала себя неловко. Было очень трудно начать, и я не удержалась от слез.

— Лиз,— промолвила я,— я приехала издалека, ночью, по снегу, чтобы спросить насчет одной леди...

— Которая была здесь, как вам известно,— перебил меня мистер Баккет, обращаясь ко всем троим сразу и вкрадчиво глядя на них,— о ней-то вас и спрашивают.

О той самой леди, что была здесь вчера вечером, как вам известно.

— А кто сказал *вам,* что здесь кто-то был? — спросил муж Дженни, который даже перестал есть, прислушиваясь к разговору, и хмуро уставился на мистера Баккета.

— Мне это сказал некто Майкл Джексон — тот, что носит синий вельветовый жилет с двумя рядами перламутровых пуговиц,— недолго думая, ответил мистер Баккет.

— Кто б он там ни был, пусть занимается своими делами и не сует носа в чужие,— проворчал муж Дженни.

— Он, должно быть, безработный,— объяснил мистер Баккет в оправдание мифическому Майклу Джексону,— вот и чешет язык от нечего делать.

Женщина не села на свое место, а стояла в нерешительности, положив руку на сломанную спинку стула и глядя на меня. Мне казалось, что она охотно поговорила бы со мной наедине, если бы только у нее хватило смелости. Она все еще колебалась, как вдруг ее муж, который держал ломоть хлеба с салом в одной руке и складной нож — в другой, с силой стукнул рукояткой ножа по столу и, выругавшись, приказал жене не соваться в чужие дела и сесть за стол.

— Мне очень хотелось бы видеть Дженни,— сказала я,— она, конечно, рассказала бы мне все, что знает об этой леди, которую мне, право же, очень нужно догнать — вы не представляете себе, как нужно!.. А что, Дженни скоро вернется домой? Где она?

Женщине не терпелось ответить, но мужчина с новым ругательством пнул ее в ногу своим тяжелым сапогом. Впрочем, он предоставил мужу Дженни сказать все, что тому заблагорассудится, а тот сначала упорно молчал, но, наконец, повернул в мою сторону свою косматую голову:

— Терпеть не могу, когда ко мне приходят господа, о чем вы, может статься, уже слышали от меня, мисс. Я-то ведь не лезу к ним в дом, значит довольно странно с их стороны, что они лезут ко мне. Хорошенький переполох поднялся бы у них в доме, надо полагать, вздумай я прийти в гости к *ним.* Но на вас я не так злюсь, как на других, и вам не прочь ответить вежливо, хоть и преду-

преждаю, что не позволю травить себя как зверя. Скоро ли вернется домой Дженни? Нет, не скоро. Где она? Ушла в Лондон.

— Она ушла вчера вечером? — спросила я.

— Ушла ли она вчера вечером? Да, вчера вечером,— ответил он, сердито мотнув головой.

— Но она была здесь, когда пришла леди? Что ей говорила леди? Куда леди ушла? Прошу вас, умоляю, будьте так добры, скажите мне,— просила я,— потому что я очень встревожена и мне надо знать, где она сейчас.

— Если мой хозяин позволит мне сказать и не обругает...— робко начала женщина.

— Твой хозяин,— перебил ее муж, медленно, но выразительно, пробормотав ругательство,— твой хозяин тебе шею свернет, если ты будешь лезть не в свое дело.

Немного помолчав, муж Дженни снова повернулся ко мне и принялся отвечать на мои вопросы, но по-прежнему неохотно и ворчливым тоном:

— Была ли здесь Дженни, когда пришла леди? Да, была. Что ей говорила леди? Так и быть, скажу вам, что леди ей говорила. Она сказала: «Вы не забыли, как я пришла к вам однажды поговорить про ту молодую леди, что вас навещала? Помните, как щедро я вам заплатила за носовой платок, который она здесь оставила?» Да, Дженни помнила. И все мы помнили. Ладно; а что, эта молодая леди сейчас в Холодном доме? Нет, она в отъезде. Слушайте дальше. Леди сказала, что, как ни странно, но она идет пешком, одна, и нельзя ли ей хоть часок отдохнуть — посидеть на том самом месте, где вы сейчас сидите. Да, можно; ну, она села и отдохнула. Потом ушла часов... скорей всего в двадцать минут двенадцатого, а может, и в двадцать минут первого; у нас тут никаких часов нету, ни карманных, ни стенных,— мы и не знаем, который час. Куда она ушла? Я не знаю, куда она ушла. Она пошла одной дорогой, а Дженни другой; одна пошла прямо в Лондон, другая — в сторону от Лондона. Вот и все. Спросите моего соседа. Он все слышал и видел. Он то же самое скажет.

Другой человек повторил:

— Вот и все.

— Леди плакала? — спросила я.

— Ни черта она не плакала! — ответил муж Дженни.— Башмаки у нее, правда, совсем изорвались, да и платье тоже было рваное, а плакать она не плакала... чего-чего, а этого я не видел.

Женщина сидела сложив руки и потупившись. Ее муж повернул свой стул, чтобы видеть ее лицо, и положив на стол кулак, тяжелый, как молот, очевидно, держал его наготове, чтобы выполнить свою угрозу, если жена нарушит запрет.

— Надеюсь, вы не против того, чтобы я спросила вашу жену, какой у нее был вид, у этой леди? — сказала я.

— Ну, отвечай! — грубо крикнул он жене.— Слышишь, что она сказала? Отвечай, да не говори лишнего.

— Плохой у ней был вид,— ответила женщина.— Бледная она такая была, измученная. Очень плохо выглядела.

— Она много говорила?

— Нет, не много, и голос у нее был хриплый.

Отвечая, она все время смотрела на мужа, как бы спрашивая у него разрешения.

— А что, она очень ослабела? — спросила я.— Она что-нибудь ела или пила у вас?

— Отвечай! — приказал муж в ответ на взгляд жены.— Отвечай, да не болтай лишнего.

— Выпила немного воды, мисс, а потом Дженни подала ей хлеба и чашку чаю. Только она, можно сказать, и не притронулась ни к чему.

— А когда она ушла отсюда...— начала было я, но муж Дженни нетерпеливо перебил меня:

— Когда она отсюда ушла, она пошла прямо на север по большой дороге. Можете там расспросить, если не верите,— увидите, что я правду сказал. Теперь все. Больше говорить не о чем.

Я взглянула на своего спутника и, увидев, что он уже встал и готов тронуться в путь, поблагодарила за полученные сведения и простилась. Женщина проводила мистера Баккета пристальным взглядом, а он, уходя, тоже пристально посмотрел на нее.

— Ну, мисс Саммерсон,— сказал он мне, когда мы быстро пошли прочь,— значит, у них остались часы ее милости. Это ясно как день.

— Вы их видели? — воскликнула я.

— Нет, но все равно что видел,— ответил он.— А то зачем бы ему говорить, что было «двадцать минут» не то двенадцатого, не то первого, и еще, что у них нет часов и они не знают, который час? Двадцать минут! Да разве он умеет определять время с такой точностью? Точность до получаса — это все, на что *он* способен,— уж, конечно, не больше. Так вот, значит: или ее милость отдала ему свои часы, или он сам их взял. Я думаю, что она их отдала, но за какую услугу она отдала ему часы? За какую услугу она их отдала?

Пока мы торопливо шагали вперед, он все повторял этот вопрос, видимо не зная, какой выбрать ответ из всех тех, что приходили ему на ум.

— Если бы только у нас было время,— сказал мистер Баккет,— а этого-то нам как раз и не хватает,— я мог бы выпытать все у той женщины; но почти нет шансов, что мне скоро удастся поговорить с нею наедине, а ждать удобного момента мы не можем. Мужчины следят за ней зорко, а всякий дурак знает, что любая несчастная бабенка вроде нее, забитая, запуганная, замученная, вся в синяках с головы до ног, будет, несмотря ни на что, слушаться мужа, который над ней измывается. Они что-то скрывают. Жаль, что нам не удалось повидать другую женщину.

Я от души жалела об этом, так как Дженни была мне очень благодарна и, наверное, не отказалась бы выполнить мою просьбу.

— Возможно, мисс Саммерсон,— сказал мистер Баккет, все раздумывая над этим вопросом,— что ее милость послала эту женщину в Лондон с весточкой к вам; возможно также, что муж ее получил часы за то, что позволил жене пойти. Все это не вполне ясно для меня, но похоже, что так оно и есть. Не хочется мне выкладывать деньги сэра Лестера Дедлока, баронета, этим грубиянам, да я и не думаю, что это может принести пользу сейчас. Нет! Пока что, мисс Саммерсон, едем вперед, прямо вперед и больше ни слова об этом!

Мы еще раз зашли домой, и там я написала короткую записку опекуну, приказав немедленно отослать ее, а потом поспешили обратно на почтовую станцию, где оставили свою коляску. Лошадей привели, как только увидели, что мы подходим, и спустя несколько минут мы снова тронулись в путь.

Снег пошел еще на рассвете и шел все сильнее. День был такой пасмурный, а снег шел так густо, что в какую сторону ни глянь, ни зги не было видно. Несмотря на жестокий мороз, снег не совсем смерзся и хрустел под копытами лошадей, как ракушки на берегу моря, превращаясь в какую-то кашу из грязи и воды. Лошади то и дело скользили и спотыкались, и мы были вынуждены останавливаться, чтобы дать им передышку. Во время первого перегона одна наша лошадь три раза спотыкалась и падала и теперь едва держалась на ногах, так что форейтору пришлось спешиться и вести ее на поводу.

Я не могла ни есть, ни спать, и меня так волновали все эти проволочки и задержки, что не раз во мне вспыхивало неразумное желание выскочить из коляски и пойти пешком. Но, подчиняясь своему благоразумному спутнику, я смирно сидела на месте. А он, свежий и бодрый, вероятно потому, что делал свое дело не без удовольствия, заходил во все дома, попадавшиеся нам по дороге; говорил с первыми встречными, как со старыми знакомыми; бежал погреться на каждый придорожный огонек; беседовал, выпивал и жал руки собеседникам в каждом постоялом дворе и кабачке; дружески болтал со всеми возчиками, колесниками, кузнецами и сборщиками подорожных пошлин; однако не терял ни минуты и, снова влезая на козлы, все с тем же настороженным и решительным выражением лица, всякий раз деловито бросал форейтору: «Трогай, приятель!»

Когда мы меняли лошадей после первого перегона, мистер Баккет, весь облепленный мокрым снегом, который комками падал с его пальто, и с мокрыми до колен ногами, вышел с конного двора, хлюпая и увязая в грязи,— что с ним случалось не раз с тех пор, как мы выехали из Сент-Олбенса,— и, подойдя к коляске, заговорил со мной:

— Держитесь, мисс Саммерсон. Я узнал наверное, что она проходила здесь. Теперь выяснилось, как она была одета, и здесь видели женщину в таком платье.

— Она по-прежнему шла пешком? — спросила я.

— Пешком. Возможно, она направилась к тому джентльмену, о котором вы говорили; однако мне это кажется сомнительным — ведь он живет неподалеку от поместья Дедлоков.

— Я почти ничего не знаю о ней,— сказала я.— Может быть, тут поблизости живет какой-нибудь другой ее знакомый, о котором я никогда не слышала.

— Это верно. Но так или иначе, смотрите не вздумайте плакать, душа моя, и постарайтесь не волноваться... Трогай, приятель!

Мокрый снег шел весь день не переставая; с самого утра поднялся густой туман и не рассеивался ни на минуту. В жизни я не видела таких ужасных дорог. Иной раз я даже побаивалась — а вдруг мы сбились с пути и заехали на пашню или в болото. Сколько времени прошло с тех пор, как мы выехали, я не знала, да и почти не думала об этом; но мне казалось, что очень много, и, как ни странно, чудилось, будто я никогда не была свободна от той тревоги, которая теперь владела мною.

Чем дальше мы ехали, тем больше я опасалась, что мой спутник начинает терять уверенность в себе. С людьми, попадавшимися на дороге, он вел себя по-прежнему, но, когда сидел один на козлах, лицо у него становилось все более озабоченным. Я заметила, что в течение одного длинного перегона он очень беспокоился и все водил и водил пальцем перед губами. Я слышала, как он расспрашивал встречных кучеров и возчиков, каких пассажиров они видели в каретах и других экипажах, ехавших впереди нас. Их ответы его не удовлетворяли. Влезая на козлы, он неизменно делал мне успокоительный знак пальцем или глазами, но когда говорил: «Трогай, приятель!» — в голосе его слышалось недоумение.

Во время одной из остановок, когда мы снова меняли лошадей, он, наконец, сказал мне, что потерял след,— никто на дороге не видел женщины, одетой так-то и так-то,— и потерял так давно, что сам начинает этому удивляться. Не беда, говорил он, когда теряешь след нена-

долго, а потом снова находишь; но в этих местах след вдруг исчез необъяснимым образом, и с тех пор так и не удается снова напасть на него. Это подтверждало мои опасения, возникшие уже тогда, когда он принялся читать названия дорог на столбах и соскакивать с козел на перекрестках, чтобы осматривать их по четверти часа кряду. Впрочем, он и сейчас просил меня не унывать, утверждая, что на следующем перегоне мы, вероятно, снова найдем потерянный след.

Но следующий перегон окончился тем же, что и предыдущий,— мы не узнали ничего нового. При этой станции был просторный постоялый двор, стоявший в уединенном месте, но построенный основательно, с удобствами для проезжих, и не успели мы въехать в огромные ворота, как хозяйка и ее хорошенькие дочки подошли к нашей коляске и принялись упрашивать меня выйти и отдохнуть, пока будут перепрягать лошадей, а я решила, что отказываться нехорошо. Они провели меня наверх в теплую комнату и оставили одну.

Помню, это была угловая комната, с окнами на две стороны,— одно окно выходило на примыкавший к проселку конный двор, где конюхи выпрягали из облепленной грязью коляски забрызганных усталых лошадей, а за двором был виден проселок, над которым медленно покачивалась вывеска; другое окно выходило на темный сосновый лес. Я подошла к этому окну и стала смотреть на ветви деревьев, согнувшиеся под снегом, который бесшумно падал с них мокрыми хлопьями. Надвигалась ночь, и она казалась еще мрачнее оттого, что на оконном стекле, переливаясь, рдели отблески огня, горевшего в камине. Я смотрела на просветы между стволами деревьев, на ямки, чернеющие в снегу, там, куда падала с ветвей капель, и, вспоминая о материнском лице хозяйки, окруженной веселыми дочерьми, которые приняли меня так радушно, думала о том, что *моя* мать, может быть, лежит в таком вот лесу... и умирает.

Я испугалась, внезапно увидев обступивших меня женщин — хозяйку и ее дочерей, но вспомнила, что, падая в обморок, изо всех сил старалась не потерять сознания, и это послужило мне некоторым утешением. Меня усадили на большой диван у камина, обложили подуш-

ками, и добродушная хозяйка сказала, что нынче вечером мне никуда ехать нельзя, а надо лечь в постель. Но я так вздрогнула, испугавшись, как бы они не задержали меня здесь, что хозяйка быстро взяла свои слова обратно, и мы сошлись на том, что я отдохну, но не более получаса.

Добрая она была женщина, ласковая,— и не только она, но и все три ее хорошенькие дочки, которые так хлопотали вокруг меня. Меня упрашивали поесть горячего супа и жареной курицы, пока мистер Баккет обсушится и пообедает в другой комнате; но когда у камина поставили и накрыли круглый стол, я не смогла ни к чему притронуться, хоть мне и очень не хотелось огорчать хозяек. Все же я съела несколько ломтиков поджаренного хлеба и выпила немного горячего вина с водой, и так как все это показалось мне очень вкусным, хозяйки были до некоторой степени вознаграждены за свои старания.

Спустя полчаса, минута в минуту, коляска с грохотом проехала под воротами, и женщины проводили меня вниз, но теперь я уже согрелась, отдохнула, успокоилась под влиянием их ласковых слов и (как я их убедила) вряд ли снова могла лишиться чувств. Когда я села в коляску и с благодарностью распрощалась со всеми, младшая дочь — цветущая девятнадцатилетняя девушка, которая, как мне сказали, должна была выйти замуж раньше сестер,— стала на подножку и поцеловала меня. С той поры я никогда больше ее не видела, но до сих пор вспоминаю о ней как о близком друге.

Окна этого дома, залитые светом свечей и пламенем каминов, казались очень яркими и теплыми во мраке морозной ночи, но они скоро исчезли во тьме, а мы снова принялись уминать и месить мокрый снег. Двигались мы с большим трудом, но на этом перегоне дорога была лишь немногим хуже, чем на прежних, да и перегон был короткий — всего девять миль. Мой спутник, сидя на козлах, курил,— я попросила его не стесняться в этом отношении, когда заметила на последнем постоялом дворе, что он стоит у пылающего огня, уютно окутанный клубами дыма,— но он по-прежнему внимательно всматривался во все окружающее и быстро соскакивал с козел, едва завидев вдали дом или человека, а потом так же быстро взбирался на свое место. На коляске были фонари,

но он зажег и свой потайной фонарик, который, видимо, был его постоянным спутником, и, время от времени поворачивая его в мою сторону, освещал им меня, вероятно желая удостовериться, что я хорошо себя чувствую. Я могла бы задернуть занавески, прикрепленные к поднятому верху коляски, но ни разу этого не сделала — мне казалось, будто этим я лишу себя последней надежды.

Мы проехали весь перегон, но так и не напали на потерянный след. Когда мы остановились на почтовой станции, я в тревоге взглянула на мистера Баккета, который в это время стоял и смотрел, как конюхи перепрягают лошадей, но поняла по его еще более озабоченному лицу, что он ничего не узнал. Однако секунду спустя, как раз когда я откинулась на спинку сиденья, он вдруг заглянул ко мне под верх коляски с зажженным фонариком в руке, возбужденный и совершенно изменившийся в лице.

— Что случилось? — спросила я, вздрогнув.— Она здесь?

— Нет, нет. Не обольщайтесь надеждой, душа моя. Никого здесь нету. Но я напал на след!

Иней опушил его волосы и ресницы и валиками лежал в складках его одежды. Мистер Баккет стряхнул его с лица, перевел дух и только тогда снова заговорил со мной.

— Так вот, мисс Саммерсон,— сказал он, постукивая пальцем по фартуку коляски,— возможно, вы будете разочарованы, когда узнаете, что́ я теперь собираюсь делать, но успокойтесь. Вы меня знаете. Я — инспектор Баккет, и вы можете на меня положиться. Мы ехали долго; но ничего... Подать четверку лошадей! Едем обратно! Живо!

На дворе поднялся переполох, и кто-то, выбежав из конюшни, крикнул: «Куда же ехать, вперед или обратно?»

— Обратно — сказано вам! Обратно! Оглохли, что ли? Обратно!

— Обратно,— спросила я, пораженная.— В Лондон? Значит, мы возвращаемся?

— Да, мисс Саммерсон,— ответил он,— возвращаемся. Прямиком — в Лондон. Вы меня знаете. Не бойтесь. Будем гнаться за другой, черт побери!

— За другой? — повторила я.— За какой другой?

— За Дженни, ведь вы ее так называли? За ней я и буду гнаться... Эй, вы, те две пары сюда — по кроне получите. Да проснитесь вы наконец!

— Но вы не оставите той леди, которую мы ищем... вы не покинете ее в такую ночь, когда она в таком отчаянии! — пролепетала я, в тревоге хватаясь за его руку.

— Нет, душа моя, не покину. Но я буду гнаться за другой... Эй, вы, запрягайте быстрей! Отправить верхового на следующую станцию с приказом выслать оттуда верхового вперед и заказать еще четверку... Милая моя, не бойтесь!

Он так властно отдавал эти распоряжения и так метался по двору, понукая конюхов, что переполошил всю станцию, и это поразило меня, пожалуй, не меньше, чем внезапная перемена направления. Но вот в самом разгаре суматохи верховой галопом ускакал заказывать сменных лошадей, а нашу четверку запрягли во мгновение ока.

— Душа моя,— сказал мистер Баккет, вскакивая на свое место и заглядывая под верх коляски,— простите меня за фамильярность, но постарайтесь поменьше нервничать и волноваться. Я пока больше ничего не скажу, но вы меня знаете, душа моя; не так ли?

Я решилась сказать, что он, конечно, гораздо лучше меня знает, как поступить, но уверен ли он, что поступает правильно? Нельзя ли мне поехать вперед одной, чтобы найти... я в отчаянии схватила его за руку и прошептала: «...свою родную мать?»

— Душа моя,— ответил он,— мне все известно, все; но неужели я стану вас обманывать, как по-вашему? Это я-то — инспектор Баккет? Ведь вы меня знаете, правда?..

Что я могла ответить, как не «да»?

— Так мужайтесь по мере сил и верьте, что я стараюсь для вас не меньше, чем для сэра Лестера Дедлока, баронета... Ну, готово?

— Готово, сэр!

— Едем! Трогай, ребята!

Мы снова мчались по той же унылой дороге, но обратно, а жидкая грязь и талый снег летели из-под копыт нашей четверки, как водяные брызги из-под мельничного колеса.

## ГЛАВА LVIII

### *Зимний день и зимняя ночь*

По-прежнему бесстрастно, как и подобает знатным, городской дом Дедлоков взирает на величаво-унылую улицу. Время от времени в окошках вестибюля появляются пудреные парики, и их обладатели глазеют на беспошлинную пудру, что весь день сыплется с неба, а другие «персиковые цветы» в этой «оранжерее», будучи экзотическими растениями и спасаясь от холодного ветра, дующего с улицы, поворачиваются к огню, ярко пылающему в камине. Приказано говорить, что миледи отбыла в Линкольншир, но изволит вернуться на днях.

Однако молва, у которой нынче хлопот полон рот, не желает следовать за ней в Линкольншир. Щебеча и летая по городу, она и не думает его покидать. Она уже знает, что с этим бедным, несчастным человеком, сэром Лестером, поступили очень дурно. Она слышит, душечка моя, всякие ужасные вещи. Она прямо-таки потешает весь свет, то есть мир, имеющий пять миль в окружности. Не знать, что у Дедлоков что-то стряслось, значит расписаться в своей собственной безвестности. Одна из прелестниц с персиковыми щечками и костлявой шейкой уже осведомлена о всех главнейших уликах, которые будут представлены палате лордов, когда сэр Лестер внесет туда билль о своем разводе *.

У ювелиров Блейза и Спаркла и у галантерейщиков Шийна и Глосса только о том и говорят и будут говорить еще несколько часов, так как это — интереснейшее событие современности, характернейшее явление века. Постоянные посетительницы этих лавок, при всем их высокомерии и недостижимости, измеряются и взвешиваются там с такой же точностью, как и любой товар, и даже самый неопытный приказчик за прилавком отлично разбирается в том, что̀ у них сейчас вошло в моду.

— Наши покупатели, мистер Джонс,— говорят Блейз и Спаркл, панимая этого неопытного приказчика,— наши покупатели, сэр, это — овцы, сущие овцы. Стоит двум-трем меченым овцам тронуться с места, как остальные

уже бегут за ними. Только не упустите первых двух-трех, мистер Джонс, и вся отара попадет к вам в руки.

То же самое говорят Шийн и Глосс *своему* Джонсу, объясняя ему, как надо привлекать великосветское общество и рекламировать товар, на который они (Шийн и Глосс) решили создать моду. Руководясь теми же безошибочными принципами, мистер Следдери, книгопродавец и, поистине, великий пастырь великолепных овец, признается в этот самый день:

— Ну да, сэр, среди моей высокопоставленной клиентуры, конечно, ходят слухи о леди Дедлок, и очень упорные слухи, сэр. Надо сказать, что мои высокопоставленные клиенты непременно должны о чем-нибудь разговаривать, сэр, и стоит увлечь какой-нибудь темой одну или двух леди, которых я мог бы назвать, чтобы этой темой увлеклись все. Представьте себе, сэр, что вы поручили мне пустить в продажу какую-нибудь новинку; я постараюсь заинтересовать ею этих двух леди совершенно так же, как они сейчас сами заинтересовались случаем с леди Дедлок, потому что были знакомы с нею и, быть может, слегка ей завидовали, сэр. Вы увидите, сэр, что эта тема будет пользоваться большой популярностью в среде моих высокопоставленных клиентов. Будь она предметом спекуляции, сэр, на ней можно было бы нажить кучу денег. А уж если это говорю я, можете мне верить, сэр, ибо я поставил себе целью изучить свою высокопоставленную клиентуру, сэр, и умею заводить ее как часы, сэр.

Так слух распространяется в столице, не добираясь, однако, до Линкольншира. В половине шестого пополудни, по часам на башне конногвардейских казарм, от достопочтенного мистера Стейблса, наконец, добились нового изречения, обещающего затмить первое, то, на котором так долго зиждилась его репутация записного остряка. Эта блестящая острота гласит, что хотя он всегда считал леди Дедлок самой выхоленной кобылицей во всей конюшне, но никак не подозревал, что она с норовом и может «понести». Восхищение, вызванное этой остротой в скаковых кругах, не поддается описанию.

То же самое на празднествах и приемах, то есть на тех небесах, где леди Дедлок блистала так часто, и среди тех созвездий, которые она затмевала еще вчера; там она

и сегодня — главный предмет разговоров. Что это? Кто это? Когда это было? Где это было? Как это было? Ее самые закадычные друзья сплетничают про нее на самом аристократическом и новомодном жаргоне с новомодными каламбурами, в новомоднейшем стиле, наимоднейшим манером растягивая слова и с безупречно вежливым равнодушием. Достойно удивления, что эта тема развязала язык всем, кто доселе держал его на привязи, и эти молчальники — подумать только! — ни больше ни меньше, как принялись острить! Одну из таких хлестких острот Уильям Баффи унес из того дома, где обедал, в палату общин, а там лидер его партии пустил ее по рукам вместе со своей табакеркой, чтобы удержать членов парламента, задумавших разбежаться, и она произвела такой фурор, что спикер (которому ее тихонько шепнули на ухо, полузакрытое краем парика) трижды возглашал: «К порядку!» — но совершенно безрезультатно.

Не менее поражает другое обстоятельство, связанное со смутными городскими толками о леди Дедлок,— оказывается, люди, которые вращаются на периферии круга великосветской клиентуры мистера Следдери, люди, которые ничего не знают и никогда ничего не знали о леди Дедлок, находят теперь нужным, для поддержания своего престижа, делать вид, будто и им тоже она служит главной темой всех разговоров; а получив ее из вторых рук, они передают ее дальше вместе с новомодными каламбурами, в новомоднейшем стиле, наимоднейшим манером растягивая слова, с новомоднейшим вежливым равнодушием, и прочее и тому подобное; и хотя все это — из вторых рук, но в низших солнечных системах и среди тусклых звезд почитается равным самой свежей новинке. Если же среди этих мелких торгашей последними новостями попадается литератор, живописец или ученый, как благородно он поступает, поддерживая свою ослабевшую музу столь великолепными костылями!

Так проходит зимний день за стенами дома Дедлоков. А что же происходит в нем самом?

Сэр Лестер лежит в постели и уже обрел дар слова, но говорит с трудом и невнятно. Ему предписали молчание и покой и дали опиума, чтобы успокоить боль,— ведь его давний враг, подагра, терзает его беспощадно. Он

совсем не спит, разве что изредка впадает в тупое, но чуткое забытье. Узнав, что погода очень скверная, он велел передвинуть свою кровать поближе к окну и подложить ему под голову подушки, чтобы он мог видеть, как падает мокрый снег. Весь зимний день напролет он смотрит на снег за окном.

При малейшем шуме, хотя его немедленно прекращают, рука сэра Лестера тянется к карандашу. Старуха домоправительница сидит у его постели и, зная, что̀ именно он собирается написать, шепчет:

— Нет, сэр Лестер, он еще не вернулся. Ведь он уехал вчера поздно вечером. С тех пор прошло не так уж много времени.

Больной опускает руку и снова смотрит на мокрый снег, смотрит долго, пока ему не начинает казаться, будто снег валит так густо и быстро, что от этих мелькающих белых хлопьев и ледяных снежинок у него вот-вот закружится голова; и тогда он на минуту закрывает глаза.

На снег он начал смотреть, как только рассвело. День угаснет еще не скоро, но сэр Лестер решает вдруг, что надо приготовить покои миледи к ее приезду. Сегодня очень холодно и сыро. Надо хорошенько протопить ее комнаты. Пусть все знают, что ее ждут. «Пожалуйста, миссис Раунсуэлл, последите за этим сами». Он пишет все это на аспидной доске, и домоправительница повинуется ему с тяжелым сердцем.

— Боязно мне, Джордж,— говорит она сыну, который ждет ее внизу, чтобы побыть с нею, когда ей удастся урвать свободную минутку,— боязно мне, милый мой, что миледи никогда уже больше не войдет в этот дом.

— Что это у вас за дурные предчувствия, матушка?

— И в Чесни-Уолд не вернется, милый мой.

— Это еще хуже. Но почему, матушка, почему?

— Когда я вчера говорила с миледи, Джордж, мне показалось, будто она так выглядит — да, пожалуй, и так глядит на меня — словно шаги на Дорожке призрака ее почти настигли.

— Полно, полно! Вы сами себя пугаете этими страхами из старых сказок, матушка.

— Нет, милый мой. Нет, не сама я себя пугаю. Вот уже много лет, как я служу в их роду,— шестой деся-

ток,— и никогда у меня не было никаких страхов. Но он гибнет, милый мой; знатный, древний род Дедлоков гибнет.

— Не хочется верить этому, матушка.

— Как я рада, что дожила до той поры, когда понадобилась сэру Лестеру в его болезни и горе,— ведь я еще не совсем одряхлела, я еще могу работать, а ему приятнее, чтобы при нем была я, а не кто-нибудь другой. Но шаги на Дорожке призрака настигнут миледи, Джордж; много дней они за нею гнались, а теперь растопчут ее и двинутся дальше.

— Бог с вами, милая матушка, надеюсь, что этого не случится.

— И я надеюсь, Джордж,— отвечает старуха, качая головой и разводя руками.— Но если мои страхи оправдаются и ему доведется узнать об этом, кто скажет ему правду?..

— Это ее покои?

— Да, это покои миледи, и все здесь осталось в том виде, в каком она их покинула.

— Что ж,— говорит кавалерист, оглядываясь кругом и понижая голос,— теперь я начинаю понимать, почему вы так думаете, матушка. Когда смотришь на комнаты, а они, как вот эти покои, убраны для человека, которого ты привык в них видеть, но он ушел из них в горе, да к тому же бог весть куда,— чудится, будто у них и впрямь жуткий вид.

Он недалек от истины. Как на все расставанья падает тень последней, вечной разлуки, так опустевшие комнаты, лишившись своих обитателей, горестно шепчут о том, какой неизбежно будет когда-нибудь и ваша и моя комната. Пусто стало в гостиной миледи, и она кажется мрачной и нежилой; а в будуаре, где вчера вечером мистер Баккет тайком делал обыск, все ее платья, украшения и даже зеркала, привыкшие отражать эти вещи, когда они были как бы частью ее существа, кажутся какими-то заброшенными и ненужными. Как ни темен, как ни холоден зимний день, в этих покинутых комнатах сейчас темнее и холоднее, чем во многих хижинах, которые едва укрывают людей от непогоды, и хотя слуги разводят яркий огонь в каминах и для тепла огораживают кушетки и

кресла стеклянными экранами, сквозь которые алый свет проникает в самые дальние углы, в покоях миледи нависла тяжелая туча, и ее не рассеет никакой свет.

Старуха домоправительница сидела здесь вместе с сыном, пока не закончились приготовления к приезду миледи, и теперь возвращается наверх. Тем временем Волюмния заняла место миссис Раунсуэлл, хотя жемчужное ожерелье и банки с румянами, рассчитанные на то, чтобы пленять Бат, едва ли могут помочь больному. Считается, что Волюмния не знает (да она и в самом деле не знает) о том, что случилось, поэтому привычная для нее обязанность лепетать уместные замечания кажется ей сейчас чересчур щекотливой, и, умолкнув, она то рассеянно оправляет простыни на кровати больного, то осторожно движется на цыпочках, то зорко заглядывает в глаза родича и раздражающе шепчет себе под нос: «Он спит». Опровергая это совершенно ненужное утверждение, сэр Лестер в негодовании написал на аспидной доске: «Нет, не сплю».

Тогда, уступив кресло у кровати старухе домоправительнице, Волюмния, сочувственно вздыхая, садится у стола в некотором отдалении. Сэр Лестер смотрит на мокрый снег за окном и прислушивается, не слышно ли долгожданных шагов. А старой служанке, которая словно выступила из рамы старинного портрета, чтобы проводить на тот свет вызванного туда Дедлока, чудится, будто тишину нарушают отзвуки ее собственных слов: «Кто скажет ему правду?»

Сегодня утром сэр Лестер отдался в руки камердинера, чтобы вернуть себе презентабельный вид, и теперь выглядит даже элегантным — конечно, насколько это возможно для больного. Его обложили подушками, седые волосы его причесаны, как всегда, белье на нем безукоризненное, и он облачен в красивый халат. Лорнет и часы лежат у него под рукой. Он считает необходимым,— и теперь, пожалуй, не столько ради своего собственного достоинства, сколько ради миледи,— казаться как можно менее встревоженным и как можно больше самим собой. Женщины любят чесать язык, и Волюмния в том числе, хоть она и принадлежит к роду Дедлоков. Он держит ее при себе, конечно, лишь затем, чтоб она не чесала язык

в чужих домах. Он тяжело болен, но очень стойко переносит свои душевные и телесные муки.

Обольстительная Волюмния, будучи одной из тех бойких девиц, которые не могут молчать долго, не подвергаясь неминуемой опасности быть растерзанными драконом Скукой *, вскоре предвещает откровенными зевками появление этого чудища. Поняв, что ей не удастся подавить зевоту иначе, как болтовней, она поздравляет миссис Раунсуэлл с ее сыном, утверждая, что он положительно один из самых красивых мужчин, каких она когда-либо видела, а военная выправка у него такая, как у... как бишь его звали? — ну, этого ее любимого лейб-гвардейца, которого она боготворит... милейший был человек... пал в битве при Ватерлоо *.

Сэр Лестер слушает эти похвалы так удивленно и смотрит вокруг с таким недоумением, что миссис Раунсуэлл находит нужным объяснить ему, о ком идет речь.

— Мисс Дедлок говорит не о старшем моем сыне, сэр Лестер, а о младшем. Я его нашла. Он вернулся домой.

Сэр Лестер нарушает молчание хриплым возгласом:

— Джордж? Ваш сын Джордж вернулся домой, миссис Раунсуэлл?

Старуха домоправительница вытирает глаза.

— Да, сэр Лестер. Слава богу, вернулся.

Значит, пропавший без вести нашелся, значит, тот, кто ушел из дому так давно, теперь возвратился, и сэр Лестер, быть может, видит в этом доброе предзнаменование — подтверждение своих надежд? Быть может, он думает: «Неужели я, с моими средствами, не смогу ее вернуть, если после ее ухода прошло лишь несколько часов, а вот вернулся же человек, пропадавший столько лет».

Теперь бесполезно просить его умолкнуть; он твердо решил говорить и говорит — заплетающимся языком, но настолько внятно, что его понимают.

— Почему вы мне раньше не сказали, миссис Раунсуэлл?

— Он вернулся только вчера, сэр Лестер, и я не знала, достаточно ли вы окрепли, чтобы мне можно было доложить вам об этом.

К тому же опрометчивая Волюмния, слегка взвизгнув, вспоминает, как вчера решили скрыть, что кавале-

рист — сын миссис Раунсуэлл, а значит, она сейчас напрасно проговорилась. Но миссис Раунсуэлл уверяет, да с таким жаром, что корсаж ее высоко вздымается, что она, конечно, сама доложила бы о возвращении своего сына Джорджа сэру Лестеру, как только ему стало бы лучше.

— Где же ваш сын Джордж, миссис Раунсуэлл? — спрашивает сэр Лестер.

Немало встревоженная тем, что больной говорит, вопреки запрету врачей, миссис Раунсуэлл отвечает, что Джордж в Лондоне.

— Где в Лондоне?

Миссис Раунсуэлл вынуждена сознаться, что он здесь, в доме.

— Приведите его сюда, ко мне в спальню. Приведите сию минуту.

Старухе волей-неволей приходится пойти за сыном. Сэр Лестер по мере сил приводит себя в порядок, чтобы принять его. Покончив с этим, он снова смотрит в окно на мокрый снег и снова ждет, не послышатся ли шаги той, что должна вернуться. Мостовую под окном завалили соломой, чтобы заглушить уличный шум, и, когда миледи подъедет к дому, пожалуй, и не услышишь стука колес.

Так он лежит, как будто позабыв о новом, неожиданном событии, правда не очень значительном; но вот приходит домоправительница вместе с сыном-кавалеристом. Мистер Джордж, осторожно подойдя к кровати, кланяется, а выпрямившись, стоит навытяжку, густо краснея и глубоко стыдясь самого себя.

— Боже мой, ты ли это, Джордж Раунсуэлл! — восклицает сэр Лестер.— Помнишь меня, Джордж?

Кавалеристу трудно понять больного — приходится смотреть ему в лицо и мысленно расчленять звуки его невнятной речи,— но с помощью матери он, наконец, понял вопрос и отвечает:

— Как не помнить, сэр Лестер! Худая была бы у меня память, сэр Лестер, если б я вас не помнил.

— Вот смотрю я на тебя, Джордж Раунсуэлл,— с трудом выговаривает сэр Лестер,— и вижу тебя мальчуганом в Чесни-Уолде... ясно помню... совсем ясно.

Он смотрит на кавалериста, пока слезы не выступают у него на глазах, а тогда снова поворачивает голову к окну, за которым падает мокрый снег.

— Простите, сэр Лестер,— говорит кавалерист,— но, может, вы разрешите мне приподнять вас немножко? Позвольте мне передвинуть вас, сэр Лестер, чтобы вам было удобней лежать.

— Пожалуйста, Джордж Раунсуэлл... будь так добр.

Кавалерист обхватывает его руками, как ребенка, легко приподнимает и укладывает, повернув лицом к окну, чтобы ему было удобней смотреть туда.

— Спасибо. Рука у тебя легкая — по наследству от матери досталась,— говорит сэр Лестер,— а силу сам нажил. Спасибо.

Взмахом руки он просит Джорджа не уходить. Джордж стоит у кровати молча — ждет, пока с ним не заговорят.

— Почему ты хотел скрыть, что вернулся?

Сэр Лестер произносит эти слова очень медленно.

— Сказать правду, сэр Лестер, мне ведь хвастаться нечем, и я... я опять попросил бы вас, сэр Лестер, если б вы не были больны, хотя, надеюсь, вы скоро поправитесь,— попросил бы вас, как о милости, позволить мне всегда скрывать, кто я такой. Я должен, конечно, объяснить — почему, но это не трудно угадать и без объяснений, а они здесь сейчас совсем не ко времени, да и мне самому не сделают чести. Люди по-разному смотрят на вещи, но с тем, что мне хвастаться нечем, сэр Лестер, согласятся все.

— Ты был солдатом,— возражает сэр Лестер,— солдатом, верным своему долгу.

Джордж кланяется по-военному.

— Коли на то пошло, сэр Лестер, я всего только исполнял свой воинский долг, повинуясь дисциплине, а этого мало.

— Как видишь, Джордж Раунсуэлл,— говорит сэр Лестер, не отрывая глаз от кавалериста,— я чувствую себя плохо.

— Мне очень грустно слышать и видеть это, сэр Лестер.

— Верю. Так вот. Не говоря уж о моей давней болезни, меня внезапно разбил паралич. Ноги немеют,— и он с трудом проводит рукой по бедру,— и язык заплетается,— и он дотрагивается до губ.

Джордж снова кланяется, глядя на больного с понимающим и сочувственным видом. Перед ними обоими всплывают другие времена,— когда оба они были юны (только Джордж гораздо моложе сэра Лестера) и так же вот смотрели друг на друга в Чесни-Уолде,— и оба они сейчас очень растроганы.

Но прежде чем снова умолкнуть, сэр Лестер, видимо, твердо решил сказать что-то, о чем думал долго, и теперь он пытается немного приподняться на подушках. Заметив это, Джордж снова обхватывает его руками и укладывает так, как этого хочет больной.

— Спасибо, Джордж. Ты словно мое второе я. В Чесни-Уолде, Джордж, ты, бывало, часто носил за мной запасное ружье. Ты для меня как свой человек в этом моем необычном испытании, совсем свой.

Поднимая сэра Лестера, Джордж положил его здоровую руку себе на плечо, и сэр Лестер, беседуя с ним, не отнимает ее.

— Я хотел добавить,— продолжает сэр Лестер,— говоря о своем параличе, я хотел добавить, что, к сожалению, он совпал с небольшим недоразумением, которое вышло у нас с миледи. Я не хочу этим сказать, что у нас была размолвка (никакой размолвки не было), но вышло недоразумение — мы по-разному отнеслись к некоторым обстоятельствам, важным только для нас самих, и это на короткое время лишило меня общества миледи. Она нашла нужным уехать... я верю, что она скоро вернется... Волюмния, я говорю достаточно внятно? Я не могу заставить себя правильно произносить слова.

Волюмния отлично его понимает, и в самом деле он говорит гораздо яснее, чем этого можно было ожидать минуту назад. Он изо всех сил старается говорить отчетливо, и это видно по тревожному и напряженному выражению его лица. Только твердая решимость выполнить задуманное помогает ему вернуть себе дар слова.

— Посему, Волюмния,— продолжает он,— я желаю сказать при вас, при своей старой домоправительнице и

друге, миссис Раунсуэлл, в преданности и верности которой не усомнится никто, а также при ее сыне Джордже, который вернулся и живо напомнил мне о моей молодости, проведенной в доме моих предков в Чесни-Уолде... на случай, если у меня будет второй удар, на случай, если я не выздоровею, на случай, если я потеряю и дар речи и возможность изъясняться письменно, хоть и надеюсь на лучшее...

Старуха домоправительница беззвучно плачет; Волюмния пришла в величайшее возбуждение, и щеки ее залиты ярчайшим румянцем; кавалерист скрестил руки на груди и слегка наклонил голову, и все они слушают больного с почтительным вниманием.

— ...Посему я желаю сказать и самым торжественным образом призываю всех вас в свидетели — начиная с вас, Волюмния,— что отношение мое к леди Дедлок не изменилось. Что у меня нет никаких оснований обвинять ее в чем бы то ни было. Что я всегда питал к ней глубочайшую привязанность, которая не уменьшилась и ныне. Скажите это и ей самой и всем. Если вы чего-нибудь не доскажете, вы будете виновны в умышленном вероломстве по отношению ко мне.

Волюмния, вся дрожа, уверяет, что буквально исполнит его распоряжение.

— Миледи вознесена так высоко, она так прекрасна, так превосходно воспитана и образована, она почти во всех отношениях настолько выше даже лучших из тех женщин, которые ее окружают, что не может не иметь врагов и не страдать от клеветников. Пусть все они знают, как теперь знаете вы с моих слов, что я, будучи в здравом уме и твердой памяти, не отменяю ни единого распоряжения, сделанного мною в ее пользу. Я не уменьшаю наследства, оставленного ей по моему завещанию. Я не изменил своего отношения к ней, и я не признаю недействительным,— хоть и мог бы признать, как видите,— ни единого шага, сделанного мною ради ее блага и счастья.

В другое время его широковещательная декларация могла бы показаться смешной,— как и казались раньше иные его декларации,— но теперь она производит глубокое, трогательное впечатление. Его благородная искрен-

ность, верность, рыцарское стремление защитить жену, одержанная им ради нее великодушная победа над горечью обиды и оскорбленной гордости свидетельствуют об истинном благородстве, мужестве и честности. Когда в человеке проявляются столь светлые качества, он достоин всяческого уважения, все равно, будь он простой ремесленник или высокородный джентльмен. В такие минуты и тот и другой поднимаются на одинаковую высоту, и оба — простые смертные — излучают одинаково яркий свет.

Утомленный напряжением, больной откинул голову на подушку и закрыл глаза — только на минуту, не больше,— а потом снова начинает смотреть в окно, прислушиваясь к глухим шумам. Он охотно принимает от кавалериста мелкие услуги, и тот уже становится ему необходимым. Это получилось как-то само собой — никто не сказал об этом ни слова, но все понятно. Джордж, отступив шага на два, чтобы не маячить перед глазами больного, стоит на страже за креслом матери.

День угасает. Туман и моросящий дождь, пришедшие на смену снегопаду, сгущаются вместе с сумерками, и пламя камина бросает все более яркие блики на стены и мебель. На улицах мрак сгущается тоже, вспыхивают яркие огни газовых фонарей, а упрямые масляные плошки, которые по сию пору удержались здесь, вместе с полузамерзшим-полурастаявшим источником своей жизни, судорожно мигают, словно разевающие рот огненные рыбы, вытащенные из воды. Большой свет, целый день подъезжавший по устланной соломой улице к входной двери, чтобы позвонить в колокольчик и «справиться о здоровье», разъезжается по домам, переодевается в вечерние туалеты, обедает и, как уже было сказано, сплетничает о своем дорогом друге на все новомодные лады.

А сэру Лестеру становится хуже — он беспокоится, мечется и тяжко страдает. Волюмния зажгла было свечу (должно быть, ей так уж на роду написано — вечно делать не то, что следует), но получила приказ погасить ее, так как «еще светло». На самом деле сейчас уже совсем темно,— темнее не будет и ночью. Вскоре Волюмния делает новую попытку зажечь свечу. «Нет! Погасите. Еще светло».

Старуха домоправительница первая догадалась, что сэр Лестер пытается себя уверить, будто еще не поздно.

— Дорогой сэр Лестер, почитаемый господин мой,— тихонько шепчет она,— я обязана взять на себя смелость просить и умолять вас ради вашей же пользы не лежать в полной темноте,— вы все прислушиваетесь, ждете, а ведь так время тянется еще дольше. Позвольте мне опустить шторы и зажечь свечи — вам тогда будет уютнее. Светло ли, темно ли, а часы на колокольнях все равно будут отбивать время, сэр Лестер, и ночь все равно пройдет. И миледи все равно вернется.

— Я знаю, миссис Раунсуэлл; но я слаб... а он уехал так давно.

— Не очень давно, сэр Лестер. И суток еще не прошло.

— Но сутки — это большой срок. Боже, какой большой!

Он говорит это со стоном, от которого у нее сжимается сердце.

Она знает, что сейчас не время зажигать яркий свет; слезы его она считает слишком священными, чтобы даже ей можно было их видеть. И она сидит в темноте, не говоря ни слова; но немного погодя начинает бесшумно двигаться по комнате — то помешает угли в камине, то станет у темного окна и посмотрит на улицу. Овладев собой, он, наконец, говорит ей:

— Вы правы, миссис Раунсуэлл, надо признать то, что есть,— ведь хуже не будет. Уже поздно, а они все еще не приехали. Зажгите свет!

Свет зажгли, теперь уже не видно, как моросит дождь за окном, и сэру Лестеру остается только прислушиваться.

Но как он ни болен, как ни подавлен, все замечают, что он оживляется, когда кто-нибудь скажет: надо бы пойти посмотреть, жарко ли горит огонь в покоях миледи, и убедиться, что все готово к ее приезду. Эти уловки шиты белыми нитками, но он видит в них признак того, что ее ждут, и это поддерживает в нем надежду.

Пробило полночь, а вокруг все так же пусто. Экипажи проезжают в эту пору редко, а поздней ночью других звуков в этом квартале обычно не слышно, если только

какой-нибудь кутила не напьется до такой степени, что, одержимый охотой к перемене мест, забредет на эту промерзшую улицу и, шагая по мостовой, примется во все горло орать песни. Зимняя ночь так тиха, что слушать эту глубочайшую тишину все равно что смотреть в непроглядный мрак. Если откуда-то издалека и доносится какой-нибудь звук, он прорезает мглу, словно бледный луч света, а потом безмолвие нависает еще тяжелее.

Всю челядь услали спать (и она не прочь уйти на покой, так как не спала прошлую ночь), и только миссис Раунсуэлл дежурит вместе с Джорджем в спальне сэра Лестера. Ночь тянется медленно,— вернее, она как будто совсем останавливается между двумя и тремя часами,— и тогда мать и сын замечают, что больной все тревожнее жаждет узнать, какова погода,— ведь сам оп не видит, что делается за окном. Поэтому Джордж, который каждые полчаса обходит дозором тщательно убранные покои миледи, теперь идет к двери вестибюля и, выглянув на улицу, возвращается с докладом, в котором как можно более светлыми красками рисует беспросветно ненастную ночь: ведь на самом-то деле мокрый снег идет не переставая, и даже на каменных тротуарах скопилось столько холодной, как лед, слякоти, что в ней можно увязнуть по щиколотку.

Волюмния сидит наверху в своей комнате, выходящей на отдаленную лестничную площадку, куда можно попасть, лишь пройдя еще два марша после того, как на лестнице кончается резьба и позолота, ибо это — комната для родственниц, и в ней висит разительно непохожий, просто страшный, портрет сэра Лестера, сосланный сюда за свои пороки, а днем из нее можно увидеть скучный задний двор, обсаженный кустами, которые засохли и смахивают на какие-то допотопные экземпляры кустов черного чая,— Волюмния сидит наверху, в своей комнате, одолеваемая всяческими страхами. Пожалуй, самый главный из них — страх перед тем, что будет с ее маленьким доходом, если, как она выражается, «что-нибудь случится» с сэром Лестером. В этом смысле «что-нибудь» значит только одно, а именно последнее, что вообще может случиться с сознанием любого баронета на этом свете.

Страхи довели Волюмнию до того, что она уже не

находит в себе мужества посидеть у своего камина или улечься спать в своей комнате, а принуждена выйти из нее, обмотав прелестную головку бесчисленными платками и окутав прелестную фигурку шалями, а выйдя, бродить, как привидение, по всему дому, особенно по теплым и роскошным покоям, убранным для той, которая все еще не вернулась. В такую ночь Волюмния не в силах выносить одиночество, и ей сопутствует ее горничная, которую для того и подняли с кровати, а горничная совсем закоченела, до смерти хочет спать и вообще обижена судьбой, ибо в силу обстоятельств обречена прислуживать бедной родственнице, тогда как мечтает служить у леди с десятью тысячами годового дохода,— значит, не мудрено, что лицо у нее не очень любезное.

К счастью, их время от времени навещает кавалерист — когда обходит дозором покои миледи,— поэтому хозяйке с горничной обеспечены и защита и мужское общество, что очень приятно в поздние часы ночи. Заслышав приближающиеся шаги, обе они всякий раз прихорашиваются, чтобы встретить его во всей красе, а в промежутках между его визитами проводят часы своего бдения, то погружаясь в кратковременное забытье, то не без озлобления споря о том, валилась ли мисс Дедлок,— которая сидит поставив ногу на решетку камина,— или не валилась в огонь, когда (к великому ее неудовольствию) была спасена своим добрым гением — горничной.

— Ну, как теперь чувствует себя сэр Лестер, мистер Джордж? — осведомляется Волюмния, поправляя на голове капюшон.

— Да как вам сказать, мисс; сэру Лестеру, пожалуй, не лучше, не хуже. Он очень расстроен и слаб и даже иногда немного бредит.

— А обо мне спрашивал? — осведомляется Волюмния нежным голосом.

— Нет, не могу этого утверждать, мисс... то есть я не слышал, чтобы спрашивал.

— Какое, поистине, грустное время, мистер Джордж.

— Что правда, то правда, мисс. А не лучше ли вам лечь спать?

— Право же, лучше бы вам лечь спать, мисс Дедлок,— настаивает горничная резким тоном.

Но Волюмния отвечает: нет! нет! Ее могут позвать... она может внезапно понадобиться. Она никогда бы себе не простила, если бы «что-нибудь случилось», а ее бы не оказалось «на месте». Она отказывается обсуждать поднятый горничной вопрос, почему это самое «место» обязательно должно находиться здесь, а не в ее собственной комнате (которая расположена ближе к спальне сэра Лестера), но стойко заявляет, что останется на месте. Далее Волюмния ставит себе в заслугу, что она «ни одного глаза не сомкнула»,— как будто у нее их двадцать или тридцать,— но это утверждение трудно примирить с тем, что всего пять минут назад она, без всякого сомнения, открыла оба глаза.

Вот уже бьет четыре часа, а вокруг по-прежнему пусто, и стойкость Волюмнии начинает ослабевать или, скорее, усиливаться, ибо теперь Волюмния считает своим долгом подготовиться к завтрашнему дню, когда от нее может потребоваться многое; в сущности даже, как ни стремится она остаться на месте, может быть, ей надлежит пожертвовать собой и покинуть это место. Словом, как только кавалерист приходит опять и повторяет: «Не лучше ли вам лечь спать, мисс?», а горничная настаивает еще резче: «Вам, право же, лучше бы лечь спать, мисс Дедлок!» — Волюмния встает и кротко лепечет: «Делайте со мной что хотите!»

Мистер Джордж, несомненно, хочет проводить ее под ручку в предназначенную для родственниц комнату, а горничная, несомненно, хочет запихнуть ее в постель без всяких церемоний. Принимаются соответственные меры, и кавалерист, обходя дозором весь дом, уже больше никого не встречает на своем пути.

Погода не улучшается. С подъезда, с карнизов, с парапета, с каждого выступа, столба и колонны падает талый снег. Забившись, словно в поисках убежища, под притолоку огромной входной двери, под самую дверь, в углы окон, в каждую укромную щелку и трещину, снег тает и растекается. Он все еще падает на крышу, на окно верхнего света, и даже проникает сквозь оконные рамы внутрь, и так же размеренно — кап-кап-кап,— как звучат шаги на Дорожке призрака,— капает вниз на каменный пол.

Кавалерист, в котором безлюдное величие огромного дома — знакомое ему по Чесни-Уолду — пробудило старые воспоминания, поднимается по лестницам и проходит по парадным комнатам, держа свечу в вытянутой руке. Он думает о том, какие превратности судьбы он пережил за последние несколько недель, думает о своих детских годах, проведенных в деревне, и о двух периодах своей жизни, так странно сомкнувшихся через большой, отделяющий их друг от друга промежуток времени; он думает об убитом человеке, чей образ еще жив в его памяти; думает о женщине, покинувшей эти покои, где все напоминает о том, что она была здесь еще так недавно; думает о хозяине дома, который лежит наверху, и о вещих словах: «Кто скажет ему правду?» — думает, озираясь по сторонам,— а вдруг ему сейчас кто-нибудь померещится, и тогда придется собрать всю свою храбрость, чтобы подойти, прикоснуться рукой к видению и доказать себе, что оно обман чувств. Но ничего такого нет; все вокруг пусто... пусто, как тьма,— и наверху и внизу,— тьма, что его окружает, когда он вновь поднимается по широкой лестнице; пусто, как гнетущее безмолвие.

— Все готово к приему миледи, Джордж Раунсуэлл?

— Все в полном порядке, сэр Лестер.

— Никаких вестей?

Кавалерист качает головой.

— Может быть, пришло письмо, но о нем забыли доложить?

Впрочем, сэр Лестер и сам понимает, что на это надеяться нечего и, не дожидаясь ответа, опускает голову.

Джордж Раунсуэлл теперь стал совсем своим человеком для сэра Лестера, как тот сам сказал несколько часов назад, и в течение всей этой зимней ночи, пустой и длинной, он время от времени поднимает больного и перекладывает поудобнее, а при первом запоздалом проблеске утра, угадав,— тоже как свой человек,— невысказанное желание больного, гасит свет и поднимает шторы. День возникает как призрак. Холодный, тусклый, сумрачный, он выслал вперед свою грозную предвестницу, мертвенно-бледную полосу зари, и как бы восклицает, предостерегая: «Вы, бодрствующие в этом доме, смотрите, что̀ я вам несу! Кто скажет ему правду?»

## ГЛАВА LIX

### *Повесть Эстер*

Было три часа ночи, и отдельные дома, раскиданные по предместьям Лондона, начали, наконец, вытеснять поля и, образуя улицы, смыкаться вокруг нас. Дороги совершенно испортились со вчерашнего дня, когда мы проезжали по ним засветло, так как снег шел и таял всю ночь, но энергия моего спутника не ослабела. Мне чудилось, будто она влечет нас вперед, лишь немногим уступая энергии наших лошадей, и не раз случалось, что она помогала им. Лошади, выбившись из сил, то останавливались на полугоре, то боролись с бурными потоками воды, и их сносило течением, то падали, поскользнувшись, и запутывались в сбруе; но мой спутник всякий раз приходил им на помощь, светя своим фонариком, и когда очередное дорожное происшествие благополучно заканчивалось, я неизменно слышала его спокойное: «Трогай, ребята!»

Нет слов рассказать о том, с какой твердостью и уверенностью в себе он руководил нашим возвращением. Ни разу не поколебавшись в своем решении, он ни разу не приказал остановиться, чтобы навести справки, пока до Лондона не осталось всего нескольких миль. Но и теперь во время редких остановок он ограничивался лишь двумя-тремя вопросами; и так мы между тремя и четырьмя часами ночи доехали до Излингтона.

Не буду говорить подробно, с каким мучительным чувством неизвестности и тревоги я все это время думала о том, что мы с каждой минутой все больше и больше отдаляемся от моей матери. Правда, я очень надеялась, что мистер Баккет прав и если он гонится за Дженни, то на это у него, наверное, есть серьезные причины, и все-таки всю дорогу до Лондона я терзалась сомнениями и недоумением. Что будет, когда мы найдем эту женщину, и как нам удастся наверстать потерянное время — вот вопросы, от которых я не могла отделаться, и когда мы остановились, я была уже совершенно измучена своими мыслями.

Остановились мы на широкой улице, где была стоянка карет. Мой спутник заплатил обоим нашим форейторам,

которые были так забрызганы грязью, словно их самих таскали по дорогам, как нашу коляску, и, коротко объяснив им, куда ее надо отвезти, взял меня на руки и перенес в наемную карету, которую выбрал сам.

— Душа моя,— воскликнул он,— да вы, я вижу, совсем промокли!

А я и не заметила этого. Мокрый снег часто проникал под верх коляски, к тому же раза два мне пришлось выходить из нее, когда упавшая лошадь билась и ее поднимали,— так можно ли было удивляться, что я промокла? Я уверяла мистера Баккета, что это пустяки, но наш возница — его знакомый,— не слушая моих уговоров, сбегал к себе в конюшню и принес охапку чистой сухой соломы. Ее бросили в карету, хорошенько закутали ею мои ноги, и мне стало тепло и удобно.

— Ну, душа моя,— сказал мистер Баккет, просунув голову в окно кареты, после того как дверцу закрыли,— теперь мы эту женщину нагоним. Может быть, не очень скоро, но не тревожьтесь. Ведь вы уверены, что я действую не без оснований. Правда?

Я и не подозревала, что это за основания,— не подозревала, как скоро я пойму их вполне; но я уверила его, что всецело на него полагаюсь.

— Так и следует, душа моя,— отозвался он.— И вот что я вам скажу! Если вы будете полагаться на меня хоть вполовину меньше, чем я полагаюсь на вас теперь, после того как увидел, какая вы, то этого с меня хватит. Бог мой! Ведь вы ни капельки не мешаете. В жизни я не видывал такой девушки ни в каком кругу,— а я их много перевидал, в том числе высокопоставленных, но ни одна не могла бы вести себя так, как вели себя вы, с тех пор как вас подняли с постели. Вы примерная девушка, вот вы кто,— с жаром воскликнул мистер Баккет,— примерная!

Я сказала ему, как я рада,— а я действительно радовалась,— что не была для него обузой и, надеюсь, не буду и впредь.

— Душа моя,— отозвался он,— когда девушка так же нежна, как стойка, и так же стойка, как нежна,— это все, чего я прошу, и больше, чем ожидаю. Тогда эта девушка просто царица женщин, и вы как раз такая.

С этими ободряющими словами — они действительно ободрили меня в моем одиноком горе — он влез на козлы, и мы снова тронулись в путь. Где мы ехали — я не знала тогда, не знаю и теперь, но мы как будто нарочно выбирали самые узкие и глухие улицы Лондона. Всякий раз как мистер Баккет давал новые указания нашему вознице, я уже знала, что мы сейчас нырнем в еще более путаную сеть подобных уличек, и так оно неизменно оказывалось.

Иногда мы выезжали на довольно широкий проспект или направлялись к ярко освещенному зданию, более крупному, чем все соседние дома. Тогда мы останавливались у подъезда учреждения, подобного тем, в какие заезжали в первый час нашего пути, и я видела, как мой спутник совещается с какими-то людьми. Бывало и так, что, пройдя куда-то под воротами или обогнув угол улицы, он таинственно махал своим зажженным фонариком. Тут на его свет роем бабочек слетались другие огоньки, и снова начиналось совещание. Мало-помалу круг, в пределах которого мы вели поиски, как будто начал сужаться. Полисмены, стоявшие здесь на своих постах, уже знали то, что хотел узнать мистер Баккет, и указывали, куда надо направиться. Наконец мы остановились надолго, так как беседа его с одним из этих полисменов вышла довольно длинной и, видимо, интересной, судя по тому, как он время от времени кивал головой. Закончив совещание, он подошел ко мне с очень деловым и очень сосредоточенным видом.

— Ну, мисс Саммерсон,— сказал он мне,— я знаю, вы не испугаетесь, что бы ни случилось. Не к чему рассказывать вам все,— скажу только, что теперь мы эту женщину выследили и вы можете мне понадобиться с минуты на минуту. Не хочется вас беспокоить, душа моя, но вы в силах немного пройти пешком?

Я, конечно, сейчас же вышла из кареты и взяла его под руку.

— Идти тут довольно трудно,— сказал мистер Баккет,— не спешите.

Я растерянно и торопливо озиралась по сторонам, не понимая, куда попала, и все же, когда мы переходили какую-то улицу, мне показалось, будто я узнаю ее.

— Мы на Холборне? — спросила я.

— Да,— ответил мистер Баккет.— Узнаете вы улицу за тем углом?

— Кажется, это Канцлерская улица.

— Правильно! Так ее окрестили когда-то, душа моя,— подтвердил мистер Баккет.

Мы свернули на нее, увязая в мокром снегу, и я услышала, как часы пробили половину шестого. Мы шли молча и так быстро, как только можно было идти по такой скользкой дороге, как вдруг какой-то встречный прохожий в плаще остановился на узком тротуаре и сделал шаг в сторону, чтобы пропустить меня. В тот же миг я услышала возглас удивления и свое имя, произнесенное мистером Вудкортом. Я сразу узнала его голос.

Было так неожиданно и так... не знаю, как сказать — то ли приятно, то ли больно встретить его поздней ночью, после моих лихорадочных странствий, что я не смогла удержаться от слез. Мне почудилось, будто я попала в чужую страну и там вдруг услышала его слова:

— Дорогая мисс Саммерсон, вы ли это? Как случилось, что вы на улице в такой час и в такую погоду?

Он слышал от опекуна, что меня вызвали по какому-то срочному делу, и сам сказал мне это, чтобы избавить меня от всяких объяснений. А я сказала ему, что мы только что вышли из экипажа и теперь идем... но, не зная, куда мы идем, я запнулась и взглянула на своего спутника.

— Видите ли, мистер Вудкорт,— проговорил он, называя моего собеседника по фамилии, так как расслышал, как я произнесла ее в разговоре,— мы сейчас собираемся свернуть в следующий переулок. Инспектор Баккет.

Не обращая внимания на мои возражения, мистер Вудкорт сбросил с себя плащ и накинул его мне на плечи.

— Хорошо сделали,— поддержал его мистер Баккет,— очень хорошо.

— Можно мне вас проводить? — спросил мистер Вудкорт, не знаю только — меня или моего спутника.

— Бог мой! — воскликнул мистер Баккет, отвечая и за меня и за себя.— Конечно, можно.

Все это было сказано в одно мгновение, и дальше я шла между ними обоими, закутанная в плащ.

— Я только что от Ричарда,— сказал мистер Вудкорт.— Сидел у него с десяти часов вечера.

— О господи, значит он болен!

— Нет, нет, он не болен, уверяю вас, но, правда, не совсем хорошо себя чувствует. Сегодня он расстроился, ослабел,— вы знаете, он иногда очень волнуется и устает,— вот Ада и послала за мной, по своему обыкновению; а я, вернувшись домой, увидел ее записку и сразу же направился в эти края. Ну, что вам еще сказать? Немного погодя Ричард так оживился, а ваша Ада так этому обрадовалась и была так уверена, что это дело моих рук,— хотя, бог свидетель, я тут совершенно ни при чем,— что я сидел у них, пока он не заснул и не проспал несколько часов крепким сном. Столь же крепким, надеюсь, каким сейчас спит Ада!

Он говорил о них как о своих близких друзьях, был непритворно предан им, внушил доверие моей дорогой девочке, воспылавшей к нему благодарностью, и всегда ободрял ее, а я... могла ли я сомневаться, что все это связано с обещанием, которое он дал мне? Какой я была бы неблагодарной, если бы не вспомнила слов, которые он мне сказал, когда был так взволнован моей изменившейся внешностью: «Вы доверили его мне, и ваше поручение я почитаю священным!»

Мы опять свернули в узкий переулок.

— Мистер Вудкорт,— сказал мистер Баккет, внимательно присматриваясь к нему на ходу,— мы сейчас должны зайти по делу к одному торговцу канцелярскими принадлежностями, некоему мистеру Снегсби. Как, да вы его, оказывается, знаете?

Он был так наблюдателен, что, назвав эту фамилию, сразу же догадался по лицу мистера Вудкорта, что тот знает торговца.

— Да, я немного знаком с ним и заходил к нему сюда.

— Прекрасно, сэр! — проговорил мистер Баккет.— Так позвольте мне ненадолго оставить мисс Саммерсон с вами, а я пойду поговорить с ним.

Последний из полисменов, с которыми совещался

мистер Баккет, молча стоял сзади нас. Я его не замечала, пока он не вмешался в разговор — когда я сказала, что, кажется, кто-то плачет здесь поблизости.

— Не пугайтесь, мисс,— промолвил он.— Это служанка Снегсби.

— Видите ли,— объяснил мистер Баккет,— с этой девушкой случаются припадки, и нынче ночью ей туго пришлось. Это очень досадно, потому что мне нужно получить от нее кое-какие сведения; так что придется как-нибудь привести ее в чувство.

— Но, если бы не она, мистер Баккет, все в доме давно завалились бы спать,— сказал полисмен.— Она тут голосила чуть не всю ночь, сэр.

— Что правда, то правда,— согласился тот.— Мой фонарь догорает. Посветите-ка мне своим.

Все это говорилось шепотом, неподалеку от того дома, из которого глухо доносились стоны и плач. Мистер Баккет подошел к двери, которую полицейский осветил маленьким кругом света, и постучал.

Дверь открыли только после того, как он постучал два раза, и он вошел в дом, а мы остались на улице.

— Мисс Саммерсон,— сказал мистер Вудкорт,— прошу вас, позвольте мне остаться с вами, только не сочтите меня навязчивым.

— Вы очень добры,— ответила я.— Мне нечего скрывать от вас, и если я теперь что-то скрываю, так это чужая тайна.

— Это я хорошо понимаю. Верьте мне, я останусь при вас только до тех пор, пока не почувствую себя лишним.

— Я во всем доверяю вам,— сказала я.— Я знаю и глубоко чувствую, как свято вы исполняете свое обещание.

Немного погодя маленький круг света засиял вновь, и, освещенный им, мистер Баккет подошел к нам; лицо у него было серьезное.

— Пойдемте, пожалуйста, туда, мисс Саммерсон,— сказал он,— погрейтесь у огонька. Мистер Вудкорт, мне сказали, что вы — врач. Будьте добры, осмотрите эту девушку,— может, удастся привести ее в чувство? У нее где-то спрятано письмо, которое мне очень нужно. В ее

сундуке письма нет, должно быть она носит его с собой, но сейчас она так скорчилась и съежилась, что до нее трудно дотронуться, не сделав ей больно.

Мы все трое вошли в дом. В этом доме было не только холодно и сыро, но и душно. В коридоре за дверью стоял перепуганный, расстроенный маленький человек в сером сюртуке, очень вежливый, с мягким голосом.

— Пройдите, пожалуйста, вниз, мистер Баккет,— сказал он.— Леди извинит меня за то, что я веду вас в кухню,— в будни она заменяет нам гостиную. В чулане при кухне обычно спит Гуся; она и сейчас там, бедняжка, и так мучается, просто ужас!

Мы стали спускаться по лестнице, а за нами следовал мистер Снегсби — так звали маленького человека, как я скоро узнала. В кухне у огня сидела миссис Снегсби, и глаза у нее были очень красные, а лицо очень суровое.

— Крошечка,— начал мистер Снегсби, входя следом за нами,— не лучше ли нам прекратить,— говоря напрямик, дорогая,— прекратить вражду хоть на одну минутку за всю эту длинную ночь? К нам пришли инспектор Баккет, мистер Вудкорт и одна леди.

Миссис Снегсби очень удивилась, да и немудрено, и, оглядев нас всех, бросила особенно недружелюбный взгляд на меня.

— Крошечка,— продолжал мистер Снегсби, присев в самом дальнем углу у двери, словно он считал, что, садясь на стул у себя дома, позволяет себе некоторую вольность,— ты, может быть, спросишь меня, почему инспектор Баккет, мистер Вудкорт и эта леди зашли в переулок Кукс-Корт в такой неурочный час? Не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Если бы мне и сказали, почему, я все равно ничего бы не понял, и лучше пускай не говорят.

Он сидел, опустив голову на руку, и казался таким жалким, а мое появление здесь, очевидно, было столь нежелательным, что я уже хотела извиниться, как вдруг мистер Баккет решил вмешаться.

— Вот что, мистер Снегсби,— начал он,— подите-ка вы сейчас с мистером Вудкортом и позаботьтесь о своей Гусе...

— «Своей Гусе», мистер Баккет! — воскликнул мистер Снегсби.— Продолжайте, сэр, продолжайте в том же духе. Того и гляди, меня заподозрят и в том, что она «моя».

— Держите свечу,— продолжал мистер Баккет, не исправив своей оплошности,— или держите девушку и вообще помогайте, когда вас попросят. Вы безусловно будете делать все это охотно, потому что вы человек учтивый и мягкий, сами знаете, и сердце ваше полно сочувствия к ближнему. (Мистер Вудкорт, осмотрите ее, пожалуйста, и если вам удастся найти письмо, отдайте его мне как можно скорее.)

Мистер Вудкорт и мистер Снегсби вышли, а мистер Баккет, ни на минуту не умолкая, заставил меня сесть в углу у камина и снять сырые башмаки, потом повесил их сушиться на каминную решетку.

— Не огорчайтесь, мисс, что миссис Снегсби встретила вас не очень-то приветливо,— проговорил он,— ведь все дело в том, что она давно уже находится в заблуждении. Она это скоро поймет,— что будет не слишком приятно для столь здравомыслящей особы, как она,— ибо я сейчас объясню ей все.— Стоя у камина со своей мокрой шляпой и моими шалями в руках и сам смахивая на ворох мокрого тряпья, он обратился с речью к миссис Снегсби: — Первое, что я вам скажу, как замужней женщине, притом одаренной так называемыми чарами,— помните песню: «Поверьте, когда б эти милые чары...» и так далее? — полно, вы же знаете эту песню, раз ее знают в свете, и зря вы будете мне твердить, что не вращаетесь в светском обществе,— так вот, значит, первое, что я вам скажу, как женщине, одаренной чарами и прелестями,— которые, заметьте, должны бы внушить вам веру в себя,— это то, что вы сами во всем виноваты.

Миссис Снегсби испуганно посмотрела на него, но немного смягчилась и, запинаясь, спросила, что хочет этим сказать мистер Баккет.

— Что хочет этим сказать мистер Баккет? — повторил он, а я увидела по его лицу, что он, и болтая, все время прислушивался к тому, что делалось за стеной, стараясь угадать, нашлось ли письмо,— увидела и взволновалась, поняв, какое большое значение оно имеет.— Сей-

час я вам объясню, что он хочет сказать, сударыня. Пойдите-ка посмотрите спектакль «Отелло». Эта трагедия — самая для вас подходящая.

Миссис Снегсби в искреннем недоумении спросила: почему?

— Почему? — повторил мистер Баккет.— А потому, что вы кончите тем же, если не возьмете себя в руки. Да что говорить — ведь в этот самый момент, пока я тут с вами беседую, у вас душа не на месте и в голове вертятся всякие мысли насчет этой вот молодой леди. А сказать вам, кто она такая? Ну, слушайте: вы, что называется, женщина большого ума, хотя коли на то пошло, душа у вас слишком велика для тела,— так и выпирает,— и вы меня знаете, а также помните, в каком доме вы виделись со мной на днях и о чем шла речь в той компании. Ведь помните? Да! Прекрасно. Так вот, эта молодая леди — та самая, о которой тогда шла речь.

Миссис Снегсби, видимо, поняла его слова лучше, чем я могла их понять в то время.

— А Тупица, иначе говоря Джо, был замешан в этом деле, и только в нем одном; и переписчик, которого вы знали, был тоже замешан в этом деле, но только в нем; и ваш супруг, который разбирался во всем этом не больше, чем ваш прадедушка, был замешан (покойным мистером Талкингхорном, своим лучшим заказчиком) именно в этом деле, и только в нем; и вся эта злобная орава была замешана все в том же самом деле, но только в нем одном. И вот замужняя женщина, столь одаренная прелестями, сама замазывает себе глазки (да еще такие блестящие!) и бьется изящной головкой об стену. Ну, знаете, мне прямо стыдно за вас! (Пора бы уж мистеру Вудкорту найти письмо.)

Миссис Снегсби покачала головой и приложила платок к глазам.

— Вы думаете, это все? — с жаром продолжал мистер Баккет.— Нет, не все. Смотрите, что вышло. Другая особа, тоже замешанная в этом деле и только в нем одном и попавшая в очень тяжелое положение, приходит сюда нынче вечером, разговаривает с вашей служанкой и передает ей бумагу, за которую я и ста фунтов не пожалел бы отдать. А что делаете вы? Вы прячетесь и под-

глядываете за ними, а потом налетаете на девчонку — зная, какая у нее болезнь и каким пустяком можно вызвать приступ,— налетаете так неожиданно и с такой яростью, что она, черт подери, валится наземь в припадке, да так и валяется до сих пор, а ведь чья-то человеческая жизнь, быть может, зависит от одного ее слова!

Он говорил все это так внушительно, что я невольно сжала руки, и вся комната закружилась передо мной. Но это сразу же прошло. Вернулся мистер Вудкорт, отдал мистеру Баккету какую-то бумажку и снова ушел.

— Ну, миссис Снегсби, единственное, чем вы можете искупить свою вину,— сказал мистер Баккет, быстро бросив взгляд на бумажку,— это оставить меня здесь вдвоем с этой молодой леди — я хочу с ней поговорить. И если вы знаете, как помочь джентльмену, который возится в чулане, или чем можно привести в чувство девушку, да поскорее, действуйте как можно проворней и усердней!

Миссис Снегсби немедленно вышла, а он закрыл за нею дверь.

— Теперь, душа моя, скажите, вы спокойны и вполне владеете собой?

— Вполне,— сказала я.

— Чей это почерк?

Это был почерк моей матери. Несколько строк, написанных карандашом на измятом, надорванном клочке бумаги, покрытом пятнами сырости и наспех сложенном в виде письма на мое имя, адресованного на квартиру опекуна.

— Вы узнали почерк,— сказал мистер Баккет,— и если вы достаточно владеете собой, чтобы прочесть мне вслух это письмо, читайте! Но не пропустите ни слова.

Письмо было написано по частям, в разное время. Вот что я прочла:

«Я пришла сюда, в этот домик, с двумя целями. Во-первых, мне хотелось увидеть еще раз свою любимую, если удастся,— только увидеть; ни говорить с нею, ни дать ей знать, что я близко, я не хотела. Вторая цель — ускользнуть от погони и скрыться навек. Не осуждай той другой матери за ее участие. Она помогла мне, но лишь после моих самых настоятельных уверений, что это —

на благо моей любимой. Ты помнишь ее умершего ребенка. Согласие мужчин я купила, но женщина помогла мне, не требуя награды».

— «Я пришла сюда». Значит, она писала это, когда отдыхала у кирпичников,— сказал мой спутник.— Это подтверждает мои выводы. Я оказался прав.

Следующие строки были написаны позже.

«Я прошла длинный путь, бродила много часов и знаю, что скоро умру. Ох, эти улицы! Я хочу лишь одного — смерти. Уходя из дому, я хотела поступить иначе, гораздо хуже; но теперь я избавлена от необходимости добавить этот грех ко всем другим своим грехам! Я замерзла, промокла, выбилась из сил, и этого достаточно, чтобы меня нашли мертвой; но я умру от других причин, хоть и страдаю от всего этого. Все, что было моим оплотом, рухнуло мгновенно, и это справедливо; справедливо и то, что мне суждено умереть от ужаса и угрызений совести».

— Крепитесь! — сказал мистер Баккет.— Осталось лишь несколько слов.

Последние слова были написаны еще позже, вероятно, когда уже стемнело.

«Я сделала все, что могла, чтобы скрыться. Так меня скорее забудут, а его позор будет менее тяжким. При мне нет ничего такого, что помогло бы узнать, кто я. С этим письмом я расстаюсь сейчас. Место, где я успокоюсь, если только буду в силах дойти до него, вспоминалось мне часто. Прощай. Прости».

Мистер Баккет обнял меня одной рукой и осторожно опустил в кресло.

— Успокойтесь! Не осуждайте меня за жестокость, душа моя, но как только вам станет лучше, наденьте башмаки и приготовьтесь.

Я надела башмаки и приготовилась; но ждать мне пришлось долго — он ушел в соседнюю комнату, а я сидела одна и все время молилась за свою несчастную мать. Все в доме хлопотали около больной девушки, и я слы-

шала, как мистер Вудкорт отдавал распоряжения и то и дело заговаривал с нею. Наконец он вернулся вместе с мистером Баккетом и сказал, что с девушкой необходимо обращаться очень мягко, поэтому он считает, что мы скорее получим нужные нам сведения, если расспрашивать ее буду я. Теперь она уже в силах отвечать на вопросы, надо только говорить с нею ласково, стараясь не испугать ее. Мистер Баккет сказал, что спросить ее надо о том, каким образом к ней попало письмо, о чем она говорила с женщиной, которая отдала ей это письмо, и куда ушла женщина. Стараясь по мере сил запомнить все эти вопросы, я прошла в чулан вместе со своими спутниками. Мистер Вудкорт хотел было остаться, но по моей просьбе последовал за нами.

Больная девушка сидела на полу, на том месте, куда ее положили после припадка. Все стояли вокруг нее, но — поодаль, чтобы ей легче дышалось. Она выглядела слабой и болезненной, а лицо у нее было некрасивое, но доброе и какое-то жалкое, хотя все еще немного безумное. Я стала на колени рядом с бедняжкой и положила ее голову к себе на плечо; а она обвила рукой мою шею и залилась слезами.

— Бедная моя девочка,— сказала я, прижавшись лицом к ее лбу,— ведь я тоже плакала и дрожала,— я знаю, это жестоко — беспокоить тебя в такое время, но нам очень нужно кое-что узнать об этом письме, так нужно, что мне не хватило бы и целого часа, чтобы объяснить тебе почему.

Жалобным голосом она принялась уверять, что не хотела сделать ничего плохого... «не хотела сделать ничего плохого, миссис Снегсби!»

— Мы в этом не сомневаемся,— сказала я,— но прошу тебя, скажи мне, как попало к тебе это письмо.

— Да, сударыня, я скажу, скажу чистую правду. Я скажу все по правде, миссис Снегсби.

— Мы тебе верим,— отозвалась я.— Так как же это случилось?

— Меня послали по делу, сударыня... поздно вечером... и вот пришла я домой и вижу — какая-то женщина из простых, вся мокрая, вся в грязи, смотрит на наш дом. Как завидела она, что я подхожу к дверям,

окликнула меня и спрашивает, не тут ли, мол, я живу? Я говорю,— да, тут. А она говорит, что знает в этом околотке только два-три дома, но заблудилась и не может их отыскать... Ох, что мне делать, что мне делать? Не поверят они мне! Она не сказала мне ничего плохого, и я не сказала ей ничего плохого, право же, миссис Снегсби!

Пришлось самой хозяйке уверять служанку, что ее не обвиняют ни в чем, и миссис Снегсби, надо отдать ей должное, с покаянным видом успокоила девушку, которая лишь после этого смогла отвечать мне.

— Так, значит, она заблудилась и не могла отыскать эти дома? — спросила я.

— Не могла! — со слезами ответила девушка, качая головой.— Нет! Никак не могла! И она была такая слабая, хромая, несчастная,— ох, до чего несчастная! — если б вы только увидели ее, мистер Снегсби, вы обязательно дали бы ей полкроны!

— Ну, Гуся, ну, девочка,— пробормотал мистер Снегсби, не зная, что и сказать,— дал бы, конечно.

— А ведь говорила она так хорошо,— продолжала девушка, глядя на меня широко открытыми глазами,— послушать, так прямо сердце кровью обливалось. И потом спросила меня, может, я знаю, как пройти на кладбище? А я спросила, на какое кладбище? А она говорит: на кладбище для бедных. Тут я и говорю ей, что я сама — бедная сиротка, а кладбища для бедных — они в каждом приходе. А она говорит, что ей нужно то кладбище для бедных, что недалеко отсюда,— попадаешь туда через крытый проход и там еще ступенька есть и железная решетка.

Я смотрела ей в лицо, упрашивая ее рассказать все подробно, как вдруг заметила, что ее последние слова явно встревожили мистера Баккета.

— Ох, боже мой, боже мой! — вскричала девушка, крепко прижимая волосы к темени обеими руками,— что мне делать? что мне делать? Она хотела пойти на кладбище, где схоронили того человека, что выпил сонное зелье... вы тогда пришли домой и рассказали нам про него, мистер Снегсби,— а мне стало так страшно, миссис Снегсби! Ох, мне опять страшно. Держите меня!

— Нет, сейчас тебе гораздо лучше,— сказала я,— умоляю тебя, умоляю, скажи мне, что было дальше.

— Да, скажу; да, скажу! Только не сердитесь на меня, сударыня, за то, что мне было так худо.

Сердиться на нее, бедняжку!

— Ну вот! Теперь я скажу, теперь скажу. И тогда она говорит: может, я покажу ей дорогу на кладбище? А я говорю: ладно, и показала, а она глядит на меня, как слепая, а сама прямо с ног валится. И вот вынула она письмо, показала мне и говорит, что если она, мол, снесет его на почту, так оно все сотрется и его бросят, не отошлют никуда; и еще сказала: может, я соглашусь взять письмо и отослать с посыльным, а ему заплатят на месте. Я говорю: ладно, если только в этом нет ничего плохого; а она сказала, что нет — ничего плохого нету. И вот взяла я у нее письмо, а она говорит, что ей нечем мне заплатить, а я говорю, что я, мол, сама бедная и ничего мне не надо. Ну она тогда сказала: «Благослови тебя бог!» — и ушла.

— И она пошла...

— Да! — крикнула девушка, угадав вопрос.— Да! Пошла в ту сторону, куда я сказала. Тут я вернулась домой, а миссис Снегсби как подскочит ко мне откуда-то сзади да как вцепится в меня, ну я и перепугалась.

Мистер Вудкорт осторожно разнял ее руки, и я встала. Мистер Баккет закутал меня в плащ, и мы немедленно вышли на улицу. Мистер Вудкорт колебался, идти ему с нами или остаться, но я сказала: «Не покидайте меня сейчас!» — а мистер Баккет добавил: «Идемте с нами, вы можете нам понадобиться; нельзя терять времени!»

У меня осталось лишь самое смутное воспоминание о том, как мы тогда шли. Помню, что это было не ночью и не днем — брезжил рассвет, но фонари еще горели,— а мокрый снег по-прежнему шел не переставая и все вокруг было им занесено. Помню редких закоченелых прохожих на улицах. Помню мокрые крыши домов, канавы, забитые грязью, переполненные водосточные трубы, сугробы почерневшего снега и льда, по которым мы пробирались, узкие переулки, по которым мы шли. Но, помнится, все это время мне чудилось, будто я отчетливо, совсем ясно слышу, как несчастная девушка рассказывает мне все, что знает; чудилось, будто голова ее лежит у меня на руке; будто покрытые пятнами стены домов при-

няли человеческий облик и уставились на меня; будто какие-то огромные шлюзы открываются и закрываются не то у меня в голове, не то где-то в пространстве, и все призрачное сделалось более ощутимым, чем вещественное.

Наконец мы остановились под сводом темного отвратительного прохода, в конце которого над железными решетчатыми воротами горел фонарь и куда едва проникал утренний свет. Ворота были заперты. За ними виднелось кладбище — страшное место, где лишь очень медленно начинала рассеиваться ночная тьма и где я смутно различила какое-то нагромождение поруганных могил и надгробных камней в колодце из ветхих запущенных домов с редкими тусклыми огоньками в окнах, со стенами, на которых густая плесень проступала как гной на язвах. На ступеньке перед железными воротами, в луже какой-то ужасающей жидкости, стекавшей со стен этой трущобы и капавшей отовсюду, была распростерта женщина, в которой я с криком жалости и ужаса узнала... Дженни, мать умершего ребенка.

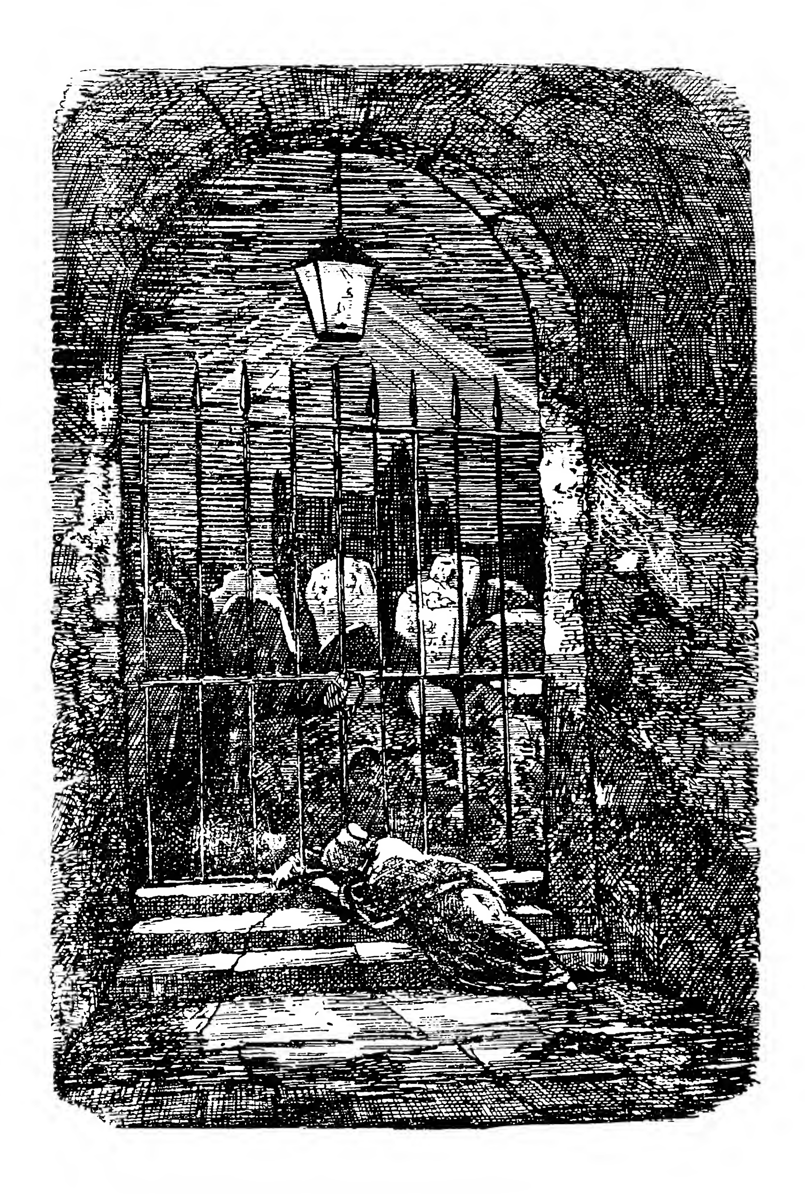
Я кинулась было к ней, но меня удержали, и мистер Вудкорт с величайшей горячностью и даже со слезами принялся умолять меня выслушать, что скажет мистер Баккет, и только тогда подойти к женщине. Кажется, я послушалась его; наверное, послушалась.

— Мисс Саммерсон, подумайте минутку, и вы все поймете. Они обменялись платьями в доме кирпичников.

«Они обменялись платьями в доме кирпичников!» Я могла только повторить про себя эти слова и понять их прямой смысл, но не могла догадаться, какое значение они имеют.

— И одна вернулась в Лондон,— объяснил мистер Баккет,— а другая пошла другой дорогой. Та, что пошла другой дорогой, отошла недалеко — только чтобы замести следы, а потом сделала круг по полям и вернулась домой. Подумайте минутку!

Я и эти его слова могла повторить про себя, но никак не могла понять их значения. Я видела перед собой распростертую на ступеньке мать умершего ребенка. Она лежала там, обхватив одной рукой прут железной решетки и словно обнимая его. Она лежала там — женщина, что так недавно говорила с моей матерью. Она лежала



там, замученная, бездомная, в обмороке. Та женщина, что принесла письмо моей матери; та единственная, что знала, где теперь моя мать; та, что могла указать нам, как найти и спасти мою мать, которую мы искали так далеко отсюда; та, что погибала из-за чего-то, связанного с моей матерью, но неизвестного мне, и, может быть, должна была скоро умереть и уйти от нас туда, где мы ничем не могли ей помочь... она лежала там, а они меня удерживали! Я увидела, каким торжественным и сострадательным стало вдруг лицо мистера Вудкорта, но не поняла ничего. Я увидела, как он положил руку на грудь моего второго спутника, чтобы заставить его посторониться, но не поняла почему. Я увидела, как он стоит на холодном ветру, благоговейно обнажив голову. Но ничего этого я не могла понять.

Я услышала даже, как спутники мои обменялись следующими словами:

— Может быть, ей подойти?

— Пусть подойдет. Пусть коснется первая. Это ее право, не наше.

Я подошла к железным воротам и наклонилась. Я подняла тяжелую голову, откинула в сторону длинные мокрые волосы и повернула к себе лицо. И увидела свою мать, холодную, мертвую!

## ГЛАВА LX

### *Перспективы*

Перехожу к другим главам своего повествования. Все мои близкие были так внимательны ко мне, и я черпала такое утешение в их доброте, что не могу вспомнить об этом без волнения. Впрочем, я уже столько говорила о себе и мне надо сказать еще столько, что я не буду распространяться о своем горе. Я захворала, но болела недолго, и не стала бы даже упоминать об этом, если бы могла умолчать о сочувствии моих близких.

Итак, перехожу к другим главам своего повествования.

Все время, пока я болела, мы безвыездно жили в Лондоне, и к нам тогда, по приглашению опекуна, приехала погостить миссис Вудкорт. Наконец опекун решил, что я достаточно окрепла и повеселела, так что уже могу побеседовать с ним по душам, как встарь,— хотя, послушайся он меня, это можно было бы сделать и раньше,— и, взяв свое рукоделье, я снова села в мое кресло рядом с ним. Он сам назначил время этой беседы, и мы были одни.

— Ну вот, вы и опять в Брюзжальне, Хозяюшка,— начал он, встретив меня поцелуем,— добро пожаловать, дорогая! Есть у меня один проект, и я хочу предложить его вам, милая девочка. Я надумал пожить в Лондоне еще полгода, а то и дольше... там видно будет. Словом, поселиться здесь на время.

— И значит, на это время покинуть Холодный дом,— сказала я.

— Да, милая,— отозвался он.— Холодный дом должен привыкнуть сам заботиться о себе.

Мне показалось, будто он проговорил это с грустью, но, взглянув на него, я увидела, что доброе его лицо сияет необычайно довольной улыбкой.

— Холодный дом,— повторил он, и я почувствовала, что на этот раз тон у него вовсе *не* грустный,— должен привыкнуть сам заботиться о себе. Он слишком далеко от Ады, моя дорогая, а вы Аде очень нужны.

— Как это похоже на вас, опекун, подумать об этом и сделать нам обеим такой приятный сюрприз,— сказала я.

— Не такой уж я бескорыстный, как кажется, дорогая моя, заметьте это себе, если хотите превознести меня за эту добродетель,— ведь если вы чуть не каждый день будете уезжать, мне с вами почти не придется видеться. Кроме того, бедный Рик от нас отдалился, а мне хочется как можно чаще и подробней знать, как живет Ада. И не она одна, но и он, бедный, тоже.

— Вы виделись с мистером Вудкортом сегодня утром, опекун?

— С мистером Вудкортом я вижусь каждое утро, Хлопотунья.

— О Ричарде он говорит все то же?

— То же самое. Думает, что никакой болезни у него нет, точнее — даже уверяет, что он ничем не болен. Однако Вудкорт не спокоен за Рика... да и *можно ли* быть спокойным?

Последнее время моя милая девочка приходила к нам каждый день, иногда даже два раза в день; но мы предвидели, что так часто она будет бывать у нас, лишь пока я не поправлюсь вполне. Мы ясно видели, что ее преданное, благодарное сердце по-прежнему полно любви к кузену Джону, и были убеждены, что Ричард не препятствует ей встречаться с нами; но, с другой стороны, мы знали, что она считает своим долгом по отношению к мужу навещать нас не слишком часто. Опекун со свойственной ему чуткостью скоро все это понял и постарался убедить Аду, что находит ее поведение вполне правильным.

— Милый, несчастный, заблудший Рик! — сказала я.— Когда же он, наконец, проснется и поймет свое заблуждение?

— Пока что он к этому не склонен, дорогая моя,— ответил опекун.— Чем больше он страдает, тем враждебней относится ко мне, видя во мне главного виновника своих страданий.

Я не могла удержаться и сказала:

— Как это неразумно!

— Эх, Старушка, Старушка! — отозвался опекун.— Да разве есть хоть что-нибудь разумное в тяжбе Джарндисов? Все в ней неразумно и несправедливо сверху донизу, неразумно и несправедливо снаружи и внутри, неразумно и несправедливо от начала и до конца — если только будет конец,— так может ли бедный Рик, который вечно возится с этой тяжбой, набраться от нее ума-разума? Может ли этот юноша собирать виноград с терновника, а инжир с чертополоха, если этого не могли и наши предки в седую старину?

Опекун всегда говорил о Ричарде мягко, с большой чуткостью, а я, слушая его, умолкала очень быстро,— так трогало меня его отношение к юноше.

— А ведь лорд-канцлер, и вице-канцлеры, и вся канцлерская тяжелая артиллерия, пожалуй, безмерно удивились бы, узнай они о том, как неразумен и несправедлив один из их истцов,— продолжал опекун.— Не меньше,

чем удивлюсь я, когда эти ученые мужи начнут выращивать моховые розы на пудре, которой они засеивают свои парики!

Он повернулся было к окну, чтобы узнать, откуда дует ветер, но удержался и вместо этого облокотился на спинку моего кресла.

— Так-то, милая девочка. Ну, а теперь вернемся к нашей теме, дорогая. Предоставим времени, случаю и благоприятному стечению обстоятельств уничтожить этот подводный камень. Нельзя же допустить, чтоб о него разбилась Ада. Ричард не должен со мной сближаться, пока есть хоть малейший риск, что он может вновь отдалиться от меня,— ему и Аде будет очень трудно перенести второй разрыв с другом. Поэтому я настоятельно просил мистера Вудкорта, а теперь настоятельно прошу вас, дорогая, не заговаривать обо мне с Риком. Забудьте об этом. Пройдет неделя, месяц, год — все равно, рано или поздно, он посмотрит на меня более ясными глазами. Я могу и подождать.

Пришлось сознаться, что я уже говорила об этом с Ричардом, кажется говорил и мистер Вудкорт.

— Да, это я знаю с его слов,— промолвил опекун.— Ну что ж. Он, так сказать, заявил протест от себя, а Хлопотунья — от себя, и больше об этом говорить не к чему. Теперь я перейду к миссис Вудкорт. Как она вам нравится, дорогая моя?

В ответ на этот вопрос, такой странный и неожиданный, я сказала, что она мне очень нравится и, по-моему, она теперь приятней, чем была раньше.

— И я так думаю,— согласился опекун.— Меньше болтает о родословных, правда? Не так пространно рассказывает о Моргене-ап... или как его там зовут?

Я ответила, что именно это я и хотела сказать, хотя, в сущности, ее Морген-ап-Керриг был довольно безобидной личностью даже тогда, когда миссис Вудкорт рассказывала о нем пространней, чем теперь.

— Но, в общем, пусть он сидит себе там в своих родных горах,— сказал опекун.— Я с вами согласен. Итак, Хлопотунья, может быть, мне попросить миссис Вудкорт погостить у нас подольше?

Да. И все же...

Опекун смотрел на меня, ожидая ответа.

Мне нечего было ответить. Вернее, я не могла придумать ответ. Мне как-то смутно казалось, что лучше бы у нас погостил кто-нибудь другой; но почему — этого я, пожалуй, не могла объяснить даже самой себе. То есть себе-то я могла объяснить, но уж никак не другим.

— Тут вот какое обстоятельство,— сказал опекун,— Вудкорт работает неподалеку от нас, а значит, сможет заходить к нам и видеться с матерью сколько душе угодно, что будет приятно им обоим; мы к ней привыкли, и она вас любит.

Да. Этого нельзя было отрицать. Я ничего не могла сказать против. Он очень хорошо все это придумал — я не могла бы предложить ничего лучшего; но на душе у меня было не совсем спокойно... Эстер, Эстер, почему же? Эстер, подумай!

— Это действительно очень разумно, дорогой опекун, лучше не придумаешь.

— Вы уверены, Хлопотунья?

Совершенно уверена. Минуту назад я заставила себя подумать, подумала и теперь уже была совершенно уверена.

— Прекрасно,— сказал опекун.— Так и сделаем. Решили единогласно.

— Решили единогласно,— повторила я, не отрываясь от своего рукоделья.

Я тогда вышивала скатерть для его книжного столика. В памятный вечер перед своей тяжкой поездкой я отложила эту неоконченную работу и с тех пор больше за нее не принималась. Теперь я показала скатерть опекуну, и она ему очень понравилась. Я попросила его рассмотреть узор, описала, какой красивой будет эта скатерть, и, наконец, решила возобновить наш разговор на том месте, где он прервался.

— Вы как-то сказали, дорогой опекун,— помнится, перед тем, как Ада от нас ушла,— что мистер Вудкорт опять собирается уехать за границу надолго. Вы с тех пор говорили с ним об этом?

— Да, Хозяюшка; довольно часто.

— Он решил уехать?

— Как будто нет.

— Может быть, у него появились какие-то новые виды на будущее? — спросила я.

— Как вам сказать?.. Да... может быть,— начал опекун, очевидно обдумывая свой ответ.— Примерно через полгода откроется вакансия на должность врача для бедных в одном йоркширском поселке *. Живут там зажиточно, и место приятное — нечто среднее между городом и деревней: речки и улицы, мельницы и луга,— да и работа подходящая для такого человека, как он. Я хочу сказать — человека, который надеется и желает возвыситься над общим уровнем (а ведь почти все люди хотят этого временами), но в конце концов удовольствуется и общим уровнем, если получит возможность приносить пользу и честно работать, хоть и не прославится. Я думаю, что все благородные души честолюбивы, но мне больше всего нравится честолюбие, которое спокойно выбирает подобный путь, вместо того чтобы судорожно пытаться перескочить через него. Честолюбие Вудкорта как раз такое.

— И его назначат на эту должность? — спросила я.

— Ну, знаете, Хлопотунья,— ответил опекун с улыбкой,— не будучи оракулом, я ничего не могу сказать наверное, но думаю, что назначат. Репутация у него очень хорошая, к тому же среди людей, потерпевших кораблекрушение вместе с ним, оказались йоркширцы, тамошние жители, и как ни странно, но я верю, что чем лучше ты сам, тем больше у тебя шансов на успех. Впрочем, не думайте, что это доходное место. Должность очень, очень скромная, дорогая моя,— работы много, а заработка мало; но можно надеяться, что со временем положение его улучшится.

— Бедняки в этом поселке будут счастливы, если выбор падет на мистера Вудкорта, опекун.

— Правильно, дорогая, в этом сомневаться не приходится.

Больше мы об этом не говорили, и опекун не сказал ни слова о Холодном доме и его будущем. Потому не сказал, решила я тогда, что я ношу траур и еще только в первый раз после болезни сижу с ним наедине.

Теперь я каждый день навещала мою дорогую девочку в том унылом темном закоулке, где она жила.

Обычно я бывала у нее по утрам, но всякий раз, как у меня выпадал часок-другой свободного времени, я надевала шляпу и снова бежала на Канцлерскую улицу. Оба они, и Ричард и Ада, были так рады видеть меня в любое время и так оживлялись, заслышав, что я открываю дверь и вхожу (чувствуя себя здесь как дома, я никогда не стучала), что я ничуть не боялась им надоесть.

Приходя к ним, я часто не заставала Ричарда. Если же он и был дома, то обычно что-то писал или читал документы, приобщенные к тяжбе, сидя за своим столом, заваленным бумагами, до которых не позволял дотронуться. Случалось мне видеть, как он стоит в нерешительности перед конторой мистера Воулса. Случалось сталкиваться с ним, когда он бродил по соседству, бесцельно слоняясь по улицам и покусывая ногти. Нередко я встречала его в Линкольнс-Инне близ того здания, где впервые его увидела; но — ах! — как он был непохож на прежнего, как непохож!

Я знала, что состояние, принесенное ему Адой в приданое, тает, как свечи, горящие по вечерам в конторе мистера Воулса. А состояние это было очень небольшое. К тому же у Ричарда были долги до женитьбы; так что я теперь хорошо понимала что значат слова «мистер Воулс налегает плечом на колесо»,— а он продолжал «налегать», как я слышала. Моя дорогая подруга оказалась превосходной хозяйкой и всячески старалась экономить; и все же я знала, что молодые беднеют с каждым днем.

В этом убогом углу она сияла как прекрасная звезда. Она так украсила и озарила его, что теперь его и узнать нельзя было. Сама же она была бледнее, чем раньше, когда жила дома, и я удивлялась, почему она так молчалива,— ведь она до сих пор не теряла бодрости и надежды, а лицо у нее всегда было такое безмятежное, что, мне казалось, это любовь к Ричарду ослепляет ее, и она просто не видит, что он идет к гибели.

Как-то раз я шла к ним обедать, раздумывая обо всем этом. И вдруг, подойдя к Саймондс-Инну, встретила маленькую мисс Флайт, которая вышла от них. Она только что нанесла визит «подопечным тяжбы Джарндисов», как она все еще их называла, и осталась от души довольна

этой церемонией. Ада говорила мне, что старушка является к ним каждый понедельник ровно в пять часов, нацепив на шляпку лишний белый бант,— которого на ней не увидишь в другое время,— а на руке у нее тогда висит ее самый объемистый ридикюль с документами.

— Душенька моя! — начала она.— Я в восторге! Как поживаете? Как я рада вас видеть. Вы идете с визитом к нашим интересным подопечным Джарндисов? *Ну, конечно!* Наша красавица дома, душенька моя, и будет счастлива видеть вас.

— Значит, Ричард еще не вернулся? — спросила я.— Вот хорошо, а то я боялась, что немного опаздываю.

— Нет, еще не вернулся,— ответила мисс Флайт.— Сегодня он засиделся в суде. Я оставила его там с Воулсом. Надеюсь, вы не любите Воулса? *Не надо* любить Воулса. О-пас-нейший человек!

— Вероятно, вы теперь встречаетесь с Ричардом чаще прежнего, к сожалению? — спросила я.

— Прелесть моя,— ответила мисс Флайт,— я встречаюсь с ним ежедневно и ежечасно. Вы помните, что̀ я вам говорила о притягательной силе вещей на столе лорд-канцлера? Так вот, душенька моя, если не считать меня, Ричард самый постоянный истец во всем суде. Это прямо-таки забавляет нашу маленькую компанию. Мы оч-чень дружная компания, не правда ли?

Грустно было слышать это от бедной слабоумной старушки, но я не удивилась.

— Короче говоря, достойный мой друг,— зашептала мне на ухо мисс Флайт с покровительственным и таинственным видом,— я должна открыть вам один секрет. Я назначила Ричарда своим душеприказчиком. Назначила, уполномочила и утвердила. В своем завещании. Да-а!

— Неужели? — удивилась я.

— Да-а,— повторила мисс Флайт самым жеманным тоном,— назначила его своим душеприказчиком, распорядителем и уполномоченным. (Так выражаются у нас в Канцлерском суде, душенька.) Я решила, что если сама я не выдержу, так ведь он-то успеет дождаться решения. Он так регулярно бывает в суде.

Я только вздохнула.

— Одно время,— начала мисс Флайт и тоже вздохнула,— я собиралась назначить, уполномочить и утвердить бедного Гридли. Он тоже очень регулярно ходил в суд, моя прелесть. Уверяю вас, прямо образцово! Но он не выдержал, бедняга; поэтому я назначила ему преемника. Никому об этом не рассказывайте. Говорю по секрету.

Она осторожно приоткрыла свой ридикюль и показала мне сложенную бумагу — вероятно, то самое завещание, о котором говорила.

— Еще секрет, дорогая: я сделала добавление к своей птичьей коллекции.

— В самом деле, мисс Флайт? — отозвалась я, зная, как ей приятно, когда ее слушают с интересом.

Она несколько раз кивнула головой, а лицо ее омрачилось и потемнело.

— Еще две птички. Я назвала их «Подопечные тяжбы Джарндисов». Они сидят в клетках вместе с остальными: с Надеждой, Радостью, Юностью, Миром, Покоем, Жизнью, Прахом, Пеплом, Мотовством, Нуждой, Разорением, Отчаянием, Безумием, Смертью, Коварством, Глупостью, Словами, Париками, Тряпьем, Пергаментом, Грабежом, Прецедентом, Тарабарщиной, Обманом и Чепухой.

Бедняжка поцеловала меня такая взволнованная, какой я ее еще не видела, и отправилась восвояси. Имена своих птичек она перечисляла очень быстро, словно ей было страшно услышать их даже из своих собственных уст, и мне стало жутко.

Подобная встреча никак не могла поднять мое настроение; охотно обошлась бы я и без встречи с мистером Воулсом, которого Ричард (явившийся минуты через две после меня) привел к обеду. Обед был очень простой, но Аде и Ричарду все-таки пришлось ненадолго выйти из комнаты, чтобы заняться хозяйством. Тут мистер Воулс воспользовался случаем побеседовать со мной вполголоса. Он подошел к окну, у которого я сидела, и заговорил о Саймондс-Инне.

— Скучное место, мисс Саммерсон, для тех, кто здесь не работает,— начал мистер Воулс и, желая протереть стекло, чтобы мне было лучше видно, принялся пачкать его своей черной перчаткой.

— Да, смотреть здесь не на что,— согласилась я.

— И слушать нечего, мисс,— отозвался мистер Воулс.— Случается, что сюда забредут уличные музыканты, но мы, юристы, не музыкальны и быстро их выпроваживаем. Надеюсь, мистер Джарндис здоров, к счастью для своих друзей?

Я поблагодарила мистера Воулса и сказала, что мистер Джарндис вполне здоров.

— Сам я не имею удовольствия быть в числе его друзей,— заметил мистер Воулс,— и знаю, что в его доме на нашего брата, юриста, порой смотрят недружелюбно. Как бы то ни было, наш путь ясен: хорошо о нас говорят или плохо, все равно мы, вопреки всякого рода предубеждениям против нас (а мы жертвы предубеждений), ведем свои дела начистоту... Как вы находите мистера Карстона, мисс Саммерсон?

— У него очень нездоровый вид... страшно встревоженный.

— Совершенно верно,— согласился мистер Воулс.

Он стоял позади меня, длинный и черный, чуть не упираясь головой в низкий потолок и так осторожно ощупывал свои прыщи на лице, словно это были не прыщи, а драгоценные камни, да и говорил он ровным утробным голосом, как человек, совершенно лишенный человеческих чувств и страстей.

— Мистер Карстон, кажется, находится под наблюдением мистера Вудкорта?

— Мистер Вудкорт — его бескорыстный друг,— ответила я.

— Но я хотел сказать — под профессиональным наблюдением, под медицинским наблюдением.

— Оно плохо помогает, когда душа неспокойна,— заметила я.

— Совершенно верно,— согласился мистер Воулс.

Такой медлительный, такой хищный, такой бескровный и унылый! — Мне чудилось, будто Ричард чахнет под взглядом своего поверенного, а поверенный чем-то смахивает на вампира.

— Мисс Саммерсон,— продолжал мистер Воулс, очень медленно потирая руки в перчатках — казалось, его тупому осязанию безразлично, затянуты они в черную

лайку или нет,— я считаю брак мистера Карстона неблагоразумным поступком.

Я попросила его не говорить со мной на эту тему. Они дали друг другу слово, когда были еще совсем юными, объяснила я ему (довольно-таки негодующим тоном), а будущее представлялось им более светлым и ясным, чем теперь, когда Ричард поддался злополучному влиянию, омрачающему его жизнь.

— Совершенно верно,— снова подтвердил мистер Воулс.— Однако, придерживаясь своего принципа высказывать все начистоту, я замечу, с вашего позволения, мисс Саммерсон, что нахожу этот брак чрезвычайно неблагоразумным. Я считаю своим долгом высказать это мнение, долгом не только по отношению к близким мистера Карстона, от которых, натурально, жду справедливой оценки, но и по отношению к своей собственной репутации, ибо я дорожу ею, как юрист, стремящийся сохранить всеобщее уважение, ибо ею дорожат мои три дочери, которым я стараюсь обеспечить маленькое независимое состояние, и добавлю даже: ею дорожит мой престарелый отец, содержать которого я считаю своей почетной обязанностью.

— Этот брак стал бы совсем другим браком — гораздо более счастливым и во всех отношениях более удачным, мистер Воулс,— сказала я,— если бы Ричарда можно было уговорить отказаться от роковой цели, к которой вы стремитесь вместе с ним.

Беззвучно кашлянув, или, точнее, зевнув в свою черную перчатку, мистер Воулс наклонил голову, как бы не желая резко возражать даже против этого.

— Мисс Саммерсон,— произнес он,— возможно, что вы и правы; и я охотно признаю, что молодая леди, столь неблагоразумно принявшая фамилию мистера Карстона,— надеюсь, вы не посетуете на меня за то, что я из чувства долга перед близкими мистера Карстона повторяю это,— является весьма достойной молодой леди из очень хорошей семьи. Дела помешали мне вращаться в обществе иначе как в качестве поверенного моих клиентов, тем не менее, надеюсь, я способен понять, что супруга мистера Карстона весьма достойная молодая леди. Что касается красоты, то в этой области я не знаток и никогда с юных лет не обращал на нее большого внимания; но смею ска-

зать, что эта молодая леди отличается большими достоинствами и в отношении красоты. Ее (как я слышал) считают красивой клерки нашего Инна, а в этом они смыслят больше меня. Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих собственных интересах...

— Полно! Какие там интересы, мистер Воулс!

— Простите,— перебил меня мистер Воулс и продолжал все тем же утробным и бесстрастным голосом: — У мистера Карстона имеются некоторые интересы, связанные с некоторыми завещаниями, которые оспариваются в суде. Так выражаемся мы, юристы. Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих интересах, то я уже сказал вам, мисс Саммерсон, в тот день, когда впервые имел удовольствие с вами встретиться, что я стремлюсь вести дела начистоту,— я тогда употребил именно эти слова и впоследствии записал их в свой деловой дневник, который можно представить для ознакомления когда угодно,— я уже сказал вам, что мистер Карстон желает следить за своими интересами лично и поставил мне условием подробно осведомлять его о ходе его дела. Когда же любой мой клиент ставит какое-либо не безнравственное (я хочу сказать, не противозаконное) условие, мне надлежит выполнить это условие. Я его выполнял; я его выполняю. Однако я никоим образом не хочу смягчать положение, когда ставлю о нем в известность близких мистера Карстона. С вами я говорю начистоту, как говорил и с мистером Джарндисом. Я считаю своим профессиональным долгом высказаться начистоту, хоть и не могу потребовать за это гонорара. Итак, как ни грустно, но скажу начистоту, что дела мистера Карстона весьма плохи, что сам мистер Карстон очень плох и что брак его — чрезвычайно неблагоразумный брак... Здесь ли я, сэр? Да, благодарю вас, я здесь, мистер Карстон, и с удовольствием веду приятную беседу с мисс Саммерсон, за что обязан принести вам глубокую благодарность, сэр!

Так он оборвал наш разговор, отвечая Ричарду, который окликнул его, войдя в комнату. Но я уже слишком хорошо поняла все значение щепетильных попыток мистера Воулса спасти себя и свою репутацию и не могла

не чувствовать, что беда, которой мы так опасались, надвигается вместе с угрожающим падением его клиента.

Мы сели за стол, и я с тревогой воспользовалась случаем присмотреться к Ричарду. Мистер Воулс (снявший перчатки во время еды) мне не мешал, хотя сидел против меня, а стол был не широкий,— не мешал потому, что если уж поднимал глаза, то не сводил их с нашего хозяина. Я нашла Ричарда похудевшим и вялым, небрежно одетым, рассеянным, и если он время от времени делал над собой усилие, стараясь оживленно поддерживать разговор, то вскоре снова погружался в тупую задумчивость. Его большие блестящие глаза, такие веселые в былое время, теперь были полны тревоги, беспокойства, и это совершенно изменило их. Не могу сказать, что он постарел. В некоторых случаях гибель юности не то же самое, что старость; и на такую гибель были обречены юность и юношеская красота Ричарда.

Он ел мало и, кажется, относился к еде равнодушно; он стал гораздо более раздражительным, чем раньше, и был резок даже с Адой. Вначале я подумала, что от его прежней беспечности не осталось и следа; потом стала замечать, как ее отблески мелькают на его лице, так же, как видела иногда в зеркале какие-то черточки своего прежнего лица. И прежний его смех еще не совсем угас; но он казался лишь эхом прежнего веселья, и от этого становилось грустно на душе.

Но со мной он был по-прежнему ласков и, как всегда, рад видеть меня у себя, так что мы с удовольствием болтали, вспоминая прошлое. Наша беседа явно не интересовала мистера Воулса, хотя он иногда растягивал рот в какой-то зевок, который, видимо, заменял ему улыбку. Вскоре после обеда он поднялся и сказал, что просит у дам позволения удалиться к себе в контору.

— Как всегда, всего себя отдаете делу, Воулс! — воскликнул Ричард.

— Да, мистер Карстон,— ответил тот,— нельзя пренебрегать интересами клиентов, сэр. Только о них и должен думать человек моего склада — юрист, который стремится сохранить свое доброе имя в среде коллег и в любом обществе. Если я лишаю себя удовольствия вести

столь приятный разговор, мистер Карстон, то к этому меня до известной степени понуждают и ваши собственные интересы.

Ричард сказал, что не сомневается в этом, и посветил мистеру Воулсу, пока тот спускался по лестнице. Вернувшись, он не раз повторял нам, что Воулс славный малый, надежный малый, который выполняет все, за что берется,— словом, прямо-таки замечательный малый! И он твердил это так настойчиво, что я все поняла — он уже начал сомневаться в мистере Воулсе.

Усталый, он бросился на диван, а мы с Адой принялись наводить порядок, так как прислуги у молодых не было, если не считать женщины, приходившей убирать квартиру. У моей милой девочки было маленькое фортепьяно, и она тихонько села за него и принялась петь любимые песни Ричарда, но сначала мы перенесли лампу в соседнюю комнату, потому что он жаловался, что глазам его больно от света.

Я сидела между ними, рядом с моей дорогой девочкой, и слушала ее чудесный голос с глубокой печалью. Кажется, Ричард испытывал то же самое — потому-то он, должно быть, и захотел остаться в темноте. Ада пела, но время от времени вставая, наклонялась к нему и говорила несколько слов; и вдруг пришел мистер Вудкорт. Он подсел к Ричарду, заговорил с ним полушутя-полусерьезно, и само собой вышло, что Ричард рассказал ему, как он себя чувствует и как провел день. Немного погодя мистер Вудкорт сказал Ричарду, что ночь нынче лунная и свежая, так что не пойти ли им вдвоем погулять по мосту, а Ричард охотно согласился, и они ушли.

Моя дорогая девочка по-прежнему сидела за фортепьяно, а я — рядом с нею. Когда Ричард и мистер Вудкорт ушли, я обняла ее за талию. Она взяла меня за руку левой рукой (я сидела слева от нее), а правой продолжала перебирать клавиши, но не брала ни одной ноты.

— Эстер, любимая моя,— начала Ада, нарушая молчание,— когда у нас сидит Аллен Вудкорт, Ричард так хорошо себя чувствует, что я за него совсем спокойна. За это мы должны благодарить тебя.

Я объяснила своей милой подруге, что я тут совершенно ни при чем,— ведь мистер Вудкорт бывал в доме

ее кузена Джона, познакомился там со всеми нами, и Ричард всегда ему нравился, а он всегда нравился Ричарду и... и так далее.

— Все это верно,— сказала Ада,— но если он стал нашим преданным другом, то этим мы обязаны тебе.

Я решила уступить своей дорогой девочке, чтобы прекратить спор. Так я ей и сказала. Сказала легким тоном, ибо почувствовала, что она дрожит.

— Эстер, любимая моя, я хочу быть хорошей женой... очень, очень хорошей женой. Этому меня научишь ты.

Мне ее научить! Но я промолчала, ибо заметила, как ее рука бродит по клавишам, и поняла: мне не надо ничего говорить... Ада сама хочет сказать мне что-то.

— Когда я выходила замуж за Ричарда, я предвидела то, что его ожидает. Я долго была вполне счастлива своей дружбой с тобой, а ты меня так любила, так обо мне заботилась, что я не знала горя и тревоги; но я тогда поняла, в какой он опасности, Эстер.

— Я знаю, я знаю, любимая моя!

— Когда мы поженились, я немного надеялась, что, быть может, сумею показать ему, в чем он заблуждается... надеялась, что, став моим мужем, он, может быть, посмотрит на все это другими глазами, вместо того чтобы с еще большим рвением преследовать свою цель ради меня... как он это делает теперь. Но, если бы даже я не надеялась, я бы все равно вышла за него замуж, Эстер... все равно!

Ее рука, которая раньше безостановочно бродила по клавишам, на мгновение замерла, твердо надавив на них,— казалось, Ада хотела этим подчеркнуть свои последние слова; а как только она умолкла, рука ее снова ослабела... и тут я поняла, как искренне говорила моя милая подруга.

— Не думай, любимая моя Эстер, что я не вижу того, что видишь ты, и не боюсь того, чего ты боишься. Никто не может понять Ричарда лучше, чем я. Величайшая мудрость на свете никогда не будет знать его так, как знает моя любовь.

Она говорила все это так скромно и мягко, но ее дрожащая рука, бродившая по немым клавишам, выражала такое глубокое волнение! Моя милая, милая девочка!

— Каждый день я вижу его в таком плохом состоянии, в каком его не видит никто. Я смотрю на него, когда он спит. Как бы ни менялось его лицо, я понимаю, чем вызвана перемена. Но когда я вышла замуж за Ричарда, Эстер, я твердо решила, с помощью божьей, никогда не показывать ему, что огорчена его поведением,— ведь от этого ему только стало бы еще хуже. Я хочу, чтобы, приходя домой, он не читал на моем лице ни малейшего беспокойства. Я хочу, чтобы, глядя на меня, он видел только то, что любит во мне. Для этого я и вышла за него замуж, и это меня поддерживает.

Я чувствовала, что она дрожит все сильнее. Но молчала, ожидая новых признаний, и вскоре начала догадываться, о чем еще она хочет говорить со мной.

— И еще кое-что поддерживает меня, Эстер.

Она на мгновение умолкла, но только на мгновение, а рука ее по-прежнему бродила по клавишам.

— Я немного заглядываю вперед и мечтаю о том времени, когда, может быть, получу большую, очень большую поддержку. Это будет, когда Ричард, взглянув на меня, увидит в моих объятиях существо более красноречивое, чем я, более способное вернуть его на правильный путь и спасти.

Рука ее замерла. Ада крепко обняла меня, а я обняла ее.

— Но если и эта малютка не поможет, Эстер, я все равно буду мечтать о будущем. Я буду мечтать о далеком-далеком будущем, которое наступит через многие-многие годы,— мечтать, что, когда я состарюсь или, быть может, умру, дочь Ричарда, прекрасная и счастливая в замужестве, будет гордиться своим отцом и служить ему утешением. Или буду мечтать о том, как благородный и мужественный юноша — такой же красивый, каким некогда был Ричард, такой же полный надежд, но гораздо более счастливый — будет идти рядом с отцом в солнечный день и, почитая его седины, говорить себе: «Благодарю бога за такого отца! Его чуть не сгубило роковое наследство, но он возродился к новой жизни благодаря мне!»

О моя прелестная девочка, какое чудесное сердце билось так трепетно рядом с моим!

— Вот какие надежды поддерживают меня, милая моя Эстер, и, я знаю, будут поддерживать всегда. Впрочем, даже они иногда покидают меня,— ведь мне так страшно смотреть на Ричарда.

Я попыталась ободрить свою любимую и спросила, чего же она боится? Заливаясь слезами, она ответила:

— ...Что он не увидит своего ребенка, не доживет...

## ГЛАВА LXI

### *Неожиданность*

Никогда не исчезнут из моей памяти те дни, когда я часто навещала убогое жилище, которое так украшала моя милая девочка. Я больше не бываю в тех краях и не хочу бывать — с тех пор я посетила их лишь раз,— но в моей памяти они окружены ореолом скорби, и он будет сиять вечно.

Конечно, не проходило и дня без того, чтобы я не навестила Аду и Ричарда. Вначале я два-три раза заставала у них мистера Скимпола, который от нечего делать играл на фортепьяно и, как всегда, оживленно болтал. Признаться, я почти не сомневалась, что каждое его появление у молодых чувствительно отзывается на кошельке Ричарда, но даже не говоря об этом, в его беспечной веселости было что-то слишком несовместимое с душевным состоянием Ады, о котором я знала. Кроме того, мне было ясно, что Ада относится к мистеру Скимполу так же, как я. Тщательно продумав все это, я решила пойти к нему и сделать попытку деликатно объясниться с ним. Больше всего я заботилась о благе моей дорогой девочки, и это придало мне смелости.

Как-то раз утром я вместе с Чарли отправилась в Сомерс-Таун. Чем ближе я подходила к знакомому дому, тем больше мне хотелось повернуть вспять,— ведь я предвидела, как безнадежны будут мои старания повлиять на мистера Скимпола и как много шансов на то, что он нанесет мне жестокое поражение. Тем не менее я решила, что делать нечего,— раз уж я пришла сюда,

отступать поздно. Дрожащей рукой я постучала в дверь, повторяю — рукой, потому что дверной молоток исчез, и после длительных переговоров меня впустила какая-то ирландка, которая стояла во дворике и, пока я стучала, кочергой отбивала крышку от бочки для воды, должно быть на растопку.

Мистер Скимпол лежал в своей комнате на диване, поигрывая на флейте, и при виде меня пришел в восторг. Кто же должен принимать меня, спросил он? Которую из его дочерей я предпочла бы видеть в роли церемониймейстера? Дочь Насмешницу, дочь Красавицу или дочь Мечтательницу? А может быть, я хочу видеть всех трех сразу в одном роскошном букете?

Уже наполовину побежденная, я ответила, что, с его разрешения, хотела бы поговорить с ним наедине.

— Дорогая мисс Саммерсон, с величайшей радостью! — отозвался он, подвигая свое кресло поближе ко мне и сияя очаровательной улыбкой.— Но, разумеется, говорить мы будем не о делах. А, стало быть, об удовольствиях!

Я сказала, что, конечно, пришла не по делу, но тема нашего разговора будет не из приятных.

— Если так, дорогая мисс Саммерсон,— промолвил он с самой искренней веселостью,— вы про нее и не говорите. К чему говорить о вещах, которые *нельзя* назвать приятными? *Я* никогда о них не говорю. А ведь вы гораздо приятнее меня во всех отношениях. Вы приятны вполне; я же не вполне приятен. Поэтому, если уж я никогда не говорю о неприятных вещах, так вам тем более не к лицу о них говорить! Итак, с этим покончено, давайте поболтаем о чем-нибудь другом.

Мне было неловко, но я все-таки решилась сказать, что хочу говорить о том, для чего явилась сюда.

— Я сказал бы, что это ошибка,— промолвил мистер Скимпол с легким смехом,— если бы считал, что мисс Саммерсон способна ошибаться. Но я этого не считаю!

— Мистер Скимпол,— начала я, глядя ему в глаза,— я так часто слышала от вас самих, что вы ничего не смыслите в житейских делах...

— То есть в наших трех друзьях из банкирского дома — Фунте, Шиллинге и... как бишь зовут младшего

компаньона? Пенс? — принялся шутить мистер Скимпол.— Правильно! О них я не имею ни малейшего представления!

— Так, может быть, вы не посетуете на меня за навязчивость,— продолжала я.— Но, мне кажется, вы обязаны знать, что Ричард теперь обеднел.

— Боже мой! — воскликнул мистер Скимпол.— Но я тоже обеднел, как мне говорят.

— И что дела его очень запутаны.

— Как и мои — точь-в-точь! — отозвался мистер Скимпол с ликующим видом.

— Ада, естественно, этим очень встревожена и, вероятно, тревожится еще больше, когда вынуждена принимать гостей; а Ричарда никогда не оставляет тяжкая забота; ну вот я и решила взять на себя смелость сказать вам... не можете ли вы... не...

Мне было очень трудно высказаться до конца, но мистер Скимпол взял мои руки в свои и с сияющим лицом очень быстро докончил мою фразу:

— Не бывать у них? Конечно, не буду больше бывать, дорогая мисс Саммерсон; безусловно не буду. Да и *зачем* мне у них бывать? Если я куда-нибудь иду, я иду, чтобы получить удовольствие. Я никогда не хожу туда, где буду страдать, потому что я создан для удовольствий. Страдание само приходит *ко мне,* когда хочет. Надо сказать, что в последнее время я почти не получал удовольствия, когда заходил к нашему милому Ричарду, а вы так практичны и проницательны, что объяснили мне, почему так вышло. Наши молодые друзья утратили ту юношескую поэтичность, которая некогда была в них столь пленительной, и начали думать: «Вот человек, которому нужны фунты». Это правда; мне то и дело нужны фунты — но не для себя, а для торговцев, которые то и дело норовят получить их с меня. Далее, наши молодые друзья понемножку становятся меркантильными и начинают думать: «Вот человек, который уже *получил* фунты... то есть взял их в долг»,— а я и вправду брал. Я всегда занимаю фунты. Выходит, что наши молодые друзья, опустившиеся до прозы (о чем приходится очень пожалеть), так сказать, вырождаются, лишаясь способности достав-

лять мне удовольствие. А раз так, с какой стати я к ним пойду? Смешно!

Сияющая улыбка, с какой он, разглагольствуя, поглядывал на меня, и бескорыстно благожелательное выражение его лица были просто поразительны.

— А кроме того,— продолжал он свои рассуждения тоном безмятежной уверенности в себе,— если я не иду туда, где буду страдать,— а пойди я туда, я поступил бы чудовищно, наперекор самой сущности своей жизни,— так зачем мне идти куда-то, чтобы причинять страдания другим? Если я навещу наших молодых друзей теперь, когда они в неуравновешенном состоянии духа, я причиню им страдание. Мое общество будет им неприятно. Они могут сказать: «Вот человек, который занимал фунты, но не может вернуть эти фунты»,— чего я, разумеется, не могу,— и речи быть не может! Если так, вежливость требует, чтобы я к ним не ходил... я и не буду ходить.

Кончив свою речь, он с чувством поцеловал мне руку и поблагодарил меня. Только утонченный такт мисс Саммерсон, сказал он, помог ему разобраться во всем этом.

Я была очень смущена, но решила, что раз уж я добилась своей главной цели, мне все равно, что он столь извращенным путем пришел к единомыслию со мной. Мне нужно было, однако, сказать ему еще кое о чем, и тут уж я была уверена, что меня ничем не смутишь.

— Мистер Скимпол,— начала я,— осмелюсь сказать еще кое-что перед тем, как уйти: недавно я с удивлением узнала из самых достоверных источников, что вам было известно, с кем ушел бедный больной мальчик из Холодного дома, и что вы в связи с этим согласились принять подарок. Я не сказала об этом опекуну, из боязни его огорчить; но вам я могу сознаться, что очень удивилась.

— Не может быть! Неужели вы действительно удивились, дорогая мисс Саммерсон? — переспросил мистер Скимпол, шутливо поднимая брови.

— Очень.

Он немного подумал об этом с приятнейшим и чуть лукавым видом и, наконец, окончательно отказавшись понять мое удивление, проговорил самым чарующим тоном:

— Вы знаете, я сущее дитя. Скажите, почему же вы удивились?

Мне не хотелось объяснять все подробно, но мистер Скимпол сам попросил меня об этом, потому-де, что ему очень любопытно это знать, и я в самых мягких выражениях, какие могла придумать, дала ему понять, что он тогда погрешил против своих нравственных обязанностей. Это показалось ему очень интересным и забавным, и он отозвался на мою речь словами: «Неужели правда?» — сказанными с неподдельным простодушием.

— Вы же знаете, что я не могу отвечать за свои поступки, нисколько на это не претендую. И никогда не мог. Ответственность — это такая штука, которая всегда была выше меня... или ниже,— пояснил мистер Скимпол,— я даже не знаю точно, выше или ниже; но, насколько я понимаю, наша дорогая мисс Саммерсон (которая отличается практическим здравым смыслом и ясностью ума) намекает, вероятно, на то, что я тогда принял деньги, не так ли?

Я опрометчиво согласилась с этим.

— Ага! В таком случае,— проговорил мистер Скимпол, качая головой,— я, как видите, безнадежно не способен уразуметь все это.

Я решила уйти и встала, но добавила еще, что нехорошо было променять доверие опекуна на взятку.

— Дорогая мисс Саммерсон,— возразил мистер Скимпол с неподражаемой наивной веселостью,— никто не может дать взятку мне.

— Даже мистер Баккет? — спросила я.

— Даже он,— ответил мистер Скимпол.— Никто не может. Деньги для меня не имеют никакой цены. Я ими не интересуюсь; я в них ничего не смыслю; я в них не нуждаюсь: я их не берегу... они уплывают от меня мгновенно. Как же можно дать взятку *мне?*

Я сказала, что думаю иначе, хоть и не способна с ним спорить.

— Напротив,— продолжал мистер Скимпол,— в подобных случаях я как раз стою выше прочих людей. В подобных случаях я способен действовать, руководствуясь философией. Я не опутан предрассудками, как итальянский младенец свивальниками. Я свободен, как воздух. Я, как жена Цезаря *, чувствую себя выше всяких подозрений.

Он так легко, с такой шаловливой беспристрастностью убеждал сам себя, жонглируя своей аргументацией, словно пуховым шариком, что в этом с ним, пожалуй, не мог бы сравниться никто на свете!

— Рассмотрите этот случай, дорогая мисс Саммерсон. Вот мальчик, которого привели в дом и уложили на кровать в таком состоянии, которое мне очень не нравится. Когда этот мальчик уже на кровати, приходит человек... точь-в-точь как в детской песенке «Дом, который построил Джек» *. Вот человек, который спрашивает о мальчике, приведенном в дом и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот банкнот, предложенный человеком, который спрашивает о мальчике, приведенном в дом и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот Скимпол, который принимает банкнот, предложенный человеком, который спрашивает о мальчике, приведенном в дом и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот факты. Прекрасно. Должен ли был вышеозначенный Скимпол отказаться от банкнота? Почему он должен был отказаться от банкнота? Скимпол противится, он спрашивает Баккета: «Зачем это нужно? Я в этом ничего не смыслю; мне это ни к чему; берите это обратно». Баккет все-таки просит Скимпола принять банкнот. Имеются ли такие причины, в силу которых Скимпол, не извращенный предрассудками, может взять банкнот? Имеются. Скимпол о них осведомлен. Что же это за причины? Скимпол рассуждает следующим образом: вот дрессированная рысь — энергичный полицейский инспектор, неглупый человек, который весьма своеобразно проявляет свою энергию, отличаясь тонкостью замыслов и их выполнения; который ловит для нас наших друзей и врагов, когда они от нас убежали; возвращает нам наше имущество, когда его у нас украли; достойно мстит за нас, когда нас убили. Занимаясь своим искусством, этот энергичный полицейский инспектор преисполнился непоколебимой веры в деньги — он находит их очень полезными для себя и приносит ими большую пользу обществу. Неужели я должен расшатывать эту веру Баккета только потому, что у меня самого ее нет; неужели я стану умышленно притуплять оружие Баккета;

неужели я решусь буквально парализовать Баккета в его будущей сыскной работе? И еще одно. Если со стороны Скимпола предосудительно взять банкнот, значит со стороны Баккета предосудительно его предлагать — и даже гораздо более предосудительно, так как Баккет опытнее Скимпола. Но Скимпол стремится уважать Баккета; Скимпол, хоть он и человек маленький, считает *необходимым* уважать Баккета для поддержания общественного строя. Государство настоятельно требует от него доверять Баккету. И он доверяет. Вот и все!

Мне нечего было возразить на это рассуждение, и поэтому я распрощалась с мистером Скимполом. Однако мистер Скимпол, который был в прекрасном расположении духа, и слышать не хотел, чтобы я вернулась домой в сопровождении одной только «Ковинсовой малютки», как он все еще называл Чарли, и сам проводил меня до дому. По дороге он занимал меня приятным разговором о том о сем; а прощаясь, заверил, что никогда не позабудет, с какой деликатностью и тактом я разъяснила ему, как ему надо себя вести с нашими молодыми друзьями.

Как-то так вышло, что я больше не встречала мистера Скимпола; поэтому лучше мне тут же рассказать все, что я знаю о его дальнейшей жизни. Опекун и он охладели друг к другу главным образом из-за случая с Джо, а также потому, что мистер Скимпол (как мы впоследствии узнали от Ады) бездушно пренебрег просьбами опекуна не вымогать денег у Ричарда. Его крупный долг опекуну никак не повлиял на их разрыв. Мистер Скимпол умер лет через пять после этого, оставив дневник, письма и разные материалы автобиографического характера; все это было опубликовано и рисовало его как жертву коварной интриги, которую человечество замыслило против простодушного младенца. Говорят, будто книга получилась занимательная, но я, открыв ее как-то раз, прочла из нее только одну фразу, случайно попавшуюся мне на глаза, и дальше уже читать не стала. Вот эта фраза: «Джарндис, как и почти все, кого я знал,— это воплощенное Себялюбие».

А теперь я подхожу к тем главам своего повествования, которые очень близко касаются меня самой, и опишу

события, которых никак не предвидела. Если время от времени во мне и возникали воспоминания о том, каким было когда-то мое несчастное лицо, то лишь потому, что они были частью воспоминаний о тех годах моей жизни, которые уже миновали... миновали так же, как детство и отрочество. Я не утаила ни одной из многих моих слабостей, связанных с этим, но правдиво описала их такими, какими они сохранились в моей памяти. Хочу и надеюсь поступать так же до самого последнего слова на этих страницах, которое, видимо, скоро будет дописано.

Бежали месяцы, а моя дорогая девочка, по-прежнему черпая силы в надеждах, которые поведала мне, сияла в своем жалком жилище, словно прекрасная звезда. Ричард, совсем замученный, изможденный, день за днем продолжал торчать в суде, безучастно просиживал там весь день напролет, даже если знал, что дело его ни в коем случае не будет разбираться, и, таким образом, сделался там одним из самых бессменных завсегдатаев. Вряд ли хоть кто-нибудь из судейских помнил, каким был Ричард, когда впервые пришел в суд.

И он был так поглощен своей навязчивой идеей, что иной раз, в веселую минуту, признавался, что ему не пришлось бы даже дышать свежим воздухом, «не будь Вудкорта». Только мистер Вудкорт и мог иногда на несколько часов отвлечь внимание Ричарда от тяжбы и даже расшевелить его в те дни, когда он погружался в очень тревожившую нас летаргию души и тела, приступы которой учащались с каждым месяцем. Моя дорогая девочка была права, когда говорила, что, заботясь о ее благе, он с тем большим рвением цепляется за свой самообман. Я тоже не сомневалась, что его желание возместить растраченное еще больше возросло от жалости к молодой жене и, наконец, уподобилось одержимости игрока.

Я уже говорила, что навещала их как можно чаще. Если я проводила у них вечер, то обычно возвращалась вдвоем с Чарли в наемной карете; а бывало и так, что опекун встречал меня по дороге, и мы шли домой вместе. Однажды мы с ним условились встретиться в восемь часов вечера. На этот раз мне не удалось уйти, как всегда, точно в назначенное время, потому что я кое-что шила

для своей дорогой девочки и, заканчивая работу, должна была сделать еще несколько стежков; но задержалась я очень ненадолго и, убрав рабочую корзинку, в последний раз поцеловала свою дорогую подругу, пожелала ей спокойной ночи и заторопилась вниз. Мистер Вудкорт пошел меня проводить, так как сумерки уже сгустились.

Когда мы подошли к месту, где я обычно встречалась с опекуном,— а это было недалеко и мистер Вудкорт уже не раз провожал меня туда,— опекуна там не оказалось. Мы подождали с полчаса, прохаживаясь взад и вперед, но он не приходил. Тогда мы решили, что или ему что-то помешало прийти, или он приходил, но, не дождавшись меня, ушел; и мистер Вудкорт предложил проводить меня до дому пешком.

Мы в первый раз шли вдвоем, если не считать тех случаев, когда он провожал меня до обычного места встречи с опекуном, которое было совсем близко. Всю дорогу мы говорили о Ричарде и Аде. Свою благодарность ему за то, что он сделал, я никогда не выражала словами,— в то время она была больше всяких слов,— но я надеялась, что, быть может, он догадывается о том, что я чувствовала так глубоко.

Придя домой и поднявшись наверх, мы узнали, что опекуна нет дома, а миссис Вудкорт тоже ушла. Мы были в той самой комнате, куда я привела свою краснеющую подругу, когда ее девичье сердце избрало себе юного возлюбленного, который потом стал ее мужем и так страшно изменился,— в той самой комнате, где мы с опекуном любовались на них, когда они уходили, озаренные солнцем, в расцвете своих надежд и окрыленные верой друг в друга.

Мы стояли у открытого окна и смотрели вниз, на улицу, как вдруг мистер Вудкорт заговорил со мной. Я сразу поняла, что он меня любит. Я сразу поняла, что мое рябое лицо казалось ему ничуть не изменившимся. Я сразу поняла, что чувство, которое я принимала за жалость и сострадание, в действительности было преданной, великодушной, верной любовью. Ах! Как поздно я это поняла... как поздно, поздно! Такова была моя первая неблагодарная мысль. Как поздно!

— Когда я вернулся,— сказал он мне,— когда я возвратился таким же бедняком, каким был до отъезда, и увидел вас, а вы тогда только что встали с постели после болезни, но так нежно заботились о других, ничуть не думая о себе...

— Полно, мистер Вудкорт, не надо, не надо! — умоляла я его.— Я не заслуживаю ваших похвал. В то время я часто думала о себе, очень часто!

— Верьте мне, любовь всей моей жизни,— сказал он,— что моя похвала — не похвала влюбленного, но истинная правда. Вы не знаете, что́ видят в Эстер Саммерсон все те, кем она окружена, не знаете, как много сердец она трогает и пробуждает, как благоговейно все восхищаются ею и как ее любят!

— О мистер Вудкорт! — воскликнула я.— Быть любимой — это такое счастье! Такое счастье! Я горжусь этой великой честью и плачу от радости и горя... от радости — потому, что меня любят, от горя — потому, что я недостаточно этого заслуживаю... но думать о вашей любви я не имею права.

Я сказала это, уже овладев собой,— ведь когда он так превозносил меня и я слышала, как в его дрожащем голосе звучит глубокая вера в меня, я жаждала как можно лучше заслужить его похвалу. А заслужить ее было еще не поздно. И хотя в этот вечер я перевернула непредвиденную страницу своей жизни, но в течение всех грядущих лет я могла жить так, чтобы стать достойной его похвал. Эта мысль утешала и вдохновляла меня, и, думая об этом, я видела, что благодаря ему во мне раскрываются новые достоинства.

Он нарушил молчание.

— Плоха была бы моя вера в любимую, которая вечно будет мне так же дорога, как теперь, если бы после того, как она сказала, что не имеет права думать о моей любви, я все-таки настаивал бы на своем,— проговорил он с такой глубокой искренностью, что она придала мне твердости, хоть я и не могла удержаться от слез.— Милая Эстер, позвольте мне только добавить, что то глубокое чувство к вам, с которым я уехал за границу, стало еще более глубоким, когда я вернулся на родину. Я все время надеялся,— с того самого часа, когда в моей жизни впер-

вые блеснул луч какого-то успеха,— надеялся, что скажу вам о своей любви. Я все время опасался, что скажу вам о ней напрасно. Сегодня сбылись и мои надежды и мои опасения. Я вас огорчаю. Ни слова больше.

Мне почудилось, будто я на мгновение превратилась в того безгрешного ангела, каким он меня считал, и с великой скорбью поняла, как тяжело ему терять меня! Мне хотелось помочь ему в его горе, так же хотелось, как в тот день, когда он впервые меня пожалел.

— Дорогой мистер Вудкорт,— начала я,— прежде чем мы расстанемся сегодня, я должна вам сказать еще кое-что. Я не могу сказать это так, как хотела бы... и никогда не смогу... но...

Мне снова пришлось заставить себя вспомнить о том, что я должна быть достойной его любви и горя, и только после этого я смогла продолжать.

— Я глубоко чувствую ваше великодушие и сохраню это драгоценное воспоминание до своего смертного часа. Я хорошо знаю, как я изменилась, знаю, что вам известно мое происхождение, и понимаю, какое это возвышенное чувство — такая верная любовь, как ваша. То, что вы мне сказали, не могло бы так взволновать меня и не имело бы для меня такой большой цены, если бы это сказал любой другой человек. И это не пропадет даром. От этого я сама стану лучше.

Он закрыл глаза рукой и отвернулся. Стану ли я когда-нибудь достойной его слез?

— Если мы по-прежнему будем встречаться с вами,— когда будем ухаживать за Ричардом и Адой, а также, надеюсь, и при более благоприятных обстоятельствах,— и вы увидите, что я в чем-то стала лучше, знайте — это зародилось во мне сегодня вечером благодаря вам. И не думайте, дорогой, дорогой мистер Вудкорт, никогда не думайте, что я забуду этот вечер... Верьте, что пока бьется мое сердце, оно всегда будет гордо и счастливо тем, что вы полюбили меня.

Он взял мою руку и поцеловал ее. Он вполне овладел собой, и это еще больше меня ободрило.

— Судя по тому, что вы сейчас сказали,— промолвила я,— можно надеяться, что вы будете работать там, где хотели?

— Да,— ответил он.— Я добился этого с помощью мистера Джарндиса, а вы так хорошо его знаете, что вам легко догадаться, как велика была его помощь.

— Бог да благословит его за это,— сказала я, протянув ему руку,— и благослови вас бог во всех ваших начинаниях!

— Это пожелание поможет мне работать лучше,— отозвался он.— Оно поможет мне выполнять мои новые обязанности, как новое священное поручение, данное вами.

— Бедный Ричард! — невольно воскликнула я.— Что он будет делать, когда вы уедете?

— Мне пока еще рано уезжать. Но даже если бы надо было, я не покинул бы его, дорогая мисс Саммерсон.

И еще об одном должна была я сказать ему на прощанье. Я знала, что, умолчав об этом, я буду менее достойной той любви, которую не могла принять.

— Мистер Вудкорт,— начала я,— прежде чем расстаться со мной, вы будете рады узнать от меня, что будущее представляется мне ясным и светлым, что я совершенно счастлива и вполне довольна своей судьбой, что мне не о чем жалеть и нечего желать.

Он ответил, что бесконечно рад это слышать.

— С самого детства,— сказала я,— обо мне неустанно заботился лучший из людей — человек, с которым я связана такими узами привязанности, благодарности и любви, что за всю свою жизнь, как бы я ни старалась, я не смогу выразить всей глубины чувств, которые испытываю к нему в течение одного-единственного дня.

— Я разделяю эти чувства,— отозвался он.— Ведь вы говорите о мистере Джарндисе.

— Вам хорошо известны его достоинства,— сказала я,— но лишь немногие могут понять величие его души так, как понимаю я. Все его самые высокие и лучшие качества открылись мне ярче всего в том, как он строил мою такую счастливую жизнь. И если бы вы раньше не питали к нему чувств величайшего уважения и почтения,— а я знаю, вы его уважаете и почитаете,— эти чувства возникли бы у вас теперь, после моих слов, и в вашей душе пробудилась бы благодарность к нему за меня.

Он с самой горячей искренностью подтвердил мои слова. Я снова протянула ему руку.

— До свидания,— сказала я,— прощайте!

— «До свидания» — то есть до новой встречи завтра; а «прощайте» — в знак того, что мы навсегда прощаемся с этой темой?

— Да.

— До свидания; прощайте!

Он ушел, а я стояла у темного окна и смотрела на улицу. Его любовь, столь верная и великодушная, явилась так неожиданно, что не прошло и минуты после его ухода, как твердость снова изменила мне, и слезы, хлынувшие у меня из глаз, помешали мне видеть все, что было за окном.

Но то были не слезы горя и сожаления. Нет. Он назвал меня «любовь всей моей жизни», сказал, что я вечно буду так же дорога ему, как теперь, и сердце мое едва могло вынести радостное торжество, принесенное мне этими словами. Моя первая безумная мысль исчезла. Нет, не поздно услышала я его слова, ибо не поздно было вдохновиться ими, чтобы идти по пути добра, верности, благодарности и довольствоваться своей судьбой... Как легок был мой путь! Насколько легче его пути!

## ГЛАВА LXII

### *Еще одна неожиданность*

В тот вечер я была в таком состоянии, что не могла никого видеть. Я не могла даже взглянуть на себя в зеркало,— мне казалось, что мои слезы укоряют меня. Не зажигая свечи, я в темноте ушла к себе в комнату, в темноте помолилась и в темноте легла спать. Мне не нужно было света и для того, чтобы перечитать письмо опекуна,— это письмо я знала на память. Я достала его и мысленно прочла при том ярком свете благородства и любви, которые исходили от него; потом легла в постель, положив письмо на подушку.

Наутро я встала спозаранку и позвала Чарли гулять. Мы накупили цветов для обеденного стола, а вернувшись, принялись расставлять их в вазы, и вообще дел у нас было по горло. Встали мы так рано, что до завтрака оставалось еще много времени, и я успела позаниматься с Чарли; а Чарли (которая по-прежнему не обнаруживала никаких успехов в грамматике) на этот раз отвечала с блеском, так что мы обе показали себя с лучшей стороны во всех отношениях. Вошел опекун и сказал: «Ну, дорогая, сегодня вид у вас еще более свежий, чем у ваших цветов!» А миссис Вудкорт процитировала и перевела несколько строф из «Мьюлинуиллинуода», в которых воспевалась озаренная солнцем горная вершина, после чего сравнила меня с нею.

Все это было так приятно, что я, кажется, сделалась еще более похожей на эту самую вершину. После завтрака я стала искать удобного случая поговорить с опекуном,— заглядывала туда-сюда, пока не увидела, что он сидит у себя в комнате... той самой, где я провела вчерашний вечер... и что с ним никого нет. Тогда я под каким-то предлогом вошла туда со своими ключами и закрыла за собой дверь.

— Это вы, Хозяюшка? — сказал опекун, подняв глаза; он получил несколько писем и сейчас, видимо, отвечал на них.— Вам нужны деньги?

— Нет, нет, денег у меня достаточно.

— Что за Хозяюшка,— как долго у нее держатся деньги,— воскликнул опекун,— другой такой нигде не сыскать.

Он положил перо на стол и, глядя на меня, откинулся на спинку кресла. Я часто говорила о том, какое у него светлое лицо, но тут подумала, что никогда еще не видела его таким ясным и добрым. Оно было озарено столь возвышенным счастьем, что я подумала: «Наверное, он сегодня утром сделал какое-то большое и доброе дело».

— Что за Хозяюшка,— задумчиво улыбаясь мне, повторил опекун,— как долго у нее держатся деньги; другой такой нигде не сыскать.

Он ничуть не изменил своего прежнего обращения со мной. Мне так оно нравилось, и я так любила опекуна,

что, когда теперь подошла к нему и села в свое кресло, которое стояло рядом с его креслом,— здесь я обычно читала ему вслух, или говорила с ним, или работала молча,— я едва решилась положить руку ему на грудь,— так не хотелось мне его тревожить. Но я поняла, что вовсе его не потревожила.

— Милый опекун,— начала я.— Я хочу поговорить с вами. Может быть, я в чем-нибудь поступала нехорошо?

— Нехорошо, дорогая моя?

— Может быть, я была не такой, какой хотела быть с тех пор, как... принесла вам ответ на ваше письмо, опекун?

— Вы всегда были такой, какой я хотел бы вас видеть, моя милая.

— Я очень рада этому,— сказала я.— Помните, как вы спросили меня, считаю ли я себя хозяйкой Холодного дома? И как я сказала «да»?

— Помню,— ответил опекун, кивнув.

Он обнял меня, как бы желая защитить от чего-то, и с улыбкой смотрел мне в лицо.

— С тех пор,— промолвила я,— мы говорили об этом только раз.

— И я тогда сказал, что Холодный дом быстро пустеет; так оно и оказалось, дорогая моя.

— А *я* сказала,— робко напомнила я ему: — «Но хозяйка его остается».

Он все еще обнимал меня, как бы защищая от чего-то, и ясное его лицо все так же светилось добротой.

— Дорогой опекун,— сказала я,— я знаю, как вы отнеслись к тому, что произошло после этого, и каким внимательным вы были. С тех пор прошло уже много времени, а вы как раз сегодня сказали, что теперь я совсем поправилась, так, может быть, вы ждете, чтобы я заговорила сама? Может быть, мне самой надо это сделать? Я стану хозяйкой Холодного дома, как только вы этого пожелаете.

— Вот видите,— весело отозвался он,— как у нас с вами сходятся мысли! Я ни о чем другом и не думаю — за исключением бедного Рика, а это очень большое исключение. Когда вы вошли, я как раз думал об этом. Так

когда же мы подарим Холодному дому его хозяйку, дорогая?

— Когда хотите.

— Ну, скажем, в будущем месяце?

— Хорошо, в будущем месяце, дорогой опекун.

— Итак, день, когда я сделаю самый радостный для меня, самый лучший шаг в моей жизни,— день, когда я стану счастливейшим из людей и мне можно будет завидовать больше, чем любому другому человеку на свете,— день, когда мы подарим Холодному дому маленькую хозяюшку,— этот день настанет в будущем месяце,— сказал опекун.

Я обвила руками его шею и поцеловала его совершенно так же, как в тот день, когда принесла ему свой ответ.

Тут к двери подошла горничная и доложила о приходе мистера Баккета, но опоздала, так как сам мистер Баккет уже выглянул из-за ее плеча.

— Мистер Джарндис и мисс Саммерсон,— начал он, с трудом переводя дух,— простите, что помешал. Может быть, вы *разрешите* внести сюда наверх одного человека, который сейчас находится на лестнице и не хочет оставаться там, чтобы не привлекать внимания?.. Благодарю вас... Будьте добры, внесите этого субъекта сюда,— сказал кому-то мистер Баккет, перегнувшись через перила.

В ответ на эту необычную просьбу два носильщика внесли в комнату какого-то немощного старика в черной ермолке и посадили его у двери. Мистер Баккет сейчас же отпустил носильщиков, с таинственным видом закрыл дверь и задвинул задвижку.

— Видите ли, мистер Джарндис,— начал он, сняв шляпу и подчеркивая свои слова движениями столь памятного мне указательного пальца,— вы меня знаете, и мисс Саммерсон меня знает. Этот джентльмен также знает меня, а фамилия его — Смоллуид. Занимается учетом векселей, а еще, как говорится, ростовщичеством. Ведь *вы* ростовщик, правда? — сказал мистер Баккет, прерывая на минуту свою речь, чтобы обратиться к названному джентльмену, который смотрел на него необычайно подозрительно.

Старик хотел было что-то возразить на это обвинение, но ему помешал жестокий приступ кашля.

— И поделом! — сказал мистер Баккет, не преминув извлечь из этого пользу.— Не спорьте, когда это все равно ни к чему,— вот вам и не придется страдать от таких приступов. Теперь, мистер Джарндис, обращаюсь к вам. Я вел переговоры с этим джентльменом по поручению сэра Лестера Дедлока, баронета, и часто бывал у него по тем или иным делам. А живет он там, где раньше жил его родственник, старьевщик Крук... вы, кажется, знавали Крука, правда?

Опекун ответил: «Да».

— Так; а надо вам знать,— продолжал мистер Баккет,— что этот джентльмен унаследовал имущество Крука,— впрочем, имущество никчемное, попросту говоря — хлам. И, между прочим, горы каких-то бросовых бумаг. Никому не нужных, разумеется!

Мистер Баккет говорил все это, лукаво поглядывая на нас, и, не бросив ни взгляда, не сказав ни слова, способного вызвать протест настороженно слушавшего старика, очень ловко ухитрился намекнуть нам на то, что излагает дело точно так, как условился о том с мистером Смоллуидом, хотя мог бы рассказать о нем гораздо подробней, если бы считал это желательным; поэтому нам не трудно было его понять. А ведь задача мистера Баккета усложнялась тем, что мистер Смоллуид был не только глух, но и подозрителен и прямо-таки впивался глазами в его лицо.

— И вот, как только этот джентльмен вступил в права наследства, он, естественно, начал рыться в этих горах бумаги,— продолжал мистер Баккет.

— Что? Что он начал? Повторите! — крикнул мистер Смоллуид визгливым, пронзительным голосом.

— Рыться! — повторил мистер Баккет.— Как осторожный человек, привыкший заботиться о своих интересах, вы начали рыться в бумагах, как только вступили в права наследства, не так ли?

— А как же иначе? — крикнул мистер Смоллуид.

— А как же иначе,— живо подтвердил мистер Баккет,— иначе нельзя,— очень было бы непохвально, если б вы не рылись. И вот вам, помните, случайно попалась на

глаза,— продолжал мистер Баккет, наклоняясь к мистеру Смоллуиду с насмешливой улыбкой, на которую тот никак не ответил,— и вот вам случайно попалась бумага за подписью «Джарндис». Попалась, а?

Мистер Смоллуид смущенно посмотрел на нас и неохотно кивнул в подтверждение.

— И вот вы на досуге и не спеша заглянули в эту бумагу,— не скоро, конечно,— потому что вам было ничуть не любопытно ее прочитать, да и к чему любопытствовать? — и чем же оказалась эта бумага, как не завещанием? Вот потеха-то! — проговорил мистер Баккет все с тем же веселым видом, словно он вспомнил остроту, которой хотел рассмешить мистера Смоллуида; но тот попрежнему сидел как в воду опущенный, и ему, вероятно, было не до смеха.— И чем же оказалась эта бумага, как не завещанием?

— Я не знаю, завещание это или еще что,— проворчал мистер Смоллуид.

С минуту мистер Баккет молча смотрел на старика, который уже чуть не сполз с кресла и походил на какой-то ком,— смотрел так, что казалось, будто он с наслаждением надавал бы ему тумаков; но желания этого он, конечно, не выполнил и по-прежнему стоял, наклонившись над мистером Смоллуидом все с тем же любезным выражением лица, и только искоса поглядывал на нас.

— Знали или не знали,— продолжал мистер Баккет,— но завещание все-таки внушало вам некоторое сомнение и беспокойство, потому что душа у вас нежная.

— Как? Что вы сказали, какая у меня душа? — переспросил мистер Смоллуид, приложив руку к уху.

— Очень нежная душа.

— Хо! Ладно, продолжайте,— сказал мистер Смоллуид.

— Вы много чего слыхали насчет одной пресловутой тяжбы, что разбирается в Канцлерском суде, той самой, где спор идет о двух завещаниях, оставленных некиим Джарндисом; вы знаете, что Крук был охотник скупать всякое старье — мебель, книги, бумагу и прочее, ни за что не хотел расставаться с этим хламом и все время старался научиться читать; ну вот, вы и начинаете

думать — и правильно делаете: «Эге, надо мне держать ухо востро, а то как бы не нажить беды с этим завещанием».

— Эй, Баккет, рассказывайте, да поосторожней! — в тревоге вскричал старик, приложив руку к уху.— Говорите громче, без этих ваших зловредных уверток. Поднимите меня, а то я плохо слышу. О господи, меня совсем растрясло!

Мистер Баккет поднял его во мгновение ока. Но, как только мистер Смоллуид перестал кашлять и злобно восклицать: «Ох, кости мои! Ох, боже мой! Задыхаюсь! Совсем одряхлел — хуже, чем эта болтунья, визгунья, зловредная свинья у нас дома!» — мистер Баккет, зная, что теперь старик снова может расслышать его слова, продолжал все тем же оживленным тоном:

— Ну, а я привык часто захаживать к вам, вот вы и рассказали мне по секрету о завещании, правда?

Мистер Смоллуид подтвердил это, но донельзя неохотно, чрезвычайно недовольным тоном и ничуть не скрывая, что кому-кому, а уж мистеру Баккету он ни за что бы не сказал ничего по секрету, если бы только мог этого избежать.

— И вот мы с вами обсуждаем это дело,— обсуждаем по-хорошему,— и я подтверждаю ваши вполне основательные опасения, говоря, что вы наживете себе кучу пре-непри-ят-нейших хлопот, если не заявите о найденном завещании,— с пафосом проговорил мистер Баккет,— а вы, вняв моему совету, договариваетесь со мной о передаче этого завещания здесь присутствующему мистеру Джарндису без всяких условий. Если оно окажется ценным документом, вы получите от мистера Джарндиса награду по его усмотрению; так?

— Такой был уговор,— согласился мистер Смоллуид, по-прежнему неохотно.

— Поэтому,— продолжал мистер Баккет, сразу же переменив свой любезный тон на строго деловой,— вы в настоящее время имеете при себе это завещание, и единственное, что вам остается сделать, это вынуть его!

Покосившись на нас бдительным взглядом и торжествующе потерев нос указательным пальцем, мистер Баккет впился глазами в своего «закадычного друга» и про-

тянул руку, готовый взять бумагу и передать ее опекуну. Мистер Смоллуид вынул бумагу очень неохотно и лишь после того, как многословно попытался уверить нас в том, что он бедный, трудящийся человек и полагается на порядочность мистера Джарндиса, который не допустит, чтобы он, Смоллуид, пострадал из-за своей честности. Но вот, наконец, он очень медленно вытащил из бокового кармана покрытую пятнами, выцветшую бумагу, сильно опаленную на обороте и немного обгоревшую по краям — очевидно, ее когда-то хотели сжечь, но, бросив в огонь, быстро вытащили оттуда. С ловкостью фокусника мистер Баккет мгновенно выхватил бумагу у мистера Смоллуида и вручил ее мистеру Джарндису. Передавая ее опекуну, он прошептал, приложив руку ко рту:

— Он не договорился со своими домочадцами, сколько за нее надо запросить. Все они там из-за этого переругались. Я предложил за нее двадцать фунтов. Сперва скаредные внуки накинулись на дедушку за то, что он зажился на этом свете, а потом накинулись друг на друга. Бог мой! Это такая семейка, что каждый в ней готов продать другого за фунт или два, если не считать старухи, но ту не приходится считать только потому, что она выжила из ума и не может заключать сделок.

— Мистер Баккет,— громко проговорил опекун,— какую бы ценность ни представляла эта бумага для меня или для других, я вам очень признателен, и если она действительно ценная, я сочту своим долгом соответственно вознаградить мистера Смоллуида.

— Не соответственно вашим заслугам. Не бойтесь этого,— дружески пояснил мистер Баккет мистеру Смоллуиду.— Соответственно ценности документа.

— Это я и хотел сказать,— промолвил опекун.— Заметьте, мистер Баккет, что сам я не стану читать этой бумаги. Дело в том, что вот уже много лет, как я окончательно отказался от всякого личного участия в тяжбе — так она мне осточертела. Но мисс Саммерсон и я, мы немедленно передадим бумагу моему поверенному, выступающему в суде от моего имени, и все заинтересованные стороны будут безотлагательно осведомлены о ее существовании.

— Вам ясно, что мистер Джарндис совершенно прав,— заметил мистер Баккет, обращаясь к своему спутнику.— Теперь вы поняли, что никто не будет в обиде, и, значит, у вас гора с плеч свалилась,— стало быть, можно приступить к последней церемонии — отправить вас в кресле обратно домой.

Отперев дверь, он кликнул носильщиков, пожелал нам доброго утра, значительно посмотрел на нас, согнув палец на прощанье, и ушел.

Мы тоже поспешили отправиться в Линкольнс-Инн. Мистер Кендж был свободен,— он сидел за столом в своем пыльном кабинете, набитом скучными на вид книгами и кипами бумаг. Мистер Гаппи подвинул нам кресла, а мистер Кендж выразил удивление и удовольствие по поводу того, что наконец-то видит в своей конторе мистера Джарндиса, который давно уже сюда глаз не кажет. Это приветствие он произносил, вертя в руках очки, и мне казалось, что сегодня ему особенно подходит прозвище «Велеречивый Кендж».

— Надеюсь,— проговорил мистер Кендж,— что благотворное влияние мисс Саммерсон,— он поклонился мне,— побудило мистера Джарндиса,— он поклонился опекуну,— отчасти преодолеть его враждебное отношение к той тяжбе и тому суду, которые... так сказать, занимают определенное место среди величественной галереи столпов нашей профессии?

— Насколько я знаю,— ответил опекун,— мисс Саммерсон наблюдала такие результаты деятельности этого суда и такие последствия этой тяжбы, что никогда не станет влиять на меня в их пользу. Тем не менее если я все-таки пришел к вам, то это отчасти из-за суда и тяжбы. Мистер Кендж, прежде чем положить эту бумагу к вам на стол и тем самым развязаться с нею, позвольте мне рассказать вам, как она попала в мои руки.

И он рассказал это кратко и точно.

— Вы изложили все так ясно и по существу, сэр,— сказал мистер Кендж,— как не излагают дела даже на заседании суда.

— А вы считаете, что английские суды Общего права и Справедливости когда-нибудь высказывались ясно и по существу? — заметил мистер Джарндис.

— О, как можно! — ужаснулся мистер Кендж.

Сначала мистер Кендж как будто не придал особого значения бумаге, но не успел он бросить на нее взгляд, как заинтересовался, а когда развернул ее и, надев очки, прочел несколько строк, стало ясно, что он был поражен.

— Мистер Джарндис,— начал он, подняв глаза,— вы это прочли?

— Нет, конечно! — ответил опекун.

— Но слушайте, дорогой сэр,— сказал мистер Кендж,— это завещание Джарндиса составлено позже, чем те, о которых идет спор в суде. Все оно, по-видимому, написано завещателем собственноручно. Составлено и засвидетельствовано, как полагается по закону. И если даже его собирались уничтожить,— судя по тому, что оно обгорело,— все-таки фактически оно не уничтожено. Это неопровержимый документ!

— Прекрасно! — сказал опекун.— Но какое мне до него дело?

— Мистер Гаппи,— позвал мистер Кендж громко.— Простите, мистер Джарндис...

— Да, сэр?

— К мистеру Воулсу в Саймондс-Инн. Мой привет. «Джарндисы против Джарндисов». Буду рад побеседовать с ним.

Мистер Гаппи исчез.

— Вы спрашиваете, какое вам дело до этого документа, мистер Джарндис? Но если бы вы его прочитали, вы увидели бы, что в нем вам завещано гораздо меньше, чем в более ранних завещаниях Джарндиса, хотя сумма остается весьма крупной... весьма крупной,— объяснил мистер Кендж, убедительно и ласково помахивая рукой.— Засим вы увидели бы, что в этом документе суммы, завещанные мистеру Ричарду Карстону и мисс Аде Клейр, в замужестве миссис Ричард Карстон, гораздо значительнее, чем в более ранних завещаниях.

— Слушайте, Кендж,— сказал опекун,— если бы все огромное богатство, вовлеченное тяжбой в порочный Канцлерский суд, могло достаться обоим моим молодым родственникам, я был бы вполне удовлетворен. Но

неужели вы просите *меня* поверить в то, что хоть что-нибудь хорошее может выйти из тяжбы Джарндисов?

— Ах, полно, мистер Джарндис! Это предубеждение, предубеждение! Дорогой сэр, наша страна — великая страна... великая страна. Ее судебная система — великая система... великая система. Полно! Полно!

Опекун ничего не сказал на это, а тут как раз появился мистер Воулс. Всем своим видом он скромно выражал благоговейное почтение к юридической славе мистера Кенджа.

— Как поживаете, мистер Воулс? Будьте так добры, присядьте здесь рядом со мной и просмотрите эту бумагу.

Мистер Воулс повиновался и внимательно прочел весь документ от начала и до конца. Чтение его не взволновало; но, впрочем, его не волновало ничто на свете. Изучив бумагу, он отошел к окну вместе с мистером Кенджем и довольно долго говорил с ним, прикрыв рот своей черной перчаткой. Не успел мистер Воулс сказать и нескольких слов, как мистер Кендж уже начал с ним спорить, но меня это не удивило — я знала, что еще не было случая, чтобы два человека одинаково смотрели на любой вопрос, касающийся тяжбы Джарндисов. Однако в разговоре, который, казалось, весь состоял из слов «уполномоченный по опеке», «главный казначей», «доклад», «недвижимое имущество» и «судебные пошлины», мистер Воулс, по-видимому, одержал верх над мистером Кенджем. Закончив беседу, они вернулись к столу мистера Кенджа и теперь уже стали разговаривать громко.

— Так! Весьма замечательный документ, правда, мистер Воулс? — промолвил мистер Кендж.

Мистер Воулс подтвердил:

— Весьма.

— И весьма важный документ, мистер Воулс? — проговорил мистер Кендж.

Мистер Воулс снова подтвердил:

— Весьма.

— И, как вы правильно сказали, мистер Воулс, когда дело будет слушаться в следующую сессию суда, появление этого документа будет весьма интересным и неожиданным фактом,— закончил мистер Кендж, глядя на опекуна с высоты своего величия.

Мистер Воулс, юрист менее значительный, но стремящийся к укреплению своей репутации, был польщен, что его мнение поддерживает такой авторитет.

— А когда же начнется следующая сессия? — спросил опекун, вставая после небольшой паузы, во время которой мистер Кендж бренчал деньгами в кармане, а мистер Воулс пощипывал свои прыщи.

— Следующая сессия, мистер Джарндис, начнется в следующем месяце,— ответил мистер Кендж.— Разумеется, мы немедленно проделаем все, что требуется в связи с этим документом, и соберем относящиеся к нему свидетельские показания; и, разумеется, вы получите от нас обычное уведомление о том, что дело назначено к слушанию.

— На которое я, разумеется, обращу не больше внимания, чем всегда.

— Вы по-прежнему склонны, дорогой сэр,— сказал мистер Кендж, провожая нас через соседнюю комнату к выходу,— при всем вашем обширном уме, вы по-прежнему склонны поддаваться распространенному предубеждению? Мы процветающее общество, мистер Джарндис... весьма процветающее общество. Мы живем в великой стране, мистер Джарндис... мы живем в великой стране. Наша судебная система — великая система, мистер Джарндис; неужели вы хотели бы, чтобы у великой страны была какая-то жалкая система? Полно, полно!

Он говорил это, стоя на верхней площадке лестницы и делая плавные движения правой рукой, словно держал в этой руке серебряную лопаточку, которой накладывал цемент своих слов на здание упомянутой системы, чтобы оно простояло еще многие тысячи веков.

## ГЛАВА LXIII

### *Сталь и железо*

«Галерея-Тир Джорджа» сдается внаем, весь инвентарь распродан, а сам Джордж живет теперь в Чесни-Уолде и, когда сэр Лестер ездит верхом, сопровождает

его, стараясь держаться поближе к поводьям его коня, так как всадник правит не очень твердой рукой. Но сегодня у Джорджа другие заботы. Сегодня он едет на север, в «страну железа», посмотреть, что там делается.

Чем дальше он едет на север, в «страну железа», тем реже встречаются на его пути свежие зеленые леса,— такие, как в Чесни-Уолде,— и, наконец, они исчезают совсем; только и видишь вокруг, что угольные шахты и шлак, высокие трубы и красный кирпич, блеклую зелень, палящие огни да густые, никогда не редеющие клубы дыма. Вот по каким краям едет кавалерист, посматривая по сторонам и высматривая без устали, не покажется ли то место, куда он едет.

Наконец он въезжает в оживленный городок, который весь звенит от лязга железа, весь — в огнях и дыму (такого всадник еще не видывал, хотя сам уже почернел от угольной пыли на дорогах) и вскоре останавливает коня на мосту, переброшенном через канал с черной водой, и спрашивает встречного рабочего, не слыхал ли тот про некоего Раунсуэлла.

— Вы бы еще спросили, хозяин, слыхал ли я, как меня зовут,— отвечает рабочий.

— Значит, его хорошо знают в этих местах, приятель? — спрашивает кавалерист.

— Раунсуэлла-то? Ну, еще бы!

— А где он сейчас, как вы думаете? — спрашивает кавалерист, глядя перед собой.

— То есть, вы хотите знать — в банке он или на заводе, или дома? — интересуется рабочий.

— Хм! Как видно, Раунсуэлл такая важная шишка,— бормочет кавалерист, поглаживая себя по подбородку,— что мне, пожалуй, лучше повернуть назад... Я и сам не знаю, где я хочу его видеть. Как вы думаете, найду я мистера Раунсуэлла на заводе?

— Трудно сказать, где его найти. Днем в эти часы вы можете застать его на заводе, если только он теперь в городе,— ведь он часто уезжает по делам; а нет — так его сына.

А где его завод?

Видит приезжий вон те трубы... самые высокие?

Да, видит.

Ну, так ему надо ехать прямо на них; скоро будет поворот налево, и тут он опять увидит эти трубы за высокой кирпичной стеной, что тянется вдоль всей улицы. Это и есть завод Раунсуэлла.

Кавалерист благодарит за полученные сведения и медленно едет дальше, посматривая по сторонам. Назад он не поворачивает, но оставляет своего коня (которого ему очень хочется почистить собственноручно) на постоялом дворе, где сейчас, по словам конюха, обедают «рабочие руки» Раунсуэлла. У некоторых «рабочих рук» Раунсуэлла сейчас обеденный перерыв, и они заполнили весь город. Они очень мускулисты и сильны, эти «рабочие руки» Раунсуэлла... и немножко закопчены.

Кавалерист подходит к воротам в кирпичной стене, заглядывает во двор и, пораженный, видит всюду, куда ни глянь, огромное скопление железа, пережившего самые различные стадии, отлитого в самые разнообразные формы: железные полосы, клинья, листы; железные чаны, котлы, оси, колеса, зубья, рычаги, рельсы; железо гнутое, перекрученное, превращенное в детали машин странной, причудливой формы; горы железного лома, ржавого от старости; а подальше — печи, в которых железо рдеет и клокочет в пылу юности; яркие фейерверки железных искр, брызжущие из-под парового молота; железо, раскаленное докрасна, железо, раскаленное добела, железо, охлажденное до черноты; он ощущает железный вкус и железный запах; слышит оглушительное «вавилонское смешение» * железных звуков.

— Ну и местечко,— того и гляди голова затрещит! — говорит кавалерист, оглядываясь кругом и отыскивая глазами контору.— А кто это идет, хотел бы я знать? Смахивает на меня в молодости. Должно быть — мой племянник, если верить в семейное сходство. Ваш слуга, сэр.

— К вашим услугам, сэр. Вы кого-нибудь ищете?

— Простите. Вы мистер Раунсуэлл-младший, если не ошибаюсь?

— Да.

— Я ищу вашего отца, сэр. Мне надо с ним побеседовать.

Молодой человек говорит, что он пришел как раз

вовремя, ибо мистер Раунсуэлл сейчас здесь, и провожает посетителя в контору к отцу.

«Очень похож на меня в молодости... до черта похож!..» — думает кавалерист, следуя за ним.

Войдя во двор, они подходят к какому-то зданию, в одном из верхних этажей которого помещается контора. Мистер Джордж, увидев джентльмена, сидящего в конторе, густо краснеет.

— А ваша фамилия? — спрашивает молодой человек.— Как доложить о вас отцу?

Джордж, будучи не в силах отвязаться от мыслей о железе, наобум отвечает: «Сталь»; так его и представляют. Но вот Джордж остается вдвоем с джентльменом, который сидит за столом, разложив перед собой счетные книги и листы бумаги, исписанные цифрами или заполненные сложными чертежами. Стены в конторе голые, окна голые, и за ними открывается вид на царство железа. По столу разбросаны какие-то железные предметы, умышленно разломанные на куски для испытания на прочность в различные периоды их службы в качестве различных орудий. Все вокруг покрыто железной пылью, а за окнами виден дым — он поднимается густыми клубами из высоких труб и смешивается с дымом туманного «Вавилона» других труб.

— Я к вашим услугам, мистер Сталь,— говорит джентльмен, после того как посетитель присел на потертый стул.

— Видите ли, мистер Раунсуэлл,— начинает Джордж, наклоняясь вперед, облокотившись на левое колено и держа шляпу в руке, но тщательно избегая встречаться глазами с братом,— я предвижу, что мое посещение покажется вам скорее навязчивым, чем приятным. Когда-то я служил в драгунах и подружился с одним товарищем, который, если не ошибаюсь, был вашим братом. Насколько я знаю, у вас был брат, который причинил немалое беспокойство своей семье, убежал из дому и ничего хорошего не сделал, если не считать того, что старался не показываться на глаза родным.

— А вы по-прежнему утверждаете,— говорит заводчик изменившимся голосом,— что ваша фамилия Сталь?

Кавалерист бормочет что-то невнятное и смотрит на него. Старший брат вскакивает, называет его по имени и обнимает.

— Ну, брат, ты похитрее меня! — кричит кавалерист, и слезы показываются у него на глазах.— Как живешь, старина? А я и помыслить не мог, что ты мне так обрадуешься. Как живешь, старина? Как живешь?

Они снова и снова трясут друг другу руки, обнимаются, и кавалерист все твердит: «Как живешь, старина?» — уверяя, что и помыслить не мог, что брат ему так обрадуется.

— Больше того,— говорит он в виде заключения к полному отчету обо всем случившемся с ним до его приезда сюда,— я вовсе и не хотел признаваться тебе, кто я такой. Я думал, что, если ты снисходительно отнесешься ко всему, что я расскажу про твоего брата, я со временем решусь написать тебе письмо. Но я не удивился бы, брат, если бы вести обо мне не доставили тебе удовольствия.

— Вот погоди, Джордж, мы тебе дома покажем, как мы относимся к подобным вестям,— отвечает брат.— Сегодня у нас в семье торжественный день, и ты, загорелый старый солдат, приехал как раз вовремя. Мы с моим сыном Уотом порешили, что ровно через год он женится на одной хорошенькой и хорошей девушке,— ты такой и не видывал за все свои странствия. Завтра она уезжает в в Германию с одной из твоих племянниц, чтобы немного пополнить свое образование. Мы надумали отпраздновать это событие, и ты будешь героем дня.

Вначале мистер Джордж так ошеломлен этой перспективой, что с жаром отказывается от подобной чести. Однако брат и племянник (а племяннику он тоже твердит, что и помыслить не мог, что они ему так обрадуются), завладевают им и ведут его в нарядный дом, во всей обстановке которого заметно приятное смешение простоты — привычной для родителей, когда-то живших скромно,— и роскоши, соответствующей их изменившемуся положению в обществе и обеспеченности их детей. Мистер Джордж совершенно потрясен изяществом и бла говоспитанностью своих родных племянниц, красотой Розы, своей будущей племянницы, и как во сне прини-

мает ласковые приветствия всех этих молодых девиц. Кроме того, он болезненно смущен почтительным обращением племянника и в душе с огорчением называет себя никчемным шалопаем. Как бы то ни было, в доме сегодня большая радость, очень непринужденное общество и нескончаемое веселье; причем мистер Джордж, со свойственным ему грубоватым добродушием и выправкой отставного военного, не ударил лицом в грязь, а его обещание приехать на свадьбу и быть посаженым отцом у Розы вызвало всеобщее одобрение. Голова кружится у мистера Джорджа, когда, лежа в ту ночь на самой парадной кровати в доме брата, он перебирает все это в уме, и ему чудится, будто призраки его племянниц (перед этими девицами в кисейных платьях с развевающимися оборками он весь вечер испытывал благоговейный трепет) вальсируют на немецкий манер по его стеганому одеялу.

На следующее утро братья запираются в комнате заводчика, и старший, со свойственной ему ясностью ума и здравым смыслом, начинает объяснять, как, по его мнению, лучше всего устроить Джорджа у него на заводе, но младший жмет ему руку и перебивает его:

— Брат, миллион раз благодарю тебя за более чем братский прием и миллион раз благодарю за более чем братские предложения. Но я уже решил, как мне жить дальше. Я тебе все объясню, только сначала хочу посоветоваться с тобой по одному семейному вопросу. Скажи мне,— и кавалерист, сложив руки, глядит на брата с непоколебимой твердостью,— скажи, как убедить матушку вычеркнуть меня?

— Я не совсем понимаю тебя, Джордж,— отвечает заводчик.

— Я говорю, брат, как убедить матушку, чтобы она меня вычеркнула? Как-нибудь надо ее убедить.

— Ты хочешь сказать — вычеркнула из своего завещания?

— Ну да, вот именно. Короче говоря,— объясняет кавалерист, снова сложив руки с еще более решительным видом,— я хочу сказать... *пусть*... она меня вычеркнет!

— Но, дорогой Джордж,— отзывается брат,— не-

ужели тебе так необходимо подвергнуться этой операции?

— Обязательно! Непременно! Если этого не сделают, я не отважусь на такую подлость, как остаться дома. Этак, пожалуй, я скоро опять удеру. Я не затем вернулся домой, брат, чтобы отнять у твоих детей их права, не говоря уж о твоих правах, брат. Ведь я-то давным-давно потерял свои права! Если вы все хотите, чтоб я остался, нужно меня вычеркнуть, а не то я не смогу держать голову высоко. Слушай! Ты слывешь человеком умным, деловым, ты можешь мне посоветовать, как все это проделать.

— Я могу посоветовать тебе, Джордж,— уверенным тоном говорит заводчик,— как не проделывать этого и все-таки достигнуть своей цели. Посмотри на нашу мать, подумай о ней, вспомни, как волновалась она, когда нашла тебя! Ты думаешь, можно хоть чем-нибудь заставить ее сделать такой шаг во вред любимому сыну? Ты думаешь, есть хоть малейший шанс на ее согласие, и она, наша милая, любящая старушка, не будет глубоко обижена подобным предложением? Если ты так думаешь, ты ошибаешься. Нет, Джордж! Лучше примирись с тем, что тебя *не* вычеркнут. Я полагаю,— говорит заводчик, с улыбкой глядя на брата и забавляясь задумчивым и глубоко разочарованным выражением его лица,— я полагаю, можно все устроить и без вычеркиванья.

— Как же это, брат?

— Если уж тебе так хочется, можешь сам потом сделать завещание и распорядиться, как тебе угодно, наследством, которое ты, к своему несчастью, получишь.

— Это верно,— говорит кавалерист, подумав. И, положив руку на руку брата, застенчиво спрашивает: — Ты не откажешься передать это своей жене и детям?

— Конечно, нет.

— Спасибо. И ты не против сказать им, что хоть я, конечно, бродяга, но — просто шалопай, а не подлец.

Заводчик соглашается, подавляя добродушную усмешку.

— Спасибо. Спасибо. У меня гора с плеч свалилась,— говорит кавалерист и, глубоко вздохнув, кладет руки на

колени,— а ведь я давно уже твердо решил добиться, чтобы меня вычеркнули!

Братья сидят лицом к лицу, очень похожие друг на друга, но кавалерист отличается от брата какой-то неуклюжей простотой и полной непрактичностью.

— Так вот,— продолжает он, стараясь позабыть о своем разочаровании,— теперь, чтобы с этим покончить, поговорим вообще о моих планах на жизнь. Ты поступил по-братски, когда предложил мне обосноваться здесь и занять свое место в той жизни, которую ты создал своим умом и деловитостью. Горячо тебя благодарю. Это более чем братский поступок, как я уже говорил, и я горячо тебя благодарю,— говорит Джордж и долго жмет руку брату.— Но, сказать правду, брат, я... я вроде сорной травы, и сажать меня в хорошо возделанный сад теперь уже поздно.

— Дорогой Джордж,— возражает старший брат, глядя ему в лицо с доверчивой улыбкой и сдвинув густые прямые брови,— предоставь это мне и позволь мне сделать попытку.

Джордж качает головой.

— Я знаю, ты, конечно, мог бы найти мне работу; но это не нужно... не нужно, дорогой мой! Кроме того, оказалось, что я кое в чем могу быть полезен сэру Лестеру Дедлоку, с тех пор как он заболел... из-за семейных неприятностей; а ему легче принять помощь от сына нашей матери, чем от любого другого человека.

— Что ж, дорогой Джордж,— говорит брат, и легкая тень омрачает его открытое лицо,— если ты предпочитаешь служить в домашней бригаде сэра Лестера Дедлока...

— Ну вот, брат! — восклицает кавалерист, не дав ему договорить, и снова кладет руку на колено.— Ну вот! Тебе это не нравится. Но я на тебя не обижаюсь. Ты ведь не привык к тому, чтобы тебе приказывали, а я привык. Ты сам умеешь держать себя в полном порядке и подчиняться собственной дисциплине; а мне надо, чтобы меня держали в руках другие. Я и ты — мы привыкли жить по-разному и смотрим на жизнь с разных точек зрения. Я не говорю о своих гарнизонных повадках потому, что вчера чувствовал себя тут у вас совсем свободно, да, на-

верное, вы о них и не вспомните, когда я уеду. Но в Чесни-Уолде мне будет лучше — там для сорной травы больше простора, чем здесь; да и нашей милой старушке будет приятней, если я останусь при ней. Вот почему я решил принять предложение сэра Лестера Дедлока. А когда я через год приеду сюда и буду посаженым отцом у Розы, и вообще когда бы я сюда ни приехал, у меня хватит ума оставить «домашнюю бригаду» в засаде и не давать ей маневрировать на твоей территории. Еще раз горячо благодарю тебя и горжусь тем, что ты положишь начало роду Раунсуэллов.

— Ты знаешь себя, Джордж,— говорит старший брат, пожимая ему руку,— и, может быть, ты даже лучше меня самого знаешь меня. Иди своим путем. Иди; только бы нам с тобой снова не потерять друг друга из виду.

— Не бойся, не потеряем! — отзывается кавалерист.— А теперь пора уже мне сесть на коня и тронуться в обратный путь, брат, но сначала я попрошу тебя: будь так добр, просмотри одно письмо, которое я написал. Я нарочно привез его с собой, чтобы отослать отсюда,— боялся, как бы той, кому я пишу, не стало больно, если б она увидела, что письмо пришло из Чесни-Уолда. Переписка — это вообще не по моей части, а насчет этого письма я особенно неспокоен, потому что мне хочется, чтобы оно вышло искренним и деликатным вместе.

Тут он передает брату письмо, написанное убористо, бледноватыми чернилами, но четким, круглым почерком, и брат читает:

«Мисс Эстер Саммерсон, инспектор Баккет сказал мне, что в бумагах одного человека нашли адресованное мне письмо, посему осмелюсь доложить Вам, что в письме этом было всего лишь несколько строк с распоряжениями из-за границы насчет того, когда, где и как я должен вручить другое, прилагаемое письмо одной молодой и красивой леди, которая в то время была не замужем и жила в Англии. Я в точности выполнил это распоряжение.

Далее, осмелюсь доложить Вам, что письмо у меня попросили, сказав, что оно нужно только для сравнения

почерков, а иначе я бы его не отдал, потому что, оставаясь у меня, оно никому не могло принести вреда; ни за что бы не отдал,— разве только меня сначала убили бы выстрелом в сердце, ну, тогда бы и взяли.

Далее, осмелюсь доложить, что, если б я только знал, что некий несчастный джентльмен жив, я бы не успокоился, пока не нашел бы его там, где он скрывался, и не поделился бы с ним своим последним фартингом как из чувства долга, так и по своему искреннему желанию. Но считалось (официально), что он утонул, и он действительно упал за борт пассажирского корабля, ночью, в одном ирландском порту, спустя несколько часов после прибытия корабля из Вест-Индии, как я своими ушами слышал и от офицеров и от матросов, и мне известно, что это было (официально) подтверждено.

Далее, осмелюсь доложить, что в моем скромном, заурядном положении я остаюсь и всегда буду оставаться Вашим искренне преданным и восхищающимся Вами слугой, а те качества, которыми Вы наделены превыше всех на свете, я уважаю гораздо глубже, чем это выражено в ограниченных рамках настоящего письма.

Имею честь кланяться.

*Джордж».*

— Немного официально написано,— говорит старший брат, с недоумевающим видом складывая письмо.

— Но ничего такого в нем нет, чего нельзя было бы написать молодой девушке, настоящей леди? — спрашивает младший.

— Ровно ничего.

Итак, письмо запечатали и присоединили к остальной сегодняшней корреспонденции, касающейся железа, которую предстоит сдать на почту. Затем мистер Джордж, сердечно простившись с семейством брата, собирается оседлать своего коня и отбыть. Однако брат, не желая так скоро расставаться с ним, предлагает ему доехать вместе в легкой открытой коляске до того постоялого двора, где Джордж должен заночевать, и обещает пробыть там с ним до утра; а на чистокровном старом чесни-уолдском Сером поедет слуга. Предложение принято с радостью, после чего братья отправляются в путь, и приятная по-

ездка, приятный обед, а наутро приятный завтрак проходят в братском общении. Затем братья опять долго и горячо жмут друг другу руки и расстаются — заводчик поворачивает к дыму и огням, а кавалерист — к зеленым просторам.

Вскоре после полудня во въездной аллее Чесни-Уолда раздается приглушенный дерном топот его коня, бегущего тяжелой кавалерийской рысью, и всадник, которому в этом топоте слышится звон и бряцанье полного кавалерийского снаряжения, проезжает под старыми вязами.

## ГЛАВА LXIV

### *Повесть Эстер*

Вскоре после моей последней, памятной беседы с опекуном он как-то раз утром передал мне запечатанный конверт и сказал: «Это вам к будущему месяцу, дорогая». В конверте я нашла двести фунтов.

Никому ничего не говоря, я принялась за необходимые приготовления. Согласуя свои покупки со вкусами опекуна, разумеется хорошо мне известными, я старалась сделать себе такое приданое, которое могло ему понравиться, и надеялась, что это мне удастся. Я никому ничего не говорила, потому что все еще побаивалась, как бы это известие не огорчило Аду, и потому еще, что опекун и сам никому ничего не говорил. Конечно, я считала, что мы, во всяком случае, не должны никого приглашать на свадьбу и венчаться будем самым скромным образом. Может быть, я только скажу Аде: «Не хочешь ли, душенька моя, пойти завтра посмотреть, как я буду венчаться?» А может быть, мы поженимся и вовсе втихомолку, как поженились она и Ричард, и я никого не буду извещать о нашем браке, пока он не состоится. Мне казалось, что, будь выбор предоставлен мне, я предпочла бы последнее.

Единственное исключение я допустила в отношении миссис Вудкорт. Ей я сказала, что выхожу замуж за опекуна и что обручились мы уже довольно давно. Она

отнеслась к этому очень одобрительно. Прямо не знала, как мне угодить, да и вообще стала гораздо мягче, чем была в первое время нашего знакомства. Она охотно взяла бы на себя любые хлопоты, лишь бы чем-нибудь мне помочь, однако я, разумеется, позволяла это лишь в той небольшой мере, в какой ей было приятно помогать мне, не обременяя себя.

Конечно, не такое это было время, чтобы перестать заботиться об опекуне, и не такое, конечно, чтобы перестать заботиться о моей милой подруге. Поэтому я всегда была очень занята, и это меня радовало. Что касается Чарли, то она по уши погрузилась в рукоделье. Бывало, обложится кипами тканей — корзинки полны доверху, столы завалены,— а шить не шьет, только день-деньской смотрит вокруг круглыми глазенками, соображая, что̀ еще надо сделать, уверяет себя, что она все это сделает, и наслаждается своими почетными обязанностями.

Между тем я, должна сознаться, никак не могла разделить мнение опекуна о найденном завещании и даже питала кое-какие надежды на решение по делу Джарндисов. Кто из нас двух оказался прав, выяснится вскоре, но я, во всяком случае, не подавляла в себе подобных надежд. У Ричарда завещание вызвало новый прилив энергии и оживления, но приободрился он лишь на короткое время, ибо уже потерял даже свою прежнюю способность надеяться на безнадежное, и мне казалось, будто им целиком овладела лишь одна его лихорадочная тревога. Из нескольких слов опекуна, сказанных как-то раз, когда мы говорили об этом, я поняла, что свадьба наша состоится не раньше, чем окончится сессия Канцлерского суда, на которую молодые и я под чужим влиянием возлагали надежды, и я все чаще думала, как приятно мне будет выйти замуж, когда Ричард и Ада станут немного более обеспеченными.

Сессия должна была вот-вот начаться, как вдруг опекуна вызвали в провинцию, и он уехал из Лондона в Йоркшир по делам мистера Вудкорта. Он и раньше говорил мне, что его присутствие там будет необходимо. Както раз вечером, вернувшись домой от своей дорогой девочки, я сидела, разложив вокруг себя все свои новые туалеты, рассматривала их и думала, и тут мне принесли

письмо от опекуна. Он просил меня приехать к нему в Йоркшир, указывая, в какой пассажирской карете для меня заказано место и в котором часу утра она выезжает из города. В постскриптуме он добавлял, что с Адой я расстанусь лишь на короткий срок.

Я в то время никак не ожидала, что мне придется уехать, однако собралась в полчаса и выехала на другой день рано утром. Я ехала весь день и весь день спрашивала себя, для чего я могла понадобиться опекуну в такой глуши; и все придумывала то одну причину, то другую; но я была очень, очень, очень далека от истины.

Приехала я уже ночью и сразу увидела опекуна, который пришел меня встретить. Это было для меня большим облегчением, ибо к вечеру я начала немного беспокоиться (особенно потому, что письмо его было очень кратким) и думать — уж не заболел ли он? Однако он был совершенно здоров, и когда я вновь увидела его доброе лицо, какое-то особенно светлое и прекрасное, я подумала: ну, значит, он тут сделал еще какое-то большое и доброе дело. Впрочем, угадать это было нетрудно,— ведь я знала, что он и приехал-то сюда лишь для того, чтобы сделать доброе дело.

Ужин в гостинице был уже готов, и когда мы остались одни за столом, опекун сказал:

— Ну, Хозяюшка, вам, должно быть, не терпится узнать, зачем я вызвал вас сюда?

— Конечно, опекун,— ответила я,— хоть я и не считаю себя Фатимой, а вас — Синей бородой *, но все-таки мне немножко любопытно узнать, зачем я вам понадобилась.

— Не хочу лишать вас спокойного сна этой ночью, милая моя,— пошутил он,— а потому, не откладывая до утра, объясню вам все теперь же. Мне очень хотелось так или иначе выразить Вудкорту, как я ценю его человечное отношение к бедному, несчастному Джо, как благодарен ему за его неоценимую заботливость о наших молодых и как он дорог всем нам. Когда выяснилось, что он будет работать здесь, мне пришло в голову: а попрошу-ка я его принять от меня в подарок домик, скромный, но удобный, где он сможет приклонить *свою* голову. И вот для меня стали подыскивать такой дом, нашли его

и купили за очень недорогую цену, а я привел его в порядок для Вудкорта, стараясь, чтобы жить в нем было приятно. Но когда я третьего дня отправился туда и мне доложили, что все готово, я понял, что сам я недостаточно хороший хозяин и не могу судить, все ли устроено, как следует. Ну, я и вызвал самую лучшую маленькую хозяюшку, какую только можно сыскать,— пусть, мол, приедет, выскажет свое мнение и поможет мне советом. И вот она сама здесь,— заключил опекун,— она здесь и улыбается сквозь слезы!

Я потому улыбалась сквозь слезы, что он был такой милый, такой добрый, такой чудесный. Я пыталась сказать ему все, что думала о нем, но не могла вымолвить ни слова.

— Полно, полно! — проговорил опекун.— Вы придаете этому слишком большое значение, Хлопотунья. Слушайте, что это вы так расплакались, Старушка? Что с вами делается?

— Это от светлой радости, опекун... от полноты сердца,— ведь оно у меня переполнено благодарностью.

— Так, так,— отозвался он.— Очень рад, что заслужил ваше одобрение. Да я в нем и не сомневался. Все это я затеял, чтобы сделать приятный сюрприз маленькой хозяйке Холодного дома.

Я поцеловала его и вытерла глаза.

— Я все теперь понимаю! — сказала я.— Давно уже догадывалась по вашему лицу.

— Не может быть! Неужели догадывались, милая моя? — проговорил он.— Что за Старушка, как она умеет читать мысли по лицам!

Он был так необычно весел, что я тоже не могла не развеселиться, и мне стало почти стыдно, что вначале я была совсем невеселой. Ложась в постель, я немножко поплакала. Сознаюсь, что поплакала; но хочу думать, что — от радости, хоть и не вполне уверена, что от радости. Я дважды мысленно повторила каждое слово его письма.

Наступило чудеснейшее летнее утро, и мы, позавтракав, пошли под руку осматривать дом, о котором я должна была высказать свое веское мнение многоопытной хозяйки. Мы подошли к нему сбоку, открыли калитку в

ограде ключом, который взял с собой опекун, вошли в цветник, и первое, что мне бросилось в глаза, это — клумбы и цветы, причем цветы были рассажены, а клумбы разбиты так, как я это сделала у нас дома.

— Вот видите, дорогая моя,— заметил опекун, остановившись и с довольным видом наблюдая за выражением моего лица,— я решил подражать вам, зная, что лучше не придумаешь.

Мы пересекли прелестный фруктовый садик, где в зеленой листве прятались вишни, а на траве играли тени яблонь, и вошли в дом, точнее — коттедж с крошечными, чуть не кукольными комнатками, простой деревенский коттедж, в котором было так чудесно, так тихо, так красиво, а из окон открывался вид на такие живописные веселые места: текущая вдали речка поблескивала сквозь нависшую над ней пышную летнюю зелень и, добежав до мельницы, с шумом вертела жернова, а приблизившись к коттеджу, сверкала, огибая окраину приветливого городка и луг, на котором пестрели группы игроков в крикет и над белой палаткой развевался флаг, колеблемый легким западным ветерком. И когда мы осматривали хорошенькие комнатки, а выйдя на небольшую деревенскую веранду, прохаживались под маленькой деревянной колоннадой, украшенной жимолостью, жасмином и каприфолией,— всюду я узнавала и в обоях на стенах, и в расцветке мебели, и в расстановке всех этих красивых вещей, *свои* вкусы и причуды, *свои* привычки и выдумки — те самые, что всегда служили предметом шуток и похвал у нас дома,— словом, во всем находила отражение самой себя.

Слов не хватало выразить, в каком я была восторге от всей этой прелести; но, в то время как я любовалась ею, меня стало тревожить тайное сомнение. Я думала: разве это даст счастье ему? А может быть, на душе у него было бы спокойнее, если бы обстановка его дома не так напоминала ему обо мне? Правда, я не такая, какой он меня считает, но все-таки он любит меня очень нежно, а здесь все будет скорбно напоминать ему о том, что он считает тяжкой утратой. Я не хочу, чтобы он меня забыл, и, быть может, он не забудет меня и без этих напоминаний, но мой путь легче его пути, а я примирилась

бы даже с его забвением, если б оно могло дать счастье ему.

— А теперь, Хлопотунья,— сказал опекун, которого я еще никогда не видела таким гордым и радостным, как сейчас, когда он показывал мне все в доме и слушал мои похвалы,— теперь в заключение надо вам узнать, как называется этот домик.

— Как же он называется, дорогой опекун?

— Дитя мое,— проговорил он,— пойдите и посмотрите.

Он повел меня к выходу, на парадное крыльцо, которое до сих пор обходил стороной, но, перед тем как ступить на порог, остановился и сказал:

— Милое мое дитя, неужели вы не догадываетесь, как он называется?

— Нет! — сказала я.

Мы сошли с крыльца, и опекун показал мне надпись, начертанную над входом: *«Холодный дом»*.

Он подвел меня к скамье, стоявшей в кустах поблизости, сел рядом со мной и, взяв мою руку, начал:

— Милая моя девочка, с тех пор как мы познакомились, я, мне кажется, всегда искренне стремился дать вам счастье. Правда, когда я написал вам письмо, ответ на которое вы принесли сами,— и он улыбнулся,— я слишком много думал о своем собственном счастье; но думал и о вашем. Вы были еще совсем девочкой, а я уже иногда мечтал о том, чтобы вы со временем сделались моей женой; но не стоит мне спрашивать себя, позволил бы я или нет этой давней мечте овладеть мною вновь, если бы обстоятельства сложились по-другому. Как бы то ни было, я снова стал об этом мечтать и написал вам письмо, а вы на него ответили. Вы слушаете меня, дитя мое?

Я похолодела и дрожала всем телом, но слышала каждое его слово. Я сидела, пристально глядя на него, а лучи солнца, сквозившие сквозь листву, озаряли мягким светом его непокрытую голову, и мне чудилось, будто лицо его светится, как лик ангельский.

— Слушайте, любимая моя, но ничего не говорите сами. Теперь должен говорить я. Неважно, когда именно я стал сомневаться в том, что мое предложение действи-

тельно принесет вам счастье. Вудкорт приехал домой, и вскоре у меня уже не осталось сомнений.

Я обвила руками его шею, склонила голову к нему на грудь и заплакала.

— Лежите так, дитя мое, лежите спокойно и верьте мне,— сказал он, слегка прижимая меня к себе.— Теперь я вам опекун и отец. Лежите так, отдыхайте и верьте мне.

Он говорил, успокаивая меня, как нежный шелест листвы, ободряя, как ясный день, светло и благотворно, как светит солнце.

— Поймите меня, дорогая моя девочка,— продолжал он.— Я знал, как развито в вас чувство долга, как вы преданны мне, и не сомневался, что со мной вы будете довольны и счастливы; но я понял, с каким человеком вы будете еще счастливей. Немудрено, что я угадал тайну этого человека, когда наша Хлопотунья еще и не подозревала о ней,— ведь я знал гораздо лучше, чем она сама, какая она хорошая; а это хорошее никогда не может измениться. Ну вот! Аллен Вудкорт уже давно открыл мне свою тайну, однако он до вчерашнего дня ничего не знал о моей, а узнал лишь за несколько часов до вашего приезда. Я молчал до поры до времени, потому что не хотел мириться с тем, что кто-то не ценит по достоинству такую прелесть, как моя Эстер; не хотел, чтобы высокие качества моей милой девочки — хотя бы даже малейшая их частица — остались незамеченными и непризнанными; не хотел, чтоб ее только из милости приняли в род Моргана-ап-Керрига, ни за что не допустил бы этого, хоть дайте мне столько золота, сколько весят все горы Уэльса!

Он умолк и поцеловал меня в лоб, а я всхлипнула и снова расплакалась, чувствуя, что не могу вынести мучительного наслаждения, которое доставляли мне его похвалы.

— Полно, Старушка! Не плачьте! Сегодня день радости. Я ждал его,— сказал он горячо,— ждал месяц за месяцем! Еще несколько слов, Хлопотунья, и я доскажу все, что хотел сказать. Твердо решившись не допустить, чтобы хоть одна капля достоинств моей Эстер осталась незамеченной, я поговорил по секрету с миссис Вудкорт. «Вот что, сударыня,— сказал я,— я вижу, точнее

знаю наверное, что ваш сын любит мою подопечную. Далее, я убежден, что моя подопечная любит вашего сына, но готова пожертвовать своей любовью из чувства долга и привязанности и принесет эту жертву так полно, безоговорочно и свято, что вы об этом и не догадаетесь, даже если будете следить за ней день и ночь». Затем я рассказал ей всю нашу историю... нашу... вашу и мою. «Теперь, сударыня,— сказал я,— когда вы все это узнали, приезжайте к нам и погостите у нас. Приезжайте и наблюдайте за моей девочкой час за часом; говорите все, что хотите, против ее происхождения, о котором я могу сказать вам то-то и то-то,— мне не хотелось ничего скрывать от нее,— а когда хорошенько подумаете, скажите мне, что такое «законное рождение»». Ну, надо отдать должное ее древней уэльской крови, дорогая моя! — с энтузиазмом воскликнул опекун.— Я уверен, что сердце, которому эта кровь дает жизнь, бьется при мысли о вас, Хлопотунья, с не меньшей теплотой, не меньшим восхищением, не меньшей любовью, чем мое собственное!

Он нежно приподнял мою голову, а я прижалась к нему, и он стал целовать меня снова и снова, прежними, отеческими поцелуями. Как ясно я поняла теперь, почему он всегда казался мне моим защитником!

— Еще одно слово, и теперь уже последнее. Когда Аллен Вудкорт объяснялся с вами, милая моя, он говорил с моего ведома и согласия. Но я никак его не обнадеживал, конечно, нет,— ведь такие вот нечаянные радости моих близких служат мне великой наградой, а я был столь жаден, что не хотел лишиться хоть малейшей ее крупицы. Мы тогда решили, что, объяснившись с вами, он придет ко мне и расскажет обо всем, что было; и он рассказал. Больше мне не о чем говорить. Любимая моя, Аллен Вудкорт стоял у смертного ложа вашего отца... и вашей матери. Вот — Холодный дом. Сегодня я дарю этому дому его маленькую хозяюшку и клянусь, что это самый светлый день в моей жизни!

Он встал сам и поднял меня. Теперь мы были не одни. Мой муж — вот уже целых семь счастливых лет, как я называю его так,— стоял рядом со мной.

— Аллен,— проговорил опекун,— примите от меня этот добровольный дар — лучшую жену, какая только

есть на свете. Вам я скажу лишь одно: вы ее достойны, а у меня это высшая похвала. Примите ее и вместе с нею скромный домашний очаг, который она вам приносит. Вы знаете, как она преобразит его, Аллен, вы знаете, как она преобразила его тезку. Позвольте мне только иногда делить с вами блаженство, которое воцарится в нем, и я буду знать, что ничем я сегодня не пожертвовал. Ничем, ничем!

Он еще раз поцеловал меня, и теперь на глазах у него были слезы; потом сказал более мягко:

— Эстер, любимая моя, после стольких лет — это своего рода разлука. Я знаю, моя ошибка заставила вас страдать. Простите своего старого опекуна, возвратите ему его прежнее место в вашей привязанности и выкиньте эту ошибку из памяти... Аллен, примите мою любимую.

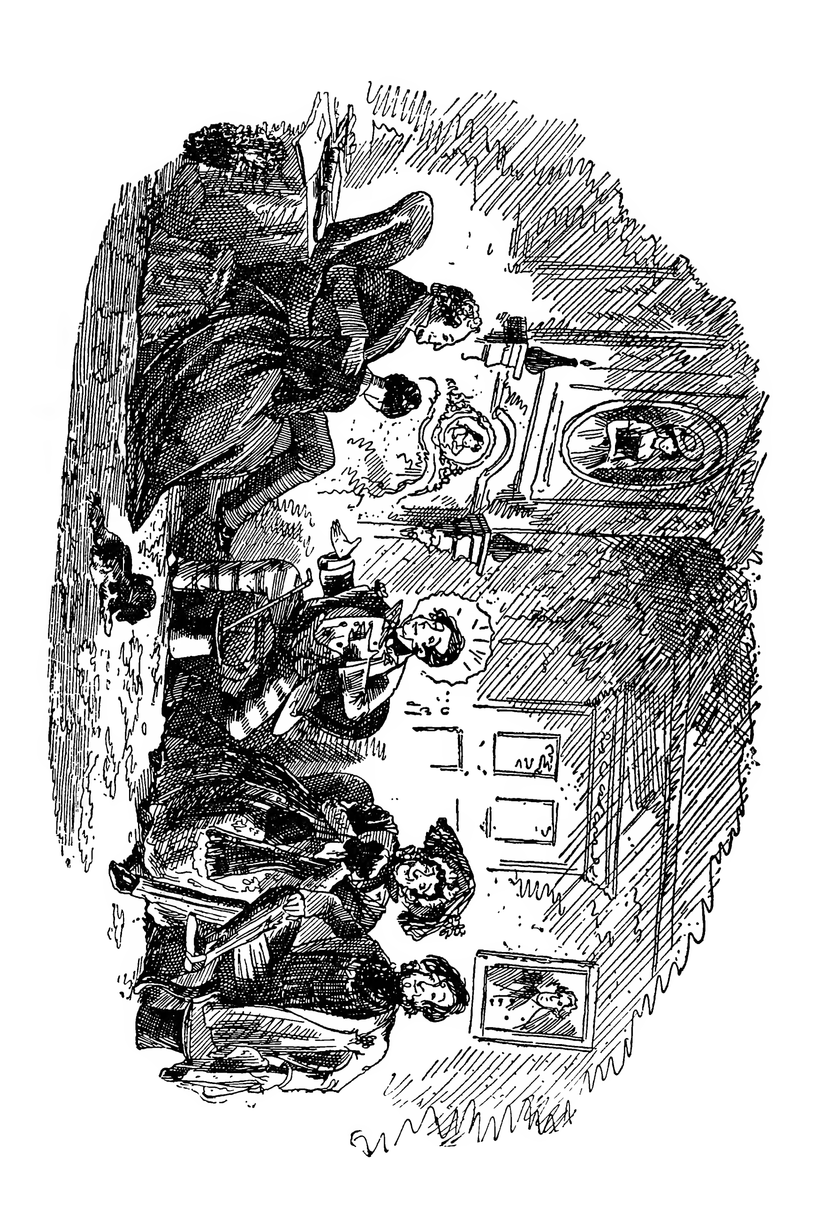
Он вышел из-под зеленого свода листвы, но приостановился на открытом месте и, озаренный солнцем, обернулся в нашу сторону и сказал веселым голосом:

— Вы найдете меня где-нибудь здесь по соседству. Ветер западный, Хлопотунья, настоящий западный! И впредь — никаких благодарностей; а то ведь я теперь опять буду жить по-холостяцки, и если этого моего требования не выполнят, убегу и не вернусь никогда!

Как счастливы были мы в тот день, какая тогда была радость, какое успокоение, какие надежды, какая благодарность судьбе, какое блаженство! Обвенчаться мы решили в конце месяца; но мы еще не знали, когда нам удастся переехать сюда и поселиться в своем доме,— это зависело от Ады и Ричарда.

На другой день мы все трое вернулись домой вместе. Как только мы приехали в Лондон, Аллен сразу же отправился к Ричарду, чтобы сообщить радостное известие ему и моей милой подруге. Было уже поздно, но, прежде чем лечь спать, я все-таки собиралась ненадолго пойти к Аде, решила только сначала заехать с опекуном домой, чтобы напоить его чаем и посидеть с ним рядом в своем старом кресле,— мне не хотелось, чтобы оно опустело так скоро.

Приехав, мы узнали, что сегодня какой-то молодой человек три раза приходил к нам и спрашивал меня;



а когда ему в третий раз сказали, что я вернусь не раньше десяти часов вечера, он попросил доложить, что «зайдет часиков в десять». Все три раза он оставлял свою визитную карточку. На ней было написано: «Мистер Гаппи».

Естественно, я стала раздумывать — для чего я могла ему понадобиться? И так как с мистером Гаппи у меня всегда связывалось что-нибудь смешное, я принялась подшучивать над ним и, слово за слово, рассказала опекуну о том, как он однажды сделал мне предложение, а потом сам отказался от моей руки.

— Если так,— сказал опекун,— мы, конечно, примем этого героя.

Мы распорядились, чтобы мистера Гаппи приняли, но едва успели это сделать, как он уже пришел опять.

Увидев рядом со мной опекуна, он опешил, но овладел собой и сказал:

— Как живете, сэр?

— А вы как поживаете, сэр? — осведомился опекун.

— Благодарю вас, сэр, недурно,— ответил мистер Гаппи,— Разрешите представить вам мою мамашу, миссис Гаппи, проживающую на Олд-стрит-роуд, и моего закадычного друга, мистера Уивла. Надо сказать, что мой друг одно время называл себя Уивл, но его настоящая и подлинная фамилия — Джоблинг.

Опекун попросил их всех присесть, и они уселись.

— Тони, ты, может, приступишь к изложению дела? — обратился мистер Гаппи к своему другу после неловкого молчания.

— Излагай сам,— ответил ему друг довольно резким тоном.

— Итак, мистер Джарндис, сэр,— начал после недолгого размышления мистер Гаппи, к великому удовольствию своей мамаши, которое она выразила тем, что принялась толкать локтем мистера Джоблинга и залихватски подмигивать мне,— я желал переговорить с мисс Саммерсон наедине, и ваше уважаемое присутствие явилось для меня некоторой неожиданностью. Но, может, мисс Саммерсон осведомила вас о том, что когда-то произошло между мной и ею?

Да,— ответил опекун с улыбкой,— мисс Саммерсон мне кое-что рассказала.

— Это упрощает мою задачу,— сказал мистер Гаппи.— Сэр, я окончил ученье у Кенджа и Карбоя, и, кажется,— к удовлетворению всех заинтересованных сторон. Теперь меня зачислили (после экзамена, от которого можно было прямо свихнуться, столько пришлось зазубрить всякой никчемной чепухи) — меня зачислили, повторяю, в список ходатаев по делам, и я даже захватил с собой свое свидетельство — может, вы пожелаете ознакомиться?

— Благодарю вас, мистер Гаппи,— ответил опекун.— Верю вам на слово, или, как выражаетесь вы, юристы, «признаю наличие этого свидетельства».

Мистер Гаппи отказался от мысли извлечь что-то из своего кармана и продолжал, не предъявляя свидетельства:

— У меня лично капиталов нет, но у моей мамаши есть небольшое состояние в виде ренты,— тут мамаша мистера Гаппи принялась вертеть головой — столь невыразимое удовольствие получила она от этих слов, потом закрыла рот носовым платком и снова подмигнула мне.— Следовательно, я когда угодно могу призанять у нее несколько фунтов на свои конторские расходы, к тому же — без всяких процентов, а это, изволите видеть, огромное преимущество,— с чувством заключил мистер Гаппи.

— Еще бы не преимущество! — согласился опекун.

— У меня уже имеется клиентура,— продолжал мистер Гаппи,— по соседству с площадью Уолкот, в Ламбете. Посему я снял дом в этом околотке, и, по мнению моих друзей, очень удачно (налоги пустяковые, пользование обстановкой включено в квартирную плату), и теперь намерен безотлагательно основать там самостоятельную юридическую контору.

Мамаша мистера Гаппи снова принялась отчаянно вертеть головой, проказливо ухмыляясь каждому, кто бросал на нее взгляд.

— В доме шесть комнат, не считая кухни,— продолжал мистер Гаппи,— квартира очень удобная, по мнению моих друзей. Говоря «друзей», я главным образом подра-

зумеваю своего друга Джоблинга, который знает меня,— мистер Гаппи устремил на него сентиментальный взор,— чуть не с пеленок.

Мистер Джоблинг подтвердил это, шаркнув ногами.

— Мой друг Джоблинг будет помогать мне в качестве клерка и жить у меня в доме,— продолжал мистер Гаппи.— Мамаша тоже переедет ко мне, когда истечет и кончится срок договора на ее теперешнюю квартиру на Олд-стрит-роуд, так что общества у нас хватит. Мой друг Джоблинг от природы наделен аристократическими вкусами и, кроме того, знает все, что происходит в высшем свете, и он всецело поддерживает те планы, которые я сейчас излагаю.

Мистер Джоблинг произнес: «Конечно»,— и немного отодвинулся от локтя мамаши мистера Гаппи.

— Далее, сэр, поскольку мисс Саммерсон доверила вам нашу тайну, мне незачем говорить,— продолжал мистер Гаппи (мамаша, будьте добры, ведите себя посмирнее),— мне незачем говорить вам, что образ мисс Саммерсон некогда был запечатлен в моем сердце и я сделал ей предложение сочетаться со мною браком.

— Об этом я слышал,— заметил опекун.

— Обстоятельства,— продолжал мистер Гаппи,— отнюдь не зависящие от меня, но совсем наоборот, временно затуманили этот образ. В каковой период времени мисс Саммерсон вела себя исключительно благородно; добавлю даже — великодушно.

Опекун похлопал меня по плечу, видимо очень забавляясь всем происходящим.

— А теперь, сэр,— сказал мистер Гаппи,— я лично пришел в такое состояние духа, что возжелал отплатить взаимностью за ее великодушие. Я хочу доказать мисс Саммерсон, что могу подняться на высоту, достичь которой она вряд ли полагала меня способным. Я вижу теперь, что образ, который я считал вырванным с корнем из моего сердца, на самом деле отнюдь *не* вырван. Он по-прежнему влечет меня неодолимо, и, поддаваясь этому влечению, я готов пренебречь теми обстоятельствами, кои не зависят ни от кого из нас, и вторично сделать предложение, которое я когда-то имел честь сделать мисс Саммерсон. Покорнейше прошу мисс Саммерсон соблагово-

лить принять от меня дом на площади Уолкот, контору и меня самого.

— Поистине очень великодушное предложение, сэр,— заметил опекун.

— А как же, сэр! — совершенно искренне согласился мистер Гаппи.— К этому-то я и стремлюсь — проявить великодушие. Конечно, я не считаю, что, делая предложение мисс Саммерсон, я приношу себя в жертву; не считают этого и мои друзья. Тем не менее имеются обстоятельства, которые, сдается мне, следует принять в расчет в качестве противовеса к кое-каким моим маленьким недочетам,— вот у нас и установится полное равновесие.

— Я возьму на себя смелость, сэр, ответить на ваше предложение от имени мисс Саммерсон,— со смехом сказал опекун и позвонил в колокольчик.— Очень тронутая вашими благими намерениями, она желает вам доброго вечера и всего хорошего.

— Вот так так! — произнес мистер Гаппи, тупо уставившись на нас.— Как же это надо понимать, сэр: как согласие, как отказ или как отсрочку!

— Понимайте как решительный отказ! — ответил опекун.

Мистер Гаппи, не веря своим ушам, бросил взгляд на друга, потом на мамашу, которая внезапно рассвирепела, потом на пол, потом на потолок.

— В самом деле? — сказал он.— В таком случае, Джоблинг, если ты такой друг, каким себя изображаешь, ты, кажется, мог бы взять под ручку мамашу и вывести ее вон, чтоб она под ногами не путалась,— незачем ей оставаться там, где ее присутствие нежелательно.

Но миссис Гаппи решительно отказалась выйти вон и не путаться под ногами. Просто слышать об этом не захотела.

— Ну-ка, ступайте-ка отсюда вы,— сказала она опекуну.— Что еще выдумали! Это мой-то сын да не хорош для вас? Постыдились бы! Пошли вон!

— Но, почтеннейшая,— возразил опекун,— вряд ли разумно просить меня уйти из моей собственной комнаты.

— А мне плевать! — отрезала миссис Гаппи.— Пошли вон! Если мы для вас не хороши, так ступайте най-

дите себе жениха получше. Подите-ка поищите себе хороших!

Я была прямо поражена, увидев, как миссис Гаппи, которая только что веселилась до упаду, мгновенно обиделась до глубины души.

— Ну-ка, подите-ка да поищите себе подходящего жениха,— повторяла миссис Гаппи.— Убирайтесь вон!

Но мы не убирались, и это, кажется, пуще всего удивляло и выводило из себя мамашу мистера Гаппи.

— Чего ж вы не уходите? — твердила она.— Нечего вам тут рассиживаться!

— Мамаша,— вмешался ее сын, забежав вперед и отпихнув ее плечом, когда она боком налетела на опекуна,— *намерены* вы придержать язык или нет?

— Нет, Уильям,— ответила она,— не намерена! Не намерена, пока он не уберется вон отсюда!

Тем не менее мистер Гаппи и мистер Джоблинг, вместе взялись за мамашу мистера Гаппи (которая принялась ругаться) и, к великому ее неудовольствию, потащили ее вниз, причем голос ее повышался на одну ступень всякий раз, как она спускалась со ступеньки лестницы, продолжая настаивать, чтобы мы сию же минуту пошли искать подходящего для нас жениха, а самое главное — убрались вон отсюда.

## ГЛАВА LXV

### *Начало новой жизни*

Началась судебная сессия, и опекун получил уведомление от мистера Кенджа, что дело будет слушаться через два дня. Я все-таки надеялась на завещание и волновалась, думая о том, как оно повлияет на исход дела, поэтому мы с Алленом условились пойти в суд с утра. Ричард был очень возбужден и вдобавок так истощен и слаб, хотя его все еще не считали больным, что моя дорогая девочка поистине нуждалась в поддержке. Но Ада ждала, что скоро — теперь уже очень скоро — получит помощь, на которую так надеялась, и потому никогда не поддавалась унынию.

Дело должно было разбираться в Вестминстере. Надо сознаться, что оно разбиралось там уже раз сто, и все же я не могла отделаться от мысли, что на этот раз судебное разбирательство, *может быть,* и приведет к какому-нибудь результату. Мы вышли из дому сразу же после первого завтрака, чтобы вовремя попасть в Вестминстер-Холл, и шли по оживленным улицам — так радостно это было и непривычно... идти вдвоем!

По дороге мы советовались, как нам помочь Ричарду и Аде, как вдруг я услышала, что кто-то окликает меня:

— Эстер! Милая Эстер! Эстер!

Оказалось, что это Кедди Джеллиби — она высунула голову из окна маленькой кареты, которую теперь нанимала, чтобы объезжать своих учеников (их было очень много), и тянулась ко мне, словно пытаясь обнять меня на расстоянии в сотню ярдов. Незадолго перед тем я написала ей письмо, в котором рассказывала о том, что сделал для меня опекун, но у меня все не хватало времени навестить ее. Мы, конечно, повернули назад, и моя любящая подруга пришла в такой восторг, с такой радостью вспоминала о том вечере, когда принесла мне цветы, так самозабвенно тискала мои щеки (а заодно и шляпку) и вообще так безумствовала, называя меня всяческими ласкательными именами и рассказывая Аллену о том, сколько я для нее сделала, что мне пришлось сесть рядом с ней и успокоить ее, позволив ей говорить и делать все, что душе угодно. Аллен стоял у дверцы кареты и радовался не меньше Кедди, а я радовалась не меньше их обоих; удивляюсь только, как это мне все-таки удалось от нее оторваться, а выскочив из кареты, я стояла растрепанная, с пылающими щеками, и, смеясь, смотрела вслед Кедди, которая тоже смотрела на нас из окошка, пока не скрылась из виду.

Из-за этого мы опоздали на четверть часа и, подойдя к Вестминстер-Холлу, узнали, что заседание уже началось. Хуже того, в Канцлерском суде сегодня набралось столько народу, что зал был набит битком — в дверь не пройдешь, и мы не могли ни видеть, ни слышать того, что творилось там внутри. Очевидно, происходило что-то смешное — время от времени раздавался хохот, а за ним возглас: «Тише!». Очевидно, происходило что-то интерес-

ное — все старались протиснуться поближе. Очевидно, что-то очень потешало джентльменов-юристов,— несколько молодых адвокатов в париках и с бакенбардами стояли кучкой в стороне от толпы, и, когда один из них сказал что-то остальным, те сунули руки в карманы и так расхохотались, что даже согнулись в три погибели от смеха и принялись топать ногами по каменному полу.

Мы спросили у стоявшего возле нас джентльмена, не знает ли он, какая тяжба сейчас разбирается? Он ответил, что «Джарндисы против Джарндисов». Мы спросили, знает ли он, в какой она стадии. Он ответил, что, сказать правду, не знает, да и никто никогда не знал, но, насколько он понял, судебное разбирательство кончено. Кончено на сегодня, то есть отложено до следующего заседания? — спросили мы. Нет, ответил он, совсем кончено.

Кончено!

Выслушав этот неожиданный ответ, мы опешили и переглянулись. Возможно ли, что найденное завещание наконец-то внесло ясность в дело и Ричард с Адой разбогатеют? Нет, это было бы слишком хорошо,— не могло этого случиться. Увы, этого и не случилось!

Нам не пришлось долго ждать объяснений; вскоре толпа пришла в движение, люди хлынули к выходу, красные и разгоряченные, и с ними хлынул наружу спертый воздух. Однако все были очень веселы и скорей напоминали зрителей, только что смотревших фарс или выступление фокусника, чем людей, присутствовавших на заседании суда. Мы стояли в сторонке, высматривая кого-нибудь из знакомых, как вдруг из зала стали выносить громадные кипы бумаг — кипы в мешках и кипы такой величины, что в мешки они не влезали, словом — неохватные груды бумаг в связках всевозможных форматов и совершенно бесформенных, под тяжестью которых тащившие их клерки шатались и, швырнув их до поры до времени на каменный пол зала, бежали за другими бумагами. Хохотали даже эти клерки. Заглянув в бумаги, мы увидели на каждой заголовок «Джарндисы против Джарндисов» и спросили какого-то человека (по-видимому, судейского), стоявшего среди этих бумажных гор, кончилась ли тяжба.

— Да,— сказал он,— наконец-то кончилась! — и тоже расхохотался.

Тут мы увидели мистера Кенджа, который выходил из зала суда и, с самым достойным и любезным видом, слушал, что говорил ему почтительным тоном мистер Воулс, тащивший свой собственный мешок с документами. Мистер Воулс увидел нас первый.

— Взгляните, сэр, вон стоит мисс Саммерсон,— сказал он.— И мистер Вудкорт.

— А, вижу, вижу! Да. Они самые! — отозвался мистер Кендж, снимая передо мною цилиндр с изысканной вежливостью.— Как поживаете? Рад вас видеть. А мистер Джарндис не пришел?

Нет. Он никогда сюда не ходит, напомнила я ему.

— По правде сказать, это хорошо, что он *не* пришел сюда сегодня,— сказал мистер Кендж,— ибо его — позволительно ли будет сказать это в отсутствие нашего доброго друга? — его столь непоколебимые и своеобразные взгляды, пожалуй, только укрепились бы; без разумных оснований, но укрепились бы.

— Скажите, пожалуйста, что произошло сегодня? — спросил Аллен.

— Простите, что вы изволили сказать? — переспросил его мистер Кендж чрезвычайно вежливым тоном.

— Что произошло сегодня?

— Что произошло? — повторил мистер Кендж.— Именно. Да, ну что ж, произошло немногое... немногое. Перед нами возникло непредвиденное препятствие... мы были вынуждены, я бы сказал, внезапно остановиться... если можно так выразиться... на пороге.

— А найденное завещание, оно признано документом, имеющим законную силу, сэр? — спросил Аллен.— Разъясните нам это, пожалуйста.

— Конечно, разъяснил бы, если бы мог,— ответил мистер Кендж,— но этого вопроса мы не обсуждали... не обсуждали...

— Этого вопроса мы не обсуждали,— как эхо, повторил мистер Воулс своим глухим утробным голосом.

— Вам следует иметь в виду, мистер Вудкорт,— заметил мистер Кендж, убеждающе и успокоительно помахав рукой, точно серебряной лопаточкой,— что тяжба эта

была незаурядная, тяжба это была длительная, тяжба это была сложная. Тяжбу «Джарндисы против Джарндисов» довольно остроумно называют монументом канцлерской судебной практики.

— На котором с давних пор стояла статуя Терпения,— сказал Аллен.

— Поистине очень удачно сказано, сэр,— отозвался мистер Кендж, снисходительно посмеиваясь,— очень удачно! Далее, вам следует иметь в виду, мистер Вудкорт,— тут внушительный вид мистера Кенджа перешел в почти суровый вид,— что на разбирательство этой сложнейшей тяжбы с ее многочисленными трудностями, непредвиденными случайностями, хитроумными фикциями и формами судебной процедуры была затрачена уйма стараний, способностей, красноречия, знаний, ума, мистер Вудкорт, высокого ума. В течение многих лет... э... я бы сказал, цвет Адвокатуры и... э... осмелюсь добавить, зрелые осенние плоды Судейской мудрости в изобилии предоставлялись тяжбе Джарндисов. Если общество желает, чтобы ему служили, а страна — чтобы ее украшали такие Мастера своего дела, за это надо платить деньгами или чем-нибудь столь же ценным, сэр.

— Мистер Кендж,— сказал Аллен, который, видимо, сразу все понял,— простите меня, но мы спешим. Не значит ли это, что все спорное наследство полностью истрачено на уплату судебных пошлин?

— Хм! Как будто так,— ответил мистер Кендж.— Мистер Воулс, а *вы* что скажете?

— Как будто так,— ответил мистер Воулс.

— Значит, тяжба прекратилась сама собой?

— Очевидно,— ответил мистер Кендж.— Мистер Воулс?

— Очевидно,— подтвердил мистер Воулс.

— Родная моя,— шепнул мне Аллен,— Ричарду это разобьет сердце!

Он переменился в лице и так встревожился,— ведь он хорошо знал Ричарда, чье постепенное падение я сама наблюдала уже давно,— что слова, сказанные моей дорогой девочкой в порыве проникновенной любви, вдруг вспомнились мне и зазвучали в моих ушах похоронным звоном.

— На случай, если вам понадобится мистер Карстон, сэр,— сказал мистер Воулс, следуя за нами,— имейте в виду, что он в зале суда. Я ушел, а он остался, чтобы немножко прийти в себя. Прощайте, сэр, прощайте, мисс Саммерсон.

Завязывая шнурки своего мешка с документами, он впился в меня столь памятным мне взглядом хищника, медленно пожирающего добычу, и приоткрыл рот, как бы затем, чтобы проглотить последний кусок своего клиента, а затем поспешил догнать мистера Кенджа,— должно быть, из боязни оторваться от благожелательной сени велеречивого столпа юриспруденции — и вот уже его черная, застегнутая на все пуговицы зловещая фигура проскользнула к низкой двери в конце зала.

— Милая моя,— сказал мне Аллен,— оставь меня ненадолго с тем, кого ты поручила мне. Поезжай домой с этой новостью и потом приходи к Аде!

Я не позволила ему проводить меня до кареты, но попросила его как можно скорее пойти к Ричарду, добавив, что сделаю так, как он сказал. Быстро добравшись до дому, я пошла к опекуну и сообщила ему, с какой новостью я вернулась.

— Что ж, Хлопотунья,— промолвил он, ничуть не огорченный за себя самого,— чем бы ни кончилась эта тяжба, счастье, что она кончилась,— такое счастье, какого я даже не ожидал. Но бедные наши молодые!

Все утро мы проговорили о них, думая и раздумывая, чем бы им помочь. Во второй половине дня опекун проводил меня до Саймондс-Инна, и мы расстались у подъезда. Я поднялась наверх. Услышав мои шаги, моя милая девочка вышла в коридор и кинулась мне на шею; но сейчас же овладела собой и сказала, что Ричард уже несколько раз спрашивал обо мне. По ее словам, Аллен отыскал его в зале суда — Ричард забился куда-то в угол и сидел как каменный. Очнувшись, он вспыхнул и, видимо, хотел было обратиться к судье с гневной речью. Но не смог, потому что кровь хлынула у него изо рта, и Аллен увез его домой.

Когда я вошла, он лежал на диване, закрыв глаза. Рядом на столике стояли лекарства; комнату хорошо проветрили и привели в полный порядок — в ней было полу-

темно и очень тихо. Аллен стоял около дивана, не сводя с больного внимательных глаз. Лицо Ричарда показалось мне мертвенно-бледным, и теперь, глядя на него, пока он меня еще не видел, я впервые поняла, до чего он измучен. Но я давно уже не видела его таким красивым, как в этот день.

Я молча села рядом с ним. Вскоре он открыл глаза и, улыбаясь своей прежней улыбкой, проговорил слабым голосом:

— Старушка, поцелуйте меня, дорогая!

Меня очень утешило, хоть и удивило, что он и в этом тяжелом состоянии не утратил бодрости духа и с надеждой смотрел на будущее. Он говорил, что радуется нашей предстоящей свадьбе, да так, что слов не хватает. Ведь Аллен был ангелом-хранителем для него и Ады; и он благословляет нас обоих и желает нам всех радостей, какие только может принести нам жизнь. Я почувствовала, что сердце у меня готово разорваться, когда увидела, как он взял руку моего жениха и прижал ее к своей груди.

Мы как можно больше говорили о будущем, и он несколько раз сказал, что приедет к нам на свадьбу, если только здоровье позволит ему встать. Ада как-нибудь ухитрится привезти его, добавил он. «Ну, конечно, милый мой Ричард!» Откликаясь на его слова, моя дорогая девочка, спокойная и прекрасная, казалось, все еще надеялась на ту поддержку, которую должна была получить так скоро, а я уже все поняла... все!..

Ему было вредно много говорить, и когда он умолкал, мы умолкали тоже. Сидя рядом с ним, я сделала вид, что углубилась в какое-то рукоделье, предназначенное для моей любимой подруги,— ведь он привык подшучивать надо мною за то, что я вечно чем-нибудь занята. Ада облокотилась на его подушку и положила его голову к себе на плечо. Он часто впадал в забытье, а проснувшись, сразу спрашивал, если не видел Аллена:

— Где же Вудкорт?

Настал вечер; и вдруг, случайно подняв глаза, я увидела, что в маленькой передней стоит опекун.

— Кто там, Хлопотунья? — спросил Ричард.

Он лежал спиной к двери, но по выражению моего лица догадался, что кто-то пришел.

Я взглядом спросила у Аллена, как быть; он кивнул, и я тогда нагнулась к Ричарду и сказала ему, кто пришел. Опекун все это видел и, тотчас же подойдя ко мне, тихонько покрыл ладонью руку Ричарда.

— Вы, вы пришли! — воскликнул Ричард.— Какой вы добрый, какой добрый! — И тут впервые за этот день из глаз его хлынули слезы.

Опекун — олицетворение доброты — сел на мое место, не снимая руки с руки Ричарда.

— Милый Рик,— проговорил он,— тучи рассеялись, и стало светло. Теперь мы все видим ясно. Все мы когда-нибудь заблуждались, Рик,— кто больше, кто меньше. Все это пустяки. Как вы себя чувствуете, мой милый мальчик?

— Я очень слаб, сэр, но надеюсь, что поправлюсь. Придется теперь начинать новую жизнь.

— Правильно; хорошо сказано! — воскликнул опекун.

— Я начну ее не так, как раньше,— сказал Ричард с печальной улыбкой.— Я получил урок, сэр. Жестокий был урок, но я извлек из него пользу, не сомневайтесь в этом.

— Ну полно, полно,— утешал его опекун,— полно, полно, милый мой мальчик!

— Я думал, сэр,— продолжал Ричард,— что ничего на свете мне так не хотелось бы, как увидеть их дом, то есть дом Хлопотуньи и Вудкорта. Вот если бы можно было перевезти меня туда, когда я начну поправляться,— там я наверное выздоровлю скорее, чем в любом другом месте.

— А я и сам уже думал об этом, Рик,— сказал опекун,— да и наша Хлопотунья тоже — мы как раз сегодня говорили об этом с нею. Надеюсь, муж ее ничего не будет иметь против. Как вы думаете?

Ричард улыбнулся и поднял руку, чтобы дотронуться до Аллена, стоявшего у его изголовья.

— Об Аде я не говорю ничего,— сказал Ричард,— но думаю о ней постоянно. Взгляните на нее! Видите, сэр, как она склоняется над моей подушкой, а ведь ей самой так нужно положить на нее свою бедную головку и отдохнуть... любовь моя, милая моя бедняжка!

Он обнял ее, и все мы умолкли. Но вот он медленно выпустил Аду из своих объятий, а она оглядела всех нас, обратила взор к небу, и губы ее дрогнули.

— Когда я приеду в новый Холодный дом,— продолжал Ричард,— мне придется многое рассказать вам, сэр, а вы многому меня научите. Вы тоже приедете туда, правда?

— Конечно, дорогой Рик!

— Спасибо!.. Узнаю вас, узнаю! — сказал Ричард.— Впрочем, я узнаю вас во всем, что вы теперь сделали... Мне рассказали, как вы устроили их дом, как вспомнили о вкусах и привычках Эстер. Вот приеду туда, и мне будет казаться, что я вернулся в старый Холодный дом.

— Но, надеюсь, вы и туда приедете, Рик? Вы знаете, я теперь буду жить совсем один, и тот, кто ко мне приедет, окажет мне великую милость. Да, дорогая моя, великую милость! — повторил он, повернувшись к Аде, и, ласково погладив ее по голове, отделил от ее золотистых волос один локон и приложил его к губам. (Мне кажется, он тогда в душе дал себе обет заботиться о ней, если ей придется остаться одной.)

— Все это было как страшный сон! — проговорил Ричард, крепко сжимая руки опекуну.

— Да, но только сон, Рик... только сон.

— А вы, такой добрый, можете ли вы забыть все это, как сон, простить и пожалеть спящего, отнестись к нему снисходительно и ободрить его, когда он проснется?

— Конечно, могу. Кто я сам, как не спящий, Рик?

— Я начну новую жизнь! — сказал Ричард, и глаза его засияли.

Мой жених наклонился к Аде, и я увидела, как он торжественно поднял руку, чтобы предупредить опекуна.

— Когда ж я уеду отсюда в те чудесные места, где все будет, как было в прежние годы, где у меня хватит сил рассказать, чем была для меня Ада, где я смогу искупить многие свои ошибки и заблуждения, где я буду готовиться к воспитанию своего ребенка? — сказал Ричард.— Когда я уеду туда?

— Когда вы достаточно окрепнете, милый Рик,— ответил опекун.

— Ада, любимая!

Ричард силился приподняться. Аллен приподнял его, так чтобы Ада смогла обнять его, как ему этого хотелось.

— Я много огорчал тебя, родная моя. Я пересек твой путь, словно какая-то бедная заблудшая тень; я взял тебя замуж и принес тебе только бедность и горе; я промотал твое состояние. Ты простишь мне все это, моя Ада, прежде чем я начну новую жизнь?

Улыбка озарила его лицо, когда Ада нагнулась и поцеловала его. Он медленно склонил голову ей на грудь, крепче обвил руками ее шею и с прощальным вздохом начал новую жизнь... Не в нашем мире, о нет, не в нашем! В том мире, где исправляют ошибки нашего.

Поздно вечером, когда дневной шум утих, бедная помешанная мисс Флайт пришла ко мне вся в слезах и сказала, что выпустила на волю своих птичек.

## ГЛАВА LXVI

### *В Линкольншире*

Тихо стало в Чесни-Уолде с тех пор, как жизнь там течет по-новому, с тех пор, как смолкли сплетни об одной главе из истории рода Дедлоков. Ходит слух, будто сэр Лестер деньгами замкнул уста тем, что могли бы говорить; но это слух недостоверный, он передается шепотом, ползет еле-еле, а если и вспыхивает в нем искра жизни, то она скоро угасает. Известно, что красавица леди Дедлок покоится теперь в родовом мавзолее под темной сенью деревьев, в парке, где по ночам гулко кричат совы; но откуда ее привезли домой, чтобы положить в этом уединенном месте, и отчего она умерла — все это тайна. Некоторые ее прежние приятельницы, главным образом из числа прелестниц с персиковыми щечками и костлявыми шейками, обмолвились как-то раз, зловеще играя огромными веерами — подобно прелестницам, вынужденным флиртовать с неумолимой смертью после того, как растеряли всех прочих своих вздыхателей,— обмолвились



как-то раз, когда весь «большой свет» был в сборе, что они удивляются, почему останки Дедлоков, погребенных в мавзолее, не возмущены ее кощунственным присутствием. Но покойные Дедлоки относятся к нему совершенно невозмутимо и никогда не протестуют.

Время от времени в этом глухом углу слышен топот копыт, который доносится из лощины, заросшей папоротником, и с тропинки, вьющейся между деревьями, и вскоре верхом на коне появляется сэр Лестер, одряхлевший, сгорбленный, почти слепой, но все еще представительный, и с ним другой всадник, рослый крепкий мужчина, готовый в любую минуту подхватить поводья, если их уронит его хозяин. Как только они подъезжают к мавзолею, конь сэра Лестера привычно останавливается перед входом, а сэр Лестер снимает шляпу, и, молча постояв тут, всадники удаляются.

Война с дерзким Бойторном все еще свирепствует, хотя вспыхивает она лишь изредка, то разгораясь, то угасая, как пламя, трепещущее на ветру. А все потому, как слышно, что, когда сэр Лестер навсегда переехал в Линкольншир, мистер Бойторн недвусмысленно выразил желание отказаться от своего права на спорную тропинку и выполнить все требования сэра Лестера; но сэр Лестер, поняв это как снисхождение к его немощам или несчастью, так вознегодовал и так величественно оскорбился, что мистер Бойторн оказался вынужденным снова нарушить мир и среди бела дня вторгнуться во владения соседа, чтобы вернуть ему спокойствие духа. Итак, мистер Бойторн по-прежнему воздвигает на спорной тропинке деревянные щиты с грозными предупреждениями и (с птичкой на голове) держит громовые речи против сэра Лестера в святилище собственного дома, а в церковке ведет себя по-прежнему вызывающе, делая вид, будто совершенно не замечает присутствия баронета. Однако ходит слух, что чем более яростно гневается мистер Бойторн на своего давнего врага, тем больше он в глубине души печется о его благе; но сэр Лестер в своей гордой непреклонности и не догадывается, как его ублажают. Нимало не подозревает он и о том, как близко подошел его путь к пути противника, когда оба они сплели свои судьбы с судьбами двух сестер, и оба от

этого пострадали; а противник его, который теперь об этом узнал, уж, конечно, ничего ему не скажет. Таким образом, распря продолжается, к величайшему удовлетворению обеих сторон.

В одной из сторожек, разбросанных по парку, — той, которая видна из дома (в дни, когда Линкольншир был залит водой, миледи часто видела близ нее ребенка сторожа), — теперь живет рослый мужчина, отставной кавалерист. Несколько реликвий, оставшихся от его прежней службы, развешаны здесь по стенам, и нет более приятного развлечения для хромого коротыша, который работает на конном дворе, как натирать их до блеска. Коротыш никогда не сидит сложа руки: примостившись у входа в шорную, он полирует стремена, удила, мундштучные цепочки, бляхи на сбруе, вообще весь конюшенный инвентарь, какой только можно полировать, и, таким образом, ведет жизнь, целиком заполненную полировкой. Потрепанный, маленький, искалеченный человек, он не лишен сходства со старым псом смешанной породы, который вынес немало колотушек. Его зовут Фил.

Приятно смотреть на величавую старуху домоправительницу (еще более туговатую на ухо, чем раньше), когда она идет в церковь под руку с сыном, и наблюдать — что удается немногим, ибо теперь в доме почти не бывает гостей,— как обходятся они с сэром Лестером и как он обходится с ними. В разгаре лета к ним приезжают друзья, и тогда серая накидка и зонт, которых в другое время в Чесни-Уолде не видно, мелькают сквозь зеленую листву; тогда в заброшенных пильных ямах и других глухих уголках парка резвятся две девочки, а у входа в сторожку, где живет кавалерист, дымок из двух трубок вьется в душистом вечернем воздухе. Тогда в сторожке заливается флейта, играющая вдохновенную мелодию «Британских гренадеров», а под вечер двое мужчин прохаживаются взад и вперед и слышно, как кто-то произносит грубоватым твердым голосом: «Но при старухе я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину».

Большая часть дома заперта, и посетителям его уже не показывают; но сэр Лестер, как и встарь, поддерживая свое одряхлевшее достоинство, возлежит на прежнем месте, перед портретом миледи. По вечерам свечи в го-

стиной горят только в этом углу, огороженном широкими экранами, но кажется, будто круг света мало-помалу сужается и тускнеет, и недалеко то время, когда и здесь воцарится тьма. Сказать правду, еще немного, и для сэра Лестера свет угаснет совсем, а сырая дверь мавзолея, которая закрывается так плотно и открывается с таким трудом, распахнется, чтобы его впустить.

Длинными вечерами Волюмния, чье лицо с течением времени все больше багровеет там, где ему надлежит быть румяным, и все больше желтеет там, где оно должно быть белым, читает вслух сэру Лестеру и, вынужденная прибегать к различным уловкам, чтобы подавить зевоту, находит, что лучше всего это удается, когда берешь в рот жемчужное ожерелье и придерживаешь его розовыми губками. Читает она все больше многословные трактаты, в которых обсуждается вопрос о Баффи и Будле и доказывается, как непорочен Баффи и как мерзок Будл, или что страна погибает, ибо привержена к Будлу, а не к Баффи, или что она спасена, ибо предалась Баффи, а не Будлу (обязательно — тому или другому, а третьего быть не может). Сэру Лестеру все равно что слушать, и слушает он не очень внимательно, хотя всякий раз, как Волюмния отваживается умолкнуть, он немедленно просыпается и, повторив звучным голосом последнее произнесенное ею слово, с легким неудовольствием осведомляется, не утомилась ли она? Впрочем, Волюмния, поптичьи порхая и поклевывая разные бумаги, узрела както раз документ, относящийся к ней и составленный в предвидении того самого, что когда-нибудь «случится» с ее родичем, а документ этот должен так щедро вознаградить ее в будущем за нескончаемое чтение вслух, что уже теперь удерживает на почтительном расстоянии даже дракона Скуку.

Родственники перестали гостить в унылом Чесни-Уолде и съезжаются ненадолго лишь во время охотничьего сезона, когда в зарослях гремят выстрелы и несколько егерей и загонщиков, разбросанных по лесу, поджидают на прежних местах, не появится ли пара или тройка невеселых родственников. Изнемогающий кузен, которого здешняя скука доводит до полного изнеможения, впадает в ужасающе удрученное состояние духа и когда

не охотится, стонет под гнетущим грузом диванных подушек, уверяя, что в этой чегтовой стагой тюгме пгямо взбеситься можно...

Единственные праздники для Волюмнии в этом столь изменившемся линкольнширском поместье — это те немногие и очень редкие дни, когда она считает своим долгом послужить графству Линкольншир или всему отечеству вообще, украсив своим присутствием благотворительный бал. И тогда эта чопорная сильфида * преображается в юную фею и под конвоем кузенов, ликуя, трясется четырнадцать миль по скверной дороге, направляясь в убогий, запущенный бальный зал, который в течение трехсот шестидесяти четырех суток каждого невисокосного года напоминает дровяной склад у антиподов,— так набит он ветхими столами и стульями, опрокинутыми ножками кверху. Тогда она и впрямь покоряет все сердца своей снисходительностью, девической живостью и способностью порхать не хуже, чем в те дни, когда у безобразного старого генерала со ртом, набитым зубами, еще не прорезалось ни одного зуба ценою по две гинеи за штуку. Тогда эта буколическая нимфа знатного рода кружится и вертится, выполняя сложные фигуры танца. Тогда к ней подлетают поклонники с чаем, лимонадом, сандвичами и комплиментами. Тогда она бывает ласковой и жестокой, величавой и скромной, переменчивой и пленительно капризной. Тогда напрашивается забавная параллель между нею и украшающими этот бальный зал маленькими хрустальными канделябрами прошлого века с тощими ножками, скудными подвесками, нелепыми шишечками без подвесок, голыми веточками, разронявшими и подвески и шишечки, и чудится, будто все эти канделябры с их слабым радужным мерцанием — двойники Волюмнии.

Все остальное время жизнь Волюмнии в Линкольншире — это не жизнь, а длительное пустое прозябание в пережившем себя доме, взирающем на деревья, которые вздыхают, заламывают руки, склоняют головы и, предавшись беспросветному унынию, роняют слезы на оконные стекла. Величественный лабиринт, он теперь не столько обитель древнего рода живых людей и их неживых подобий, сколько обиталище древнего рода отзвуков и отголосков, что вылетают из бесчисленных своих могил после

каждого звука и отдаются по всему зданию. Дом — пустыня, с коридорами и лестницами, по которым не ходят люди; дом, где стоит ночью уронить гребень на пол спальни, как послышатся чьи-то крадущиеся шаги, которые пойдут блуждать по всем комнатам. Дом, по которому редко кто отваживается бродить в одиночку; где служанка взвизгивает, если из камина выпадает уголек, ни с того ни с сего принимается плакать, становится жертвой душевной тоски, предупреждает о своем намерении уволиться и уезжает.

Вот каков ныне Чесни-Уолд. Такой в нем теперь мрак и запустение; так мало он меняется, все равно, освещен ли он летним солнцем, или погружен в зимний сумрак; такой он всегда хмурый и безлюдный — днем над ним уже не развевается флаг, ночью не сияют огнями его окна; нет в нем больше хозяев, которые то приезжают, то уезжают, нет гостей, чтобы вдохнуть душу в темные холодные клетки комнат; не шевелится в нем жизнь, и даже чужому глазу видно, что страсть и гордость умерли в линкольнширском поместье и обрекли его на тупое спокойствие.

## ГЛАВА LXVII

### *Конец повести Эстер*

Вот уже целых семь счастливых лет, как я — хозяйка Холодного дома. К тому, что я написала, осталось добавить всего лишь несколько слов; вскоре они будут написаны, и тогда я навеки прощусь с неведомым другом, для которого я все это пишу; я сохраню немало дорогих мне воспоминаний, надеюсь, кое-что останется в памяти и у него или у нее.

Милую мою девочку отдали на мое попечение, и я не расставалась с ней много недель. Ребенок, на которого возлагали столько надежд, родился раньше, чем могилу его отца обложили дерном. Это был мальчик, и мы с мужем и опекуном назвали его Ричардом в честь отца.

Помощь, на которую так надеялась моя дорогая подруга, пришла; но провидение прислало ее с иной целью. Младенец родился, чтобы вернуть жизнь и счастье матери, а не отцу, и он выполнил свое назначение. Когда я узнала, какие силы таятся в этой слабой ручонке, как исцеляет она своим прикосновением сердце моей любимой, вселяя в него надежду, я увидела новый смысл в господней благости и милосердии.

И вот мать и дитя постепенно окрепли — я увидела, как моя дорогая девочка стала иногда выходить в мой деревенский сад и гулять с ребенком на руках. В то время я уже была замужем. Я была счастливейшей из счастливых.

Как раз в это время у нас гостил опекун, и однажды он спросил Аду, когда же она вернется домой?

— Оба дома родные для вас, дорогая моя,— сказал он,— но старший Холодный дом претендует на первенство. Когда вы окрепнете, и вы и мой мальчик, переезжайте в свой родной дом.

Ада называла его «милым кузеном Джоном». Но он сказал, что теперь она должна называть его опекуном. Ведь отныне он будет опекуном и ей и мальчику; к тому же он давно привык, чтобы его так называли. Тогда она назвала его «опекуном» и с тех пор всегда называет его так. Дети даже не знают, что у него есть какое-нибудь другое имя.

Я сказала — «дети», потому что у меня родились две дочки.

С трудом верится, что Чарли (а у нее все такие же круглые глаза, и она по-прежнему не в ладах с грамматикой) теперь замужем за нашим соседом-мельником. Но верится или не верится, а это правда, и сейчас, ранним летним утром, когда я, оторвав глаза от стола, за которым пишу, бросаю взгляд в окно, я вижу, что колеса их мельницы начинают вертеться. Надеюсь, мельник не избалует Чарли; но что поделаешь — он в ней души не чает, а Чарли очень гордится своим браком, потому что муж у нее человек зажиточный и считался завидным женихом. Теперь у меня новая маленькая горничная, и, глядя на нее, мне кажется, будто время остановилось — семь лет стоит так же неподвижно, как стояли мельничные колеса

полчаса назад,— а все потому, что крошка Эмма, сестра Чарли, теперь точь-в-точь такая, какою Чарли сама была когда-то. Что касается Тома, брата Чарли, не знаю, право, сколько он успел пройти по арифметике, пока учился в школе, но думаю, что до десятичных дробей все-таки дошел. Как бы то ни было, он работает у мельника, и он такой хороший, застенчивый парень — всегда в кого-нибудь влюблен и всегда этого стыдится.

Кедди Джеллиби провела у нас свои последние каникулы и была еще милее прежнего — только и делала, что до упаду танцевала с детьми и дома и в саду, словно уроки танцев ей ничуть не надоели. Теперь Кедди уже не нанимает кареты, но держит свою собственную, да и живет она в целых двух милях к западу от Ньюмен-стрит *. Работает она очень много, потому что ее муж (очень любящий муж) стал прихрамывать и почти не может ей помогать. Тем не менее она ничуть не жалуется на судьбу и с величайшей охотой делает все, что ей приходится делать. Мистер Джеллиби все свои вечера просиживает у нее, прислонившись головой к стене в ее новой квартире, как сидел в старой. Я слышала, будто миссис Джеллиби была жестоко уязвлена унизительным для нее замужеством и ремеслом дочери; но эта язва, кажется, уже зажила. В колонии Бориобула-Гха она разочаровалась — затея потерпела неудачу, потому что бориобульский царек вдруг решил обменять на ром всех колонистов, вернее — тех, кому удалось выжить в тамошнем климате,— но теперь миссис Джеллиби принялась добиваться того, чтобы женщины получили право заседать в парламенте, и Кедди говорила мне, что эта новая миссия требует еще более обширной корреспонденции, чем старая. Я чуть было не забыла о бедной дочурке Кедди. Теперь она уже не такая жалкая крошка, какой была, но она глухонемая. Пожалуй, нет на свете лучшей матери, чем Кедди,— ведь как ни мало у нее свободного времени, она ухитряется изучать разные способы обучения глухонемых, чтобы облегчить жизнь своему ребенку.

Я, кажется, никогда не кончу рассказывать о Кедди,— вот и сейчас вспомнила про Пищика и мистера Тарвидропа-старшего. Пищик теперь служит в таможне, и весьма успешно. Мистер Тарвидроп-старший так растолстел, что

кажется, будто его вот-вот удар хватит, но он по-прежнему рисуется своим «хорошим тоном» в общественных местах, по-прежнему наслаждается жизнью на свой лад и по-прежнему пользуется тем, что в него слепо верят. Он все так же покровительствует Пищику и, кажется, даже завещал юноше свои любимые французские часы, которые висят на стене в его будуаре... но принадлежат не ему.

Первые же деньги, которые нам удалось скопить, мы употребили на расширение своего уютного домика — пристроили к нему специально для опекуна маленькую Брюзжальню и самым торжественным образом открыли ее, когда он приехал к нам погостить. Я стараюсь писать все это в легком тоне, потому что приближаюсь к концу своей повести и чувствую, как переполнено мое сердце, а когда пишу об опекуне, то и вовсе не могу удержаться от слез.

Глядя на него, я всегда вспоминаю о том, как наш бедный дорогой Ричард назвал его добрым человеком. Аде и ее прелестному мальчику он стал горячо любящим отцом; а со мной он все тот же, каким был всегда; так как же мне назвать его? Он лучший и самый близкий друг моего мужа, он любимец наших детей. Мы любим его глубочайшей благоговейной любовью. Но хотя он всегда представляется мне каким-то высшим существом, я чувствую себя с ним так просто, так легко, что сама себе удивляюсь. Я не утратила ни одного из своих прежних ласкательных имен и прозвищ, не утратил и он своего, и когда он гостит у нас, я всегда сижу рядом с ним в своем старом кресле. «Старушка», «Хлопотунья», «Хозяюшка» — так зовет он меня по-прежнему, а я по-прежнему отвечаю: «Да, дорогой опекун!»

С тех пор как он подвел меня к крыльцу нашего дома, чтобы я прочла его название, я ни разу не замечала, чтобы ветер дул с востока. Однажды я сказала опекуну, что теперь как будто никогда не бывает восточного ветра, а он сказал: что правда, то правда, в самом деле не бывает; в один памятный день ветер навсегда перестал дуть с востока.

Мне кажется, что моя дорогая подруга стала еще красивее прежнего. Скорбь, омрачившая Аду и теперь исчез-

нувшая, как бы омыла ее невинное личико, и оно стало каким-то возвышенно непорочным. По временам, когда я поднимаю глаза и вижу, как она в черном траурном платье, которого еще не снимает, дает урок моему Ричарду, я чувствую,— трудно это выразить! — как приятно мне было бы знать, что она поминает в своих молитвах свою милую Эстер.

Я назвала мальчика «мой Ричард»! Но ведь он говорит, что у него две мамы, и я одна из них.

Сбережений у нас немного, но мы живем в достатке и ни в чем не нуждаемся. Всякий раз, как я выхожу из своего дома с мужем, я со всех сторон слышу, как благословляют его люди. Всякий раз, как я вхожу в чужой дом, чей бы он ни был, я слышу хвалы моему мужу или читаю их в благодарных глазах. Всякий раз, как я вечером ложусь спать, я засыпаю с уверенностью, что сегодня он облегчил чьи-то страдания и утешил человека в беде. Я знаю, что многие, очень многие неизлечимые больные в последний свой час благодарили его за терпеливый уход. Разве это не богатство?

Люди хвалят даже меня, как жену своего доктора. Людям приятно встречаться даже со мной, и они ставят меня так высоко, что это меня очень смущает. Всем этим я обязана ему, моему возлюбленному, моей гордости! Это ради него меня любят, так же как я делаю все, что делаю в жизни, ради него.

Дня два назад, нахлопотавшись к вечеру,— надо было приготовиться к приезду моей дорогой подруги, опекуна и маленького Ричарда, которые прибудут завтра,— я пошла немного посидеть на крыльце, милом, памятном крыльце, и вдруг Аллен вернулся домой. Он спросил:

— Что ты здесь делаешь, бесценная моя хозяюшка?

А я ответила:

— Луна светит так ярко, Аллен, а ночь так прекрасна, что мне захотелось тут посидеть и подумать.

— О чем же ты думала, моя милая? — спросил Аллен.

— Какой ты любопытный! — отозвалась я.— Мне почти стыдно говорить об этом, но все-таки скажу. Я думала о своем прежнем лице... о том, каким оно было когда-то.

— И что же ты думала *о нем*, моя прилежная пчелка? — спросил Аллен.

— Я думала, что ты все равно *не мог бы* любить меня больше, чем теперь, даже останься оно таким, каким было.

— Каким было когда-то? — со смехом проговорил Аллен.

— Ну да, разумеется,— каким было когда-то.

— Милая моя Хлопотунья,— сказал Аллен и взял меня под руку,— ты когда-нибудь смотришься в зеркало?

— Ты же знаешь, что смотрюсь; сам видел.

— И ты не видишь, что никогда еще ты не была такой красивой, как теперь?

Этого я не видела; да, пожалуй, не вижу и сейчас. Но я вижу, что дочурки у меня очень хорошенькие, что моя любимая подруга очень красива, что мой муж очень хорош собой, а у моего опекуна самое светлое, самое доброе лицо на свете, так что им совсем не нужна моя красота... даже если допустить...

# КОММЕНТАРИИ

Стр. 10. *Столбенс* — исковерканное название Сент-Олбенса — старинного города, находящегося в 20 милях от Лондона на месте римского поселения (V в. н. э.) Веруламиум.

Стр. 17. *Бездомный, без матери и без отца...* — строки из старинной английской баллады.

Стр. 22. *...читала о дочери правителя...* — Имеется в виду библейский эпизод о воскрешении Иисусом дочери правителя Иевфая.

Стр. 25. *...долине теней закона...* — Диккенс пользуется здесь библейским образом «долины теней смерти», популяризированным английским писателем второй половины XVII века Д. Беньяном (1628—1688) в аллегорическом романе «Путь паломника» (1678—1684).

*Аргус* — в древнегреческой мифологии стоглазый великан — сторож.

Стр. 26. *Йорик* — певец — герой романа английского писателя Л. Стерна (1713—1768) «Сентиментальное путешествие» (1768).

Стр. 33. *Бибо* — «Я пью» — форма первого лица от латинского глагола «бибере» (bibere) — «пить».

*Харон* — лодочник — перевозчик душ умерших *(древнегреч. миф).*

Стр. 45. *«Феникс».* — Диккенс называет пожарную машину «Фениксом» по аналогии со сказочной птицей, возрождающейся из собственного пепла *(египетск. миф.).*

Стр. 57. *Гайд-парк* — самый обширный лондонский парк, расположенный в западной части города, где происходят военные парады и выступления политических ораторов.

*...митинга в Манчестере...* — 40-е годы XIX века в Англии были отмечены многочисленными рабочими волнениями в Манчестере и других промышленных городах.

Стр. 63. *«...и скоро вернется к ней...»* — строки из популярной в XIX веке английской песенки «Покинутая девушка».

Стр. 123. *Королева Каролина.* — Каролина (1768—1821) — жена короля Георга IV.

Стр. 123. *Пан* — в древнегреческой мифологии бог лесов, покровитель стад. Впоследствии стал символическим божеством, олицетворяющим природу.

Стр. 142. *Тоунтонская долина* — местечко в графстве Кент.

Стр. 161. *Колесо Иксиона.* — Иксион — герой одного из древнегреческих мифов. За оскорбление богини Геры был прикован Зевсом в Тартаре к вращающемуся огненному колесу.

Стр. 164. *...будто пепел где-то сыплется на пепел...* — перефраз слов заупокойной молитвы.

Стр. 168. *Кеннингтон* — район в южной части Лондона.

Стр. 169. *Монумент* — дорическая колонна, воздвигнутая в лондонском Сити по проекту архитектора Кристофера Ренна в память о пожаре 1666 года. Колонна находится вблизи того места, где пожар был остановлен.

Стр. 171. *...историю ...Дэниела Дансера... а также — историю мистера Ивса...* — Дэниел Дансер и мистер Ивс — известные английские ростовщики, жившие в XVIII веке.

Стр. 180. *Карл Второй* (1630—1685) — английский король (1660—1685), в лице которого была восстановлена после буржуазной революции королевская власть и династия Стюартов.

Стр. 182. *...скованных взглядом василиска...* — Василиск — сказочное чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее своим взглядом.

Стр. 185. *...шестьсот пятьдесят восемь джентльменов...* — число членов английского парламента во времена Диккенса.

Стр. 186. *Франкмасон* — член тайного религиозного и философского общества франкмасонов *(франц.* «вольные каменщики»). Организации франкмасонов, выросшие из цеховых корпораций строителей, возникли в Англии в начале XVIII века. Созданные затем во всех европейских странах масонские «ложи» объединяли в XVIII веке людей, не чуждых либеральных и просветительских взглядов. В XIX веке масонские организации были оплотом политической реакции.

Стр. 214. *Сомерс-Таун* — район Лондона к северо-западу от Сити.

Стр. 224. *Веруламская стена.*— Имеются в виду развалины стен древнего римского поселения Веруламиум, существовавшего в Англии в V веке н. э.

Стр. 240. *Флора (лат.* «цветок») — древнеримская богиня цветения и весны.

Стр. 242. *Дил* — город-порт в графстве Кент.

Стр. 255. *Высокой церкви, или Низкой церкви...*— Речь идет о двух направлениях англиканской церкви. Высокая церковь требовала слияния церкви с государством и признавала ряд католических обрядов, отвергавшихся Низкой церковью.

Стр. 257. *...крови одного нормандского рода...*— Старейшая английская знать ведет свое происхождение от норманских завоевателей Англии (XI в.).

Стр. 279. *Бедлам* — психиатрическая больница в Лондоне, основанная в 1547 году и названная в честь св. Марии из Вифлеема. (Бедлам — искаж. Вифлеем.)

Стр. 284. *...той неугомонной особы...*— Имеется в виду героиня трагедии Шекспира «Макбет» (1606) леди Макбет.

Стр. 314. *Смешная, правда?* — Баккет (bucket) — по-английски ведро.

Стр. 316. *«Поверьте, когда б эти милые юные чары»* — популярный романс на слова известного ирландского поэта Т. Мура (1779—1852).

Стр. 360. *Дуврский замок* — старинный замок в городе-порте Дувре, находящемся в графстве Кент, на берегу пролива Па де Кале.

Стр. 361. *Авгуры* — в древнем Риме жрецы — предсказатели будущего по полету и крику птиц.

Стр. 363. *Геральдическая палата* — корпорация, объединяющая обладателей дворянских гербов, созданная в Англии по указу короля Ричарда III (1452—1485).

Стр. 373. *Королевская академия* — английская Академия художеств, основанная в 1768 году.

Стр. 399. *...с видом Венеры, выходящей из волн морских...*— Древнеримская богиня любви и красоты Венера, по преданию, родилась, выйдя из морской пены.

Стр. 401. *...Юпитер, который похищает предмет своей нежной страсти.*— Речь идет об эпизоде из древнеримской мифологии:

бог-громовержец Юпитер похищает деву Семелу, окутав ее облаком.

Стр. 427. *Олмэк* — здание в центре Лондона, снимавшееся для аристократических балов.

Стр. 439. *Хайгетская таможенная застава.*— Хайгет — северный район Лондона. Название заставы сохранилось за местом у Хайгетских ворот, откуда начиналась Великая Северная дорога, построенная в XIV веке.

Стр. 455. *...когда сэр Лестер внесет туда билль о своем разводе.*— Билль — законопроект, вносимый в парламент. Согласно английскому законодательству дворянину для совершения развода необходимо проведение через парламент так называемого «частного билля».

Стр. 461. *Дракон Скука* — аллегорический персонаж из поэмы крупнейшего английского поэта эпохи Возрождения Э. Спенсера (1552—1599) «Королева фей» (1589—1596).

*...в битве при Ватерлоо.*— Близ бельгийской деревни Ватерлоо в 1815 году англо-прусская армия одержала решительную победу над войсками Наполеона.

Стр. 493. *...в одном йоркширском поселке.*— Йоркшир — самое большое графство Англии, расположенное на северо-востоке страны.

Стр. 508. *Я, как жена Цезаря...*— намек на латинскую поговорку «Жена Цезаря выше подозрений».

Стр. 509. *«Дом, который построил Джек»* — шутливая детская песенка из сборника «Песни нянюшки».

Стр. 529. *Вавилонское смешение* — смешение языков, происшедшее по библейскому сказанию при постройке Вавилонской башни.

Стр. 539. *Фатима, Синяя борода* — персонажи сказок французского писателя Ш. Перро (1628—1703).

Стр. 565. *Сильфида.*— Сильфы — в кельтской и германской мифологии духи воздуха.

Стр. 568. *...к западу от Ньюмен-стрит.*— В западных кварталах Лондона расположены дома знати и крупной буржуазии.

*Б. Томашевский* и *Д. Шестаков*

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

*Собр. соч., т. 18*

Редактор А. Миронова. Художник Н. Семпер

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор Г. Каунина

Корректор В. Седова

Сдано в набор 25/IX 1959 г. Подписано к печати 21/XII 1959 г.
Бумага 84 X $108^{1}/_{32}$ — 18,125 печ. л. 29,72 усл. печ. л. 29,3 уч. изд. л.
Тираж 500 000 (300 001 — 500 000) экз. Заказ № 1528. Цена 11 р.
Гослитиздат, Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.